

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://leskovnikolai.ru/> Приятного чтения!

Тревожные годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов

Рассказы и повести русских писателей 80-х гг. XIX в.

Благонамеренные речи
К ЧИТАТЕЛЮ

Положение мое, как русского фрондёра, имеет ту выгоду, что оно оставляет мне много досужего времени. Никто от меня ничего не ждет, никто на меня не возлагает ни надежд, ни упований. Я не состою членом ни единого благотворительно-просветительного общества, ни одной издающей сто один том трудов комиссии. Я не обязан распространять ни грамотность, ни малограмотность, ни даже безграмотность; ни полезных сведений, ни бесполезных. Никто не требует от меня ни проектов, ни рефератов, ни даже присутствия при праздновании годовщин, пятилетий, десятилетий и т.д. Я просто скромный обыватель, пользующийся своим свободным временем, чтобы посещать знакомых и беседовать с ними, и совершенно довольный тем, что начальство не видит в этом занятии ничего предосудительного.

Знакомых у меня тьма-тьмушая, и притом самых разношерстных. Не забудьте, что я ничего не ищу, кроме "благих начинаний", а так как едва ли сыщется в мире человек, в котором не притаилась бы хотя маленькая соринка этого добра, то понятно, какой перепутанный kaleidoscope должен представлять круг людей, в котором я обращаюсь. Я жму руки пустоплясам всех партий и лагерей, и не только не чувствую при этом никакой неловкости, но даже вполне убежден, что русский фрондёр, у которого нет ничего на уме, кроме "благих начинаний" (вроде, например, земских учреждений), иначе не может и поступать. В свою очередь, и знакомые мои, зная, что у всякого из них есть хоть какой-нибудь пункт, которому я сочувствую, тоже не оставляют меня своими рукожатиями. И таким образом мы живем. Приятели сходятся у меня и диспутируют. Один (аристократ) говорит, что хорошо бы обуздать мужика, другой (демократ) возражает, что мужика обуздывать нечего, ибо он "предан", а что следует ли, нет ли обуздать дворянское вольномыслие; третий (педагог), не соглашаясь ни с первым, ни со вторым, выражает такое мнение, что ни дворян, ни мужиков обуздывать нет надобности, потому что дворяне – опора, а мужики – почва, а следует обуздать "науку". Я слушаю эти диспуты и благодушествую. Выслушаю одного – кажется, что у него есть кусочек "благих начинаний", выслушаю другого – кажется, и у него есть кусочек "благих начинаний". Ибо, повторяю: нет в мире выжатого лимона, из которого нельзя было бы выжать хоть капельку "благих начинаний". А что, думаю я себе, подберу-ка я эти кусочки: может быть, что-нибудь из них да и выйдет!

Я знаю, впрочем, что не выйдет ничего. Я знаю даже, что привычка подбирать дрянные кусочки – привычка негодная, изнурительная. Она держит человека между двух стульев и отнимает у него всякую возможность действовать в каком бы то ни было смысле. Когда кусочков наберется много, то из них образуется не картина и даже не собрание полезных материалов, а простая куча хламу, в которой едва ли можно разобрать, что куда принадлежит. Рыться в этой куче, вытаскивать наудачу то один, то другой осколок – работа унижительная и совершенно бесплодная. Я знаю все это, но и за всем тем – не только остаюсь при этой дурной привычке, но и виновным в преднамеренном бездельничестве признать себя не могу.

Во-первых, скажите, на какой такой "образ действия" я, русский фрондёр, могу претендовать? Агитировать – запрещено; революции затевать – тем паче. Везде, куда бы я ни сунул свой нос, я слышу: что вы! куда вы! да имейте же терпение! разве вы не видите... благие начинания! И это говорят мне без смеха, без озорства, без малейшего желанья мистифицировать меня. Напротив того, я чувствую, что субъект, произносящий эти предостережения, сам ходит на цыпочках, словно боится кого разбудить; что он серьезно чего-то ждет, и в ожидании, пока придет это "нечто", боится не только за будущее ожидаемого, но и за меня, фрондёра, за меня, который непрошеным участием может скомпрометировать и "дело обновления", и самого себя. Что должен я ощутить при виде этой благоговейной оторопи, если б даже в голове моей и вполне созрела потрясательная решимость агитировать страну по вопросу о необходимости ясного закона о потравах? Очевидно, что прежде всего я должен ощутить ту же благоговейную оторопь, которую ощущает и предостерегающий меня субъект. Он ходит на цыпочках – стало быть, и впрямь что-нибудь да

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
готовится. Он так благожелательно предостерегает меня от опасных увлечений – стало быть, и впрямь я рискую услышать: "фюить!", если не буду держать руки по швам. Оторопелый, пораженный пророческим тоном предостережений, я впадаю в недоумение и инстинктивно останавливаю свой бег. За минуту я горел агитационною горячкою и готов был сложить голову, лишь бы добиться "ясного" закона о потравах; теперь – я значительно хладнокровнее смотрю на это дело и рассуждаю о нем несколько иначе. "А что, в самом деле, – говорю я себе, – ежели потравы могут быть устранены без агитации, то зачем же агитировать? Ежели нужно только "подождать", то отчего же не "подождать"?" Все это до того резонно, что так и кажется, будто кто-то стоит и подталкивает сзади: подожди да подожди! И вот я начинаю ждать, не зная, чего собственно я жду и когда должно произойти то, что я жду. А так как, в ожидании, надобно же мне как-нибудь провести время, то я располагаюсь у себя в кабинете и выслушиваю, как один приятель говорит: надо обуздать мужика, а другой: надо обуздать науку. Скажите, могу ли я поступить иначе?

Во-вторых, как это ни парадоксально на первый взгляд, но я могу сказать утвердительно, что все эти люди, в кругу которых я обращаюсь и которые взаимно видят друг в друге "политических врагов", – в сущности, совсем не враги, а просто бестолковые люди, которые не могут или не хотят понять, что они болтают совершенно одно и то же. Как ни стараются они провести между собою разграничительную черту, как ни уверяют друг друга, что такие-то мнения может иметь лишь несомненный жулик, а такие-то – бесспорнейший идиот, мне все-таки сдается, что мотив у них один и тот же, что вся разница в том, что один делает руладу вверх, другой же обращает ее вниз, и что нет даже повода задумываться над тем, кого целесообразнее обуздать: мужика или науку. Все это одинаково целесообразно в том смысле, что про всю эту "целесообразность" одинаково целесообразно можно сказать: "наплевать"... Следовательно, если я и могу быть в чем-нибудь обвинен, то единственно только в том, что вступаю в сношение с людьми, разговаривающими об обуздании вообще, и выслушиваю их. Но ведь не бежать же мне, в самом деле, на необитаемый остров, чтобы скрыться от них!

Я родился в атмосфере обуздания, я таинственно пуповиной прикреплен к людям обуздания. От ранних лет детства я не слышу иных разговоров, кроме разговоров об обуздании (хотя самое слово "обуздание" и не всегда в них упоминается), и полагаю, что эти же разговоры проводят меня и в могилу. Все относящееся до обуздания вошло, так сказать, в интимную обстановку моей жизни, примелькалось, как плоский русский пейзаж, прислушалось, как сказка старой няньки, и этого, мне кажется, совершенно достаточно, чтоб объяснить то равнодушие, с которым я отношусь к обуздывательной среде и к вопросам, ее волнующим. Я до такой степени привык к ним, что, право, не приходит даже на мысль вдумываться, в чем собственно заключаются те тонкости, которыми один обуздательный проект отличается от другого такого же. Спросите меня, что либеральнее: обуздывать ли человечество при помощи земских управ или при помощи особых о земских провинностях присутствий, – клянусь, я не найдусь даже ответить на этот вопрос. Я не понимаю, в чем состоит сущность его, не могу себе объяснить, зачем тут привлечен либерализм? Мне кажется, что оба решения, на которые указывает вопрос, одинаково стоят на почве обуздания и различаются между собою лишь совершенно недоступною для меня диалектической тонкостью. Поэтому я с одинаковым равнодушием протягиваю руку как сторонникам земских управ, так и защитникам особых о земских провинностях присутствий. Ведь и те и другие одинаково говорят мне об "обуздании" – зачем же я буду целоваться с одним и отворачиваться от другого из-за того только, что первый дает мне на копейку менее обуздания, нежели второй? Лучше я дам каждому по копейке своих – и пускай себе они сотрясают воздух рассказами о преимуществах земских управ над особыми о земских провинностях присутствиями и наоборот...

Очень возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что все эти частные попытки, направленные или к тому, чтобы на вершок укоротить принцип обуздания, или к тому, чтобы на вершок удлинить его, не имеют никакого существенного значения. Сегодня на вершок короче, завтра – на вершок длиннее: все это еще больше удерживает дело на почве внезапностей и колебаний, нисколько не разъясняя самого принципа обуздания. Невольно приходит на мысль: если так много спорят об укорачиваниях и удлинениих принципа, то почему же не перенести спор прямо на самый принцип?

Миросозерцание громадного большинства людей всё сплошь зиждется на принципе "обуздания". Я знаю, что многие удивятся, услышав, что к ним применяют эпитет

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik "обуздывателей", но удивятся единственно потому, что слишком уж буквально понимают слово "обуздание". Вдумайтесь в смысл этого выражения, и вы увидите, что "обуздание" совсем не равносильно тому, что на местном жаргоне известно под именем "подтягивания", и что действительное значение этого выражения гораздо обширнее и универсальнее. Стоит только припомнить сказки о "почве" со всею свитой условных форм общежития, союзов и проч., чтобы понять, что вся наша бедная жизнь замкнута тут, в бесчисленных и перепутанных разветвлениях принципа обуздания, из которых мы тщетно усиливаемся выбраться то с помощью устного и гласного судопроизводства, то с помощью переложения земских повинностей из натуральных в денежные... Увы! мы стараемся устроиться как лучше, мы враждуем друг с другом по вопросу о переименовании земских судов в полицейские управления, а в конце концов все-таки убеждаемся, что даже передача следственной части от станových приставов к судебным следователям (мера сама по себе очень полезная) не избавляет нас от тупого чувства недовольства, которое и после учреждения судебных следователей, по-прежнему, продолжает окрашивать все наши поступки, все житейские отношения наши.

Ясно, что тут скрывается крупное недоразумение, довольно близкое ко лжи, разрешение которого совершенно не зависит от того, чью руку, помещичью или крестьянскую, держат мировые посредники. Как же поступить в данном случае? Что предпринять, чтобы освободиться от чувства недовольства, отравляющего жизнь? Уж не начать ли с того, на что большинство современных "дельцов" смотрят именно как на ненужное и непрактичное? Не начать ли с ревизии самого принципа обуздания, с разоблачения той массы лганья, которая непроницаемым облаком окружает этот принцип и мешает как следует рассмотреть его?

Говоря по совести, это именно самое подходящее средство. Я совсем не отрицатель. Я не отвергаю той пользы, которая может произойти для человечества от улучшения быта станových приставов или от того, что все земские управы будут относиться к своему делу с рачительностью. Но я стою на одном: что частные вопросы не имеют права загромождать до такой степени человеческие умы, чтобы исключать вопросы общие. Я думаю даже, что ежели в обществе существует вкус к общим вопросам, то это не только не вредит частностям, но даже помогает им. При освещении общих вопросов и вопрос о всеобщей воинской повинности будет разрешен сознательнее, и вопрос об устройстве земских больниц получит более рациональное осуществление. Иногда кажется: вот вопрос не от мира сего, вот вопрос, который ни с какой стороны не может прикасаться к насущным потребностям общества, - для чего же, дескать, говорить о таких вещах? Но ведь это вздор, любезный читатель! Это только жалкая уловка лгунов-дельцов! Сообразите только, возможное ли это дело! чтобы вопрос глубоко человеческий, вопрос, затрагивающий основные отношения человека к жизни и ее явлениям, мог хотя на одну минуту оставаться для человека безынтересным, а тем более мог бы помешать ему устроиваться на практике возможно выгодным для себя образом, - и вы сами, наверное, скажете, что это вздор! Это до такой степени вздор, что даже мы, современные практики и дельцы, отмаливающиеся от общих вопросов, как от проказы, - даже мы, сами того не понимая, действуем не иначе, как во имя тех общечеловеческих определений, которые продолжают теплиться в нас, несмотря на компактный слой наносного практического хлама, стремящегося заглушить их! Если б это было иначе, откуда же явились бы земские управы! И откуда получила бы тверская земская управа решимость ассигновать необходимые суммы для поддержания артельных сыроварен?

Как бы то ни было, но принцип обуздания продолжает стоять незыблемый, неисследованный. Он написан во всех азбуках, на всех фронтисписах, на всех лбах. Он до того незыблем, что даже говорить о нем не всегда удобно. Не потому ли, спрашивается, он так живуч, не потому ли о нем неудобно говорить, что около него ютятся и кормятся целые армии лгунов?

Итак, побеседуем о лгунах.

Лгуны, о которых идет речь и для которых "обуздание" представляет отправную точку всей деятельности, бывают двух сортов: лицемерные, сознательно лгущие, и искренние, фанатические.

Лицемерные лгуны суть истинные дельцы современности. Они лгут, как говорилось когда-то, при крепостном праве, "пур ле жанс", нимало не отрицая ненужности принципа обуздания в отношении к себе и людям своего круга. Они забрасывают вас всевозможными "краеугольными камнями", загромождают вашу мысль всякими "основами" и тут же, на ваших глазах, на камни паскудят и на основы плюют. В

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
обществе эти люди носят название "дельцов", потому что они не прочь от компромиссов, и "добрых малых", потому что они всегда готовы на всякое двоедушие. И богу помолиться, и покошунствовать. Это ревнители тихого разврата, рыцари безделицы, показывающие свои патенты лишь таким же рыцарям, как и они, посетители "отдельных кабинетов", устроиватели всевозможных комбинаций на основании правила: "и волки сыты, и овцы целы", антрепеттеры высшей школы, политические и нравственные кукушки, потихоньку кладущие свои яйца в чужие гнезда, при случае – разбойники, при случае – карманные воришки.

Лгуны искренние суть те утописты "обуздания", перед которыми содрогается даже современная, освоившаяся с лганием действительность. Это чудовища, которые лгут не потому, чтобы имели умысел вводить в заблуждение, а потому, что не хотят знать ни свидетельства истории, ни свидетельства современности, которые ежели и видят факт, то признают в нем не факт, а каприз человеческого своеволия. Они бросают в вас краеугольными камнями вполне добросовестно, нимало не помышляя о том, что камень может убить. Это угрюмые люди, никогда не покидающие марева, созданного их воображением, и с неумолимую последовательностью проводящие это марево в действительность. Всегда вооруженные, недоступные и неподкупные, они не останавливаются не только перед насилием, но и перед пустотой. "Если в результате наших усилий оказывается только пустота, – говорят они, – то, следовательно, оно не может иначе быть". И вновь начинают безумную работу данаид, совершая мимоходом злодеяния, вырывая крики ужаса и нимало не наполняя бездны. Лично каждый из этих господ может вызвать лишь изумление перед безграничностью человеческого тупоумия, изумление, впрочем, значительно умеряемое опасением: вот-вот сейчас налетит! вот сейчас убьет, сотрет с лица земли этот ураган бессознательного и тупоумного лгания, отстаивающий свое право убивать во имя какой-то личной "искренности", до которой никому нет дела и перед которой, тем не менее, сотни глупцов останавливаются с разинутыми ртами: это, дескать, "искренность"! – а искренность надобно уважать!

Вот теоретики "обуздания", вот те, которые с неслыханною наглостью держат в осаде человеческое общество. Если хотите знать, которая из указанных выше двух категорий лгунов кажется на мой взгляд более терпимой, я, не обинуясь, отвечу: лгуны сознательные, лицемерные. Лично, быть может, каждый из них во сто крат омерзительнее, нежели лгун-фанатик, но личный характер людей играет далеко не первостепенную роль в делах мира сего. Я от души уважаю искренность, но не люблю костров и пыток, которыми она сопровождается, в товариществе с тупоумием. Нет ничего ужаснее, как искренность, примененная к насилию, и общество, руководимое фанатиками лжи, может наверное рассчитывать на предстоящее превращение его в пустыню. Я предпочитаю лгуна-лицемера уже по тому одному, что он никогда не лжет до конца, но лжет и оглядывается. Хотя он тоже не прочь от пытки, но у него нет того устоя, который окружает пытку ореолом величия. У мелкого плута и сердце, и руки всегда короче, нежели у подлинного, искреннего душегуба. Вора закон посылает в смиренный дом, душегуба – на каторгу. Не потому он делает это различие, чтобы вор был более достоин уважения, а потому, что он менее вреден. Наконец, лицемера-лгуна я могу презирать, тогда как в виду лгуна-фанатика мне ничего другого не остается, как трепетать. Как хотите, а право презирать все-таки хоть сколько-нибудь да облегчает меня...

* * *

Освободиться от "лгунов" – вот насущная потребность современного общества, потребность, во всяком случае, не менее настоятельная, как и потребность в правильном разрешении вопроса о дешевейших способах околки льда на волжских пристанях.

Убеждать теоретиков обуздания в необходимости ревизии этого принципа было бы, однако ж, совершенно напрасною тратой времени. Большинство из них (лгуны-лицемеры) не только не страдает от того, что общество изнемогает под игмом насильно навязанных ему и не имеющих ни малейшего отношения к жизни принципов, но даже извлекает из общественной заботности известные личные удобства. Меньшинство же (лгуны-фанатики) хотя и подвергает себя обузданию, наравне с массой простецов, но неизвестно еще, почему люди этого меньшинства так сильно верят в творческие свойства излюбленного ими принципа, потому ли, что он влечет их к себе своими внутренними свойствами, или потому, что им известны только легчайшие формы его. Есть много постников, которые охотно держат пост, сопровождающийся постною стерляжьей ухой, но которые, наверное, совсем не так ретиво пропагандировали бы теорию умерщвления плоти, если б она осуществлялась

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik для них в форме ржаного хлеба, приправленного лебедой.

На деле героем обуздания оказывается совсем не теоретик, а тот бедный простец, который несет на своих плечах все практические применения этого принципа. Он несет их без усад, которые могли бы обмануть его насчет свойств лежащего на нем бремени, без надежды на возможность хоть временных экскурсий в область запретного; несет потому, что вся жизнь его так сложилась, чтоб сделать из него живую, способную выдерживать всевозможные обуздательные опыты. Он чтит все союзы, но чтит не постольку, поскольку они защищают его самого, а поскольку они ограждают других. Для него лично нет в мире угла, который не считался бы заповедным, хотя он сам открыт со всех сторон, открыт для всех воздействий, на изобретение которых так торопят досужий человеческий ум.

Вот для него-то именно и необходимы те разъяснения, о которых идет речь.

Нельзя себе представить положения более запутанного, как положение добродушного простеца, который изо всех сил сгибает себя под игом обуздания и в то же время чувствует, что жизнь на каждом шагу так и подмывает его выскользнуть из-под этого ига. Строго обдуманной теории у него нет; он никогда не пробовал доказать себе необходимость и пользу обуздания; он не знает, откуда оно пришло и как сложилось; для него это просто *modus vivendi* [образ жизни (лат.)], который он всосал себе вместе с молоком матери. С другой стороны, он никогда не рассуждал и о том, почему жизнь так настойчиво подстрекает его на бунт против обуздания; ему сказали, что это происходит оттого, что "плоть немощна" и что "враг силен", - и он на слово поверил этому объяснению. Ни в том, ни в другом случае опереться ему все-таки не на что. Он не имеет надежной крепости, из которой мог бы делать набег на бунтующую плоть; не имеет и укромной лазейки, из которой мог бы послать "бодрому духу" справедливый укор, что вот как ни дрянна и ни немощна плоть, а все-таки почему-нибудь да берет же она над тобою, "бодрым духом", верх. Словом сказать, он открыт и беззащитен со всех сторон...

Но как ни жалка эта всесторонняя беззащитность, а для него, простеца, неизвестно зачем живущего, неизвестно к чему стремящегося, даже и она служит чем-то вроде спасительной пристани. Устраните из жизни простеца элемент бессознательности, и вы увидите перед собою человека, отданного в жертву непрерывному ужасу. Ужас - ввиду безрадостности существования, со всех сторон опутанного обузданием, и ужас же - ввиду угрызений, которые необходимо должны отравить торжество немощной плоти над бодрым духом. Куда ни оглянись - везде огненная геенна. Ясно, что при такой обстановке совсем невозможно было бы существовать, если б не имелось в виду облегчительного элемента, позволяющего взглянуть на все эти ужасы глазами пьяного человека, который готов и море переплыть, и с колокольни соскочить без всякой мысли о том, что из этого может произойти. Ясно, что только одна бессознательность может выручить простеца в его затруднительном положении. Если человек беззащитен, если у него нет средств бороться ни за, ни против немощной плоти, то ему остается только безусловно отдаться на волю гнетущей необходимости, в какой бы форме она ни представлялась. Исполнивши это, он, по крайней мере, освобождает себя от вменяемости перед судом собственной совести, от ужасов, которыми она грозит ему на каждом шагу. Подобно лунатику, он идет навстречу препятствию, столь же чуждый сознательному намерению преодолеть его, как и сознательному опасению разбить себе лоб. Случись первое - он совершает подвиг без всякой мысли о его совершении; случись второе - он встречает смерть, как одну из внезапностей, сцеплением которых была вся его жизнь.

Но, скажут, быть может, многие, что же нам до того, сознательно или бессознательно примиряется человек с жизнью? Ведь дело не в том, в какой форме совершается это примирение, а в том, что оно, несмотря на форму, совершается до такой степени полно, что сам примиряющийся не замечает никакой фальши в своем положении! Ведь примирившийся счастлив - оставьте же его быть счастливым в его бессознательности! не будите в нем напрасного недовольства самим собою, недовольства, которое только производит в нем внутренний разлад, но в конце концов все-таки не делает его ни более способным к правильной оценке явлений, из которых слагается ни для кого не интересная жизнь простеца, ни менее беззащитным против вторжения в эту жизнь всевозможных внезапностей.

Возражение это, прежде всего, не весьма нравственно, хотя по преимуществу слышится со стороны людей, считающих себя охранителями добрых нравов в обществе. В основании его лежат темные виды на человеческую эксплуатацию, которая, как известно, ничем так не облегчается, как нахождением масс в состоянии

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
бессознательности. Во-вторых, если и есть основание допустить возможность сочетания счастья с бессознательностью, то счастье такого рода имеет столь же мало шансов на прочность, сколь мало имеет их и сама бессознательность. Последняя хотя и может служить примирителем между человеком и жизнью, но лишь до тех пор, покамест тому благоприятствует спокойно сложившаяся внешняя обстановка. С изменением обстановки, с вторжением в нее нового элемента, смягчающие свойства бессознательности истираются с поразительной быстротой, и услуги, доставляемые ею, делаются не только ничтожными, но и прямо назойливыми, почти омерзительными. Такого рода метаморфозы вовсе не редкость даже для нас; мы на каждом шагу встречаем мечущихся из стороны в сторону простецов, и если проходим мимо них в недоумении, то потому только, что ни мы, ни сами мечущиеся не даем себе труда формулировать не только источник их отчаяния, но и свойство претерпеваемой ими боли. А источник этот всегда один и тот же: это – произвольное прекращение состояния бессознательности.

Простец вынослив – это правда. Покуда жизнь его идет обычно прозябательною колеей, гнет обуздания остается для него почти нечувствительным. Но едва ли в целом мире найдется такое неосмысленное существование, которое можно было бы навсегда удержать на исключительно прозябательной колее. У самого простейшего из простецов найдется в жизни такая минута, которая разом выведет его из инерции, разобьет в прах его бессознательное благополучие и заставит безнадежно метаться на прокрустовом ложе обуздания. Вспомните, сколько в этом бедном существовании больных мест, которые так и напрашиваются на уязвление! Вспомните, что оно обставлено целою свитой азбучных афоризмов, из которых ни один не защищает, а, напротив того, представляет легко отворяющуюся дверь для всевозможных наездов! А между тем простец сжился с этими афоризмами, он чувствует себя сросшимся с ними, он по ним устроил всю свою жизнь! И вдруг является что-то неожиданное, непредвиденное, вследствие чего он чувствует, что с него, не имеющего никакого понятия о самозащите, живьем сдирают наносную кожу, которую он искони считал своею собственною! Как поступит он в таком случае?

Нет сомнения, случись что-нибудь подобное с теоретиком-дельцом, он скажет себе: "Наплевать", и пойдет туда, куда укажет ему его личная выгода. Случись то же самое с теоретиком-фанатиком, он скажет себе: это дьявольское наваждение, – и постарается отбиться от него с помощью пытки, костров и т.д. Но простец в подобных случаях видит себя как в лесу. Он не может сказать себе: "Устрою свою жизнь по-новому", потому что он весь опутан афоризмами, и нет для него другого выхода, кроме изнурительного маячения от одного афоризма к другому. Он никогда ничего не ждал, ни к чему не готовился. Он самый процесс собственного существования выносил только потому, что не понимал ни причин, ни последствий своих и чужих поступков. И вдруг для него наступает момент какой-то загадочной ликвидации, в которой он ровно ничего не понимает. Жена сбежала с юнкером, сосед завладел полем, друг оказался предателем. "Что случилось? – в смущении спрашивает он себя, – не обрушился ли мир? не прекратила ли действие завещанная преданием общественная мудрость?" Но и мир, и общественная мудрость стоят неприкосновенные и нимало не тронутые тем, что в их глазах гибнет простец, которого бросила жена, которому изменил друг, у которого сосед отнял поле. Ничто не изменилось кругом, ничто не прекратило обычного ликования, и только он, злосчастный простец, тщетно вопиет к небу по делу о побеге его жены с юнкером, с тем самым юнкером, который при нем столько раз и с таким искренним чувством говорил о святости семейных уз!

Понятно, как должен он быть изумлен. В том общем равнодушии, которое встречает его горе, он видит какой-то странный внутренний разлад, какую-то двойную, саму себя побивающую мораль. Мало того: самые поступки его жены, соседа, друга кажутся ему загадочными. Эти люди совсем не отрицатели и протестанты; напротив того, они сами не раз утверждали его в правилах общежития, сами являлись пламенными защитниками тех афоризмов, которыми он, с их же слов, окружил себя. Что побудило их уклониться от прямой дороги, не стесняясь даже тем, что это уклонение разбивает чье-то существование? Нет ли в их поступке двойной морали, притворства, порочного действия, за которые их должны были бы преследовать угрызения совести?

Увы! тут вовсе нет никакой двойной морали, а что касается до угрызений совести, то самая надежда на них оказывается пустым ребячеством. Тут была простая мораль "пур ле жанс", которую ни один делец обуздания никогда не считает для себя обязательною и в которой всегда имеется достаточно широкая дверь, чтобы выйти из области азбучных афоризмов самому и вывести из нее своих присных. Если простец

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik не видит этой двери, тем хуже для него, но для дельца-теоретика эта слепота представляет даже выгоду, ибо устраняет толкотню. Он свободно делает через эту дверь свои экскурсии и свободно же возвращается через нее в область афоризмов, когда это нужно для подкрепления морали "пур ле жанс". Как истинно развитой человек, он гуляет и тут, и там, никогда не налагая на себя никаких уз, но в то же время отнюдь не воспекая, чтобы другие считали для себя наложение уз полезным. Напротив того, он охотно даже поддерживает вкус к узам, ибо вкус этот развязывает ему руки, расчищает перед ним больше места...

Но как ни просто такое объяснение обстоятельства, смутившего жизнь бедного простеца, для него оно все-таки представляет тарбарскую грамоту. Он не понимает, что причину поразившей его смуты составляет особенная, не имеющая ничего общего с жизнью теория, которую сочинители ее, нимало не скрываясь, называют моралью "пур ле жанс" и которую он, простец, принял за нечто вполне серьезное. Видя, что истинные регуляторы его жизни поломаны, он не задается мыслью: что ж это за регуляторы, которые ломаются при первом прикосновении к ним? не они ли именно и измяли, и скомкали всю его жизнь? - но прямо и искренно чувствует себя несчастным. Несчастье вызывает в нем протест, но протест настолько смутный, насколько смутен и источник, породивший его. От изумления он переходит к унынию и отчаянию. Он мечется как в предсмертной агонии; он предпринимает тысячу действий, одно нелепее и бессильнее другого, и попеременно клянется то отомстить своим обидчикам, то самому себе разбить голову...

Вот вероятный практический результат, к которому в конце концов должен прийти самый выносливый из простецов при первом жизненном уколе. Ясно, что бессознательность, которая дотеле примиряла его с жизнью, уже не дает ему в настоящем случае никаких разрешений, а только вносит элемент раздражения в непроницаемый хаос понятий, составляющий основу всего его существования. Она не примиряет, а приводит к отчаянию.

Ужели зрелища этого бессильного отчаяния не достаточно, чтоб всмотреться несколько пристальнее в эту спутанную жизнь? чтоб спросить себя: "что же, наконец, скомкало и спутало ее? что сделало этого человека так глубоко неспособным к какому-либо противодействию? что поставило его в тупик перед самым простым явлением, потому только, что это простое явление вышло из размеров рутинной колеи?"

Допустим, однако ж, что жизнь какого-нибудь простеца не настолько интересна, чтоб вникать в нее и сожалеть о ней. Ведь простец - это незаметная тля, которую высший организм ежемгновенно давит ногой, даже не сознавая, что он что-нибудь давит! Пусть так! Пусть гибнет простец жертвою недоумений! Пусть осуществляется на нем великий закон борьбы за существование, в силу которого крепкий приобретает еще большую крепость, а слабый без разговоров отбрасывается за пределы жизни!

Но не забудьте, что имя простеца - легион и что никакой закон, как бы он ни был бесповоротен в своей последовательности, не в силах окончательно стереть этого легиона с лица земли. Простец нарождается непрерывно, как та тля, которой он служит представителем в человеческом обществе и которую не передавить и не истребить целому сонмищу хищников. Не простецов, не тли, а "крепких" мало, да притом же на современном общественном языке, по какому-то горькому извращению понятий, "крепким" называется совсем не тот, кто действительно борется за существование, а тот, кто, подобно кукушке, кладет свои яйца в чужие гнезда. Ужели же, хотя в виду того, что простец съедобен, - что он представляет собою лучшую *anima vilis* ["гнусную душу", то есть подопытное животное (лат.)], на которой может осуществляться закон борьбы за существование, - ужели в виду хоть этих удобств найдется себялюбец из "крепких", настолько ограниченный, чтобы желать истребления "простеца" или его окончательного обессиления?

Надо сказать правду: нельзя указать ни одной книжки в литературе "крепких", где бы фантазии подобного рода нашли для себя сознательное выражение. Напротив того, все книжки свидетельствуют единогласно, что простец имеет столь же неотъемлемое право на существование, как и "крепкий", исключая, разумеется, тех случаев, когда закон борьбы, независимо от указаний филантропии, безжалостно посекает первого и щадит второго. Но, к сожалению, эта похвальная осмотрительность в значительной степени подрывается тем обстоятельством, что общее мирозерцание "крепких" столь же мало отличается цельностью, как и мирозерцание "простецов". Говоря по совести, оно не только лишено какой бы то ни было согласованности, но

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik все сплошь как бы склеено из кусочков и изолированных теорий, из которых каждая питает саму себя, организуя таким образом как бы непрекращающееся вавилонское столпотворение.

От этого происходит, что едва, например, социологическая или позитивная теория успеют найти место для простеца, как теория теологическая или экономическая уже спешат отнять у него это место и указывают на другое. И, таким образом, за спорами, простец остается непристроенным. А тут, как бы на помощь смуте, является еще практика "крепких", которая уже окончательно смешивает шашки и истребляет даже последние крохи теоретической стыдливости. Теория говорит свое: нужно пристроить простеца, нужно освободить его от колебаний, которые тяготят над его жизнью! – а практика делает свое, то есть служит самым обнаженным выражением людской ограниченности, не видящей впереди ничего, кроме непосредственных результатов, приобретаемых самолюбивою хищностью...

А между тем никто так не нуждается в свободе от призраков, как простец, и ничье освобождение не может так благотворно отозваться на целом обществе, как освобождение простеца.

Подумайте! Покуда "крепкий", благодушествуя, придумывает теории союзов – простец несет на себе все бремя действительного производительного труда. Покуда "крепкий" кладет свои яйца в чужое гнездо (увы! в гнездо того же простеца!) – простец обязывается устроить это гнездо, сделать его удобным для высживания чужих яиц. Но какая же может пойти на ум работа, если этот ум подавлен призраками, если он вращается в какой-то нескончаемой пустоте, из которой нет другого выхода, кроме отчаяния? Подумайте, сколько тут теряется нравственных сил? а если нравственные силы нипочем на современном базаре житейской суеты, то переложите их на гроши и сообразите, как велик окажется недочет последних, вследствие одного того только, что простец, пораженный унынием, не видит ясной цели ни для труда, ни даже для самого существования?

О, теоретики пенкоснимательства! о, вы, которые с пытливостью, заслуживающей лучшей участи, допытываетесь, сколько грошей могло бы быть сэкономлено, если б суммы, отпускаемые на околку льда на волжских пристанях, были расходуемы более осмотрительным образом! Подумайте, не целесообразнее ли поступили бы вы, обратив вашу всепожирающую пенкоснимательную деятельность на исследование тех нравственных и материальных ущербов, которые несет человеческое общество, благодаря господствующим над ним призракам!

В ДОРОГЕ

Я ехал недовольный, измученный, расстроенный. В М***, где были у меня дела по имению, ничто мне не удалось. Дела оказались запущенными; мои требования встречали или прямой отпор, или такую уклончивость, которая не предвещала ничего доброго. Предвиделось судебное разбирательство, разъезды, расходы. Обладание правом представлялось чем-то сомнительным, почти тягостным.

– Очень уж вы, сударь, просты! – утешали меня мои м – ские приятели. Но и это утешение действовало плохо. В первый раз в жизни мне показалось, что едва ли было бы не лучше, если б про меня говорили: "Вот молодец! налетел, ухватил за горло – и делу конец!"

Дорога от М. до Р. идет семьдесят верст проселком. Дорога тряска и мучительна; лошади сморены, еле живы; тарантас сколочен на живую нитку; на половине дороги надо часа три кормить. Но на этот раз дорога была для меня поучительна. Сколько раз проезжал я по ней, и никогда ничто не поражало меня: дорога как дорога, и лесом идет, и перелесками, и полями, и болотами. Но вот лет десять, как я не был на родине, не был с тех пор, как помещики взяли в руки гитары и запели:

На реках вавилонских – тамо седоком и плакахом... –

и до какой степени всё изменилось кругом!

С тех пор и народ "стал слаб" и все мы оказались "просты... ах, как мы просты!", и "немец нас одолел!" Да, немец. "Долит немец, да и шабаш!" – вопиют в один голос все кабатчики, все лабазники, все содержатели постоянных дворов. И вам ничего не остается делать, как согласиться с этим воплем, потому что вы видите собственными глазами и чувствуете сердцем, как всюду, и на земле и под землей, и на

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
воде и под водою – всюду ползет немец. В этих коренных русских местах, где некогда попирали ногами землю русские угодники и благочестивые русские цари и царицы, – в настоящую минуту почти всевластно господствует немец. Он снимает рожи, корчует пни, разводит плантации, овладевает всеми промыслами, от которых, при менее черной сравнительно работе, можно ожидать более прибылей, и даже угрожает забрать в свои руки исконный здешний промысел "откармливания пеунов". И чем ближе вы подъезжаете к Троицкому посаду и к Москве, этому средоточию русской святыни, тем более убеждаетесь, что немец совсем не перелетная птица в этих местах, что он не на шутку задумал здесь утвердиться, что он устраивается прочно и надолго и верною рукой раскидывает мрежи, в которых суждено барахтаться всевозможным Трифоновым, Сидорычам и прочей неуклюжей белужине и сомовине, заспавшейся, опухшей, спившейся с круга.

– Чей это домик? – спрашиваю я, указывая на стоящий в стороне новенький, с иголки, домик, кругом которого уже затеян молодой сад.

– Это Крестьян Иваныча! – отвечает ящик, – он тут рошу у помещика купил. Вон он, лес-то! Ишь сколько повалил! Словно город, костров-то наставил!

Я смотрю по указываемому направлению и вижу, что вдаль действительно раскинулось словно большое село. Это сложенные стопы бревен, тесу, досок, сажени всякого рода дров: швырковых, угольных, хворосту и т.д.

– Кто же этот Крестьян Иваныч?

– Немец. Он уж лет пять здесь орудует. Тощей пришел, а теперь, смотри, какую усадьбу взбудрил!

– Хороший человек?

– Душа-человек. Как есть русский. И не скажешь, что немец. И вино пьет, и сморкается по-нашему; в церковь только не ходит. А на работе – дошлый-предошлый! все сам! И хозяйка у него – все сама!

– А дорого за рошу дал?

– Пустое дело. Почесть что задаром купил. Иван Матвейч, помещик тут был, господин Сибиряков прозывался. Крестьян-то он в казну отдал. Остался у него лесок – сам-то он в него не заглядывал, а лесок ничего, хоть на какую угодно стройку гош! – да болотце десяти с сорок. Ну, он и говорит, Матвей-то Иваныч: "Где мне, говорит, с этим дерьмом возжаться!" Взял да и продал Крестьян Иванычу за бесценно. Владей!

– Отчего же свои крестьяне не купили, коли дешево?

– А крестьяне покудова проклажались, покудова что... Да и засилья настоящего у мужиков нет: всё в рассрочку да в годы – жди тут! А Крестьян Иваныч – настоящий человек! вероятный! Он тебе вынул бумажник, отсчитал денежки – поезжай на все четыре стороны! Хошь – в Москве, хошь – в Питере, хошь – на теплых водах живи! Болотце-то вот, которое просто в придачу, задаром пошло, Крестьян Иваныч нынче высушил да засеял – такая ли трава расчудесная пошла, что теперича этому болотцу и цены по нашему месту нет!

– Однако этот Крестьян Иваныч, если в засилье взойдет, он у вас скоро с лесами-то порешит!

– Это ты насчет того, что ли, что лесов-то не будет? Нет, за им без опаски насчет этого жить можно. Потому, он умный. Наш русский – купец или помещик – это так. Этому дай в руки топор, он все безо времени сделает. Или с весны рошу валить станет, или скотину по вырубке пустит, или под покос отдавать зачнет, – ну, и останутся на том месте одни пеньки. А Крестьян Иваныч – тот с умом. У него, смотри, какой лес на этом самом месте лет через сорок вырастет!

Едем еще верст пять-шесть; проезжаем мимо усадьбы. Большой каменный двухэтажный дом, с башнями по бокам и вышкой посередине; штукатурка местами обвалилась; направо и налево каменные флигеля, службы, скотные и конные дворы, оранжереи, теплицы; во все стороны тянутся проспекты, засаженные столетними березами и липами; сзади – темный, густой сад; сквозь листву деревьев и кустов местами

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik мелькает стальной блеск прудов. И дом, и сад, и проспекты, и пруды – все запущено, все заглохло; на всем печать забвения и сиротливости.

– Чья усадьба?

– Величкина Павла Павлыча была, а нынче Федор Карлыч купил.

– Какой Федор Карлыч?

– Немец. Сибирян (Зильберман) прозывается. Хороший барин. Умный.

– Отчего же у него так запущено? – удивляетесь вы, уже безотчетно подчиняясь какому-то странному внушению, вследствие которого выражения "немец" и "запущенность" вам самим начинают казаться несовместимыми, тогда как та же запущенность показалась бы совершенно естественною, если бы рядом с нею стояло имя Павла Павловича господина Величкина.

– Только по весне купил. Он верхний-то этаж снести хочет. Ранжереи тоже нарушил. Некому, говорит, здесь этого добра есть. А в ранжереях-то кирпича одного тысяч на пять будет.

– А много денег отдал?

– Сибирян-то? Задаром взял. Десятин с тысячу места здесь будет, только все лоскутками: в одном месте клочок, в другом клочок. Ну, Павел Павлыч и видит, что возжаться тут не из чего. Взял да на круг по двадцать рублей десятину и продал. Ан одна усадьба кирпичом того стоит. Леску тоже немало, покосы!

– Да что же, наконец, за крайность была отдавать за бесценок?

– А та и крайность, что ничего не поделаешь. Павел-то Павлыч, покудова у него крепостные были, тоже с умом был, а как отошли, значит, крестьяне в казну – он и узнал себя. Остались у него от надела клочочки – сам оставил: всё получше, с леском, местечки себе выбирал – ну, и не соберет их. Помаялся, помаялся – и бросил. А Сибирян эти клочочки все к месту пристроит.

Еще десять верст – впереди речка. На речке плотина, слышен шум падающей воды, двигающихся колес, на берегу, в лощинке, ютится красивая, вновь выстроенная мельница.

– Чья мельница?

– Была мельница – теперь фабричка. Адам Абрамыч купил. Увидал, что по здешнему месту молоть нечего, и поворотил на фабричку. Бумагу делает.

Я уже не спрашиваю, кто этот Адам Абрамович и за сколько он приобрел мельницу. Я знаю. Но мною всецело овладевает вопрос: и это земля, которую некогда прославили чудеса русских угодников! Земля, которую некогда попирали стопы благочестивых царей и благоверных цариц русских, притекавших сюда, под тихую сень святых обителей, отдохнуть от царственных забот и трудов и излить воздыхания сокрушенных сердец своих! Это ужасно! Ведь он, наконец, жид, этот Адам Абрамович! непременно он жид! Жид – и где? в каком месте?!

А вот кстати, в стороне от дороги, за сосновым бором, значительно, впрочем, поредевшим, блеснули и золоченые главы одной из тихих обителей. Вдали, из-за леса, выдвинулось на простор темное плёсо монастырского озера. Я знал и этот монастырь, и это прекрасное, глубокое рыбное озеро! Какие водились в нем лещи! и как я объедался ими в годы моей юности! Вяленые, сушеные, копченые, жареные в сметане, вареные и обсыпанные яйцами – во всех видах они были превосходны!

– Озеро-то у монастыря нынче Иван Карлыч снял! – оборачивается ко мне ямщик.

– Что ты?

– Истинно. Прежде всё русским сдавали, да, слышь, безо времени рыбу стали ловить, – ну, и выловили всё. Прежде какие лещи водились, а нынче только щурята да голавль. Ну, и отдали Иван Карлычу.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
Еще удар чувствительному сердцу! Еще язва для оскорбленного национального
самолюбия! Иван Парамонов! Сидор Терентьев! Антип Егоров! Столпы, на которых
утверждалось благополучие отечества! Вы в три дня созидавшие и в три минуты
разрушавшие созданное! Где вы? Где мрежи, которыми вы уловляли вселенную! Ужели
и они лежат заложенные в кабаке и ждут покупателя в лице Ивана Карлыча? Ужели и
ваши таланты, и ваша "удача", и ваше "авось", и ваше "небось" - все, все погибло
в волнах очищенной?

- Нынче русские только кабаками занимаются, - как бы отвечает ямщик на мою
тайную мысль, - а прочее все к немцам отошло.

- Но ведь не все же кабаками занимаются! Прочие-то чем же нибудь да живут?

- А прочие - кто невинно падшим объявился, а кто в приказчики к немцу нанялся.
Ничего - немцы нашими не гнушаются покудова. Прохора-то Петрова, чай, знаете?

- Это Голубчикова-то?

- Ну вот, его самого. Теперь он у Адама Абрамыча первый человек состоит. И у
него своя фабричка была подле Адам Абрамычевой; и тоже пофордыбачил он поначалу,
как Адам-то Абрамыч здесь поселился. Я-ста да мы-ста, да куда-ста кургузому
против нас устоять! Ан через год вылетел. Однако Адам Абрамыч простил. Нынче
Прохор-то Петров у него всем делом заправляет - оба друг дружкой не нахвалятся.

Мы едем с версту молча. Наконец ямщик снова оборачивается ко мне.

- Я вот что думаю, - говорит он, - теперича я ямщик, а задумай немец свою тройку
завести - ни в жизнь мне против его не устоять. Потому, сбруйка у него
аккуратненькая, животы не мученые, тарантасец покойный - едет да посвистывает.
Ни он лошадь не задергает, ни он лишний раз кнутом ее не хлестнет - право-ну!
Намеднись я с Крестьян Иванычем в Высоково на базар ездил, так он мне: "Как это
вы, русские, лошадей своих так калечите? говорит, - неужто ж, говорит, ты не
понимаешь, что лошадь твоя тебе хлеб дает?" Ну, а нам как этого не понимать?
Понимаем!

- Ну, и что ж?

- Известно, понимаем. Я вот тоже Крестьяну-то Иванычу и говорю: "А тебя,
Крестьян Иваныч, по зубам-то, верно, не чищивали?" - "Нет, говорит, не
чищивали". - "Ну, а нас, говорю, чистили. Только и всего". Эй, вы, колелые!

Мы с версту мчимся во весь дух. Ямщик то и дело оглядывается назад, очевидно с
желанием уловить впечатление, которое произведет на меня эта безумная скачка.
Наконец лошади мало-помалу начинают сами убавлять шаг и кончают обыкновенною
ленивою рысью.

- Уж так нынче народ слаб стал! так слаб! - произносит наконец ямщик, как бы
вдруг открывая предо мной свою заветную мысль.

- А что?

- Это чтобы обмануть, обвесить, утащить - на все первый сорт. И не то чтоб себе
на пользу - всё в кабак! У нас в М. девятнадцать кабаков числится - какие тут
прибытки на ум пойдут! Он тебя утром на базаре обманул, ан к полудню, смотришь,
его самого кабатчик до нитки обобрал, а там, по истечении времени, гляди, и у
кабатчика либо выручку украли, либо безменом по темю - и дух вон. Так оно
колесом и идет. И за дело! потому, дураков учить надо. Только вот что диво: куда
деньги деваются, ни у кого их нет!

- А немцы на что?

- И то правда. Денежка свое место знает. Ползком-ползком, а доползет-таки до
хозяина!

Опять восклицание "эй, вы, колелые!" и опять скачка.

- А вон и Пчельники! вон на горе-то!

В Пчельниках кормежка.

Восклицание "уж так нынче народ слаб стал!" составляет в настоящее время модный припев градов и весей российских. Везде, где бы вы ни были, - вы можете быть уверены, что услышите эту фразу через девять слов на десятое. Вельможа в раззолоченных палатах, кабатчик за стойкой, земледелец за сохой - все в одно слово вопиют: "Слаб стал народ!" То же самое услышали мы и на постоялом дворе.

Жена содержателя двора, почтенная и деятельнейшая женщина, была в избе одна, когда мы приехали; прочие члены семейства разошлись: кто на жнитво, кто на сенокос. Изба была чистая, светлая, и все в ней глядело запасливо, полною чашей. Меня накормили отличным ситным хлебом и совершенно свежими яйцами. За чаем зашел разговор о хозяйстве вообще и в частности об огородничестве, которое в здешнем месте считается главным и почти общим крестьянским промыслом.

- Нет нынче прежней обощи! - говорила хозяйка, вынимая из печи лопатой небольшие румяные хлебцы, - горохи - и те против прежнего наполовину родиться стали!

- Отчего же? земля, что ли, отошала?

- Нет, и не земля, а народ стал слаб. Ах, как слаб нынче народ!

Через час пришел с покоса хозяин, а за ним собрались и остальные члены семейства. Началось бесконечное чаепитие, под конец которого из чайника лилась только чуть-чуть желтоватая вода.

- Я прежде пар триста пеунов в Питер отправлял, - говорил хозяин, - а прошлой зимой и ста пар не выходил!

- Невыгодно, что ли?

- Нет, выгода должна быть, только птицы совсем ноне не стало. А ежели и есть птица, так некормна, проестлива. Как ты ее со двора - то у мужичка кости да кожа возьмешь - начини-ка ее кормить, она самоё себя съест.

- Отчего ж это?

- Да оттого, что народ стал слаб. Слаб нынче народ, ни на что не похоже!

Хозяева отобедали и ушли опять на работы. Пришел пастух, который в деревнях обыкновенно кормится по ряду то в одной крестьянской избе, то в другой. Ямщик мой признал в пастухе знакомого, который несколько лет сряду пас стадо в М.

- Ты что же от нас ушел, Мартын?

- У вас в М. дверей у кабаков больно много.

- А ты бы не во всякую попадал!

- Да, уберешься у вас! разве я один! Нынче и весь народ вообще слаб стал.

- Уж так слаб! так слаб! - вторили пастух, ямщик и хозяйка.

Частое повторение этой фразы подействовало на меня раздражительно. Ужели же, думалось мне, достаточно поставить перед глазами русского человека штоф водки, достаточно отворить дверь кабака, чтоб он тотчас же растерялся, позабыл и о горохе, и о пеунах, и даже о священной обязанности бодро и неуклонно пасти вверенное ему стадо коров! Нет, тут что-нибудь да не так. Это выдумали клеветники русского народа или, по малой мере, противники ныне действующей акцизной системы. Допустим, что водка имеет притягивающую силу, но ведь не сама же по себе, а разве в качестве отуманивающего, одуряющего средства. Некуда деваться, не об чем думать, нечего жалеть, не для чего жить - в таком положении водка, конечно, есть единственное средство избавиться от тоски и гнетущего однообразия жизни. Зачем откармливать пеунов? зачем растить горохи? Вот хозяин постоялого двора, который скупает пеунов и горохи, тот, конечно, может дать ясный ответ на эти вопросы, потому что пеуны и горохи дают ему известный барыш.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
Но ведь он и не "слаб". А мужик, то есть первый производитель товара, - он ничего перед собой не видит, никакой политико-экономической игры в спрос и предложение не понимает, барышей не получает, и потому может сказать только: "наплевать" - и ничего больше. Чтобы предаться откармливанию пеунов абсолютно, трансцендентально и бескорыстно, надо, по малой мере, хоть азбуку политической экономии знать; но этого-то знания именно у нас и нет. Оттого пеуны выходят некормные, а горохи плохие. Прежде, когда русская политическая экономия была в заведовании помещиков, каких индеек выкармливали - подумать страшно! Теперь, когда политическая экономия перешла в руки мужиков, самое название индейки грозит сделаться достоянием истории. "Индейка, - объявляет мужик прямо, - птица проестливая, дворянская, мужику кормить ее не из чего". Но ради самого бога! Кто же будет откармливать индеек?

Нет, хозяин постоялого двора был неправ, объясняя некормность нынешних пеунов так называемую "слабостью" русского народа. И прежде крестьянская птица была тоща и хила, и нынче она тоща и хила; разведением же настоящей, сильной и здоровой птицы занимался исключительно помещик, у которого были и надлежащие приспособления, чтоб сделать индейку жирною, пухлою, белою. "Уехал на теплые воды" помещик - исчезла и птица; но погодите, имейте терпение - птица будет! Придет Крестьян Иваныч - и таких представит индеек, что сам Иван Федорович Шпонька - и тот залюбуется ими!

То же самое должно сказать и о горохах. И прежние мужицкие горохи были плохие, и нынешние мужицкие горохи плохие. Идеал гороха представлял собою крупный и полный помещичий горох, которого нынче нет, потому что помещик уехал на теплые воды. Но идеал этот жив еще в народной памяти, и вот, под обаянием его, скупщик восклицает: "Нет нынче горохов! слаб стал народ!" Но погодите! имейте терпение! Придет Карл Иваныч и таких горохов представит, каких и во сне не снилось помещикам!

Остается, стало быть, единственное доказательство "слабости" народа - это недостаток неуклонности и непреоборимой верности в пастьбе сельских стад. Признаюсь, это доказательство мне самому, на первый взгляд, показалось довольно веским, но, по некотором размышлении, я и его не то чтобы опровергнул, но нашел возможным обойти. Смешно, в самом деле, из-за какого-нибудь десятка тысяч пастухов обвинить весь русский народ чуть не в безумии! Ну, запил пастух, - ну, и смените его, ежели не можете простить!

Но вот и опять дорога. И опять по обеим сторонам мелькают всё немцы, всё немцы. Чуть только клочок поуютнее, непременно там немец копошится, рубит, колет, пилит, корчует пни. И всё это только еще пионеры, разведчики, за которыми уже виднеется целая армия.

- А позволь, твое благородие, сказать, что я еще думаю! - вновь заводит речь ямщик, - я думаю, что мы против этих немцев очень уж просты - оттого и задачи нам нет.

- То есть, что же ты хочешь этим сказать?

- Немец - он умный. Он из пятиалтынного норовит целковых наделать. Ну, и знает тоже. Землю-то он сперва пальцем поковыряет да на языке попробует, каков у ней скус. А мы до этого не дошли... Просты.

Час от часу не легче. То слабы, то есть пьяны, то просты, то есть... Мы просты! Мы, у которых сложилась даже пословица: "простота хуже воровства". Не верю!

И я невольно припомнил, как м - ские приятели говорили мне:

- Уж очень вы, сударь, просты! ах, как вы просты!

И не одно это припомнил, но и то, как я краснел, выслушивая эти восклицания. Не потому краснел, чтоб я сознавал себя дураком, или чтоб считал себя вправе поступать иначе, нежели поступал, а потому, что эти восклицания напоминали мне, что я мог поступать иначе, то есть с выгодой для себя и в ущерб другим, и что самый факт непользования этою возможностью у нас считается уже глупостью.

Стыдно сказать, но делается как-то обидно и больно, когда разом целый кагал смотрит на вас, как на дурака. Не самое название смущает, а то указывание

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik пальцами, которое вас преследует на каждом шагу. Вы имели, например, случай обыграть в карты и не обыграли:

– Очень уж вы просты! ах, как вы просты!

Вас надули при покупке, вы дались в обман, не потому, чтоб были глупы, а потому, что вам на ум не приходило, чтобы в стране, снабженной полицией, мошенничество было одною из форм общежития:

– Очень уж вы просты! ах, как вы просты!

Вы управляли чужим именем и ничем не воспользовались в ущерб своему доверителю, хотя имели так называемые "случаи", "дела" и т.п.:

– Очень вы уж просты! ах, просты!

Нет, мы не просты. Ямщик соврал. Не прост тот народ, который к простоте относится с такою язвительностью, который так решительно бичует ее!

Но, может быть, мы недалновидны и невежественны? Может быть, мы самонадеянны и чересчур уж способны? Может быть, даровой прибыток нас соблазняет больше, нежели прибыток, сопряженный с трудом?

Таковы были мысли, с которыми я въехал в Р.

* * *

Между уездными городами Р. занимает одно из видных мест. В нем есть свой кремль, в котором когда-то ютилась митрополия; через него пролегает шоссе, которое, впрочем, в настоящее время не играет в жизни города никакой роли; наконец, по весне тут бывает значительная ярмарка. В двух верстах от города пролегает железная дорога и имеется станция.

Когда я приехал в Р., было около девяти часов вечера, но городская жизнь уже затихала. Всеночные кончались; последние трезвоны замирали на колокольнях церквей; через четверть часа улицы оживились богомольцами, возвращающимися домой; еще четверть часа – и город словно застыл.

Есть что-то удручающее в физиономии уездного города, оканчивающего свой день. Сумерки еще прозрачны, дневной зной только что улегся; из садов несутся благоухания; воздух мало-помалу наполняется свежестью, а движение уже покончено. Покончено резко, разом, словно оборвалось. Отовсюду несутся звуки запираемых железных засовов и болтов. В продолжение нескольких минут еще мелькают в окнах каменных купеческих домов огоньки, свидетельствующие о вечерней трапезе, а сквозь запертые ставни маленьких деревянных домиков слышится смутный говор. Но вот словно вздох пронесся над городом; все разом погасло и притихло. Мрак погустел; вы на улице одни; из-под ног что-то вдруг шмыгнуло...

До прихода поезда оставалось еще около четырех часов. В "почтовой гостинице", когда-то бойкой и оживленной, с проведением железной дороги все напоминало о запустении. В номерах пахло прокислым и затхлым; загаженные мухами окна растворялись с трудом; на кровати, вместо тюфяка, лежал замасленный и притоптанный блин. Нельзя ни спать, ни бодрствовать. Я вышел на улицу и, не встретив там ни души, направился к озеру. Озеро в Р. неопрятное, низменное; вода в нем тухлая, никуда не пригодная; даже рыба имеет затхлый, болотный вкус; но вдаль, по берегу, разбросано довольно количество сел, которые, в яркий солнечный день, представляют приятную панораму для глаз. Со стороны горожан набережная озера не в чести. Богатый люд удалился от нее поближе к кремлю и предоставил берег озера люду бедному: мелким чиновникам и мещанам. Маленькие деревянные домики вразброс лепятся по береговой покатости, давая на ночь убежище людям, трудно сколачивающим, в течение дня, медные гроши на базарных столах и рундуках и в душных камерах присутственных мест.

Я спустился к самой воде. В этом месте дневное движение еще не кончилось. Чиновники только что воротились с вечерних занятий и перед ужином расселись по крылечкам, в виду завтрашнего праздничного дня, обещающего им отдых. Тут же бегали и заканчивали свои игры и чиновничьи дети.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Сзади меня, на крыльце одинокого домика, не защищенного даже двором, сидело двое
мужчин в халатах, которые курили папиросы и вели на сон грядущий беседу.

– А Харин-то ведь проиграл дело! – говорил один. – Что ты!

– Проиграл – это верно. Дурак – ну, и проиграл.

– Да ведь у всех на знат'и, что покойник рукой не владел перед смертью! Весь
город знает, что Маргарита Ивановна уж на другой день духовную подделала! И
писал-то отец протопоп!

– И подделала, и все это знают, и даже сам отец протопоп под веселую руку не раз
проговаривался, и все же у Маргариты Ивановны теперь миллион чистоганом, а у
Харина – кошель через плечо. Потому, дурак!

– Дурак-то дурак! однако, все-таки...

– Дурак – и больше ничего. Маргарита Ивановна предлагала ему мириться: "Бери,
говорит, двадцать тысяч и ступай с богом", – зачем он не мирился! Зачем не
мирился, коли знает, что он дурак! "Нет, говорит, подавай всё!" Это дураку-то!
Где эти моды писаны! Опять, и отец протопоп, и Иван Ферапонтыч – предлагали они
ему! Предлагали они ему: "Дай нам по десяти тысяч – всё по чистой совести
покажем!" Скажем: "Подписались по неосмотрительности – и дело с концом". Зачем
он не соглашался! Зачем не соглашался, коли сам знает, что он дурак! Маргарита
Ивановна – та слова не сказала: сейчас вынула и отдала! А он кочевряжился! И
хоть бы деньги с него просили, а то векселя. Ну, дал бы, а потом еще бабушка
надвое сказала, какова бы по векселям-то получка была! Может быть, они совсем не
его рукой подписаны? А может быть, они безденежные? Дурак!!

– Так неужто ж Маргарита Ивановна так-таки ничего и не даст?

– И не даст. Потому, дурак, а дураков учить надо. Ежели дураков да не учить, так
это что ж такое будет! Пушай-ко теперь попробует, каково с сумой-то щеголять!

Собеседники смолкают. Слышится позевывание; папироски еще раз-другой вспыхнули и
погасли. Через минуту я уже вижу в окно, как оба халата сидят у ненакрытого
стола и крошат в чашку хлеб.

– Дуррак! – раздается в темноте.

А у соседнего домика смех и визг. На самой улице девочки играют в горелки,
несутся взапуски, ловят друг друга. На крыльце сидят мужчина и женщина, должно
быть, отец и мать семейства.

– Этакой случай был – и упустил. Дурак! – укоряет женщина.

– Да ты знаешь ли, дура, чем Сибирь пахнет! – возражает мужчина.

– Для дурака, куда ни оглянись – везде Сибирь. Этакой случай упустил!

Женщина вздыхает и умолкает, но не надолго.

– Дурак! – повторяет она.

– Не мути ты меня, ради Христа! Дурак да дурак! Нешто я не вижу! И словно ведь
дьявол меня осетил!

– И чего ты глядел! Счастье само в руки лезет, а он, смотри, нос от него
воротит! Дуррак!

Мужчина, уличенный и подавленный, не возражает. Раздаются вздохи и позевота;
изредка, сквозь сон, произносится слово "дурак" – и опять тихо. Но на улице,
между играющими девочками, происходит смятение.

– Не в десятый раз мне гореть! Я первая ударила! – протестует жалобный голос
одной из девочек.

– Ан я ударила! Я первая ударила! ты дура! ты и гори! – возражает другой голос,
Страница 15

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik более мужественный и крепкий.

– Я первая ударила! не мне гореть! Маньке гореть!

Спор оживляется, но протестующая сторона видимо слабеет. Слышатся возгласы: "Дура! криворотая! ишь что выдумала!" и т.д. Возгласы готовы перейти в побоище.

– Цыц, паскуда! – раздается с крыльца.

Протесты мгновенно смолкают; горелки продолжают уж без шума, и только изредка безмолвие нарушается криком: "Дура! что, взяла?"

На третьем крыльце беседуют две сибирки.

– Наш хозяин нынче такую аферу сделал! такую аферу, что страсть! – отзывается одна сибирка.

– Уж что об вашем хозяине говорить! Хозяин – первый сорт! – отзывается другая сибирка.

– Нет, да ты вообрази! Продал он Семену Архипычу партию семени, а Семен-то Архипыч сдуру и деньги ему отдал. Стали потом сортировать, а семя-то только сверху чистое, а внизу-то все с песком, все с песком!

– Дурак!

– Нет, ты вообрази! Все ведь с песком! Семен-то Архипыч даже глаза вытарачил: так, говорит, хорошие торговцы не делают!

– Дурак!

– А хозяин наш стоит да покатывается. "А у тебя где глаза были? – говорит. – Должен ли ты иметь глаза, когда товар покупаешь? – говорит. – Нет, говорит, вас, дураков, учить надо!"

– Дурак!

Дурак! дурак и дурак! – вот единственные выражения, которые раздаются в моих ушах. Мне становится наконец страшно. Куда деваться от этого паскудного, поганого слова? Десять дней сряду, прямо или косвенно, оно преследует меня; десять дней сряду я слышу наглый панегирик мошенничеству, присвоивающему себе наименование ума. Даже тут, в виду этой примиряющей ночи, только одно это слово и имеет какой-нибудь определенный смысл. Прислушайтесь к остальному говору – и вы наверно ничего из него не вынесете. Это сброд каких-то обрывков, ряд бродячих, ничем не связанных восклицаний, не имеющих даже характера проявления мысли. Детский, неосмысленный лепет, полусонное бормотание, в котором не за что ухватиться и нечего понимать, – вот что прежде всего поражает ваш слух. И вдруг прорывается слово "дурак" – и речь оживляется, начинает течь плавно и получает смысл. Все, что до сих пор бормоталось, все бессмысленные обрывки, которыми бесплодно сотрясался воздух, – все это бормоталось, копилось, нанизывалось и собиралось в виду одного всеразрешающего слова: "дурак!"

Я скорее побежал в гостиницу и, благо часы показывали одиннадцать, поехал на станцию железной дороги.

Нет! мы не просты!

* * *

Станция была тускло освещена. В зале первого класса господствовала еще пустота; за стойкой, при мерцании одинокой свечи, буфетчик дышал в стаканы и перетирал их грязным полотенцем. Даже мой приход не смутил его в этом наивном занятии. Казалось, он говорил: вот я в стакан дышу, а коли захочется, так и плюну, а ты будешь чай из него пить... дуррак!

Чтоб не сидеть одному, я направился в залу третьего класса. Тут, вследствие обширности залы, освещенной единственной лампой, темнота казалась еще гуще. На полу и на скамьях сидели и лежали мужики. Большинство спало, но в некоторых

годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
группах слышался говор.

– И как же он его нагрел! – восклицает некто в одной группе, – да это еще что – нагрел! Греет, братец ты мой, да приговаривает: помни, говорит! в другой раз умнее будешь! Сколько у нас смеху тут было!

– Дурак!

– Дурак и есть! Потому, ежели ты знаешь, что ты дурак, зачем же не в свое дело лезешь? Ну, и терпи, значит!

Я иду далее и слышу:

– Нет, ты слушай, как он немца объегорил. Вот так уж объегорил! Купил, братец, он у немца в роще четыреста сажен дров для фабрики, по три рубля за сажень. Ну, перевозил, значит, склал: милости просим, мол, Богдан Богданыч, ко мне в дом расчетец получить. Пришел Богдан Богданыч – он его честь честью: заедочков, шипучки и все такое. "Ну, говорит, пиши, Богдан Богданыч, расписку, пока я долг готовить буду". Стал это, как и путный, деньги считать, а немец ему тем временем живо расписку обработал. Только взял он у немца расписку посмотреть, видит – верно: тысячу двести рублей сполна получил. Да вместо того чтоб деньги-то отдать, он расписку-то вместе с деньгами – в карман. "Сам ты, говорит, передо мной, Богдан Богданыч, сейчас сообразился, что деньги с меня сполна получил, следственно, и дожидаться тебе больше здесь нечего".

– Ха-ха! вот, брат, так штука!

– Сколько смеху у нас тут было – и не приведи господи! Слушай, что еще дальше будет. Вот только немец сначала будто не понял, да вдруг как рявкнет: "Вор ты!" – говорит. А наш ему: "Ладно, говорит; ты, немец, обезьяну, говорят, выдумал, а я, русский, в одну минуту всю твою выдумку опроверг!"

– Молодец!

– Нет, ты бы на немца-то посмотрел, какая у него в ту пору рожа была! И испугался-то, и не верит-то, и за карман-то хватается – смехота, да и только!

– Просты еще насчет этих делов немцы! не выучены!

– Чего проще! просто дураки! совсем как оглашенные!

Далее; в третьей группе идет еще разговор.

– Нет, нынче как можно, нынче не в пример нашему брату лучше! А в четвертом году я чуть было даже ума не решился, так он меня истиранил!

– Что так?

– А вот как. Порядился я у него с артелью за тысячу рублей в деревне дом оштукатурить. Только он и говорит: "Нет, брат, Максим Потапыч, этак нельзя; надо, говорит, письменное условие нам промежду себя написать". – "Что же, говорю, Василий Порфирыч, условие так условие, мы от условий не прочь: писывали!" Вот он и сочинил, братец, условие, прочитал, растолковал; одно слово, все как следует. "Подпишись теперь", – говорит! Ну, мне чего! взял в руки перо, обмакнул, подписал – на беду грамотный! Только что бы ты думал, какую он, шельма, штуку со мной выкинул! Что я-то исполнить должен, то есть работу-то мою, всю расписал, как должно, а об себе вот что сказал: "А я, говорит, Василий Порфирыч, обязуюсь заплатить за такую работу тысячу рублей, буде мне то заблагорассудится!"

– Вот те и капуста с маслом!

– И без масла хороша будет. Слушай, что дальше. Кончили мы работу – я за расчетом к нему. "Ну, говорит, спасибо, Потапыч, нечего сказать, работа – первый сорт! Ты, говорит, в разное время двести рублей уж получил, так вот тебе еще двести рублей – ступай с богом!" – "Как, говорю, двести! мне восемьсот приходится". Слово за слово – контракт! Тут, братец, и объяснил он мне, какую он, значит, пружину под меня подвел! По-нынешнему, сейчас бы его к мировому – и

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
шабаш! а в ту пору – ступай за сорок верст в полицейское управление. Гонял я,
гонял – одна мне резолюция: сам подписывал, сам на себя и надейся! Два месяца
мучился я таким манером – так ничего и не получил.

– Ловко он тебя объехал! Однако прост ведь и ты!

– Чего прост! совсем дурак!

– А дураков, брат, учить надо! Это и в законе так сказано! Вот он тебя и поучил!

Меня берет зло. Я возвращаюсь в зало первого класса, где застаю уже в полном
разгаре приготовления к ожидаемому поезду. Первые слова, которые поражают мой
слух, суть следующие:

– Так он меня измучил! так надо мной насмеялся! Верите ли: даже во сне его увижу
– так вся и задрожу.

– Очень уж вы, сударыня, просты!

Не ожидая дальнейших объяснений, я быстро перехожу через зало и достигаю
платформы.

– Дурак! разиня! – объясняет жандарм стоящему перед ним растерявшемуся малому, –
из-под ног мешок вытащили – не чувствует! Так вас и надо! Долго еще вас, дураков,
учить следует!

Нет, мы не просты!

* * *

Бьет час; слышится сигнальный свист; поезд близко. Станция приходит в движение:
поднимается шум, беготня, суета. В моих ушах, словно перекрестный огонь,
раздаются всевозможные приветствия и поощрения. Дурак! разиня! простофиля!
фалалей! Наконец, я добираюсь до вагона 2-го класса и бросаюсь на первую
порожнюю скамью, в надежде уснуть.

Но, увы! летние ночи недолги. Не успеваем мы проехать трех станций, как в вагоне
уже совсем светло. Сквозь беспокойную дорожную дремоту я слышу говор
проснувшихся соседей, который, постепенно оживляясь и оживляясь, усиливается
наконец до того, что нечего и думать о сне. Было четыре часа утра, когда я
окончательно открыл глаза. Весь вагон бодрствовал; во всех углах шла оживленная
беседа. Мой визави, чистенький старичок, как после оказалось, старого покроя
стряпчий по делам, переговаривался с сидевшим наискосок от меня мужчиной средних
лет в цилиндре и щегольском пальто. По-видимому, знакомство началось не далее
как вчера вечером, но в речах обоих собеседников уже царствовала та интимность,
которую вообще отличаются изливания людей, вполне чистых сердцем и не имеющих на
душе ничего заветного.

– Ды вы знаете ли, как Балясины состояние приобрели? – спрашивал
старичок-стряпчий.

– Слышал... да уж давно как-то...

– Так извольте, я вам расскажу. Жил-был в Москве некто Скачков...

– Позвольте! это тот Скачков, который...

– Ну, ну, ну – он самый! Еще в Новой Слободе свой дом был... Капитолина Егоровна
потом купила...

– Это как от Каретного-то ряда пойдешь?..

– Ну, вот! вот он самый и есть! Так жил-был этот самый Скачков, и остался он
после родителя лет двадцати двух, а состояние получил – счету нет! В гостином
дворе пятнадцать лавок, в Зарядье два дома, на Варварке дом, за Москвой-рекой
дом, в Новой Слободе... Чистоганом миллион... в товаре...

– Сс!!

– Словом сказать, туз! Только вот почувствовал молодой человек, что родительской воли над ним нет, – и устремился! Прохожего на улице увидит – хватай! лей ему на голову шампанского! – вот тебе двадцать пять рублей! Женщину увидит – волоки! Мажь дегтем! – вот тебе пятьдесят! Туз, да и только! Раз даже княгиню какую-то из бедных вымазали, так насилу потом за четыре тысячи помирились! Я и мировую писал. Ну, само собой, окружили его друзья-приятели, пьют, едят, на рысаках по Москве гоняют, народ давят – словом сказать, все удовольствия, что только можно вообразить! Примазался тут и Балясин Петрушка. Видит наш Петр Федорыч, что парень-то очень хорош, коли, тоись, в обделку его пустить. И умом прост, и сердце мягкое, и рука машистая. Одно нехорошо: приятелей очень уж много. Ежели между всеми в разделку его пустить – по скольку достанется? Пустяки какие-нибудь! Так ли-с?

– Да, коли женский пол дегтем часто мазать... не надолго – это так!

– Ну, вот изволите видеть. А Петру Федорычу надо, чтоб и недолго возжаться, и чтоб все было в сохранности. Хорошо-с. И стал он теперича подумывать, как бы господина Скачкова от приятелей уберечь. Сейчас, это, составил свой плант, и к Анне Ивановне – он уж и тогда на Анне-то Ивановне женат был. Да вы, чай, изволили Анну-то Ивановну звать?

– Как же! как же! Красавица была! всей Москве известна.

– Вот-вот-вот. Вот и говорит он ей: "Ты бы, Аннушка..." понимаете? – "Что ж, говорит, я с моим удовольствием!" И начали они вдвоем Скачкова усовещивать: "И что это ты все шампанское да шампанское – ты водку пей! И капитал целее будет, и пьян все одно будешь!" Словом сказать, такое омерзение к иностранным винам внушили, что под конец он даже никакой другой посуды видеть не мог – непременно чтоб был полштоф! Поселился он в ту пору у Балясиных, как в своем доме, и встал, и лег там. Проснется утром – полштоф! пиши вексель в тысячу рублей. Проснется к обеду – полштоф! пиши вексель в две тысячи рублей! Ужинать встанет – полштоф! опять вексель в тысячу рублей. Вытянули они у него таким родом векселей на полмиллиона – он и душу богу отдал! Вот с тех пор и пошло у Балясиных состояние. И пошло им, и пошло! Теперь одних домов по Москве семь штук считают! На Ильинке-то дом чего стоит!

– Гм... прост был этот Скачков, сказывают!

– Чего прост! одно слово: дурак! Дурак! как есть скотина!

– Ну, а Балясин-то умненько живет... этот не рассорит!

– Помилуйте! прекраснейшие люди! С тех самых пор, как умер Скачков... словно рукой сняло! Пить совсем даже перестал, в подряды вступил, откупа держал... Дальше – больше. Теперь церковь строит... в Елохове-то, изволите знать? – он-с! А благодееניים сколько! И как, сударь, благодеения-то делает! Одна рука дает, другая не ведает!

– А Анна-то Ивановна... говорят, с приказчиком?

– Женщина-с! Слабость их женская!

– Ну, конечно. А впрочем, коли по правде говорить: что же такое Скачков? Ну, стоит ли он того, чтоб его жалеть!

– Помилуйте! дурак! как есть скотина! Ду-у-р-рак! Ну, а Петр Федорыч, смотрите, какой дом на Солянке по весне застроил! Всей Москве украшение будет!

– Так-с, а скажите, Капитолину-то Егоровну вы хорошо знаете?

– Капитолину-то Егоровну! Помилуйте! Еще в девицах, сударь, знал! Как она еще у отца, у Егора Прохорыча, в дому у Калужских ворот жила! вот когда знал! В переулке-то большой дом, еще булочная рядом!

– Что них за история с мужем была? С дураком-то! Помилуйте! скотина! Да все как нельзя проще произошло! Изволите видеть: задумал он в ту пору невинно падшим себя объявить – ну, она, как христианка и женщина умная, разумеется, на всякий

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
случай меры приняла... Дома и лавки на свое имя переписала, капитал тоже к рукам
прибрала. Ну, разумеется, покуда что, покуда в коммерческом деле дело вели,
покуда конкурс, покуда объявили невинно падшим – его, голубчика, в яму! А как
выпустили из ямы-то, она уж его и не приняла! "Нет, говорит, ты, голубчик, по
всем острогам сидеть будешь, а мне с тобой жить после того! Не приходится!"
Только всего и дела было.

– Сс, чем же он, однако, теперь живет?

– Так кое-когда Капитолина Егоровна из своих средств кое-что дает. Да зачем и
давать! Сейчас получил – сейчас в кабаке снес!

– Да, прост-таки Иван Гаврилыч! на порядках прост!

– Помилуйте! дурак! Коли этаких дураков не учить, кого ж после того учить надо?

Несколько секунд молчания.

– Так вы говорите, что это можно? – вновь заводит речь цилиндр, по-видимому,
возвращаясь к прежде прерванному разговору.

– Помилуйте! как же не можно! в субботу торги назначены! Как мне не знать: я сам
со стороны купца Толстопятова в конкурсе состою!

– Можно, стало быть?

– Да уж будьте покойны! Вот как: теперича в Москву приедем – и не беспокойтесь!
Я все сам... я сам все сделаю! Вы только в субботу придите пораньше. Не пробьет
двенадцати, а уж дом...

– Право, мне совестно! для первого знакомства, и, можно сказать, такое
одолжение!

– Помилуйте! за что же-с! Вот если б Иван Гаврилыч просил или господин Скачков –
ну, тогда дело другое! А то просит человек основательный, можно сказать,
солидный... да я за честь...

Цилиндр протягивает стряпчому руку и крепко пожимает руку последнего.

– Одного я боюсь, – говорит он, – чтоб Тихон Никанорыч сам не явился на торги!

– Он-то! помилуйте! статочное ли дело! Он уж с утра муху ловит! А ежели явится –
так что ж? Милости просим! Сейчас ему в руки бутылъ, и дело с концом! Что угодно
– все подпишет!

Цилиндр сладко вздыхает и несколько секунд молча улыбается.

– Да, простенек-таки почтеннейший Тихон Никанорыч! – наконец произносит он с
новым вздохом.

– Помилуйте! Скотина! На днях, это, вообразил себе, что он свинья: не ест
никакого корма, кроме как из корыта, – да и шабаш! Да ежели этаких дураков не
учить, так кого же после того и учить!

Между тем поезд замедляет ход; мы приближаемся к станции.

– Станция Александровская! поезд стоит десять минут! – провозглашает кондуктор.

Мы высыпаем на платформы и спешим проглотить по стакану скверного чая. При
последнем глотке я вспоминаю, что пью из того самого стакана, в который, за пять
минут до прихода поезда, дышал заспанный мужчина, стоящий теперь за прилавком,
дышал и думал: "Пьете и так... дураки!" Возвратившись в вагон, я пересаживаюсь
на другое место, против двух купцов, с бородами и в сибирках.

– Да, – говорит один из них, – нынче надо держать ухо востро! Нынче чуть ты
отвернулся, ан у тебя тысяча, а пожалуй, и целый десяток из кармана вылетел. Вы
Маркова-то Александра знавали? Вот что у Бакулина в магазине в приказчиках
служил? Бывало, все Сашка да Сашка! Сашка, сбегай туда! Сашка, рыло вымой! А

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
теперь, смотри, какой дом на Волхонке взбодрил! Вот ты и думай с ними!

– Да... народ нынче! Да ведь и Бакулин-то прост! ну, как-таки так? – замечает другая сибирка.

– Чего прост! Дурак как есть! Дураком родился, дураком и умрет! Потому и учат. Кабы на дураков да не плеть, от них житья бы на свете не было!

Я опять пересаживаюсь на другое порожнее место, против двоих молодых людей, которые оказываются приказчиками.

– Наш хозяин гениальный! – говорит один из них, – не то что просто умный, а поднимай выше! Знаешь ли ты, какую он на днях штуку с братом с родным сыграл?

– А что?

– Да такую, братец, штуку... вот так уж штука! Приезжает он к брату на именной пирог, а стряпчий – братнин, тоись, стряпчий – и говорит ему: "Поздравьте, говорит, братца! Какую они вчера купку сделали!" – "Какая такая покупка?" – спрашивает наш-то. "А вот, говорит, за двадцать верст отселе у господина помещика лес за сорок тысяч купили, а лесу-то там по дешевой цене тысяч на двести будет". – "Верно ты говоришь?" – "Вот как перед истинным!" – "Задаток дан?" – "Нет, сегодня вечером отдавать будет". – "Айда! пять тысяч тебе в зубы – молчок!" И притворился он, будто как у него живот болит – ей-богу! – да от именинника-то прямо к помещику. Сорок пять тысяч посулили, задаток отдали, да не глядя лес и купили!

– Молодец! Брат-то что ж?

– Ничего; даже похвалил. "Ты, говорит, дураком меня сделал – так меня и надо. Потому ежели мы дураков учить не будем, так нам самим на полку зубы класть придется".

Наконец я решаюсь, так сказать, замереть, чтобы не слышать этот разговор; но едва я намереваюсь привести это решение в исполнение, как за спиной у меня слышу два старушечьих голоса, разговаривающих между собою.

– Ему, сударыня, только понравиться нужно, – рассказывает один голос, – пошутить, что ли, мимику там какую-нибудь сделать, словом, рассмешить... Сейчас он тебе четвертную, а под веселую руку и две. Ну, а мой-то и не понравился!

– Прост, что ли, он у вас, сударыня?

– Какой уж прост! Прямо надо сказать: дурак! Ни он пошутить, ни представить что-нибудь... ну, и выгнали! И за дело, сударыня! Потому ежели дураков да не учить...

Я окончательно замираю, но и сквозь дремоту слышу:

– Дурак! Скотина – и больше ничего!

Нет! мы не просты!

* * *

* * *

В Пушкине в наш вагон врывается целая толпа немцев и французов. Все это местные воротилы: фабриканты, заводчики, лесопромышленники и проч. Между ними есть несколько и русских. На сцену выдвигаются местные вопросы: во-первых, вопрос сенной, причем предсказывается, что сено будет зимой продаваться в Москве по рублю за пуд; во-вторых, вопрос дровяной, причем предугадывается, что в непродолжительном времени дрова в Москве повысятся до двадцати рублей за сажень швырка. Русские воротилы над всеми этими "вопросами" посмеиваются; немецкие смотрят солидно.

– Вы всё смеетесь, господа! – говорит один из немцев русскому воротиле, – но подумайте, куда вы идете!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Ничего, Федор Иваныч! – отвечает воротила-русак, – покуда на свете дураки есть – жить можно!

А между тем какой-то француз патетически выкрикивает панегирик Москве, сравнивает ее с Петербургом и восклицает:

– Petersburg est beau! Moscou est grand! Moscou est sublime! Jamais, au grand jamais, meme a Paris, mon coeur n'a battu avec autant de force, comme au moment lorsque la sainte cite de Moscou ("святая Москва!" перевел он по-русски) s'est decouverte pour la premiere fois a mes yeux! C'etait quelque chose d'ineffable! Parole d'honneur! [Петербург прекрасен! Москва велика! Москва величественна! Никогда, никогда, даже в Париже, мое сердце не билось с такой силой, как в тот момент, когда святая Москва впервые открылась моим глазам. Это что-то невыразимое! Честное слово! (франц.)]

– Барышки хорошие получаете, Анатолий Филипыч! вот и понравилось! – шутил кто-то из русских.

Нет! мы не просты!

* * *

– Что ж дальше? – спросит меня читатель. – Зачем написан рассказ? Будет ли нравоучение?

Далее мы пролетели мимо Сокольничьей рощи и приехали в Москву. Вагоны, в которых мы ехали, не разбились вдребезги, и земля, на которую мы ступили, не разверзлась под нами. Мы разъехались каждый по своему делу и на всех перекрестках слышали один неизменный припев: дурррак!

Будет ли нравоучение? Нет, его не будет, потому что нравоучения вообще скучны и бесполезны. Вспомните пословицу: ученого учить – только портить, – и раз навсегда откажитесь от роли моралиста и проповедника. Иначе вы рискуете на первом же перекрестке услышать: "дурак!"

Зачем писан рассказ? А хоть бы затем, милостивые государи, чтоб констатировать, какие бывают на свете благонамеренные речи.

ОХРАНИТЕЛИ

В сем омуте, где с вами я

Купаюсь, милые друзья...

– Пушкин

Троекратный пронзительный свист возвещает пассажирам о приближении парохода к пристани. Публика первого и второго классов высыпает из кают на палубу; мужики крестятся и наваливают на плечи мешки. Жаркий июньский полдень; на небе ни облака; река сверкает. Из-за изгиба виднеется большое торговое село Л., все залитое в лучах стоящего на зените солнца.

Но вот и пристань. Пароход постепенно убавляет ходу; рокочущие колеса его поворачиваются медленнее и медленнее; лоцмана стоят наготове, с причалами в руках. Еще два-три взмаха – пароход дрогнул и остановился. В числе прочих пассажиров ссаживаюсь в Л. и я, в ожидании лошадей для дальнейшего путешествия.

Прежде, когда все было просто, и здесь была пристань простая. Устройство ее как будто говорило пассажиру: "Беги сих мест! лезь на кручу, нанимай лошадей и поезжай на все четыре стороны". И лезет, бывало, пассажир, мяся ногами глину, по отвесной почти крутизне, лезет изо всех сил, спотыкаясь и тяжело дыша. Теперь прежней простоты не осталось и следа. От баржи, на которой устроена пароходная пристань, ведет в гору деревянная лестница, довольно отлогая; в двух местах ее в горе вырыты площадки, на которых устроены тесовые навесы и поставлены столы и скамьи; на самом верху береговой кручи стоит трактир. Все эти удобства обязаны своим существованием местному трактирщику, человеку предприимчивому и ловкому, которого старожилы здешние еще помнят, как он мальчиком бегал на босу ногу по

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
улицам, и который вдруг как-то совсем неожиданно из простого полового сделался
"хозяином".

Молва не любит этого человека и называет его вором и кровопивцем. Говорят, что он соблазнил жену своего хозяина и вместе с нею обокрал последнего, что он судился за это и даже был оставлен в подозрении; но это не мешает ему быть одним из местных воротил и водить компанию с становым и тузами-капиталистами, которых в Л. довольно много. Трактир свой он устроил на городскую ногу: с половыми в белых рубашках и с поваром, одним из вымирающих обломков крепостного права, который может готовить не только селянку, но и настоящее кушанье. Сюда стекается не только контингент, ежедневно привозимый пароходами, но и весь деловой люд, снующий с утра до вечера по базарной площади и за парой чая кончающий значительные сделки. Здесь гремит недавно выписанная из Москвы машина (а иногда и странствующий жидовский оркестр), и под ее гудение, среди духоты и кухонных испарений, обдeldывают свои дела "новые люди" (они же и краеугольные камни) нашего времени: маклаки, кулаки, сводчики, кабатчики, закладчики, лесники и пр.

Вместе со мной сошел в Л. молодой человек, которого я заметил еще на пароходе. Он сел за один переход до Л. и в течение этого переезда вел себя совершенно молчаливо. Вошел в каюту и улегся на диван, не спросив даже рюмки водки, - поступок, которым, как известно, ознаменовывает свое прибытие всякий сколько-нибудь сознающий свое достоинство русский пассажир. Наружность он имел совершенно приличную, даже джентльменскую; одет был в легкую визитку и вещей имел очень мало: небольшой ручной сак, сумку через плечо и плед. С первого взгляда я принял его за одного из ближних помещиков, отправляющегося в гости к соседу.

Поднимаясь в гору, мы разговорились.

- Вы, кажется, здешний? - спросил он меня

- Верст двадцать отсюда мое имение.

- И автор "Благонамеренных речей"?

- Да.

- Читал-с.

Несколько ступенек мы прошли молча.

- Не совсем одобряю я вашу манеру, - продолжал он. - Неясно. Умаление семейных добродетелей, неуважение чужой собственности, запутанность понятий о любви к отечеству... Конечно, это программа очень благодарная, но ведь тут самое важное - отношение автора к этим вопросам дня. Читая вас, кажется, что вы на все эти "признаки времени" не шутя прогневаны. Вам хотелось бы, чтоб мужья жили с женами в согласии, чтобы дети повиновались родителям, а родители заботились о нравственном воспитании детей, чтобы не было ни воровства, ни мошенничества, чтобы всякий считал себя вправе стоять в толпе разиня рот, не опасаясь ни за свои часы, ни за свой портмоне, чтобы, наконец, представление об отечестве было чисто, как кристалл... так, кажется?

- Предоставляю вам, как читателю, выводить те заключения, какие вы сочтете нужным...

- Или, говоря другими словами, вы находите меня, для первой и случайной встречи, слишком нескромным... Умолкаю-с. Но так как, во всяком случае, для вас должно быть совершенно индифферентно, одному ли коротать время в трактирном заведении, в ожидании лошадей, или в компании, то надеюсь, что вы не откажетесь выпить со мною чаю. У меня есть здесь дельце одно, и ручаюсь, что вы проведете время не без пользы.

- Согласен, но прежде позвольте...

- Сергей Иванов Колотов, к вашим услугам. Здешний исправник.

Я взглянул на него с некоторым недоумением.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik

– Я понимаю: вам кажется странным, что такой, можно сказать, юнец, как я, несет столь непосильное бремя, как бремя, сопряженное с званием исправника. Но не забудьте, что в настоящее время мы все живем очень быстро и что вообще чиновничья мудрость измеряется нынче не годами, а плотностью и даже, так сказать, врожденностью консервативных убеждений, сопровождаемых готовностью, по первому трубному звуку, устремляться куда глаза глядят. Мы все здесь, то есть вся воинствующая бюрократическая армия, мы все – молодые люди и все урожденные консерваторы. Есть старшие молодые люди, и есть младшие молодые люди. Исправником я лишь с недавнего времени, а прежде состоял при старшем молодом человеке в качестве младшего молодого человека и, должно сознаться, блаженствовал, потому что обязанности мои были самые легкие. Я возлежал на лоне моего принципала (он мой товарищ по школе, но более счастливый карьерист, нежели я), сказывал ему консервативные сказки, вместе с ним мечтал об английских лордах и правящих сословиях и вообще кормил его печатными пряниками. Но в скором времени все это изменилось. Пошли в ход "превратные толкования"; явилось на сцену "настроение умов", а там недалеко уж и до "doctrines les plus detestables" [мерзейших доктрин (франц.)]... Словом сказать, понадобился "глаз". Et, ma foi!.. me voilà исправnik! [И вот я – исправник! (франц.)]

Высказавши эту рацею, он бойко взглянул мне в лицо, как будто хотел внушить: а что, брат, не ожидал ты, что в этом захолустье встретишь столь интересного и либерального собеседника?

Я догадался, что имею дело с бюрократом самого новейшего закала. Но – странное дело! – чем больше я вслушивался в его рекомендацию самого себя, тем больше мне казалось, что, несмотря на внешний закал, передо мною стоит все тот же достолюбезный Держиморда, с которым я когда-то был так приятельски знаком. Да, именно Держиморда! Почищенный, приглаженный, выправленный, но все такой же балагур, готовый во всякое время и отца родного с кашей съесть, и самому себе в глаза наплевать...

Я всегда чувствовал слабость к русской бюрократии, и именно за то, что она всегда представляла собой, в моих глазах, какую-то неразрешимую психологическую загадку. Несмотря на все усилия выработать из нее бюрократию, она ни под каким видом не хочет сделаться ею. Еще на глазах у начальства она и туда и сюда, но как только начальство за дверь – она сейчас же язык высунет и сама над собою хохочет. Представить себе русского бюрократа, который относился бы к себе самому, яко к бюрократу, без некоторого глумления, не только трудно, но даже почти невозможно. А между тем бюрократствуют тысячи, сотни тысяч, почти миллионы людей. Миллион ходячих психологических загадок! Миллион людей, которые сами на себя без смеха смотреть не могут, – разве это не интересно?

Я думаю, что наше бывшее взяточничество (с удовольствием употребляю слово "бывшее" и даже могу удостоверить, что двугривенных ныне воистину никто не берет) очень значительное содействие оказало в этом смысле. Взятничество располагало к излипаниям дружества и к простоте отношений; оно уничтожало преграды и сокращало расстояния; оно прекращало бюрократический индифферентизм и делало сердце чиновника доступным для обывательских невзгод. Какая, спрашивается, была возможность выработать бюрократа из Держиморды, когда он за двугривенный в одну минуту готов был сделаться из блюстителя и сократителя другом дома? Предположите, например, хоть такой случай: Держиморда имеет поручение превратить ваше бытие в небытие. Что он очень хорошо знает, какую механику следует подвести, чтоб вы в одну минуту перестали существовать, – в этом, конечно, сомневаться нельзя; но, к счастью, он еще лучше знает, что от прекращения чьего-либо бытия не только для него, но и вообще ни для кого ни малейшей пользы последовать не должно. И вот он начинает маневрировать. Прежде всего он старается поразить ваше воображение и с этою целью является в сопровождении целого арсенала прекратительных орудий. Потом он напускает на себя юпитеровскую важность, потрясает плечами, жестикулирует и сквернословит басом. Словом сказать, приступает к делу словно в путный. Но не падайте духом перед этими военными хитростями, не убеждайте, не оправдывайтесь, но прямо вынимайте двугривенный. Как только двугривенный блеснул ему в глаза – вся его напускная, ненатуральная важность мгновенно исчезла. Прекратительных орудий словно как не бывало; дело о небытии погружается в один карман, двугривенный – в другой; в комнате делается светло и радостно; на столе появляется закуска и водка... И вот перед вами Держиморда – друг дома, Держиморда – муж совета. Двугривенный прояснил его мысли и вызвал в нем те лучшие инстинкты, которые склоняют человека понимать, что бытие лучше небытия, а препровождение времени за закуской лучше,

годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов не жели препровождение времени в писании бесплодных протоколов, на которые еще бог весть каким оком взглянет Сквозник-Дмухановский (за полтинник ведь и он во всякое время готов сделаться другом дома). Сообразив все это, он выпивает рюмку за рюмкой, и не только предает забвению вопрос о небытии, но вас же уму-разуму учит, как вам это бытие продолжить, упрочить и вообще привести в цветущее состояние. Через полчаса его уже нет; он все выпил и съел, что видел его глаз, и ушел за другим двугривенным, который уже давно заприметил в кармане у вашего соседа. Вы расквитались, и хотя в вашей мошне сделалось одним двугривенным меньше, но не ропщите на это, ибо, благодаря этой монете, при вас остался драгоценнейший дар творца: ваше бытие.

Как хотите, а это своего рода habeas corpus [закон о неприкосновенности личности (лат.)].

Это до такой степени справедливо, что когда Держиморда умер и преемники его начали относиться к двугривенным с презрением, то жить сделалось многим тяжелее. Точно вот в знойное, бездождное лето, когда и без того некуда деваться от духоты и зноя, а тут еще чуются в воздухе признаки какой-то неслыханной повальной болезни.

– Тяжело, милый друг, народушке! ничем ты от этой болести не откупишься! – жаловались в то время друг другу обыватели и, по неопытности, один за другим прекращали свое существование.

Но, к счастью, такое суровое время проскочило довольно скоро. Благодаря Держиморде и долговременной его практике, убеждение, что дело о небытии не имеет в себе ничего серьезного, установилось настолько прочно, что обыватели скоро одумались. Не помогли ни неуклонность, ни неумытность, ни вразумления, ни мероприятия: жертвою их сделались лишь первые, застигнутые врасплох обыватели. Затем все постепенно вошло в колею. Напрасно старались явившиеся на смену Держимордам безукоризненные молодые люди уверять и доказывать, что бюрократия не праздное слово, – никто не поверил им. У всех еще на памяти замасленный Держимордин халат, у всех еще в ушах звенит раскатистый Держимордин смех – о чем же тут, следовательно, толковать! И вот молодые бюрократы корчатся, хмурят брови, надсаживают свои груди, принимают юпитеровские позы, а им говорят:

– Ты не пугай – не слишком-то испугались! У самого Антона Антоныча (Сквозник-Дмухановский) в переделе бывали – и то живы остались! Ты дело говори: сколько тебе следует?

– Ничего мне не надо! мне надо, чтоб вы прекратили свое существование! – усовещивали молодые бюрократы неверующих.

– Да ты подумай, что ты сказал! Ты на бога-то посмотри!

Рассудите сами, какой олимпиец не отступит перед этою беззаветною наивностью? "Посмотри на бога!" – шутка сказать! А ну, как посмотришь, да тут же сквозь землю провалишься! Как не смутиться перед этим напоминанием, как не воскликнуть: "Бог с вами! живите, множитесь и наполняйте землю!"

Так именно и поступили молодые преемники Держиморды. Некоторое время они упорствовали, но, повсюду встречаясь с невозмутимым "посмотри на бога!", – поняли, что им ничего другого не остается, как отступить. Впрочем, они отступили в порядке. Отступили не ради двугривенного, но гордые сознанием, что независимо от двугривенного нашли в себе силу простить обывателей. И чтобы маскировать неудачу предпринятого ими похода, сами поспешили сделать из этого похода юмористическую эпопею.

С тех пор отличительным характером русской бюрократии сделалось ироническое отношение к самой себе. Прежние Держиморды халатничали; нынешние Держиморды увеселяют и амикошонствуют.

Словом сказать, настоящих, "отпетых" бюрократов, которые не прощают, очень мало, да и те вынуждены вести уединенную жизнь. Даже таких немного, которые прощают без подмигиваний. Большая же часть прощает с пением и танцами, прощает и во все колокола звонит: вот, дескать, какой мы маскарад устраиваем!

Я знаю многих строгих моралистов, которые находят это явление отвратительным. Я

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik же хотя и не имею ничего против этого мнения, но не могу, с своей стороны, не присовокупить: живем помаленьку!

Только в одном случае и донныне русский бюрократ всегда является истинным бюрократом. Это – на почтовой станции, когда смотритель не дает ему лошадей для продолжения его административного бега. Тут он вытягивается во весь рост, надевает фуражку с кокардой (хотя бы это было в комнате), скрежещет зубами, сует в самый нос подорожную и возглашает:

– Да ты знаешь ли, курицын сын, с кем дело имеешь? ты это видишь? уткнись рылом-то в подорожную! уткнись! прочитай!

Но, богу споспешествуя, надо надеяться, что, с развитием железных путей, и на почтовых станциях число случаев проявления бюрократизма в значительной степени сократится.

Кстати: говоря о безуспешности усилий по части насаждения русской бюрократии, я не могу не сказать несколько слов и о другом, хотя не особенно дорогом моему сердцу явлении, но которое тоже играет не последнюю роль в экономии народной жизни и тоже прививается с трудом. Я разумею соглядатайство.

Соглядатай-француз – вот истинный мастер своего дела. Это соглядатай – бритва. Во-первых, он убежден, что делает дело; во-вторых, он знает, что ему надобно, и, в-третьих, он никогда сам не втюрится. Вот три капитальные качества, которые делают из него мастера. Он подслушивает со смыслом и в массе подслушанного умеет на лету различить существенное от ненужных околичностей. Это сберегает ему пропасть времени. Он не остановит своего внимания на пустяках, не пожалуется, например, на то, что такой-то тогда-то говорил, что человек происходит от обезьяны, или что такой-то, будучи в пьяном виде, выразился: хорошо бы, мол, Верхоянск вольным городом сделать и порто-франко в нем учредить. Ему нет дела ни до верхоянской автономии, ни до происхождения человека. Он подслушивает только то, что в данный момент и при известных условиях представляет действительный подслушивательный интерес. Подслушает, устроит всю нужную обстановку и тогда уже и пожалуется. И при этом непременно самого себя уберезет. Он не станет, в видах поощрения, воровать вместе с вором и не полезет в заговор вместе с заговорщиком. Одним словом, никогда не поступит так, что потом и не разберешь, соглядатай ли он или действительный вор и заговорщик. Он облюбует и натравит свою жертву издалека, почти не прикасаясь к ней и строго стараясь держаться в стороне, в качестве благородного свидетеля.

Итак, настоящий, серьезный соглядатай – это француз. Он быстр, сообразителен, неутомим; сверх того, сухощав, непотлив и обладает так называемыми jarrets d'acier [стальными мышцами (франц.)]. Немец, с точки зрения усердия, тоже хорош, но он уже робок, и потому усердие в нем очень часто извращается опасением быть побитым. Жид мог бы быть отличным соглядатаем, но слишком торопится. О голландцах, датчанах, шведах и проч. ничего не знаю. Но русский соглядатай – положительно никуда не годен.

Прежде всего он рохля; он – тот человек, про которого сказано, что он в воде онучи сушит. Он никогда не знает, что ему надобно, и потому подслушивает зря и, подслушавши, все кладет в одну кучу. Во-вторых, он невежествен и потому всегда поражается пустяками и пугается самых обыкновенных вещей. Прокалив их в горниле своего разнузданного воображения, он с необыкновенною любовью размазывает их и этим очень легко вводит в заблуждение. Он лжет искренно, без всякой для себя пользы и притом почти всегда со слезами на глазах, и вот это-то именно и составляет главную опасность его лжей, – опасность, к сожалению, весьма немногими замечаемую и вследствие этого служащую источником бесчисленных промахов. В-третьих, русский соглядатай или повадлив, или тщеславен. Ежели он повадлив, то всегда начинает с выпивки и потом, постепенно сдружаясь с предметом своих наблюдений, незаметно принимает его нравы и обычаи. Следя за вором, украдет сам, следя за заговорщиком, сам напишет прокламацию. И за это, к собственному удивлению, попадет на каторгу. Ежели он тщеславен, то любит, чтоб его разумели благородным человеком, называли масоном и относились к нему с ласкою и доверием. Он обожает слезы и без ума от раскаяния. Выплачьте у него на груди ваше заблуждение, скажите ему при этом, что он масон, – он простит. Он даже предупредит вас в случае надобности, разумеется, оговорившись: "Пожалуйста, между нами". И впрочем, тут же и другому, и третьему скажет: "Это я! я предупредил! нужно спасти благородного молодого человека!"

Но попробуйте сказать ему, что он совсем не масон...

И таким образом проходят годы, десятки лет, а настоящих, серьезных соглядатаев не нарождается, как не нарождается и серьезных бюрократов. Я не говорю, хорошо это или дурно, созрели мы или не созрели, но знаю многих, которые и в этом готовы видеть своего рода habeas corpus.

Такого рода мысли невольно представились мне, покуда Колотов зарекомендовывал себя.

– А знаете ли, – сказал я, – прежде, право, лучше было. Ни о каких настроениях никто не думал, исправники внутреннюю политикой не занимались... отлично!

– Да-с, но вы забываете, что у нас нынче смутное время стоит. Суды оправдывают лиц, нагрубивших квартальным надзирателям, земства разговаривают об учительских семинариях, об артелях, о сыроварении. Да и представителей нравственного порядка до пропасти развелось: что ни шаг, то доброхотный ревнитель. И всякий считает долгом предупредить, предостеречь, предупредить, указать на предстоящую опасность... Как тут не встревожиться?

– Следовательно, в настоящую минуту вы находитесь в экскурсии по предмету "настроения умов"?

– Да, я еду из З., где, по "достоверным сведениям", засело целое гнездо неблагонамеренных, и намерен пробыть до сегодняшнего вечернего парохода в Л., где, по тем же "достоверным сведениям", засело другое целое гнездо неблагонамеренных. Вы понимаете, два гнезда на расстоянии каких-нибудь тридцати – сорока верст!

– Однако, какая пропасть гнезд! А мы-то, простаки, ездим, ходим, едим, пьем, посягаем – и даже не подозреваем, что все эти отправления совершаются нами в самом, так сказать, круговороте неблагонамеренностей!

– Да-с; вот вы теперь, предположим, в трактире чай пьете, а против вас за одним столом другой господин чай пьет. Ну, вы и смотрите на него, и разговариваете с ним просто, как с человеком, который чай пьет. Бац – ан он неблагонадежный!

– Сколько опасностей!

– Опасностей нынче очень много, а главную опасность представляет дурная привычка употреблять в разговоре мудреные слова. Надобно непременно оставить эту привычку и стараться говорить как можно проще, особливо в трактирах и в домах терпимости. Возьмем, для примера, хоть слово "ассоциация". В сущности, оно до того вошло в литературный обиход, что никого уже не пугает. Но трактиры и дома терпимости придерживаются еще академического словаря, в который это слово не попало. Поэтому, ежели вы там произнесете слова вроде "ассоциация, ирригация, аберрация" – все равно: половые и погибшие создания все-таки поймут, что вы распространяете революцию.

– Приму ваше наставление к сведению. Но скажите на милость, чем же собственно занимаются лица, принадлежащие к сословию неблагонамеренных?

– Занимаются они, по большей части, неблагонамеренностями, откуда происходит и самое название: "неблагонамеренный". В частности же, не по-дворянски себя ведут. Так, например, помещик Анпетов пригласил нескольких крестьян, поселил их вместе с собою, принял их образ жизни (только он Лаферма папиросы курит, а они тютюн), и сам наравне с ними обрабатывает землю.

– Сам пашет?

– Сам в первой сохе и в первой косе. Барыши, однако, они делят совершенно сообразно с указаниями экономической науки: сначала высчитывают проценты на основной и оборотный капиталы (эти проценты неблагонамеренный берет в свою пользу); потом откладывают известный процент на вознаграждение за труд по ведению предприятия (этот процент тоже берет неблагонамеренный, в качестве руководителя работ); затем остальное складывают в общую массу.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Гм!.. капитал-то, стало быть, уважает?

– Даже очень уважает.

– Что же тут... ах, да! понимаю! "Остальное складывают в общую массу"... стало быть, и ленивый, и ретивый... да! это так! ведь это почти что "droit au travail" [право на труд (франц.)].

– Ну, до этого-то еще далеко! Они объясняют это гораздо проще; во-первых, дробностью расчетов, а во-вторых, тем, что из-за какого-нибудь гривенника не стоит хлопотать. Ведь при этой системе всякий старается сделать все, что может, для увеличения чистой прибыли, следовательно, стоит ли усчитывать человека в том, что он одним-двумя фунтами травы накопил меньше, нежели другой.

– Так что же тут... впрочем, конечно, оно странновато: помещик – и сам пашет! Однако, ведь с другой стороны, он, может быть, ни к чему другому и не способен применить свой труд, кроме обделки земли! Может быть, все его самолюбие в том именно и заключается, чтоб быть в первой сохе и в первой косе? Ведь вы знаете, что Людовик Шестнадцатый, например, даже хвастался тем, что был отличным токарем? Я даже думаю, что самая система вознаграждения рабочих, в форме участия в чистой прибыли, есть штука очень хитрая, потому что она заставляет рабочего тщательнее относиться к своей работе и тем косвенно содействует возвышению ценности земли. То есть опять же в карман собственнику капитала.

– Все это возможно, а все-таки "странно некако". Помните, у Островского две свахи есть: сваха по дворянству и сваха по купечеству. Вообразите себе, что сваха по дворянству вдруг начинает действовать, как сваха по купечеству, – ведь зазорно? Так-то и тут. Мы привыкли представлять себе землевладельца или отдыхающим, или пьющим на лугу чай, или ловящим в пруде карасей, или проводящим время в кругу любезных гостей – и вдруг: первая соха! неприлично-с! не принято-с! возмутительно-с!

– Но ведь нынче значительное число "дворянских гнезд" попало в руки купцов, кабатчиков, лесников; стало быть, и самые способы распоряжения земельною собственностью, силою вещей, изменили характер?

– Это так; но ведь и кабатчики нынче стараются действовать "по-благородному". Сидят в тени, чай пьют, варенье варят, да тут же между отдыхом и мужичков обсчитывают.

– Через кого же вы эти сведения о настроении умов получаете?

– А мало ли отставных поручиков, штабс-капитанов, губернских и коллежских секретарей без дела шатается! Все они нынче возмнили себя представителями нравственного порядка и борьбы. Живется этим ревнителям, правду сказать, довольно-таки холодно и голодно, а к делу они никаким манером пристроиться не могут. Так-таки со времени упразднения крепостного права и "висят на воздушных". Ни в управу, ни в мировые судьи – никуда их не пускают. Вот как забаллотировали их, они и начинают полегоньку перебирать то того, то другого из той партии, которая восторжествовала на выборах. И сейчас – предостереженьице!

– Однако какая гадость у вас здесь развелась!

– Всё больше от бедности и от огорчения. Какие у этих ревнителей нравственного порядка усадьбы, чем они в этих усадьбах кормятся, в каких рубищах ходят! – это даже представить себе трудно. Дрянной народ, сплетник народ. Да вот я сейчас познакомлю вас с одним капитаном из этой породы. Когда-то он служил здесь по выборам, потом судился за скрытие убийства и был изгнан со службы; потом засек свою дворовую девку, опять судился и оставлен в подозрении... словом, целый формуляр. А теперь вот "добрые начала" поддерживает! Да еще какой ехидный – что ни неделя, то извещение!

– И вы верите этим сплетням?

– Ну, я-то, собственно, с юмористической точки зрения...

– Позвольте! Но ведь вы должны же дать отчет... ну, хоть в том, что имеет произойти сегодня?

– Отчет? А помнится, у вас же довелось мне вычитать выражение: "ожидать поступков". Так вот в этом самом выражении резюмируется программа всех моих отчетов, прошедших, настоящих и будущих. Скажу даже больше: отчет свой я мог бы совершенно удобно написать в моей к – ской резиденции, не ездивши сюда. И ежели вы видите меня здесь, то единственно только для того, чтобы констатировать мое присутствие.

Он снова бойко взглянул мне в лицо, и я постарался воспользоваться этим случаем, чтобы уловить в его физиономии хоть тень замешательства. Но, к сожалению, ничего подобного поймать не мог. Бывают люди, которые накидывают на себя бойкость именно для того, чтоб маскировать известную неловкость положения, но в Колотове, по-видимому, даже не было ни малейшего сознания какой-либо неловкости. Он вполне искренно пользовался наилучшим настроением духа и остроумничал на свой собственный счет совершенно непринужденно и весело.

* * *

Мы вели разговор на площадке перед трактиром. Из "заведения" до нас доносился бестолковый говор угощающегося люда, смешанный с звоном чайной посуды и с звуками "miserere" [помилуй мя, господи (лат.)], наигрываемого машиною. Обоняние наше было тоже не совсем приятно поражаемо запахом прели, помоев, табачного дыма и кухонного чада, вылетающим из открытых настежь окон трактира. Ввиду свежести, несшейся с реки, среди царствующего окрест безмолвия, трактир казался какою-то безобразною клоакой, населенной неугомонными, поедающими друг друга гадами. Все это делало перспективу предстоявшего чаепития до того несоблазнительною, что я уж подумывал, не улепетнуть ли мне в более скромное убежище от либерально-полицейских разговоров моего случайного собеседника!

– А вот и мой капитан! – воскликнул Колотов, – эге! да с ним еще кто-то: поп, кажется! Они тоже нонче ударились во все тяжкие по части охранительных начал!

Я взглянул на вышку трактира. Там, в открытом окне, стояла длинная фигура и махала платком в нашу сторону. Из-за нее выглядывало действительно нечто похожее на попа. Длинная фигура показалась мне как будто знакомою.

Через минуту мы уже были на вышке, в маленькой комнате, которой стены были разрисованы деревьями на манер сада. Солнце в упор палило сюда своими лучами, но капитан и его товарищ, по-видимому, не замечали нестерпимого жара и порядком-таки урезали, о чем красноречиво свидетельствовал графин с водкой, опорожненный почти до самого дна.

Да, это был он, свидетель дней моей юности, отставной капитан Никифор Петрович Терпибедов. Но как он постарел, полинял и износился! как мало он походил на того деятельного куроцапа, каким я его знал в дни моего счастливого, резвого детства! Боже! как все это было давно, давно!

Наружность Терпибедова очень оригинальная. Это человек лет шестидесяти с лишком, необыкновенно длинный и весьма узкий в кости. На этом длинном туловище посажена непропорционально маленькая головка, почти лишенная подбородка, с крошечным остатком волос на висках и затылке, с заостренным носом, как у кобчика, с воспаленными глазами навывкате и с совершенно покатым лбом. Из внутренностей его, словно из пустого пространства, без всяких с его стороны усилий, вылетает громкий, словно лающий голос, – особенность, которая, я помню, еще в детстве поражала меня, потому что при первом взгляде на его сухопарую, словно колеблющуюся фигуру скорее можно было ожидать ноющего свиста иволги, нежели собачьего лая.

Одет он тоже не совсем обыкновенно. На нем светло-коричневый фрак с узенькими фалдочками старинного покроя, серые клетчатые штаны со штрипками и темно-малиновый кашемировый двубортный жилет. На шее волосистой галстух, местами сильно обившийся, из-под которого высовываются туго накрахмаленные заостренные воротнички, словно стрелы, врезающиеся в его обрюзглые щеки. По всему видно, что он постепенно донашивает гардероб, накопленный в лучшие времена.

– Ба! сочинитель! – залаял он, увидав меня.

На меня вдруг пахнуло словно сыростью. Как будто распахнулись двери давно не

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
отпиравшегося подвала, в котором без толку навален был старый, заплесневевший от
времени хлам. Я вспомнил былое, когда Терпибедов был еще, как говорится, в самой
поре и служил дворянским заседателем в земском суде. Как видите, это было еще до
появления станковых приставов на арене внутреннеполитической деятельности
(сосчитайте, сколько мне лет-то!). Он довольно часто наезжал к нам и по службе,
и в качестве соседа по имению и всегда обращал на себя мое внимание в
особенности тем, что домашние наши как-то уж чересчур бесцеремонно обращались с
ним.

– Ну, что, куроцап, каково курчат полавливаешь? – неизменно приветствовал
покойный отец мой появление капитана.

– Какие нонче курчата! – неизменно же отвечивал на это приветствие капитан, –
нынешние, сударь, курчата некормленные, а ежели и есть которые покормнее, так на
тех уж давно капитан-исправник петлю закинул.

Вслед за тем подавалась закуска, и начинались "шутки", на которые был так
неистощим помещичий строй доброго старого времени. Похлопывали Терпибедова по
животу, как бы нащупывая спрятанных там курчат, пугали его, убирали со стола его
тарелку с недоеденным кушаньем, словом, проделывали на нем весь скудный
репертуар домашних театральных представлений. Я даже помню, как он судился по
делу о сокрытии убийства, как его дразнили за это фофаном и как он оправдывался,
говоря, что "одну минуточку только не опоздай он к секретарю губернского
правления – и ничего бы этого не было".

Впоследствии Терпибедов исчез в той общей пучине, в которую кануло крепостное
право. Даже фамилии его как-то никто не упоминал, хотя связь моя с родными
местами не прерывалась. И вдруг оказывается, что он жив-живехонек, что каким-то
образом он ухитрился ухватиться за какое-то бревнышко в то время, когда прорвало
и смыло плотину крепостного права, что он притаился, претерпел либеральных
мировых посредников и все-таки не погиб. Да и не только не погиб, но даже встал
на страже, встал бескорыстно, памятуя и зная, что ремесло стража общественной
безопасности вознаграждается у нас больше пинками, нежели кредитными рублями.

– А голос-то у вас, Никифор Петрович, прежний остался! Помните, как вы однажды
тетеньку Прасковью Ивановну испугали? – сказал я, здороваясь с ним.

– Помните, сударь! не забыли! – воскликнул он, слегка дрогнув, – прежде-то,
хорошее-то время... не забыли?

– Помню.

– Да-с, примерли! все примерли! Один я да вот Григорий Александрович в здешних
местах из стариков остались. Стары, сударь! ветхи! Морковкина Петра
Александровича, предводителя-то нашего бывшего, помните?

– А где он теперь?

– В Москве, сударь! в яме за долги года с два высидел, а теперь у нотариуса в
писцах, в самых, знаете, маленьких... десять рублей в месяц жалованья получает.
Да и какое уж его писанье! и перо-то он не в чернильницу, а больше в рот себе
сует. Из-за того только и держат, что предводителем был, так купцы на него
смотреть ходят. Ну, иной смотрит-смотрит, а между прочим – и актец совершит.

– Скажите пожалуйста! ведь в тысячах душах был! а какой хлебосол! свой оркестр
держал! певчих! три трехлетия предводителем выслужил!

– Не три, а целых пять-с!

– И теперь... писцом!

– Да-с, в конторе у нотариуса сидит... духота-то какая! да еще прочие служащие в
трактир за кипятком заставляют бегать!

– Ну, а имение его?

– Имение его Пантелей Егоров, здешний хозяин, с аукциона купил. Так, за ничто
подлецу досталось. Дом снес, парк вырубил, леса свел, скот выпродал... После

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов, Тесковник музыкантов какой инструмент остался – и тот в здешний полк спустил. Не узнаете вы Грешищева! Пантелей Егоров по нем словно француз прошел! Помните, какие караси в прудах были – и тех всех до одного выловил да здесь в трактире мужикам на порции скормил! Сколько деньжищ выручил – страсть!

Он свистнул, поник головой и задумался.

– Ну, а вы как, Никифор Петрович?

– Нехорошо-с. То есть так плохо, так плохо, что если начать рассказывать, так в своем роде "Тысяча и одна ночь" выйдет. Ну, а все-таки еще ратуем.

– Служите?

– Нет, так, по своей охоте ратуем. А впрочем, и то сказать, горевые мы ратники! Вот кабы тузы-то наши козырные живы были – ну, и нам бы поповаднее было заодно с ними помериться. Да от них, вишь, только могилки остались, а нам-то, мелкоте, не очень и доверяют нынешние правители-то!

– А вам бы еще послужить, Никифор Петрович.

– Слуга покорный-с. Нынче, сударь, все молодежь пошла. Химии да физики в ходу, а мы ведь без химий век прожили, а наипаче на божью милость надеялись. Не годимся-с. Такое уж нынче время настало, что в церкву не ходят, а больше, с позволения сказать, в удобрение веруют.

– Не через край ли вы хватили, Никифор Петрович?

– Нет-с, до краев еще далеко будет. Везде нынче этот разврат пошел, даже духовные – и те неверующие какие-то сделались. Этта, доложу вам, затесался у нас в земские гласные поп один, так и тот намеднись при всей публике так и ляпнул: цифру мне подайте! цифру! ни во что, кроме цифры, не поверю! Это духовное-то лицо!

– Это действительно-с. Отец Спиридоний Благосклонов, села Бекетова иерей. Верст десять отсюда будет.

Слова эти произнес приехавший с Терпибедовым священник. Это был человек уже пожилой, небольшого роста, тучный, с большой и почти совсем лысой головой, которую он держал несколько закинув назад. Характеристическим отличием его плоского лица представлялись широкие, пещеристые ноздри, которые, так сказать, и определяли всю его физиономию. Все прочее утопало в каком-то рыжевато-белесоватом колорите. Маленькие, полупотухшие глаза неподвижно смотрели сквозь очки и казались невидящими; тонкие, выцветшие губы едва раскрывались даже в то время, когда он говорил. Редкие светло-рыжие волосы на голове висели в беспорядке; на бороде и усах почти совсем волос не было. Говорил он солидно и приятным басом, но в голосе звучала резкая подыскивающая нотка, от которой становилось неловко. Вообще это было какое-то загадочное существо, которого вид вселял опасение. Даже Терпибедов, при всем сознании своей несомненной благонамеренности, побаивался его и, по-видимому, находился под сильным его влиянием, что не мешало ему, однако ж, шутить над своим ментором довольно смелые шутки. Несмотря на жаркое июньское время, на священнике была черная суконная ряса, сильно порывевшая и запыленная.

– Рекомендую! – представил его нам Терпибедов, – отец Арсений, бывший священник нашего прихода, а ныне запрещенный поп-с. По наветам, а больше за кляузы-с. До двадцати приходов в свою жизнь переменял, нигде не ужился, а теперь и вовсе скапутился!

При этой неожиданной аттестации отец Арсений молча вскинул своими незрячими глазами в сторону Терпибедова. Под влиянием этого взора расходившийся капитан вдруг съежился и засуетился. Он схватил со стола дорожный чубук, вынул из кармана засаленный кисет и начал торопливо набивать трубку.

– Извольте же продолжать, Никифор Петрович! – солидно протянул отец Арсений. – Вы сказали "за кляузы"... извольте же объяснить, какого рода и по какому случаю эта называемая вами кляуза начало свое получила?

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Нет уж, слуга покорный! ты и на меня еще кляузу напишешь! – попробовал отшутиться Терпибедов. – Вот, сударь! – переменяя разговор, обратился он ко мне, – нынче и трубку уж сам закуриваю! а преждестал ли бы я! Прошка! вен-зиси! – и трубка в зубах!

– Действительно, прежде не малое было поощрение лености и тунеядству! – уязвил отец Арсений.

– Да, сударь, было-с, было наше времечко! – продолжал Терпибедов, словно не слыша поповского замечания. – Так вот и вы родное гнездо посетить собрались? Дельно-с. Леску малую толику спустить-с, насчет пустошей распорядиться-с... пользительно-с!

– Скажите, капитан, ведь и у вас тут, кажется, неподалеку усадьба была?

– Как же-с, как же-с! И посеячас есть-с. Только прежде я ее Монрепо прозывал, а нынче Монсуфрансом зову. Нельзя, сударь. Потому во всех комнатах течь! В прошлую весну все дожди на своих боках принял, а вот он, иерей-то, называет это благорастворением воздушух!

– Это действительно, – пояснял отец Арсений. – Весна у нас нынче для произрастания злаков весьма благоприятная была. Капуста, огурцы – даже сейчас во всем блеске. Но у кого крыша в неисправности, тот, конечно, не мало огорчений претерпел.

– Да-с, претерпел-таки. Уж давно думаю я это самое Монрепо побоку – да никому, вишь, не требуется. Пантелею Егорову предлагал: "Купи, говорю! тебе, говорю, все одно, чью кровь ни сосать!" Так нет, и ему не нужно! "В твоём, говорит, Монрепо не людям, а лягушкам жить!" Вот, сударь, как нынче бывшие холопы-то с господами со своими поговаривают!

Он усиленно потянул дым, и мне показалось, что внутри у него словно что зарычало.

– Так-то вот мы и живем, – продолжал он. – Это бывшие слуги-то! Главная причина: никак забыть не можем. Кабы-ежели бог нам забвение послал, все бы, кажется, лучше было. Сломал бы хоромы-то, выстроил бы избу рублей в двести, надел бы зипун, трубку бы тютюном набил... царствуй! Так нет, все хочется, как получше. И зальце чтоб было, кабинетец там, что ли, "мадам! перметте бонжур!", "человек! рюмку водки и закусить!" Вот что конфузит-то нас! А то как бы не жить! Житье – первый сорт!

– И то еще ладно, капитан, что вы хорошее расположение духа не утратили! – усмехнулся я.

– Помилуйте! с ними театров не надобно-с! никогда не соскучитесь! – прибавил отец Арсений. – Только вот на язык невоздержны маленько.

– Да-с, будешь и театры представлять, как в зной-то палит, а в дождь поливает! Смиряемся-с. Терпим и молчим. В терпении хотим стяжать души наши... так, что ли, батя?

– При ветхости крыши и это утешением послужить может!

– Одним словом, прежде лучше жилось – так, что ли, капитан? – поддразнил Колотов.

– Прежде! прежде-то! прежде-с!

Терпибедов словно прогремел эту фразу и даже поперхнулся от волнения.

– Прежде, я вам доложу, настоящих-то слуг ценили-с! – продолжал он, захлебываясь на каждом слове, – а нынче настоящих-то слуг...

Он вдруг оборвал, словно чуя, что незрячий взор отца Арсения покоится на нем. И действительно, взор этот как бы говорил: "Продолжай! добалтывайся! твои будут речи, мои – перо и бумага". Поэтому очень кстати появился в эту минуту чайный прибор.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– А какую я вам, Сергей Иванович, рыбку припас, – обратился Терпибедов к Колотову, – уж если эта рыбка невкусна покажется, так хоть всю речную муть перешарьте – пустое дело будет.

– Осётрик во всех статьяx-с, – мягко, даже почти благосклонно пояснил отец Арсений, дуя в блюдечко и прищелкивая зубами сахар.

– Знаю; вы писали, капитан. Господин Парначев, кажется?

– То есть писал собственно я-с, а они токмо подписом своим утвердить пожелали, – заметил отец Арсений.

– Парначев! не Павла ли Николаича сын? да ведь он тут в земстве, кажется? – вспомнил я.

– Он самый-с. В земстве-с, да-с. Шайку себе подобрал... разночинцев разных... все места им роздал, – ну, и держит уезд в осаде. Скоро дождемся, что по большим дорогам разбойничать будут. Артели, банки, каммуны... Это дворянин-с! Дворянин, сударь, а какими делами занимается! Да вот батюшка лучше меня распишет!

– Действительно, могу свидетельствовать. Много неповинных душ Валериан Павлыч совратил, даже всю округу, можно сказать, своим тлетворным дыханием заразил, – сентенциозно подтвердил отец Арсений.

– И добро бы из долгогривых – все бы не так обидно! А то ведь дворянин-с!

– Однако, вы довольно-таки несносно об нашем сословии выражаетесь, Никифор Петрович! – обиделся отец Арсений. – Прошу, оставьте!

– Ну, батя, не взыщи! Долгогривые – они ведь... примеры-то эти были!

– Чувствительнейше вас прошу! оставьте-с!

– Позвольте, господа! не в том совсем вопрос! Что же собственно делает господин Парначев, что могло в такой степени возбудить ваше негодование? Объясните сначала вы, капитан!

– Всё делает. Каммуны делает, протолериат проповедует, прокламацию распускает... всё, словом сказать, весь яд!

– Главнейше же – путям провидения не покоряется, – пояснил отец Арсений, – дождь, например, не от бога, а от облаков... да облака-то откуда?

– А вы, батюшка, имели разговор с господином Парначевым об этом предмете?

– Прямого разговору, собственно, с ними не было, а от крестьян довольно-таки наслышан. У здешних крестьян, позвольте вам доложить, издавна такой обычай: ненастье ли продолжительное, засуха ли – лекарство у них на этот счет одно: молебствие. И завсегда они соглашались на это с готовностью, нынче же строптивость выказали. Прошлую весну совсем было здесь нас залило, ну, я, признаться, сам даже предложил: "не помолобствовать ли, друзья?" А они в ответ: "Дождь-то ведь от облаков; облака, что ли, ты заговаривать станешь?" От кого, смею спросить, они столь неистовыми мыслями заимствоваться могли?

Я слушал этот обвинительный акт, и, признаюсь откровенно, слушал не без страха. Я спрашивал себя не о том, какие последствия для Парначева может иметь эта галиматья, – для меня было вполне ясно, что о последствиях тут не может быть и речи, – но в том, можно ли жить в подобной обстановке, среди столь необыкновенных разговоров? Ведь пошлость не всегда ограничивается одним тем, что оскорбляет здравый человеческий смысл; в большинстве случаев она вызывает, кроме того, и очень резкие поползновения к прозелитизму. Не она покоряется убеждениям разума, но требует, чтоб разум покорился ее убеждениям. Столкновение приходит не вдруг, но что оно несомненно придет – в этом служит ручательством тот громадный запас досужества, который всегда находится в распоряжении пошлости. Подумайте, сколько варварского трагизма скрыто в этой предстоящей коллизии!

На стороне пошлости – привычка, боязнь неизвестности, отсутствие знания,

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik недостаток отваги. Все, что отдает человека в жертву темным силам, все это предлагает ей союз свой. Заручившись этими пособниками и имея наготове свой собственный жизненный кодекс, она до такой степени насыщает атмосферу его миазмами, что вдыхание этих последних становится обязательным. Всякое явление она обозначает своими приметам, всякому факту находится готовое полуэмпирическое, полумистическое толкование. Как сложились эти приметы и толкования – этого она, конечно, не объяснит, да ей и не нужно объяснений, ибо необъяснимость не только не подрывает ее кодекса, но даже еще больше удостоверяет в его непреложности. И ежели она встречает отказ или сомнение, то это нисколько не заставляет ее вдуматься в свои требования, но только возбуждает удивление. От удивления она переходит к назойливости, от назойливости к застрашиванию. Досуг дает ей чудовищные средства в смысле прозелитизма; всегда праздная, всегда суетящаяся, она неумолимо кружит около сомневающегося и постепенно стягивает, суживает свои круги. И вот наступает момент, когда она приступает уже настоятельно и, не стесняясь формальностями, прямо объявляет свою сентенцию. Вы не верите приметам – вы безбожник, вы не раболепствуете – вы насадитель революционных идей, возмутитель, ниспровергатель авторитетов; вы относитесь критически к известным общественным явлениям – вы развратник, ищущий разрушить общественные основы...

Спрашиваю вновь: как жить и не погибнуть в подобной обстановке, среди вечного жужжания глупых речей, не имея ничего перед глазами, кроме зрелища глупых дел?

– И вы можете доказать, что господин Парначев все то делал, что вы о нем сейчас рассказали? – обратился, между тем, Колотов к Терпибедову.

– Каких доказательств! всей округе известно!

– Знаете ли, однако ж, что это до того любопытно, что мне хотелось бы, чтобы вы кой-что разъяснили. Что значит, например, выражение "распространять протолерият"? или другое: "распущать прокламацию"?

– Извините, Сергей Иванович, я вредным идеям не обучался-с. В университетах не бывал-с. Знаю, что вредные, и больше мне ничего не требуется! да-с!

– Все-таки не мешает хоть понимать, в чем заключается вред.

– Говорю вам, вся округа подтвердит. Первый – здешний хозяин. И опять еще – батюшка: какого еще лучше свидетеля! Духовное лицо!

– Могу свидетельствовать, и не токмо сам, но и других достоверных свидетелей представить могу. Хоша бы из тех же совращенных господином Парначевым крестьян. Потому, мужик хотя и охотно склоняет свой слух к зловерным учениям и превратным толкованиям, однако он и не без раскаяния. Особенно ежели видит, что начальство требует от него чистосердечного сознания.

– Прекрасно; расскажите же сначала, что вы лично имеете свидетельствовать о господине Парначеве?

Отец Арсений задумался и с минуту пощипывал редкие, чуть заметные волоски своей бороды.

– Не бесполезно ли будет? – наконец выговорил он, смотря через очки на Колотова.

– Отчего?

– Да видится мне, что слова-то наши как будто не внушают вам большого доверия...

– Гм... значит, и я уж сделался в ваших глазах подозрительным... Скоренько! Нет, коли так, то рассказывайте. Поймите, что ведь до сих пор вы ничего еще не сказали, кроме того, что дождь – от облаков.

– А этого мало-с?

– Не много-с. Рассказывайте, прошу вас.

– Даже с превеликим моим удовольствием-с. Был и со мною лично случай; был-с. Прихожу я, например, прошлой осенью, к господину Парначеву, как к духовному

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik моему сыну; в дом...

– Так господин Парначев и на духу у вас бывает?

– Бывал-с. Только, по замечанию моему, с их стороны это больше одно притворство было...

– Вы это верно знаете?

– Перстов своих в душевные раны господина Парначева не вкладывал, но судя по прочим поступкам...

– А о прочих поступках судя по этому... впрочем, продолжайте.

– Следственно, прихожу я к ним вроде как бы для беседы, а сам, между прочим, в голове свой особый предмет держу. И вижу я, значит, что в прихожей у них никого нет, а между тем из кабинета, рядом с прихожей, слышится говор. Встал я этак около двери, будто ноги вытираю, а сам, между прочим, прислушиваюсь. И слышу я эти самые слова: протолерият, эмансипация, бюрократия, плутократия... А затем и насчет сыроварения. Один голос говорит: "Вы, говорит, в недоимки по уши влезли; устраивайте артели, варите сыры – и недоимкам вашим конец". Другой голос отвечает: "Хорошо бы это, только как же тут быть! теперича у нас молоко-то робята хлебают, а тогда оно, значит, на недоимки пойдет?.." И опять первый голос говорит: "Варите сыры, потому что вам, как ни вертитесь, двух зайцев не поймать: либо детей молоком кормить, либо недоимки очищать". А другой голос отвечает: "По-моему, пусть лучше дети хлебают". – "А по-моему, – это опять первый голос, – лучше недоимки очищать, потому что своевременная уплата повинностей есть первый признак человека, созревшего для свободы". Хорошо-с. Только что, значит, он это слово "свобода" выговорил, ан, как на грех, подо мной половица и скрипнула. Сейчас это Валериан Павлыч потихоньку-потихоньку, на цыпочках, на цыпочках – и прямо к двери. И так это у них скоро сделалось, что я даже потрафить не успел. Словом сказать, так меня пристигли, что я даже совсем без слов сделался. Стою, это, в дверях и вижу только одно: что у них сидит наш крестьянин Лука Прохоров, по замечанию моему, самый то есть злейший бунтовщик. "Вы, – говорит мне господин Парначев, – коли к кому в гости приходите, так прямо идите, а не подслушивайте!" А Лука Прохоров сейчас же за шапку и так-таки прямо и говорит: "Мы, говорит, Валериан Павлыч, об этом предмете в другое время побеседуем, а теперь между нами лишнее бревнышко есть". Однако я сделал вид, как будто не обратил внимания, и взошел. Сели мы с Валерианой Павлычем друг против друга, и вижу я, что он сидит у письменного стола, на кресле покачивается, смотрит на меня и молчит. Довольно долго он эту комедию продолжал, однако и я помаленьку с своей стороны оправился: сначала легонько, потом побольше, а наконец, и прямо ему в лицо взглянул. И пришло мне в эту минуту откровение: "Дай, думаю, я ему нравоучение сделаю! Может быть, он раскается!" И стал я ему говорить: "Не для забавы, Валериан Павлыч, и не для празднословия пришел я к вам, а по душевному делу!" – "Слушаю-с", говорит. – "Грех, говорю, великий грех вы соделываете!" – "Любопытно", говорит. – "Любопытного, говорю, в грехе мало, а слез достойного много!" – "Забавно!" – "Нынче забавно, говорю, а завтра и горько показаться может! Спрошу вас: зачем вы малых сих в соблазн вводите?!" Тут уж он, знаете, и смеяться перестал. – "А вы, говорит, уверены в этом?" – "Не только, говорю, уверен, но даже достоверных свидетелей представить могу". – "Так извольте, говорит, сейчас из моего дома вон! Я, говорит, к вам не хожу и вас к себе подслушивать не прошу!"

– Каков гусь! это с духовным-то лицом так поговаривает! – прервал Терпибедов, – а вы еще доказательств требуете!

– Как выгнали, это, они меня, иду я к себе домой и думаю: за что он меня обидел! Я к нему с утешением, а он мне на это: "Пошел вон!" Иду, это, и вижу: на улице мальчишки играют. И только, значит, завидели меня, как все разом закричали: "Поп! поп! выпусти собаку!" [Детская крестьянская игра. Берут полевой цветок и ждут, пока из чашечки его выползет букашка; в ожидании кричат: "Поп! поп! выпусти собаку!" (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)] Подошел я к одному: "Друг мой! кто тебя этому научил?" – "Новый учитель", говорит. К другому: "Тебя кто научил?" – "Новый учитель", говорит. – "Нехорошо, говорю, дети! когда я у вас в школе учителем был, то вы подобных неистовых слов не говаривали!.." А нового-то учителя, только за две недели перед тем, господин Парначев из губернии вывез. В столь короткое время – и уж столь быстрые успехи ученики сделали!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Так вы прежде учителем в школе были?

– Был-с, и прошедшею осенью, по проискам господина Парначева, сменен-с.

– За что ж вас сменили?

– А за то, собственно, и сменили, что, по словам господина Парначева, я крестьянских мальчиков естеству вещей не обучал, а обучал якобы пустякам. У меня и засвидетельствованная копия с их доношения земскому собранию, на всякий случай, взята. Коли угодно...

– Гм!.. да! возвратимся прежде к вашему случаю. Из рассказа вашего я понял, что вы не совсем осторожно слушали у дверей, и господину Парначеву это не понравилось. В чем же тут, собственно, злоумышление?

– Позволю себе спросить вас: ежели бы теперича они не злоумышляли, зачем же им было бы опасаться, что их подслушают? Теперича, к примеру, если вы, или я, или господин капитан... сидим мы, значит, разговариваем... И как у нас злых помышлений нет, то неужели мы станем опасаться, что нас подслушают! Да милости просим! Сердце у нас чистое, помыслов нет – хоть до завтра слушайте!

– Да, но, с точки зрения общественной безопасности, этого факта все-таки недостаточно. Повторяю: из рассказа вашего я вижу только одно, что вы подслушивали...

– Не подслушивал, а как бы сказать – хотел достойные примечания вещи усмотреть.

– Ну, да, подслушивали. Вот это самое подслушиванием и называется. Ведь вы же сами сейчас сказали, что даже не успели "потрафить", как господин Парначев отворил дверь? Стало быть...

– А по моему мнению, это не только не к оправданию, но даже к отягчению их участи должно послужить. Потому, позвольте вас спросить: зачем с их стороны поспешность такая вдруг потребовалась? И зачем, кабы они ничего не опасались, им было на цыпочках идти? Не явствует ли...

– А я полагаю, что это затем было сделано, чтоб вы вперед подслушивали умеючи. А вы вот подслушиваете, да ничего не слышите!

– Извините меня! Довольно неистовых слов слышал: свобода, эмансипация, протолериат!.. И, опять-таки, случай с ребяташками... не достаточно ли из одного явствует...

– Слушайте-ка! ведь вы сами отлично знаете, что это детская игра?

– Но почему же они предприняли именно ее, а не другую какую игру, и предприняли именно в такой момент, когда меня завидели? Позвольте спросить-с?

– Об этом вы бы у них спросили!

– Стало быть, по мнению вашему, все это – дело возможное и ненаказуемое? Стало быть, и аттестация, что я детей естеству вещей не обучал, – и это дело допустимое?

– Ежели вы находили эту аттестацию для себя обидною, то вам следовало ее той инстанции обжаловать, от которой зависит определение сельских учителей.

– Позвольте мне сказать! Имею ли же я, наконец, основание законные свои права отыскивать или должен молчать? Я вашему высокородию объясняю, а вы мне изволите на какую-то инстанцию указывать! Я вам объясняю, а не инстанции-с! Ведь они всего меня лишили: сперва учительского звания, а теперь, можно сказать, и собственного моего звания...

– Ну, это что-то уж мудрено!

– Напротив того, даже очень легко-с. Позвольте мне объяснить. После того случая, о котором я имел честь вам сообщить, поселилась между нами заметная холодность, а с ихней стороны, можно сказать, даже ненависть. Я доношение – и они доношение;

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
я в губернию – и они в губернию. Что они там говорили, какие оправдания против
моих доношений принесли – этого я не знаю. Знаю только, что наряжено было надо
мною следствие, якобы над беспокойным и ябедником, а две недели тому назад
пришло и запрещение. И выходит теперь, что я запрещенный поп-с! Ужели и этого в
глазах начальства еще недостаточно?

Сказав последние слова, отец Арсений даже изменил своей сдержанности. Он встал
со стула и обе руки простер вперед, как бы взывая к отмщению. Мы все смолкли.
Колотов пощипывал бородку и барабанил по столу; Терпибедов угрюмо сосал чубук; я
тоже чувствовал, что любопытство мое удовлетворено вполне и что не мешало бы
куда-нибудь улизнуть. Наконец капитан первый нарушил тишину.

– Стало быть, теперича нужно дневного разбоя... тогда только начальство внимание
обратит? – сказал он, не обращаясь ни к кому в особенности.

– Да чего-нибудь в этом роде, – пошутил Колотов.

– Чтобы нас, значит, грабить начали?

– Да, вообще... протолерият бы какой-нибудь произвели.

Я невольно усмехнулся.

– Смеется... писатель! Смейтесь, батюшка, смейтесь! И так нам никуда носу
показать нельзя! Намеднись выхожу я в свой палисадник – смотрю, а на клумбах
целое стадо Васюткиных гусей пасется. Ну, я его честь честью: позвал-с,
показал-с. "Смотри, говорю, мерзавец! любуйся! ведь по-настоящему в остроге
сгноить за это тебя мало!" И что ж бы, вы думали, он мне на это ответил?" "От
мерзавца слышу-с!" Это Васютка-то так поговаривает! ась? от кого, позвольте
узнать, идеи-то эти к ним лопали?

– Вы бы у Васютки и спросили, кто, мол, тебя выучил на "мерзавца" "мерзавцем"
отвечать?

– Стало быть, господину Парначеву так-таки ничего и не будет?

– Не знаю; до сих пор ничего замечательного не вижу... Понял я из ваших слов
одно: что господин Парначев пропагандирует своевременную уплату недоимок – так
ведь это не возбраняется!

– Не понравился, батя! не понравился наш осётрик господину молодому исправнику!
Что ж, и прекрасно! Очень даже это хорошо-с! Пускай Васютки мерзавцами нас
зовут! пускай своих гусей в наших палисадниках пасут! Теперь я знаю-с. Ужо как
домой приеду – сейчас двери настезь и всех хамов созову. Пасите, скажу, подлецы!
хоть в зале у меня гусей пасите! Жгите, рубите, рвите! Исправник, скажу,
разрешил!

– Гм!.. Это недурно! только ведь вы, пожалуй, не скажете, капитан?

– Ну, вот вам крест! провалиться мне на сем месте, ежели не скажу!

– Скажите, скажите! я не обижусь. Ну-с, конференция, стало быть, кончена; о
господине Парначеве вы никаких больше сведений сообщить не имеете?

– По замечанию моему, хозяин здешний словно бы изъявлял готовность
свидетельствовать! – отозвался отец Арсений, – впрочем, думаю, что вряд ли и его
свидетельство во внимание примется.

– Нет, отчего ж! пускай свидетельствует! Только я должен вас предупредить, что
мне известны некоторые эпизоды из жизни здешнего хозяина...

– Эпизодов, ваше высокоблагородие, в жизни каждого человека довольно бывает-с! а
у другого, может быть, и больше их... Говорить только не хочется, а ежели бы,
значит, биографию каждого из здешних помещиков начертать – не многим бы по вкусу
пришлось!

– Какие же это эпизоды про здешнего хозяина? – полюбопытствовал я у отца
Арсения.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Пустое дело-с. Молва одна. Сказывают, это, будто он у здешнего купца Мосягина жену соблазнил и вместе будто бы они в ту пору дурманом его опоили и капиталом его завладели... Судбище у них тут большое по этому случаю было, с полгода места продолжалось.

– Мосягин? Этот не яичник ли? – вспомнилось мне.

– Он самый-с. Яйца по окрестности скупал и в Петербург отправлял.

– Жив он?

– И посеичас здесь живет. И прелюбодейственная жена с ним. Только не при капиталах находятся, а кое-чем пропитываются. А Пантелей Егорыч, между прочего, свое собственное заведение открыл.

– И какое еще заведение-то! В Москве не стыдно! за одну машину восемьсот заплатил! – вставил Терпибедов.

– Мужик умный. А в настоящее время даже и христианин-с.

– Ну, батя! что христианин-то он – это еще бабушка надвое сказала! Умница – это так! Из шельмов шельма – это я и при нем скажу! – отрекомендовал Терпибедов.

– Позвольте, батюшка! – вновь начал я, – вот вы сейчас сказали, что Мосягин и теперь здесь живет? Что ж он, так-таки просто и живет?

– А что же ему больше делать, сударь?

– Да ведь вы говорите, что Пантелей Егоров жену у него соблазнил, капитал отнял...

– То есть, как бы вам сказать! Кто говорит: отнял, а кто говорит: Мосягин сам оплошал. Прогорел, значит. А главная причина, Пантелей Егоров теперича очень большое засилие взял – ну, Мосягину против его веры и нету.

– Тем, стало быть, и кончено?

– По здешнему месту эти концы очень часто, сударь, бывают. Смотришь, это, на человека: растет, кажется... ну, так растет! так растет! Шире да выше, краше да лучше, и конца-краю, по видимостям, деньгам у него нет. И вдруг, это, – прогорит. Словно даже свечка, в одну минуту истает. Либо сам запыет, либо жена сбесится... разумеется, больше от собственной глупости. И пойдет, это, книзу, да книзу, уже да хуже...

– И дельно! потому – дурак! Учить дураков надо! – выпалил Терпибедов.

– По здешнему месту насчет дураков даже очень строго. Вроде как даже именем своим владеть недостойными почитаются... Сейчас, это, или сам от своей глупости прогорит, или унесет у него кто-нибудь...

– Дурак – это по-здешнему значит: выморочный человек, – пояснил Колотов.

– Так прикажете позвать Пантелея Егорыча?

– Позовите! позовите! пускай свидетельствует!

* * *

На оклик Терпибедова вошел человек, составлявший совершенную противоположность с запрещенным попом. Насколько отец Арсений был солиден и сдержан в своих движениях, настолько же Пантелей Егоров был юрок и быстр. Несмотря на несколько лет благополучного хозяйничанья, он все еще резко напоминал собой бойкого полового, хотя, впрочем, уже свысока относился к этой незавидной должности и изо всех сил старался подражать "настоящим хозяевам". Это был малый лет тридцати, с круглым, чистым и румяным лицом, курчавую голову, небольшою светло-русою бородкой и маленькими, беспокойно высматривающими глазками. Одет он был в полурусский-полунемецкий костюм, состоявший из двубортного застегнутого сюртука,

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik жилета и брюк, запущенных в длинные, до колен, сапоги. Вся фигура его была в непрерывном движении: голова поминутно встряхивалась, глаза бегали, ноздри раздувались, плечи вздрагивали, руки то закидывались за спину, то закладывались за борты сюртука. Да и сам он беспрестанно то садился на стул, то опрометью вскакивал с него, как бы вследствие давления какой-то скрытой пружины. Вообще, с первого же взгляда можно было заключить, что это человек, устраивающий свою карьеру и считающий себя еще далеко не в конце ее, хотя, с другой стороны, заметное развитие брюшной полости уже свидетельствовало о рождающейся склонности к сибаритству. Как видно, он ожидал, что его позовут на вышку, потому что, следом за ним, в нашу комнату вошло двое половых с подносами, из которых на одном стояли графины с водкой, а на другом – тарелки с закуской.

– Для первого знакомства, позвольте просить! Ваше высочородие! – обратился он к Колотову, указывая рукой на подносы.

– Благодарю вас, я потом обедать спрошу. Вот капитан, вероятно, не откажется. Садитесь, пожалуйста.

– Постоим-с.

Он действительно минуты две постоял, потом как-то боком придвинул стул и боком же сел на него. Но вслед за тем опять вскочил, словно его обожгло. Терпибедов и отец Арсений тыкали между тем вилками в кусочки колбасы и икры и проглатывали рюмку за рюмкой.

– Вы знаете господина Парначева? – спросил Колотов хозяина.

Пантелей Егоров вдруг встрепенулся.

– Позвольте вам доложить! – зачастил он, становясь навтыжку, словно у допроса, и складывая назади руки. – Не токма что знаем, а даже очень хорошо, можно сказать, понимаем их!

– Что же вы понимаете?

– А так мы их понимаем, как есть они по всей здешней округе самый вредный господин-с. Теперича, ежели взять их да еще господина Анпетова, так это именно можно сказать: два сапога – пара-с!

– Это тот Анпетов, который сам пашет?

– Они самые-с. Позвольте вам доложить! скажем теперича хоть про себя-с. Довольно я низкого звания человек, однако при всем том так себя понимаю, что, кажется, тыщ бы не взял, чтобы, значит, на одной линии с мужиком идти! Помилуйте! одной, с позволения сказать, вони... И боже ты мой! Ну, а они – они ничего-с! для них это, значит, заместо как у благородных господ амбре.

– Ну-с, господин Анпетов пашет, а господин Парначев что делает?

– Они не пашут – это действительно-с. Только, осмелюсь вам доложить, большая от них смута промежду черняди идет-с! Такая смута! такая смута! И ежели теперича, примерно, хоть между крестьян... или даже между господ помещиков, которые из молодых-с... маленечко, значит, позамялось, – так это именно их, господина Парначева, дело-с.

– Что же собственно позамялось-то?

– Всё-с, ваше высочородие! Словом сказать, всё-с. Хоша бы, например, артели, кассы... когда ж это видано? Прежде, всякий, ваше высочородие, при своем деле состоял-с: господин на службе был, купец торговал, крестьянин, значит, на господина работал-с... А нынче, можно сказать, с этими кассами да с училищами, да с артелями вся чернядь в гору пошла!

– Но почему же вы думаете, что это от Парначева идет?

– Помилуйте! позвольте вам доложить! как же нам-то не знать! Всей округе довольно известно. Конечно, они себя берегут и даже, как бы сказать, не всякому об себе высказывают; однако и из прочих их поступков очень достаточно это

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
видно.

– Вот это прекрасно, что вы об поступках упомянули. Можете назвать хоть один?

– Помилуйте! даже очень могу-с. Теперича, возьмем к примеру хошь такой случай. Приезжают они на днях в наше селение... насчет школы, значит. Собрали, это, сход, сами к нему вышли и зачали с стариками говорить: "Селение, говорят, у вас обширное, кабаков несть числа, а школы нет. И как вы люди темные, то от этого самого, значит, все вас обижают. Купцы обсчитывают и обмеривают, чиновники – притесняют. И нигде вы себе прав не можете найти, потому, ежели даже в суд вы жаловаться пойдете, так и там своего дела порядком рассказать не можете. И все будто бы потому, что школы нет. А будет школа, и пойдет, это, значит, везде свет. Не вы, мол, так дети у вас ученые будут и всякое себе удовлетворение сделать будут в состоянии. И никто их не обидит, потому что у ученого человека против всякой обиды средство есть!" Хорошо-с. Говорят, это, они, а я между народом стою и слушаю-с. И все мне думается: что-то как будто они неловко говорят! Чиновники, мол, обижают, а ведь чиновники-то – слуги царские, как же, мол, это так! Опять и это: "Всякий будто человек может сам себе удовлетворение сделать" – где же это видано! в каких бессудных землях-с! "Ах! думаю, далекомыко вы, Валериан Павлыч, камешок-то забрасываете, да как бы самим потом вытаскивать его не пришлось!" И сейчас же мне, сударь, после того мысль вошла. Покуда он с ними разговаривал, а я бегом-бегом, да в трактир: "Постой, думаю, устрою я тебе сюрприз!" Пришел в трактир-с, встал за стойку и жду, как они, наговорившись, придут чай пить. И действительно-с, через полчаса времени, как только они на крыльцо, а я сейчас, значит, к машине: Коль славен... это, значит, в Сионе-с! И что ж бы вы думали! хошь бы он бровью пошевелинул! Посетители сидят, чай пьют, все, можно сказать, в умилении, а он как вошел в фуражке, так и шмыгнул наверх-с! Ну, и точно-с. Посмотрел я тогда на них, да только вслед головой строгонько покачал. Даже многие посетители в то время это заметили. И так это мне обидно сделалось, глядя на ихнее невежество, что, кажется, деньги эти самые, которые они мне за чай потом заплатили... кажется, скорее за окно бы их вышвырнул, нечем таких посетителей у себя принимать!

– Ну, брат, деньги-то ты за окно не бросишь, хоть бы они от самого антихриста были! – по своему обыкновению, сюрпризом вставил Терпибедов.

Отца Арсения передернуло; Пантелей Егоров побледнел.

– Мелко вы, сударь, плаваете, – сказал он, блистая глазами на Терпибедова, – вот что скажу вам, Никифор Петрович!

– Позвольте! оставим, капитан, эпизоды! – вступился Колотов, – и будем заниматься предметом нашей конференции. Итак, вы говорите, что господин Парначев этим поступком сильно вас оскорбил?

– Так оскорбил! так оскорбил-с, даже душа во мне вся перевернулась! как перед истинным-с! Помилуйте! тут публика... чай кушают... в умилении-с... а они в фуражке! Все, можно сказать, так и ахнули!

– И вы полагаете, что со стороны господина Парначева тут был умысел?

– Позвольте вам доложить! как же возможно, чтобы без умысла! Тут, значит, публика... чай кушают... в умилении... а они в фуражке!

– Поймите меня, тут все дело в том, был ли умысел или нет? Беретесь ли вы доказать, что умысел был?

– Помилуйте! зачем же-с? И как же возможно это доказать? Это дело душевное-с! Я, значит, что видел, то и докладываю! Видел, к примеру, что тут публика... в умилении-с... а они в фуражке!

– Зачем же вы тогда прямо не заметили господину Парначеву, что он поступает оскорбительно для вас и ваших гостей! Может быть, дело-то и разъяснилось бы.

– Кажется, таких правил нет, чтобы мужикам господ учить! Они здесь всех учат, а не то чтобы что-с!

– Однако, ежели теперь господину Парначеву сообщить ваше показание, так ведь он,

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik пожалуй, и в амбицию вломиться может!

– Сделайте ваше одолжение! зачем же им сообщать! И без того они ко мне ненависть питают! Такую, можно сказать, мораль на меня пускают: и закладчик-то я, и монетчик-то я! Даже на каторге словно мне места нет! Два раза дело мое с господином Мосягиным поднимали! Прошлой зимой, в самое, то есть, бойкое время, рекрутский набор был, а у меня, по их проискам, два питейных заведения прикрыли! Бунтуют против меня – и кончено дело! Стало быть, ежели теперича им еще сказать – что же такое будет!

– Вот видите! вы дела завязываете, а на очную ставку стать не хотите!

– Зачем же-с! я, ваше высокородие, по простоте-с! Думал это, значит, что их только на замечание возьмут – тем, мол, дело и кончится!

– А вы полагаете, что взять человека на замечание – это ничего?

Пантелей Егоров вдруг смолк. Он нервно семенил ногами на одном месте и бросал тревожные взгляды на отца Арсения. Но запрещенный поп стоял в стороне и тыкал вилкой в пустую тарелку. На минуту в комнате воцарилось глубокое молчание.

– Стало быть, господину Парначеву так-таки ничего и не будет!! – вдруг, словно громом, раскатился Терпибедов.

ПЕРЕПИСКА

"Любезная маменька.

Месяц тому назад я уведомлял вас, что получил место товарища прокурора при здешнем окружном суде. С тех пор я произнес уже восемь обвинительных речей, и вот результат моей деятельности: два приговора без смягчающих вину обстоятельств; шесть приговоров, по которым содеянное преступление признано подлежащим наказанию, но с допущением смягчающих обстоятельств; оправданий – ни одного. Можете себе представить, в каком я восторге!!

Начальство заметило меня; между обвиняемыми мое имя начинает вселять спасительный страх. Я не смею еще утверждать решительно, что последствием моей деятельности будет непосредственное и быстрое уменьшение проявлений преступной воли (а как бы это было хорошо, милая маменька!), но, кажется, не ошибусь, если скажу, что года через два-три я буду призван к более высокому жребию.

Двадцати шести, двадцати семи лет я буду прокурором – это почти верно. Я имею полное основание рассчитывать на такое повышение, потому что если уже теперь начальство без содрогания поручает мне защиту государственного союза от угрожающих ему опасностей, то ясно, что в будущем меня ожидают очень и очень серьезные служебные перспективы.

Приняв во внимание все вышеизложенное, а равным образом имея в виду, что казенное содержание, сопряженное с званием сенатора кассационных департаментов, есть один из прекраснейших уделов, на которые может претендовать смертный в сей земной юдоли, – я бодро гляжу в глаза будущему! Я не ропщу даже на то, что некоторые из моих товарищей по школе, сделавшись адвокатами, держат своих собственных лошадей, а некоторые, сверх того, имеют и клеперов!

Всем этим я обязан вам, милая маменька, или, лучше сказать, той безграничной пронизательности материнской любви, которая сразу умела угадать мое настоящее назначение. Вы удержали меня на краю пропасти в ту минуту, когда душа моя, по неопытности и легкомыслию, уже готова была устремиться в зияющие бездны адвокатуры!

"– Друг мой! – сказали вы мне, – в России без казенной службы прожить нельзя: непременно что-нибудь такое сделаешь, что вдруг очутишься сосланным в Сибирь, в места не столь отдаленные!" – Святая истина!

Теперь, покуда пора увлечения еще не прошла, адвокаты спешат пользоваться дарами жизни. Они имеют лучшие экипажи, пользуются лучшими кокетками, пьют лучшие вина! Но тем печальнее будет час пробуждения... особенно для тех, которых он настигнет в не столь отдаленных местах Сибири!

Я рожден прокурором, милая маменька! Обвинение, так сказать, гнездится в крови моей!

Однажды содеянное преступление находит во мне мстителя беспощадного, неумолимого и неумолимого! Ибо что такое преступление, милая маменька?

С одной стороны, преступление есть осуществление или, лучше сказать, проявление злой человеческой воли. С другой стороны, злая воля есть тот всемогущий рычаг, который до тех пор двигает человеком, покуда не заставит его совершить что-либо в ущерб высшей идее правды и справедливости, положенной в основание пятнадцати томов Свода законов Российской империи.

Таково, милая маменька, преступление!

Но ежели правда и справедливость нарушены, то может ли закон равнодушно взглянуть на факт этого нарушения? Не вправе ли он потребовать, чтобы нарушенное было восстановлено быстро, немедленно, по горячим следам? чтобы преступление, пристигнутое, разоблаченное от всех покровов, явилось перед лицом юстиции в приличной ему наготе и притом снабженное неизгладимым клеймом позора на мрачном челе?

Отсюда: необходимость наказания.

Наказание, милая маменька, не есть что-либо самостоятельное. Это не что иное, как естественное и неизбежное последствие самого преступления – и ничего более.

Кто мыслит "преступление", тот, в то же время, неизбежно, так сказать фаталистически, мыслит и "наказание"!

Таков неумолимый закон логики!

Не потому должен быть наказан преступник, что этого требует безопасность общества или величие закона, но потому, что об этом вопиет сама злая воля, служащая источником содеянного преступления. Она сама настаивает на необходимости наказания, ибо в противном случае она не совершила бы всегосущественного круга, который обязывается совершить!

Преступление, оставленное без наказания, – это недоговоренное слово, это недоконченная мысль, это недоносок, который осужден умереть при самом рождении!

Предположение это так нелепо и, можно сказать, даже чудовищно, что ни один адвокат никогда не осмелится остановиться на идее ненаказуемости, и все так называемые оправдательные речи суть не что иное, как более или менее унижительные варьяции на тему: "не пойман – не вор!"

На ком же, спросите вы, лежит обязанность восстанавливать нарушенную правду?

Священная эта обязанность лежит, во-первых, на самом законе, а во-вторых, на суде, который, однако ж, бессилен, если не подвигнут к тому инициативой прокурора.

Прокурор – это излюбленный человек закона, это око его, это преданнейший и, так сказать, всегда стоящий на страже исполнитель его велений!

Прокурор!!

Он ни на минуту не покидает величественного храма правосудия, он неустанно бодрствует и неустанно же совершает возлияния! Это его долг, милая маменька, это провиденциальное его назначение. Без этого – прокурор немислим!!

Он закаляет законопреступную волю человеческую и, очистив ее при посредстве наказания, приносит в жертву вечной идее правды и справедливости!

И рядом с этим поразительным зрелищем вы видите жалкую, бессильную стряпню адвоката, который надеется, что под действием его тлетворного дыхания самое солнце правды утратит свою лучезарность!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Не безумная ли это надежда, милая маменька?

Засим, испрашивая вашего благословения и целуя ваши ручки, остаюсь неизменно любящий вас сын

Николай Батищев.

Р. С. Помните ли вы Ерофеева, милая маменька? того самого Ерофеева, который к нам по праздникам из школы хаживал? Теперь он адвокат, и представьте себе, какую штуку удрал! – взял да и объявил себя специалистом по части скопцов! До тех пор у него совсем дел не было, а теперь от скопцов отбою нет! На днях выиграл одно дело и получил сорок тысяч. Сорок тысяч, милая маменька!! А ведь он даже не очень умный!

* * *

"Милый дружок Николенька.

Живя несколько лет безвыездно в деревне, я так от нынешних порядков отстала, что, признаюсь, не совсем даже поняла, какая такая это должность, в которой все обвинять нужно. Да, спасибо, братец Григорий Николаич растолковал. "В нынешнее время, – сказал он, – во всех образованных государствах судопроизводство устроено на манер известных *pieces a tiroir* [пьес с нарочито запутанной интригой(франц.)] (помню я эти пьесы, мой друг; еще будучи в институте, в "*La fille de Dominique*" ["Дочь Доминика" (франц.)] игрывала). Выдвинь один ящик – обвинение; выдвинь другой ящик – оправдание". А потом: *du choc des opinions jaillit la verite* [в споре рождается истина (франц.)] – точь-в-точь как в "*La fille de Dominique*", где, сколько я ни переодевалась, а в конце пьесы все-таки выяснилось, что я – дочь Доминика, и больше ничего. Не знаю, так ли объяснил братец (он у нас привык обо всем в ироническом смысле говорить, за что и по службе успеха не имел), но ежели так, то, по-моему, это очень хорошо.

Зная твое доброе сердце, я очень понимаю, как тягостно для тебя должно быть всех обвинять; но если начальство твое желает этого, то что же делать, мой друг! – обвиняй! Неси сей крест с смирением и утешай себя тем, что в мире не одни радости, но и горести! И кто же из нас может сказать наверное, что для души нашей полезнее: первые или последние! Я, по крайней мере, еще в институте была на сей счет в недоумении, да и теперь в оном же нахожусь.

Благородные твои чувства, в письме выраженные, очень меня утешили, а сестрица Анюта даже прослезилась, читая философические твои размышления насчет человеческой закоренелости. Сохрани этот пламень, мой друг! сохрани его навсегда. Это единственная наша отрада в жизни, где, как тебе известно, все мы странники, и ни один волос с головы нашей не упадет без воли того, который заранее все знает и определяет!

Я никогда не была озабочена насчет твоего будущего: я знаю, что ты у меня умница. Поэтому меня не только не удивило, но даже обрадовало, что ты такую твердою и верною рукой сумел начертить себе цель для предстоящих стремлений. Сохрани эту твердость, мой друг! сохрани ее навсегда! Ибо жизнь без сего светоча – все равно что утлая ладья без кормила и весла, несомая в бурную ночь по волнам океана *au gre des vents* [по воле ветров (франц.)].

Ты пишешь, что стараешься любить своих начальников и делать им угодное. Судя по воспитанию, тобою полученному, я иного и не ожидала от тебя. Но знаешь ли, друг мой, почему начальники так дороги твоему сердцу, и почему мы все, *tous tant que nous sommes* [все, сколько нас ни на есть (франц.)], обязаны любить данное нам от бога начальство? Прошу тебя, выслушай меня.

Мы должны любить его, во-первых, потому, что начальство есть, прежде всего, друг человечества, или, как у нас в институте, в одном водевиле, пели:

Il voit tout,

Il sait tout

Et il fourre son nez partout!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
[Оно все видит, оно все знает, оно повсюду свой нос сует! (франц.)]

А во-вторых, потому, что оно награждает любящих его и наказует противящихся ему.

Подумай об этом, друг мой, и сообразно с сим располагай своим поведением!

Поэтому, ежели начальство приказывает тебе обвинять, то значит, что это так следует. Когда же наступит время оправдывать, то, конечно, оно же без труда прикажет тебе и оправдывать.

При старости лет моих, я ко многому в жизни сделалась равнодушна, но по временам и я не могу не содрогнуться! Много, ах! слишком много злодеяний скрывается в недрах мира, сего, особливо же с тех пор, как всем сказана воля. Нигде уж нет ни почтения, ни преданности, а о потравах и о прочем – и говорить нечего. Посему теперь именно такое время настало, когда не оправдывать, а обвинять надлежит, дабы хотя этим постигну нас волю несколько остепенить. Даже братец Григорий Николаич, который, как ты знаешь, сам этой воли желал, доколе она не пришла, – и тот теперь смирился и говорит: "je crois que le knout ferait bien mieux leurs affaires!" [думаю, им куда лучше бы кнут! (франц.)] Я же, с своей стороны, прибавляю: et les potres! [и нам также! (франц.)] Вот как бог-то ведет человека неисповедимым путем своим! Был наш Григорий Николаич волтерьянец, и Лафайет с языка у него не сходил, а теперь лежит разбитый параличом да "все упование мое на тя возлагаю" шепчет!

Да, друг мой, неисповедимы пути божии! Сколько прежде нас с сестрицей Анютой огорчал братец, столько же теперь утешает и радует. Ты знаешь, какой у него необузданный ум был, а теперь, как мужиков отняли, таким христианином сделался, что дай бог всякому. Намедни даже удивил нас. Читаем мы вечером "житие", только он вдруг на одном месте остановил нас: "Сестрицы! говорит, если я, по старой привычке, скошунствую, так вы меня, Христа ради, простите!" И скошунствовал-таки, не удержался. Ну, да уж бог с ним! Хорошо и то, что хоть какие-нибудь признаки смирения в нем показались!

Знаешь ли что, друг мой! Я думаю, что это у него такая болезнь! Представь себе, сидит он намеднишь в своем большом кресле и четки перебирает... ну, совсем в полном виде христианин! И вдруг – что ж слышим! "А что, говорит, не объясните ли вы мне, сестрицы, чего во мне больше: малодушия или малоумия?" Мы смотрим на него во все глаза, думаем, не пароксизм ли с ним. "Да поймите же вы меня, говорит: ведь я доподлинно знаю, что ничего этого нет, а между тем вот сижу с вами и четки перебираю!" Так это нас с сестрицей офраппировало, что мы сейчас же за отцом Федором гонца послали. И что ж! – все как рукой сняло! Такой опять христианин сделался! такой христианин! Ни рукой, ни ногой не шевельнет, только головой качает!

Какой это урок для всех нас, друг мой!

Затем, благословляя тебя на новом поприще, сердечный друг мой, и желая тебе блестящих успехов на оном, остаюсь любящая тебя мать

Надежда Батищева.

P. S. А что ты насчет адвоката Ерофеева пишешь, будто бы со скопца сорок тысяч получил, то не завидуй ему. Сорок тысяч тогда полезны, если на оные хороший процент получать; Ерофеев же наверное сего направления своим деньгам не даст, а либо по портным да на галстуки оные рассорит, либо в кондитерской на пирожках проест. Еще смолodu он эту склонность имел и никогда утешением для своих родителей не был".

* * *

"Любезная маменька.

Спешу сообщить вам об одном весьма важном успехе, полученном мною, – успехе, который, вероятно, послужит к окончательному обеспечению моего будущего.

Третьего дня меня призвал мой генерал и сказал мне:

– На днях здесь напали на след целого скопища злоумышленников...

Я поклонился.

– Следствие по этому делу уже начато. Производят его люди, известные своею деятельностью и ловкостью, но я должен сознаться, что до сих пор никакого существенного результата не достигнуто.

Я поклонился вновь.

– Я пришел к тому убеждению, что недостаточность результатов происходит оттого, что тут употребляются совсем не те приемы. Я не знаю, что именно нужно, но бессилие старых, традиционных уловок для меня очевидно. Они без пользы ожесточают злоумышленников, между тем как нужно, чтобы дело само собой, так сказать, скользя по своей естественной покатости, пришло к неминуемому концу. Вот мой взгляд. Вы, мой друг, человек новый и современный – вы должны понять меня. Поэтому я решился поручить это дело вам.

С начальниками нужно быть очень сдержанным, милая маменька. Никогда не следует забегать им вперед, потому что это может показаться навязчивостью. Только в крайнем случае, когда уже вполне несомненно, что начальник находится в затруднении насчет предмета предстоящей беседы, можно помочь ему, бросив вскользь какую-нибудь мысль. Но и тут следует устроить так, чтобы генерал ни на минуту не усумнился, что это мысль его собственная. Вот почему я ни слова не отвечал на обращенную ко мне речь генерала и только новым безмолвным поклоном засвидетельствовал о моей твердой готовности следовать начальственным предписаниям.

– Дело в том, – продолжал генерал, – что несколько злоумышленников образовали из себя "Общество для предвкушения гармоний будущего". По "уставу" общества – он находится в наших руках – цель его заключается "в непрерывном созерцании гармоний будущего и в терпеливом перенесении бедствий настоящего". Вы понимаете, однако, что это только казовая, так сказать, официальная цель общества, и несомненно, что у него должны быть другие, более опасные цели, которые оно, разумеется, сочло нужным скрыть. Но этих-то целей мы именно и не знаем.

Высказав это, генерал остановился, как бы приглашая меня к дальнейшим развитиям.

– Осмелюсь повергнуть на усмотрение вашего превосходительства только один почтительнейший вопрос, – начал я, – если найден "устав" общества, то, может быть, имеется в виду и список членов его?

– Да, список есть: найдена бумажка, на которой карандашом написано пятнадцать фамилий, и, что всего прискорбнее, в числе участников общества значится один уланский офицер.

– Напротив того, смею думать, что это признак очень хороший, ваше превосходительство. Участие уланского офицера, если позволено так выразиться, открывает перед нами целый мир интриг. Чтобы настичь этого человека, превратные толкования должны были слишком самоуверенно и слишком далеко распространять свои корни и нити. Не будь уланского офицера, мы могли бы еще колебаться насчет важности злоумышления: теперь – мы имеем право провидеть уже целую организацию! Уланский офицер – это ключ; уланский офицер – это всё! Я спрашиваю себя: "Зачем нужен уланский офицер?" – и смело отвечаю: "Он нужен в качестве эксперта по военной части!" Я не смею утверждать, но мне кажется... и если вашему превосходительству угодно будет выслушать меня...

– Говорите, мой друг!

– Я положительно убежден, что найденный список с пятнадцатью фамилиями представляет собой силы далеко не всего общества, а лишь одного из отделов его!

Голос, которым я высказал это убеждение, звучал такою искренностью, что генерал был видимо поражен.

– Такова была и моя первоначальная мысль, – сказал он, – Но что прикажете делать! Эти старые рутинеры... они никогда не видят дальше своего носа!

– И, сверх того, я убежден, что с помощью этого ничтожного клочка бумаги,

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik которому, по-видимому, придается такое узкое значение, можно, при некоторой ловкости, дойти до поразительнейших разветвлений и заключений! – продолжал я, увлекаясь больше и больше и даже незаметно для самого себя переходя в запальчивость.

Но запальчивость эта не только не оскорбила генерала, но, напротив того, понравилась ему. На губах его скользнула ангельская улыбка. Это до такой степени тронуло меня, что и на моих глазах показались слезы. Клянусь, однако ж, что тут не было лицемерия с моей стороны, а лишь только счастливое стечение обстоятельств!

– Итак, молодой человек, в поход?! – весело сказал он, голосом и взором ободряя меня.

– Все силы... вся кровь... ваше превосходительство... – говорил я прерывающимся голосом.

– Верю!

– Я не имею слов, ваше превосходительство, но если позволено так выразиться...

– Успокойтесь, великодушный молодой человек! Увы! Мы не имеем права даже быть чувствительными! Итак, в поход! Но, прежде чем приступить к делу, скажите, не имеете ли вы сообщить мне что-нибудь насчет плана ваших действий?

– На первый раз позвольте мне просить вас об одной милости, ваше превосходительство!

– Говорите, мой друг!

– Позвольте мне называть этих людей не злоумышленниками, а заблуждающимися!

Генерал взглянул на меня изумленными глазами, но через минуту я убедился, что он понял мою мысль.

– Благородный молодой человек! – сказал он, протягивая мне руку.

– Осмелюсь высказать мою мысль вполне, – продолжал я с чувством, – не нужно обескураживать, ваше превосходительство! нужно, чтоб они всегда с полным доверием, с возможною, так сказать, искренностью... Быть может, я слишком смел, ваше превосходительство! быть может, мои скромные представления...

– Напротив! всегда будьте искренни! Что же касается до вашего великодушного желания, то я тем более ничего не имею против удовлетворения его, что в свое время, без вреда для дела, наименование "заблуждающихся" вновь можно будет заменить наименованием злоумышленников... Не правда ли?

– Точно так, ваше превосходительство!

Затем он позвонил и приказал передать мне дело о злоумышленниках, которые отныне, милая маменька, благодаря моей инициативе, будут уже называться "заблуждающимися". На прощанье генерал опять протянул мне руку.

Не знаю, как я дошел до своей квартиры. Нервы мои были так возбуждены, что я буквально целые полчаса рыдал. О, если б все подчиненные умели понимать и ценить сердца своих начальников!

И вчера, и третьего дня, обе ночи я употребил на ознакомление с делом. Генерал сказал правду: все эти "предвкусения" представляют только внешний предлог, за которым скрываются очень важные преступные цели. Нет, господа, шалите! уж меня вы не проведете своими "предвкусениями"! Я сам человек современный и кой-что понимаю в ваших так называемых "предвкусениях"! Я с первого же абцуга почувствовал, в чем тут штука! И представьте себе, милая маменька, до сих пор ровно ничего не сделано для раскрытия настоящих целей "Общества"! ничего! И за всем тем, благодаря неутомимой деятельности моих предшественников, дело уже развилось до четырех томов при пятнадцати обвиняемых. Пятнадцать обвиняемых, милая маменька, которые томятся в заключении – за что? – за то, что совместно занимались "предвкусениями"! Где же справедливость!

Теперь моя черновая работа кончена, и план будущих действий составлен. Этот план ясен и может быть выражен в двух словах: строгость и снисхождение! Прежде всего – душа преступника! Произвести в ней спасительное движение и посредством него прийти к раскрытию истины – вот цель! Затем – в поход! но не против злоумышленников, милая маменька, а против бедных, неопытных заблуждающихся! Мне кажется, что это именно тот настоящий тон, на котором можно разыграть какую угодно пьесу...

Пользуюсь минутой свободы, чтоб сообщить вам, милая маменька, об этом новом знаке доверия, которым я почтен. Затем, целуя ваши ручки и испрашивая вашего благословения, в настоящую минуту более, нежели когда-либо, для меня драгоценного, остаюсь любящий и глубоко преданный сын ваш

Николай Батищев.

Р. С. А Ерофеев еще штуку удрал. Заманил к себе другого скопца и опять сорвал с него сорок тысяч. По-видимому, цифра сорок тысяч делается для него вроде прецедента, на который он решил сослаться в будущем, подобно тому как другие ссылаются на решения кассационных департаментов сената. Устроился он отлично; за монтаж одного кабинета заплатил пятнадцать тысяч, в приемной поставил золоченую мебель, а на полках разместил полное собрание законов. На душу клиента это производит впечатление почти неотразимое. Нет, как хотите, а Ерофеев, право, не так глуп, как до сих пор о нем думали!"

* * *

"По получении твоего письма, голубчик николенька, сейчас же послала за отцом Федором, и все вместе соединились в теплой мольбе всевышнему о ниспослании тебе духа бодрости, а начальникам твоим долголетия и нетленных наград. И когда все это исполнилось, такое в душе моей сделалось спокойствие, как будто тихий ангел в ней пролетел!

Не ропщи, друг мой! Я знаю, что тебе не легко, но бог и начальники не оставят тебя. Немногим на долю такое счастье выпадает, какое тебе выпало. Другой весь век на одном месте сидит, и никто его не замечает: все равно, что он есть, что его нет. А тебя среди отличных отличили – вот какое важное дело доверили! Другие хлопочут, и им не дают, ты же и не просил, а тебе дали. Неси же сей крест с смирением и верою! Помни, что все в сем мире от бога, и что мы в его руках не что иное, как орудие, которое само не знает, куда устремляется и что в сей жизни достигнуть ему предстоит.

Читала твое письмо и содрогалась: ах, какие могут быть ужасные люди, мой друг! Помню, когда нам в институте из истории уроки задавали, то там тоже злодеи описывались. Стало быть, это так свыше определено, чтоб им быть, и определено для того, чтобы, от сравнения с ними, добродетель еще больше возвышалась и заслуживала наград. А мы живем среди этих людей и даже не знаем! Ничего мы не знаем, мой друг, и если бы начальство за нас не бодрствовало – что бы мы были! И признаюсь откровенно: когда то место в письме твоём прочитала, где ты своему благодетелю предложил ужасных этих злодеев называть не злоумышленниками, а заблуждающимися, то весьма была сим офраппирована. Тем более, зная благородство твоих чувств. Но когда увидела, что все это есть не что иное, как обдуманый с твоей стороны подход и что впоследствии вновь эти люди в злоумышленников переименованы будут, опять утешилась. Знай, друг мой, что горших злоумышленников не было, нет и не будет! Отец Федор говорит, что они паче душегубцев и воров, что сии немногим зло причиняют, а они по всему миру распространяют его. Помни это, душа моя! помни и блюди юношеский пламень твой!

Братец Григорий Николаич такой нынче истинный христианин сделался, что мы смотреть на него без слез не можем. Ни рукой, ни ногой пошевелить не может, и что говорит – не разберем. И ему мы твое письмо прочитали, думая, что, при недугах, оное его утешит, однако он, выслушав, только глаза шире обыкновенного раскрыл.

Пишу к тебе кратко, зная, что теперь тебе не до писем. Будь добр, мой друг, и впредь утешай меня, как всегда утешал. Благословляя тебя на новый труд, остаюсь любящая тебя

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Надежда Батищева.

Р. С. А что ты об адвокате Ерофееве пишешь, то мне даже очень прискорбно, что ты так на сем настаиваешь. Неужто же ты завидуешь сему врагу религии, который по меняльным рядам ходит и от изуродованных людей поживы ищет! Прошу тебя, друг мой, оставь сию мысль!"

* * *

"Милая маменька!

Дело, о котором я писал вам в прошлом письме, развивается так быстро, что теперь у меня, вместо пятнадцати, уже восемьдесят три человека обвиняемых. Восемьдесят три человека! Восемьдесят три жертвы пагубных заблуждений! Это ужасно!

Но какие это люди, милая маменька! сколько бы они могли принести пользы отечеству, если б не заблуждались! Какие величественные замыслы! Какие грандиозные задачи! Люди, которые, по всей справедливости, могли бы претендовать на титул благодетелей человечества, – эти люди не имеют теперь впереди ничего, кроме справедливой кары закона! И они подвергнутся ей, этой каре (в этом я могу служить вам порукою)... подвергнутся, потому что заблуждались!

Не вдруг, однако ж, удалось мне проникнуть в святилище душ их. Много пришлось выслушать дерзких выходок и очень непрозрачных намеков, но терпение и особого рода выдержка и в этих трудных обстоятельствах не оставили меня. Я восторжествовал. Мой взгляд был верен: это именно неопытные заблуждающиеся, которых молодые души прежде всего доступны чувствительности. Не чувствительность ли ввергла их и в бездну заблуждения? Не она ли причиной, что молодые их силы, не успев развернуться в пышный цвет, уже являются преждевременно обреченными на гибель? Да, это еще вопрос! и даже очень важный вопрос, милая маменька, ибо та же чувствительность, которая служит источником омерзительнейших преступлений, может подвигать человека и к деяниям высочайшей благонамеренности и преданности. Стало быть, нужно только с умением пользоваться этим двигателем, нужно только уметь направить его, одним словом, нужно внимательно пересмотреть устав пресечения и предупреждения преступлений – и тогда все будет благополучно! Я, по крайней мере, сильно склоняюсь в пользу этого предположения, хотя, увы! и понимаю, что мое личное убеждение и бессильно ввиду предписаний закона! А закон ясен... и неумолим!

Повторяю: много стоило мне усилий, чтобы найти ключ к сердцам этих людей. Людей чувствительных, но, к несчастью, уже испорченных недоверием к лицам, которые, в сущности, искренно желают им добра. В особенности заботил меня некто Феофан Филаретов, с отличием кончивший курс в Московской духовной академии и, в качестве многообещающего юноши, названный Филаретовым в честь покойного московского митрополита. Вы знаете, как прозорлив был покойный преосвященный; но на этот раз неисповедимые пути провидения и его прозорливости готовили важное и прискорбное испытание. Преосвященный готовил Феофана для высших ступеней духовной иерархии, а вместо того, он ныне томится в заключении, из которого должен будет перейти непосредственно на скамью обвиненных! Как не подивиться столь неожиданному перевороту судеб, милая маменька!

Знакомство мое с Феофаном было очень оригинально. Это человек невысокого роста, плотный, даже коренастый, на первый взгляд угрюмый, но с необыкновенно кроткими глазами. Несомненно, он ожидал, что я относительно его буду поступать, как обыкновенно в этих случаях делается, то есть сниму формальный допрос и затем отпущу в тюрьму, сказав в заключение несколько укорительных фраз. Ничуть не бывало: я встретил его, как равный равного, или, лучше сказать, как счастливца встречает несчастливца, которому от всей души сочувствует, хотя, к сожалению, и не в силах преподать всех утешений, как бы желал. Я сам придвинул ему стул, предложил стакан чаю, папирос и проч. Это видимо его поразило, хотя некоторое время он все-таки еще не оставлял своего недоверия ко мне. Но и тут он был прекрасен! Он высказал мне так много истин и притом с таким пламенным убеждением, что, несмотря на горечь формы, я внутренне не мог не согласиться с ним!

Он говорил мне: "Вы фарисеи и лицемеры! Вы, как Исава, готовы за горшок чечевицы продать все так называемые основы ваши! вы говорите о святости вашего суда, а сами между тем на каждом шагу делаете из него или львиный ров, или сиренскую

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik прелесть! вы указываете на брак, как на основу вашего гнилого общества, а сами прелюбодействуете! вы распинаетесь за собственность, а сами крадете! вы со слезами на глазах разглаживаете о любви к отечеству, а сами сапоги с бумажными подметками ратникам ставите! И крадете, и убиваете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу!" И так далее, все в духе пророка Илии.

Милая маменька! как хотите, а тут есть доля правды! Особенно насчет ратников - ведь это даже факт, что наш бывший предводитель такими сапогами их снабдил, - что они, пройдя тридцать верст, очутились босы! Быть может, слова: "жрете Ваалу" слишком уже смелы, но не знаю, как вам, а мне эта смелость нравится! В ней есть что-то рыцарское...

Но когда я, со слезами на глазах, просил его успокоиться; когда я доказал ему, что в видах его же собственной пользы лучше, ежели дело его будет в руках человека, ему сочувствующего (я могу признавать его обличения несвоевременными, но не сочувствовать им - не могу!), когда я, наконец, подал ему стакан чаю и предложил папиросу, он мало-помалу смягчился. И теперь, милая маменька, из этого чувствительного, но не питающего к начальству доверия человека я вью веревки!

Постепенно он открыл мне всё, все свои замыслы, и указал на всех единомышленников своих. Поверите ли, что в числе последних находятся даже многие высокопоставленные лица! Когда-нибудь я покажу вам чувствительные письма, в которых он изливает передо мной свою душу: я снял с них копии, приложив подлинники к делу. Ах, какие это письма, милая маменька!

О замыслах его я тоже когда-нибудь лично сообщу вам, потому что боюсь поверить письму то, что покуда составляет еще тайну между небом, моим генералом и мной. Теперь же могу сказать только одно: они хотели переформировать всю Россию и, между прочим, требовали, чтобы каждый, находясь у себя дома, имел право считать себя в безопасности. Какая плодотворная мысль, если бы в ней не скрывался червь заблуждения! Но именно этот-то червь и испортил все, ибо под "безопасностью" они разумели не ограждение обывателей от разбойников и воров (что было бы вполне плодотворно), но воспрещение полиции входить в обывательские квартиры!

Сверх того, под величайшим секретом могу сообщить вам и еще одну очень характеристичную подробность. Они предполагали уничтожить все нынешние министерства и заменить их только двумя: министерством оплодотворения и министерством отчаяния. В состав первого должны были войти нынешние министерства: финансов, народного просвещения и путей сообщения; в состав второго - министерства: внутренних дел и юстиции, а также государственный контроль. По плану преступного замысла, активную роль должно было играть только министерство оплодотворения, ибо лишь через развитие промышленности, народного богатства, просвещения и чрез устройство путей сообщения может быть достигнуто благоденствие страны. Министерство же отчаяния должно постоянно бездействовать и играть роль чисто коммеморативного свойства, то есть унылым видом своим напоминать гражданам о тех бедствиях, которым они подвергались в то время, когда это министерство было, так сказать, переполнено жизнью. Но что еще оригинальнее: чиновникам министерства отчаяния присвоятся двойные оклады жалованья против чиновников министерства оплодотворения на том основании, что первые хотя и бездействуют, но самое это бездействие имеет настолько укоризненный характер, что требует усиленного вознаграждения.

Когда я докладывал об этом моему генералу, то даже он не мог воздержаться от благосклонной улыбки. "А ведь это похоже на дело, мой друг!" - сказал он, обращаясь ко мне. На что я весело ответил: "Всякое заблуждение, ваше превосходительство, имеет крупицу правды, но правды преждевременной, которая по этой причине и именуется заблуждением". Ответ этот так понравился генералу, что он эту же мысль не раз после того в Английском клубе от себя повторял.

Много помог мне и уланский офицер, особливо когда я открыл ему раскаяние Филаретова. Вот истинно добрейший малый, который даже сам едва ли знает, за что под арестом сидит! И сколько у него смешных анекдотов! Многие из них я генералу передал, и так они ему пришли по сердцу, что он всякий день, как я вхожу с докладом, встречает меня словами: "Ну, что, как наш улан! поберегите его, мой друг! тем больше, что нам с военным ведомством ссориться не приходится!"

Тороплюсь закончить письмо мое, ибо положительно не имею минуты свободной. Верите ли, милая маменька: днем допросы снимаю, ночью записки составляю и пишу

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
рапорты, отношения и предписания. Товарищи по службе уверяют, что я похудел, но
в глубине души, я уверен, завидуют мне. Успех придал мне бодрость, так сказать,
окрилил меня. Несмотря на бессонные ночи, я положительно не чувствую усталости.
Весел, неумолим, готов поболтать, а при случае даже и посмеяться. Вчера вечером
урвал минуту, чтобы взглянуть "La fille de m-me Angot" ["дочь мадам Анго"
(франц.)], но не успел и одного акта досидеть, как потребовали к генералу...

Прощайте, милая маменька, и проч.

Николай Батищев.

Р. С. Адвокат Ерофеев третьего скопца заманил и сорвал с него какую-то совсем уж
баснословную сумму. Слышно, что он пятипроцентные бумаги на бирже скупает. Как
хотите, а он не только не дурак, каким его многие почитают, но, по-моему, даже
очень умен".

* * *

"Милый сын Николенька.

Никогда, даже когда была молода, ни одного романа с таким интересом не читывала,
с каким прочла последнее твое письмо. Да, мой друг! мрачны, ах, как мрачны те
ущелия, в которых, лишенная христианской поддержки, душа человеческая преступные
свои ковы строит!

Сестрица Аня в полном от твоего филаретова восхищении. "Представляю себе,
говорит, как хорош бы он был в саккосе!" Но я, с своей стороны, его не одобряю и
думаю, что озлобление этого человека оттого происходит, что он не дворянин. Если
бы он был дворянином, то, как образованный, без труда понял бы, что все сие
неизбежно и при слабости нашей даже не без пользы. Хорошо по воскресеньям в
церкви проповеди на этот счет слушать (да и то не каждое воскресенье, мой
друг!), но ежели каждый день всячески будут тебя костить, то под конец оно и
многоноко покажется. Отец Федор тоже со мной соглашается, что хотя вразумлять и
необходимо, однако же без потери чувств. Все мы люди, все в мире живем и все
богу и царю виноваты, и как без сего обойтись - не знаем. Вот о чем надлежало бы
твоему филаретову помнить. Однако так как и генералу твоему предики этого
изувера понравились, то оставляю это на его усмотрение, тем больше что, судя по
письму твоему, как там ни разглагольствуй в духе пророка Илии, а все-таки
разглагольствиям этим один неизбежный конец предстоит.

Гораздо больше понравился мне уланский офицер, фамилию которого ты, однако же,
не пишешь. Пожалуйста, анекдотов его побольше собери и тетрадку нам пришли. В
деревенском нашем уединении большое утешение нам составишь.

Пишешь ты также, что в деле твоём много высокопоставленных лиц замешано, то
признаюсь, известие это до крайности меня встревожило. Знаю, что ты у меня
умница и пустого дела не затеешь, однако не могу воздержаться, чтобы не сказать:
побереги себя, друг мой! не поставляй сим лицам в тяжкую вину того, что, быть
может, они лишь по легкомыслию своему допустили! Ограничь свои действия
филаретовым и ему подобными!

На этот счет, от опытности моей, могу сказать тебе следующее. Очень часто мы
видим, что высшие лица опыты разные производят, а низшие этим соблазняются и за
настоящее принимают. А так как без опытов прожить нельзя, то и в грех этим лицам
ставить не следует, а следует ставить в грех лишь тем, которые не те опыты
производят, какие от бога им предназначены. Есть люди высшие, средние и низшие -
и сообразно с сим опыты! Высший человек, может и высшие опыты производить,
потому что он же во всякое время и отменить их может. Низший же человек, как,
например, твой филаретов, коль скоро начинает не принадлежащие ему опыты
производить, то сейчас же ими воспламеняется - и оттого происходит
злоумышленность!

Поэтому, друг мой, ежели ты и видишь, что высший человек проштрафился, то имей в
виду, что у него всегда есть ответ: я, по должности своей, опыты производил! И
все ему простится, потому что он и сам себя давно во всем простил. Но тебе он
никогда того не простит, что ты его перед начальством в сомнение или в
погрешность ввел.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Вот почему я, как друг, прошу и, как мать, внушаю: берегись этих людей! От них всякое покровительство на нас нисходит, а между прочим, и напасть. Ежели же ты несомненно предвидишь, что такому лицу в расставленную перед ним сеть попасть надлежит, то лучше об этом потихоньку его предупредить и совета его спросить, как в этом случае поступить прикажет. Эти люди всегда таковые поступки помнят и ценят.

Братец Григорий Николаич, по всем видимостям, к концу жизни своей приближается. Даже глаз почти не открывает, а все больше в усыплении находится. Истинно многомятежная жизнь его была! сколько он за гнусные свои идеи пострадал – так это даже вчуже вспомнить больно! А под конец, однако, смирился и даже рабов иметь за необходимое полагал! и все-таки, несмотря на суровые уроки, в нем эта старая дрянная искорка осталась! Намеднишь прочли мы ему письмо твое, думали мнение его узнать, а он, вместо того, двусмысленность сделал. Но мы уж и тому рады, что он продолжает христианином быть. Боюсь только, как бы под конец какого баламуту не наделал!

Прощай, мой друг, и проч.

Надежда Батищева.

Р. С. А что ты насчет Ерофеева пишешь, то удивляюсь: неужто у вас, в Петербурге, скопцы, как грибы, растут! Не лжет ли он? Еще смолodu он к хвостовству непомерную склонность имел! Или, может быть, из зависти тебя соблазняет! Но ты соблазнам его не поддавайся и бодро шествуй вперед, как начальство тебе приказывает!"

* * *

"Любезная маменька.

Планы мои разрушились вдруг, в одну минуту...

Вы знаете мои правила! Вам известно, что я не могу быть предан не всецело! Ежели я кому-нибудь предаюсь, то делаю это безгранично... беззаветно! Я весь тут. Я люблю, чтоб начальник ласкал меня, и ежели он ласкает, то отдаюсь ему совсем! Если сегодня я отдаюсь душой судебному генералу, то его одного и люблю, и всех его соперников ненавижу! Но ежели завтра меня полюбит контрольный генерал, то я и его буду любить одного, и всех его соперников буду ненавидеть!

Дело, о котором я говорил вам в последнем письме моем, продолжало развиваться с ужасающей быстротой. Каждый день приносил новую животрепещущую подробность. Новые замыслы, новые планы, новые разветвления! Отдел "Общества" в Весьегонске, отдел в Тетюшах, отдел в Елабуге... одним словом, что-то ужасное! Вся Россия, пропитанная ядом "предвкушений"! Вся Россия, ничем другим не занимающаяся, кроме "терпеливого перенесения бедствий настоящего"! Какое потрясающее душу зрелище! И какие ужасные люди! Укоры, которые некогда высказал мне Феофан, уже представлялись мне чем-то вроде детского лепета! Передо мной предстали люди совершенно особенные, почти необыкновенные, которые даже не укоряли, а просто-напросто ругательски ругали меня! В их глазах Феофан слыл уже консерватором и даже ретроградом! Он еще допускал существование министерств (вы помните, милая маменька, его остроумную ипотезу двух министерств: оплодотворения и отчаяния), а следовательно, и возможность административного воздействия; они же ровно ничего не допускали, а только, по выражению моего товарища, Коли Персиянова, требовали миллион четыреста тысяч голов.

Обо всем я, разумеется, каждодневно докладывал моему генералу, и, по-видимому, он выслушивал меня охотно. Не раз мы содрогались вместе, но и не раз удавалось мне возбуждать на его устах улыбку...

Милая маменька! Помнится, что в одном из предыдущих писем я разъяснял вам мою теорию отношений подчиненного к начальнику. Я говорил, что с начальниками нужно быть сдержанным и всячески избегать назойливости. Никогда не следует утомлять их... даже заявлениями преданности. Всё в меру, милая маменька! все настолько; чтобы физиономия преданного подчиненного не примелькалась, не опротивела!

Но, начертав себе эту *ligne de conduite* [линию поведения (франц.)], я, к сожалению, сам не удержался на ней. Я был усерден и предан более, нежели

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
требовалось...

Я не знаю, как это случилось, но после целого месяца неслыханных с моей стороны усилий и бессонных ночей я почувствовал в голосе генерала ноту усталости. Горько прозвучала в душе моей эта нота, но на первых порах, по неопытности моей, я приписал это обстоятельство или подпольной интриге, или простой случайности. Я не понял, как много скрывается здесь для меня рокового, и, вместо того чтобы обуздать свое усердие, еще больше усилил его. Каждое утро я приходил к генералу с новым, более и более обильным запасом подробностей, но, увы! уже не возбуждал ими ни содрогания, ни улыбки. Генерал устал, охладел – это было ясно. Тогда, чтобы сразу поднять мой упавший кредит, я придумал такой *сoup de theatre* [трюк (франц.)], который, по мнению моему, должен был непременно разбудить в нем гаснущий интерес к делу.

Надо вам сказать, что перед этим я только что открыл нечто новое и в высшей степени замечательное. Оказалось, что злоумышленники на общие деньги выписывали "Труды Вольно-экономического общества" и собирались в разных местах для совместного их чтения. Для чего они это делали? Разве они не могли читать "Труды" каждый в своей квартире? Разве стоят того "Труды", чтоб по поводу их затевать недозволенные сборища и тратиться на извозчиков? – вот вопросы, которыми я задался, милая маменька, и на которые сам себе дал ответ: нет, это неспроста!

Я не буду описывать вам, с каким восторгом я стремился утром к генералу, чтоб доложить ему о своем новом открытии, но едва начал свой рассказ, как уже меня поразило какое-то злое выражение, светившееся в его глазах.

– Я должен вам сказать, – произнес он холодно, – что еще вчера мною сделано распоряжение о совершенном прекращении этого дела.

Я ничего не понял. Я стоял против него, затаив дыхание, и ждал.

– Я ничего не могу сказать, – продолжал он, – насколько важно или не важно производимое вами дело, потому что действия ваши не только не объяснили, но даже запутали и то, что было сделано вашими предместниками. Но я могу сказать положительно, что вот уже целый месяц, как вы подвергаете меня самым непростительным истязаниям. Я думал, что вы сами наконец поймете все неприличие вашей настойчивости, но, к сожалению, даже эта скромная надежда моя не оправдалась. Вчера вы хотели уверить меня, что в Конотопе свила гнездо измена, а сегодня вы уже хотите заставить меня даже в таком факте, как совместное чтение "Трудов Вольно-экономического общества", видеть преступный умысел.

Я раскрыл рот, чтобы заявить о моем раскаянии и заверить, что его превосходительству стоит только указать мне путь...

– Я знаю, что вы хотите сказать, – остановил он меня, – вы усердны, молодой человек! – в этом отказать вам нельзя! Но вы слишком усердны, а это такой недостаток, перед которым даже совершенная бездеятельность представляется качеством далеко не бесполезным. Я более ничего не имею прибавить вам.

Да; он сказал мне все это, и голос его ни разу не дрогнул... И я должен был оставить его кабинет, не выразив ни оправдания, ни даже раскаяния...

Я не могу передать вам в настоящем письме всех подробностей этой печальной истории: до такой степени она подавляет меня! Но, во всяком случае, вероятный ее результат вполне уже для меня выяснился: карьера, о которой я так недавно и так восторженно писал вам, – разрушена навсегда! Конечно, еще может подвернуться какой-нибудь особенный, сверхъестественный случай, который даст мне возможность вынырнуть, но до тех пор – я должен сознаться в этом – шансы мои очень и очень слабы! Усердие, на которое я так надеялся, – это самое усердие погубило меня. Не будь я так усерден, я не очутился бы в той беспримерной тоске, в которую меня повергла неудача моего предприятия. Но я превзошел самого себя – и пал жертвою своих собственных усилий! Какой поразительный урок, милая маменька! И как поучителен он должен быть для тех, которые проводят жизнь, по всем министерствам влача беззаветную свою преданность!

К довершению всего, неудача моя с быстротою молнии облетела все наше ведомство. Товарищи смотрят на меня с двусмысленными улыбками и при моем появлении шепчутся

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik между собою. Вчера – зависть, сегодня – недоброжелательство и насмешки. Вот круг, в котором осуждена вращаться преданность...

И все эти люди, которые завтра же с полной готовностью проделают всё то, что я проделал вчера, без всякого стыда говорят вам о каких-то основах и краеугольных камнях, посягательство на которые равносильно посягательству на безопасность целого общества!

О, Феофан Филаретов! как часто и с какою отрадой я вспоминаю о тебе в моем уединении! Ты сказал святую истину: в нашем обществе (зачеркнуто: "ведомстве") человек, ищущий справедливости, находит одно из двух: или ров львиный, или прелесть сиренскую!..

Прощайте, милая маменька! благословите и пожалейте несчастного, целующего ваши ручки, сына

Николая Батищева.

P. S. Вы положительно несправедливы к Ерофееву, милая маменька. Это человек ума очень обширного, и ежели умеет сыскать полезного для себя скопца, то не потому, что они, как грибы, в Петербурге растут, а потому, что у него есть особенная к этому предмету склонность. В несчастии моем он один не усумнился отнестись ко мне симпатически и приехал пожать мою руку. Он помнит гостеприимство, которое вы оказывали ему, когда он к нам из школы по праздникам хаживал, и еще недавно с большим участием об вас расспрашивал. Он даже предлагал мне вступить с ним в компанию по ведению дел, и хотя я ни на что еще покуда не решился, однако будущность эта довольно-таки мне улыбается. Как хотите, а нигде, кроме частной деятельности, нельзя найти настоящей самостоятельности! Это единственная арена, на которой дорожат знающими и усердными людьми".

* * *

"Милый дружок Николенька.

Получив твое письмо, так была им поражена, что даже о братце Григории Николаиче забыла, который, за несколько часов перед тем, тихо, на руках у сестрицы Анюты, скончался. Христос с ним! слава богу, он умер утешенный! Не только никакой шутки над отцом Федором не позволил себе, но даже с истинно христианским благоговением напутствие его выслушал. Теперь он взирает на нас с высот небесных, а может быть, и дондесь душа его между нами витает и видит как горесть нашу, так и приготовления, которые мы к погребению его делаем.

Как ни прискорбна превратность, тебя постигшая, но и теперь могу повторить лишь то, что неоднократно тебе говорила: не одни радости в сем мире, мой друг, но и горести. А потому не ропщи. Ты все сделал, что доброму и усердному подчиненному сделать надлежало, – стало быть, совесть твоя чиста. По усердию твоему, ты хотел до конца твоего генерала прельстить; если же ты в том не успел, то, стало быть, богу не угодно было. Смирись же, друг мой! ибо на все его святая воля, мы же все странники, а бездыханный труп братца Григория Николаича даже сильнее, нежели прежде, меня в этой мысли утверждает!

Я не только на тебя не сержусь, но думаю, что все это со временем еще к лучшему поправиться может. Так, например: отчего бы тебе немного погодя вновь перед генералом не открыться и не заверить его, что все это от неопытности твоей и незнания произошло? Генералы это любят, мой друг, и раскаивающимся еще больше протезируют!

Впрочем, предоставляю это твоему усмотрению, потому что хотя бы и хотела что-нибудь еще в поучение тебе сказать, но не могу: хлопот по горло. Теперь готовимся последний долг усопшему другу отдать, а после того и об утверждении в правах наследства подумать надо. Братец после себя прекраснейшее имение в Курской губернии оставил, а теперь, по божьему соизволению, оно должно перейти к нам. Сказывал старый камердинер его, Платон, что у покойного старая пассия в Москве жила и от оной, будто бы, дети, но она, по закону, никакого притязания к имени покойного иметь не может, мы же, по христианскому обычаю, от всего сердца грех ей прощаем и даже не желаем знать, какой от этого греха плод был! Жаль, конечно, детей, но ежели закон им прав не дает, то что же мы против закона сделать можем!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

Прощай, друг мой; пиши, не удастся ли тебе постигнуть грозу от себя отклонить и по-прежнему в любви твоего генерала утвердиться. А как бы это хорошо было! Любящая тебя мать

Надежда Батищева.

P. S. Прости, Христа ради, что об Ерофееве так низко заключила. Теперь и сама вижу, что дела о скопцах не без выгоды. Быть может, провидение нарочно послало его, чтобы тебя утешить. Недаром же ты в каждом письме об нем писал: должно быть, предчувствие было, что понадобится".

* * *

"Любезная маменька.

Я подал в отставку.

Такое решение может вам показаться внезапным, но я сейчас докажу, что оно далеко не было с моей стороны внезапностью.

Я рассудил так: после моей катастрофы надеяться на скорое восстановление в мнении моего генерала было бы глупостью. Меня будут заставлять каждодневно обвинять, я каждый день буду одерживать победы над присяжными заседателями – и генерал будет говорить, что я только исполняю свою обязанность. Состав моих товарищей будет меняться, вследствие повышений, и я один останусь незыблем, покуда не сдадут меня наконец в виде милости, в архив, членом белозерского окружного суда, где я и буду до конца жизни судить белозерских сметков. Ясно, что такое будущее не имеет в себе ничего блестящего.

Поэтому, в видах моей же собственной пользы, необходимо, чтобы меня забыли или, лучше сказать, чтобы я напомнил о себе на другом поприще. Доселе – я обвинял; отныне – буду оправдывать. Я хочу доказать и докажу, что в области правосудия нет ничего для меня недоступного. Убедившись в этом, генерал, без сомнения, сам поймет, чего он лишился, пренебрегши моими заслугами, и тогда мне останется только дать знать стороной, что и мое сердце не недоступно для раскаяния. И я вновь верну себе благосклонность моего начальника и вновь, еще в большей пламенностью, возьму в свои руки бразды обвинения. Но уже не иначе, милая маменька, как в качестве настоящего прокурора, а не товарища.

Весь этот план отлично объяснил мне Ерофеев, а покуда дал мне отличный и очень выгодный способ проявить свои способности на поприще оправдания.

На днях предстоит Петербургу небывалое и величественное зрелище: будут судиться восемьдесят скопцов. Собственно, Ерофеев взял на себя лишь декоративную часть этого дела, на суде же у каждого из обвиненных будет по два защитника и по два подручных. Но так как в Петербурге нет такого количества способных на защиту скопцов адвокатов, то некоторым из защитников предоставлено будет участвовать в нескольких парах и, таким образом, кююлировать несколько гонораров. Каждой паре назначается гонорара сорок тысяч, из которых должно уделить некоторую часть подручным, в вознаграждение за некоторые занятия, требующие более телесных упражнений, нежели умственного труда.

Ерофеев обещал мне участие в нескольких парах, причем, на первый раз, на меня возложена будет защита самых легких скопцов, дабы на них я мог, так сказать, переломить первое мое копье на арене защиты. Успех кажется мне до такой степени несомненным, что я уже заранее дал назначение своему гонорару. С вашего позволения, милая маменька, я приобрету ту пустошь, о покупке которой так часто мечтал покойный дяденька. Тогда имение наше будет вполне округлено и навсегда обеспечено лугами, в которых оно так сильно до сих пор нуждалось.

Итак, я бодр по-прежнему. Я сделался даже бодрее, ибо теперь уже не боюсь, что кто-нибудь меня внезапно обругает или оборвет.

Благословите же меня, добрый друг мой, потому что в настоящую минуту ваше благословение, более нежели когда-нибудь, для меня дорого. Остаюсь и проч.

Николай Батищев".

СТОЛП

В прежние времена, когда еще "свои мужички" были, родовое наше имение, Чемезово, недаром слыло золотым дном. Всего было у нас довольно: от хлеба ломились сусеки; тальками, полотнами, бараньими шкурами, сушеными грибами и другим деревенским продуктом полны были кладовые. Все это скупалось местными т - скими прасолами, которые зимою и глухою осенью усердно разъезжали по барским усадьбам.

Между этими скупщиками в особенности памятен мне т - ский мещанин, Осип Иванов Дерунов. Я как сейчас вижу его перед собою. Человек он был средних лет (лет тридцати пяти или с небольшим) и чрезвычайно приятной наружности. Из лица бел, румян и чист; глаза голубые; на губах улыбка; зубы белые, ровные; волосы белокурые, слегка вьющиеся; походка мягкая; голос - ясный и звучный тенор. В доме у нас его решительно все как-то особенно жаловали. Папенька любил за то, что он был словоохотлив, повадлив и прекрасно читал в церкви "Апостола"; маменька - за то, что он без разговоров накидывал на четверть ржи лишний гривенник и лишнюю копейку на фунт сушеных грибов; горничные девушки - за то, что у него для каждой был или подарочек, или ласковое слово. Поэтому, когда наезжал Дерунов, то все лица просветлялись. Господа видели в нем, так сказать, выразителя их годового дохода; дворовые люди радовались из инстинктивного сочувствия к человеку оборотливому и живому. Позовут, бывало, Дерунова в столовую и посадят вместе с господами чай пить. Сидит он скромно, пьет не торопко, блюдечко с чаем всей пятерней держит. Рассказывает, где был, что у кого купил, как преосвященный, объезжая епархию, в К- не обедню служил, какой у протодьякона голос и в каких отношениях находится новый становой к исправнику и секретарю земского суда. Рассказывает, что нынче навсе дороговизна пошла, и пошла оттого, что "прежние деньги на сигнации были, а тепериче на серебро счет пошел"; рассказывает, что дело торговое тоже трудное, что "рынок на рынок не потрафишь: иной раз дорого думаешь продать, а ни за что спустишь, а другой раз и совсем, кажется, делов нет, а вдруг бог подходящего человека послал"; рассказывает, что в скором времени "объявления набору ждуть надо" и что хотя набор - "оно конечно"... "одначе и без набору быть нельзя". Слушает папенька все эти рассказы и тоже не вытерпит - молвит:

- Башка, брат, у тебя, Осип Иваныч! Не здесь бы, не в захоlustье бы тебе сидеть! Министром бы тебе быть надо!

Так за Деруновым и утвердилась навсегда кличка "министр". И не только у нас в доме, но и по всей округе, между помещиками, которых дела он, конечно, знал лучше, нежели они сами. Везде его любили, все советовались с ним и удивлялись его уму, а многие даже вверяли ему более или менее значительные куши под оборот, в полной уверенности, что Дерунов не только полностью отдаст деньги в срок, но и с благодарностью.

В то время Дерунов только что начинал набираться силы. В Т*** у него был постоянный двор и при нем небольшой хлебный лабаз. Памятен мне и этот постоянный двор, и вся обстановка его. Длинное одноэтажное строение выходило фасадом на неоглядную базарную площадь, по которой кружились столбы пыли в сухое летнее время и на которой тонули в грязи мужицкие возы осенью и весной. Крыт был дом соломой под щетку и издали казался громадным ошетиившимся наметом; некрашенные стены от времени и непогод сильно почернели; маленькие, с незапамятных времен не мытые оконца подслеповато глядели на площадь и, вследствие осевшей на них грязи, отливали снаружи всевозможными цветами; тесовые почерневшие ворота вели в громадный темный двор, в котором непривычный глаз с трудом мог что-нибудь различать, кроме бесчисленных полос света, которые врывались сквозь дыры соломенного навеса и яркими пятнами пестрили навоз и улитый скотскою мочою деревянный помост. Приезжий въезжал в ворота и поглощался двором, словно пропастью. Слышались: фыркание лошадей, позвякивание колокольцев и бубенчиков, гулкий лет голубей, хлопанье крыльями домашней птицы; где-то, в самом темном углу, забранном старыми досками, хрюкал поросенок, откармливаемый на убой к одному из многочисленных храмовых праздников. Обдавало запахом дегтя, навоза, самоварного чада и вареной убоины, пар от которой валил во двор через отворенную дверь черной избы. Направо от ворот спускалось во двор крыльцо с колеблющимися ступеньками и с небольшими сенцами сверху, в которых постоянно пыхтел самовар с вечно наставленною трубою. Выйдя из сеней, вы встречали нечто вроде холодного коридора с чуланчиками и кладовушками на каждом шагу, в котором царствовала такая крошечная тьма, что надо было идти ощупью, чтоб не стукнуться лбом об

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
какую-нибудь перекладину или не споткнуться. Из этого коридора шли двери, прежде всего в черную избу, в которой останавливались подводчики и прочий серый люд, и затем в "чистые покои", где останавливались проезжие помещики. Черная изба была довольно обширная с трех окон комната, в которой, за перегородкой, с молодой женой (женился он довольно поздно, когда ему было уже около тридцати лет) ютился сам хозяин. "Чистые покои" были маленькие, узенькие комнатки; в них пахло затхлостью, мышами и тараканами; половицы шатались и изобиловали щелями и дырами, прогрызенными крысами; газетная бумага, которою обклеены были стены, местами висела клочьями, местами совсем была отодрана. Оконные рамы чуть держались на петлях и при всяком порыве ветра с шумом отворялись или захлопывались. И сколько тут было мух, тараканов, клопов!

Несмотря на эту незавидную обстановку, проезжий люд так и валил к Осипу Иванову. Для черного люда у него были такие щи, "что не продуешь", для помещиков – приветливое слово и умное рассуждение вроде того, что "прежде счет на сигнации был, а нынче на серебро пошел". Мне, юноше лет тринадцати – четырнадцати, было столько раз говорено об уме Осипа Иваныча, что я даже побаивался его. Когда я останавливался на его постоялом дворе, проездом, во время каникул, в родное гнездо, он обращался со мною ласково и в то же время учительно. Войдет, бывало, в занятую мною комнату, сядет, покуда я закусываю, у стола против меня и начнет экзаменовывать.

– В побывку, паренек, собрался?

– На каникулы, Осип Иваныч.

– Гм!.. каникулы.. это когда песьи мухи одолевают? Ну, надо экзамент тебе сделать. Учителям потрафлял ли?

– Потрафлял, Осип Иваныч.

– Это хорошо, что учителям потрафляешь. В науку пошел – надо потрафлять. Иной раз и занапрасно учитель побьет, а ты ему: "Покорно, мол, благодарю, Август Карлы!" Ведь немцы поди у вас?

– Немцы, Осип Иваныч; только у нас учителям бить не позволяется.

– И не позволяется, а всё же, чай, потихоньку исправляются. И нас царь побивать не велел, а кто только нас не побивает!

– Ей-богу, Осип Иваныч, у нас не бьют!

Но Осип Иваныч только покачивает в ответ головой, что меня всегда очень обижало, потому что я воспитывался в одном из тех редких в то время заведений, где действительно телесное наказание допускалось лишь в самых исключительных случаях.

– А заповедям учился? – продолжает между тем экзаменовывать Осип Иваныч.

– Знаю.

– А коли знаешь, так, значит, прежде всего бога люби да родителей чти. Почитаешь ли родителей-то?

– Почитаю, Осип Иваныч.

– Чти родителей, потому что без них вашему брату деваться некуда, даром что ты востер. Вот из ученья выйдешь – кто тебе на прожиток даст? Жениться захочешь – кто невесту припасет? – всё родители! – Так ты и утром и вечером за них бога моли: спаси, мол, господи, папыньку, мамыньку, сродственников! Всех, сударь, чти!

– И то чту!

– То-то, говорю: чти! Вот мы, чернядь, как в совершенные лета придем, так сами домой несем! Родитель-то тебе медную копеечку даст, а ты ему рубль принеси! А и мы родителей почитаем! А вы, дворяна, ровно малолетные, до старости все из дому тащите – как же вам родителей не любить!

– Выйду из ученья, на службу поступлю, сам буду жалованье получать.

– Велико твое жалованье – в баню на него сходить! Жалованья-то дадут тебе алтын, а прихотей у тебя на сто рублей. Тут только тебе подавай!

Я не возражал; наступало несколько минут затишья, в продолжение которых Осип Иваныч громко зевал и крестил свой рот. Но не такой он был человек, чтобы скоро отстать.

– Я тоже родителей чтит, – продолжал он прерванную беседу, – за это меня и бог благословил. Бывало, родитель-то гневается, а я ему в ножки! Зато теперь я с домком; своим хозяйством живу. Всё у меня как следует; пороков за мной не состоит. Не пьяница, не тать, не прелюбодей. А вот братец у меня, так тот перед родителями-то фордыбаченьем думал взять – ан и до сих пор в кабале у купцов состоит. Курицы у него своей нет!

– Может быть, его обделили?

– Не кто обделил, сам себя обделил. Сама себя раба бьет, коли плохо жнет. На все, сударь, воля родительская!

Проекзаменовавши меня таким родом и оставшись испытанием доволен, Осип Иваныч предлагал мне отдохнуть с дороги и уводил в баньку, где расстилалось душистое одворичное сено и куда ни одна муха, ни один клоп не смели проникнуть. Там я засыпал тем глубоким и освежительным сном, которым может засыпать только юноша, испытавший сряду несколько дней тряской и бессонной дороги. Часа через три меня, полусонного, поднимали с мягкого ложа, укладывали в тарантас и увозили из Т*** в Чемезово, где ждали меня новые экзамены в том же роде и духе, как и сейчас выдержанный экзамен Осипа Иваныча.

Но тогда было время тугое, и, несмотря на оборотливость Дерунова, дела его развивались не особенно быстро. Он выписался из мещан в купцы, слыл за человека зажиточного, но долго и крепко держался постоянного двора и лабаза. Может быть, и скопился у него капиталец, да по тогдашнему времени пристроить его было некуда.

Рисковать было не в обычае; жили осторожно, прижимисто, как будто боялись, что увидят – отнимут. Конечно, и тогда встречались аферисты и пройдохи, но чтобы идти по их следам, нужно было иметь большую решимость и несомненную готовность претерпеть. Человек робкий, или, как тогда говорилось, "основательный", неохотно ввязывался в операции, которые были сопряжены с риском и хлопотами. Богатства приобретались терпением и неустанным присовокуплением гроша к грошу, для чего не требовалось ни особой развязности ума, ни той канальской изворотливости, без которой не может ступить шагу человек, изъявляющий твердое намерение выбрать из карманов своих ближних все, что в них обретается.

С тех пор прошло около двадцати лет. В продолжение этого времени я вынес много всякого рода жизненных толчков, странствуя по морю житейскому. Исколесовал от конца в конец всю Россию, перебивал во всевозможных градах и весях: и соломенных, и голодных, и холодных, но не видал ни Т***, ни родного гнезда. И вот, однако ж, судьба бросила меня и туда.

Приезжаю в Т*** и с первого же взгляда убеждаюсь, что умы развязались. Во-первых, к самым, так сказать, воротам города проведена железная дорога. Двадцать лет тому назад никто бы не догадался, что из Т*** можно что-нибудь возить; теперь не только возят, но даже прямо говорят, что и конца этой возке не будет. Двадцать лет тому назад почти весь местного производства хлеб потребляли на месте; теперь – запрос на хлеб стал так велик, что съесть его весь сделалось как бы щекотливым. Свистнет паровоз, загрохочет поезд – и увозит бунты за бунтами куда-то в синюю даль. И даже не знает бессмысленная чернь, куда исчезает ее трудовой хлеб и кого он будет питать...

Во-вторых, кабаков было не больше пяти-шести на весь город; теперь на каждый переулочек не менее пяти-шести кабаков.

В-третьих, город осенью и весной утопал в грязи, а летом задыхался от пыли; теперь – соборную площадь уж вымостили, да, того гляди, вымостят и Московскую улицу.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

В-четвертых, прежде был городничий, который всем ведал, всех карал и миловал; теперь – до того доведено самоуправление, что даже в городские головы выбран отставной корнет.

В-пятых, прежде правосудие предоставлялось уездным судам, и я как сейчас вижу толпу голодных подьячих, которые за рубль серебра готовы были вам всякое удовлетворение сделать. Теперь настоящего суда нет, а судит и рядит какой-то совершенно безрассудный отставной поручик из местных помещиков, который, не ожидая даже рубля серебром, в силу одного лишь собственного легкомыслия, готов во всякую минуту вконец обездолить вас.

В-шестых, наконец, прежде совсем не было адвокатов, а были люди, носившие название "ябедников", "приказных строк", "крапивного семени" и т.д., которые ловили клиентов по кабакам и писали неосновательные просьбы за козушку. Нынче и в Т*** завелось до десяти "аблакатов", которые и за самую неосновательную просьбу меньше красненькой не возьмут.

* * *

Вместе с общим обновлением изменилось и положение Дерунова. Еще ехавши по железной дороге в Т***, я уже слышал, что имя его упоминалось, как имя главного местного воротилы. Разбогател он страшно и уже не сколачивал по копейке, а прямо орудовал. Арендовал у помещиков винокурные заводы, в большинстве городов губернии имел винные склады, содержал громадное количество кабаков, скупал и откармливал скот и всю местную хлебную торговлю прибрал к своим рукам. Одним словом, это был монополист, который всякую чужую копейку считал гулящей и не успокоивался до тех пор, пока не залучит всё в свой карман.

Ранним утром поезд примчал нас в Т***. Я надеялся, что найду тут своих лошадей, но за мной еще не приехали. В ожидании я кое-как приютился в довольно грязной местной гостинице и, имея сердце чувствительное, разумеется, не утерпел, чтобы не повидаться с дорогими свидетелями моего детства: с постоянным двором и его бывшим владельцем.

Старого постоялого двора уже не было и следа. На месте его возвышались двухэтажные каменные палаты с просторными флигелями и амбарами, в которых помещались контора и склады. Ужасно это меня огорчило. Вот тут, на самом этом месте, была любезнейшая сердцу грязь; вот здесь я лакомился сдобными лепешками со сливками; вот там я дразнил индюка... И вдруг – ничего этого нет! Какие-то каменные палаты, от которых не веет ничем, отзывающимся сердечною теплотою! До такой степени это поразило меня, что, взойдя на парадное крыльцо, я даже предложил себе вопрос, не дать ли тягу. Кто знает, не окаменел ли и сам Дерунов, подобно своим палатам! Вспоминает ли о прежних сереньких днях, или же он и прошлое свое, вместе с другою ненужною ветошью, сбыв куда-нибудь в такое место, где его никакими способами даже отыскать нельзя! Я несчастлив, и потому очень понятно, что для меня всякая подробность прошлого имеет цену светлого воспоминания. Напротив того, Дерунов счастлив – зачем же, спрашивается, ему прошлое, в котором все-таки было не без плутней, а следовательно, и не без потасовок за оные?

Теперь Дерунов – опора и столп. Авторитеты уважает, собственность чтит, насчет семейного союза нимало не сомневается. Он много и беспрекословно жертвует и получает за это медали; на нем почиет множество благословений Синода; у него в доме останавливается, во время ревизии, губернатор; его чуть не боготворит исправник и тщето старается подкузьмить мировой судья. В довершение всего, у него дочь выдана за полковника. Какое значение могу я иметь в его глазах, кроме значения ненужного напоминания прошлого? Я не могу ничего ни продать, ни купить, ни даже предложить какие-нибудь услуги. Я – ветошь прошлого, очевидец замасленной сибирки, загаженных мухами счетов, на которых он когда-то щелкал, приговаривая: "За самовар пять копеечек, овсеца меру брали – двадцать копеечек, за тепло – сколько пожалуете" и т.д. Зачем я пришел?

Но куда я раздумывал, в воротах дома показался сам старик Дерунов, который только что окончил свои распоряжения во дворе.

Несмотря на свои с лишком шестьдесят лет, он был совершенно бодр и свеж. Он представлял собою совершеннейший тип той породы крепких, сильных и румяных

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik стариков, которых называют благолепными. Голубые глаза его слегка потускнели, вследствие старческой слезы, но смотрели по-прежнему благодушно, как будто говорили: зачем тебе в душу мою забираться? я и без того весь тут! Волоса побелели, но еще кудрявились, обрамливая обнаженный череп и образуя вокруг головы род облака. Та же приятная улыбка на губах, тот же мягкий, лишь слегка надтреснутый тенор. Словом сказать, передо мной стоял прежний Осип Иванов, но только посановитее и в то же время поумытее и пощеголеватее.

– Вам до меня? – обратился он ко мне с вопросом. Я назвал себя.

Старик постоял с минуту, как бы ища в своей памяти, но наконец вспомнил. И, сказать по правде, вспомнил с видимым удовольствием.

– Господи! – засуетился он около меня, – легко ли дело, сколько годов не видались! Поди, уж лет сорок прошло с тех пор, как ты у меня махонькой на постоялом лошадей кармливал!

– Сорок не сорок, а много-таки воды утекло!

– Что и говорить! Вот и у вас, сударь, головка-то беленька стала, а об стариках и говорить нечего. Впрочем, я на себя не пожалуюсь: ни единой во мне хворости до сей поры нет! Да что же мы здесь стоим! Милости просим наверх!

Пошли в дом; лестница отличная, светлая; в комнатах – благолепие. Сначала мне любопытно было взглянуть, каков-то покажется Осип Иванович среди всей этой роскоши, но я тотчас же убедился, что для моего любопытства нет ни малейшего повода: до такой степени он освоился со своею новою обстановкой.

– Вот какую хижу я себе выстроил! – приветствовал он меня, когда мы вошли в кабинет, – теперь у меня простора вдоволь, хоть в дрожках по горницам разъезжай. А прежде-то что на этом месте было... чай, помните?

– Да не забыл-таки. И знаете ли, Осип Иваныч, как подходил к вашему дому да увидел, что прежнего постоялого двора нет – как будто жаль стало!

– Что жалеть-то! Вон да грязи мало, что ли, было? После постоялого-то у меня тут другой домик, чистый, был, да и в том тесно стало. Скоро пять лет будет, как вот эти палаты выстроил. Жить надо так, чтобы и светло, и тепло, и во всем чтоб приволье было. При деньгах да не пожить? за это и люди осудят! Ну, а теперь побеседуемте, сударь, закусимте; я уж вас от себя не пущу! Сказывай, сударь, зачем приехал? нужды нет ли какой?

Старик, очевидно, не знал, какой тон установить в отношении ко мне, и потому беспрерывно переходил от "вы" на "ты".

– Да у вас, чай, дела; еще удержишь...

– Какие дела! всех дел не переделаешь! Для делов дельцы есть – ну, и пускай их, с богом, бегают! Господи! сколько годов, сколько годов-то прошло! Голова-то у тебя ведь почесть белая! Чай, в город-то в родной въехали, так диву дались!

– Да, порядочно-таки изменился!

– Постой, что еще вперед будет! Площадь-то какая прежде была? экипажи из грязи народом вытаскивали! А теперь посмотри – как есть красавица! Собор-то, собор-то! на кумпол-то взгляни! За пятнадцать верст, как по остреченскому тракту едешь, видно! Как с последней станции выедешь – всё перед глазами, словно вот рукой до города-то подать! Каменных домов сколько понастроили! А уж, как Московскую улицу вымостим да гостиный двор выстроим – чем не Москва будет!

– Хорошо-то хорошо... да ведь и прежде...

– Нечего, сударь, прежнего жалеть! Надо дело говорить: ничего в "прежнем" хорошего не было! Я и старик, а не жалею. Только вонь и грязь была. А этого добра, коли кому приятно, и нынче вдоволь достать можно. Поезжай в "Пешую слободу" да и живи там в навозе!

Осип Иваныч на минуту остановился и не то восторженно, не то иронически

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik воскликнул:

– Одних питейных заведений у нас нынче числом шестьдесят пять штук!

– Да? ну, это, конечно, усовершенствование немаловажное...

– Не нравится? А мне так любо смотреть! ровно часовые по улице-то стоят! впустить впустят, а выпустить – и думать не моги!

– Что ж тут хорошего!

– А то и хорошо, что вольному воля! Прежде насчет всего запрет был, а нынче – воля! А впрочем, доложу вам, умному человеку на этот счет все едино: что запрет, что воля. Когда запрет был – у умного человека на предмет запрета выдумка была; воля пришла – у него на предмет этой самой воли выдумка готова! Умный человек никогда без хлеба не оставался. А что касается до прочих, так ведь и для них все равно. Только навыворот... ха-ха!

Осип Иваныч звонко и добродушно засмеялся и даже несколько, кажется, удивился, что и я вместе с ним не смеюсь.

– Да что ж ты унылой какой сделался! – сказал он, – а ты побравее, поповоротливее, взглядывай! потрафляй! На меня смотри: чем был и чем стал!

– Да, вам таки посчастливилось, кажется!

– Благословил господь! А все-таки скажу, в нашем деле как кому потрафится! Сумел потрафить – с рублем будешь; не сумел – в трубу вылетел! Одно верно: руки склавши сидеть будешь – много не наживешь! Не мало тоже я думы передумал, покуда решился колесо-то это завести. Прежде и я по зернышку клевал, ну, а потом вижу люди горстями хватают, – подумал: "Не все же людям, и нам, может, частица перепадет!" Да об этом после! Что мы так-то сидим! Эй, чаю сюда! да закусочки! Господи! сколько лет, сколько зим! Еще от родителей ваших, сударь, ласку видел, вот оно когда знакомство-то наше началось! Недавно еще мимо Чемезова-то проезжал – вспоминал! как же! Дом-то барский, сказывают, уж обвалился; ни замков, ни заслонок, даже кирпичи из печей – и те повытасканы. Пожалел я: стоит махина без окон, словно инвалид без глаз!

Осип Иваныч неодобрительно покачал головой. Между тем подали чай, а на другом столе приготавливали закуску.

– Туда, что ли, сударь, едете? – обратился ко мне Дерунов.

– Туда.

– Что делать предполагаете?

– Да посмотрю...

– По правде сказать, невелико вам нынче веселье, дворянам. Очень уж оплошали вы. Начнем хоть с тебя: шутка сказать, двадцать лет в своем родном гнезде не бывал! "Где был? зачем странствовал?" – спросил бы я тебя – так сам, чай, ответа не дашь! Служил семь лет, а выслужил семь реп!

– Всякому свое, Осип Иваныч. Может быть, и на нашей улице будет праздник!

– Знаю я, сударь, что начальство пристроить вас куда-нибудь желает. Да вряд ли. Не туда вы глядите, чтоб к какому ни на есть делу приспособиться!

– Уж будто и дела для нас никакого не найдется!

– Какое же дело! Вино вам предоставлено было одним курить – кажется, на что статья подходящая! – а много ли барыша нажили! Побились, побились, да к тому же Дерунову на поклон пришли – выручай! Нечего делать – выручил! Теперь все заводы в округе у меня в аренде состоят. Плачу аренду исправно, до ответственности не допускаю – загребай помещик денежки да живи на теплых водах!

– Воспитание, Осип Иваныч, не такое мы получили, чтоб об материальных интересах

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
заботиться. Я вот по-латыни прежде хорошо знал, да, жаль, и ее позабыл. А кабы
не позабыл, тоже утешался бы теперь!

– На пустые поля да на белоус гляючи. Так, сударь! А надолго ли, смею спросить,
в Чемезово-то собрались?

– Нет, зачем надолго! Посмотреть да кой-чем распорядиться – и опять в Петербург!

– То-то. В деревне ведь тоже пить-есть надо. Земля есть, да ее не укусишь. А в
Петербурге все-таки что-нибудь добудешь. А ты не обидься, что я тебя спрошу:
кончать, что ли, с вотчиной-то хочешь?

– Хотелось бы. Крестьяне на выкупе, земля – обрезки кое-какие остались; не к
рукам мне, Осип Иваныч!

– А не к рукам, так продать нужно. Дерунова за бока! Что ж, я и теперь послужить
готов, как в старину служивал. Даром денег не дам, а настоящую цену отчего не
заплатить? Заплатчу!

– Да ведь настоящая-то цена... кто ее знает, какая она?!

– Настоящая цена – христианская цена. Чтоб ни мне, ни тебе – никому не обидно;
вот такая это цена! У тебя какая земля! И тебе она не нужна, и мне не нужна! Вот
по этому самому мачтабу и прикладывай, чего она стоит!

– Однако ведь вы охотитесь же купить!

– Так, балую. У меня теперь почесть четверть уезда земли-то в руках. Скупаю по
малости, ежели кто от нужды продает. Да и услужить хочется – как хорошему
человеку не услужить! Все мы боговы слуги, все друг дружке тяготы нести должны.
И с твоей землей у меня купленная земля по смежности есть. Твои-то клочки к
прочим ежели присовокупить – ан дача выйдет. А у тебя разве дача?

– Ну, кроме вас, и крестьяне, может быть, пожелают приобрести.

– Крестьяне? крестьянину, сударь, дани платить надо, а не о приобретении думать.
Это не нами заведено, не нами и кончится. Всем он дань несет; не только
казне-матушке, а и мне, и тебе, хоть мы и не замечаем того. Так ему свыше
прописано. И по моему слабому разуму, ежели человек бедный, так чем меньше у
него, тем даже лучше. Лишней обузы нет.

Суждение это было так неожиданно, что я невольно взглянул на моего собеседника,
не рассердился ли он на что-нибудь. Но он по-прежнему был румян; по-прежнему
невозмутимо-благодушно смотрели его глаза; по-прежнему на губах играла приятная
улыбка.

– Да уж не рассердили ли вас чем-нибудь крестьяне, что вы от лишней обузы
облегчить их хотите? – спросил я.

– Я-то сержусь! Я уж который год и не знаю, что за "сердце" такое на свете есть!
На мужичка сердиться! И-и! да от кого же я и пользу имею, как не от мужичка! Я
вот только тебе по-христианскому говорю: не вяжись ты с мужиком! не твое это
дело! Предоставь мне с мужика получать! уж я своего не упущу, всё до копейки
выберу!

– Послушайте, однако ж: почему же вы полагаете, что я не получу? Ведь это
странно: вы получите, а я не получу!

– Ничего тут странного нет. Вы только подумайте, сударь, мое ли дело или ваше! Я
вот аблаката нанимаю, полторы тысячи ему плачу, так он у меня и в пир, и в мир.
Ездит себе да покатывается. У меня в год-то, может, больше сотни дел во всех
местах перебивает. Тут и в грош есть, и в тысячу. Так разложите эти полторы
тысячи на сто дел – что выйдет! Плевое дело? А тебе из-за каждой срубленной
елки, из-за каждой гривенной потравы аблакаты нанимать нужно! Резон ли это? Где
ты столько денег найдешь, чтобы эту прорву насытить? Да и аблакаты-то где еще
найдешь? за ним тоже в город ехать нужно, харчиться, убытчиться! Во что это тебе
вскочит? А земля-то, сударь, хоть и нет у нее души, а чувствует она, матушка,
что у ней настоящего радетеля нет!

– Да я не об земле. Я знаю, что я не радетель земле. Я землю мужикам продам, а с мужиков деньги получу.

– Разом ничего вы, сударь, с них не получите, потому что у них и денег-то настоящих нет. Придется в рассрочку дело оттягивать. А рассрочка эта вот что значит: поплатят они с грехом пополам годок, другой, а потом и надоест: всё плати да плати!

– Надоест! Это разве резон! ведь не бессудная же земля!

– И земля не бессудная, и резону не платить нет, а только ведь и деньга защитника любит. Нет у нее радетеля – она промеж пальцев прошла! есть радетель – она и сама собой в кармане запутается. Ну, положим, рассрочил ты крестьянам плату на десять лет... примерно, хоть по полторы тысячи в год...

"По полторы тысячи! стало быть, пятнадцать тысяч в десять лет! – мелькнуло у меня в голове. – Однако, брат, ты ловок! сколько же разом-то ты намерен был мне отсыпать!"

– Ну, продал, заключил условие, уехал. Не управляющего же тебе нанимать, чтоб за полуторами тысячами смотреть. Уехал – и вся недолга! Ну год они тебе платят, другой платят; на третий – пишут: сено не родилось, скот выпал... Неужто ж ты из Питера сюда поскачешь, чтоб с ними судиться?!

– Не поскачу, а напишу кому следует.

– Да ведь у них и взаправду скот выпал – неужто ты их зорить будешь!

– Однако, ведь вы взыскали бы?

– Я – другое дело. Я радетель. Я и землю соблюду, и деньги взыщу. Я всякое дело порядком поведу. Ежели, бы я, например, и совсем за землей не смотрел, так у меня крестьянин синь пороха не украдет. Потому, у него исстари составилось мнение, что у Дерунова ничего плохо не лежит. Опять же и насчет взысканий: не разоряю я, а исподволь взыскиваю. Вижу, коли у которого силы нет – в работу возьму. Дрова заставлю пилить, сено косить – мне всего много нужно. Ему приятно, потому что он гроша из кармана не вынул, а ровно бы на гулянках отработался, а мне и того приятнее, потому что я работой-то с него, вместо рубля, два получу!

– Ну, а вы... сколько бы вы мне за землю предложили?

– Пять тысяч – самая христианская цена. И деньги сейчас в столе – словно бы для тебя припасены. Пять тысяч на круг! тут и худая, и хорошая десятина – всё в одной цене!

– Ну, нет, это дешевенько. Лучше уж я посмотрю!

– Посмотри! что ж, и посмотреть не худое дело! Старики говаривали: "Свой глазок – смотрок!" И я вот стар-стар, а везде сам посмотрю. Большая у меня сеть раскинута, и не оглядишь всеё – а все как-то сердце не на месте, как где сам недосмотришь! Так день-деньской и маюсь. А, право, пять тысяч дал бы! и деньги припасены в столе – ровно как тебя ждал!

Однако я ничего не ответил на этот новый вызов. Мы оба на минуту смолкли, но я инстинктивно почувствовал, что между нами вдруг образовалась какая-то натянутость. Я смотрел в сторону, Осип Иваныч тоже поглядывал куда-то в угол.

– Ну, а ваши дела как? – прервал я первый молчание.

– Нечего бога гневить – дела хороши! Нынче только мозгами шевелить не ленись, а деньга сама к тебе привалит!

– Хлебом торгуете?

– Хлебом нынче за первый сорт торговать. Насчет податей строго стало, выкупные требуют – ну, и везут. Иному и самому нужно, а он от нужды везет. Очень эта операция нынче выгодная.

– Скот скупаєте тоже, я слышал?

– И скот скупать хорошо, коли ко время. Вот в марте кормы-то повыберутся, да и недоимки понуждать начнут – тут только не плошай! За бесценнок целые табуны покупаем да на винокуренных заводах на барду ставим! Хороший барыш бывает.

– Леса, вино?

– И лесами подобрались – дрова в цене стали. И вино – статья полезная, потому – воля. Я нынче фабрику миткалевую завел: очень уж здесь народ дешев, а провоз-то по чугунке не бог знает чего стоит! Да что! Я хочу тебя спросить: пошли нынче акции, и мне тоже предлагали, да я не взял!

– Что ж так?

– Опаску имею. Намеднись даже генерал ко мне из Питера приезжал. Снял, вишь, железную дорогу, так в учредители звал. Очень хвалил!

– За чем же стало?

– То-то, что Сибирь-то еще у меня в памяти! Забыть бы об ней надо! Еще бы вольнее орудовать можно было!

– С какой же тут стати Сибирь?

– Да ведь на грех мастера нет. Толковал он мне много, да мудрено что-то. Я ему говорю: "Вот рубль – желаю на него пятнадцать копеечек получить". А он мне: "Зачем твой рубль? Твой рубль только для прилику, а ты просто задаром еще другой такой рубль получишь!" Ну, я и поусомнился. Сибирь, думаю. Вот сын у меня, Николай Осипыч, – тот сразу эту механику понял!

– Должно быть, ваш генерал помещение для облигаций выгодное нашел; ну, акции-то и пойдут, как будто на придачу.

– Вот это самое и он толковал, да вычурно что-то. Много, ах, много нынче безместных-то шляется! То с тем, то с другим. Намеднись тоже Прокофий Иваныч – помещик здешний, Томилиным прозывается – с каменным углем напрашивался: будто бы у него в имении не есть этому углю конца. Счастливчики вы, господа дворяне! Нет-нет да что-нибудь у вас и окажется! Совсем было капут вам – ан вдруг на лес потребитель явился. Леса извели – уголь явился. Того гляди, золото окажется – ей-богу, так!

– Вот как вы все земли-то купите, вам все и достанется: и уголь, и золото! Ну, а семейство ваше как?

– Живем помаленьку. Жена, слава богу, поперек себя шире стала. В проферанец играть выучилась! Я ей, для покою, и компанию составил: капитан тут один, да бывший судья, да Глафирин Николай Петрович.

– Это предводитель-то?

– Был предводителем, а нынче он, как и прочие, на бога да на каменный уголь надежду имеет. Сколь прежде был лют, столь нынче смирен. Собираются с обеда да и обыгрывают Анну Ивановну помаленьку. Мне не убыточно, им – рублишко на молочишко, а ей – моцион!

– А дети?

– Старший сын, Николай, дельный парень вышел. С понятием. Теперь он за сорок верст, в С***, хлеб закупать уехал! С часу на час домой жду. Здесь-то мы хлеб нынче не покупаем; станция, так конкурентов много развелось, приказчиков с Москвы насылают, цены набивают. А подальше – поглуше. Ну, а младший сын, Яков Осипыч, – тот с изьянцем. С год места на глаза его не пуцаю, а по времени, пожалуй, и совсем от себя отпихну!

– Жалко.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Непочтителен. Я уж его и в смиренный за непочтение сажал – всё нейметя.
Теперь на фабрику к Астафью Астафичу – англичанин, в управителях у меня живет –
под начало его отдал. Жаль малого – да не что станешь делать! Кажется, кабы не
жена у него да не дети – давно бы в солдаты сдал!

– И женат?

– Женат, четверо детей. Жена у него, в добрый час молвить, хорошая женщина! Уж
так она мне приятна! так приятна! и покорна, и к дому радельна, словом сказать,
для родителей лучше не надо! Все здесь, со мною живут, всех у себя приютил!
Потому, хоть и противник он мне, а все родительское-то сердце болит! Не по нем,
так по присным его! Кровь ведь моя! ты это подумай!

– Что говорить! Стало быть, только двое сыновей у вас и есть?

– Сынов двое, да дочь еще за полковника выдана. Хороший человек, настоящий. Не
пьет; только одну рюмку перед обедом. Бережлив тоже. Живут хорошо, с деньгами.

– Еще бы не с деньгами! чай, порядочный куш в приданое-то отсыпали!

– Нет, я на этот счет с оглядкой живу. Ласкать ласкаю, а баловать – боже храни!
Не видевши-то денег, она все лишней раз к отцу с матерью забежит, а дай ей
деньги в руки – только ты ее и видел. Э, эх! все мы, сударь, люди, все человеки!
все денежку любим! Вот помирать стану – всем распределю, ничего с собой не
унесу. Да ты что об семье-то заговорил? или сам обзавестись хочешь?

– Куда мне! И одному-то вряд прожить, а то еще с семьей!

– Не говори ты этого, сударь, не грехи! В семье ли человек или без семьи?
Теперича мне хоть какую угодно принцессу предоставь – разве я ее на мою Анну
Ивановну променяю! Спаси господи! В семью-то придешь – ровно в раю очутишься!
Право! Благодать, тишина, всякий при своем месте – истинный рай земной!

Осип Иваныч зевнул и перекрестил рот. Разговор видимо истощился. Я уже встал с
намерением проститься, но гостеприимный хозяин и слышать не хотел, чтоб я уехал,
не отведав его хлеба-соли. Кстати, в эту самую минуту послышался стук
подъезжающего к крыльцу экипажа.

– Да вот и Николай Осипыч воротился! – сказал Осип Иваныч, подходя к окну, – так
и есть, он самый! Познакомитесь! Он хоть и не воспитывался в коммерческом, а
малый с понятием! Кстати, может, и мимо Чемезова проезжал.

Через минуту в комнату вошел средних лет мужчина, точь-в-точь Осип Иваныч, каким
я знал его в ту пору, когда он был еще мелким прасолом. Те же ласковые голубые
глаза, та же приятнейшая улыбка, те же вьющиеся каштановые с легкой проседию
волоса. Вся разница в том, что Осип Иваныч ходил в сибирке, а Николай Осипыч
носит пиджак. Войдя в комнату, Николай Осипыч помолился и подошел к отцу, к
руке. Осип Иваныч отрекомендовал нас друг другу.

– Ну, что, как торги?

– Торговал, папенька, за первый сорт. Только в С*** задержечка вышла. Ездил в
Р*** – там купил.

– Что так? не чикуновские ли приказчики наехали?

– Нет, благодарение богу, окромя нас, еще никого не видать. А так, промежду
мужичков каприз сделался. Цену, кажется, давали им настоящую, шесть гривен за
пуд – ан нет: "нынче, видишь ты, и во сне таких цен не слыхано"!

– Во сне и всё хорошие цены снятся! Так и не продали?

– Не продали. Все, как есть, в Р*** уехали. Приехали – а там опять мы же. Только
уж я там, папенька, по пятидесяти копеечек купил.

– И дело. Вперед наука. Вот десять копеек на пуд убытку понес да задаром
тридцать верст проехал. Следственно, в предбудущем, что ему ни дай – возьмет.
Однако это, брат, в наших местах новость! Скажи пожалуй, стачку затеяли! Да за

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
стачки-то нынче, знаешь ли, как! Что ж ты исправнику не шепнул!

– Ничего, папенька, покамест еще своими мерами справляемся-с.

– Ну ладно. И то сказать, окромя нас и покупателей-то солидных здесь нет. Испугать вздумали! нет, брат! ростом не вышли! Бунтовать не позволено!

– Истинный, папенька, бунт был! Просто, как есть, стали все заодно – и шабаш. Вы, говорят, из всего уезда кровь пьете! Даже смешно-с.

– никогда прежде бунтов не бывало, а нынче, смотри-ка, бунты начались!

– да какой же это бунт, Осип Иваныч! – вступился я.

– А по-твоему, барин, не бунт! Мне для чего хлеб-то нужен? сам, что ли, экую махину съем! в амбаре, что ли, я гноить его буду? В казну, сударь, в казну я его ставлю! Армию, сударь, хлебом продовольствую! А ну как у меня из-за них, курицыных сынов, хлеба не будет! Помирать, что ли, армии-то! По-твоему это не бунт!

На сей раз Осип Иваныч совершенно явно и довольно нагло говорил мне "ты". Он возмущался так искренно, что даже изменил своему обычному благодушию. Признаюсь откровенно, я и не подумал возразить ему. Соображение, что, по милости мужиков, не соглашающихся взять настоящую цену, армия может встретить препятствие в продовольствии, было так решительно и притом так полно современности, что я даже сам испугался, каким образом оно прежде не пришло мне в голову. Конечно, я понимал, что и против такого капитального соображения не невозможны возражения, но с другой стороны, что может произойти, если вдруг Осипу Иванычу в моем скромно выраженном мнении вздумается заподозрить или "превратное толкование", или склонность к "распространению вредных идей"! Скажу я, например, что, при неисправности подрядчика, военное ведомство может распорядиться насчет его залогов, а он вдруг растолкует, что я армии и флоты отрицаю, основы потрясаю, авторитетов не признаю! Разве этих примеров не бывало! Разве не обвиняли фабриканты своих рабочих в бунте за то, что они соглашались работать не иначе, как под условием увеличения заработной платы! Поэтому я призвал на помощь возможное при подобных обстоятельствах гражданское мужество и воскликнул:

– Ну, да, армия... конечно! армия! Представьте, я и не подумал!

– А я так денно и ночью об этом думаю! Одна подушка моя знает, сколь много я беспокойств из-за этого переносу! Ну, да ладно. Давали христианскую цену – не взяли, так на предбудущее время и пятидесяти копеек напроситесь. Нет ли еще чего нового?

– Кандауровского барина чуть-чуть не увезли-с.

– Как увезли? куда?

– Неизвестно-с. И за что – никто не знает. Сказывали, этта, будто господин становой писал. Ни с кем будто не знакомится, книжки читает, дома по вечерам сидит...

– Не было ли поступков за ним каких?

– Поступков не было. И становой, сказывают, писал: поступков, говорит, нет, а ни с кем не знакомится, книжки читает... так и ожидали, что увезут! Однако ответ от высшего начальства вышел: дожидаться поступков. Да барин-то сам догадался, что нынче с становым шутка плохая: сел на машину – и айда в Петербург-с!

– Да, строгонько ноне насчет этих чтений стало. Насчет вина свободно, а насчет чтений строго. За ум взялись.

– А разве что-нибудь у вас было? Беспокойства какие-нибудь? – полюбопытствовал я.

– Мало ли у нас тут сквернословиев было!

– Однако ведь вы сами говорите, что за кандауровским баринком никаких поступков

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
не было?

– А кто его знает! Может, он промежду себя революцию пушал. Не по-людски живет! ни с кем хлеба-соли не водит! Кому вдомек, что у него на уме!

– Позвольте, Осип Иваныч! ведь если так рассуждать, то, пожалуй, кандауровский-то барин и хорошо сделал, что в Петербург бежал! Один бежит, другой бежит...

– А коли кто задумал бежать – никто не держит! Слава богу! И окромя довольно народу останется!

Сказавши это, Осип Иваныч опрокинулся на спину и, положив ногу на ногу, левую руку откинул, а правой забарабанил по ручке дивана. Очевидно было, что он собрался прочитать нам предиду, но с таким при этом расчетом, что он будет и разглагольствовать, и на бобах разводиться, а мы будем слушать да поучаться.

– Мы здесь живем в тишине и во всяком благом поспешении, – сказал он солидно, – каждый при своем занятии находится. Я, например, при торговле состою; другой – рукомело при себе имеет; третий – от земли питается. Что кому свыше определено. Чтением для нас не полагается.

Осип Иваныч умолк на минуту и окинул нас взглядом. Я сидел съжившись и как бы сознаваясь в какой-то вине; Николай Осипыч, как говорится, ел родителя глазами. По-видимому, это поощрило Дерунова. Он сложил обе руки на животе и глубокомысленно вертел одним большим пальцем вокруг другого.

– Главная причина, – продолжал он, – коли-ежели без пользы читать, так от чтений даже для рассудка не без ущерба бывает. День человек читает, другой читает – смотришь, по времени и мечтать начнет. И возмечтает неявленная и неудобьглаголемая. Отобьется от дела, почтение к старшим потеряет, начнет сквернословить. Вот его в ту пору сцарапают, раба божьего, – и на цугундер. Веди себя благородно, не мути, унылости на других не наводи. Так ли по-твоему, сударь?

– Да что ж "по-моему"? Меня ведь не спросят!

– Вот это ты дельное слово сказал. Не спросят – это так. И ни тебя, ни меня, никого не спросят, сами всё, как следует, сделают! А почему тебя не спросят, не хочешь ли знать? А потому, барин, что уши выше лба не растут, а у кого ненароком и вырастут сверх меры – подрезать маленечко можно!

Видя, что мысли Дерунова принимают унылый и не совсем безопасный оборот, я серьезно обеспокоился. Несмотря на смутную форму его предиди, ясно было, что она направлена в мой огород. Как ни робко выражено было мною сомнение насчет правильности наименования бунтовщиками мужиков, не соглашавшихся взять предлагаемую им за хлеб цену, но даже и оно видимо омрачило благодушие старика. Стало быть, кроме благодушия, в нем, с течением времени и под влиянием постоянной удачи в делах, развилась еще и другая черта: претензия на непререкаемость. С минуты на минуту я ждал, что от намеков он перейдет к прямым обвинениям и что я, к ужасу своему, встречу лицом к лицу с вопросом: нужны ли армии или нет? Напрасно буду я заверять, что тут даже вопроса не может быть, – моего ответа не захотят понять и даже не выслушают, а будут с настойчивостью, достойною лучшей участи, приставать: "Нет, ты не отлынивай! ты говори прямо: нужны ли армии или нет?" И если я, наконец, от всей души, от всего моего помышления возопию: "Нужны!" и, в подтверждение искренности моих слов, потребую шампанского, чтоб провозгласить тост за процветание армий и флотов, то и тогда удостоюсь только иронической похвалы, вроде: "ну, брат, ловкий ты парень!" или: "знает кошка, чье мясо съела!" и т.д.

Поэтому, в отвращение дальнейших бедствий, я воспользовался первою паузой, чтоб переменить разговор.

– Вы давно не бывали в Чемезове? – обратился я к Николаю Осипычу.

– Сегодня только проезжал. Следом за мной и старик Лукьяныч за вами приехал. В гостинице кормить остановился.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Ну, вот и прекрасно. Стало быть, я и поеду.

– Постой! погоди! как же насчет земли-то! берешь, что ли, пять тысяч? – остановил меня Осип Иваныч и, обращаясь к сыну, прибавил: – Вот, занадельную землю у барина покупаю, пять тысяч надавал.

– Пять тысяч-с! – удивился Николай Осипыч.

– Много денег, сам знаю, что много! Ради родителей вызволить барина хотел, как еще маленьким человеком будучи, ласку от них видел!

– Берите-с! – обратился ко мне Николай Осипыч, как будто даже со страхом, – этакая цена! да за этакую цену обеими руками ухватиться надобно!

– И я то же говорю, а барин вот ломается.

– Не ломаюсь, а осмотреться желаю. Надеюсь, что имею на это право!

– Кто об твоих правах говорит! Любуйся! смотри! А главная причина: никому твоя земля не нужна, следственно, смотри на нее или не смотри – краше она от того не будет. А другая причина: деньги у меня в столе лежат, готовы. И в Чемезово ехать не нужно. Взял, получил – и кати без хлопот обратно в Питер!

Но я встал и решительно начал откланиваться.

– Стало быть, ты и хлеба-соли моей отведать не хочешь! Ну, барин, не ждал я! А родители-то! родители-то, какие у тебя были!

Осип Иваныч тоже встал с дивана и по всем правилам гостеприимства взял мою руку и обеими руками крепко сжал ее. Но в то же время он не то печально, не то укоризненно покачивал головой, как бы говоря: "какие были родители и какие вышли дети!"

– Да не обидел ли я тебя тем, что насчет чтений-то просто сказал? – продолжал он, стараясь сообщить своему голосу особенно простодушный тон, – так ведь у нас, стариков, уж обычай такой: не все по головке гладим, а иной раз и против шерсти причесать вздумаем! Не погневайся!

– Полноте! Мне и в голову не приходило, что ваши слова могли относиться ко мне!

– К тебе не к тебе, а ты тоже на ус мотай! От стариков-то не отворачивайся. Ежели когда и поучат, тебя жалеючи, – ни сколько тебе убытку от этого и будет! Кандауровский-то барин недалеко от твоей вотчины жил! Так-то!

Мы простились довольно холодно, хотя Дерунов соблюл весь заведенный в подобных случаях этикет. Жал мне руки и в это время смотрел в глаза, откинувшись всем корпусом назад, как будто не мог на меня наглядеться, проводил до самого крыльца и на прощанье сказал:

– Забеги, как из Чемезова в обратный поедешь! И с крестьянами коли насчет земли не поладишь – только слово шепни – Дерунов купит! Только что уж в ту пору я пяти тысяч не дам! Ау, брат! Ты с первого слова не взял, а я со второго слова – не дам!

* * *

Лукьяныч выехал за мной в одноколке, на одной лошади. На вопрос, неужто не нашлось попросторнее экипажа, старик ответил, что экипажей много, да в лом их лучше отдать, а лошадь одна только и осталась, прочие же "кои пали, а кои так изничтожились".

– Ну, брат, не красиво же у вас там! – вздохнул я.

– Какая красота! Был, было, дворянин, да черт переменял! Вот полюбуетесь на усадьбу-то!

В Лукьяныче олицетворялась вся история Чемезова. Он был охранителем его во времена помещичьего благоденствия, и он же охранял его и теперь, когда Чемезово

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
сделалось, по его словам, таким местом, где, "куда ни плюнь, все на пусто
попадешь". Не раз писал он мне письма, в которых изображал упадок родного
гнезда, но, наконец, убедившись в моем равнодушии, прекратил всякое настоящее. С
немногими оставшимися в живых стариками и старухами, из бывших дворовых, ютился
он в подвальном этаже барского дома, получая ничтожное содержание из доходов,
собираемых с кой-каких сенных покосов, и, не без тайного ропота на мое
легкомыслие, взирал, как разрушение постепенно клало свою руку на все
окружающее. Упала оранжерея, вымерз грунтовой сарай, загдох сад, перевелся скот,
лошади выстаивали свои лета и падали. Потом сначала в одной из комнат дома
грохнулся потолок, за нею в другой комнате... Птицы и град повыбибли из окон
стекла, крыша проржавела и дала течь. Долгое время, кое-как, своими средствами,
замазывали и законопачивали, но когда наконец из всех щелей вдруг полилось и
посыпалось – бросили и заботились только о том, как бы сохранить от разрушения
нижний этаж, в котором жили старики-дворовые. Вот зрелище, которое ожидало меня
впереди и от присутствования при котором я охотно бы отказался, если б в
последнее время меня с особенною назойливостью не начала преследовать мысль, что
надо, во что бы то ни стало, покончить...

И вот я ехал "кончать". С чем кончать, как кончать – я сам хорошенько не знал,
но знал наверное, что тем или другим способом я "кончу", то есть уеду отсюда
свободный от Чемезова. Куда-нибудь! Как-нибудь! во что бы ни стало! – вот
единственная мысль, которая работала во мне и которая еще более укрепилась после
свидания с Деруновым. Должно быть, и Лукьяныч угадал эту мысль, потому что лицо
его, на минуту просветлевшее при свидании со мною, вдруг нахмурилось под
влиянием недоброго предчувствия. С старческой медленностью, беспрестанно
вздыхая, закладывал он лохматого мерина в убогую одноколку, и, быть может, в это
время в его воображении особенно ярко рисовалась сравнительная картина прежнего
помещичьего приволья и теперешнего убожества. Покуда меня не было налицо, он мог
и роптать, и сожалеть, и даже сравнивать, но ясного понимания положения вещей у
него все-таки не было. Теперь перед ним стоял сам "барин" – и вот к услугам
этого "барина" готова не рессорная коляска, запряженная четверней караковых
жеребцов, с молодцом-кучером в шелковой рубашке на козлах, а ободранная
одноколка, с хромым меринком, который от старости едва волочил ноги, и с ним,
Лукьянычем, поседевшим, сгорбившимся, одетым в какой-то неслыханный затрапез!
Лукьяныч вдруг, в одну минуту, понял. "Барин", одноколка, дом без потолков,
усадебка без оранжерей, сад без дорожек – все это ярко сопоставилось в его
старческой голове. И затем, словно искра, засветилась мысль: "Да, надо кончать!"
То есть та самая мысль, до которой иным, более сложным и болезненным процессом,
додумался и я...

Мы сели рядом, кое-как скрючились и поехали.

Долго мы ехали большою дорогой и не заводили разговора. Мне все мерещился
"кандауровский барин". "Чуть-чуть не увезли!" – как просто и естественно
вылилась эта фраза из уст Николая Осипыча! Ни страха, ни сожаления, ни даже
изумления. Как будто речь шла о поросенке, которого чуть-чуть не задавили
дорогой!

За что? по какому резону? что случилось? – никому не известно! Известно только,
что "в гости не ходил" и "книжки читал"...

Но, может быть, он дома один на один в потолок плевал? Может быть, он "Собранием
иностраных романов" зачитывался? Неужто и это зазорно? Неужто и это занятие
настолько подозрительно, что даже и ему нельзя предаваться в тишине, но должно
производить публично, в виду всех?

И кто же этот сердцеведец, который счел своею обязанностью проникнуть в душу
"кандауровского барина" и обличить ее тайные помыслы? – Увы! это становой
пристав, это бывший куроед, а теперешний эксперт по части благонадежности или
неблагонадежности обывательских убеждений!

Вот мы, жители столиц, часто на начальство ропщем. Говорим: "Стесняет, прав не
дает". Нет, съездите-ка в деревню да у станowego под началом поживите!

Что было бы с "кандауровским баринком", если б начальство не написало:
"дождаться поступков"! Что случилось бы с ним, если б судьба его зависела
единственно от усмотрения сердцеведца-станowego!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Становой! какая метаморфоза, если посравнить с добрым старым временем!

Я помню, смотрит, бывало, папенька в окошко и говорит: "Вот пьяницу-станового везут". Приедет ли становой к помещику по делам – первое ему приветствие: "Что, пьяница! видно, кур по уезду собирать ездешь!" Заикнется ли становой насчет починки мостов – ответ: "Кроме тебя, ездить здесь некому, а для тебя, пьяницы, и эти мосты – таковские". Словом сказать, кроме "пьяницы" да "куроеда", и слов ему никаких нет!

Я знаю, что такую манеру обращаться с агентом полицейской власти похвалить нельзя; но согласитесь, однако ж, что и метаморфоза чересчур уж резка. Все был "куроед", и вдруг – сердцевед!

В прежние времена говаривали: "Тайные помышления бог судит, ибо он один в совершенстве видит сокровенную человеческую мысль..." Нынче все так упростилось, что даже становой, нимало не робея, говорит себе: "А дай-ка и я понюхаю, чем в человеческой душе пахнет!" И нюхает.

Я сижу дома и, запершись от людей, Поль де Кока читаю, а становой уже нечто насчет "превратных толкований" умозаключил! Не по случаю Поль де Кока умозаключил (в этом смысле он так образован, что даже Баркова наизусть знает), а по случаю моей любви к уединению. Он думает: "Зачем я уединяюсь, когда прочие въявь все срамоты производят?" И вот он начинает сослужать меня. Я держу у себя Гришку-лакея, думаю, что живу за ним, как за каменной стеной, а он уж и Гришку развратил и потихоньку его выпросил, что и как, почтителен ли я к начальству, не затеваю ли революций и т.п. Он даже не ждет с моей стороны "поступков", а просто, на основании Тришкиных показаний, проникает в тайники моей души и одним почерком пера производит меня или в звание "столпа и опоры", или в звание "опасного и беспокойного человека", смотря по тому, как бог ему на душу положит! Это бывший-то куроед!

Куроед, совместивший в своем одном лице всю академию нравственных и политических наук! Куроед-сердцеведец, куроед-психолог, куроед-политикан! Куроед, принимающий на себя расценку обывательских убеждений и с самым невозмутимым видом одним выдающий аттестат благонадежности, а другим – аттестат неблагонадежности!

Ужели же и впрямь нет другого дела для куроедов!

Очевидно, тут есть недоразумение, в существовании которого много виноват т – ский исправник. Он призвал к себе подведомственных ему куроедов и сказал им: "Вы отвечаете мне, что в ваших участках тихо будет!" Но при этом не разъяснил, что читать книжки, не ходить в гости и вообще вести уединенную жизнь – вовсе не противоречит общепринятому понятию о "тишине".

И вот куроеды взбаламутились и с помощью Гришек, Прошек и Ванек начинают орудовать. Не простой тишины они ищут, а тишины прозрачной, обитающей в открытом со всех сторон помещении. Везде, даже в самой несомненной тишине, они видят или нарушение тишины, или подстрекательство к такому нарушению.

Еще на днях один становой-щеголь мне говорил: "По-настоящему, нас не становыми приставами, а начальниками станов называть бы надо, потому что я, например, за весь свой стан отвечаю: чуть ежели кто ненадежен или в мыслях нетверд – сейчас же к сведению должен дать знать!" Взглянул я на него – во всех статьях куроед! И глаза врозь, и руки растопырил, словно курицу поймать хочет, и носом воздух нюхает. Только вот мундир – мундир, это точно, что ловко сидит! У прежних куроедов таких мундирчиков не бывало!

И этот-то щеголь судит "моя тайная и сокровенная", судит, потому что я живу у него в стану, а он "за весь стан отвечает". Он залезает в мою душу и барахтается в ней на всей своей воле!

А "кандауровский барин" между тем плюет себе в потолок и думает, что это ему пройдет даром. Как бы не так! Еще счастлив твой бог, что начальство за тебя заступилось, "поступков ожидать" велело, а то быть бы бычку на веревочке! Да и тут ты не совсем отобоярился, а вынужден был в Петербург удирать! Ты надеялся всю жизнь в Кандауровке, в халате и в туфлях, изжить, ни одного потолка неисплеванным не оставить – ан нет! Одевайся, обувайся, надевай сапоги и кати, неведомо зачем, в Петербург!

Какие жестокие времена!

Да и один ли становой! один ли исправник! Вон Дерунов и партикулярный человек, которому ничего ни от кого не поручено, а попробуй поговори-ка с ним по душе! Ничего-то он в психологии не смыслит, а ежели нужно, право, не хуже любого доктора философии всю твою душу по ниточке разберет!

Проста наша психология! ах, как проста! Только одно слово от себя прилги или скрой одно слово – и вся человеческая подноготная словно на ладони! Вот, например, я давеча насчет бунтов говорил, что нельзя назвать бунтовщиками крестьян за то только, что они хлеб по шести гривен отдать не соглашались! Прибавь Дерунов от себя только десять следующих слов: "и при сем, якобы армий совсем не нужно, говорил" – и дело в шляпе. Я знаю, меня не казнят даже и за это, но знаю также, что ни в Навозном, ни в Соломенном мне не будет житья. Удирай! беги во все лопатки в Петербург, чтобы там, на глазах у начальства, невинную свою душу спасти!

Я удивляюсь даже, что Деруновы до такой степени скромны и сдержанны. Имей я их взгляды на бунты и те удобства, которыми они пользуются для проведения этих взглядов, я всякого бы человека, который мне нагрубил или просто не понравился, со свету бы сжил. Писал бы да пописывал: "И при сем, якобы армий совсем не нужно, говорил!" и наверное получил бы удовлетворение...

Какой необыкновенный мир – этот мир Деруновых! как все в нем перепутано, скомкано, захлащено всякого рода противоречивыми примесями! Как все колеблется и проваливается, словно половицы в парадных комнатах старого чемезовского дома, в которых даже крысы отказались жить!

Имеет ли, например, Осип Иванович право называться столпом? Или же, напротив того, он принадлежит к числу самых злых и отъявленных отрицателей собственности, семейного союза и других основ? Бьюсь об заклад, что никакой мудрец не даст на эти вопросы сколько-нибудь положительных ответов.

Что он всем своим нутром рьяный и упорный поборник всевозможных союзов – в этом я, конечно, не сомневаюсь. Это доказывается одним тем, что он богат (следовательно, чтит "собственность"), что он держит в порядке семью (следовательно, чтит "семейный союз"), что он, из уважения "к вышнему начальству", жертвует на "общепольное устройство" (следовательно, чтит союз государственный). Но понимает ли он сам, что он "поборник"? Не говорит ли в этом случае одно его нутро, которое влечёт его быть "радетелем" и "защитником" без всякого участия в том его сознания?

Вот этого-то я именно и не могу себе объяснить.

Ведь сам же он, и даже не без самодовольства, говорил давеча, что по всему округу сеть разостлал? Стало быть, он кого-нибудь в эту сеть ловит? кого ловит? не таких ли же представителей принципа собственности, как и он сам? Воля ваша, а есть тут нечто сомнительное!

Когда давеча Николай Осипыч рассказывал, как он ловко мужичков окружил, как он и в С., и в Р. сеть закинул и довел людей до того, что хоть задаром хлеб отдавай, – разве Осип Иванович вознегодовал на него? разве он сказал ему: "Бездельник! помни, что мужику точно так же дорога его собственность, как и тебе твоя!"? Нет, он даже похвалил сына, он назвал мужиков бунтовщиками и накричал с три короба о вреде стачек, отнюдь, по-видимому, не подозревая, что "стачку", собственно говоря, производил он один.

Или, наконец, насчет меня. С каким злорадством доказывал он мне, что я ничего из чемезова не извлеку и что нет для меня другого выхода, кроме как прибегнуть к нему, Дерунову, и порешить это дело на всей его воле! Предположим, что он прав; допустим, что я действительно не способен к "извлечениям" и, в конце концов, должен буду признать в Дерунове того суженого, которого, по пословице, конем не объедешь. Но разве он имел бы право поступать со мною так, как он поступил, если б был действительный и сознательный поборник принципа собственности? Не обязан ли он был утешить меня, наставить, укрепить? Не обязан ли был предостеречь меня самый подробный и самый истинный расчет, ничего не утаивая и даже обещая, что буде со временем и еще найдутся какие-нибудь лишки, то и они пойдут не к нему, а

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
ко мне в карман?

Нет, как хотите, а с точки зрения собственности – он не "столп"!

И кто же знает, столп ли он по части союзов семейного и государственного? Может быть, в государственном союзе он усматривает одни медали, которыми уснащена его грудь? Может быть, в союзе семейном...

Но здесь нить моих размышлений порвалась, и я, несмотря на неловкое положение тела, заснул настолько глубоко и сладко, что даже увидел сон.

Виделся мне становой пристав. Окончил будто бы он курс наук и даже получил в Геттингенском университете диплом на доктора философии. Сидит будто этот испытанный психолог и пишет:

"Проявился в моем стане купец 1-й гильдии Осип Иванов Дерунов, который собственности не чтит и в действиях своих по сему предмету представляется не без опасности. Искусственными мерами понижает он на базарах цену на хлеб и тем вынуждает местных крестьян сбывать свои продукты за бесценок. И даже на днях, встретив чемезовского помещика (имярек), наглыми и бесстыжими способами вынуждал одного продать ему свое имение за самую ничтожную цену.

А потому благоволит вышнее начальство оного Дерунова из подведомственного мне стана извлечь и поступить с ним по законам, водворив в места более отдаленные и безопасные".

– Знато, сударь, уснули! – приветствовал меня Лукьяныч, когда я, при первом сильном толчке одноколки, очнулся, – даже кричали во сне. Крикнете: "Вор!" – и опять уснете!

Я чувствую, что сейчас завяжется разговор, что Лукьяныч горит нетерпением что-то спросить, но только не знает, как приступить к делу. Мы едем молча еще с добрую версту по мостовнику: я истребляю папиросу за папиросою, Лукьяныч исподлобья взглядывает на меня.

– Кончать приехали? – наконец произносит он.

– Да надо бы... всему есть конец, Лукьяныч!

– Это так точно. (Лукьяныч нервно передергивает вожжами.) У Осипа Иванова побывали?

– Был.

– Покупает, значит?

– Надавал пять тысяч.

– Ловок, толстобрюхой!

Молчание.

– Конечно, – вновь начинает Лукьяныч, – многие нынче так-то говорят: пропади, мол, оно пропадом!

Опять молчание.

– Как же быть-то, Лукьяныч?

– Вот и я это самое говорю: ничего не поделаешь! пропади, мол, оно пропадом!

Опять молчание.

– Прежде люди по местам сидели. Нынче все, ровно жида, разбежались.

– Согласись, однако ж, что мне здесь делать нечего.

– Папенька с маменькой нашли бы, что делать. А вам что! Пропади оно пропадом – и

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
делу конец!

– Заладил одно! Ты бы лучше сказал, подходящую ли цену дает Дерунов?

– Стало быть, для него подходящая, коли дает!

– Да для меня-то? для меня-то подходящая ли?

– И для вас, коли-ежели...

– Не лучше ли крестьянам предложить?

– Что ж, и крестьянам... тоже с удовольствием...

– Вот Дерунов говорит, что крестьянам-то подати впору платить!

– Знает, толстобрюхой!

В этом роде мы еще с четверть часа поговорили, и все настоящего разговора у нас не было. Ничего не поймешь. Хороша ли цена Дерунова? – "знамо хороша, коли сам дает". Выстоят ли крестьяне, если им землю продать? – "знамо, выстоят, а може, и не придется выстоять, коли-ежели..."

– Слушай! ты что такое говоришь!

– Что говорю! знамо, мы рабы, и слова у нас рабские.

– я тебя об деле спрашиваю, а ты меня или дразнишь, или говорить не хочешь!

– Об чем говорить, коли вы сами никакого дела не открываете!

– я кончать хочу! Понимаешь, хочу кончать!

– И кончать тоже с умом надо. Сами в глаза своего дела не видели, а кругом пальца обернуть его хотите. Ни с мужиками разговору не имели, ни какова такова земля у вас есть – не знаете. Сколько лет терпели, а теперь в две минуты конец хотите сделать!

В самом деле, ведь я ничего не знаю. Ни земли не знаю, ни "своего дела". Странно, как это соображение ни разу не пришло мне в голову. В течение многих лет одно у меня было в мыслях: кончить. И вот, наскучив быть столько времени под гнетом одного и того же вопроса, я сел в одно прекрасное утро в вагон и помчался в Т***, никак не предполагая, что "конец" есть нечто сложное, требующее осмотров, покупателей, разговоров, запрашиваний, хлопаний по рукам и т.п. Оказывается, однако ж, что в мире ничто не делается спустя рукава и что если б я захотел даже, в видах сокращения переписки, покончить самым безвыгодным для меня образом, то и тут мне предстояло бесчисленное множество всякого рода формальностей. Как бы, вместо "конца"-то, не прийти к самому ужаснейшему из всех "начал": к началу целого ряда процессов, которые могут отравить всю жизнь? При этой мысли мне сделалось так скверно, что даже померещилось: не лучше ли бросить? то есть оставить все по-прежнему и воротиться назад?

Во всяком случае, я решился до времени не докучать Лукьянычу разговорами о "конце" и свел речь на Дерунова.

– А ходко пошел Осип Иванов!

– Голова на плечах есть! Оттого!

– Крестьян, говорят, шибко притесняет?

– Чем притесняет? нынче – воля!

– Чудак! разве вольного человека нельзя притеснить?

– Засилие взял, а потому и окружил кругом. На какой базар ни сунься – везде от него приказчики. Какое слово скажут, так тому и быть!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Повезло ему! Богат, у всех в почтении, в семье счастлив!

– В двух семьях...

– Как в двух! неужто у него и на стороне семья есть?

– Не на стороне, а в своем дому. Анну-то Ивановну он нынче отставил, у сына, у Яшеньки, жену отнял!

Признаюсь, это известие меня озадачило. Как! этот благолепный старик, который праздника в праздник не вменяет, ежели двух обеден не отстоит, который еще давеча говорил, что свою Анну Ивановну ни на какую принцессу не променяет... снохач!!

– Да не врут ли, Лукьяныч? Сказывают, Яшенька-то ведь у него непутный!

– Запивает, известно!

– Ну, видишь ли!

– С этого самого и запил, что сраму стерпеть не мог!

Кончено. С невыносимую болью в сердце я должен был сказать себе: Дерунов - не столп! Он не столп относительно собственности, ибо признает священную только лично ему принадлежащую собственность. Он не столп относительно семейного союза, ибо снохач. Наконец, он не может быть столпом относительно союза государственного, ибо не знает даже географических границ русского государства...

Но где же искать "столпов", если даже Осип Иваныч не столп?

КАНДИДАТ В СТОЛПЫ

Какая, однако ж, загадочная, запутанная среда! Какие жестокие, неумолимые нравы! До какой поразительной простоты форм доведен здесь закон борьбы за существование! Горе "дуракам"! Горе простецам, кои "с суконным рылом" суются в калашный ряд чай пить! Горе "карасям", дремлющим в неведении, что провиденциальное их назначение заключается в том, чтоб служить кормом для щук, наполняющих омут жизненных основ!

Все это я и прежде очень хорошо знал. Я знал и то, что "дураков учить надо", и то, что "с суконным рылом" в калашный ряд соваться не следует, и то, что "на то в море щука, чтобы карась не дремал". Словом сказать, все изречения, в которых, как в неприступной крепости, заключалась наша столповая, безапелляционная мудрость. Мало того, что я знал: при одном виде избранников этой мудрости я всегда чувствовал инстинктивную оторопь.

Мне казалось, что эти люди во всякое время готовы растерзать меня на клочки. Не за то растерзать, что я в чем-нибудь виноват, а за то, что я или "рот разинул", или "слюни распустил". Начавши жизненную карьеру с процесса простого, так сказать, нетенденциозного "отнятия", они постепенно приходят в восторженное состояние и возвышаются до ненависти. Им мало отнять у "разини", им нужно сократить "разиню", чтоб она не болталась по белу свету, не обременяла понапрасну землю. Ненависть к "дураку" возводится почти на степень политического и социального принципа.

Как тут жить?!

Но я живу и, следовательно, волею и неволею делаюсь причастником жизненного процесса. В сущности, этот процесс даже для "разини" не представляет ничего головоломного. Наравне со всеми прочими, я могу и купить, и продать, и объявить войну, и заключить мир. Купить так купить, продать так продать, говорю я себе, и мне даже в голову не приходит, что нужно принадлежать к числу семи мудрецов, чтобы сладить с подобными бросовыми операциями. Но когда наступает момент "ладить" - вот тут-то именно я и начинаю путаться. Мне делается неловко, почти совестно. Мне начинает казаться, что на меня со всех сторон устремлены подозрительные взоры, что в голове человека, с которым я имею дело, сама собою созревает мысль: "А ведь он меня хочет надуть!" И кто же может поручиться, что и

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
в моей голове не зреет та же мысль? не думаю ли и я с своей стороны: "А ведь он
меня хочет надуть!"

Это чувство обоюдной подозрительности до того противно, что я немедленно начинаю
ощущать странную потребность освободиться от него. И потому на практике я почти
всегда действую "без ума", то есть - спешу. Когда я продаю, то мои действия сами
собой принимают такой характер, как будто покупатель делает мне благодеяние и
выручает меня из неслыханного затруднения. Когда я покупаю и продавец, по
осмотре предмета покупки, начинает уверять меня, что все виденное мною ничто в
сравнении с тем, что я, с божьей помощью, впереди увижу, то я не только не
вступаю с ним в спор, не только не уличаю его во лжи, но, напротив того, начинаю
воскликнуть: "Да помилуйте! да неужели же я не понимаю!" и т.д. Когда я объявляю
войну, то каким-то образом всегда так устроивается, что я нахожу своего
противника вооруженным прекраснейшим шасспо, а сам нападаю на него с кремневым
ружьём, у которого, вдобавок, вместо кремня вставлена крашенная под кремень
чурочка. Когда заключаю мир, то говорю: возьми всё - и отстань!

Но что всего удивительнее: я не только не питаю никакой ненависти к этим людям,
но даже скорее склонен оправдывать их. Так что если б я был присяжным
заседателем и мне, в этом качестве, пришлось бы судить различные случаи
"отнятия" и "устранения из жизни", то я положительно убежден, что и тут поступил
бы как "разиня", "слюнй" и "дурак". Каким образом занести руку на вора, когда
сама народная мудрость сочинила пословицу о карасе, которому не полагается
дремать? каким образом обрушиться на нарушителя семейного союза, когда мне
достоверно известно, что "чуждых удовольствий любопытство" (так определяет
прелюбодеяние "Письмовник" Курганова) представляет одну из утонченнейших форм
новейшего общежития? Вот почему я совсем неспособен быть судьей. Я не могу ни
качать, ни миловать; я могу только бояться...

Увы! я не англосакс, а славянин. Славянин с головы до ног, славянин до мозга
костей. Историки достоверно утверждают, что славяне исстари славились гостеприимством, -
вот это-то именно качество и преобладает во мне. Я люблю всякого странника
угостить, со всяким встречным по душе покалякать. И ежели под видом странника
вдруг окажется разбойник, то я и тут не смущусь: возьми все - и отстань. Я даже
не попытаюсь оборониться от него, потому что ведь, в сущности, все равно, как
обездолит меня странник: приставши ли с ножом к горлу или разговаривая по душе.
Пусть только он спрячет свой нож, пусть объедает и опивает меня по душе! Греха
меньше.

Говоря по правде, меня и "учили" не раз, да и опытностью житейскою судьба не
обделила меня. Я многое испытал, еще больше видел и даже - о, странная игра
природы! - ничего из виденного и испытанного не позабыл...

Но все это прошло мимо, словно скользнуло по мне. Как будто я видел во сне
какое-то фантастическое представление, над которым и плакать и хохотать
хочется...

Я помню, как пришла мне однажды в голову мысль: "Куплю я себе подмосковную!"
Зачем Чемезово? Что такое Чемезово? Чемезово - глушь, болотина, тряпина! В
Чемезове с голоду помрешь! В Чемезове никто покалякать по душе не заедет! То ли
дело "подмосковная"! И вот, вместо того чтоб "с умом" повести дело, я, по
обыкновению, начал спешить, а меня, тоже по обыкновению, начали "объегоривать".
Какие-то благочестивые мерзавцы явились: вздыхают, богу молятся - и
объегоривают! Чужой лес показывают и тут же, смеючись, говорят: "Да вы бы,
сударь, с планом проверили! ведь это дело не шуточное: на ве-ек!" А я-то так и
надрываюсь: "Да что вы! да помилуйте! да неужто ж вы предполагаете! да я! да
вы!" и т.д. И что же в результате вышло? Вышло, что я до сего дня на проданный
мне лес люблюсь, но войти в него не могу: чужой!

Памятны мне "крепостные дела" в московской гражданской палате. Выходишь, бывало,
сначала под навес какой-то, оттуда в темные сени с каменными сводами и с
кирпичным, выбитым просительскими ногами полом, нащупаешь дверь, пропитанную
потом просительских рук, и очутишься в узком коридоре. Коридор светлый, потому
что идет вдоль наружной стены с окнами; но по правую сторону он ограничен
решетчатой перегородкой, за которою виднеется пространство, наполненное
сумерками. Там, в этих сумерках, словно в громадной звериной клетке, кружатся
служители купли и продажи и словно затевают какую-то исполнинскую стряпню.
Осипшие с похмелья голоса что-то бормочут, дрожащие руки что-то скребут. Здесь,

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik по манию этих зверообразных людей, получает принцип собственности свою санкцию! здесь с восхода до заката солнечного поются ему немолчные гимны! здесь стригут и бреют и кровь отворяют! Здесь, за этой решеткой. А по сю сторону перегородки, прислонившись к замасленному карнизу ее, стоят люди кабальные, подневольные, люди, обуреваемые жадой стяжания, стоят и в безысходной тоске внемлют гимну собственности, который вопиет из всех стен этого мрачного здания! И в каждом из этих кабальных людей, словно нарыв, назревает мучительная мысль: вот сейчас! сейчас налетит "подвох"! – сейчас разверзнется под ногами трапп... хлоп! И начнут тебя свежевать! вот эти самые невымытые, нечесанные, вонючие служители купли и продажи! Свежевать и приговаривать: "Не суйся, дурак, с суконным рылом в калашный ряд чай пить! забыл, дурак, что на то щука в море, чтобы карась не дремал! Дурак!"

Помню я и уездный суд. Помню судью, лихого малого, который никогда не затруднялся "для своего брата дворянина одолжение сделать", но всегда как-то так устроивал, что, вместо одолжения, выходила пакость. Помню секретаря, у которого щека была насквозь прогрызена фистулою и весь организм поражен трясением и который, за всем тем, всем своим естеством, казалось, говорил: "Погоди, уж я завяжу тебе узелочек на память, и будешь ты всю жизнь его развязывать!" Помню весь этот кагал, у которого, начиная со сторожа, никаких других слов на языке не было, кроме: урвать, облапошить, объегорить, пустить по миру...

Помню тетешек, сестриц, дяденек, братцев, постоянно ведших между собою какую-то бесконечную тяжбу, подличавших перед всевозможными секретарями, столоначальниками, писцами, открывавших перед ними всю срамную подноготную своего домашнего очага, не отступавших ни перед лестью, ни перед сплетней, ни перед клеветой...

– Беспременно эта расписка фальшивая! – восклицала одна тетенька.

– Беспременно он столоначальника перекупил! – восклицала другая тетенька.

– Уж это как свят бог, что они его дурманом опоили! – вопияла сестрица.

И так далее, то есть целый ряд возгласов, в которых так и сыпались, словно жемчуг бурмицкий, слова: "Подкупил, надул, опоил" и проч.

Надеюсь, что это школа хорошая и вполне достаточная, чтобы из самого несомненного "ротозея" сделать осторожного и опытного практика. Но повторяю: ни опыт, ни годы не вразумили меня. Я знаю, я помню – и ничего больше. И теперь, как всегда, я остаюсь при своем славянском гостеприимстве и ничего другого не понимаю, кроме разговора по душе... со всяким встречным, не исключая даже человека, который вот-вот сейчас начнет меня "облапошивать". И теперь, как всегда, я "спешу", то есть смотрю на своего покупателя и своего продавца, как на избавителей, без помощи которых я наверное погряз бы в беде... Возьми всё – и отстань!

Говорят, что теперь ничего этого уже нет. Нет ни уездных садов, ни гражданских палат, ни решеток, за которыми сидят "крепостные дела". Конечно, это факт утешительный, но я должен сознаться, что даже и от него не много прибавилось во мне куражу. Я все-таки боюсь, и всякий раз, как приходится проходить мимо конторы нотариуса, мне кажется, что у него на вывеске все еще стоит прежнее: "Здесь стригут, бреют и кровь отворяют". Что здесь меня в чем угодно могут уверить и разуверить. Что здесь меня могут заставить совершить такой акт, которого ни один человек в мире не имеет права совершить. Что здесь мне несовершеннолетнего выдадут за совершеннолетнего, каторжника за столпа, глухонемого за витию, явного прелюбодея за ревнителя семейных добродетелей. И в заключение скажут: "что же делать, милостивый государь! это косвенный налог на ваше невежество!" и даже потребуют, чтоб я этим объяснением утешился.

Какая загадочная, запутанная среда! И какое жалкое положение "дурака" среди этих тоже не умных, но несомненно сноровистых и хищных людей!

На этот раз, однако ж, ввиду предстоявшего мне "конца", я твердо решился окаменеть и устранить всякую мысль о славянском гостеприимстве. "Пора наконец и за ум взяться!" – сказал я себе и приступил к делу с мыслью ни на йоту не отступать от этой решимости. Старик Лукьянич тоже, по-видимому, убедился, что "конец" неизбежен и что отдалять его – значит только бесполезно поддерживать

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik тревожное чувство, всецело овладевшее мною. Поэтому он впал в какую-то суетливую деятельность, в одно и то же время знакомя меня с положением моего имения и разведывая под рукой, не навернется ли где подходящего покупателя.

Я кое-как устроился в одной из комнат гостиного флигеля, которая не представляла еще большой опасности. Первые дни были посвящены осмотрам. Дерунов был прав: громадный барский дом стоял без окон, словно старый инвалид без глаз. Стены почернели, красная краска на железной крыше частью выгорела, частью пестрила ее безобразными пятнами; крыльцо обвалилось, внутри дома – пол колебался, потолки частью обрушились, частью угрожали обрушением. Но расхищения не было, и Дерунов положительно пригнал, говоря, что даже кирпич из печей растаскан.

– Тут одного гвоздя сколько! – восторгался Лукьяныч, бесстрашно водя меня по опустелым комнатам. – Кирпичу, изразцу, заслонок – страсть! Опять же и дерево! Только нижние венцы подгнили да балки поперечные сопрели, а прочее – хоть опять сейчас в дело! Сейчас взял, балки переменял, верхнюю половину дома вывесил, нижние венцы подрубил – и опять ему веку не будет, дому-то!

Осмотревши дом, перешли к оранжереям, скотному и конному дворам, флигелям, людским, застольным... Все было ветхо, все покривилось и накренилось, везде пахло опальной затхлостью, но гвоздя везде было пропасть. Сад загдох, дорожек не было и помина, но березы, тополи и липы разрослись так роскошно, что мне самому стало как-то не по себе, когда я подумал, что, быть может, через месяц или через два, придет сюда деруновский приказчик, и по манию его ляжет, посеченная топором, вся эта великолепная растительность. И эти отливающие серебром тополи, и эти благоухающие липы, и эти стройные, до самой верхушки обнаженные от сучьев березы, неслышно помагающие в вышине своими включенными, чуть видными вершинами... Еще месяц – и старый чemezовский сад будет представлять собою ровное место, усеянное пеньками и загроможденное полсаженками дров, готовых к отправлению на фабрику. Казалось, вся эта загдохшая, одичалая чаща в один голос говорила мне: "вырастили! выхолили!" и вот пришел "скучающий" человек, которому неизвестно почему, неизвестно что надоело, пришел, черкнул какое-то дурацкое слово – и разом уничтожил весь этот процесс рашения и холения!

– Ишь какой вырос! – говорил между тем Лукьяныч, – вот недели через две зацветут липы, пойдет, это, дух – и не выйдешь отсюда! Грибов сколько – всё белые! Орешник вон в том углу засел – и не додерешься! Малина, ежевика...

В тоне голоса Лукьяныча слышалось обольщение. Меня самого так и подмывало, так и рвалось с языка: "А что, брат, коли-ежели" и т.д. Но, вспомнив, что если однажды я встану на почву разговора по душе, то все мои намерения и предположения относительно "конца" разлетятся, как дым, – я промолчал.

– Ежели даже теперича срубить их, парки-то, – продолжал Лукьяныч, – так от одного молодятника через десять лет новые парки вырастут! Вон она липка-то – робёнок еще! Купят, начнут кругом большие деревья рубить – и ее тут же зря замнут. Потому, у него, у купца-то, ни бережи, ни жаления: он взял деньги и прочь пошел... хоть бы тот же Осип Иванов! А сруби теперича эти самые парки настоящий хозяин, да сруби жалеючи – в десять лет эта липка так выхолится, что и не узнаешь ее!

Обольщение шло crescendo [с возрастающей силой (итал.)], я чувствовал себя, так сказать, на краю пропасти, но все еще оставался неколебим.

– Опять ежели теперича самим рубить начать, – вновь начал Лукьяныч, – из каждой березы верно полсаженок выйдет. Ишь какая стеколистая выросла – и вершины-то не видать! А под парками-то восемь десятин – одних дров полторы тыщи саженей выпилить можно! А молодятник сам по себе! Молодятник еще лучше после вырубки пойдет! Через десять лет и не узнаешь, что тут рубка была!

– А что, коли-ежели... – невольно сорвалось у меня с языка.

Однако бог спас, и я успел остановиться вовремя.

– Коли-ежели этот парк Дерунову в руки, – поправился я, – ведь он тут кучу деньжищ загребет!

– И Дерунов загребет, и другой загребет. Главная причина: у кого голова на

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
плечах состоит, тот и загребет. Да парки что! Вот уже запряжем мерина, в
Филиппцево съездим, лес посмотрим – вот так лес!

Съездили в Филиппцево, потом в Ковалиху съездили, потом в Тараканиху. И везде
оказался лес. В одном месте настоящий лес, "хоть в какую угодно стройку пушай",
в другом – молодятник засел.

– Вот тут ваш папенька пятнадцать лет назад лес вырубил, – хвалил Лукьяныч, – а
смотри, какой уж стеколистый березнячок на его месте засел. Коли-ежели только
терпение, так через двадцать лет цены этому лесу не будет.

Словом сказать, столько богатств оказалось, что и не сосчитать. Только поля
около усадьбы плохи. Загубели, задерневели, поросли лозняком. А впрочем,
"коли-ежели к рукам", то и поля, пожалуй, недурны.

– Одного лозняка тут на всю жизнь протопиться станет! Мы уж сколько лет им
протапливаемся, а все его, каторжного, не убывает. Хитер, толстомясой (то есть
Дерунов)! За всю Палестину пять тысяч надавал! Ах, дуй те горой! Да тут одного
гвоздья... да кирпича... да дров... окромя всего прочего... ах ты, господи!

Зрелище этих богатств поколебало и меня. Шутка сказать! В Филиппцево, по малой
мере, пятнадцать тысяч сажен дров, в Ковалихе пять тысяч, в парке полторы, а там
еще Тараканиха, Опалиха, Ухово, Волчьи Ямы... Срубить лес, продать дрова (ежели
даже хоть по рублю за сажень очистится)... сколько тут денег-то! А земля-то
все-таки будет моя! И опять пошел на ней лес расти!.. Через двадцать лет опять
Тараканиху да Опалиху побоку... и опять пошел лес! А отопиться и лозняком можно!
лес и лозняк! Лес, лес, лес! Просто хоть сойти с ума!

Но ведь для этого надобно жить в Чемезове, надобно беспокоиться, разговаривать,
хлопать по рукам, запрашивать, уступать... А главное, жить тут, жить с чистым
сердцем, на глазах у всевозможных сердцеведцев, официальных и партикулярных,
которыми кишит современная русская провинция! Вот что страшит. Еще в Петербурге
до меня доходили, через разных приезжих из провинции, слухи об этих новоявленных
сердцеведцах.

– Теперь, брат, не то, что прежде! – говорили одни приезжие, – прежде, бывало,
живешь ты в деревне, и никому нет дела, в потолок ли ты плюешь, химией ли
занимаешься, или Поль де Кока читаешь! А нынче, брат, ау! Химию-то изволь
побоку, а читай Поль де Кока, да ещё так читай, чтобы все твои домочадцы знали,
что ты именно Поль де Кока, а не "Общепонятную физику" Писаревского читаешь!

– Теперь, брат, деревню бросить надо! – говорили другие, – теперь там целая
стена сердцеведцев образовалась. Смотрят, уставив брады, да умозаклучают каждый
сообразно со степенью собственной невежественности! Чем больше который
невежествен, тем больше потрясений и подкопов видит. Молви ты в присутствии
сердцеведца какое-нибудь неизвестное ему слово – ну, хоть "моветон", что ли –
сейчас "фюить!", и пошла писать губерния.

Да, это так; в этом я сам теперь убедился, поговорив с Деруновым. Я был на один
шаг от опасности, и ежели не попался в беду, то обязан этим лишь тому, что
Дерунов сам еще не вполне обнял всю обширность полномочий, которые находятся в
его распоряжении. Конечно, он не настоящий, то есть не официальный сердцеведец,
он только "подспорье"... но ведь и с подспорьем нынче шутить нельзя! Посмотрит,
умозаклучит, возьмет в руки перышко – смотришь, ан и село на тебя пятнышко...
Положим, крошечное, с булавочную головку, а все-таки пятнышко! Поди потом,
соскребывай его!

Как все изменилось! как все вдруг шарахнулось в сторону! Давно ли исправники
пламенели либерализмом, давно ли частные пристава обливались слезами, делая
домовые выемки! Давно ли?... да не больше десяти лет тому назад!

– Ne croyez pas a ces larmes! ce sont des larmes de crocodile! [Не верьте этим
слезам, это крокодиловы слезы! (франц.)] – еще в то время предостерегал меня
один знакомый француз, свидетель этих выемочных слез.

Но, признаюсь, несмотря на это образное предостережение, я верил не ему, а
полицейским слезам. Я думал, что раз полились эти слезы, и будут они литься без
конца... Что в этих слезах заключается только зародыш, которому суждено

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
развиваться дальше и дальше.

Я столько видел в то время чудес, что не мог, не имел права быть скептиком. Я знал губернатора, который был до того либерален, что не верил даже в существование тверди небесной.

– Ничему я этому не верю! – говорил он, – как будто земля под стеклянным колпаком висит, и кто-то там ею ворочает – какие пустяки!

Я знал генерала, который до того скептически относился к "чудесам кровопускания", что говорил мне:

– Конечно... есть случаи... как это ни прискорбно... когда без кровопускания обойтись невозможно... Это так! Это я допускаю! Но чтобы во всяком случае... сейчас же... с первого же раза... так сказать, не разобравши дела... не верьте этому, милостивый государь! не верьте этому никогда! Это... неправда!

И все это я видел своими глазами, все это я слышал своими ушами не дальше, как десять лет тому назад!

И вдруг весь этот либерализм исчез! Исправник "подтягивает", частный пристав обыскивает и гогочет от внутреннего просветления. Все поверили, что земля под стеклянным колпаком висит, все уверовали в "чудеса кровопускания", да не только сами уверовали, но хотят, чтоб и другие тому же верили, чтобы ни в ком не осталось ни тени прежнего либерализма.

"Насчет вина свободно, насчет чтений – строго!" – вот собственные слова Дерунова, которые, конечно, никогда не изгладятся из моей памяти. И какой загадочный человек этот Дерунов! Вслушиваешься в тон, которым он произносит свои "предики", кажется, что он говорит серьезно и даже с некоторою нажимкой. И вдруг прорвется нотка... ну, смеется эта нотка, да и всё тут! Смеется, словно вот так и говорит: "Видишь, какие я чудеса в решете перед тобою выкладываю! а ты все-таки слушай, да на ус себе мотай! Потому что я – столп!"

Жестокие нравы! Загадочный, запутанный мир!

Нет, лучше уйти! какие тут тысячи, десятки тысяч саженой дров! Пойдет ли на ум все это обилие гвоздя, кирпича, изразца, которым соблазняет меня старик! Кончить и уйти – вот это будет хорошо!

– Нет, Лукьяныч, мне здесь жить незачем! – сказал я однажды, когда старик с особенным рвением начал разводить передо мною на бобах.

– А почему ж бы?

– А вот почему: скажи я теперь хоть тебе, что, например, не Илья-пророк громом распоряжается...

– Что вы, сударь! Христос с вами!

– Ну, видишь! ты вот от моих слов только рот разинул, а другой рта-то не разинет, а свистнет...

– А вы, сударь, не говорите! За это тоже не похвалят.

– Знаю, поэтому и ухожу от греха. Так вот что! подыскивай-ка ты покупщика.

* * *

В течение месяца перед моими глазами прошла целая портретная галерея лиц. Я видел все оттенки любостяжания, начиная с заискивающего, в основании которого лежит робкое чувство зависти, и кончая наглым, от которого так и пышет беззаветною верою в несокрушимую силу хищничества. Мирное чемезово сделалось ареною борьбы, которая, благодаря элементу соревнования, нередко принимала характер ненависти. Всякий являлся на арену купли, с головы до ног вооруженный темными подозрениями, и потому не шел прямою дорогой к делу, но выбирал окольные пути. Всякий старался не только отбить у другого облюбованный кусок, но еще подставить конкуренту ногу и по возможности очернить его. Сначала меня занимала

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
эта беспардонная игра страстей, разгоравшаяся по поводу какой-нибудь Ковалихи
или Тараканихи, потому что я имел наивность видеть в ней выражение настоятельно
говорящего чувства собственности; но потом, всмотревшись ближе, я убедился, что
принцип собственности, в смысле общественной основы, играет здесь самую жалкую,
почти призрачную роль.

Конечно, я был бы неправ, если б утверждал, что в моих глазах происходило прямое
воровство, или кража, или грабеж. Но что тут в постоянном ходу было действие,
называемое в просторечии "подвохом", – это несомненно. Только теперь я увидел,
сколько может существовать видов "отнятия", которых не только закон, но даже
самый тонкий психолог ни предусмотреть, ни поименовать не может. Весь процесс
купли и продажи основан на психологических тонкостях, относительно которых
немыслимы какие бы то ни было юридические определения. Вы слабохарактерны – я
налетаю на вас орлом; вы тщеславны – я опутываю вас паутиной самой тонкой лести;
вы недалёковидны или глупы – я показываю вам чудеса в решете, от которых вы
дуреете окончательно. Очень часто "подвох" является даже в самой цинической и
грубой форме, без всякого участия психологии; но и тут он недоступен для
изобличения, потому что в основании его предполагается обоюдное согласие.
"Своими ли ты глазами смотрел? своими ли руками брал?" – таковы афоризмы, на
которых твердо стоит "подвох". Две стороны находятся друг против друга, и обе
стараятся друг друга обойти. Не украсть, а именно обойти. Даже "дурак" не прочь
бы обойти умного, но только не умеет. И только тогда, когда "подвох" возымел уже
свое действие, когда психологическая игра совершила весь свой круг и получила от
нотариуса надлежащую санкцию, когда участвовавшие в ней стороны уже получили
возможность проверить самих себя, только тогда начинают они ощущать нечто
странное. Я уже не говорю о стороне "объегоренной", "облапошенной" и т.д.,
которая с растерявшимся видом ощупывает себя, как будто с нею наяву произошло
что-то вроде сновидения; я думаю, что даже сторона "объегорившая",
"облапошившая" и т.д. – и та чувствует себя изувеченною, на том основании, что
"мало еще дурака нагрели". Конечно, кражи тут нет, но, как хотите, есть нечто до
такой степени похожее, что самая неопределимость факта возбуждает чувство,
еще более тревожное, нежели настоящая кража. Куда идти? где искать отмщения?
Ежели искать его в сфере легальности, то ни один правильно организованный суд не
признает себя компетентным в деле психологических игр. Ежели искать его в сфере
так называемого общественного мнения, то все эти "рохли", "разини" и "дураки"
занимают на жизненном пире такое приниженное, постылое место, что внезапный
протест их может возбудить только чувство изумления.

Собственно говоря, я почти не принимал участия в этой любостязательной драме,
хотя и имел воспользоваться плодами ее. Самым процессом ликвидации всецело
овладел Лукьяныч, который чувствовал себя тут как рыба в воде. Покупщики
приходили, уходили, опять приходили, и старик не только не утомлялся этою
бесконечною сутолокою, но даже как будто помолодел.

– Вот погодите! – говорил он, спровадив какого-нибудь претендента на обладание
Опалихой, – он еще ужо придет, мы его тут с одним человеком стравим!

И стравливал. Стравливал всегда внезапно, как бы ненароком, и притом так
язвительно, что у конкурентов наливались кровью глаза и выступала пена у рта.
Конечно, это в значительной степени оттягивало ликвидацию моих дел, но в этом
отношении все мои настояния оставались бессильными. Лукьяныч не только не хотел
понимать, но даже просто-напросто не понимал, чтоб можно было какое-нибудь дело
сделать, не проведя его сквозь все мытарства запрашиваний, оговорок, обмолвок и
всей бесконечной свиты мелких подвохов, которыми сопровождается всякая так
называемая полюбовная сделка, совершаемая в мире столпов и основ.

Я, конечно, не намерен рассказывать читателю все перипетии этой драмы, но считаю
нелишним остановиться на одном эпизоде ее, которым, впрочем, и кончились мои
деревенские похождения по предмету продажи и купли.

Между прочим, Лукьяныч счел долгом заpastись сводчиком. Одним утром сию я у
окна – вижу, к барскому дому подъезжает так называемая купецкая тележка. Лошадь
сильная, широкогрудая, длинногривая, сбруя так и горит, дуга расписная. Из
тележки бойко соскакивает человек в синем армяке, привязывает вожжами лошадь к
крыльцу и направляется в помещение, занимаемое Лукьянычем. Не проходит десяти
минут, как старик является ко мне.

– Заяц из Долгинихи приехал, – докладывает он.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

- Покупщик, что ли?
- Говорит, что Волчьи Ямы купить охотится.
- Что ж, переговоры с ним!
- Стало быть, он до вас дойти хочет.
- А коли хочет, так зови.

Но вместо того чтоб уйти, Лукьяныч переминается с ноги на ногу, видимо желая что-то сказать еще.

- Только он покупатель не настоящий, - произносит он наконец, по своему обыкновению загадочно понижая голос, - у него всего и имущества вон эта телега с лошадей.
- Так об чем же я буду с ним говорить?
- Поговорите, может, и польза будет.
- Да кто он такой?
- Здешний, из Долгинихи, Федор Никитин Чурилин. А Зайцем прозван оттого, что он на всяком месте словно бы из-под куста выпрыгнул. Где его и не ждешь, а он тут. Крестьянством не занимается, а только маклерит. Чуть где прослышит, что в разделку пошло - ему уж и не сидится. С неделю места есть, как он около нас кружит, да я все молчал. Сам, думаю, придет - ан вот и пришел.
- Чем же он для нас-то может быть полезен?
- Первое дело, покупателя приведет. Второе дело, и сам для виду подторговывать будет, коли прикажем. Только баловать его не нужно.
- То есть как же не "баловать"?
- Много денег давать не надо. Он тоже ловок на чужие-то деньги чай пить. Вы сами-то не давайте, ко мне посылайте.

Лукьяныч уходит и через минуту является вместе с Зайцем. Это среднего роста человек, жиденький, белокуренький, с подстриженной рыжеватой бородкой, с маленькими бегающими глазками, обрамленными розовыми, как у кролика, веками, с вострым носом. Вообще фигурой своей он напоминает отчасти лисицу, отчасти зайца. Одет щеголем: в синей тонкого сукна сибирке, подпоясанной алым кушаком, поверх которой надет такой же синий армяк; на ногах высокие смазные сапоги. Подходит он на цыпочках, почти неслышно, к самому столу, за которым я сижу. К разговору приступает шепотом, словно секрет выведать хочет. При этом непрерывно оглядывается по сторонам и при малейшем шорохе вздрагивает.

- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Наслышаны, что ваша милость вотчину продать желаете?
- Да, желал бы.
- Так-с. А какая, примерно, цена ваша будет?
- Да вы осматривали дачу-то?
- Даже очень довольно смотрели. Мы, ваше благородие, здешние жители. Может, около каждого куста раз десять обошли. Очень довольно знаем. В Филиппове это точно, что есть лесок, а в прочих местах лет двадцать настоящего лесу дожидаться надо!
- Мне кажется, однако, что и в некоторых других пустошах порядочный лес есть.

– Помилуйте, ваше благородие! позвольте вам доложить! Лес, одно слово, это такое дело: возьмем теперича одну десятину – ей одна цена; возьмем другую десятину – ей другая цена! Стало быть, коли-ежели я или, к примеру, другой покупатель...

– Постой, Федор Никитич! – вмешивается Лукьяныч, – ты ведь не для себя торговаться пришел! Зачем же ты наш лес хайшь! А ты похвали! Может, от твоего-то слова, где и нет лесу – он вырастет!

– Это так точно-с. Главная причина, как его показать покупателю. Можно теперича и так показать, что куда он ни взглянул, везде у него лес в глазах будет, и так показать, что он только одну редочь увидит. Проехал я давеча Ковалихой; в бочку-то, направо-то... ах, хорош лесок! Ну, а ежели полеее взять – пильщикам заплатить не из чего!

– А ты бы вот съездил да показал барину-то, как оно по-твоему выходит!

– Чего же лучше-с! Вот не угодно ли на моей лошади хоть в Филипцево съездить. И Степана Лукьяныча с собой захватим.

Поехали. Я с Зайцем сел рядом; Лукьяныч спустился корпусом в тележный рыдван, а ноги вздрал на ободок. Заяц был видимо польщен и весело пошевеливал вожжами; он напоминал собой фокусника, собирающегося показать свои лучшие фокусы и нимало не сомневающегося, что публика останется им довольна. С полчаса мы ехали дорогою, потом свернули в сторону и поехали целиком по луговине, там и сям усеянной небольшими куртинами березника, перемешанного с осиною. Долго мы кружили тут и всё никак не доедем до Филипцева, то есть до "настоящего" леса. Выдастся местами изрядная десятинка, мелькнет – и опять пошла писать редочь.

– Да ты что такое показываешь? – воззрился наконец Лукьяныч.

– Филипцево показываю! или своего места не узнал! Вон и осина, на которой прошлого осенью Онисим Дылда повесился!

Лукьяныч не выдержал и выругался, чем, впрочем, Заяц нимало не смутился.

– Теперича, как, по-вашему? Много ли, примерно, ваше Филипцево стоит? – обратился он ко мне.

– Да, но ведь...

– Это так точно-с! Однако, вот хоть бы ваша милость! говорите вы теперича мне: покажи, мол, Федор, Филипцево! Смею ли я, примерно, не показать? Так точно и другой покупатель: покажи, скажет, Федор, Филипцево, – должен ли я, значит, ему удовольствие сделать? Стало быть, я и показываю. А можно, пожалуй, и по-другому показать... но, но! пошевеливай! – крикнул он на коня, замедлившего ход на дороге, усеянной целым переплетом древесных корней.

Через пять минут мы опять выехали на торную дорогу, с которой уже нельзя было своротить, потому что по обеим ее сторонам стояла сплошная стена высоких и толстых елей.

– Вот и опять то же Филипцево, только в этом самом месте цены ему нет! – с некоторым торжеством провозгласил Заяц.

– Да вы зачем же показываєте либо одно, либо другое! Вы бы, как следует, всё показали!

– Помилуйте! позвольте вам доложить! Неужто я своего дела не знаю! К примеру, возьмем теперича хоть покупателя – могу ли я его принуждать! Привез я его теперича хоть в это самое место, показал ему; он сейчас взглянул: "Ах, хорош лесок, Федор!" Главная причина, значит, облюбывал. Что же я теперича против этого сделать могу? Само собой, чтобы, примерно, в ответе перед ним не остаться, скажешь ему: не весь, мол, такой лес, есть и прогалинки. Однако, как он сразу в своем деле уверился, так тут ему что хочешь говори: он всё мимо ушей пропускает! "Айда домой, Федор! – говорит, – лес первый сорт! нечего и смотреть больше! теперь только маклеры, как бы подешевле нам этот лес купить!" И купит, и цену хорошую даст, потому что он настоящий лес видел! А как начнешь с редочи-то

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
показывать, так после хоть и привези его сюда, к настоящему лесу, - он все про
редочь поминать будет!

- Скажите, вы имеете в виду какого-нибудь покупателя?

- У меня, ваше благородие, по здешней округе очень знакомства довольно. Хорошие
господа доверяют мне, а не то чтобы что! Ну, и купцы тоже: и в Р., и в К., и в
Т.

- Дерунова вы знаете?

- Как не знать Осипа Иваныча! Довольно знаем. Послужил тоже его степенству. Да
признаться, зацепочка, этта, небольшая у нас вышла.

- А что?

- Да так-с. Тоже онамеднись лес показывал, генерал Голозадов продавал.
Признаться, маленько спашился я тогда, а молодец деруновский и догадайся.
Очень они на меня в ту пору обиделись, Осип-то Иваныч!

- Чай, и за вихры досталось! - вставил свое слово Лукьяныч.

- Этого бог еще миловал. Сколько на свете живу, а за вихры, кроме тятеньки с
маменькой, никто еще не дирал. А не велел, значит, Осип Иваныч до себя допускать.

- Да, брат, ваша должность тоже - и-и! Плутовать - плутуй, а по сторонам не
заглядывайся!

- Наша должность, ваше благородие, осмелюсь вам доложить, даже очень довольно
строгая. Смотрите, примерно, теперича хоть вы, или другой кто: гуляет, мол,
Федор, в баклуши бьет! А я, между прочим, нисколько не гуляю, все промежду себя
обдумываю. Как, значит, кому угодить и кому что, к примеру, требуется. Все это я
завсегда на замечании держать должен. К примеру, хошь бы такой случай: иной
купец сам доходит, а другой - через прикащиков.

- С прикащиками, я думаю, скорее дело-то сделаешь!

- И прикащик прикащику розь, Степан Лукьяныч, - вот как надо сказать. Одно дело
деруновский прикащик, и одно дело - владыкинский прикащик. А в прочих частях,
разумеется, коли-ежели господин маслица не пожалеет, с прикащиком все-таки
складнее дело сделать можно.

- Подкупить, значит, нужно?

- Зачем покупать? а просто, к примеру, пообещать. Копейки, что ли, с рубля, или
хоша бы и две, если, значит, дело хорошо доложит хозяину.

- Ну, две-то копейки - это, брат, ты соврал! - вступился Лукьяныч, - копейку -
это точно! это по-христиански будет!

- Эх, Степан Лукьяныч, как это, братец, ты говоришь: "соврал!" Могу ли я
теперича господина обманывать! Может, я через это самое кусок хлеба себе
получить надеюсь, а ты говоришь: "соврал!" А я все одно, что перед богом, то и
перед господином! Возьмем теперича хоть это самое филипцево! Будем говорить так:
что для господина приятнее, пять ли тысяч за него получить или три? Сказывай!

- Оно, конечно, кабы пять... да навряд...

- Ты говоришь: навряд, а я тебе говорю: никто как бог! Владыкина Петра Семеныча
знаешь?

- Слыхивал.

- А слыхивал, так и про Тихона Иванова, про прикащика его, значит, слыхивал. Вот
ужо поеду в К., шепну Тихону Иванову: Тихон, мол, Иваныч! доложите, мол,
хозяину, что хороший барин лесок продает!

- Да, кабы пять тысяч... не жаль бы и двух копеек...

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– И не пять тысяч, а больше даст – вот что! Потому, сейчас ты его в трактир сводил, закуску потрафил: "Тихон Иваныч! сделай милость!"

– Закуска – это точно; закуска – это первое дело!

Заяц постепенно разгорячался и начал лгать; с своей стороны, и Лукьяныч, постепенно поддаваясь обаянию лганья, с каким-то беззаветным простодушием вторил ему.

– Потому что у нас всё на чести! – ораторствовал Заяц. – Будем так говорить: барин лес продает, а Тихон Иванов его осматривает. В одном месте посмотрит – ах, хорош лесок! в другом поглядит – вот так, брат, лесок! Правильно ли я говорю?

– Это так... правильно... это так точно!

– Ты думаешь, мало у вас в Филиппове добра?

– Мало ли тут добра!

– Я тебе вот как скажу: будь я теперича при капитале – не глядя бы, семь тысяч за него дал! Потому что, сейчас бы я первым делом этот самый лес рассертировал. Начать хоть со строевого... видел, какие по дороге деревья-то стоят... ужастённые!

– Мало ли тут дерева! Хоть в какую угодно стройку!

– Хорошо. Стало быть: перво-наперво строевой лес... сколько тут, по-твоему, корней будет? Тысячи три будет?

– Коли не побольше... как трех тысяч не быть!

– Ну, клади три!.. Ан дерево-то, оно три рубля... на ме-е-сте! А на станции за него дашь и шесть рублей... как калач! Вот уж девять тысяч. А потом дрова... Сколько тут дров-то!

– Мало ли тут дров!

– Опять же товарник... сучья... по нашему месту всякий сучок денег стоит! А земля-то! земля-то ведь опять за покупателем останется!

– И опять по ней лес пойдет!

– И какой еще лес-то пойдет! В десять лет и не узнаешь, была ли тут рубка или нет! Место же здесь боровое, ходкое!

– Эхма!

– А я что же говорю! Я то же и говорю: кабы теперича капитал в руки – сейчас бы я это самое Филиппово... то есть, ни в жизнь бы никому не уступил! Да тут, коли человек с дарованием... тут конца-краю деньгам не будет!

– Так ты так и действуй. Улещай покупателя. Старайся.

– И то стараюсь. Потому вижу: господин добрый, неведущий – для кого же нам и стараться-то! Слава богу! я всем господам по здешнему месту довольно известен! Голозадов генерал, Порфирьев господин... все хоть сейчас аттестат мне подписать готовы!

– Вот ты об Владыкине давеча помянул... так он вряд ли у нас купит. Он, слышь, у кандауровского барина всю Палестину торгует! У нас ему не рука.

– А Владыкин не захочет, так к Бородавкину, к Филиппу Ильичу, толкнемся. Мужик денежный. Этот сам осматривать поедет, прикащику не поручит.

– Ну, самому-то двух копеечек не посулишь!

– У этого опять другой фортель: пуншт любит. Как приехал – так чтобы сейчас ему

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
пуншт готов был! И пьет он этот пуншт, куда глаза у него круглые не сделаются!
А в ту пору что хошь, то у него и бери!

– Проспится небось?

– Проспится – и опять, чтобы сейчас пуншт! Само собой, уж тут не зевай. Главная причина, все так подстроить, чтобы в этом самом виде хорошей неустойкой его обязать. Страсть, как он этих неустоек боится! словно ребенок!

– Ишь ты, парень!

– А Бородавкин ежели не поедет – Хмелева Павла Фомича за бока приволокем! и насчет его опять есть фортель: амбицию большую имеет! Скажи ему только: "Дерунов, мол, Осип Иванович, пять тысяч давал", – сейчас он, не глядя шесть тысяч отвалит!

– Житье им, этим аршинникам!

– И какое еще житье-то! Скажем, к примеру, хоть об том же Хмелеве – давно ли он серым мужиком состоял! И вдруг ему господь разум развязал! Зачал он и направо загребать, и налево загребать... Страсть! Сядет, это, словно кот в темном углу, выпустит когти и ждет... только глаза мерцают!

Из Филиппева заехали мы в Опалиху, а по дороге осмотрели и Волчьи Ямы. И тут оказалось то же: полее проехать – цены нет, поправее взять – вся цена грош.

– Главная причина как показать! – настойчиво утверждает Заяц.

– Это что и говорить! Как показать... это так точно! – вторит ему Лукьяныч.

Словно во сне слушаю я этот разговор. В ушах моих раздаются слова: "фортель... загребать... как показать... никто как бог... тысячи, три тысячи... семь тысяч..." Картины, одна другой фантастичнее, рисуются в моем воображении. То мне кажется, что я волк, а все эти Деруновы, Владыкины, Хмелевы, Бородавкины – мирно пасущееся стадо баранов, в виду которого я сижу и щелкаю зубами. И вот я начинаю гарцевать и, распустив хвост по ветру, описываю круги. Один смелый прыжок – и я уже там, в самой середине стада! Но, о ужас! Не успел я еще хорошенько раскрыть пасть, как все эти бараны, вместо того чтобы смиренно подставить мне свои загривки, вдруг оскалывают на меня зубы и поднимают победный вой! Картина переменяется. Я оказываюсь не волком, а бараном, на которого Заяц обманым образом напялил волчью шкуру! Я слышу хохот и вой: "жарь его!" "наяривай!" "накладывай!" "в загривок-то! в загривок его!" раздается в моих ушах: "дурак! дурак!"

Пообедавши, Заяц уехал.

– Ты смотри! по сторонам не заглядывайся! за это, брат, тоже не похвалят! – напутствовал его Лукьяныч.

– Зачем по сторонам глядеть! мы на чести дело поведем! Счастливо оставаться, ваше благородие! Увидите, коли я завтра же вам Бородавкина Филиппа Ильича не предоставлю!

Тележка загремела, и вскоре целое облако пыли окутало и ее, и фигуру деревенского маклера. Я сел на крыльцо, а Лукьяныч встал несколько поодаль, одну руку положив поперек груди, а другую упершись в подбородок. Некоторое время мы молчали. На дворе была тишь; солнце стояло низко; в воздухе чуялась вечерняя свежесть, и весь он был пропитан ароматом от только что зацветших лип.

– Ишь ведь! – вдруг отозвался Лукьяныч, озирая глазами высь и отирая платком пот, выступивший на лбу.

– Да, брат, хорошо теперь на вольном воздухе.

– И не вышел бы!

В самом деле, так было хорошо среди этой тишины, этой теплыни угасающего дня, этих благоуханий, что разговор наш непременно принял бы сентиментальный

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik характер, если б изредка долетавший стук Зайцевой тележки не возвращал нас к действительности.

- Не нравится мне этот Заяц, - сказал я.
- Чего в нем нравится!
- Зачем же ты привел его?
- А нам разве "нравиться" надо! Нам нужно, чтоб дело сделал, а там, пожалуй, хоть век его не видать!
- Однако ведь ты сам видишь, что он просто-напросто мошенник!
- Мошенник - много про него сказать. А лодырь!.. нестойкий, значит, человек!
- Вот, ты говоришь: "нестойкий человек", а между тем сам же его привел! Как же так жить! Ну, скажи, можно ли жить, когда без подвоха никакого дела сделать нельзя!
- Живем помаленьку. Стало быть, не до конца еще прегрешили.
- Да ты пойми же, Лукьяныч, вот завтра Бородавкин приедет: неужто ж и в самом деле ты будешь его пуншем спаивать?
- А коли ему нравится! пуцай пьет!
- Да ведь это значит прямо мошенничать! С пьяным человеком в сделку входить!

Лукьяныч изумленными глазами взглянул на меня.

- Да никак вы в сам-деле думаете, что вы Бородавкина обидеть можете? - удивился он.
- Обидеть! Не обидеть, а коли по-твоему делать, так просто-напросто обмануть!
- Христос с вами! Да вы слышали ли про Бородавкина-то! Он ведь два раза невинно падшим объявлялся! Два раза в остроге сидел и всякий раз чист выходил! На-тко! нашли кого обмануть! Да его и пунштом-то для того только поят, чтобы он не слишком уж лют был!

Сказавши это, Лукьяныч махнул рукой и ушел в свое логово готовиться к завтрашнему дню. Через полчаса вышел оттуда еще такой же ветхий старик и начал, вместе с Лукьянычем, запрягать в одноколку мерина.

Посылали в город за кизляркой и другими припасами для предстоящих "пунштов".

* * *

Но я не выдержал.

Ежедневные разъезды по одним и тем же местам, непрерывные разговоры об одних и тех же предметах до того расшатали мои нервы, что мне почти всю ночь не спалось. Передо мной, в течение нескольких бессонных часов, прошли все подробности любостыжательной драмы, которой я был очевидцем и участником. Вспомнился благолепный Дерунов и его самодовольные речи насчет "бунтов", в которых так ясно выразилась наша столповая мораль; вспомнилась свита мелких торгашей-прасолов, которые в течение целого месяца, с утра до вечера, держали меня в осаде и которые хотя и не успели еще, подобно Дерунову, уловить вселенную, но уже имели наготове все нужное для этого уловления мрежи; вспомнилась и бесконечная канитель разговоров между Лукьянычем и бесчисленными претендентами на обладание разрозненными клочьями некогда великолепного чемезовского имени...

Эти разговоры в особенности раздражали меня. Все они велись в одной и той же форме, все одинаково не имели никакого содержания, кроме совершенно бессмысленной укоризны. На русском языке даже выработался особый термин для характеристики подобных разговоров. Этот термин: "собачиться".

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

- А ты настоящую цену давай! - собачился, например, Лукьяныч.
- И то настоящую цену даем! - с своей стороны, отсобачивался прасол-покупщик.
- А ты дело говори!
- И то дело говорим!
- Слушай! сколько ты тут дров напилить хочешь?
- Сколько напилем - все наше будет.
- Опять товарник! Ты думаешь, сколько ты товарнику тут напилишь?
- Опять-таки, сколько ни напилем - все наше будет!
- Бога ты не боишься!
- Ты один, видно, боишься!

И так далее, до тех пор, пока запас "собаченья" не истощался на время. Тогда наступало затишье, в продолжение которого Лукьяныч пощипывал бородку, язвительно взглядывал на покупателя, а покупатель упорно смотрел в угол. Но обыкновенно Лукьяныч не выдерживал и, по прошествии нескольких минут, с судорожным движением хватался за счета и начинал на них выкладывать какие-то фантастические суммы.

- Слушай! Боишься ли ты бога! - принимался он вновь за прежнюю канитель укоризн.

Вспомнился мне, наконец, и Заяц, за несколько часов перед тем с такою бесцеремонною торжественностью посвящавший меня в тайны искусства "показывания", которого я некогда был жертвою.

Теперь это искусство "показывания" уже не меня обездоливало, а, напротив того, мне предлагало свои услуги.

Ясно, что передо мной, в течение целого месяца, каждодневно производился тот самый акт "потрясения", который поселяет такой наивный ужас в сердцах наших столпов. Да, это было оно, это было "потрясение", и вот эти люди, которые так охотно бледнеют при произнесении самого невинного из заклеянных преданием "страшных слов", - эти люди, говорю я, по-видимому, даже и не подозревают, что рядом с ними, чуть ли не ими самими, каждый час, каждую минуту, производится самое действительное из всех потрясений, какое только может придумать человеческая злонамеренность!

И с какою наивною бессознательностью, с каким простодушным неведением производится этот акт "потрясения общественных основ". Это даже не акт, а почти простой обряд. Даже добряк Лукьяныч, которому, конечно, и на мысль никогда не пришло кого-нибудь ограбить, и тот является чуть не грабителем или, по крайней мере, попустителем и пособником грабежа. Не услаждался ли он всем существом своим фокусами "показывания", представленными Зайцем? Не послал ли он в город за кизляркой, в надежде, что Бородавкин, под влиянием "пунштов", ходчее пойдет в устраиваемую ему Зайцем ловушку?

И чем дольше я думал, тем больше и больше таяла моя недавняя решимость действовать с умом. И по мере того как она исчезала, на ее место, сначала робко, но потом все настойчивее и настойчивее, всплывала другая решимость: бросить! Бросить все и бежать!

Как-то вдруг для меня сделалось совсем ясно, что мне совсем не к лицу ни продавать, ни покупать, ни даже ликвидировать. Что мое место совсем не тут, не в мире продаж, войн, трактатов и союзов, а где-то в безвестном углу, из которого мне никто не препятствовал бы кричать вслед несущейся мимо меня жизни: возьми всё - и отстань!..

Утром, едва я успел забыться тревожным сном, как меня разбудил гром и звон, раздававшийся на дворе. Одевшись наскоро, я выбежал на крыльцо, и глазам моим представилась картина необычной для Чемезова суеты. Старики и старухи, мирно

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik доживавшие свой век в подвальных этажах барского дома, все разом выползли на барский двор, сновали взад и вперед, от амбара к кладовой, от кладовой к погребу, гремели ключами, отпирали, запирали, что-то вынимали, несли. У конюшни стояла крытая ямская повозка; вблизи нее, на лужку, ходили три спутанные лошади и кормились, встряхивая бубенчиками. На вопрос мой, что случилось, мне отвечали, что приехал купец Бородавкин и вместе с Зайцем и Лукьянычем отправился осматривать дачу.

Я ждал довольно долго. Наконец, часа через три, осторожно, словно крадучись, вошел в мою комнату Заяц. Лицо его, в буквальном смысле слова, было усеяно каплями пота и выражало таинственность и озабоченность.

– Желают вас видеть, – доложил он шепотом.

Я чувствовал, что решительный час настал; но все еще колебался.

– Ваше высокоблагородие! позвольте вам доложить! – продолжал он таинственно, – они теперича в таком пункте состоят, что всего у них, значит, просить можно. Коли-ежели, к примеру, всю дачу продать пожелаете – они всю дачу купят; коли-ежели пустошь какую, или парки, или хоша бы и дом – они и на это согласны! Словом сказать, с их стороны на всё согласие будет полное!

И надо было видеть его изумление и даже почти негодование, когда я объявил ему, что в настоящую минуту ничего продавать не намерен!!

ПРЕВРАЩЕНИЕ

На днях иду по Невскому, мимо парикмахерской Дюбюра, смотрю и глазам не верю: по лестнице магазина сходит сам Осип Иванович Дерунов!

Нужно было в свое время очень запечатлеть в памяти лицо Осипа Иваныча, чтобы узнать его в том облики, в каком он предстал передо мной в эту минуту. На плечах накинута соболья шуба редчайшей воды (в "своем месте" он носит желтую лисью шубу, а в дорогу так и волчьей не брезгает), на голове надет самого новейшего фасона цилиндр, из-под которого высыпались наружу серебряные кудри; борода расчесана, мягка, как пух, и разит духами; румянец на щеках даже приятнее прежнего; глаза блестят... Словом сказать, лет двадцать пять с плеч долой – никак не меньше.

И прежде случалось, что Дерунов по временам наезжал в Петербург по своим делам, но приезды эти всегда совершались более чем скромно. Остановливался он обыкновенно у кума своего, Ивана Иваныча Зачатиевского, сына к – ского пономаря, который служил в одном из департаментов столоначальником, досиделся до чина статского советника и с получением его воспользовался титулом управляющего столом. Если же у кума было нельзя приютиться (Зачатиевский был необыкновенно плодущ, и не всегда в его квартире имелся свободный угол), в таком случае Дерунов нанимал дешевенький номер в гостинице "Рига" или у Ротина, и там все его издержки, сверх платы за номер, ограничивались требованием самовара, потому что чай и сахар у него были свои, а вместо обеда он насыщался холодными закусками с сайкой, покупаемыми у лоточников. Франтить он не только не франтил, но даже, ступая на петербургскую почву, как бы с расчетом усугублял невзрачность своего костюма. Иногда, во время этих наездов, он удостоивал посещать и меня.

– Охота вам, Осип Иваныч, себя изнурять! – бывало, скажешь ему, – человек вы состоятельный, а другие говорят и богатый, могли бы в Петербурге шиковать, а вы вот в сибирке ходите да белужиной, вместо обеда, пробавляйтесь!

– А ты слушай-ко, друг, что я тебе скажу! – благосклонно объяснял он мне в ответ, – ты говоришь, я человек состоятельный, а знаешь ли ты, как я капитал-то свой приобрел! все постепенно, друг, все пяточками да гривенничками! Кабы платье-то у меня хорошее было, мне бы в карете ездить надо, а за нее пять рублей в день отдать мало! А теперь я от Ивана Иваныча (Зачатиевского, из Измайловского полка) выйду – платье-то у меня таковское: и забрызгает – терпит! Вот я иду-иду на биржу, да и даю извозчику сначала двугривенничек, а потом, у Вознесенья, и пятиалтынничек. Времени передо мной достаточно, на пожар спешить нечего. Не возьмет извозчик пятиалтынничка – я и до адмиралтейства, заместо прогулки, дойду, а оттоль уж за гривенничек и сяду до биржи. Ан сочти-ка ты, сколько гривенников-то за день в кармане останется – ведь шутя-шутя полтора-два

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
рубля в сутки набезит!

– А вам очень эти полтора-два рубля дороги?

– Мне все дорого, потому на полу и гривенника не поднимешь. Опять и то скажу: я ведь всякою операцией орудую, и сало покупаю, и масло постное, всякий, значит, товар. Во всё пальцем колупнуть должен, а иное и на язык испробовать. Кабы теперича я в хорошем платье да в перчатках ходил, как бы к товару-то я приступился? Ведь около него хорошее-то платье изгадишь, а оно поди денег стоит. Вот и стал бы я, вместо того, чтобы сам до всего доходить, прикащика за себя посылать, а прикащику-то плати, да он же тебя за твои деньги продаст! А теперь – святое дело! Нужды нет, что по пятачкам да по гривенничкам собираем: курочка и по зернышку клюет, да сыта бывает!

– Ну, вы-то чай, не всё по зернышку клуете? Как сало-то на язык попробуете – в кармане, смотри, и изрядный куш очутится!

– Бывают и куши – и от кушей не отказываемся. Да ведь и тут опять: отчего эти самые куши до нас доходят? Всё через нашу же экономию да осмотрительность! Лучше скажу тебе: даже немец здешний такое мнение об нас, русских, имеет, что в худом-то платье человеку больше верят, нежели который человек к нему в карете да на рысаках к крыльцу подъедет. Теперича хоть бы я: миткалевая фабрика у меня есть, хлопок нужен; как приду я к немцу в своем природном, русском виде, мне и поклониться ему не стыдно! Да и он тоже, глядя на мою одёжу, соображает: "Этот человек, говорит, основательный!" Глядишь – ан мне и уступочка за мою основательность. Нет, сударь, видно, нам, русским, еще предел не вышел в хорошем-то платье ходить!

И вот этот самый человек, возведший хождение в худом платье чуть не в теорию, является передо мной совершенным франтом. Из-за распахнувшейся на мгновение шубы я заметил отлично сшитый сюртук и ослепительной белизны рубашку с крупными брильянтовыми запонками; на руках перчатки а double couture [двойной строчки (франц.)], на шее – узенький черный со... [галстук (франц.)] Только сапоги навывпуск обличают русского человека, да и то, быть может, он сохранил их потому, что видел такие же у какого-нибудь знакомого кирасира.

– Осип Иваныч – вы? – спросил я нерешительно.

– Самолично-с.

Он высунул из-под шубы два пальца, один из которых я слегка и потянул к себе, сказав:

– Вот вы и в перчатках! а помните, недавно еще вы говорили, что вам непременно голый палец нужен, чтоб сало ловчее было колупать и на язык пробовать?

– Было... и это! – ответил он, несколько сконфузясь, – а что только два пальца вам подал, так этому есть причина: шубу поддерживаю.

– Нет, в самом деле! Не шутя, ведь узнать вас нельзя, Осип Иваныч! Похорошели! помолодели! Просто двадцать пять лет с костей долой! Надолго ли в Петербург?

– Думаю недельки две еще побыть.

– А помнится, вы не очень-то Петербург любовали? По делам?

– По делам... ну, и проветриться тоже... Сидишь-сидишь, этта, в захолустье – захочется и на свет божий взглянуть!

– И прекрасно. Теперь, стало быть, вам остается только "штучку" какую-нибудь подцепить – и дело в шляпе! А может быть, вы уж и подцепили?

– Есть их, "штучек"-то... довольно здесь! Я, впрочем, не столько для них, сколько для того, что уж очень генерал приехать просил.

– Какой генерал?

– Да вот, что летось к нам в К. приезжал... сказывал вот, помнится! Насчет

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik облигациев...

– Стало быть, об концессии хлопотать приехали?

– Парень-то уж больно хорош. Говорит: "можно сразу капитал на капитал нажить". Ну, а мне что ж! Состояние у меня достаточное; думаю, не все же по гривенникам сколачивать, и мы попробуем, как люди разом большие куши гребут. А сверх того, кстати уж и Марья Потапьевна проветриться пожелала.

– Какая Марья Потапьевна?

– Уж и забыли? Яшенькина, сына моего, супруга...

Мне показалось, что, говоря это, он как-то посмотрел совсем уже вкось.

– Не видал я ее, Осип Иванович, не привелось в ту пору. А красавица она у вас, сказывают. Так, значит, вы не одни? Это отлично. Получите концессию, а потом, может быть, и совсем в Петербурге оснуетесь. А впрочем, что ж я! Переливаю из пустого в порожнее и не спрошу, как у вас в К., все ли здоровы? Анна Ивановна? Николай Осипыч?

– Что им делается! Цветут красотой – и шабаш. Я нынче со всеми в миру живу, даже с Яшенькой поладил. Да и он за ум взялся: сколь прежде строптив был, столь нынче покорен. И так это родительскому сердцу приятно...

– Еще бы! какой он, однако ж, чудак у вас! Марью Потапьевну в Петербург отпустил, а сам в захолустье остался!

– Ведь не одну он ее отпустил, а с родителем. Да ему-то, признаться, в хорошую-то компанию и войти покуда нельзя.

– Что так?

– Да все то же. Вино мы с ним очень достаточно любим. Да не зайдете ли к нам, сударь: я здесь, в Европейской гостинице, поблизости, живу. Марью Потапьевну увидите; она же который день ко мне пристаёт: покажь да покажь ей господина Тургенева. А он, слышь, за границей. Ну, да ведь и вы писатель – все одно, значит. Э-эх! загоняла меня совсем молодая сношенька! Вот к французу послала, прическу новомодную сделать велела, а сама с "калегвардами" разговаривать осталась.

– Вот как!

– Да, сударь, всякому люду к нам теперь ходит множество. Ко мне – отцы, народ деловой, а к Марье Потапьевне – сынки наведываются. Да ведь и то сказать: с молодыми-то молодой поваднее, нечем со стариками. Смеху у них там... ну, а иной и глаза тарачит – бабенке-то и лестно, будто как по ней калегвардское сердце сохнет! Народ военный, свежий, саблями побрякивает – а время-то, между тем, идет да идет. Бывают и штатские, да всё такие же румяные да пшеничные – заодно я их всех "калегвардами" прозвал.

– Что ж, чай, любезности напевают Марье Потапьевне?

– Не без того. Ведь у вас, в Питере, насчет женского-то полу утеснительно; офицерства да чиновничества пропасть заведено, а провизии про них не припасено. Следственно, они и гогочут, эти самые "калегварды". Так идем, что ли, к нам?

Я согласился.

Дерунов занимал в гостинице отлично меблированный апартамент, комнат в пять. Прямо из передней – столовая (здесь в настоящую минуту был накрыт стол, уставленный разнообразнейшими закусками и целую батарею водок и вин), из столовой налево – кабинет и спальня Осипа Ивановича, направо – гостиная и будуар Марьи Потапьевны. В гостиной раздавались голоса и смех. Когда мы вошли (было около двух часов утра), то глазам нашим представилась следующая картина: Марья Потапьевна, в прелестнейшем дезабылье из какой-то неслыханно дорогой материи, лежала с ножками на кушетке и играла кистями своего пеньюара; кругом на стульях сидело четверо военных и один штатский. Военные принадлежали к разным родам

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
оружия, но все были одинаково румяны и белы и все одинаково глядели крепышами;
даже штатский был так бел и румян, что сразу его нельзя было признать за
штатского.

– А я тебе, Машенька, писателя привел! шутя на улице нашел! – балагурил Осип
Иваныч, рекомендуя меня Марье Потапьевне.

Марья Потапьевна поспешно сошла с кушетки и как-то оторопела, словно институтка,
перед которой вырос из земли учитель и требует ее к ответу в ту самую минуту,
когда она всеми силами души призывала к себе "калегварда". Очень возможно, что
она думала, что перед нею стоит сам Тургенев, но я, разумеется, поспешил ее
успокоить, назвав себя. И увя! я с горестью должен сознаться, что фамилия моя
ровно ничего не сказала ей, кроме того, что я к – ский помещик и как-то летом
был у Осипа Иваныча с предложением каких-то земельных обзоров.

Впрочем, она очень предупредительно подала руку и даже на мгновение задумалась,
словно стараясь что-то припомнить.

– Ах, да! ведь вы по смешной части! – наконец вспомнила она.

– Горестей не имею – от этого, – ответил я, и, не знаю отчего, мне вдруг
сделалось так весело, точно я целый век был знаком с этою милою особою. "Сколько
тут хохоту должно быть, в этой маленькой гостиной, и сколько вранья!" – думалось
мне при взгляде на этих краснощеких крупитчатых "калегвардов", из которых
каждый, кажется, так и готов был ежеминутно прыснуть со смеху.

– Садитесь – гости будете! – пригласила меня Марья Потапьевна, принимая прежнее
положение на кушетке.

Я сел и тут только всмотрелся в нее. Действительно, это была женщина, в
материальном смысле, очень привлекательная. Рослая, ширококостая, высокогрудая,
с румяным, несколько более чем нужно круглым лицом, с большими серыми навекате
глазами, с роскошно темно-русою косою, с алыми пухлыми губами, осененными чуть
заметно темным пушком, она представляла собой совершенный тип великорусской
красавицы в самом завидном значении этого слова. Мне досадно было смотреть на
роскошный ее пенюар и на ту нелепую позу, в которой она раскинулась на кушетке,
считая ее, вероятно, за нес plus ultra [верх (лат.)] аристократичности; мне
показалось даже, что все эти "калегварды", в других случаях придающие блеск
обстановке, здесь только портят. Хотелось бы видеть ее в штофном малиновом
сарафане, в кисейной рубашке, среди хоровода. Одна рука уперлась в бок, другая
полукругом застыла в воздухе, голова склонена набок, роскошные плечи чуть
вздрагивают, ноги каблучками притопывают, и вот она, словно павушка-лебедушка,
истово плывет по хороводу, а парни так и стонут кругом, не "калегварды", а
настоящие русские парни, в синих распашных сибирках, в красных александрийских
рубашках, в сапогах навывпуск, в поярковых шляпах, утыканных кругом разноцветными
перьями...

Как по морю по Хвалынскому

Выплывала лебедь белая –

раздается в моих ушах...

Ну, скажите на милость, зачем тут "калегварды"? что они могут тут поделывать,
несмотря на всю свою крупитчатость? Вот кабы Дерунову, Осипу Иванычу, годов
сорок с плеч долой – это точно! Можно было бы залюбоваться на такую парочку!

– Ну-с, господа "калегварды", о чем лясы точите? – между тем фамильярно
обратился к присутствующим Дерунов.

– Да вот, Осип Иваныч, хотим вам на Марью Потапьевну пожаловаться! никакого
хорошего разговору не допускает! сразу так оборвет – хоть на Кавказ переводись,
– ответил один юный корнет, с самым легким признаком усов, совсем-совсем
херувим.

– Стало быть, перепустили маленько. А вы, господа, не всё зараз. Посрамословьте
малость, да и на завтра что-нибудь оставьте! Дней-то ведь впереди много у бога!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Да мы и то крошечку... об Шнейдерше чуть-чуть вспомнили!

– Знаю я вашу "крошечку". Взглянуть на вас – уж так-то вы молоды, так-то молоды! Одень любого в сарафан – от девки не отличишь! А как начнете говорить – кажется, и габвахта ваша, и та от ваших слов со стыда сгореть должна!

Общий смех.

– Вот я и привел нарочно писателя: авось, мол, он вас остепенит. Я уж Иван Иваныча (Зачатиевского) к ним не однажды в компанию припускал – для степенности, значит, – а они, не будь просты, возьмут да и откомандируют его в кондитерскую за конфектами!

Сказав это, Осип Иваныч тоже взял стул, придвинул его к кружку и сел верхом.

– Ну, что же притихли! – прикрикнул он, – без меня небось словно мельница без мелева, а пришел – языки прикусили! Сказывайте, об чем без меня срамословили?

– Да что при вас... без вас свободнее! – отозвался кто-то, и все вдруг смолкло.

Действительно, с нашим приходом болтовня словно оборвалась; "калегварды" переглядывались, обдергивались и гремели оружием; штатский "калегвард" несколько раз обеими руками брался за тулью шляпы и шевелил губами, порываясь что-то сказать, но ничего не выходило; Марья Потапьевна тоже молчала; да, вероятно, она и вообще не была разговорчива, а более отличалась по части мления.

– Ну, батюшка, это вы страху на них нагнали! – обратился ко мне Дерунов, – думают, вот в смешном виде представит! Ах, господа, господа! а еще под хивинца хотите идти! А я, Машенька, по приказанию вашему, к французу ходил. Обнатурил меня в лучшем виде и бороду духами напрыскал!

Марья Потапьевна лениво вскинула глазами на Осипа Иваныча; из рядов "калегвардов" послышалось несколько панегирических восклицаний.

– Скажите хоть вы что-нибудь! – вдруг обратилась ко мне Марья Потапьевна.

Обращение это застало меня совершенно врасплох. Вообще я робок с дамами; в одной комнате быть с ними – могу, но разговаривать опасюсь. Все кажется, что вот-вот она спросит что-нибудь такое совсем неожиданное, на что я ни под каким видом ответить не смогу. Вот "калегвард" – тот ответит; тот, напротив, при мужчине совестится, а дама никогда не застанет его врасплох. И будут они вместе разговаривать долго и без умолку, будут смеяться и – кто знает – будут, может быть, и понимать друг друга!

– Вы ко мне?... Но ведь я... право, со мной не случалось ничего такого... – бормотал я сконфуженно...

И в то время мне думалось: а ну, как она скажет: "какой вы, однако ж, невежа!" Литератор, в некотором роде служитель слова – и ничего не умеет рассказать! вероятно ли это?

К счастью, меня озарила внезапная мысль. Я вспомнил, что когда-то в детстве я читал рассказ под названием: "Происшествие в Аbruццких горах"; сверх того, я вспомнил еще, что когда наши русские Александры Дюма-фисы желают очаровывать дам (дамы – их специальность), то всегда рассказывают им это самое "Происшествие в Аbruццких горах", и всегда выходит прекрасно.

"А что, не пройлись ли и мне насчет "Происшествия в Аbruццких горах"? – пришло мне на ум. – Правда, я там никогда не бывал, но ведь и они тоже, наверное, не бывали... Следственно..."

Я наскоро припомнил басню рассказа, читанного мною в детстве, и в то же время озабочился позаимствоваться некоторыми подробностями из оперы "Фра-Диаволо", для соблюдения *couleur locale* [местного колорита (франц.)].

– Позвольте! – воскликнул я, не откладывая дела в долгий ящик, – есть у меня одна вещица: "Происшествие в Аbruццких горах"... Происшествие это случилось со мной лично, и если угодно, я охотно расскажу вам его.

Предложение мое встретило радушный прием. Марья Потапьевна томно улыбнулась и даже, оставив горизонтальное положение на кушетке, повернулась в мою сторону; "калегварды" переглянулись друг с другом, как бы говоря: nous allons rire [сейчас посмеемся (франц.)].

– Итак, – начал я, – я обещал вам, милая Марья Потапьевна, рассказать случай из моей собственной жизни, случай, который в свое время произвел на меня громадное впечатление. Вот он:

ПРОИСШЕСТВИЕ В АБРУЦСКИХ ГОРАХ

(

Посвящается русским беллетристам, очаровывающим русских дам рассказами из собственной жизни

)

В 1848 году путешествовали мы с известным адвокатом Евгением Легкомысленным (для чего я привлек к моему рассказу адвоката Легкомысленного – этого я и теперь объяснить себе не могу; ежели для правдоподобия, то ведь в 1848 году и адвокатов, в нынешнем значении этого слова, не существовало!!) по Италии, и, как сейчас помню, жили мы в Неаполе, волочились за миловидными неаполитанками, ели fruttì di mare [дары моря (итал.)] и пили una fiasca di vino [фляжку вина (итал.)]. Вот только однажды говорит мне Легкомысленный:

– А не съездить ли нам в Аbruццские горы?

– С какой стати в Аbruццские горы загорелось? – спрашиваю я.

– А там, говорит, разбойники!

Взглянул я, знаете, на Легкомысленного, а он так и горит храбростью. Сначала меня это озадачило: "ведь разбойники-то, думаю, убить могут!" – однако вижу, что товарищ мой кипит, ну, и я как будто почувствовал угрызение совести.

– Идет, – говорю, – едем!

Ну-с, только едем мы с Легкомысленным, а в Неаполе между тем нас предупредили, что разбойники всего чаще появляются под видом мирных пастухов, а потом уже оказываются разбойниками. Хорошо. Взяли мы с собой запас fruttì di mare и una fiasca di vino, едем в коляске и калякаем.

– А знаешь ли, – говорит Легкомысленный, – я понимаю поступок гимназиста Полозова!

– Что ж тут понимать-то?

– Нет, как хочешь, а нанять тройку и без всякой причины убить ямщика – тут есть своего рода дикая поэзия! я за себя не ручаюсь... может быть, и я сделал бы то же самое!

– Наплевать мне на твою поэзию, а ты бы вот об чем подумал: Аbruццские горы близко, страшные-то разговоры оставить бы надо!

– Помилуй! – говорит. – Да я затем и веду страшные разговоры, чтоб падший дух в себе подкрепить! Но знаешь, что иногда приходит мне на мысль? – прибавил он печально, – что в этих горах, в виду этой суровой природы, мне суждено испустить многомятежный мой дух!

Ладно. Между этими разговорами приезжаем на станцию. "Тут, – говорят нам, – коляску оставить нужно, а придется вам ехать на ослах!" Что ж, на ослах так на ослах! – сели, поехали.

Отъехали мы верст десять – и вдруг гроза. Ветер; снег откуда-то взялся; небо черное, воздух черный и молнии, совсем не такие, как у нас, а

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Толстые-претолстые. Мы к проводникам: "Долго ли, мол, этак будет?" - не понимают. А сами между тем по-своему что-то лопочут да посвистывают.

- Молись! - кричит мне Легкомысленный.

И вдруг, при этом его слове, показался в стороне огонек. Смотрим - хижина, и на пороге крыльца бедные пастухи с факелами в руках.

- Помнишь, что нам в Неаполе о пастухах говорили? - шепнул мне на ухо Легкомысленный.

Признаюсь откровенно, в эту минуту я именно только об этом и помнил. Но делать было нечего: пришлось сойти с ослов и воспользоваться гостеприимством в разбойничьем приюте. Первое, что поразило нас при входе в хижину, - это чистота, почти запустелость, царствовавшая в ней. Ясное дело, что хозяйева, имея постоянный промысел на большой дороге, не нуждались в частом посещении этого приюта. Затем, на стенах было развешано несколько ружей, которые тоже не предвещали ничего хорошего.

- Видишь? - спросил я шепотом Легкомысленного. Но он, в ответ, только стучал зубами.

Не успели мы снять с себя верхнее платье и расположиться, как нам принесли овечьего сыру, козьего молока и горячих лепешек. Но таких вкусных лепешек, милая Марья Потапьевна, я ни прежде, ни после - никогда не едал! А шельмы пастухи и прислуживают нам и между тем всё что-то по-своему лопочут.

Поели, надо ложиться спать. Я запер дверь на крючок и, по рассеянности, совершенно машинально потушил свечку. Представьте себе мой ужас! - ни у меня, ни у Легкомысленного ни единой спички! Очутиться среди непроглядной тьмы и при этом слышать, как товарищ, без малейшего перерыва, стучит зубами! Согласитесь, что такое положение вовсе не благоприятно для "покойного сна"...

Надо вам сказать, милая Марья Потапьевна, что никто никогда в целом мире не умел так стучать зубами, как стучал адвокат Легкомысленный. Слушая его, я иногда переносился мыслью в Испанию и начинал верить в существование кастаньет. Во всяком случае, этот стук до того раздражил мои возбужденные нервы, что я, несмотря на все страдания, не мог ни на минуту уснуть.

В полночь мы совершенно явственно услышали шорох...

- Слышишь? - полушепотом спросил меня Легкомысленный, перестав стучать зубами.

- Слышу, - ответил я.

- Я полагаю, что теперь самое время выстрелить из револьвера!

- А я так думаю, что покуда мы с тобой разговариваем, разбойники давно уж догадались и спрятались. Будем же молчать и ожидать.

И действительно: едва мы умолкли, как шорох прекратился.

Через полчаса он, однако ж, возобновился с новой силой.

- Слышишь? - вновь спросил меня Легкомысленный.

- Стреляй! - отвечал я решительно.

- Но я боюсь стрелять!

- И все-таки стреляй, потому что ты адвокат. В случае чего, ты можешь целый роман выдумать, сказать, например, что на тебя напала толпа разбойников и ты находился в состоянии самозащиты; а я сказать этого не могу, потому что лгать не привык.

Не успел я высказать всего этого, как раздался выстрел. И в то же время два вопля поразили мой слух: один раздирающий, похожий на визг, другой - в котором я узнал искаженный голос моего друга.

– Легкомысленный! ты убит или ты убил? – воскликнул я, пораженный ужасом.

Но прежде, нежели я получил ответ, снаружи послышались голоса. Проводники, пастухи – все это всполошилось и стучалось к нам в дверь. Разумеется, я уперся и не отпирал, но дюжие молодцы в одну минуту высадили дверь, и без того чуть державшуюся на ржавых петлях. И что же представилось нашим взорам при свете факелов?! Во-первых, на полу простерта была простреленная насквозь кошка, и, во-вторых, на лавке лежал в глубоком обмороке мой друг. Разумеется, мы прежде всего употребили энергические усилия, чтоб возвратить Легкомысленного к сознанию, а остальное время ночи посвятили разъяснению недоразумений. Оказалось, что наши хозяева совсем не разбойники, а действительно добродушные пастухи, которые на другой день опять накормили нас сыром и лепешками и даже напутствовали своими благословениями.

На этот раз Легкомысленный спасся. Но предчувствие не обмануло его. Не успели мы сделать еще двух переходов, как на него напали три голодные зайца и в наших глазах растерзали на клочки! Бедный друг! с какою грустью он предсказывал себе смерть в этих негостеприимных горах! И как он хотел жить!

Хотите верьте, хотите не верьте этой истории, милая Марья Потапьевна, но вы видите пред собою не только очевидца, но и участника ее.

Конец.

Я кончил, но, к удивлению, история моя не произвела никакого эффекта. Очевидно, я адресовался с нею не туда, куда следует. "Калегварды" переглядывались. Марья Потапьевна как-то вяло проговорила:

– Я думала, что вы смешное что-нибудь расскажете, а вы, напротив, печальное...

А Осип Иваныч сказал:

– Слышал я что-то; один купец у нас сказывал, что с ним под Корчевой на постоялом такое же дело приключилось...

Затем все вдруг зевнули.

– А что, господа "калегварды"! в столовой закуска-то зачем же нибудь да поставлена! Ходим! – провозгласил Осип Иваныч.

Действительно, это был самый лучший и, по-видимому, даже давно желанный исход из затруднения, в котором неожиданно очутилась веселая компания. Оружие загремело, стулья задвигались, и мы все, вслед за поднявшеюся Марьей Потапьевной, направились в столовую.

В столовой всем стало как-то поваднее. "Калегварды" выпили по две рюмки водки и затем, по мере закусывания, поглощали соответствующее количество хересу и других напитков. Разговор сделался шумным; предметом его служила Жюдик. Некоторые хвалили; один "калегвард" даже стал в позу и спел "la Chatouilleuse" ["Недотрогу" (франц.)]. Другие, напротив того, порицали, находя, что Жюдик слишком добродетельна и что, например, Шнейдерша...

– Черт ли мне в ее добродетели! – восклицал один из порицателей, – если я на добродетель хочу любоваться, я, конечно, в Буфф не пойду!

– Ты не понимаешь, душа моя! – возражал один из хвалителей, – это только так кажется, что она добродетельна, а в сущности – c'est une coquine accomplie! [она настоящая плутовка (франц.)] Вслушайся, например, как она поет:

Assez!

Finissez!

Monsieur! vous me faites mal! –

[Довольно! Оставьте! Мне больно, сударь! (франц.)]

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
ведь она произносит это, как будто она совсем-совсем невинная, а взглядишь-ка в
нее поближе...

– Elle est tellement innocente

qu'elle ne comprend presque rien!

[Она так невинна, что почти ничего не понимает! (франц.)]

запел штатский "калегвард".

– То-то вот и есть! – подхватил панегирист Жюдик, – "qu'elle ne comprend presque rien!" – это очень тонко, душа моя!

– Очень хорошо она это представляет, – подтвердила и Марья Потапьевна.

– Хорошо-то хорошо, – подался порицатель, – а все-таки... Помните, Шнейдер в "dites-lui" ["Скажите ему" (франц.)] вот это... масло! Нет, воля твоя! мне в "буфф" добродетели не нужно! Добродетель – я ее уважаю, это опора, это, так сказать, основание... je n'ai rien a dire contra cela! [мне нечего возразить!(франц.)] Но в "буфф"...

– А я так, право, дивлюсь на вас, господа "калегварды"! – по своему обыкновению, несколько грубо прервал эти споры Осип Иванович, – что вы за скус в этих Жюдиках находите! Смотрел я на нее намеренно: вертит хвостом ловко – это так! А настоящего фундаменту, чтоб, значит, во всех статьях состоятельность чувствовалась – ничего такого у нее нет! Да и не может быть его у французенки!

– Ха-ха! "фундамент" délicieux! [восхитительно! (франц.)] про какой же это "фундамент" вы изволите говорить, Осип Иванович? – подстрекнул старика один из "калегвардов".

– А про такой, чтобы и поясница, и бедра – все чтобы в настоящем виде было! Ты французенке-то не верь: она перед тобой бедрами шевелит – ан там одне юпки. Вот как наша русская, которая ежели утробистая, так это точно! Как почнет в хороводе бедрами вздрагивать – инда все нутро у тебя переберет!

– А вы таки, Осип Иванович, любитель!

– В стары годы охоч был. А впрочем, скажу прямо: и молод был – никогда этих соусов да трюфелей не любил. По-моему, коли-ежели все как следует, налицо, так трюфель тут только препятствует.

– Однако вы тоже, папаша! только молодым предики читаете, а сами ишь ты какой разговор завели! – укорила Марья Потапьевна.

– Я, сударыня, настоящий разговор веду. Я натуральные виды люблю, которые, значит, от бога так созданы. А что создано, то все на потребу, и никакой в том гнусности или разврату нет, кроме того, что говорить об том приятно. Вот им, "калегвардам", натуральный вид противен – это точно. Для них главное дело, чтобы выверт был, да погнуснее чтобы... Настоящего бы ничего, а только бы подлость одна!

– Ну, господа, беда! Теперь нам всем одно от Осипа Иваныча решение – в молчанку играть! – воскликнул один из "калегвардов".

– Нет, я ничего! По мне что! пожалуй, хоть до завтрава языком мели! Я вот только насчет срамословия: не то, говорю, срамословие, которое от избытка естества, а то, которое от мечтания. Так ли я, сударь, говорю? – обратился Осип Иванович ко мне.

– Да как вам сказать! Я думаю, что вообще, и "от избытка естества", и "от мечтания", материя эта сама по себе так скудна, что если с утра до вечера об ней говорить, то непременно, в конце концов, должно почувствоваться утомление.

– Вот об этом самом я и говорю. Естества, говорю, держись, потому естество – оно от бога, и предел ему от бога положен. А мечтанию этому – конца-краю ему нет. Дал ты ему волю однажды – оно ежеминутно тебе пакость за пакостью представлять

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
будет!

Покуда мы таким образом морализировали, "калегварды" втихомолку вели свой особый разговор; слышалось шушуканье и тихое, сдержанное хихиканье; казалось, что вот-вот сама Марья Потаповна сейчас запоет:

Assez!

Finissez!

Monsieur! vous me faites mal!

Вообще старики нерасчетливо поступают, смешиваясь с молодыми. Увы! как они ни стараются подделаться под молодой тон, а все-таки, под конец, на мораль съедут. Вот я, например, – ну, зачем я это несчастное "Происшествие в Аbruццких горах" рассказал? То ли бы дело, если б я провел параллель между Шнейдершей и Жюдик! провел бы весело, умно, с самым тонким запахом милой безделицы! Как бы я всех оживил! Как бы все это разом встрепенулось, запело, загоготало!

Словом сказать, я почувствовал себя лишним и потому, улучив первую удобную минуту, взял шляпу и стал раскланиваться.

– Вы лучше вечером к нам зайдите, – любезно пригласил меня Осип Иваныч, – по пятницам у нас хорошие люди собираются. Может быть, в стуколку сыграете, а не то, так Иван Иваныч и по маленькой партию составит.

* * *

Несмотря на богатство обстановки, которое я сейчас видел, впечатление, вынесенное мною, было очень неприятно. Мне было жаль прежнего Дерунова в старозаветном синем сюртуке, желающего "худым платьем" вселить в немце-негоцианте уверенность в своей "обстоятельности", пробующего на язык сало, дающего извозчику сначала двугривенный и потом постепенно съезжающего на гривенник и т.д. Несмотря на всю несовместность подобных поступков с миллионным состоянием, в личности Осипа Иваныча не было ничего такого, что бы сразу претило. Посторонний человек редко проникает глубоко, еще реже задается вопросом, каким образом из ничего полагается основание миллиона и на что может быть способен человек, который создал себе как бы ремесло из выжимания пятаков и гривенников. Ему видится в Дерунове какая-то искренность и простота, которые делают отношения к нему до крайности легкими. Осип Иваныч мог прямо смотреть в глаза своему собеседнику, рассказывая о гривенниках, пятаках, о колупании сала и о пользе "худого платья" в коммерческом деле. Он был в этом случае только юмористом, добродушно подсмеивающимся над самим собой и в то же время снисходительно выдерживающим и чужую шутку. Другое дело, если б он рассказал самую подноготную выжимательного процесса; но ведь и то сказать: еще вопрос, понимал ли он сам, что тут существует какая-то подноготная и что она может быть подвергаема нравственной оценке.

По крайней мере, что касается до меня, то хотя я и понимал довольно отчетливо, что Дерунов своего рода вампир, но наружное его добродушие всегда как-то подкупало меня. А еще более подкупали его практический ум и его бывалость. В первом смысле, никто не мог подать более делового совета, как в данном случае поступить (разумеется, можно было следовать или не следовать этому совету – это уже зависело от большей или меньшей нравственной брезгливости, – но нельзя было не сознавать, что при известных условиях это именно тот самый совет, который наиболее выгоден); во втором смысле, никто не знал столько "Приключений в Аbruццких горах" и никто не умел рассказать их так занятно. Даже явно неправдоподобные рассказы его о чудодейственной силе скапливаемых гривенников и пятаков не казались особенно неприятными, потому что в самой манере рассказывания уже слышалось его собственное ироническое отношение к предмету рассказов. Видно было, что при этом он имел в виду одну цель: так называемое "заговариванье зубов", но, как человек умный, он и тут различал людей и знал, кому можно "заговаривать зубы" и наголо и кому с тонким оттенком юмора, придающего речи приятный полузагадочный характер.

Теперь, с исчезновением старозаветной обстановки, исчезла и прежняя загадочность; выжимание гроша втихомолку сменилось наглым вождедением грабежа, и хотя старинный юмор по временам еще сказывается, но имеет уже характер

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik случайный, искусственный. Очевидно, что Дерунов уж оставил всякую оглядку, что он не будет впредь ни колоколов лить, ни пудовых свечей к образам ставить, что он совсем бросил мысль о гривенниках и пятаках и задумал грабить наголо и в более приличной форме. Все мелкие виды грабежа, производимые над живым материалом и потому сопровождаемые протестом в форме оханья и криков, он предоставляет сыну Николашеньке и приказчикам, сам же на будущее время исключительно займется грабежом "отвлеченным", не сопряженным с оханьями и криками, но дающим в несколько часов рубль на рубль. "И голова у тебя слободка, и совесть чиста - потому "разговоров нет!" - так, я уверен, рассуждает он в настоящее время. Генерал, который нарочно приезжал в К., чтоб доказать Осипу Иванычу, что в его рубле даже надобности никакой нет, что он нужен только для прилику, для видимости, а что два других рубля на этот мнимый рубль придут сами собой, - успел в этом больше, чем надо. Дерунов вдруг утратил присущее всякому русскому кулаку представление о существовании Сибири, или лучше сказать, он и теперь еще помнит об ней, но знает наверное, что Сибирь существует не для него, а для "других-прочиих".

И вот, хотя отвлеченный грабеж, по-видимому, гораздо меньше режет глаза и слух, нежели грабеж, производимый в форме операции над живым материалом, но глаза Осипа Иваныча почему-то уже не смотрят так добродушно-ясно, как сматривали во время оно, когда он в "худой одеже" за гривенник доезжал до биржи; напротив того, он старается их скосить вбок, особливо при встрече с старым знакомым. Он как бы чувствует, что его уже не защищает больше ни "глазок-смотрок", ни "колупание пальцем", ни та бесконечная суতোлка, которой он с утра до вечера, в качестве истого хозяина-приобретателя, предавался и которая оправдывала его в его собственном мнении, а пожалуй, и в мнении других. Теперь он оголен, он ходит праздно с утра до вечера и только соображает, в какой степени выгодна новая финансовая пакость, которую предложил ему "генерал". По исстари установившемуся в нем самом понятию, все это никоим образом не осуществляет представления об "деле", как об чем-то, сопряженном с трудом. Он вполне сознает, что тут нет и тени "труда", а есть только ничем не прикрытое ёрничество, сопровождаемое наглым бросанием денег и бражничаньем без конца.

Самые отношения его к Марье Потапьевне утратили прежнюю загадочность. Нагота их разом всплыла наружу и, для своего прикрытия, потребовала такой обстановки, которая сообщает этим отношениям характер еще большей пошлости. В обществе "сквернословов" Осип Иваныч сам незаметно сделался сквернословом, и хотя еще держится в этом отношении на реальной почве, но кто же может поручиться, что дальнейшая практика не сведет и его, в ближайшем будущем, на ту почву мечтания, о которой он покуда отзывается с негодованием. Благо в жизнь вошел элемент срамословия, а что градации его будут пройдены все до конца - это неминуемо. И тогда - Марье Потапьевне мат: Осип Иваныч войдет во вкус и не станет смотреть, "утробиста" ли женщина или не "утробиста", а будет подмечать только, как она "виляет хвостом". И останется он постоянным жителем города С.-Петербурга, и наймет себе девицу Сузетту, а Марью Потапьевну шлет в К., в жертву издевкам Анны Ивановны и семьи Николая Осиповича...

Тем не менее в одну из пятниц я отправился в Европейскую гостиницу, отправился от скуки, сам не сознавая зачем. Было довольно поздно, когда я пришел. В столовой стоял раздвинутый стол, уставленный фруктами, конфетами и кружонами с шампанским; в кабинете у Осипа Иваныча, вокруг трех соединенных ломберных столов, сидело человек десять, которые играли в стуколку. Было страшно накурено; там и сям около играющих виднелись стаканы с шампанским. Среди плавающих облаков дыма я заметил несколько физиономий, несомненно принадлежащих тузам финансового мира, - физиономий, по носам которых можно было безошибочно заключить о восточном их происхождении. Несколько перстней с крупными брильянтами блеснуло мне в глаза. Тут же сидел и "генерал", человек очень угрюмого вида, когда-то бывший полководец, совершивший знаменитую переправу через реку Вьюлку [Тверской губернии Калязинского уезда. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)] и победивший мятежных семендяевцев [Торговое село Семендяево, там же. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)], но теперь, за победой и одолением, оставшийся за штатом и нашедший приют около концессионеров. Тишина царствовала невозмутимая, прерываемая только условным стуканьем пальцев и хлясканием карт. Один Осип Иваныч изредка балагурил, немилосердно муся при этом карты. Посреди стола лежала изрядная куча скомканных бумажек.

Мое появление взбудоражило всю компанию. Осип Иваныч выразил как бы недоумение, увидев меня; когда же он назвал мою фамилию, то такое же недоумение сказалось и

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
на других лицах.

– С нами, что ли, в стуколку играть сядете? – тем не менее любезно обратился ко мне хозяин, делая вид, что очищает место подле себя.

– Нет, я уж к Марье Потапьевне...

– Ну, к Марье Потапьевне так к Марье Потапьевне! А у ней соскучитесь, так с Иваном Ивановичем займетесь. Иван Иванович! вот, братец, гость тебе! Займи! да смотри, чтоб не соскучился! Да чаю им, да по питейной части чтоб неустойки не было! Милости просим, сударь!

Иван Иванович Зачатиевский, куда-то исчезавший в минуту моего прихода, словно из земли вырос на зов своего патрона и стоял уже сзади меня, готовый по первому мамию увлечь меня хоть в преисподнюю.

– Пожалуйте-с! Марья Потапьевна будут очень рады-с! – говорил Иван Иванович, уводя меня под руку из кабинета.

– Помещик из наших местов... Еще родителя ихнего знал... – объяснял, следом за мной, Дерунов, по-видимому, все еще недоумевающим игрокам и, сказав это, намуслил карты и стукнул.

В гостиной, вокруг Марьи Потапьевны, тоже собралось человек около десяти, в числе которых был даже один дипломат, сухой, длинный, желтый, со звездой на груди. В ту минуту, когда я вошел, дипломат объяснял Марье Потапьевне происхождение, значение и цель брюссельских конференций.

– Представьте себе, chere [дорогая (франц.)] Марья Потапьевна, что одна из воюющих сторон вошла в неприятельскую землю, – однозвучно цедил он сквозь зубы, отчего его речь была похожа на гуденье, – что мы видим теперь в подобных случаях? А то, что местное население старается всячески повредить победоносному врагу, устраивает ему изменнические засады, бежит в леса, заранее опустошая и предавая огню все, что стоит на его пути, предательски убивает солдат и офицеров, словом сказать, совершает все, что дикость и варварство могут внушить ему... тогда как теперь...

Мой приход помешал дальнейшему развитию объяснений. Но и в гостиной Марьи Потапьевны я был не более счастлив, чем в кабинете Осипа Ивановича. Она словно забыла мое лицо и одно мгновение как бы колебалась; потом, однако ж, вспомнила и подала мне руку, несколько кисло улыбнувшись. "Калегварды", которых я уже встретил во время моего первого утреннего визита, приняли меня радушнее. Казалось, им надоел дипломат (он, наверно, надоел и Марье Потапьевне), и они надеялись, что мой приход даст беседе новое направление. Многие зевали, и ежели не уходили, то только благодаря крющонам, стоявшим в столовой, и ожидаемой перспективе ужина. Что касается до дипломата, то он взглянул на меня с недоумением, почти неприязненно.

– Помещики из наших местов, – как бы оправдывалась Марья Потапьевна, называя меня по фамилии.

– Вы, кажется, писатель? – спросил дипломат, сопровождая этот вопрос каким-то невыразимо загадочным взглядом, в котором в одинаковой степени смешались и брезгливость, и смутное опасение быть угаданным, и желание подольститься, показать, что и мы, дескать, не чужды...

Я поклонился, думая в то же время (эта мысль преследует меня везде и всегда): "А ну, как последует назначение... ведь бывали же примеры!"

– Они по смешной части! – объяснила Марья Потапьевна.

– Ah! Ah! "по смешной части"! jolі [прекрасно (франц.)]. Именно, именно по "смешной части"! Faites-nous rire, monsieur! [Посмейте нас, сударь! (франц.)] Мы так бедны смехом, что нужно, чтобы кто-нибудь расправлял наши морщины.

Он благосклонно подал мне руку и затем обратился к прерванному разговору и окончательно разъяснил Марье Потапьевне пользу брюссельских конференций.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Исполнив это, он любезно обратился к "калегвардам":

– Ну-с, господа, как идут дела с мадам Жюдик?

– Да что, барон! Нельзя сказать, чтобы очень... добродетельна чересчур! – отозвался тот самый "калегвард", который и в первый визит мой заявил себя противником Жюдик.

– Ну, нет-с; я вам скажу, это женщина... это, как по-испански говорится, *salado... salada...* [пикантная(исп.)] Так, кажется?

– Так-то так, барон, не к чему эта строгость... *se puritanisme, enfin!* [этот пуританизм, в конце концов!(франц.)]

– Не знаю, не заметил... а по моему мнению, бывает воздержность, которая гораздо больше говорит, нежели самая недвусмысленная жестикуляция... Впрочем, вы, молодежь, лучшие ценители в этом деле, нежели мы, старики. Вам и книги в руки.

– Что касается до меня, то я совершенно вашего мнения, барон! – вступился "калегвард", приверженец Жюдик, – я говорю: жест актрисы никогда не должен давать всё сразу; он должен оставлять желать, должен возбуждать воображение, открывать перед ним перспективы... *Schneider!* Что такое *Schneider?* – это несколько усовершенствованная *Alphonsine* – и ничего больше! Она сразу дает всё, она не оставляет моему чувству никакого повода для самостоятельности... *Je vous demande un peu, si e'est de l'art!* [Спрашивается, искусство ли это! (франц.)]

– Так-с, так-с, совершенно с вами согласен... *Vous avez saisi mon idee!* [Вы уловили мою мысль!(франц.)] А впрочем, вы, кажется, и из корпуса вышли первым, если не ошибаюсь...

– Точно так, барон.

– Н-да... это так... Жюдик... *salado, salada...* Ну-с, *chere* Марья Потапьевна, я вас должен оставить! – произнес дипломат, с достоинством взвываясь во весь рост и взглядывая на часы, – одиннадцать! А меня ждет еще целый ворох депеш! Пойти на минуту к почтеннейшему Осипу Иванычу – и затем домой!

– А я думала, что вы с нами отужинаете, барон?

– Нет, *chere* Марья Потапьевна, я в этом отношении строго следую предписаниям гигиены: стакан воды на ночь – и ничего больше! – И, подав Марье Потапьевне руку, а прочим сделав общий поклон, он вышел из гостиной в сопровождении Ивана Иваныча, который, выпятив круглый животик и грациозно виляя им, последовал за ним. Пользуясь передвижением, которое произвело удаление дипломата, поспешил и я ускользнуть в столовую.

– Ну, теперь я вас не выпущу! – шепнул мне по дороге Иван Иваныч, – вот дайте только проводить генерала.

Дипломат проследовал в кабинет и благосклонно присел около Осипа Иваныча, который в эту самую минуту загреб целую уйму денег.

– Ну-с, господа, как поигрываете? – спросил дипломат.

– Да вот его превосходительство побеждает, – шутил Осип Иваныч, указывая на бывшего полководца.

– Да? непобедим, как и везде! и на поле сражения, и на зеленом поле! А я с вами, генерал, когда-нибудь намерен серьезно поспорить! Переправа через Вьюлку – это, бесспорно, одно из славнейших дел новейшей военной истории, но ошибка с вашей стороны таки была!

– Толкуй больной с подлекарем! – проворчал себе под нос полководец.

– Нечего, ваше превосходительство, сердиться, – с своей стороны подшучивал Осип Иваныч, – их превосходительство это правильно заметить изволили! Была ошибка! действительно ошибка была!

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Я, по крайней мере, позволяю себе думать, что если бы вы в то время взяли направление чуть-чуть влево, то талдомцы [Талдом – тоже торговое село в Калязинском уезде. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)] не успели бы прийти на помощь мятежным семендяевцам, и вы не были бы вынуждены пробивать кровавый путь, чтоб достигнуть соединения с генералом Голотыловым. Сверх того, вы успели бы обойти Никитские болота и не потопили бы в них своей артиллерии!

– Да что говорить, ваше превосходительство, – подзадоривал Осип Иваныч, – я сам тамошний житель и верно это знаю. Сделай теперича генерал направление влево, к тому, значит, месту, где и без того готовый мост через Вьюлку выстроен, первое дело – не нужно бы совсем переправы делать, второе дело – кровопролития не было бы, а третье дело – артиллерия осталась бы цела!

– Ну, вот видите! я хоть и не тактик, а сейчас заметил... Впрочем, господа, победителя не судят! – решил дипломат и с этим словом окончательно встал, чтобы удалиться.

Осип Иваныч кинулся было за ним, но дипломат благосклонным жестом руки усадил его на место. Это не помешало, однако, Дерунову вновь встать и постоять в дверях кабинета, следя взором за Иваном Иванычем, провожавшим дорогого гостя.

– Ну, слава богу, проводили! – сказал мне Зачатиевский, возвращаясь из передней, – теперь вы – наш гость! садитесь-ка сюда, поближе к источнику! – прибавил он, усаживая меня к столу, уставленному фруктами и питьями.

Я не раз бывал у Зачатиевского во время наездов Дерунова в Петербург, но знал его вообще довольно мало. Помню, что он называл Осипа Иваныча благодетелем, но я никогда особенно не верил искренности его излияний. В сущности, благодеяния, изливаемые семейством Деруновых на Зачатиевского, были очень скудны и едва ли вознаграждали последнего за хлопоты и стеснения. Несмотря на неприхотливость Осипа Иваныча, правила гостеприимства требовали и успокоить его, то есть отдать в его распоряжение лучший угол, и приготовить лишнее блюдо к обеду. Все это делалось почти бескорыстно, потому что Дерунов отбояривался домашнею провизией, присылаемой из К., и тем, что крестил детей у Зачатиевского, причем давал на зубок выигранный билет с пожеланием двухсот тысяч. Но таково уже магическое действие богатства: Зачатиевский, быть может, и ругал втихомолку Дерунова, но никогда не позволил себе отказать ему в какой-либо услуге, хотя бы для этого он вынужден был бегать несколько дней сряду высуня язык.

Впрочем, сама природа, казалось, создала Зачатиевского для услуги. Он был среднего роста и весь круглый. Круглый живот, круглая спина, округлые ляжки, круглые, как сосиски, пальцы – все это с первого раза делало впечатление, что вот-вот этот человек сейчас засеменит ногами и побежит, куда приказано. Круглое, одутловатое и несколько суженное кверху лицо не свидетельствовало о значительных умственных способностях, но постоянно выражало возбужденность и беззаветную готовность что-то выслушать и сейчас же исполнить. И на лице у него все было кругло: полные щеки, нос картофелиной, губы сердечком, маленький лоб горбиком, глаза кругленькие и светящиеся, словно можжевельные ягоды у хлебного жаворонка, и поверх их круглые очки, которые он беспрестанно снимал и вытирал. Даже лысина на его голове имела вид пятачка, получившего постепенно значительное распространение. Проворен он был изумительно, и я думаю, что в этом случае ему в весьма большой степени помогала бочковатость его существа. Он устремлялся вперед и при этом учтиво вилял всем телом, что особенно приятно поражало начальствующих лиц.

Несмотря, однако ж, на услужливость, действительной доброты в нем не было. Собственно говоря, он был услужлив помимо своей воли, потому только, что тело его очень удобно для этого было приспособлено. Но, оказывая услуги, вскакивая и устремляясь, словно на пружинах, он внутренне роптал и завидовал. В этой зависти, впрочем, скорее сказывалось завидующее пономарское естество, которое всю жизнь как будто куда-то человека подманивает и всю жизнь оставляет его на бобах. На деле он довольствовался очень малым, но глазами захапал бы, кажется, целый мир. Вообще это был очень своеобразный малый, в котором полное отсутствие воли постоянно препятствовало установлению сознательных отношений к людям.

– Так вот мы здесь, у источника, и побеседуем! – сказал он, садясь возле меня, – нам с вами тамделать нечего, а вот около крушончиков... Пойдите! я сейчас велю новый принести... с земляничкой!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Да нужно ли, Иван Иванович?

– Что вы! что вы! да Осип Иванович обидится! Не те уж мы нынче, что прежде были! – прибавил он, уже стоя, мне на ухо.

И прежде нежели я успел остановить его, он быстрыми шагами юркнул в переднюю.

– А не то, может быть, вы закусить бы предпочли? – продолжал он, возвратившись, – и закуска в передней совсем готовая стоит. У нас все так устроено, чтоб по первому манию... Угодно?

Но в эту минуту лакей уже внес новый крушон, и вопрос насчет путешествия в переднюю для закусывания остался открытым.

– Да, не те мы нынче! – возобновил он прерванную материю, нервно передвигая на носу очки, – гривеннички-то да пяточки оставили, а желаем разом...

– Да, большую перемену и я в Осипе Ивановиче замечаю.

– В каретах мы нынче ездим – да-с! за карету десять рубликов в сутки-с; за нумер пятьдесят рубликов в сутки-с; прислуге, чтобы проворнее была, три рублика в сутки; да обеды, да ужины, да закуски-с; целый день у нас труба нетолченая-с; одни "калегварды" что за сутки слопают-с; греки, армяне-с; опять генерал-с; вот хоть бы сегодня вечерок-с... одного шампанского сколько вылакают!

При этом перечислении меня так и подмывало спросить: "Ну, а вы? что вы получаете?" Само собою разумеется, что я, однако ж, воздержался от этого вопроса.

– Здесь в один вечер тысячи летят, – продолжал, как бы угадывая мою мысль, Зачатиевский, – а старому приятелю, можно сказать, слуге – грибков да маслица-с. А беготни сколько! с утра до вечера словно в котле кипишь! Поверите ли, даже службой negliжировать стал.

– Вольно же вам!

– Нельзя, сударь, нрав у меня легкий, – он знает это и пользуется. Опять же земляк, кум, детей от купели воспринимал – надо и это во внимание взять. Ведь он, батюшка, оболтус оболтусом, порядков-то здешних не знает: ни подать, ни принять – ну, и руководствуешь. По его, как собрались гости, он на всех готов одну селедку выставить да полштоф очищенного! Ну, а я и воздерживай. Эти крушончики да фрукты – кто обо всем подумал? Я-с! А кому почет-то?

– Иван Иванович! распорядись, братец! – раздался из кабинета голос Дерунова, – с гостем со своим занялся, а нас бросил!

Зачатиевский засеменял ногами по направлению к передней, и вслед за тем прошли в кабинет два лакея с подносами, обремененными налитыми стаканами.

– Ваше превосходительство! повелите! Новенького! – раздавалось в кабинете.

– Не велеть ли закуску подавать? – обратился ко мне Иван Иванович, смотря на часы, – первый в половине!

– Не знаю; по-моему, спать пора.

– У нас ведь до четырех часов материя-то эта длится... Н-да-с, так вы, значит, удивлены? А уже мне-то какой сюрприз был, так и вообразить трудно! Для вас-то, бывало, он все-таки принарядится, хоть сюртучишко наденет, а ведь при мне... Верите ли, – шепнул он мне на ухо, – даже при семейных моих, при жене-с...

– Но чем же вы объясняете эту перемену?

– Да как вам сказать? первое дело, кровь на старости лет заиграла, а главное, я вам доложу, все-таки жадность.

– Он и мне что-то об концессии говорил.

– Да-с, вот этот генерал... вон он, полководец! Он первый его обрячил. Нарочно в К. ездил, чтоб залучить. Я, знаете, так полагаю, что думали они, вся эта компания, на простачка напасть, ан вышло, что сами к простачку в передел попали. Грека-то видите, что возле генерала сидит? – он собственно воротило и есть, а генерал не сам по себе, а на содержании у грека живет. Вот они и затеяли эту самую механику, думали: мужик жадный, ходко на прикормку пойдет! – Ан Осип-то Иваныч жаднее всякого жадного вышел, ходит около прикормки да посматривает: "Не трог, говорит, другие сперва потеребят, а я увижу, что на пользу, тогда уже заодно подплыву, да вместе с прикормкой всех разом и заглону!" И так этот грек его теперь ненавидит, так ненавидит!

– Ну, а Осип Иваныч что?

– Смеется – ему что! – Помилуйте! разве возможная вещь в торговом деле ненависть питать! Тут, сударь, именно смеяться надо, чтобы завсегда в человеке свободный дух был. Он генерала-то смешками кругом пальца обвел; сунул ему, этта, в руку пакет, с виду толстый-претолстый: как, мол? – ну, тот и смалодушествовал. А в пакете-то ассигнации всё трехрублевые. Таким манером он за каких-нибудь триста рублей сразу человека за собой закрепил. Объясняться генерал-то потом приезжал.

– И что же?

– Велел закуску подать – и только. Коли, говорит, от тебя, ваше превосходительство, и впредь заслуга будет, и впредь не оставлю, а теперь, говорит, закусим да в кабинет пойдем, там по душе потолкуем. Заперлись они это, пошушукали там, только на сей раз остался наш генерал уж доволен. Веселый вышел, да не успел, знаете, уйти, как следом этот самый грек является. "Купите, говорит, мои акции – одни хозяином дела останетесь!" – "А я, говорит (это наш-то), Христофор Златоустыч, признаться сказать, погорячился маленько: полчаса тому назад его превосходительству, доверенному от вас лицу, все свои акции запродаю – да дешево, говорит, как!"

– Скажите! и все-таки продолжают видеться?

– И дело даже продолжают вместе делать! Только грек серьезнее стал на Осипа Иваныча смотреть. И посейчас каждый день беседуют. Грек этот, знаете, больше насчет выдумки, а наш – насчет понятия. Тот выдумает, а наш поймет. Тот пока с духом собирается, а наш, смотри, уже и дело сделал. И представьте себе, ведь во всем ему счастье такое! Вот хоть бы стуколка эта – редкий раз пройдет, чтобы он у них карманы не обчистил! Намеднись даже сам говорит мне: "Помилуй, говорит, да мне здесь дешевле, нежели в нашей уездной мурье жить, потому, сколько ни есть карманов, все они теперь мои стали!"

– Ну, это до поры до времени!

– Нет, сударь, это сущую правду он сказал: поколе он жив, все карманы его будут! А которого, он видит, ему сразу не одолеть, он и сам от него на время отойдет, да издали и поглядывает, ровно бы посторонний человек. Уже так-то вороват, так-то вороват!

Опять возглас из кабинета: "Иван Иваныч! Заснул, что ли, братец!" – и опять торопливое движение со стороны Зачатиевского.

– Первый час в исходе, закуску не прикажете ли подавать? – докладывает он Осипу Иванычу.

– А тебе, видно, спать к жене загорелось! Отпустить, что ли, его, господа честная компания! – предложил Дерунов.

– Отпустить! Отпустить!

– Ну, что с тобой делать! волоки закуску!

Иван Иваныч распорядился и опять подсел ко мне.

– Вот вы сказали давеча, – начал я, – что у Дерунова кровь на старости лет заиграла. Я ведь и сам об этом в К. мельком слышал: неужели это правда?

- Верно-с!
- А отец протоиерей к-ский еще "приятнейшим сыном церкви" его величает!
- Будешь величать! Сторублевку-то на полу не поднимешь!
- Но Яков Осипыч, как он это терпит?
- А он с утра до вечера в тумане: помнит ли даже, что и женат-то! Нынче ему насчет вина уж не велено препятствия делать.
- Ну, а Анна Ивановна?
- А Глафирина Николая Петровича знаете?
- Так что ж?
- Ну, он самый и есть... мужчина! У нас, батюшка, нынче все дела полюбовным манером кончаются. Это прежде он лют был, а нынче смекнул, что без огласки да потихоньку не в пример лучше.
- А знаете ли что! Ведь я это семейство до сих пор за образец патриархальности нравов почитал. Так это у них тихо да просто... Ну, опять и медалей у него на шее сколько! Думаю: стало быть, много у этого человека добродетелей, коли начальство его отличает!

– Да вы спросите, кто медали-то ему выхлопотал! – ведь я же! – Вы меня спросите, что эти медали-то стоят! Может, за каждую не один месяц, высуня язык, бегал... а он с грибками да с маслицем! Конечно, я за большим не гонюсь... Слава богу! сам от царя жалованье получаю... ну, частная работишка тоже есть... Сыт, одет... А все-таки, как подумаешь: этакой аспид, а на даровщину все норовит! Да еще и притесняет! Чуть позамешкаешься – уж он и тово... голос подает: распорядись... Разве я слуга... помилуйте!

Сказавши это, он даже от меня отвернулся и столь плотно уселся в кресло, что я так и ждал: вот-вот Дерунов кликнет из кабинета, и Зачатиевский останется глух к этому кличу.

– Конечно, ежели рассудить, то и за обедом, и за ужином мне завсегда лучший кусок! – продолжал он, несколько смягчаясь, – в этом он мне не отказывает! – Да ведь и то сказать: отказывай, брат, или не отказывай, а я и сам возьму, что мне принадлежит! Не хотите ли, – обратился он ко мне, едва ли не с затаенным намерением показать свою власть над "кусками", – покуда они там еще режутся, а мы предварительную! Икра, я вам скажу, какая! семга... царская!

– Понуждай, Иван Иваныч! понуждай, братец! – раздался голос Осипа Иваныча.

Но Зачатиевский на этот раз не ринулся с места и ограничился ответом: "сейчас!", потому что закуска была почти уже сервирована.

– А все она-с, – сказал он, вновь обращаясь к разоблачениям тайн деруновской семьи, – она сюда его и привезла. Мало ей к-ских приказчиков, захотелось на здешних "калегвардов" посмотреть!

– Однако Осип Иваныч, кажется, не ревнует?

– Хитер, сударь, он – вишь их какую ораву нагнал; ну, ей и неспособно. А впрочем, кто ж к нему в душу влезет! может, и тут у него расчет есть!

– Ну, какой же тут расчет!

– Не говорите, сударь! Такого подлеца, как этот самый Осип Иванов, днем с огнем поискать! Живого и мертвого готов ободрать. У нас в К. такую механику завел, что хоть брось торговать. Одно обидно: все видели, у всех на знати, как он на постоялом, лет тридцать тому назад, извозчиков овсом обмеривал!

– Счастье, Иван Иваныч, счастье!

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Не счастье-с, а вся причина в том, что он проезжего купца обворовал. Останавливался у него на постоялом купец, да и занемог. Туда-сюда, за попом, за лекарем, ан он и душу богу отдал. И оказалось у этого купца денег всего двадцать пять рублей, а Осип Иваныч пообождал немного, да и стал потихоньку да полегоньку, шире да глубже, да так, сударь, это дело умненько повел, что и сейчас у нас в К. никто не разберет, когда именно он разбогател.

– Иван Иваныч! батюшка! да ведь это уголовщина!

– А вы думали как? вы, может быть, думали, что миллионер из беспортошника так, сам собой, и делается?

– Да, я слыхал и про такие случаи... Вот, например, был один мальчишка, спичками торговал, а потом четырехэтажный дом выстроил.

– И я от матушки-покойницы слыхивал, что она меня не родила, а под капустным листом нашла.

Говоря это, Зачатиевский нервно подергивал свои очки, и я убежден положительно, что в эту минуту он искренно, от всего сердца ненавидел Дерунова.

– Эти "столпы", я вам доложу... – начал он и вдруг осекся.

В кабинете послышалось движение отставляемых стульев. Иван Иваныч вскочил и стал в позу почтительнейшего метрдотеля, даже губы у него как-то вспухли и замаслились. С обеих сторон, и из кабинета, и из гостиной, показались процессии гостей и ринулись на закуску.

– Вот он каков! – шепнул мне на ухо Зачатиевский, – даже не хотел подождать, покуда я доложу! А осетрины-то в соку между тем нет! да и стерлядь копченая...

– Где стерлядь копченая? Что ж копченая стерлядь? – ринулся он в толпу лакеев, покуда я в передней отыскивал свое пальто.

ОТЕЦ И СЫН

На севере диком растет одиноко

На голом утесе сосна,

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим,

Как ризой, одета она.

И снится ей...

Снятся консервативные начала, благонадежные элементы, правящие сословия, английские лорды и, как неизбежное к ним в русском стиле дополнение: Сидорова коза и Макар, телят не гоняющий...

На обрывистом берегу реки Вопли стоит дворянская усадьба и дремлет. Снится ей новый с иголки дом, стоящий на противоположном низменном берегу реки, дом, словно облупленное яичко, весь светящийся в лучах солнца, дом с обширным двором, обнесенным дощатым забором, с целым рядом хозяйственных строений по обоим бокам, – строений совсем новых, свежих, в которых помещаются: кабак, называющийся, впрочем, "белой харчевней", лавочка, скотопрогонный двор, амбар и проч.

В барской усадьбе живет старый генерал Павел Петрович Утробин; в новом домике, напротив, – хозяйствует Антошка кабатчик, Антошка прасол, Антошка закладчик, словом, Антошка – homo novus [новый человек (лат.)], выброшенный волнами современной русской цивилизации на поверхность житейского моря.

Генерал называет Антошку подлецом и христопродавцем; Антошка называет генерала "гнилою колодою". Оба избегают встреч друг с другом, оба стараются даже не думать друг об друге, и оба не могут ступить шагу, чтобы одному не бросился в глаза новый с иголки домик "нового человека", а другому – тоже не старая, но уже несомненно потухающая усадьба "ветхого человека"...

В сумерки, когда надвигающиеся со всех сторон тени ночи уже препятствуют ясно различать предметы, генерал не утерпит и выйдет на крутой берег реки. Долгое время стоит он недвижно, уставясь глазами в противоположную сторону.

– Ежели верить Токвилю... – начинают шептать его губы (генерал – член губернского земского собрания, в которых Токвиль, как известно, пользуется славой почти народного писателя), но мысль вдруг перескакивает через Токвиля и круто заворачивает в сторону родных представлений, – в бараний рог бы тебя, подлеца! – уже не шепчет, а гремит генерал, – туда бы тебя, хриstopродавца, куда Макар телят не гонял!

И в тот же таинственный час, крадучись, выходит из новенького дома Антошка, садится на берег и тоже не может свести лисьих глаз с барской усадьбы.

– Ежели теперича за дом, – шепчут его губы, – ну, хоть полторы, ну, положим, за парк с садом тысячу... а впрочем, зачем же! Может, и так, без денег, измором... так-то, старая колода!

И, намечтавшись досыта, оба, не заметив друг друга, расходятся по домам...

* * *

Генеральская усадьба имеет вид очень странный, чтоб не сказать загадочный. Она представляет собой богатую одежду, усеянную множеством безобразных заплат. Дело в том, что она соединила в себе два элемента: старую усадьбу, следы которой замечаются и теперь, в виде незаровненных ям и разбросанных кирпичей и осколков бутового камня, и новую усадьбу, с обширными затеями, оставшимися, по произволению судеб, недоконченными.

Старая барская усадьба еще не так давно стояла несколько поодаль от реки, на берегу впадающего в нее оврага. Овраг этот был исстари запружен в своем устье и образовал громадный, глубокий и хорошо содержанный пруд, в водах которого отражался старинный и длинный, словно казарма, господский дом. Вправо от дома, по берегу пруда, раскинулся обширный парк, разбитый по-старинному на квадраты, засаженные внутри березами, елями и соснами, а по бокам вековыми липами, которые образовали, таким образом, длинные и темные аллеи. Сзади дома, под руками, находились службы: конный и скотный дворы, застольные, флигеля для дворовых, амбары, погреба и проч. За парком, на трех десятинах, был разведен плодовый сад с оранжереями и теплицами, с яблонями и вишеньем, с громадными ярусами гряд клубники и ягодных кустов. Напротив дома, чрез пруд, боком к барской усадьбе и лицом к Вопле, расположился крестьянский поселок, дворов около двадцати.

В то время (с небольшим лет двадцать пять тому назад) генеральский дом кипел млеком и медом. Сам генерал, Павел Петрович Утробин, был старик лет пятидесяти, бодрый, деятельный, из себя краснощекий и тучный. Служил он некогда, лет пятнадцать сряду, губернатором и был, как тогда говорилось, хозяином своей губернии. Почтовые дороги обсадил по бокам березками, почтовые станции выстроил с иглочками, хлебные запасные магазины пополнил, недоимки взыскал, для губернского города выписал новую пожарную трубу, а для губернской типографии новый шрифт. Затем, когда все земное было им совершено, он сам, *motu proprio* [добровольно (лат.)], вышел в отставку с приличною пенсией (это было лет за десять до упразднения крепостного права) и поселился у себя в Воплине. Сюда он перенес ту же кипучую деятельность, которая отличала его и на губернаторском месте, а для того, чтоб не было скучно одному посреди холопов, привез с собой, в качестве секретаря, одного довольно жалконького чиновника приказа общественного призрения, Иону Чибисова, предварительно женив его на шустренькой маленькой поповне, по имени Агния.

С приездом хозяина, прадедовская, несколько запущенная усадьба ожила. Дворовые встрепенулись; генерал – летом в белом пикейном сюртучке с форменными пуговицами, зимой в коротеньком дубленом полушубке и всегда в серо-синеватых брюках с выпушкой в обтяжку и в сапогах со шпорами – с утра до вечера бродил по полям, садам и огородам; за ним по пятам, как тень, всюду следовал Иона Чибисов для принятия приказаний. Аллеи парка утрамбовали и посыпали густым слоем песка; оранжереи и плодовый сад подчистили, конный и скотный дворы обрядили так, что взойти любо. Генерал был строг, но справедлив: любя наказывал, но и добрым словом не обходил. Румяный, плотный, довольный собой, он бодро ходил по усадьбе,

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik позвякивая шпорами, играя селезенкою и зорким старческим глазом подмечая малейшую неисправность. Шустрая поповна Агнушка, кругленькая, пухленькая, находилась при ключах, и генерал только языком прищелкивал, глядя, как она, словно комочек, с утра до вечера перекачивается от погреба к амбару, от амбара к молочной и т.д.

В скором времени Воплино сделалось почти ежедневным сборным пунктом для всех окрестных помещиков. Генерал водил их по усадьбе, хвастался вводимыми порядками, кормил, предоставлял в их распоряжение ломберные столы и не отказывал в перинах для отдохновения. Вследствие этого любовь и доверие дворянства к гостеприимному воплинскому хозяину росли не по дням, а по часам, и не раз шла даже речь о том, чтоб почтить Утробина крайним знаком дворянского доверия, то есть выбором в предводители дворянства, но генерал, еще полный воспоминаний о недавнем славном губернаторстве, сам постоянно отклонял от себя эту честь.

Одним словом, все шло как нельзя лучше желать, и ни о каких признаках, предвещающих пришествие Антошки homo novus, не было и в помине. Но в 1856 году смутил генерала бес. Приехал к нему в побывку сын, новоиспеченный двадцатилетний титулярный советник, молодой человек, с честью прошедший курс наук в самых лучших танцклассах того времени и основательно изучивший всего Поль де Кока. Петенька Утробин на чем свет стоит раскостил папашину усадьбу. И виду нет, и скотным двором воняет, и дом на казарму похож, и река далеко. Попал однажды Петенька на крестьянский поселок – и восхитился. Место высокое, почти утес; у подошвы течет глубокая Вопля, которая тут же неподалеку, приняв в себя овраг, на котором стояла старая усадьба, делает крутой поворот направо. Через реку – вид на безграничное пестрое пространство луговой поймы к деревень. По низменному берегу вьется почтовая дорога, упирающаяся прямо в загиб Вопли, через которую в этом месте ходит на канате дощаник. На мыску, образуемом речным изгибом (там, где ныне выстроил почти целый поселок Антошка-подлец), чернеет постоянный двор, отдаваемый генералом в аренду богобоязненному и смирному мужику Калине Силантьеву, из своих же крепостных. Около постоянного двора и дощаника всегдашняя живописная суета: отпряженные лошади, возы с завороченными вверх оглоблями, мужики, изредка почтовые тройки и большие экипажи, кареты, коляски. Вот где надобно быть усадьбе, а не там, разом решил Петенька. Вот тут на берегу, лицом к реке, следует выстроить новый дом, с башенками, балконами, террасами, и весь его утопить в зелени кустарников и деревьев; обрывистый берег скрыть и между домом и рекой устроить покатошь, которую убрать газоном, а по газону распланировать цветник; сзади дома, параллельно с прудом, развести изящный молодой парк, соединив его красивым мостом через пруд с старым парком. Крестьян, разумеется, выселить за старый парк и плодовый сад. Таков был план, который начертил Петенька и из которого должен был выйти настоящий chateau [замок (франц.)], а не какая-нибудь мурья, в окна которой беспрестанно врываются гнусные запахи со скотных дворов и из застольных и в которой не мыслимо никакое другое развлечение, кроме мрачного истребления ерофеича.

К удивлению, преобразовательные затеи Петеньки не встретили почти никакого отпора со стороны генерала. Во-первых, Петенька был единственный сын и притом так отлично кончил курс наук и стоял на такой прекрасной дороге, что старик отец не мог без сердечной тревоги видеть, как это дорогое его сердцу чадо фыркает, бродя по лабиринту отчего хозяйства и нигде не находя удовлетворения своей потребности изящного. Во-вторых, генерал был так долго "хозяином губернии", что всякая ломка и перетасовка ему самому была по душе. Сообразив составленный Петенькой план, он понял, что тут предстоит целое море построек, переносок, посадок, присадок, – и селезенка пуще, чем когда-либо, заиграла в нем.

Одно только обстоятельство заставляло генерала задуматься: в то время уже сильно начали ходить слухи об освобождении крестьян. Но Петенька, который, посещая в Петербурге танцклассы, был, как говорится, au courant de toutes les choses [в курсе всех дел (франц.)], удостоверил его, что никакого освобождения не будет, а будет "только так".

– Полно, так ли, мой друг? – допытывался старик, – в народе уж сильно поговаривать начали.

– Niaiseries, mon pere! [Глупости, отец! (франц.)], – отвечал Петенька, – вы подумайте только, есть ли в этом человеческий смысл! Вот и Архипушку, стало быть, освободить!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Архипушка, деревенский дурачок, малый лет уж за пятьдесят, как нарочно шел в это время мимо господской усадьбы, поднявши руки в уровень с головой, болтая рукавами своей пестрядинной рубахи, свистя и мыча. Взглянул генерал на Архипушку, подумал: в самом деле, неужели Архипушку освободят? – и решил: нет, это было бы даже не великодушно! Тем не менее, чтобы окончательно быть удостоверенным, что "зла" не будет, он, по отъезде сына в Петербург на службу, съездил в губернский город и там изложил свои сомнения губернатору и архиерею. Губернатор, человек старого закала, только улыбнулся в ответ, присовокупив, что хотя подобные слухи и распространяются врагами отечества, но что верить им могут только люди, не понимающие истинных потребностей России. Преосвященный же прямо сказал, что как в древности были господа и рабы, так и напредь сего таковые имеют остаться без изменения.

Заручившись столь вескими авторитетами, Утробин успокоенный возвратился в Воплино и при первом удобном случае приступил к преобразованиям. На его беду, весна и лето 1857 года прошли совсем тихо. Он живо перенес крестьянский поселок за плодовый сад, выстроил вчерне большой дом, с башнями и террасами, лицом к Вопле, возвел на первый раз лишь самые необходимые службы, выписал садовника-немца, вместе с ним проектировал английский сад перед домом к реке и парк позади дома, прорезал две-три дорожки, но ни к нивелировке береговой кручи, ни к посадке деревьев, долженствовавшей положить начало новому парку, приступить не успел. Как ни усердствовали крестьяне, как ни старались сельские начальники, но к концу осени окрестности будущего chateau представляли собою скорее картину недавнего геологического переворота, нежели что-нибудь с чем-нибудь сообразное; даже ямы, свидетельствовавшие о пребывании в этом месте крестьянских дворов и гумны, не были заровнены.

А между тем грозный час не медлил, и в конце 1857 года уже сделан был первый шаг к разрешению крестьянского вопроса.

Генерал был так озадачен, что опять поскакал в губернский город. Там уже сидел другой губернатор, из молодых ранний, но архиерей был прежний. На вопрос генерала: "что сей сон значит?" – губернатор несколько нахмурился, ибо просторечия даже в разговоре не любил, а как сам говорил слогом докладных записок, так и от других того требовал. Впрочем, в виду преклонных лет, прежних заслуг и слишком яркой непосредственности Утробина, губернатор снизошел и процедил сквозь зубы, что хотя факт обращения к генерал-губернатору Западного края есть факт единичный, так как и положение этого края исключительное, и хотя засим виды и предположения правительства неисповедимы, но что, впрочем, идея правды и справедливости, с одной стороны, подкрепляемая идеей общественной пользы, а с другой стороны, побуждаемая и, так сказать, питаемая высшими государственными соображениями.

Генерал слушал эту рацею, выпучив глаза, и к ужасу своему – понимал.

– А я, вашеество, в нынешнем году переформировку у себя затеял, – произнес он как-то машинально, словно эта идея одна и была в его голове.

– Очень рад-с! очень рад-с! – ответил губернатор, – очень рад видеть, что господа дворяне оставляют прежние рутинные пути и выказывают дух предприимчивости, этот, так сказать, нерв...

На этом месте Утробин шаркнул ножкой, откланялся и направился к архиерею.

Архиерей принял генерала с распростертыми объятиями и сейчас же велел подать закуску.

– Слышали? – спросил генерал.

– Не токмо слышал, но и возвеселился! – ответил преосвященный. – Истинно любезная для христианского сердца минута сия была.

Генерал побагровел.

– Как же так, преосвященнейший! А помните: "и в древности были господа и рабы, и напредь таковые должны остаться без изменения"? – огрызнулся он.

– Да, да, да! то-то вот все мы, бесу смущающу, умствовать дерзновение имеем! и

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов предполагаем, и планы строим – и всё на песце. Думалось вот: должны оставаться рабы, а вдруг воспоследовало благочестивейшего государя повеление: не быть рабам! При чем же, скажи ты мне, предположения и планы-то наши остались? Истинно говорю: на песце строим!

Генерал просидел у преосвященного с четверть часа, но не проронил больше ни слова и даже не прикоснулся ни к балыку, ни к свежей икре. Казалось, он был в летаргическом сне.

Приехавши из губернского города в Воплино, Утробин двое суток сряду проспал непробудным сном. Проснувшись, он увидел на столе письмо от сына, который тоже извещал о предстоящей катастрофе и писал: "Самое лучшее теперь, милый папаша, – это переселить крестьян на неудобную землю, вроде песков: так, по крайней мере, все дальновидные люди здесь думают".

– Ну, нет, слуга покорный! надо еще об окончании своего собственного переселения подумать! – воскликнул генерал и тут же мысленно присовокупил: – А впрочем, может быть, ничего и не будет.

Но в январе 1858 года отовсюду посыпались адреса, а следующим летом уже было приступлено к выборам членов комитета об улучшении быта крестьян, и генерал был в числе двоих, избранных за К-ий уезд.

Тем не менее на глазах генерала работа по возведению новой усадьбы шла настолько успешно, что он мог уже в июле перейти в новый, хотя далеко еще не отделанный дом и сломать старый. Но в августе он должен был переселиться в губернский город, чтобы принять участие в работах комитета, и дело по устройству усадьбы замялось. Иону и Агнушку генерал взял с собой, а староста, на которого было возложено приведение в исполнение генеральских планов, на все заочные понуждения отвечал, что крестьяне к труду охладели.

В комитете между тем Утробин выказал себя либералом. Он не только говорил, но и кричал, что "сделать что-нибудь надобно". Впрочем, предостерегал от излишеств и от имени большинства представил проект, который начинался словами: "но ежели" и кончался словом "однако". Над оригинальной редакцией этого проекта в то время много смеялись, не сообразив, что необычная форма вступления в беседу с читателем посредством "но ежели" была лишь порождением той страстности и убежденности, которая постоянно присутствовала при составлении проекта. Утробин просто-напросто был убежден, что все, предшествовавшее словам "но ежели", всякому слишком известно, чтоб требовалось повторять. Как прожектор, он был послан от большинства в комиссии в качестве эксперта. Это было летом. В Петербурге его, вместе с прочими экспертами, возили по праздникам гулять в Павловск, в Царское Село, в Петергоф и даже в Баблово, где показывали громадную гранитную купальню, в которой никогда никто не купался. Остальное время он проводил в номере гостиницы Демут, каждый день все более и более убеждаясь, что его "но ежели" не выгорит. Единственным светлым воспоминанием этого периода его жизни был вечер, проведенный вместе с Агнушкой на минералках, причем они сообща отлично надули Иону, сказав ему, чтоб он ожидал их на Смоленском кладбище.

1861 год застал генеральскую усадьбу в следующем положении: дом отстроен и обит тесом, но не выкрашен; крыша покрыта железом, но тоже не выкрашена и местами уже проржавела и дала течь. Внутри дома три комнаты оштукатурены совсем, в двух сделаны приготовления, то есть приколочена к стенам дрань, в прочих – стены стояли голые. Перед домом, где надлежало сделать нивелировку кручи, существовали следы некоторых попыток в этом смысле, в виде канав и дыр; сзади дома были прорезаны дорожки, по бокам которых посажены кленки, ясенки и липки, из которых принялась одна десятая часть, а все остальное посохло и, в виде голых прутьев, стояло на местах посадки, раздражая генеральское сердце. Из служб были перенесены только кухня и погреб, все прочее осталось на прежнем месте за прудом. Ямы, где стояли крестьянские избы и гумна, остались незаровненными и густо поросли крапивой и диким малинником. Старый парк зарос и одичал; по дорожкам начал пробиваться осинник; на месте старого дома валялись осколки кирпича и поднялась целая стена крапивы и лопухов. Оранжереи потемнели, грунтовые сараи задичали; яблони, по случаю немилостивой зимы 1861 года, почти все вымерзли, так что в плодовом саду, на месте роскошных когда-то деревьев, торчали голые и корявые остовы их.

В первое время генералу было, впрочем, не до усадьбы: он наблюдал, кто из

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik крестьян ломает перед ним шапку и кто не ломает. Собственно говоря, ломали все, без исключения; но генерал сделался до того уже прозорлив, что в самой манере ломания усматривал очень тонкие, почти неуловимые оттенки. Затем он вел ожесточенную полемику с мировым посредником, самолично ездил к нему на разбирательство и с какою-то страстностью подвергал себя "единовременному и унижительному для него совместному сидению" с каким-нибудь Гришкой-поваром, который никак не хотел отслужить заповедные два года.

Мало-помалу, однако, страсти улеглись. Прекратилась полемика с мировым посредником, прошла пора "унижительного совместного сидения" с Гришками, Прошками и Марфушками. Но тут, как нарочно, случилась катастрофа с Антошкой-хриstopродавцем, о которой ниже и которая подействовала еще горчее, нежели "совместные сидения". Генерал был окончательно надломлен. Унылая сиротливость словно пологом окутала и его самого, и недавние его затеи. Дик и угрюм шумит в стороне за прудом старый парк, и рядом с ним голо и мизерно выглядит окопанное канавой пространство, где предполагалось быть, новому парку. Генерал поседел, похудел и осунулся; он поселился в трех оштукатуренных комнатах своего нового дома и на все остальное, по-видимому, махнул рукой. Заложив руки назад и понурив седую голову, он бродит по этим комнатам, словно дремлет. Но по временам взор его вспыхивает и как бы магнетической силой приковывается к тому берегу Волги, где светлеется выстроенная с иголки сада Антошки-хриstopродавца.

* * *

Антон Валерьянов Стрелов был мещанин соседнего уездного города, и большинство местных обывателей еще помнит, как он с утра до вечера стрелой летал по базару, исполняя поручения и приказы купцов-толстосумов. Отсюда - прозвище Антон Стрела, которое и оставалось за ним до тех пор, пока он сам не переименовал себя в Стрелова. Долгое время Антошка погрязал в ничтожестве и никак не мог выбиться из колеи мелкого торговца-зазывателя и облапошителя, да и то не за свой счет, а за счет какого-нибудь капиталиста, зорко следившего, чтобы лишний пятак не задерживался меж Антошкиных пальцев. Способности были у него богатые; никто не умел так быстро обшарить мышь норки, так бойко клясться и распинаться, так ловко объегорить, как он; ни у кого не было в голове такого обилия хищнических проектов; но ни изобретательность, ни настойчивая деятельность лично ему никакой пользы не приносили: как был он голяк, так и оставался голяком до той минуты, когда пришел его черед. Время тогда было тугое, темное; сословная обособленность царилла во всей силе, поддерживаемая всевозможными искусственными перегородками; благодаря этим последним, всякий имел возможность крепко держаться предоставленного ему судьбою места, не употребляя даже особенных усилий, чтобы обороняться от вторжения незваных элементов. Пробыться при таких условиях было мудрено, и как бы ни изворотлив был ум человека, брошенного общественною табелью рангов на последнюю ступень лестницы, - лично для него эта изворотливость пропадала даром и много-много ежели давала возможность кое-как свести концы с концами.

Антошка был деятелен необыкновенно. Каждое утро он начинал изнурительную работу сколачивания грошей, бегал, высуня язык, от базарной площади к заставе и обратно, махал руками, торопился, проталкивался вперед, божился, даже терпел побои - и каждый вечер ложился спать все с тем же грузом, с каким встал утром. Встал - грош и лег - грош. Посмотрит, бывало, Антошка на этот заколдованный грош, помнет его, щелкнет языком - и полезет спать на полати, с тем, чтоб завтра чуть свет опять пустить тот грош в оборот, да чтобы не зевать, а то, чего боже сохрани, и последний грош прахом пойдет. И что всего замечательнее, несмотря на эту вечно преследующую бедность, никто не обращал на нее внимания, никто не сострадал к ней, а напротив, всякий до того был убежден в "дарованиях" Антошки, что звал его "стальной душой" и охотно подшучивал, что он "родного отца на кобеля променять готов".

Так шло до тех пор, пока на русскую землю не повеяло новым духом. Антошка был одним из первых, воспользовавшихся ближайшими результатами этого веяния. Он разом смекнул, что упразднение крепостного права должно в значительной степени понизить старинные перегородки и создать совершенно новое положение, в котором свежему и алчному человеку следует только не зевать, чтобы обрести сокровище. Арена промышленной деятельности несомненно расширилась: не одним местным толстосумам понадобились подручные люди, свободно продающие за грош свою душу, но и другим всякого звания шлющимся людям, вдруг вспомнившим изречение: "земля

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
наша велика и обильна" – и на этом шатком основании вознамерившимся воздвигнуть
храм будущей славы и благополучия.

Во множестве появились неведомые люди (те же Антошки, но только называвшие себя "исследователями"), с пронзительными, почти колючими взорами, с острым и развитым обонянием и с непоколебимой решимостью в Тетюшах открыть Америку. Эти люди ничего не покупали и не законтрактовывали, а нюхали, расспрашивали встречных и поперечных, шатались по базарам и торгам и уверяли всех и каждого, что полагают основание для каких-то сношений, отыскивают новые рынки и новые истоки для отечественной производительности. Для подобных субъектов Антошка был суший клад. Он отлично понял, что имеет дело с людьми легкомысленными, которым нужно одно: чтоб "идея", зашедшая в голову им самим или их патронам, была подтверждена так называемым "местным исследованием". Поэтому он охотно пристроивался к вестникам воспрянувшего промышленного духа и не только остерегался им противоречить, но лгал в их смысле что было мочи, лишь бы они остались довольны.

Исследование обыкновенно производилось очень просто: приезжий Улисс брал записную книжку и начинал допрос.

– Скажите, пожалуйста, я слышал, что у вас здесь в значительном количестве хмель разводится?

Улисс развертывает при этом карту, на которой Россия разрисована разными красками, смотря по большей или меньшей производительности хмеля.

– Хмель-то! Позвольте вам, ваше сиятельство, доложить! Хмелю у нас в одном здешнем городе так довольно, так довольно, что, можно сказать, не одна тыща пудов сгниет его... потому сбыта ему у нас нет.

– Ну, так я и знал! Это изумительно! Изумительно, какие у нас странные сведения об отечестве! – горячится Улисс, – а что касается до сбыта, то об этом беспокоиться нечего; сбыт мы найдем.

– А какое бы, ваше сиятельство, здешним жителям удовольствие сделали!

– Сбыт мы найдем. Да. Ну, а как у вас обрабатывают хмель? прессуют?

– Это что же такое "прессуют"?

– Ну, да; вот в Англии, например, там хмель прессуют и в этом виде снабжают все рынки во всех частях света... Да-с, батюшка! вот это так страна! Во всех частях света – всё английский хмель! Да-с, это не то, что мы-с!

Антошка слушает и в такт качает головой.

– И ни боже мой! – говорит он. – у нас и заведений этих нет! Помилуйте! примерно, ежели теперича мужик или хоша мещанин... ну, где же им этой самой прессовке обучиться!

– Ну, этого, батюшка, не говорите, потому что русский народ – талантливый народ.

– Это насчет того, чтобы перенять, что ли-с? Ваше сиятельство! помилуйте! да покажите хоть мне! Скажите: "Сделай, Антон Верельянов, вот эту самую машину... ну, то есть вот как!" с места, значит, не сойду, а уж дойду и представлю!

– То-то вот и есть. Тут только руку помощи нужно подать. Стало быть, вы думаете, что ежели устроить здесь хмелепрессовальное заведение...

– Самая это, ваше сиятельство, полезная вещь будет! А для простого народа, для черняди, легость какая – и боже ты мой! Потому что возьмем, к примеру, хоть этот самый хмель: сколько теперича его даром пропадает! Просто, с позволения сказать, в навоз валят! А тогда, значит, всякий, кто даже отроду хмелем не занимался, и тот его будет разводить. Потому, тут дело чистое: взял, собрал в мешок, представил в прессовальное заведение, получил денежки – и шабаш!

– Гм... а лен в ваших местах – тоже в большом количестве разводится?

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Улисс развертывает другую карту, на которой Россия зарисована тоже разными
красками, показывающими большее или меньшее развитие льняной промышленности.
К*** покрыт краскою жидко, что означает слабое развитие.

– Лен-то! Да наше место, можно сказать, истари... Позвольте вам, ваше
сиятельство, доложить: что теперича хмель, что лен – всё, значит, едино, всё –
первые по здешнему месту статьи-с! То есть, столько тут льну! столько льну!

– Ну, так я и знал! Наперед знал, что все эти предварительные сведения – всё
пустяки! Однако хорошо мы знаем наше отечество... можно сказать! Посмотрите-ка,
батюшка! вот эта карта! вот на ней положение нашей льняной промышленности
представлено, и против вашего уезда значится: льняная промышленность – слабо.

– Ваше сиятельство! да неужели же я! Сколько лет, значит, здесь живу! да, может,
не одна тыща пудов...

– Еще бы! Разумеется, кому же лучше знать! Я об том-то и говорю: каковы в
Петербурге сведения! Да-с, вот извольте с такими сведениями дело делать! Я
всегда говорил: "Господа! покуда у вас нетживого исследования, до тех пор все
равно, что вы ничего не имеете!" Правду я говорю? правду?

– Это истинное слово, ваше сиятельство, вы сказали!

– Ну да. А впрочем, я ведь один... Прискорбно это... Трудно, батюшка, трудно!

– Уж на что больше труда, ваше сиятельство!

– Ну-с, а теперь будем продолжать наше исследование. Так вы говорите, что лен...
как же его у вас обрабатывают? Вот в Бельгии, в Голландии кружева делают...

– Позвольте вам, ваше сиятельство, доложить! Это точно, что по нашему месту...
по нашему, можно сказать, необразованию... лен у нас, можно сказать, в большом
упущении... Это так-с. Однако, ежели бы теперича обучить, как его сеять, или
хоша бы, например, семена хорошие предоставить... большую бы пользу можно от
этого самого льна получить! Опять хоша бы и наша деревенская баба... нешто она
хуже галанской бабы кружева сплетет, коли-ежели ей показать?

И так далее. Исследование обходило все предметы местного производства, и притом
не только те, которые уже издавна получили право промысловой гражданственности,
но и те, которые даже вовсе не были в данной местности известны, но, при
обращении на них должного внимания, могли принести значительные выгоды. В
заключение исследователь обыкновенно спрашивал:

– А не можете ли вы назвать мне главнейших здешних промышленников?

Антошку при этом вопросе подергивало: он уже начинал ревновать своего Улисса.

– Дерунов, Осип Иванович, – отвечал он, запинаясь, – большое колесо у них
заведено... Только позвольте, ваше сиятельство, вам доложить...

– Что такое?

– Не понравятся они вам, господин, то есть, Дерунов...

– Отчего так?

– Да так-с... немножечко они как будто по старине-с... Насчет предприятий
очинно осторожны... Опасаются. Это чтобы вот насчет прессовки хмелю или насчет
кружев-с – и ни боже мой!

– Рутинными, значит, путями идет? Рутинными? старыми?

– Еще какими старыми-то! Как, значит, ваше сиятельство, отцы и дедушки калю
наездили – так и мы!

Но исследователь все-таки отправлялся к Дерунову (нельзя: во-первых, местный
Ротшильд, а во-вторых, и "сношения" надо же завести), калякал с ним, удивлял его
легкостью воззрений и быстротою мысленных переходов – и в конце концов, как и

годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов предсказывал Антошка, выходил от него недовольный.

– Да, батюшка! – говорил он Антошке, – вы правду сказывали! Это не промышленник, а истукан какой-то! Ни духа предприимчивости, ни понимания экономических законов... ничего! Нет-с! нам не таких людей надобно! Нам надобно совсем других людей... понимаете? Вот как мы с вами, например! А? Понимаете? вот как мы с вами?

– Сказывал я вашему сиятельству, что понапрасну только время терять изволите. Самый, что называется, закоренелый это человек!

Непосредственным результатом этих наездов было то, что в короткое время Антошка успел сколотить несколько сотен рублей. Главный же результат сказался в том, что цена на Антошкину услугу внезапно повысилась и отношения к нему местных обывателей в значительной степени изменились. С этих пор он делается солидным человеком, вместо "Антошки" начинает именоваться "Антоном Верельянычем", а прозвище "Стрела" заменяет фамилией "Стрелов". И действительно, в городе начали ходить удивительные слухи. Сперва начали говорить, что учреждается компания для "разведения и обделки льна", а еще через несколько месяцев прошел слух о другой компании, которая поставила себе задачей вытеснить из торговли английский прессованный хмель и заменить его таковым же русским. Наконец, пришла весть и о железной дороге. Хотя же первые два слуха так и остались слухами, а последний осуществился лишь гораздо позднее, тем не менее репутация Антошки установилась уже настолько прочно, что даже самому Дерунову не приходило в голову называть его по-прежнему Антошкой.

В это же самое время и в среде помещиков обнаружилось движение. Некоторые просто-напросто сознали свое неумение вести хозяйство на новых основаниях; другие же, не отказываясь от надежды достигнуть плодотворных результатов в будущем, требовали капиталов, капиталов, капиталов... Отсюда – общее желание ликвидировать или все, или, по крайней мере, то, что казалось менее необходимым. Неумелые готовы были сбывать все и во что бы то ни стало, лишь бы бежать из постылого места; мнившие себя умелыми отделялись от пустошей и тех обрезков, которые, благодаря их же настояниям, образовались при написании уставных грамот. Эти затеи тоже требовали бойких и ходких посредников, потому что толстосумы, вроде Дерунова, ежели обращались к ним непосредственно, без зазрения совести предлагали за рубль грош. В числе этих посредников-маклеров, само собою разумеется, на первом плане оказался Антон Стрелов; и действительно, он устроил на первых порах несколько таких сделок, которыми обе стороны остались довольны.

То была именно та самая минута, когда заскучал генерал Утробин. Оброки шли туго; земля не только ничего не приносила, но еще требовала затрат. Генерал вдруг почувствовал себя одиноким и беспомощным. Всякий интерес к жизни в нем словно погас; он уже перестал ревниво присматриваться к выражению лиц временнообязанных, он даже разом прекратил, словно оборвал, полемику с мировым посредником. Все это было хорошо, покуда теплились еще остатки прежней барской жизни, но теперь, когда пошла речь об удовлетворении потребностей ежедневного расхода, шутки шутить было уже не к лицу. Безучастным, скучающим взором глядел генерал из окон нового дома на воды Вопли и на изрытый, изуродованный берег ее, тот самый, где было когда-то предположено быть лугу и цветнику. Изредка, выходя из дома, он обводил удивленными, словно непонимающими взорами засохшие деревца, ямы, оставшиеся незаровненными, неубранный хлам – и в седой его голове копошилась одна мысль; что где-нибудь должен быть человек, который придет и все это устроит разом, одним махом. Что он, генерал, в одно утро проснется и вдруг увидит, что все цветет, красуется, благоухает и никаких признаков недавнего геологического переворота в помине нет. Для опытного, свыше шестидесятилетнего старика, конечно, это была надежда совсем детская, но когда нервы человека почти убиты, то волшебство невольным образом делается единственным исходом, на котором успокаивается мысль.

На Иону генерал не надеялся. Со времени освобождения крестьян Иона несколько раз нагрубил генералу, а раза два даже позволил себе явиться к нему "не в своем виде". По этому поводу произошла баталия, во время которой генерал напомнил Ионе, что он его "из грязи вытащил", а Иона, в свою очередь, сделал генералу циничское замечание насчет Агнушки. Конечно, на другой день Иона проспался и принял прежний смиренный вид, но в сердце генерала уже заползла холодность. Холодность эта мало-помалу перешла и на Агнушку, особенно с тех пор, как генерал, однажды стоя у окна, увидел, что Агнушка, озираясь, идет со скотного

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik двора и что-то хоронит под фартуком. Генерал, разумеется, ни одним словом не намекнул о своем открытии, но стал примечать и уследил чудовищные вещи. В его глазах, с быстротой молнии, исчезали громадные куски сахара, а расход чухонского масла, чая и кофея становился просто-напросто скандальным. Был у генерала целый запас перин, а недавно приехал становой, и не на чем было положить его спать. Наконец, стали исчезать подсвечники, а о мелках, карточных щетках и т.п. давно и в помине не было. Куда все это девалось? спрашивал себя генерал и продолжал молча наблюдать, с каким-то диким наслаждением растравляя собственные раны.

"Это они на всякий случай прикапливают! – рассуждал он сам с собою, – только куда они прячут?"

И он с злорадством ожидал, что вот-вот придет некто, который всю эту шваль погонит и все разом устроит.

Этот таинственный "некто" явился в лице Антона Стрелова. Это уже был не прежний худой и замученный Антошка, с испытанным лицом, с вдавленной грудью, с полным отсутствием живота, который в обшарпанном длиннополном сюртуке ждал только мановения, чтобы бежать вперед, куда глаза глядят. Напротив того, пред лицо генерала предстал малый солидный, облеченный в синюю поддевку тонкого сукна, плотный обтягивавшую довольно объемистое брюшко, который говорил сдержанно резонным тоном и притом умел сообщить своей почтительности такой характер, как будто источником ее служило не грубое раболепство, а лишь сознание заслуг и высоты звания того лица, которому он, Антон, имел честь "докладывать". Это до того приятно поразило генерала, что и он, в свою очередь, не считая возможным отнестись к Стрелову в том презрительно-фамильярном тоне, в каком он вообще говорил с людьми низкого звания.

– Ну, Антон... как по отчеству – не знаю... – сказал он, сам, очевидно, смущенный необходимостью допущенной им уступки.

– Верельяныч, – спокойно ответил Стрелов.

– Ну, так вот, стало быть, Антон Велерьяныч, надобно нам ладком об делах поговорить!

– С великим моим удовольствием, ваше превосходительство! Дела вашего превосходительства я даже и сейчас очень хорошо знаю. Нехороши дела, ваше превосходительство! то есть, так нехороши! так нехороши!

– Затем, братец, я тебя и позвал. Поправить надо.

– Ваше превосходительство! как перед богом, так и перед вами! Поправку тут даже очень хорошую можно сделать! Одно слово – извольте приказать! Только кликнуть извольте: "Антон, мол, Верельянов!.." и коли-ежели...

– Ну да, вот этого-то я и хочу. Сам видишь, как я живу. Усадьба – не достроена; в сад войдешь – сухие прутья да ямы из-под овинов...

– На что хуже-с!

– А оброки между тем поступают плохо, земля – в убыток...

– Земля... в убыток! Помилуйте! Это даже удивительно для меня! – усомнился Антон и словно бы даже укоризненно покачал головой.

– И я, братец, удивляюсь...

– По-нашему, ваше превосходительство, так нужно сказать: не токма что убыток, а пользу должна земля принести! вот какое об этом деле мы рассужденье имеем.

– И я, брат, это рассужденье-то имею...

– Ваше превосходительство! позвольте вам доложить! Как же эта самая земля может убыток приносить, коли-ежели ей, можно сказать, от самого бога так определено, чтобы человек от нее пропитанье себе имел! Это точно, что по нынешнему времени все господа большую претензию имеют... Вот Толстопяттов господин или кандауровский барин – все они меня точно так же спрашивали: "Отчего, мол, Антон, землю нынче

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
работать – себе в убыток?" Однако, как осмотрел я всё как следует, и вижу: тут местечко полезное, там местечко, в другом месте – десятинка-с... Смотришь, десятинка да десятинка – ан, можно сказать, и пользу ссыкали!

Речь эта сильно пришлась по сердцу генералу. Он даже унынье с себя сбросил и несколько дней сряду ходил по усадьбе орлом. Стрелов в это время осматривал земельную дачу и каждый вечер докладывал о результате осмотра.

– Ну, дачка у вас, ваше превосходительство! – восхищался он, – такая дачка! такая дачка! И коли-ежели эту самую дачу да к рукам – и господи боже мой!

– Гм... стало быть, пользу можно получить?

– Позвольте вам, ваше превосходительство, доложить! Возьмите теперича к примеру хоша бы лес... что такое этот самый лес? Есть лес всякой-с; есть теперича дровяник, есть угольник, а есть, примерно, и строевой-с. Главная причина – как рассертировать. Ежели теперича дрова, скажем примерно, к дровам, угольник – к угольнику, а строевой, значит, чтобы особо... сколько теперича от одного угольника пользы получить можно! А при сем сучья. Крестьянину, значит, отопиться нужно – где он возьмет? А земля-то, ваше превосходительство! По ней ведь и опять лес пойдет! Места же здесь вольные, боровые...

– Так ты полагаешь: пилить самим?

– Полагаю, что так бы следовало. Потому, ежели теперича леснику на свод продать, он первое дело – лес затопчет и загадит, и второе дело – половинной цены против настоящих барышов не даст!

– Что же, брат, с богом!

Через десять дней Стрелов окончательно поселился в генеральской усадьбе в качестве главноуправляющего.

* * *

Устроившись таким образом, Стрелов счел первым долгом освободить генерала от всяких "беспокойств". С помощью бесчисленных мелких предупредительностей он довел генерала до того, что последний даже утратил потребность выходить из дому, а не то чтобы делать какие-нибудь распоряжения. Но что всего важнее, генерал сейчас же почувствовал непосредственный результат стреловского управления: от него перестали требовать денег на расходы по ведению полевого хозяйства. Обработка земли не только не приносила убытка, но в самое короткое время дала 57 Г копеек барыша.

– Ты, братец, волшебник! – воскликнул генерал вне себя от изумления.

– Все силы-меры, ваше превосходительство! – скромно ответил Стрелов, – тут урвешь, там сократишь... а ваше превосходительство изволите говорить: "волшебник-с!" Да кабы мы волшебствами могли заниматься, так ли бы мы перед вашим превосходительством заслужили!

И действительно, волшебства никакого не было, а просто-напросто Стрелов покрывал расходы по полевому хозяйству из доходов по лесной операции. Генерал этого не видел, да и некому было указать ему на это волшебство, потому что и относительно окружающих Стрелов принял свои меры. Весь служебный персонал он изменил, Иону с утра до вечера держал в полубесчувственном от вина положении, а с Агнушкой прямо вошел в амурные отношения, сказав ей:

– Теперича, ежели вы его превосходительство беспокоить будете, так у нас в городе девиц очень довольно на ваше место найдется.

В первый раз, после мучительных двух лет, генерал почувствовал себя спокойно. Конечно, это было спокойствие очень однообразное, которое скоро бы надоело генералу, несмотря ни на какие ухищрения Стрелова, если б не нашлось подходящего предмета, который вполне поглотил все внимание старика. Этим предметом явились пресловутые беспорядки 1862 года. С самодовольством вычитывал генерал из газет загадочные, но захватывающие дух известия, и торжествуя улыбался при мысли, что все это он предвидел и предрекал еще в то время, когда писал свой проект "но

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов "Тесковник ежели". Сын тоже слал ему известие за известием: молодой человек шел в гору и подробно уведомлял об увольнении, перемещениях и назначениях. Все говорило генералу, что горячка новшеств должна в скором времени стихнуть.

Сверх того, Петенька писал еще о каких-то нигилистах, присовокупляя при этом, что в Москве выработывается проект исследования корней и нитей. Генерал приосанился и запомнил слово: "нигилист". Быть может, ему даже показалось, что его время еще не прошло, что об нем вспомнят, его призовут. Тогда это многим казалось. Такое было это время, что всякий шлющийся человек мог мысленно дерзать. Генерал начал даже готовиться по секрету к какой-то важной миссии, как бы опасаясь, чтоб его не застали врасплох. С этою целью он начал сочинение, которому, по бывшему уже примеру, присвоил название: "О повреждении нравов" и которое должно было служить, так сказать, готовою программой на случай, если его "призовут".

Сочинение писалось в разлинованной тетрадке и по-старинному разделялось на параграфы, причем сбоку обозначалось кратко содержание каждого. Ежедневно прибавлял он по одному параграфу, приблизительно в пять строк. Параграф: "В чем заключается современное повреждение?" – гласил так: "Всякому времени особое повреждение свойственно; так, при блаженной памяти императрице Екатерине II введены были фижмы и господствовал геройский дух, впоследствии же к сему присоединилась склонность к военным поселениям. Нашему времени свойственное повреждение – есть нигилизм". В параграфе: "Видимое происхождение нигилизма и тайные предтечи его" – говорилось: "Явное месторождение нигилизма открыто недавно в Москве, на Цветном бульваре, в доме Селиванова, в гостинице "Крым", в особом оной отделении, именуемом "Ад"; тайные же предтечи оною уже с 1856 года изливали свой яд в той же Москве, в редакции некоторого поврежденного издания, впоследствии принесшего в том раскаяние". В параграфе: "В чем оно повреждение состоит?" – значилось: "В отвержении промысла божия и пользы, предержащими властями приносимой. Равным образом: в непочтении, неуважении, разрушении и неповиновении. Сущее отрицают, крепкое шатким почитают, а несущее и некрепкое за сущее и крепкое выдают. Нелепость сего очевидна". В параграфе: "Как в сем случае поступать?" – объяснялось: "По усмотрению. Но ежели бы сие до такового лица относилось, которое, быв некогда опытно, а потом в отставке, внезапно подверглось призыванию с облечением доверия, то, кажется, лучшее в сем случае было бы поступить так: разыскав корни и нити и отделив вредные плевелы от подлинных и полезных класов, первые исторгнуть, вторым же дать надлежащий по службе ход".

Одним словом, в жизнь генерала всецело вторгнулся тот могущественный элемент, который в то время был известен под именем борьбы с нигилизмом.

Тем не менее сначала это была борьба чисто платоническая. Генерал один на один беседовал в кабинете с воображаемым нигилистом, старался образумить его, доказывал опасность сего, и хотя постоянно уклонялся от объяснения, что следует разуметь под словом сие, но по тем огонькам, которые бегали при этом в его глазах, ясно было видно, что дело идет совсем не о неведомом каком-то нигилизме, а о совершившихся новшествах, которые, собственно, и составляли неизбывную обиду, подлежащую генеральскому отмщению.

Впрочем, такое платоническое отношение не могло быть продолжительно. Явилась потребность осуществить бескровный идеал нигилиста в сколько-нибудь подходящем живом образе, и генерал был отменно доволен, когда потребность эта нашла себе удовлетворение в лице его мелкопоместного соседа, Анпетова.

Анпетов был малый лет двадцати семи, получивший очень ограниченное образование, но неглупый по природе и, главное, очень сочувствующий. Когда случился тот перелом, который поверг генерала в уныние, Анпетов, напротив того, как-то особенно закопошился: он разъезжал веселый по селам и весям, обнимался, целовался, плакал, хохотал и в заключение даже принял безмездно место письмоводителя при мировом посреднике. В то время подобных людей не причисляли к лику нигилистов, но считали опорами и делали им лестные предложения. Но Анпетов до того был зарыт в толпе, что даже тогдашнее сильное движение не выдвинуло его вперед, как выдвинуло, например, Луку Кисловского, добившегося, а son corps defendant [спасая шкуру (франц.)], чести служить волостным писарем. Анпетов по-прежнему остался в толпе, заявляя о себе одним лишь ликованием и нося в своем чистом сердце только одну гражданскую зависть – к Луке Кисловскому. Он из первых покончил с крестьянами выкупною сделкой, что, впрочем, доставило ему больше радости, нежели материальных выгод. Подобно большинству энтузиастов того

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
времени, он с жаром обратился к вольнонаемному труду и, подобно всем, повел это дело без расчета и с первого же раза осекся. Однако это не подействовало на него одуряющим образом: он не бросился вон из "своего места" и не осовел, запершись в четырех стенах полуразвалившейся хранины, в которой предки его с незапамятных времен истребляли ерофеич. В нем было чересчур много потребности жить, чтоб запереться, и он слишком любил "свое место", чтобы бежать из него в уездный или губернский город на службу. Он любил приволье, любил охоту, любил лес, реку, луг, любил народ. Вследствие всего этого, не желая умереть с голода, он сломал ветхие отцовские хоромы, на место их вывел просторную избу и сделался сам, в одно и то же время, и землевладельцем, и работником. Само собою разумеется, что во всем этом не было ни тени намека ни на социализм, ни на коммунизм, о которых он, впрочем, и понятия не имел, но тем не менее поступок его произвел сенсацию.

Внешним поводом для этой сенсации послужило то, что дворянин "занимается несвойственными дворянскому званию поступками"; действительною же, внутреннею причиною служило просто желание к чему-нибудь придраться, на ком-нибудь сорвать накопившее зло. Вся окрестность загудела; дворяне негодовали, мужики-торгаши посмеивались, даже крестьянская масса - и та с каким-то пренебрежительным любопытством присматривалась.

Генерал взглянул на Анпетова сначала с недоумением; но потом, припомнив те тысячи досад, которые он в свое время испытал от одних известий о новаторской рьяности молодого человека, нашел, что теперь настала настоящая минута отомстить. Как-то вдруг вырвалось из уст его восклицание: "Ну, вот! ну, да! ну, "он!" Он, то есть нигилист, то есть то загадочное существо, которое, подобно древнему козлу очищения, обязывалось понести на себе наказание за реформаторскую прыткость века. Сейчас же генерал охарактеризовал Анпетова именем "негодяй", и с тех пор это прозвище вошло в воплинской усадьбе в употребление вместо собственного имени.

Трудно представить себе, что может произойти и на что может сделаться способен человек, коль скоро обиженное и возбужденное воображение его усвоит себе какое-нибудь убеждение, найдет подходящий образ. Генерал глубоко уверовал, что Анпетов негодяй, и сквозь призму этого убеждения начал строить его жизнь. Само собою разумеется, что это был вымышленный и совершенно фантастический роман, но роман, у которого было свое незыблемое основание и который можно было пополнять и варьировать до бесконечности.

Во всяком случае, все это наполняло бездну праздного времени и, в то же время, окончательно уничтожало в генерале чувство действительности. Стрелов понял это отлично и с большим искусством поддерживал фантастическое настроение генеральского духа.

Каждое утро генерал, сидя за чаем и попыхивая трубку, машинально выслушивал рапорт Стрелова о вчерашних операциях и тотчас же свертывал на любимый предмет.

- Ну, а как... негодяй?

В ответ Антон, не то скорбно, не то как бы едва воздерживаясь от смеха, махал рукой.

- Новенькое что-нибудь начудил?

- Дележка у них, этта, была! - говорит Стрелов, словно умирая от смеха.

- И что ж?

- Вычисление делал. Это, говорит, мне процент на капитал, это - моя часть, значит, как хозяина, а остальное поровну разделил. Рабочие даже сейчас рассказывают - смеются.

- Однако... это важно! это даже очень важно!

- Помилуйте, ваше превосходительство! нестоящий это совсем человек, чтобы вам, можно сказать, так об нем беспокоиться!

- Нет, мой друг, не говори этого! не в таком я звании, чтоб это дело втуне оставить! Не Анпетов важен, а тот яд, который он разливает! вот что я прошу тебя

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
понять!

– Яд – это так точно-с! Отравы этой они и посеяли между черняди довольно много
число распространили. Довольно, кажется, с ихней стороны было уж низко из одной
чашки с мужиками хлебать – так нет, и этого мало показалось!

– А что еще?

– Помилуйте! позвольте вам доложить! Теперича сами с сохой в поле выходят,
заодно с мужиками все работы исполняют!

– Негодяй!

– Истинное, ваше превосходительство, вы это слово сказали. Именно не иначе об
них теперича заключить можно!

– Да ты видел?

– Самолично-с. Вечер иду я из Петухов, и он тоже за сохой домой возвращается.
Только я, признаться, им камешок тут забросил: "Что, говорю, Петр Иваныч, видно,
нынче и баре за соху принялись?" Ну, он ничего – смолчал.

– Негодяй! – почти задавленным голосом произносил генерал.

– А все-таки, позвольте вам доложить: напрасно себя из-за них беспокоить
изволите!

– Нет, мой друг, это слишком важно! это так важно! так важно! Знаешь ли ты, чем
такие поступки пахнут?

– Оно, конечно, ваше превосходительство, большая смута через это самое между
черняди идет!

– Ну, вот видишь ли!.. Значит, и простой народ... крестьяне... как они на эти
поступки смотрят?

– Которые хорошие мужички – ни один не одобряет. Взять хоть бы
Лександра-телятник или Пётра-бумажник – ни один, то есть, и ни-ни! Ну, а
промежду черняди – тоже не без сумления!

– А что в Писании сказано? "Пасите овцы ваша" – вот что сказано! Ты говоришь:
"Не извольте беспокоиться", а кто в ответе будет?

– В ответе – это так точно, другому некому быть! Ах! только посмотрю я, ваше
превосходительство, на чины на эти! Почет от них – это слова нет! ну, однако, и
ответу на них лежит много! то есть – столько ответу! столько ответу!

– Кому много дано, с того много и взыщется. Так-то, мой друг!

– Это так точно, ваше превосходительство. Только коли-ежели теперича все
сообразить...

Стрелов махал рукой и умолкал, как бы немея перед необъятностью открывавшихся
ему перспектив.

Так проходили дни за днями, и каждый день генерал становился серьезнее. Но он не
хотел начать прямо с крутых мер. Сначала он потребовал Анпетова к себе – Анпетов
не пришел. Потом, под видом прогулки верхом, он отправился на анпетовское поле и
там самолично убедился, что "негодяй" действительно пробивает борозду за
бороздой.

– Стыдно, сударь! звание дворянина унижаете! – крикнул ему Утробин, но так как в
эту минуту Анпетов находился на другом конце полосы, то неизвестно, слышал ли он
генеральское вразумление или нет.

Наконец генерал надумался и обратился к "батюшке". Отец Алексей был человек
молодой, очень приличного вида и страстно любимый своею попадьей. Он щеголял
шелковой рясой и возвышенным образом мыслей и пленил генерала, сказав однажды,

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
что "вера – главное, а разум – все равно что слуга на запятках: есть надобность
за чем-нибудь его послать – хорошо, а нет надобности – и так простоит на
запятках!"

Генерал любил батюшку; он вообще охотно разговаривал от Писания и даже хвалился начитанностью своей по этой части. Сверх того, батюшка давал ему случай припоминать об архиереях, которых он знал во времена своего губернаторства, и о том, как и кто из них служил заутреню в светлое Христово воскресенье.

– При мне у нас преосвященный Иракламвон [Празднуется двенадцатого июня. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрин.)] был, – рассказывал генерал, – так тот, бывало, по-военному, к двум часам и заутреню, и обедню отпоет. Чуть, бывало, певчие заезвываются: "а-а-э-э..." он сейчас с горнего места: "Распелись?!"

– Значит, скорое и светлое пение любил?

– Да, а вот преосвященный Памфалон [Празднуется семнадцатого мая. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрин.)] – тот, бывало, полчаса чешется да полчаса облачается, а певчие в это время: "а-а-а-а..."

– Торжественность, значит, предпочитал?

Одного не любил генерал в отце Алексее: что он елеем волосы себе мазал. И потому, поговорив об архиереях, всегда склонял разговор и на этот предмет:

– И охота тебе, батя, маслицем этим...

– Прошу, ваше превосходительство, извинить: еще времени не избрал помады купить!
– оправдывался отец Алексей.

Однажды из-за этого обстоятельства даже чуть не вышло между ними серьезное столкновение. Генерал не вытерпел и, следуя традициям старинной русской шутовости, послал отцу Алексею копытной мази. Отец Алексей обиделся...

Вот к нему-то и обратился генерал в настоящем случае.

– Слышал, батя?

– Что изволите, ваше превосходительство, приказать?

– Про "негодяя"?

– Недоумеваю...

– Про Анпетова, про Ваньку Анпетова говорю! да ты, никак, с попадейкой-то целуясь, и не видишь, что у тебя в пастве делается?

– У господина Анпетова бываю и даже ревнивым оком за ним слежу. До сих пор, однако, душепагубного ничего не приметил. Ведет себя добродушно, к церкви божией нельзя сказать, чтоб особливо прилежен, но и неприлежным назвать нельзя.

– Землю пашет! – прогремел генерал, вдруг вытянувшись во весь рост, – сам! сам! сам с сохой по полю ходит! Это – дворянин-с!

Батюшка потупился. Он и сам приметил, что Анпетов поступает "странно некак", но до сих пор ему не представлялся еще вопрос: возбраняется или не возбраняется?

– Дворянин-с! – продолжал восклицать между тем генерал. – Знаешь ли ты, чем это пахнет! Яд, сударь! возмущение! Ты вот сидишь да с попадейкой целуешься; "добродушно" да "душепагубно" – и откуда только ты эти слова берешь! Чем бы вразумить да пристыдить, а он лукошко в руку да с попадейкой в лес по грибы!

Решили на том, чтоб идти отцу Алексею к Анпетову и попробовать его усомнить. Эту миссию выполнил отец Алексей в ближайший воскресный день, но успеха не имел. Начал отец Алексей с того, что сказал, что всегда были господа и всегда были рабы.

– А теперь вот рабов нет! – ответил Анпетов.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– И теперь они есть, только в сокровенном виде обретаются, – продолжал усовещивать отец Алексей.

– Ты, батя, натошак, должно быть – оттого вздор и городишь! – заметил на это Анпетов и затем отпер шкап, вынул оттуда полуштоф и налил две рюмки. – Выпьем!

Одним словом, кончилось ничем, и батюшка, придя в тот же вечер к генералу, заявил, что Анпетов, даже по многому увещанию, остался непреклонен.

Тогда генерала вдруг осенила мысль, что батюшка в одно из ближайших воскресений произнесет краткое поучение, направленное против Анпетова, которое взялся написать сам генерал.

И действительно, поучение было написано и гласило следующее:

"Давно собирался я, братия, побеседовать с вами об отце лжи, но доселе не представлялось удобного к тому случая. Ныне же случай сей несомненно представился, ибо между нами появился один из ревностнейших аггелов его. Не думайте, однако, чтоб он имел вид унылый и душепагубный, свойственный дьяволу, обретающемуся в первобытном состоянии. Наш аггел не таков; он не имеет ни крыл темных, ни копыт громкозвонных, ни турьего рога на челе, ни раскаленного уголья в гортани своей. Он носит вид обыкновенного человека, с тем лишь отличием, что во внутренностях его сокрыт ад. Или проще: это не человек, но человекоад. Человек по наружному виду, но ад по виду внутреннему. Воистину человекоад, ибо ни о чем другом не мыслит, ничего другого не делает, как только сеет плевелы. Сеет на земле грехопадения, срезает серпом умерщвления и сыпает зерна в житнице погубления.

Но, сказав вам достаточно о появившемся между нами человекоаде и прелестях его, я еще не открыл вам его самого. Кто же ты, столь часто упоминаемый мной человекоад? Кто ты, носящий в сердце яд, а руками сеющий измену? Ты – сын почтенного коллежского регистратора, с честью служившего заседателем в земском суде и потом почившего от трудов в доме отцов своих! Ты – сын достойнейшей родительницы, которая вскормила и воспитала тебя, отнюдь не думая, что у почтеннейшей груди ее вскармливается и воспитывается младенец, которому суждено сделаться ближайшим советником отца лжи! Ты – юноша, на казенный счет, по причинам от начальства не зависевшим, не кончивший курса в среднем учебном заведении и на казенный же счет взлелеявший в сердце своем семя разврата! Почтенные и добродетельные родители – и душепагубный сын! попечительное начальство – и результат сей благопопечительности... ужаснейший человекоад! Размыслим о сем, братия, и поскорбим!"

Отец Алексей даже похолодел, когда генерал прочитал ему произведение своей фантазии. Но с генералом спорить было мудрено, а заставить его добровольно отступить от однажды принятого решения – и совсем невозможно.

Два воскресенья сряду батюшка сказывался больным и не служил обедни, но на третье такая отговорка оказалась уже неудобною. Так как по всей окрестности разнесся слух, что генерал, устами отца Алексея, будет обличать Анпетова, то народу в церковь собралось видимо-невидимо. Явился и сам Анпетов. Генерал встал на возвышенное место и обводил орлиным взглядом толпу. Но вот прочитана была заамвонная молитва. Анпетов уже вытянул шею, чтобы принять публичный реприманд, все вдруг притихло... увы! аналоя не появилось! Батюшка не решился...

После обедни Анпетов взшел в генеральский дом, пробрался в кабинет к генералу и сказал:

– Если б вы были умны, то вместо того чтобы полемизировать со мной в церкви, вы прогнали бы вора Антошку, а меня взяли бы на его место в управляющие. Я бы вас не обкрадывал.

– Вон! – заревел на него не своим голосом генерал.

* * *

Покуда генерал боролся с Анпетовым и мнил на нем отомстить поражение старых порядков, Антон Стрелов распоряжался в имении полным господином. Ни Ионы, ни

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Агнушки в генеральском доме уже не было. Иону генерал определил в к - ский
уездный суд протоколистом, на имя Агнушки - купил в К. дом. Место Агнушки заняла
дородная и краснощекая девица Евпраксея, которую Стрелов самолично разыскал и
представил. Сам Антон к этому времени раздобыл так, что стал почти неузнаваем.
Обличье у него сделалось настоящее купеческое; широкое и скулистое от природы
лицо налилось; серые, некогда пронзительные глаза слегка заплыли. Ездил он по
делам в купеческой тележке, на породистом кореннике-иноходце, которого генерал
подарил ему в ознаменование победы над сердцем девицы Евпраксеи. Но что всего
важнее, в течение года с небольшим он представил генералу до десяти тысяч рублей
денег.

Генерал не справлялся, откуда и каким образом пришли к нему эти деньги: он был
доволен. Он знал, что у него есть где-то какие-то Петухи, какое-то Разуваево,
какая-то Летесиха и проч., и знал, что все это никогда не приносило ему ни
полушки. Кроме того, он давно уже не имел в руках разом столько денег. Он был
так доволен, что однажды даже, в порыве гордыни, позволил себе сказать:

- Антон, проси у меня, чего хочешь!

Но на этот раз Антон еще не осмелился. В ответ на приглашение генерала он только
повалился ему в ноги и произнес:

- Ничего мне, окромя спокойствия вашего превосходительства, не надобно!
коли-ежели ваше превосходительство... ах, ваше превосходительство!

И был так при этом взволнован, что генерал, чтоб успокоить его, трикраты с ним
облобызался.

Но через короткое время Антон одумался. Однажды, принеся генералу выручку,
полученную за проданный лес, он скромно доложил, что имеет попросить у его
превосходительства милости.

- Говори, мой друг! - благосклонно ответил генерал.

- Не будет ли вашей милости это самое местечко мне уступить?

Антон произнес эти слова робко, как будто ему давили горло. При этом он взмахнул
глазами на "Мысок", на противоположном берегу реки, где и до сих пор стоял
постоялый двор Калины Силантьева. Генерал словно очнулся от сна.

- А как же Калина? - спросил он.

- Калина Силантьич довольно попользовались. А при сем они и на деревне оседлость
имеют - могут, коли-ежели, и там свою торговлю производить.

- Гм... да... стало быть, Калина...

- А между прочего, ежели такое их желание будет, чтоб беспрременно на сем месте
остаться, так они и от меня могут онное кортомить!

- Что!! так ты купить, значит, "Мысок" задумал?! - вскочил генерал словно
ужаленный.

- Коли-ежели ваша милость...

- На-тко!

И генерал сделал такой жест, вследствие которого Антошка на цыпочках убрался
восвояси, наклонив голову, словно бы избегая удара.

Целую неделю потом Стрелов ходил точно опущенный в воду и при докладе генералу
говорил печально и как-то особенно глубоко вздыхал. В то же время девица
Евпраксея сделалась сурова и неприступна. Прочая прислуга, вся подобранная
Стреловым, приняла какой-то особенный тон, не то жалостливый, не то
пренебрежительный. Словом сказать, в доме воцарился странный порядок, в котором
генерал очутился в роли школьника, с которым, за фискальство или другую
подлость, положено не говорить.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Одинок ходил он по комнатам барского дома и как-то фаталистически влекся к
балконной двери, из которой как на ладони виднелся "Мысок" и постоянный двор
Калины Силантьева. Как будто он что-то смутно предчувствовал. Он видел
отпряженные телеги, видел восьмидесятилетнего Калину, который сидел на
завалинке, грелся на солнце и чертил что-то палкой на земле; видел целое
поколение здоровых и кряжистых Калинычей, сновавших взад и вперед; потом
переносил свою мысль на Агнушку, на Иону, даже на Анпетова... и никак не мог
освободиться от предчувствия.

В одно прекрасное утро он получил письмо от Петеньки, которому писал о "дерзком
поступке" Антона (Стрелов и с своей стороны написал Петеньке слезное письмо).

"Не понимаю, - писал Петенька, - из-за чего вы кипятитесь на Антона. По моему
мнению, это единственный человек, который стоит au niveau de la position [на
высоте положения (франц.)]. Он очень хорошо понял, что нам нужно продавать,
продавать и продавать, то есть обращать в деньги. Все эти Петухи, Разуваевы и
проч., которые не приносили вам ни обота, - он их утилизировал и доставил вам
деньги. Почему же "Мысок" святее их, если Антон за него хорошую цену дает? Вы
пишете, что "Мысок" прямо против окон усадьбы, - ну, и пусть будет прямо против
окон усадьбы. Если вы боитесь, что Стрелов будет перед вашими глазами живые
картины представлять, так насчет подобных случайностей можно в купчей крепости
оговорить. А что касается до того, что "жаль Калину обидеть", то это просто
смешно. Нас никто не жалеет, а мы весь мир будем жалеть - когда же этим
великодушным будет конец!"

Прочитав это письмо, генерал окончательно поник головой. Он даже по комнатам
бродить перестал, а сидел, не вставая, в большом кресле и дремал. Антошка
очень хорошо понял, что письмо Петеньки произвело аффект, и сделался еще мягче,
раболепнее. Евпраксея, с своей стороны, прекратила неприступность. Все люди
начали ходить на цыпочках, смотрели в глаза, старались угадать желания.

Однажды утром, при докладе, Антон опять осмелился.

- Так как же насчет "мыска", ваше превосходительство? какое распоряжение сделать
изволите? - спросил он, переминаясь с ноги на ногу.

- Гм... это насчет того, что ли, что ты купить его хочешь?

- Так точно, ваше превосходительство. А уж как бы я за вас бога молил... уж так
бы!

Генерал потупил глаза в землю и молчал.

- А ежели что насчет услуги касается, так уж на что способнее! Только кликните
отселе: Антон! а уж я на том берегу и слышу-с!

- Да... вот и сын тоже...

- Одобряют-с? ну, хоша за Петра Павлычево здоровье богу помолим, ежели теперича
у родителя заслужить не сумели...

- Вон с моих глаз, негодяй!

.....

Тем не менее недели через две купчая была совершена, и притом без всяких
ограничений насчет "живых картин", а напротив, с обязательством со стороны
генерала оберегать мещанина Антона Валерьянова Стрелова от всяких вступщиков. А
через неделю по совершении купчей генерал, даже через затворенные окна своей
усадьбы, слышал тот почти волчий вой, который подняли кряжистые сыны Калины,
когда Антон объявил им, что имеют они в недельный срок снести постоянный двор и
перебраться, куда пожелают.

Стрелов имел теперь собственность, которая заключалась в "мыске", с прибавком
четырёх десятин луга по вопле. За все это он внес наличными деньгами пятьсот
рублей, а купчую, чтобы не ехать в губернский город, написали в триста рублей и
совершили в местном уездном суде. При этом генерал был твердо убежден, что

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
продал только "Мысок", без всякой прибавки луговой земли.

Антон сделал несомненно выгодное дело. Место было бойкое; к тому же как раз в это время объявили в ближайшем будущем свободную продажу вина.

Мало-помалу отношения выяснились. Зимой 1862/1863 года Антон, "для-ради признательности", еще оставался у генерала, но уже исподволь заготавливал лес для построек. Когда же окончательно сказали вину волю, то он не вытерпел и явился за расчетом.

– Куда? – снова как бы проснулся генерал.

– Послужили-с, – кротко ответил Стрелов, стоя на благоразумной дистанции.

Генерал бросился было вперед, но Антон уже не на цыпочках, а полным ходом ушел из дому, а затем и совсем из усадьбы.

Генерал попробовал не расчесть с Антоном, но расчелся; затем он попробовал потребовать от него отчета по лесной операции; но так как Антон действовал без доверенности, в качестве простого рабочего, то и в требовании отчета получен был отказ. В довершение всего, девица Евпраксея сбежала, и на вопрос "куда?" генералу было ответствовано, что к Антону Валерьянычу, у которого она живет "вроде как в наложницах".

С начала марта, несмотря на не вполне стаявший снег, на той стороне реки уже кипела необычайная деятельность. Антошка выводил какое-то длинное здание с двумя крылечками, из которых одно вело в горницу, а другое – в закрытое помещение, вроде амбара. Рядом продолжал возвышаться старый постоялый двор, который Стрелов за бесценок купил у Калины. В самое светлое Христово воскресенье в новом здании открыт был кабак, и генерал имел случай убедиться, что все село, не исключая и сынов Калины, праздновало это открытие, горланя песни, устраивая живые картины и нимало не стесняясь тем, что генерал несколько раз самолично выходил на балкон и грозил пальцем.

Но всего больше поразила генерала картина, представившаяся его глазам в последовавший затем Петров день. Вставши еще задолго до обедни, он увидел, что на самом лучшем его лугу собрался какой-то людской сброд и косит его. Антон Стрелов ходит между рядами косцов с полштофом в одной руке и стаканом в другой и потчует вином; а Проська раздает куски пирога. Вне себя, генерал попробовал послать рабочих, чтоб унять мерзавцев, но был отбит. Тогда он отправился в уездный город и с изумлением, почти дошедшим до параличного удара, узнал, что он сам, вместе с "Мыском", продал Антошке четыре десятины своего лучшего луга по Вопле...

* * *

С этих пор жизненная колея старого генерала начала видимо суживаться. Тщетно слал он письмо за письмом к Петеньке, описывая продрозостные поступки "негодяя" (увы! с Анпетова он уже перенес эту кличку на Стрелова!): на все его жалобы сын отвечал одними сарказмами. "Извините меня, милый папенька (писал он), но вы, живучи в деревне, до того переплелись со всяким сбродом, что вещи, не стоящие ломаного гроша, принимают в ваших глазах размеры чего-то важного". Или: "Пожалуйста, милый папенька, не волнуйте меня вашими дрызгами с Стреловым, иначе я, право, подумаю, что вы впадаете в детство". Письма эти постоянно сопровождались требованием денег, причем представлялись такие убедительные доказательства необходимости неотложных и обильных субсидий в видах поддержания Петенькиной карьеры, что генерал стонал, как раненый зверь.

К счастью, генерала не оставила благородная страсть к литературным упражнениям; но и тут случилось нечто неожиданное, доведшее и это развлечение до самых крайних размеров. Надумавши (чтобы забыть от преследовавшего его представления о "негодяе") писать свои мемуары, он с удивлением заметил, что все позабыл. От целого славного прошлого в его памяти осталось что-то смутное, несвязное, порою даже как будто неожиданное. То учебный сигнал, то белая лошадь, то аллеи почтовых дорог, то жидовская корчма, то денщик Макарка... И все это без малейшей последовательности и связано только фразой: "И еще припоминаю такой случай..." В заключение он начал было: "И еще расскажу, как я от графа Аракчеева однажды благосклонною улыбкой взыскан был", но едва вознамерился рассказать, как вдруг

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik покраснел и ничего не рассказал. В одной коротенькой главе, в три страницы разгонистого письма, уместилась вся жизнь генерала Утробина, тогда как об одном пятнадцатилетнем славном губернаторстве можно было бы написать целые томы. Он тем более удивился этому, что в то же самое время в "Русской старине" многие генералы, гораздо меньше совершившие подвиги, писали о себе без малейшего стеснения. Пришлось, оставив в покое "историю", прибегнуть к вымыслу, для чего он и выбрал форму притчей, наиболее подходящую к роду его дарования. Но и притчей он написал в течение шести лет только две, которые здесь и приводятся целиком.

I. ПРИТЧА О НЕКОТОРОМ НЕОСТОРОЖНОМ ГЕНЕРАЛЕ

"Один генерал, служивший по гражданской части (впрочем, с сохранением военного чина и эполет), не быв никогда в лесу, пожелал войти вовнутрь оного. И будучи храбр от природы, решил идти в лес один, без свиты, но в мундире. Напрасно секретарь его упреждал, что в лесу том водятся волки, которые могут генерала растерзать; на все таковые упреждения генерал отвечал одно: "Не может этого случиться, чтобы дикие звери сего мундира коснулись!" И с сими словами отправился в путь. Что же, однако, случилось? прошел один день - генерала нет; прошел другой день - опять нет генерала; на третий день обеспокоенные подчиненные идут в лес - и что находят? обглоданный дикими зверьями генеральский остов, и при сем столь искусно, что мундир и даже сапоги со шпорами оставлены нимало не тронутыми.

Смысл сей притчи таков: и содержащее не всегда для содержимого защитой быть может".

II. ПРИТЧА О ДВУХ РАСТОЧИТЕЛЯХ: УМНОМ И ГЛУПОМ

"Некоторые два расточителя получили от дальних родственников в наследство по одной двадцатипятирублевой бумажке. Нимало не думая, оба решили невеликие сии капиталы проесть; но при сем один, накупив себе на базаре знатных яств и питий и получив, за всеми расходами, полтинник сдачи, сделал из купленного материала обед и со вкусом съел оный; другой же, взяв кастрюлю, наполнив оную водою и вскипятив, стал в кипятке варить наследственную двадцатипятирублевую бумажку, исполняя сие дотол, пока от бумажки не осталось одно тесто. И велико было его удивление, когда, испробовав от сего новоявленного варева, он нашел, что оно не токмо отменного, по цене своей, вкуса не имеет, но еще смердит по причине жира от множества потных рук, коими та бумажка была захватана.

Читатель! размысли, не имеет ли притча сия отношения к тем нашим реформаторам-нигилистам (увы! генерал все еще не мог забыть мировых посредников начала шестидесятых годов!), кои полученное от отцов наследие в котле переформируют варят, но варевом сим никому удовольствия не делают, а токмо смрад!"

Но занятия эти не наполняли и миллионной доли той бездны досуга, которая оставалась в распоряжении генерала. Он сделался апатичен, брюзглив, почти близок к разрушению. Прежде он был консерватор, теперь - постоянно смешивал консерваторов с нигилистами и как-то загадочно говорил: давно пора! Прежде он был душою уездной охранительной оппозиции, теперь - только щелкал языком, когда ему рассказывали о новых реформаторских слухах. Все помнили его гордую и смелую позу в тот момент, когда катастрофа, несмотря на все контропрожекты, явилась совершившимся фактом. "Сгною подлецов во временнообязанных, а на выкуп не пойду... нет! никогда!" - воскликнул он тогда - и что же? теперь он не только пошел на выкуп, но и вынужден был совершить его "по требованию одного владельца"...

Все его оставили, и он не мог даже претендовать на такое забвение, а мог только удивленными глазами следить, как все спешит ликвидировать и бежать из своего места. Оставались только какие-то мрачные наемники, которым удалось, при помощи ненавистных мужиков, занять по земству и мировым судам места, с которыми сопряжено кое-какое жалованье.

А Стрелов между тем цвел. Он вписался в купцы, женился на молодой купеческой дочери и выглядел совершенно природным купцом. Старого постоянного двора уже не было, на месте его возвышался полукаменный, двухэтажный дом, в верхнем этаже

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik которого помещался сам хозяин, а внизу – его многочисленные приказчики и рабочие. Деятельность его кипела. Он торговал кабаками, рощами, скупал гурты и проч. До десяти кабаков и столько же лавочек со всяким крестьянским товаром в окрестностях Воплина держали все население в кабале. Постепенно опережаясь, Стрелов начал скупать земли и заводить хутора.

Ничего легкомысленного, напоминавшего прежнюю, пущенную из лука стрелу, не осталось в этом человеке. Даже речь его изменилась. Прежде он говорил торопко, склонив голову набок и непрерывно озираясь по сторонам, как будто осведомляясь, не хочет ли кто дать ему сзади треуха по затылку. Теперь он выпускал слова точно жемчуг, мазал, уснащал речь околичностями, но так, что это было не смешно, а казалось как бы принадлежностью высокого купецкого слога. Он не покинул русской одежды, но последняя, особенно в праздничные дни, глядела на нем так щеголевато, что никому не приходило даже в голову видеть его в немецком неуклюжем костюме. Это был в полном смысле слова русский бель-ом: белый, рыхлый, с широким лицом, с пушистою светло-русою бородкой и с узенькими, бегающими глазами. Любо было посмотреть, как он, нарядившись в синий тонкого сукна кафтан, в купецком шарабане, катил в воскресенье с разряженною в пух женой в воплинскую церковь, сам правя откормленным иноходцем, старинным генеральским подареньем. Генерал постоянно бледнел, когда видел этого коня, привязанного на время обедни к церковной оgrade. Но делать было нечего, потому что Стрелов представлял уже силу. Мужики ломали перед ним шапки даже поспешнее, чем перед генералом, и считали за счастье бежать к нему, если он поманит кого пальцем. Сам батюшка постепенно привык смотреть на Стрелова, как на благонадежнейшего сына церкви, и по окончании обедни всегда высылал ему с дьячком просвиру.

При всей этой благополучной обстановке была, однако ж, язва, которая точила существование Стрелова. Этою язвой была господская воплинская усадьба. При воспоминании об ней фантазия его болезненно разыгрывалась. Там было приволье, был парк, была какая-то особенная прохлада в тенистых аллеях. Здесь, в этой низине, несмотря на все довольство, он все-таки – пес, а настоящий барин все-таки тот, который сидит там, наверху воплинской кручи, в недостроенном доме, среди признаков геологического переворота. И только он, сидящий там, имеет законное основание считать себя властелином окрестности, по праву, издавна признанному, а не купленному при содействии кабаков, и только он же всегда был и будет подлинным сыном церкви, а не нахальным пришлецом, воровски восхитившим не принадлежащее ему звание.

И он тосковал, выходил в сумерки любоваться на барский дом, рассчитывал на пальцах и втайне давал себе клятву во что бы то ни стало быть там.

Таково было положение дел на Вопле, когда, наконец, давно желанный и ожидаемый Петенька приехал к отцу.

Прошло уже лет шестнадцать с тех пор, как он не бывал в Воплине, и в течение этого времени он успел значительно пойти кверху. Уже года четыре он нес на плечах своих генеральский чин, но, к сожалению, я должен сознаться, что он нес его, как раб лукавый, постоянно вводящий в заблуждение благодеющее ему начальство.

Увы! я не могу скрыть, что наше неустойчивое во всех отношениях время выработало особенную породу чиновников-карьеристов, которые хотя прикидываются преданными, но, в сущности, никакой любви к начальству не питают. Эти люди обладают чрезвычайным чутьем относительно мелочей жизни и замечательною подвижностью, которая позволяет им везде попадаться в глаза, так сказать, с оника. С проницательностью, достойной лучшей участи, они намечают "человека судьбы", приснащаются к нему, льстят, изучают его характер и иногда даже разделяют колебания и невзгоды его карьеры... разумеется, если есть уверенность, что "человек судьбы" сумеет вынырнуть вновь. Если "человек судьбы" либеральничает – они захлебываются от либерализма, если "человек судьбы" впадает в консервативное озлобление – они озлобляются вдвое. Шалопаи по натуре и по воспитанию, они никогда не несут никакой деятельной службы, и потому постоянно состоят в качестве бессменных паразитов при административном механизме и принимают деятельнейшее участие во всех канцелярских интригах. Кроме того, они обладают небольшим запасом общих мест и взглядов, которые, при неуклонном повторении и благодаря современному оскудению, принимаются за что-то действительно похожее на некоторый нравственный и умственный фонд. Я знал, например, много таких карьеристов, которые, никогда не читав ни одной русской книги и получив

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik научно-литературное образование в театре Берга, так часто и так убежденно повторяли: "la litterature russe - parlez moi de Га!" [не говорите мне о русской литературе! (франц.)] или "ah! si l'on me laissait faire, elle n'y verrait que du feu, votre charmante litterature russe!" [ах, будь это в моей власти, я бы сжег ее, вашу очаровательную русскую литературу! (франц.)] - что люди, даже более опытные, но тоже ничего не читавшие и получившие научно-литературное образование в танцклассе Кессених [Танцкласс этот был знаменит в сороковых годах и помещался в доме Тарасова, у Измайловского моста. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)], не на шутку поверили им. И вот, благодаря какому-нибудь глупому, но вовремя попавшемуся на язык слову, эти паразиты далеко проскакивают вперед и даже со временем становятся на страже.

Но повторяю: они не имеют никакой серьезной преданности к своим начальникам и благодетелям. Напротив того: бывали примеры самой черной неблагодарности и изумительного гнусного предательства...

Я не виню начальства за то, что оно не всегда провидит в сердцах подобных людей. Во-первых, оно обременено высшими государственными соображениями, а во-вторых - оно не всевидяще. Перед глазами его мелькают молодые и цветущие здоровьем люди, которые ничего другого не являют, кроме небрежливой готовности, - и это, разумеется, нравится. Конечно, тут есть немножко пристрастия ("уж сколько раз твердили миру" и т.д.), но пристрастия совершенно естественного. Естественнее брать живой административный материал между своими, в том вечно полном садке, где во всякое время можно зачерпнуть "дакающего человека", нежели в той несоследимой массе, о которой известно только то, что она не ведаёт никакой дисциплины, и которая, следовательно, имеет самые сбивчивые понятия о "тоне", представляющемся в данную минуту желательным. Последнее и хлопотливо, и рискованно. Хлопотливо - потому что приходится убеждать, разговаривать, что замедляет течение дел. Рискованно - потому что можно ждать иронического отношения. Тогда как свой человек, прямо животрепещущим вынутый из садка, ни малейших хлопот не представляет (только мигни - и он готов!), кроме, конечно, возможного предательства... Но ведь к предательству мы уже так привыкли, что оно, так сказать, уже вошло в наш домашний обиход и даже название носит не предательства, а *savoir-vivre*'a [уменья жить(франц.)].

К таким именно обманывающим доверие начальства карьеристам принадлежал и Петенька Утробин. В 1860 - 1861 годах он был прогрессист; в 1862 году он поглядывал по сторонам и обнюхивал, чем пахнет; в 186* году - прямо объявил себя консерватором.

Петенька не шутя вознамерился сообщить блеск фамилии Утробиных. Уже в школе он смотрел государственным младенцем, теперь же, в тридцать пять лет, он прямо и не шутя мнил себя государственным человеком *en herbe* [в будущем (лат.)]. Носились слухи, что в ресторане Бореля, по известным дням, собирается какая-то компания государственных людей *en herbe* (тут были и Федя, и Сережа, и Володя, и даже какой-то жидок, которому в воображаемых комбинациях представлялась блестящая финансовая будущность), душой которой был Петенька Утробин и которая постоянно злоумышляла против установленных порядков. Там, за изящным обедом, обсуждались текущие правительственные распоряжения (*ou allons-nous!* [куда мы идем! (франц.)]) и развивались насущные государственные вопросы (*je ne vous dis que Га!* [о прочем умалчиваю! (франц.)]). В заключение, компания, закончив свои занятия, отправлялась в цирк или в театр Буфф.

Сам Петенька не готовил себя специально ни по какой части, но действовал с таким расчетом, чтоб быть необходимым всюду, где бы ни пришлось. Только военную, морскую и финансовую части признавал он стоящими вне его компетентности. Военную - потому что тут был уже кандидатом какой-то полководец, состоявший, в ожидании, на службе у некоего концессионера; морскую - потому что боялся морской болезни; финансовую - потому что не смел обойти жидка, у которого постоянно занимал деньги. Ко всем прочим частям он готовился неуклонно и каждую ночь, ложась спать, разрешал, хотя кратко, по одному государственному вопросу.

Вопрос: какое необходимо образование для высших классов?

Ответ: Классическое, ибо только высшие классы обладают необходимым для чтения Кошанского ("*Universus mundus*" ["весь мир" (лат.)]), мелькает в это время в его голове) досугом.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Вопрос: Какое необходимо образование для средних классов?

Ответ: Реальное, с таким, впрочем, расчетом, чтобы каждый был обучаем в пределах своей специальности, не вторгаясь в специальности других.

Вопрос: Какое наиболее полезное образование для низших классов?

Ответ: Никакого. Должны быть воспитываемы в страхе божием.

Вопрос: Есть ли необходимость, при управлении известною частью, знать составные части ее механизма и действие сих последних?

Ответ: Не только нет необходимости, но даже вред, ибо дает повод к умствованиям. Необходим лишь дар сердцеведения и удача в выборе подчиненных чиновников.

Вопрос: Нужен ли суд присяжных?

Ответ: С удобством может быть заменен судом постоянных дворянских заседателей, коим необходимо присвоить приличное содержание, снабдив притом надлежащими от начальства наставлениями.

И так далее.

Решивши таким образом насущные вопросы, он с таким апломбом пропагандировал свои "идеи", что не только Сережа и Володя, но даже и некоторые начальники уверовали в существование этих "идей". И когда это мнение установилось прочно, то он легко достиг довольно важного второстепенного поста, где имел своих подчиненных, которым мог вполне развязно говорить: "Вот вам моя идея! вам остается только развить ее!" Но уже и отсюда он прозревал далеко и видел в будущем перспективу совсем иного свойства...

Тем не менее и у этого человека был червь, который грозил подточить все эти импровизированные перспективы: он по уши погряз в долгах. Игра в государственные подростки составляла лишь малую часть его существования; большая часть последнего была посвящена женщинам, обжорству и вину. Нынешние кокодеессы не любят ни домашнего очага, ни так называемого "света", ни женщин его, ни его удовольствий. Они любят нанять женщину (иногда даже в кредит) и пользоваться ею на всей своей воле, как пользуются стаканом хорошего вина или вкусным блюдом. Поэтому нет ресторана, в котором они не были бы кругом должны, нет кокотки, которой бы они, в конце концов, самым постыдным образом не надули. Часто эти подвиги сходят с рук, но иногда они влияют на ход карьеры и даже получают трагический конец.

Петенька был именно в подобном положении, так что в последнее время у него окончательно закружилась голова. Почти непрерывно он обращался к отцу с требованием денег, и надо отдать справедливость генералу, он редко отказывал. Выкупные свидетельства сбывались одно за другим и вырученные деньги отсылались в Петербург на поддержание Петенькиной карьеры. Но когда на дне шкатулки оказались какие-то смешные остатки, то генерал застонал. Он не спросил себя, чем он будет жить лично (у него, впрочем, оставалась в резерве пенсия), - он понял только, что посылать больше нечего.

В эту минуту приехал Петенька. Он явился взбешенный и совершенно не понимающий, каким образом могло случиться, что денег нет.

* * *

Свидание двух генералов было странное. Старый генерал расчувствовался и пролил слезы. Молодой генерал смотрел строго, как будто приехал судить старика. "Раб лукавый! - как бы говорил его холодный, почти стеклянный взор, - куда ты зарыл вверенный тебе талант?"

Старик, впрочем, не заметил этого с первого раза. Он помолодел и стряхнул с себя сонливость. С почти детскою жадностью расспрашивал он об увольнении, перемещениях, определениях, о слухах и предположениях, но молодой генерал на все вопросы отвечал нехотя, сквозь зубы. Наконец зашла речь и о деньгах. Старый генерал как бы сконфузился и только вздыхал; но молодой генерал настаивал. Тогда старик изложил положение дел довольно подробно и даже связно. Оказывалось, что

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
воплинская экономия, со всеми ее обезлесенными угожьями, стоит много-много
двадцать тысяч рублей; сверх того, оставалось еще одно выкупное свидетельство в
десять тысяч рублей. В сумме все состояние фамилии Утробиных представляло
ценность отнюдь не свыше тридцати тысяч рублей.

– Это черт знает что! – фыркнул молодой генерал.

– Да, друг мой; еще я, благодаря пенсону, могу кой-как концы с концами
сводить... – заикнулся было старый генерал.

Но молодой генерал уже окончательно вышел из себя и не дал ему окончить.

– Вы! вы! "вы можете"! еще бы... вы! Вы посмотрите только, как вы живете... вы!
это что? это что? – восклицал он бешено, указывая пальцами на хаос,
царствовавший в комнатах, и на изрытый берег Вопли, видневшийся через отворенную
балконную дверь.

Старый генерал ни слова не сказал в ответ. Он покорно понурил седую голову,
словно сознавая себя без оправдания.

– Вы! – продолжал между тем молодой генерал, расхаживая тревожными шагами взад и
вперед по кабинету, – вы! вам нужна какая-нибудь тарелка щей, да еще чтоб трубка
"Жукова" не выходила у вас из зубов... вы! Посмотрите, как у вас везде нагажено,
насрамлено пеплом этого поганого табачища... какая подлая вонь!

Наконец он остановился против отца и пустил ему в укор:

– Но объясните же наконец, каким образом это могло случиться? Говорите же! что
такое вы тут делали? балы, что ли, для уездных кокоток устраивали? Говорите! я
желаю знать!

– Мой друг! я... я... ты сам отчасти... В последнее время... требования денег...

– Ну да! вот это прекрасно! Я – виноват! Я – много требовал! Я!! Je vous demande
un peu! [Прошу покорно! (франц.)] А впрочем, я знал заранее, что у вас есть
готовое оправдание! Я – должен был жить на хлебе и воде! Я – должен был
рисковать своею карьерой! Я – должен был довольствоваться ролью riche-assiette'a
[прихлебателя (франц.)] при более счастливых товарищах! Вы это, конечно, хотите
сказать?

– Сохрани бог, мой друг! но...

– Без всяких "но"! Point de "mais", mon pere! [Никаких "но", отец! (франц.)] Я
очень хорошо понимаю и вижу! Я заранее знаю все, что вы можете сказать! О! я
травленный зверь, mon pere, меня провести не так-то легко! Ионы... Агнушки! – вот
куда дозволительно бросать деньги! Им дома покупают, им отдают домашнюю
движимость, им – всё! А сын – что такое сын?! On l'engendre – et tout est dit!
[Его родят – и кончено! (франц.)] И за это он обязывается почитать родителей и
целовать у них ручки... ces chers parents! [дорогие родители! (франц.)] Нет, вы
скажите, зачем вы, вместо того чтоб действовать, извлекать, добывать ценности, в
нелепые пререкания с Стреловым вошли?

– Но, друг мой, он-то и есть та причина...

– Нет, вы, вы, вы! Он доставал вам деньги! он умел это! И, конечно, он сумел бы
достать и теперь! он нашел бы, из чего извлечь пользу! Вы! разве вы имеете
понятие о том, что у вас есть? Разве можно поверить, чтобы всё... чтобы не
было... ну, пустоши какой-нибудь... une prairie... une foret... [какого-нибудь
луга... какого-нибудь леса (франц.)] А он... в пререкания входит! Ему, изволите
видеть, оскорбительно, что в виду его усадьбы поселился честный труженик... oui,
un honnete travailleur [да, честный труженик(франц.)], который, быть может,
потом и кровью...

Петенька так расчувствовался, что произнес последние слова почти дрожащим
голосом ("au fond je suis democrate!" [в глубине души я – демократ! (франц.)]
мелькнуло в его голове). В это же самое время он взглянул в окно.

– Э! да он там премило устроился! – воскликнул он, – целый городок... право!

– Он, друг мой, наш луг обманом...

– Обманом! а кто виноват! Вы, вы и вы! Зачем вы подписываете бумаги, не читая? а? На Иону понадеялись? а? И хотите, чтоб этим не пользовались люди, у которых практический смысл – всё? Mais vous etes donc bien naïf, mon pere! [уж очень вы наивны, отец! (франц.)]

В таком духе разговор продолжался около двух часов. Наконец это надоело Петеньке. Он оставил старика под бременем обвинений и, сказав: "il faut que je mette ordre a Га" [мне придется навести здесь порядок! (франц.)], выбежал из дома во вновь разведенный сад. Там все смотрело уныло и заброшенно; редко-редко где весело поднялись и оделись листвой липки, но и то как бы для того, чтобы сделать еще более резким контраст с окружающей наготой. Желая пробраться в старый парк, который все еще сохранял прежнюю дикую прелесть, Петенька спустился было по заросшей дорожке к пруду, который в этом месте суживался, и через переузину был когда-то перекинут мост, но вместо моста торчали сгнившие столбики. Взбешенный, побежал он назад, прибежал на скотную – никого не нашел, потом на конный двор – опять никого не нашел, и наконец случайно набрел на мужика, спавшего под деревом, растолкал его ногою и дал волю сквернословию. К обеду пришел он усталый, озлобленный, с пересохшим горлом и без малейшего признака аппетита.

Обед прошел молчаливо. Петенька брезгливо расплескивал ложкой превосходные ленивые щи (старый генерал хотел похвастаться, что у него, несмотря на "катастрофу", в начале июля все-таки есть новая капуста) и с каким-то неизреченным презрением швырялся вилкой в соусе из телячьей головки. Вино тоже не понравилось ему, хотя это был добрый St-Julien, года четыре лежавший в подвале у генерала. Только по временам он прерывал тяжелое молчание (он, впрочем, не чувствовал его тяжести и фыркал совсем хладнокровно, как ни в чем не бывало), чтобы высказать поучение вроде следующего:

– Да-с, любезнейший родитель! Не могу похвалить ваши порядки! не могу-с! Пошел в сад – ни души! на скотном – ни души! на конном – хоть шаром покати! Одного только ракалюю и нашел – спит брюхом кверху! И надобно было видеть, как негодяй изумился, когда я ему объяснил, что он нанят не для спанья, а для работы! Да-с! нельзя похвалить-с! нельзя-с!

– Они в это время отдыхают, мой друг, полдни... – попробовал оправдаться старый генерал.

– У вас, по-видимому, всегда полдни! И давеча полдни, и теперь полдни! Наспятся, потом начнут потягиваться да почесываться – опять полдни! Нет-с, этак нельзя-с! этак не управляют имениями! таким манером, конечно, никакого дохода никогда получить нельзя!

Генерал молча выслушивал эти реприманды, наклонив лицо к тарелке, и ни разу не пришло ему даже на мысль, что, несмотря на старость, он настолько еще сильнее и крепче своего пашенка, что стоило ему только протянуть руку, чтоб раздавить эту назойливую гадину.

После обеда, едва старик успел вымолвить: "Ну, теперь я пойду..." – как уже Петенька схватился за фуражку и исчез из дома.

Старый генерал удалился в спальную и, по обыкновению, лег отдохнуть. Но ему не спалось. Что-то горькое до остроты, до жгучести шевелилось в его душе, хотя он и сам ясно не сознавал, что именно. Сомнительно, впрочем, чтоб это было чувство негодования, возбужденное поведением сына при встрече после шестнадцатилетней разлуки; скорее это было чувство упорного самообвинения, действительно, ведь он от отца своего получил полную чашу, а сам оставляет сыну – что? Правда, что через него прошла, так сказать, целая катастрофа; но все же, если б повести дело умненько... да, именно, если б умненько повести!.. если б не воевать с дворовыми, не полемизировать с Анпетовым, если б сразу обрезать себя по-новому, если бы не вверяться Антошке, если б... Генерал насчитал столько "если б", что об отдохновении нечего было и думать. Проворочавшись целый час с боку на бок, он встал с тяжелою головой и прежде всего спросил:

– Петр Павлыч не возвращался?

– Они к Антону Верельянову ушли, – услышал он в ответ.

Старик широко раскрыл глаза, словно сразу не понял.

А Петенька был действительно там, у того самого Антошки, которого одно имя производило нервную дрожь во всем организме старого генерала. Он решил этот вопрос очень скоро. Он сказал себе: "Все это вздор, в котором почтеннейший мой родитель может, если ему угодно, купаться хоть до скончания веков, но который я имею полное право игнорировать. Для меня ясно одно: что мне необходимы деньги и что на фатера надежда плоха. Антошка же человек оборотливый, у него должны быть деньги, и он обязывается снабдить меня ими. Прежде всего я должен знать наверное, нет ли еще каких-нибудь ресурсов... например, лес, земля... и если нет, то... ma foi! [ей-богу (франц.)] надо будет поступить решительно!"

Антошка словно предчувствовал, что молодой генерал посетит его, и едва лодка, перевезшая Петеньку, успела причалить к "Мыску", как уже Стрелов, облеченный в праздничный костюм, помогал ему выйти на берег.

– Если не ошибаюсь, Антон... – заговорил первый Петенька и остановился: он позабыл отчество Стрелова.

– Верельяныч-с, – поправил спокойно Стрелов, – вот и вы, ваше превосходительство, изволили в наши, можно сказать, Палестины пожаловать?

– Да, ненадолго. А вы тут премило устроились... право! – любезно беседовал Петенька, оглядывая ряд построек, выведенных Стреловым, – этот дом... двухэтажный... вы в нем, конечно, сами живете?

– Точно так, ваше превосходительство, благодарение богу-с. Всё от него, от создателя милостивого! Скажем, теперича, так: иной человек и старается, а все ему милости нет, коли-ежели он, значит, создателя своего прогневил! А другой человек, ежели, к примеру, и не совсем потрафить сумел, а смотришь, создатель все ему посылает да посылает, коли-ежели перед ним сумел заслужить! Так-то и мы, ваше превосходительство: своей заслуге не приписываем, а все богу-с!

– Гм... это похвально! Все должны бы так думать... Но вы, надеюсь, напоите меня чаем?

– Помилуйте, ваше превосходительство, с превеликим нашим удовольствием. Даже за счастье-с... как мы еще папаша вашего благоденствия помним... Не токма что чашку чаю, а даже весь дом-с... все, можно сказать, имущество... просто, значит, как есть...

– Да... вот видите! сейчас вы сказали, что помните добро, которое вам сделал отец, а между тем ссоритесь со стариком! Дурно это, Антон Валерьяныч, нехорошо-с! – не то укорял, не то шутил Петенька.

– Ваше превосходительство! Как перед богом, так и перед вами-с! С моей стороны, окромя, можно сказать, услуги... чтобы его превосходительству, значит, покой был... Да помилуйте! кабы не они, что же бы я без них был? Червь-с, червяк – и больше ничего! Неужто ж я не обязан это помнить! Да я, можно сказать, и денно, и ночью... А что с ихней стороны – это действительно-с... Позвольте вам доложить! даже походя скверными словами обзывают! Иной раз, сядешь, этта, у окошка, плачешь-плачешь: "Господи! думаешь, с моей стороны и услуга, и старание... ну, крикни его превосходительство с того берега... ну, так бы... И за все за это награда – просто, можно сказать, походя..."

– Ну, ничего! я это устрою! я, собственно, и приехал... все эти недоразумения... Уладим, почтеннейший мой, уладим мы это!

– А уж как бы мы-то, ваше превосходительство, рады были! точно бы промеж нас тут царствие небесное поселилось! ни шуму, ни гаму, ни свары, тихо, благородно! И сколько мы, ваше превосходительство, вас здесь ждем – так это даже сказать невозможно! точно вот ангела небесного ждем – истинное это слово говорю!

Комната, в которую Стрелов привел Петеньку, смотрела светло и опрятно; некрашенный пол был начисто вымыт и снабжен во всю длину полотняною дорожкой; по

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik стенам и у окон стояли красного дерева стулья с деревянными выгнутыми спинками и волосным сиденьем; посредине задней стены был поставлен такой же формы диван и перед ним продолговатый стол с двумя креслами по бокам; в углу виднелась этажерка с чашками и небольшим количеством серебра. Стены были нештукатуренные, в чем, впрочем, Стрелов немедленно извинился, сказав, что еще "не избрал времени".

– Вы ведь женаты, кажется? – спросил Петенька.

– В законе-с.

– Надеюсь, что познакомите меня с супругой.

– Помилуйте, ваше превосходительство! даже осчастливите-с! Авдотья Григорьевна! – крикнул он, приотворив дверь в соседнюю комнату, – чайку-то! да сами-с! сами подайте! Большого гостя принимаем! Такого гостя! такого гостя, что, кажется, и не чаяли себе никогда такой чести! – продолжал он, уже обращаясь к Петеньке.

Через минуту, с подносом, уставленным чашками, вошла или, вернее сказать, выплыла и сама Авдотья Григорьевна. Это была женщина среднего роста, белая, рассыпчатая, с сахарными грудями, с серыми глазами навывкате, с алыми губами сердечком, словом сказать, по-купечески – красавица.

– В Кашине у купца взял-с! – похвастался Стрелов, – старинные купцы их родители! Еще когда Москва всей Расее голова была – еще тогда они торговали!

– Очень, очень приятно, – любезничал Петенька, между тем как Авдотья Григорьевна, стоя перед ним с подносом в руках, кланялась и алела. – Да вы что ж это, Авдотья Григорьевна, с подносом стоите? Вы с нами присядьте! поговорим-с.

– Что ж, сядьте, Авдотья Григорьевна, коли его превосходительство такое, можно сказать, внимание к вам имеют! – поощрил Стрелов и, обращаясь к Петеньке, прибавил: – Оне у меня, ваше превосходительство, городские-с! в монастыре у монашены обучались! Какой угодно разговор иметь могут.

– Тем лучше-с, тем лучше-с, милая Авдотья Григорьевна! Вот мы и поговорим! Скучаете здесь, конечно?

– Нет-с, нам скучать некогда, потому что мы завсегда в трудах...

– Оне у меня, ваше превосходительство, к своему делу приставлены-с, потому, мы так насчет этого судим, что коли-ежели эта самая... хочь бы дама-с... да ежели по нашему месту без трудов-с... больших тут мечтаниев ожидать нужно-с!

– Да, это так; я это сам... А все-таки, милая Авдотья Григорьевна, сознайтесь, что скучно?

– Конечно, коли-ежели сравнить с Кашином... там одних церквей сколько! Опять же родители...

– А в Петербург хотелось бы? Ну, признайтесь, – хотелось бы?

– Нет уж, куда в Петербург! вот в Кашин... в Угличе тоже весело живут! ну, а Калязин – нет, кажется, этого города постылее!

– Ну, Углич там, Кашин, Калязин... А все, я думаю, сердечко-то так в Петербург и рвется?

– Нет уж... В одном только я петербургским господам завидую: что они царскую фамилию постоянно видеть могут!

– Это делает вам честь, сударыня. Что же! со временем, когда дела Антона Валерьяновича разовьются, может быть, вам и представится случай удовлетворить вашему похвальному чувству.

– Нет уж... А вот у нас, в Кашине, один купец в Петербурге был, так сказывал: каждый день, говорит, на Невским в золотых каретах...

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Ну, это-то он, положим, от себя присочинил, а все-таки... Знаете ли что? потормозите-ка вы Антона Валерьяновича вашего, да и махнем... а я бы вам всё показал!

– Нет уж... А вы и во дворце бывали?

– Сколько раз, милая Авдотья Григорьевна!

– И государя видеть изволили?

– Сколько раз! Однажды даже...

Петенька вдруг ощутил потребность лгать. Он дал волю языку и целый час болтал без умолку. Рассказывал про придворные балы, про то, какие платья носят петербургские барыни, про итальянскую оперу, про Патти; одним словом, истощил весь репертуар. Под конец, однако, спохватился, взглянул на часы и вспомнил, что ему надо еще об деле переговорить.

– А я ведь к вам, Антон Валерьяныч, между прочим, и по делу, – сказал он.

– Извольте только приказать, ваше превосходительство! Все силы-меры, то есть сколько есть силы-возможности...

– Скажите, неужели дела отца так плохи?

– Так плохи! так плохи! то есть как только живут еще его превосходительство! Усадьба, теперича, без призору... Скотный двор, конный... опять же поля... так худо! так худо!

– Да, и я уж заметил. Давеча бегал – нигде ни одной души не нашел. Один только мерзавец сыскался, да и тот вверх брюхом дрыхнет!

– Уж коли ваше превосходительство в короткую, можно сказать, минуту заметили, так уж нам-то что и говорить!

– А ведь знаете, генерал немного и вас обвиняет. Говорит, что вы весь лес за десять тысяч продали, тогда как...

– Первое дело, не десять, а пятнадцать тысяч я его превосходительству предоставил. Пять-то тысяч они на покупку Агнушке дома извели... Бог им судья, ваше превосходительство! конечно, маленького человека обидеть ничего не значит, однако я завсегда, можно сказать, и денно и ночью, словом, всем сердцем... Ваше превосходительство! позвольте вам доложить! что я такое? можно сказать, червь ползучий, а может быть, и того хуже-с! Стало быть, ежели теперича сказать про меня: "Антон, мол, Стрелов вор!" – кому в этом разе стыд будет? Мне ли, который, примерно, все силы-меры... или тому, кто меня обидел?

– Так-то так, голубчик, только вот отец говорит, что за одни Петухи можно было десять тысяч выручить, а вы там всего на четыре тысячи дров продали.

– А коли-ежели можно было десять тысяч выручить, кто же, позвольте вам доложить, им в этом препятствие делал? А при сем, позвольте, ваше превосходительство, еще одно слово сказать! Всё – от ихнего нетерпения-с. Может быть, возможно было бы и больше выручить, да что ж, ежели они внимать ничему не хотят! Кто я таков и кто они-с? позвольте вас спросить. Я раб-с, а они господин-с. Следственно, ежели теперича мой господин мне приказывает: "Антон! продай такую-то пустошь за пять тысяч!" И я, значит, видючи, что эта пустошь примерно не пять тысяч стоит, а восемь, докладываю: "Не лучше ли, мол, ваше превосходительство, попридержаться до времени?" И коли-ежели при сем господин мне вторительно приказывает: "Беспременно эту самую пустошь чтоб за пять тысяч продать" – должен ли я господина послушаться?

– Ну, все-таки... Впрочем, это дело прошлое, я не об том... Скажите, неужели же у отца совсем-совсем никакого лесу не осталось?.. Ну, понимаете, который бы продать было можно?

– Теперича, ваше превосходительство, ежели всю дачу наскрозь обшарить, кажется, ни одного путного дерева не найти. Для своего продовольствия кой-какой лесишко

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
остался... Так, небольшое количество.

Петенька задумался.

– Ну, а земли? ведь есть же лишние?

– Земли, ваше превосходительство, по здешнему месту самый, значит, нестойкий товар. А при сем у папаши вашего в пустошах – один пенек-с. Даже поросли нет, потому что мужицкий скот бызвыходно теперича по порубке ходит.

Петенька задумался еще больше и испустил глубокое "гм"...

– Чудеса! – вымолвил он наконец.

– Уж так чудно! так чудно, ваше превосходительство! Первые, можно сказать, по здешней округе помещики были и вдруг...

– Ну-с, так я того... постараюсь как-нибудь вас со стариком уладить. Может быть, сообща что-нибудь и придумаем! – сказал Петенька, поднимаясь.

– Сообща – как же можно-с! сообща – завсегда лучше! Ладком да мирком – смотришь, ан шутя что-нибудь полезное и представится.

Петенька воротился домой довольно поздно. Старый генерал ходил в это время по зале, заложив руки за спину. На столе стоял недопитый стакан холодного чая.

– Там был? – спросил старик, указывая глазами на балкон.

– Там. А знаешь ли, фатер, ведь этот Антон – он вовсе...

– Ни слова, мой друг! – серьезно вымолвил старый генерал и, махнув рукою, отправился в спальную, откуда уже и не выходил целый вечер, прислав сказать сыну, что у него болит голова.

* * *

Несмотря на безмолвный протест отца, путешествия Петеньки на "Мысок" продолжались. Он сделал в этом отношении лишь ту уступку, что производил свои посещения во время послеобеденного сна старика. Вообще в поведении Петеньки и Стрелова было что-то таинственное, шли между ними какие-то деятельные переговоры, причем Петенька некоторое время не соглашался, а Стрелов настаивал и, наконец, настоял.

Дело в том, что Петеньке до зарезу нужно было иметь пятнадцать тысяч рублей, которые он и предположил занять или у Стрелова лично, или через его посредство, под документ. Стрелов и с своей стороны не прочь был дать деньги, но требовал, чтобы долговой документ был подписан самим стариком-генералом.

– Позвольте вам, ваше превосходительство, доложить! вы еще не отделенные-с! – объяснил он обязательно, – следственно, ежели какова пора ни мера, как же я в сем разе должен поступить? Ежели начальство ваше из-за пустяков утруждать – и вам конфуз, а мне-то и вдвое против того! Так вот, собственно, по этой самой причине, чтобы, значит, неприятного разговору промежду нас не было...

Петенька сделал еще несколько попыток к примирению отца с Стреловым, но всякий раз слышал один ответ: "Ни слова, мой друг!" – после чего старый генерал удалялся в спальную и запирался там.

Наконец Петенька решился: в одно прекрасное утро в кармане у Стрелова очутились четыре заемные обязательства, сроком на шесть месяцев, каждое в сумме пять тысяч рублей.

– Насилу уломал старика! – сказал молодой генерал, вручая документы Стрелову и получая от него, взамен их, пятнадцать тысяч рублей разношерстными пятипроцентными бумагами.

Миссия Петеньки была окончена, и он немедленно заторопился в Петербург. В последние два дня он уже не посещал "Мысок" и был почти нежен с отцом. Старый

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik генерал, с своей стороны, по мере приближения отъезда сына, делался тревожен и взволнован, по-видимому тоже принимая какое-то решение.

Наконец наступила и минута разлуки. Экипаж стоял у крыльца; по старинному обычаю, отец и сын на минуту присели в зале. Старый генерал встал первый. Он был бледен, пошатываясь, подошел к сыну и слабеющими руками обнял его.

– Друг мой! – сказал он прерывающимся голосом, – служи! А это – вот...

С этими словами он сунул в карман Петеньки свое последнее выкупное свидетельство, с доверенностью на продажу его и на употребление вырученных денег по усмотрению.

Петенька поцеловал у папаши ручку, попробовал сморгнуть с глаз слезу, но не сморкнул, выбежал из комнаты и поспешно сел в экипаж.

* * *

Ровно через шесть месяцев генералу были предъявлены четыре документа, в которых значилось: "Я, нижеподписавшийся, повинен..." и в конце которых весьма отчетливо изображена была его собственноручная подпись: "Отставной генерал-лейтенант Павел Петров Утробин", с характерным росчерком, в форме вскинутой вверх лезы, к концу которой прикреплен крючок.

Генерал не сделал даже вида, что не понимает. Он спокойно признал документы за подлинные и предоставил приступить к описи и оценке Воплина.

Вечером того же дня он лежал в спальне, разбитый параличом.

ОПЯТЬ В ДОРОГЕ

Как-то не верится, что я снова в тех местах, которые были свидетелями моего детства. Природа ли, люди ли здесь изменились, или я слишком долго вел бродячую жизнь среди иных людей и иной природы, – как бы то ни было, но я с трудом узнаю родную окрестность.

С освобождением крестьян помещиками овладело какое-то страстное желание ликвидировать. Безденежье, неумелость, неприготовленность, гнет старых привычек и приемов – все соединилось, чтобы поддерживать в них это стремление. Выражение: "У нас все свое, некупленное" – сделалось уже преданием. Теперь у всех все купленное, и притом втридорога, потому что сделать нужные закупки оптом, в свое время и в своем месте, нет средств, а местный торговец-монополист на все назначает цену по душе. Доходы же приходится собирать двугривенными и пятаками, да при этом иметь еще разговор с мировым судьей. Как будто впервые всех поразила мысль, что существует какой-то процесс, без которого пашня не производит хлеба, луга – травы. Прежде все это производилось без всякого процесса, так как-то, само собой; теперь – нет. Побьется-побьется помещик и придет к убеждению, что единственный для него выход – ликвидировать. А так как помещик здесь исстари был властелином лесов, полей, лугов и всего, что на земле, и всего, что под землей, то и выходит, что как будто вся местность разом ликвидирует...

В настоящее время все составляет бремя для помещика: и вода, и небо, и земля, и даже собственный, приходящий к разрушению дом. Пашни лежат запустелые, потому что хотя и пробовали сгоряча на первых порах пахать, но напахали себе в карман и бросили. Луга заезжены и потравлены, потому что прежнее властное слово "не сметь!" никого уж не сдерживает. Пустоши никому не нужны и поросли черт знает чем. Естественно, что при таком положении дела нет иного спасения, кроме ликвидации. Но – вопрос: как ликвидировать? Продать землю? – за землю дают грош, да и тот с рассрочкой. Воспользоваться выкупной ссудой? – она давно уж пущена в оборот, на затычку старинных помещичьих легкомысленностей. И вдруг все как-то разом прозрели: нашлась статья настоящая, серьезная – леса. Леса здесь были сплошные, береженные: на лес не было покупателя, потому что нечего было с ним делать. Лесом исключительно и притом беспощинно пользовались крепостные крестьяне, которые курили смолу, сидели деготь, делали кадки, чашки, ложки и другой щепной товар. Теперь въезд в помещичий лес крестьянам возбранен, лесной промысел пал, и, конечно, надолго остался бы лес мертвым капиталом и для помещиков, и для края, если б на выручку не подоспели железные дороги, которые значительно приблизили пункты сбыта. Вместе с первым слухом о железных дорогах

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik появились и личности из местных прасолов, кабатчиков, бывших приказчиков, бурмистров и прочего деревенского делового люда, которые начали неумоимо разъезжать на беговых дрожках от помещика к помещику, предлагая свое содействие по устройству ликвидации. Помещики ободрились. "Продать! продать! - завопили они хором, - продать, и затем бежать!"

Я еду и положительно ничего не узнаю. Вот здесь, на самом этом месте, стояла сплошная стена леса; теперь по обеим сторонам дороги лежат необозримые пространства, покрытые пеньками. Помещик зря продал лес; купец зря срубил его; крестьянин зря выпустил на порубку стадо. Никому ничего не жалко; никто не заглядывает в будущее; всякий спешит сорвать все, что в данную минуту сорвать можно. И вот, давно ли началась эта вакханалия, а окрестность уже имеет обнаженный, почти безнадежный вид. Пеньки, пеньки и пеньки; кой-где тощий лозняк.

- Нехороши наши места стали, неприглядны, - говорит мой спутник, старинный житель этой местности, знающий ее как свои пять пальцев, - покуда леса были целы - жить было можно, а теперь словно последние времена пришли. Скоро ни гриба, ни ягоды, ни птицы - ничего не будет. Пошли сиверки, холода, бездождица: земля трескается, а пару не дает. Шутка сказать: май в половине, а из полушубков не выходим!

И точно: холодный ветер пронизывает нас насквозь, и мы пожимаемся, несмотря на то, что небо безоблачно и солнце заливает блеском окрестные пеньки и побелевшую прошлогоднюю отаву, сквозь которую чуть-чуть пробиваются тощие свежие травинки. Вот вам и радостный май. Прежде в это время скотина была уж сыта в поле, леса стонали птичьим гомоном, воздух был тих, влажен и нагрет. Выйдешь, бывало, на балкон - так и обдает тебя душистым паром распутившейся березы или смолистым запахом сосны и ели.

- Помнишь, Софрон Матвеич, в прежнее время, бывало, в семицкий четверг девки венки завивали? - обращаюсь я к моему спутнику.

- Да и вы, чай, помните, как в троицын день в беленьких панталонцах, с цветочками в руках, в церковь хаживали?

Да, все это было. И девки венки завивали, и дворянские дети, с букетами пионов, нарциссов и сирени, ходили в троицын день в церковь. Теперь не то что пиона, а и дворянского дитяти по всей окрестности днем с огнем не отыщешь! Теперь семик на дворе, и не то что цветка не сыщешь, а скотина ходит в поле голодом!

- Вон она, Григорий Александровичева усадьба-то! - говорит между тем Софрон Матвеич, - была усадьба, а нынче смотри, как изныла!

В стороне стоит что-то длинное, черное, дом не дом, казарма не казарма. По одному наружному виду этого жалкого строения можно об заклад побиться, что в нем нет ни единой живой половицы, что в щели стен его дует, что на стенах этих обои повисли клочьями. Половина окон (в бывших парадных комнатах) закрыта ставнями; на другой половине ставни открыты, но едва держатся на петлях, вздрагивают и колотятся об стены, чуть посильнее подует ветер. Ни одного цельного стекла, а в иных местах вместо стекол вмазана синяя сахарная бумага. Нигде - ни плетня, ни изгороди. Бывший перед домом палисадник неведомо куда исчез - тоже, должно быть, изныл; бывший "проспект" наполовину вырублен; бывший пруд зарос и покрыт плесенью, а берега изрыты копытами домашних животных; от плодового сада остались две-три полувыверзшие яблони, едва показывающие признаки жизни...

Усадьба эта и в цветущие свои времена не могла назваться красивой, но зато она постоянно кипела млеком и медом. Григорий Александрович Гололобов, старого закала помещик, не заботился ни о красоте, ни об удобствах, но зато его дом уподоблялся трактирному заведению, в котором всякий "прилично одетый" мог с утра до вечера пить и есть. Он даже не был особенно богат, и я очень хорошо помню, что соседки удивлялись, каким образом Григорий Александрович от каких-нибудь ста душ мог так роскошествовать. Но он, по-видимому, слишком хорошо постиг тайны крепостного права и на все удивления относительно его житья-бытья объяснялся так:

- Сто душ - большое, батенька, дело! Сто душ - это сто хрибтов-с!

И продолжал кормить и поить до тех пор, пока не ударил грозный час...

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– А жив еще Григорий Александрыч? – спрашиваю я.

– Живет! Вон окно-то – там и ютится. Был я у него намеднись, нагажено у него, насорено в горнице-то! Ни у дверей, ни у окон настоящих запоров нет; войди к нему ночью, задуши – никто три дня и не проведает! Да и сам-то он словно уж не в уме!

– Стар!

– Одно дело – стар, другое дело – разоренье. Теперь он, можно сказать, весь обнажился; ни у него хлеба, ни травы – хуже, не чем у иного мужика!

– Что так?

– Да сначала, как уставную-то грамоту писал, перестарался уж очень. Землю, коя получше, за собой оставил, а дача-то и вышла у него клочьями. Тоже плут ведь он! думал: "Коли я около самой ихней околицы землю отрежу, так им и курицы некуда будет выпустить!" – а вышло, что курицы-то и завсе у него в овсе!

– Чай, судится с крестьянами-то?

– Пытал тоже судиться, да смех один вышел: хоть каждый день ты с курицей судись, а она все пойдет, где ей лакомо. Надзору у него нет; самому досмотреть нет возможности, а управителя нанять – три полсотни отдать ему надо. Да и управителю тут ни в жизнь не углядеть, потому, в одном месте он смотрит, а в другом, гляди, озоруют!

– На чем же он порешил?

– Да не поймешь его. Сначала куда как сердит был и суды-то треклял: "какие, говорит, это праведные суды, это притоны разбойничьи!" – а нынче, слышь, надеяться начал. Все около своих бывших крестьян похаживает, лаской их донять хочет, литки с ними пьет. "Мы, говорит, все нынче на равной линии стоим; я вас не замаю, и вы меня не замайте". Все, значит, насчет потрав просит, чтоб потрав у него не делали.

– Ну, и что ж крестьяне... чувствуют?

– Нельзя сказать, чтоб очень. Намеднись один мужичок при мне ему говорит: "Ты, говорит, Григорий Александрыч, нече сказать, нынче парень отменный стал, не обидчик, не наругатель, не что; а прежде-то, по-твоему, как?" – "А прежде, говорит, простить надо!"

– Отчего ж бы и не простить, в самом деле.

– Отчего не простить! Вот и я в те поры тоже подумал: "Стар, мол, ты стар, а тоже знаешь, где раки зимуют! Прежде чтобы простить, а вперед чтобы опять по-прежнему!" Да вот, никак, и сам он!

Смотрим: невдалеке от дороги, у развалившихся ворот, от которых остались одни покосившиеся набок столбы, стоит старик в засаленном стеганом архалуке, из которого местами торчит вата, и держит руку щитком над глазами, всматриваясь в нас. На голове у него теплый картуз, щеки и губы обвисли, борода не брита, жидкие волосы развеваются по ветру; в левой руке березовая палка, которую он тщетно старается установить.

– Неужто это Григорий Александрыч? – спрашиваю я, до такой степени изумленный, что мне не приходит даже на мысль остановить лошадей, чтоб поздороваться с маститым свидетелем игр моего детства.

– Он самый и есть. Смотри, как палка-то у него в руках прыгает; с палкой совладать уж не может.

– Господи! а какой был прежде белый да румяный!

– Был румян, поколь свои мужики на барщину ходили, а теперь вон какой стал. Сердитые нынче, сударь, времена настали.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

- Чем же так уж очень сердиты?
 - Да тем, что спустя-то рукава нынче уж, видно, редко кому прожить доведется!
 - Ну, что ж такое! стало быть, дело надо делать - вот и все.
 - Да и на дело-то нынешнее посмотришь, так словно бы оно на мошенничество похоже стало. Прежде совсем делов не было, а нынче уж слышим их много, а настоящего, постоянного дела все-таки нету - все с наскоку. Перервал горло, утащил, надул - и убёг. Вот нынешнее дело. Настоящий-то, постоянный-то человек промеж дошлых и пропадает. Со всех сторон его окружили, нигде ни расчету, ни суда ему нет. Да и соблазн велик. Станет человек постоянное-то дело делать - ан тут его сейчас лукавый смутит! Зачем, скажет, работать, коли обманом да колотырничеством жить можно! А иной с непривычки и обмануть-то путем не умеет! Смотришь, ан со временем или по судам его таскают, или он в кабаке смертную чашу пьет!
 - Так неужто ж прежде лучше было?
 - Лучше не лучше, только прежде мы об своих качествах-то помалчивали да потихоньку их прикапывали. При крепостном-то праве мы словно в тюрьме сидели и какие-таки были у нас добродетели - никому о том было не ведомо. А теперь все свои капиталы вдруг объявили. А и капиталов-то у нас всего два: жрать да баклуши бить. Жрать хочется, а работать не хочется (прежде, стало быть, при крепостном праве вдосталь наработались!) - ну, и ищут, как бы выюном извернуться. Иной всю жизнь без штанов жил, да и дела отродясь в глаза не видал - ан, смотришь, он в трактире чай пьет, поддевку себе из синего сукна сшил! Спроси его, что он сработал, откуда у него что проявилось, - он не то что тебе, да и себе-то настоящего ответа дать не сумеет! Так маклаченьем да карманной выгрузкой и живет. Да что и говорить! Всякого спроси, всякий скажет: сердитые нынче времена пришли!
 - Бог милостив, Софрон Матвеич! Перемелется - все мука будет!
 - Известно, бог не без милости! Однако вот пошли пожары, падежи - значит же это что-нибудь!
 - Да ведь и прежде это не в редкость было!
 - Было и прежде, да прежде-то от глупости, а нынче всё от ума. Вороват стал народ, начал сам себя узнавать. Вон она, деревня-то! смотри, много ли в ней старых домов осталось!
- Мы въехали в довольно большую деревню, в которой было два порядка изб; один из них был совершенно новый, частью даже не вполне достроенный; другой порядок тоже не успел еще почернеть от времени.
- Прошлого года в Покров сгорели: престольный праздник у них тут; а три года назад другой порядок горел! А сибирская язва и не переводится у нас. В иной деревне что ни год, то половину стада выхватит!
 - Божья воля, Софрон Матвеич, вот и все!
 - Божья воля - само собой. А главная причина - строгие времена пришли. Всякому чужого хочется, а между прочим, никому никого не жаль. Возьмем хоть Григорья Александрыча. Ну, подумал ли он, как уставную-то грамоту писал, что мужика обездоливает? подумал ли, что мужику либо землю пахать, либо за курами смотреть? Нет, он ни крошки об этом не думал, а, напротив того, еще надеялся: "То-то, мол, я штрафов с мужиков наберу!"
 - А ведь самое это выгодное дело, Софрон Матвеич, с мужиков штрафы брать!
 - Выгодное - как не выгодное. Теперича, ежели мужика со всех сторон запереть, чтоб ему ни входу, ни выходу - чего еще выгоднее! Да ведь расчет-то этот нужно тоже с умом вести, сосчитать нужно, стоит ли овчинка выделки! Ну, а Григорий Александрыч не сосчитал, думал, что штрафы-то сами к нему в карман ползут - ан вышло, что за ними тоже походить надо!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Чай, и кается же он теперь?

– Каяться, как не каяться, да потому только и кается, что выдумка его не удалась. А кабы удалась, так и он бы теперь пироги с начинкой ел.

– Видишь, стало быть, не всегда это верно на чужой-то карман рассчитывать!

– Как вам сказать, сударь! Григорий Александрыч тут не пример. У него хоть и не задашный, а все свой кус есть. Вот он теперь и казнится на него, думает: лучше было бы, кабы по-божески спервоначалу поступить! Ну, а другому и каяться-то резону нет. Народ нонче все гольтепа, бездомовый пошел: на что ни пустись – все ему хуже прежнего не будет. Хоть лишнюю рюмку вина выпьет – и то в барышах. Скажем теперича хоть про престольные праздники. Найдет тут народу в деревню видимо-невидимо, и всякий вина просит. Не дал ты ему вина – он тебя с сердцов спалил, да и соседей твоих зауряд!

– Не может быть! из таких пустяков!

– Верное слово говорю. Чтобы ему на ум пришло, что он чужое добро жжет – ни в жизнь! Иной даже похваляется, чтоб его боялись. И не токма что похвальба эта с рук ему сходит, а еще каждый день пьян бывает!

– Ну, а падежи-то отчего ж?

– Да тоже главная причина та, что всякий норовит поскорей нажиться. У нас в городе и сейчас все лавки больной говядиной полнехоньки. Торговец-то не смотрит на то, какой от этого разор будет, а норовит, как бы ему барыша поскорей нажить. Мужик купит на праздник говядинки, привезет домой, вымоет, помои выплеснет, корова понюхает – и пошла язва косить!

– Однако нехороши у вас дела!

– Чего хуже! День живем, а завтра что будет – не ведаем.

– А знаешь, ведь нас учат, что нигде не так крепко насчет собственности, как между крестьянами!

– Ведомое дело, кому своего не жаль!

– Нет, не насчет только "своей" собственности, а вообще. У вас, говорят, и запоров в заводе нет!

– Не знаю, как в других местах, а у нас на этот счет строго. У нас тех, которые чужое-то добро жалеют, дураками величают – вот как!

– Да ведь не пойдешь же, например, ты за чужим добром?

– Мне на что! у меня свое есть!

– Представь себе, однако, что у тебя своего или нет, или мало: неужто же ты...

– Зачем представлять! что вы!

– Ну, да представь же!

– Пустое дело вы говорите! – зачем я стану представлять, чего нет!

Вопрос этот так и остался неразрешенным, потому что в эту минуту навстречу нам попались беговые дрожки. На дрожках сидел верхом мужчина в немецком платье, не то мещанин, не то бывший барский приказчик, и сам правил лошадью.

– Хрисанф Петрович! куда? – кричит Софрон Матвеич, высовываясь всем корпусом из тарантаса и даже привставая в нем.

Проезжий отвечает что-то, указывая рукой по направлению гололобовской усадьбы.

– Ну, так и есть, к Гололобову едет. То-то Григорий Александрыч высматривал. Это он его поджидал. Ну, и окрутит же его Хрисашка!

– Разве дела у них есть?

– Леску у Гололобова десятин с полсотни, должно быть, осталось – вот Хрисашка около него и похаживает. Лесок нешто, на худой конец, по нынешнему времени, тысяч пяток надо взять, но только Хрисашка теперича так его опутал, так опутал, что ни в жизнь ему больше двух тысяч не получить. Даже всех прочих покупателей от него отогнал!

– Кто же этот Хрисашка? давно он в здешних местах?

– Хрисанф Петрович господин Полушкин-с? – Да у Бакланихи, у Дарьи Ивановны, приказчиком был – неужто ж не помните! Он еще при муже именем-то управлял, а после, как муж-то помер, сластить ее стал. Только до денег очень жаден. Сначала тихонько поворовывал, а после и нахалом брать зачал. А обравши, бросил ее. Нынче усадьбу у Коробейникова, у Петра Ивановича, на Вопле на реке, купил, живет себе помещиком да лесами торгует.

– Хрисаша! помню! помню! какой прежде скромный был!

– Был скромный, а теперь выше лесу стоячего ходит. Медаль, сказывает, во сне видел. Всю здешнюю сторону под свою державу подвел, ни один помещик дыхнуть без его воли не может. У нас, у Николы на Вопле, амвон себе в церкви устроил, где прежде дворяне-то ставали, алым сукном обил – стоит да охорашивается!

– Вот как!

– Уж такая-то выжига сделался – наскрозь на четыре аршина в землю видит! Хватает, словно у него не две, а четыре руки. Лесами торгует – раз, двенадцать кабаков держит – два, да при каждом кабаке у него лавочка – три. И везде обманывает. А все-таки, помяните мое слово, не бывать тому, чтоб он сам собой от сытости не лопнул! И ему тоже голову свернут!

– Проворуется, значит?

– Не то что проворуется, а нынче этих прожженных, словно воронья, развелось. Кусков-то про всех не хватает, так изо рту друг у дружки рвут. Сколько их в здешнем месте за последние года лопнуло, сколько через них, канальев, народу по миру пошло, так, кажется, кто сам не видел – не поверит!

– А у нас, брат, толкуют, что в русском человеке предприимчивости мало! А как тебя послушать, так, пожалуй, ее даже больше, чем следует!

– Уж на что вороватее. Завелось, например, нынче арендателев много: земли снимают, мельницы, скотные дворы – словом, всю помещичью угоду в свои руки забрали. Спроси ты у него, кто он таков? Придет он к тебе: в кармане у него грош, на лице звания нет, а тысячным делом орудовать берется. Одно только и держит на уме: "возьму, разорю и убегу!" И точно, в два-три года всё до нитки спустит: скотину выпродаст, стройку сгноит, поля выпашет, даже кирпич какой есть – и тот выломает и вывезет. А под конец и сам в трубу вылетит!

– Так, значит, насчет собственности-то и у вас не особенно крепко? Ну, по крайней мере, хоть насчет чистоты нравов... надеюсь, что в этом отношении...

– Это насчет снохачей, что ли?

– Какие тут снохачи... снохачи – это, братец, исключение... Я не об исключениях тебе говорю, а вообще...

– А вообще – так у нас французская болезнь есть. Нынче ее во всякой деревне довольно завелось.

– Как же это так, однако ж! Ни к собственности уважения, ни к нравственности! Согласись, что этак, наконец, жить нельзя!

– Да кабы не палка – и то давно бы оно врозь пошло.

– Позволь! ты говоришь: "кабы не палка!" Но ведь нельзя же век свой с палкой

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
жить! Представь себе, что палки нет... ведь можно себе это представить?

– Никак этого представить нельзя!

– Ну, да представь, однако! Все только палка да палка – это даже безнравственно!
Должно же когда-нибудь это кончиться! Что ж будет, если палку, наконец,
сократят?

– А то и будет, что все врозь пойдет!

– Послушай! Да какой же еще больше розни, чем та, которая, по твоим же словам,
теперь идет! Ни собственности, ни нравственности. Французская болезнь... чего
хуже!

– Это так точно!

– Так что же палка-то твоя делает? отчего ж она никого не исправляет?

– Ну, всё же берегаются!

– Берегаются... Хрисашка, например! И ведь поди, чай, этот самый Хрисашка,
если не только что украсть у него, а даже если при нем насчет собственности
что-нибудь неладно сказать, – поди, чай, как завопит!

– Само собой, завопит!

– А он, как ты сам говоришь, чуть не походя ворует. Вот и теперь, пожалуй,
Гололобову в карман руку запускает!

– Запускает – это верно. Трещит Григорий Александрыч да еще его же, подлеца,
беспременно водкой поит!

– А коли ты знаешь, что он подлец, зачем же ты подлецу кланяешься? зачем картуз
перед ним снимаешь?

Софрон Матвеич при этом вопросе на минуту словно опешил, но тотчас же, впрочем,
опять оправился.

– Позвольте-с! Как же я ему не поклонюсь, – ответил он мне уже совершенно
резонно, – коли он у нас теперь в округе первый человек?

– Нет, ты не вилай! ты ответь, что все это значит?

– А то и значит, что "не пойман – не вор"!

* * *

Итак, изречение: "не пойман – не вор", как замена гражданского кодекса, и
французская болезнь, как замена кодекса нравственного... ужели это и есть та
таинственная подоплека, то искомое "новое слово", по поводу которых в свое время
было писано и читано столько умильных речей? Где же основы и краеугольные камни?
Ужели они сосланы на огород и стоят там в виде пугал... для "дураков"?

Григорий Александрыч обездоливает крестьян; Хрисашка обездоливает Григория
Александрыча; пропоец, из-за рюмки водки, обездоливает целую деревню;
мещанин-мясник, из-за грошового барыша, обездоливает целую Палестину... Никому
ничего не жаль, никто не заглядывает вперед, всякий ищет, как бы сорвать сейчас,
сию минуту, и потом... потом и самому, пожалуй, вылететь в трубу.

Если б мне сказал это человек легкомысленный – я не поверил бы. Но Софрон
Матвеич не только человек, вполне знакомый со всеми особенностями здешних
обычаев и нравов, но и сам в некотором роде столп. Он консерватор, потому что у
него есть кубышка, и в то же время либерал, потому что ни под каким видом не
хочет допустить, чтоб эту кубышку могли у него отнять. Каких еще столпов надо!

Но все-таки должно сознаться, что и в рассказах Софрона Матвеича есть слабая
сторона. Если довериться ему безусловно со всеми выводами, какие он делает, то
непонятно было бы, каким образом люди живут. А между тем люди не только живут,

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
но и преуспевают. Ясно, что Софрон Матвеич слишком исключительно моралист, и в то же время не менее ясно и то, что мораль его имеет довольно узкую исходную точку. Он сам аккуратен и требует такой же аккуратности от других – разве такая низменная мораль может быть навязана миру, как общеобязательный жизненный принцип?

То, в чем он видит развращение нравов, есть собственно бестолочь, происшедшая вследствие смещения понятий, уже известных, отверженных, с понятиями искомыми, еще не имеющими на рынке определенного курса. Человек чувствует себя спутанным и, вместо того чтоб искать этих пут около себя, шарит руками в пространстве. Человек ищет, где лучше, но, не имея даже приблизительных сведений насчет того, где раки зимуют, естественным образом вынуждается беспрестанно перебегать из области дозволенного в область запретного и наоборот. Если его ограбят, он старается изловить грабителя, и буде изловит, то говорит: "Стой! законами грабить не позволено!" Если он сам ограбит, то старается схоронить концы в воду, и если ему это удастся, то говорит: "Какие такие ты законы для дураков нашел! для дураков один закон: учить надо!" И все кругом смеются: в первом случае смеются тому, что дурака поймали, во втором – тому, что дурака выучили. Что может тут сделать мораль, когда ее отправные пункты давным-давно всеми внутренно осмеяны и оставлены, в виде риторической шумихи, в назидание... дуракам! Но даже и для дураков они страшны лишь потолику, поколику за ними стоит острог...

Должно быть, иначе уж нельзя жить, коли люди так живут и впредь так жить надеются. Ворчит Софрон Матвеич (хоть он же вместе с тем сознается, что "не пойман – не вор"), а Хрисашки свое дело делают. Видно, они уж раскинули умом, что не так черен черт, как его малюют. А в деле воровства – это главное. Поначалу, воровать действительно страшно: все кажется, что чужой рубль жжется; а потом, как увидит человек, что чужой рубль имеет лишь то свойство, что легче всего другого обращается в свой собственный рубль, станет и походя поворовывать. Точно так же и насчет чистоты нравов; только сначала есть опасение, как бы бока не намяли, а потом, как убедится человек, что и против этого есть меры и что за сим, кроме сладости, ничего тут нет, – станет и почаще в чужое гнездо заглядывать. "Заведи свою жену! Заведи свой рубль!" – говорит негодующий Софрон Матвеич; а Хрисашка ему в ответ: "А зачем мне заводить, коли ты для меня и жену, и рубль припас!"

Некоторые видят в подобных фактах войну и протест. Это, дескать, война незваных против званых, это глухой протест обделенных против общественной несправедливости. А по-моему, так тут и войны никакой нет. Если б в область запретного врывались одни обделенные, тогда еще можно было бы, хоть с натяжкой, сказать: "Да, это протест!" Но ведь сплошь и рядом званые-то еще ходчее в эту область заглядывают. Стало быть, не только незванным, но и званным туго пришлось. Да и как, наконец, определить, кто обделен, кто не обделен? Конечно, сытому воровать стыднее, нежели голодному, и Софрон Матвеич, я знаю, первый упрекнет сытого: "Не стыдно ли тебе, скажет: добро б у тебя своего куска не было!" А Хрисашка ему в ответ: "А ты мой аппетит знаешь? мерил ты мой аппетит?"

Я не говорю, что Хрисашка представляет собой образец добродетели; я знаю, что он кругом виноват, а напротив того, критик его, Софрон Матвеич (впрочем, снимающий перед Хрисашкой картуз), кругом прав. Но я знаю также, что Софрон Матвеич влачит свое серенькое существование с грехом пополам, между тем как Хрисашка блесит паче камня самоцветного и, конечно, не все видит во сне медаль. Софрон Матвеич придет в церковь, станет скромненько в уголок, и поп не назовет его ни истинным сыном церкви, ни ангельского жития ревнителем и не вынесет просвиры. А Хрисашка взойдет в церковь, так словно светлее в ней сделается; взойдет и полезет прямо на свой собственный, крытый алым сукном амвон. И поп скажет ему притчу, начнет с "яко солнцу просиявающу" и кончит: "так да воссияешь ты добродетелями вовек", а в заключение сам вручит ему просвиру. По выходе же из церкви Софрону Матвеичу поклонится разве редкий аматёр добродетелей (да и то, может быть, в том расчете, что у него все-таки кубышка водится), а Хрисашке все поклонятся, да не просто поклонятся, а со страхом и трепетом; ибо в руках у Хрисашки хлеб всех, всей этой чающей и не могущей наесться досыта братии, а в руках у Софрона Матвеича – только собственная его кубышка.

"Я в трубу не вылечу, а Хрисашка – вот помяните мое слово! – не долго нагуляет!" – говорил мне Софрон Матвеич. Прекрасно; но для Хрисашки это все-таки довод не убедительный. Разве ты когда-нибудь жил, Софрон Матвеич? Разве ты испытал, какое

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik значение имеют слова: "пожить в свое удовольствие"? Нет, ты не жил, а только уберегался от жизни да поученья себе читал. Захочется тебе иной раз во все лопатки ударить (я знаю, и у тебя эти порывы-то бывали!) - ан ты: "Нет, погоди - вот уж!" Ужо да уж - так ты и прокис, и кончил на том, что ухватился обеими руками за кубышку да брюзжишь на Хрисашку, а сам ему же кланяешься! А у Хрисашки кубышки и в заводе нет, ему не над чем дрожать, потому что у него деньга вольная. Всякая деньга - его деньга: и та, которая у тебя в кармане тщетно хоронится от его прозорливости, и та, которая скрывается в груди, в мышцах, в спине вот у этого прохожего, который с пилой да с заступом на плече пробирается путем-дорогой на промысел. Или опять насчет чистоты нравов - разве ты настоящей сладости-то вкусил? Приглянется тебе, бывало (еще при крепостном праве это было), Дунька, Старостина жена, а ты: "Нет, погоди! неравно староста обидится!" Погоди да погоди, и дожил до того, что теперь нечего тебе другого и сказать, кроме: "Хорошо дома; приеду к Маремьяне Маревне, постелемся на печи да и захрапим во всю ивановскую!" А у Хрисашки и тут все вольное: и своя жена вольная, и чужая жена вольная - как подойдет! Безнравствен Хрисашка, прелюбодей он и вор - что говорить! И в трубу вылетит, и в острог попадет - это верно. Но и в остроге ему будет чем свою жизнь помянуть да порассказать "прочим каторжным", как поп его истинным сыном церкви величал да просвирами жаловал, а ты и на теплой печи, с Маремьяной Маревной лежа, ничего, кроме распостылого острога, не обретешь!

Ты говоришь: "Поп завидуш; захочу, десять рублей пошлю - он и не такую притчу мне взбодрит!" Знаю я это. Но вспомни, что ведь ты добродетельный, а Хрисашка вор и прелюбодей. Если об тебе и за десять копеек поп скажет, что ты ангельского жития ревнитель - он немного солжет, а каково об Хрисашке-то это слышать! Хрисашка, сияющий добродетелями! Хрисашка, аки благопотребный дождь, упоющий ниву, жаждущу, како освежится! Слыхана ли такая вещь! А разве ты не слыхал?

Да взгляни же ты наконец на Хрисашку, как он невозмутим, спокоен, самодоволен! С каким неизреченным состраданием взирает он с своего амвона на тебя, героя собственной кубышки, поборника невоспрещенного законом храпенья на собственной печке возле собственной Маремьяны Маревны! Именно с состраданием, даже не с иронией. Не тебя жалеет он, а твою кубышку, держа которую ты так сладко похрапываешь на собственной печи, в свободные от копления часы! "Эх, думается ему, кабы эту самую кубышку да в настоящие руки... задали бы ей копот!" Всмотрись же в Хрисашку пристальнее и крепче прижми к груди кубышку, потому что с таким озорником всяко случиться может: вздумается - и отнимет!

Да, Хрисашка еще слишком добр, что он только поглядывает на твою кубышку, а не отнимает ее. Если б он захотел, он взял бы у тебя всё: и кубышку, и Маремьяну Маревну на придачу. Хрисашка! воспрянь - чего ты робеешь! Воспрянь - и плюнь в самую лохань этому идеологу кубышки! Воспрянь - и бери у него все: и жену его, и вола его, и осла его - и пусть хоть однажды в жизни он будет приведен в необходимость представить себе, что у него своего или ничего, или очень мало!

Итак, всякий хочет жить - вот общий закон. Если при этом встречаются на пути краеугольные камни, то стараются умненько их обойти. Но с места их все-таки не сворачивают, потому что подобного рода камень может еще и службу сослужить. А именно: он может загородить дорогу другим и тем значительно сократить размеры жизненной конкуренции. Стало быть: умелый пусть пользуется, неумелый - пусть колотится лбом о краеугольные камни. Вот и всё.

Между тем как я предавался этим размышлениям, лошади как-то сами собой остановились. Выглянув из тарантаса, я увидел, что мы стоим у так называемого постоянного двора, на дверях которого красуется надпись: "распивочно и навынос". Ямщик разнуздывает лошадей, которые трясут головами и громяют бубенчиками.

- Лошадей хочу попоить! - обращается к нам ямщик.

- Чего "лошадей попоить"! вижу я, куда у тебя глаза-то скосило! - ворчит Софрон Матвеич.

- Что ж, на свои деньги и сам выпить могу!

- То-то "сам"... до места-то, видно, нельзя подождать! на пароход опоздаем!

- На пароход еще за сутки приедем. Ты, чай, и выпил, и закусил дома с "барином",

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
а я на пустых-то щак только зубы себе нахлопал!

Дверь кабака визжит, и ящик скрывается за нею.

– А много пьют? – спрашиваю я.

– Так довольно, так довольно, что если, кажется, еще немного, совсем наша сторона как дикая делается. Многие даже заговариваться стали.

– То есть как же это – заговариваться?

– Совсем не те слова говорит, какие хочет. Хочет сказать, к примеру, сено, а говорит – телега. Иного и совсем не поймешь. Не знает даже, что у него под ногами: земля ли, крыша ли, река ли. Да вон, смотрите, через поле молодец бежит... ишь поспешает! Это сюда, в кабак.

И действительно, через несколько секунд с нашим тарантасом поравнялся рослый мужик, имевший крайне озабоченный вид. Лицо у него было бледное, глаза мутные, волосы взъерошенные, губы сочились и что-то без умолку лепетали. В каждой руке у него было по подкове, которыми он звякал одна об другую.

– Давно не пивал, почтенный? – обратился к нему Софрон Матвеич.

– Завтра пивал!.. Реговоно тебе... талды... Веней пина! Зарррок! – бормотал мужик, остановившись и словно испуганный человеческою речью.

– Вот и разговаривай с ним, как этакой-то к тебе в работники найдется! А что, почтенный, тебе бы и в кабак-то ходить не для че! Ты только встряхнись – без вина пьян будешь!

Мужик стоял, блуждая глазами по сторонам и как бы нечто соображая.

– Подковы-то украл, поди! чужие небось!

– Ч-ч-чии! веней пина... реговоно... талды!

– Ну, ну! ступай своей дорогой!

– Веней! – крикнул мужик не своим голосом, делая всем корпусом движение в нашу сторону.

– Ступай, ступай! нехорошо! видишь – барин!

Мужик плюет ("какие грубияны!" вертится у меня в голове) и обращается к кабаку. Опять визжит дверь, принимая в свои объятия нового потребителя.

– Хороши наши Палестины? – подсмеивается Софрон Матвеич.

– Чудак ты, однако ж! Говоришь так, как будто уж все заговариваются!

– Все не все, а что многие в вине занятие находят – это верно. Да вот увидите. Версты с четыре проедем, тут в деревне через Воплю перевоз будет, а при перевозе, как и следует, кабак. Паромишко ледаций, телега с нуждой уставится, не то что экипаж, вот они и пользуются. Как есть, у кабака вся деревня ждет. Чуть покажемся – все высыплют. На руках тарантас на паром спустят, весь переезд задние колеса на весу держать будут – всё за двугривенный. Получат двугривенный – сейчас в кабак. И идет у них с утра до вечера веселье, даже вчуже завидно!

– Однако, славно ты земляков-то своих рекомендуешь!

– Распостылые они мне – вот что! всякая пакость – все через них идет! Попы нос задирают, чиновники тиранят, Хрисашки грабят – всё не через кого, а через них! Ощирина Павла Потапыча знавали?

– Это владыкинского? молодого?

– Какой он молодой – сорок лет с лишком будет! Приехал он сюда, жил смирно, к помещикам не ездил, хозяйством не занимался, землю своим же бывшим крестьянам

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
почесть за ничто сдавал – а выжили!

– Как так?

– Да так и выжили: зачем в церковь редко ходит! Поп, вишь, к нему повадился гостить; сегодня пришел, завтра пришел – ну, Павлу Потапычу это и не понравилось. Сгрубил, что ли, он попу, только поп обиделся, да, не будь прост, и науськал на него мужиков. И в бога, говорит, не верит, и в церковь не ходит – фармазон. Пошла, это, слава, проведали помещики, а спустя время и исправник приехал. Какой такой вы пример мужикам подаете?.. Ну, посмотрел-посмотрел Павел Потапыч, плюнул и уехал. Да нынче по весне приказ с Москвы прислал: обречь всю землю канавой, а крестьян – чтобы ни ногой! А они его землей только и жили!

– Ну, это-то уж лишнее! крестьяне ведь по невежеству!

– Знамо, что не по вежеству! А поколь у них невежество будет, стало быть, подражать им надо? Ну, хорошо, будем так говорить: "Надо их учить, надо школы для них заводить". А поколь как? А поколь он тебя стоялому жеребцу за косушку продаст, да когда тебя к чертовой матери, неведомо за что, сослать будут, он над тобой же глумиться станет! Нет, нынче постоянные-то люди сторониться начали! Больше всё из столиц пишут: "Школы, мол, устраивать надо!" а сами что-то и носу не показывают! Только тот и остался здесь, который с мужика последнюю рубашку снять рассчитывает, или тот, кому – вот как Григорью Александрычу – свет клином сошелся, некуда, кроме здешнего места, бежать!

Совершивши выпивку, ямщик сделался заметно развязнее. Посвистывал, помахивал кнутом, передергивал коренную, крутил пристяжную в кольцо и беспрестанно оборачивался на нас. Да и дорога пошла повеселее, все озимями и яровой пашней; пространства, усеянные пеньками, встречались реже, горизонт сделался шире и чище; по сторонам виднелись церкви, помещичьи усадьбы, деревни. Поравнявшись с одной усадьбой, ямщик взмахнул кнутом, гикнул, во весь опор промчался мимо ворот господского дома и каким-то неестественным голосом крикнул:

– Ах, сахарница ты наша... любе-е-зная!

– Кого это он так величает? – спросил я Софрона Матвеича.

– Вдова тут, Меропа Петровна Кучерявина, живет: видно, ее ублажает. А что, Иван, сладка?

– Уж так сладка! так сладка! Мероша! Мерончик!

– Да ты-то из чего себе кишки надрываешь? чай, по усам текло, а в рот не попало?

Ямщик весело взглянул Софрону Матвеичу в лицо.

– Знаешь, что я тебе, Софрон Матвеич, скажу? – молвил он.

– Сказывай, только не ври.

– Зачем врать! Намеднись везу я ее в этом самом тарантасе... Только везу я, и пришла мне в голову блажь. Дай, думаю, попробую: "А знаешь ли, говорю, Меропа Петровна, что я вам скажу?" – "Сказывай", говорит. – "Скажу я тебе, говорю, что хоша я и мужик, а в ином разе против двух генералов выстою!"

– Так-таки и сказал?

– Вот те Христос! Сказал, знаешь, а сам боюсь.

Однако ничего, молчит. Только проехали и еще версты с две, я опять: "Право, говорю, выстою!" – а сам полегоньку с козел в тарантас... словно как ненароком. И вдруг, братец ты мой, как свистнет она меня по рылу кулаком... инда звезды в глаза вступили!

– Строга, значит?

– Не то что строга, а не по порядку, стало быть, дело повел...

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Кто такая эта Кучерявина? – обращаюсь я к Софрону Матвейчу.

– А был тут помещик... вроде как полоуменький. Женился он на ней, ну, и выманила она у него векселей, да из дому и выгнала. Умер ли, жив ли он теперь – неизвестно, только она вдовой числится. И кто только в этой усадьбе не отдыхал – и стар и млад! Теперь на попа сказывают...

– Да ты постой, дай досказать-то! – снова вступился ямщик. – Обидно мне стало, и боже мой, как обидно! Еду я и смотреть на нее не хочу. Постой, думаю, я те уважу! я те в канаву вывалю! "А знаешь ли, говорю, Меропа Петровна, что я тебя могу в канаву сейчас вывалить!" – "Не смеешь", – говорит. "Смелости, говорю, теперь во мне очень довольно, а ты мне вот что скажи: чем я хуже попа?" – "Ну, ну, ври больше!" – говорит. "Нет, не ври, а верное дело, что я ничем твоего попа не хуже... даже звание у нас с ним одно! И я из простых, и он из простых, и я сапоги дегтем смазываю, и он сапоги дегтем смазывает..." И начал я, значит, ее урезонивать. Еду и всё резоны говорю: "Сякая ты, мол, такая, за что человека обидела!" И не заметил, как к городу, к самой околице подъехали...

– А в городе-то кутузка, слышь, есть...

– Стой... да ты не загадывай вперед... экой ты, братец, непостоянной! Едем мы, это, городом, а я тоже парень бывалый, про кутузку-то слыхивал. Подъехали к постоялому, я ее, значит, за ручку, высаживаю... жду... И вдруг, братец ты мой, какую перемену слышу! "А что, говорит, Иван, я здесь только ночь переночую, а завтра опять к себе в усадьбу – доставил бы ты меня!"

– Вот так важно!

– И что после того у нас с ней было! что только было! Только сказывать не велела!

– То-то ты и помалчиваешь!

– Тебе-то! Тебе я все одно что отцу духовному! Только ты уж помалчивай, Христа ради!

В это время дорога сделала крутой загиб, и кучерявинская усадьба снова очутилась у нас в глазах, как на ладони.

– Сахарница! – завыл опять ямщик.

– Сахарница-то сахарница, а уж выжига какая – не приведи бог! – обратился ко мне Софрон Матвейч. – Ты только погости у ней – не выскочишь! Все одно что в Москве на Дербеновке: там у тебя бумажник оберут, а она тебя напоит да вексель подсунет!

– И сходит с рук?

– Ничего. Взыщет деньги – и полно, хошь – и опять приезжай гостить, и опять допоит до того, что вексель подпишешь! И везде ей почет, все к ней ездят, многие даже руки целуют. Теперь, слышь, генерала Голозадова обсахаривает.

– Это кто? фамилия, что ли, такая?

– Древняя, сказывает. Еще дедушки его кантонистами были. Вон и усадьба его, вон на горе! Недавно у нас поселился, а уж мужичок один от него повесился.

– Как так?

– Да пустосвят он и клязник, Голозадов-то. На всех прошения пишет, и хоть нигде ему, ни в каких местах, резону нынче не дают, а он все пишет. Ну, и изымал он, этта, мужичка в потраве, и пошла у него мельница в ход. К мировому – отказ, на съезде – отказ. В Сенат, в Петербург – там прицепу выдумали, велели сызнова судить. Опять к мировому, к другому, за сорок уж верст – отказ; на съезд – отказ; в Сенат – прицеп выдумали, в третий раз судить велели. Намеднись еду: на четырех подводах народ встречу едет. "Чьи такие?" – "Генерала Голозадова, говорят, свидетелей из города везем". – "Решили ли дело-то?" – "Чего, говорят, решать: "Андрей-то Герасимов удавился!"

– Однако, брат, это штука!

– Да уж где только эта кляуза заведется – пиши пропало. У нас до Голозадова насчет этого тихо было, а поселился он – того и смотри, не под суд, так в свидетели попадешь! У всякого, сударь, свое дело есть, у него у одного нет; вот он и рассчитывает: "Я, мол, на гулянках-то так его доеду, что он последнее отдаст, отвяжись только!"

– Ну, этого, по крайней мере, не уважают, ты говоришь?

– Покамест еще не уважают; а вот как один повесится, да другой повесится – не мудрено, что и уважать будут!

– А там вон, влево, чья усадьба?

– Талалыкина господина. Он у нас в те поры, как наши в Крыму воевали, предводителем был да сапоги для ополчения ставил. Сам поставщик, сам и приемщик. Ну, и недоглядел, значит, что подошвы-то у сапогов картонные!

– Тсс... видно, у вас и насчет отечества-то... не шибко-таки любят!

– Как не любить! любят, коли другого не предвидится... Только вот ежели сапоги или полушубки ставить... это уж шабаш! Самый здесь, сударь, народ насчет этого легкий!

* * *

В воздухе чутся близость большой реки. Ветер свежеет, дорога идет поймою; местами, сквозь купы кустов, показывается сверкающий изгиб Волги. Вдали, на крутом берегу реки, то вынырнет из-за холма, то опять нырнет в яму торговое село К., с каменными домами вдоль набережной и обширным пятиглавым собором над самую парходную пристанью. Исколесивши вавилонами верст пять по поемному берегу, мы останавливаемся наконец у перевоза, прямо против села. Паром на другой стороне, то есть, по обыкновению, там, где его не нужно, а между тем, по случаю завтрашнего базара, на луговом берегу уже набралась целая вереница возов, ожидающих переправы. Значительное число расшив и судов покрывает реку; одни бросили якорь, другие медленно двигаются вверх по реке с помощью бечевы. На противоположной стороне, на пристани, идет суета; нагружаются и разгружаются воза с кладью; взбираются по деревянной лестнице в гору крючники с пятипудовыми тяжестями за плечами. Воздух, в буквальном смысле этого слова, насыщен сквернословием.

– Мать-мать-мать-ма-ать! – словно горох перекатывается от одного берега до другого.

– Дедюлинские – что рот-то разинули! Мать-мать-мать-ма-а-ать!

– Вороти носовую! мать-мать-ма-ать!

Поощряемый этими возгласами, наш ямщик, в свою очередь, во всю силу легких горланит:

– Перевозчики! заснули! мать-мать-ма-ать!

– Лодку не вскричать ли? – обращается ко мне Софрон Матвевич.

– Да, на лодке скорее бы переехали.

И вот мой целомудренный спутник, поборник копилки и чистоты нравов, нимало не смущаясь, вопиет:

– Лодку подавай! Мать-мать-мать-ма-а-ть!

И вдруг вся собравшаяся на берегу ватага обозчиков, словно остервенившись, возглашает:

– Паром давай! перевоз! Мать-мать-мать-ма-а-ать!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Сейчас! черти! что ругаетесь! Мать-мать-ма-ать! – слабо доносится с другого берега.

– Однако, братец, насчет сквернословия-то у вас здесь свободно! – обращаюсь я к одному из обозчиков.

– От самого Селижарова и вплоть до Астрахани у нас эта речь идет!

– И понимаете друг друга?

– В лучшем виде!

Наконец мы убеждаемся, что паром отчаливает от другого берега. Наступает внезапное затишье, прерываемое лишь посвистыванием бурлаков на лошадях, тянущих бечеву. Страшно смотреть. Изморенные, сплеченные животные то карабкаются на крутизну, то спускаются вниз в рытвины, скользят, падают на передние ноги и вновь вскакивают под градом ударов кнута.

– Вот ты давеча уверял, – говорю я Софрону Матвейчу, – что народ от работы отбился! А это, по-твоему, не работа?

– Эти не дошли! – отвечает он с самоуверенностью истинного моралиста, – да, надо полагать, и не дойдут никогда!

– Бог труда любит! – сентенциозно вмешивается один из хозяев-обозчиков, мелочной торговец, – это им, значит, от бога назначено, чтобы всегда в труде время проводить!

– Кому же это "им"?

– Простонародью, черняди-с, – отвечает обозчик, не моргнув глазом.

– И прочим всем трудиться назначено, – поправляет другой обозчик, – да у иного достатки есть, так он удовольствие доставить себе может, а у них достатков нет! Поэтому они преимущественно...

Но вот приволокли и паром, а лодки не подали. Пришлось переправляться вместе с возами. Покуда паром черепашим ходом переплывает на другую сторону, между переправляющимися идет оживленный разговор:

– Сапог в заминке (эта местность славится производством громадного количества сапогов)! совсем сапог остановился! – говорит один.

– Сердитые времена настали! – отзывается другой. – Сочти, сколько теперь народу без хлеба осталось!

– Что, видно, в чувство пришли! – иронически замечает Софрон Матвейч.

– Будешь чувствовать, почтенный, как есть нечего.

– Зачем же прежде не чувствовали?

– Чувствовали и прежде, да ничего такого не было... Линия, значит, тогда была одна, а теперь – другая!

– Да что же такое случилось, что здешний сапог остановился? – любопытствую я.

– Аршавский сапог в ход пошел – вот что!

– Как будто это причина? Почему же варшавский сапог перебил дорогу вашему, а не ваш варшавскому?

– Пошел аршавский сапог в ход – вот и вся причина!

– Ловки уж очень они стали! – объясняет Софрон Матвейч, – прежде хоть кардону не жалели, а нынче и кардону жаль стало: думали, вовсе без подошвы сойдет! Ан и не угадали!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

- Много ты смыслишь! - вмешивается из толпы недовольный голос.
- Ты и больше моего смыслишь, да не все сказываешь!
- Нечего сказывать-то! Известно, от начальства поддержки не видим - вот и бедствуем!
- По-твоему, значит, всех надо заставить в ваших сапогах ходить?
- Зачем заставлять! Тебе, к примеру, и в лаптях ходить - в самую препорцию будет! А надо аршавский сапог запретить - вот что!
- Какие же такие права ты для этой выдумки отыскал?
- А такие права, что мы сапожники старинные, извечные. И отцы, и деды наши исстари землю покинули, и никакого у них, кроме сапога, занятия не было. Стало быть, с голоду нам теперича, по-твоему, помирать?
- А вы бы не фальшивили. По чести бы делали.
- И все-таки скажу тебе: говоришь ты, ровно балалайка бренчишь, а ничего в нашем деле не смылишь. У нас колесо-то с каких пор заведено? Ты знаешь ли?
- Здешний житель - как не знать! Да не слишком ли шибко завертелось оно у вас, колесо-то это? Вам только бы сбыть товар, а про то, что другому, за свои деньги, тоже в сапогах ходить хочется, вы и забыли совсем! Сказал бы я тебе одно слово, да боюсь, не обидно ли оно для тебя будет!
- Слово - брех; и я, пожалуй, слово знаю...
- Знаешь, так говори!
- Ты свое прежде скажи!
- Нет, ты мое угадай, а я твое слово давно угадал! Нам, мол, умным, чай надо пить, а вы, дураки, невелики бары: и за деньги босиком проходите!

Разговор в этом тоне и духе продолжался почти во все время переправы. Как я ни старался вникнуть в смысл этого сапожного кризиса, но из перекрестных мнений не мог извлечь никакого другого практического вывода, кроме того, что "от начальства поддержки нет", что "варшавский сапог истребить надо" и что "старинным сапожникам следует предоставить вести заведенное колесо на всей их воле". Эти виды и предположения обсуждались на все лады, перемежаясь вздохами, ахами, напоминаниями о сердитых временах и известиями о новых пожарах, происшедших в разных деревнях по случаю Николина дня.

- Каюрово-то, слышь, выгорело!
- А в нашей стороне Мокряги опять дотла сгорели!

.....

Публика в каюте первого класса была немногочисленна: всего человек семь-восемь. Из К. ехала депутация от дворян, с целью, как потом оказалось, ходатайствовать "в губернии" об удалении из уезда одного из мировых судей за вредный образ мыслей и строптивый нрав. Два помещика отправлялись в Т., чтобы ликвидировать, и в ожидании минуты, когда нужно будет предстать перед очи старшего нотариуса, пропускали по маленькой и с каким-то блаженным видом сообщали друг другу предполагаемые результаты ликвидации. Две заспанные личности уныло слонялись между диванами и от времени до времени вопияли: "Господа! в табельку! по маленькой!" Наконец, тут же сидели: педагог и адвокат. Педагог имел вид скорбный, как будто даже здесь, на пароходе, вдали от классической гимназии, его угнетала мысль, нельзя ли кого-нибудь притеснить или огоршить таким вопросом, который сразу бы поставил человека в беспомощное положение. Напротив того, от адвоката так и отдавало внутренним ликованием. Лицо его сияло, и он с каким-то безапелляционным легкомыслием, быстро и решительно, выбрасывал из себя один

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik афоризм за другим, по-видимому даже не допуская мысли, чтобы можно было что-нибудь ему возразить.

– В гражданских делах нет безотносительной истины, – говорил адвокат, продолжая начатый до прихода моего разговор. – Когда мне поручают ведение процесса, я не имею никакой надобности заглядывать в совесть моего доверителя. Я говорю себе: "Он начинает дело, стало быть, он искренно думает, что он прав. Анализировать его побуждения – значило бы возбуждать в его совести такие сомнения, которые, быть может, и не будут оправданы дальнейшим ходом дела". Поэтому я ставлю вопрос гораздо проще; я спрашиваю себя: "Может ли поручаемый мне процесс быть выигран или нет – и только". И согласно с тем или другим решением этого вопроса, принимаю ведение процесса или не принимаю его.

– Но ведь таким образом и адвокат противной стороны... ведь и он, пожалуй, может иметь подобный же упрощенный взгляд на юридическую истину? – возразил педагог.

– Не только может, но и обязан-с. В этом отношении юридическая практика требует, чтобы стороны признавали друг за другом самую широкую свободу. Если б не было полной свободы воззрений на гражданскую истину, не существовало бы целой громады сочинений по каждому вопросу гражданского права, не было бы, наконец, и самого процесса. В вопросах гражданского права все зависит от обстановки, умения пользоваться ошибками противника и от способности делать именно те выводы, которые наиболее отвечают интересам клиента. Если мое дело обставлено прочно, если я не лишен дара противопоставлять выводам моего противника другие, еще более логичные выводы, и если, при этом, я умею одни обстоятельства оставить в тени, а на другие бросить яркий свет – я заранее могу быть уверен, что дело мое будет выиграно. Но не следует думать, что это вещь легкая. Независимо от ума, ловкости, знания законов и в особенности кассационных решений, тут необходима и известная доля самопожертвования. Клиент требователен, господа, и часто даже несправедлив и горяч. Вот об чем не следует забывать при обсуждении деятельности адвоката!

– Ну, да уж это само собой. Умеешь денежки брать – умей и шпаги глотать! не прогневайся! – бесцеремонно вмешивается один из депутатов по части истребления вредных мыслей.

– Если вы под этим разумеете гонорар, то считаю нелишним объяснить вам, что размер его исключительно обуславливается высшим или низшим уровнем юридического развития общества. Высокое вознаграждение за адвокатскую услугу есть налог на юридическое невежество общества – и ничего более.

– Ну, батенька, про юридическое или там другое развитие вы нам не рассказывайте! Знаем мы вас, мудрецов! Не там подписал "к сему" да не на той гербовой бумаге подал... вот тебе и юридическое развитие!

– С одной стороны, в последнее время все это значительно упрощено, и нынче меньше, нежели когда-нибудь, мы вправе отговариваться неведением законов. С другой стороны, поверьте, что если б законодатель не оградил гражданского процесса известными формальностями, то шансы на достижение юридической истины, конечно, были бы еще более сомнительными, нежели даже в настоящее время. *Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde*, [Все переплетено, все связано в этом мире (франц.)] сказал один знаменитый философ, и сказал великую истину. Отмените, например, апелляционные и кассационные сроки – и перед вами хаос, перед вами бездна, на поверхность которой наверное не всплывет ни одного решенного дела!

– Но позвольте, однако ж! как же это так: в гражданских делах нет истины?! гм... нет истины?! – недоумевал педагог.

– Я не говорю: "нет истины"; я говорю только: "нет безотносительной истины". Если угодно, я поясню вам это примером. Недавно у меня на руках было одно дело по завещанию. Купец отказал жене своей имение, но при этом употребил в завещании следующее выражение: "жене моей, такой-то, за ее любовь, отказываю в вечное владение то-то и то-то". Как, по вашему мнению, следует ли считать жену покойного собственницей завещанного имения?

– Кажется, что следовало бы... а впрочем...

– Чего "впрочем"? Просто черт ногу переломит – и всё тут!

– Вот видите, вы сомневаетесь сами. Это уж признак очень важный. Вы говорите: "Кажется, следует, а впрочем..." не доказывает ли это с осязательностью неопровержимейшей истины, что в гражданских вопросах нет ничего безотносительно верного? Тем не менее, в данном случае, я остановился на той мысли; что клиентку мою следует признать собственницей завещанного. Я сказал себе: "Моя клиентка желает быть собственницей – та foі [ну что ж (франц.)], постараемся устроить дело так, чтоб она была удовлетворена". И чтоб достичь этого результата, я употребил довольно оригинальный прием. Я обратился к вопросу: что такое завещание? – и на этом простом вопросе, играя им, так сказать, во всех направлениях, я в буквальном смысле слова кругом пальца обвертел все дело. В самом деле, господа, что такое завещание? – завещание, говорите вы, есть выражение воли завещателя. Это ясно, и с этим вполне согласен и я. Но в чем преимущественно выражается воля завещателя? в букве ли завещания или в смысле его? Опять вопрос, на который, я надеюсь, вы ответите: "Конечно, не в букве, а в смысле, и даже не в том внешнем смысле, который водит неопытную руку какого-нибудь невежественного купца, а в том интимном смысле, который сопутствует его мысли, его, так сказать, намерению!" Утверждать противное – значит допускать в судебную практику прецедент в высшей степени странный, отчасти даже скабрёзный. Итак, до сих пор мы были с вами согласны. Но вот вы приступаете к самому разбору завещания и говорите: "Тем не менее, вечное владение невозможно. Вечна собственность, – говорите вы, – но владение, по самому существу своему, есть нечто временное, почти эфемерное". – "Прекрасно, – отвечаю я, – я первый соглашаюсь с вами, я даже иду далее вас и утверждаю, что совместное существование таких представлений, как вечность и владение, есть не что иное, как неестественнейший конкубинат. Допустить подобный конкубинат, – говорю я, – значило бы потрясти самое основание собственности, а кто же из нас не остановится в ужасе перед подобным предположением! Mais entendons-nous, messieurs! [Но условимся, господа! (франц.)] не будемте торопливы, постараемся проникнуть в самое сердце вопроса – и лишь тогда решимтесь произнести ему окончательный приговор! А чтобы легче достигнуть этого, я попрошу вас припомнить исходный пункт, из которого вышло дело, подавшее повод для наших разногласий. Припоминаем – и находим, что этот исходный пункт таков: завещание есть выражение воли завещателя. Ни больше, ни меньше. Определение это до такой степени верно, что тут нельзя ни убавить, ни прибавить ни одного слова, ни одной буквы, ни одной йоты. Завещание есть выражение воли завещателя – этим все сказано. Затем нам ничего другого не остается, как идти далее и постараться отыскать ту волю завещателя, которой выражением должно служить его завещание. Чтoб отыскать эту волю, мы обращаемся, как уже сказано выше, не к букве завещания, а к внутреннему смыслу его. К тому смыслу, который несомненно сопутствовал завещателю во все время, употребленное им на составление завещания, к тому смыслу, который был ясен и для лиц, подписавших завещание, в качестве свидетелей, и для жены завещателя. И вот здесь-то, на первых порах, мы встречаемся с словами: вечное владение! Кто писал эти слова, милостивые государи? – Их писал человек, с одной стороны, не искусившийся в юридических тонкостях, но который, с другой стороны, несомненно бы содрогнулся, если б понимал всю необъятность бездны, разделяющей такие понятия, как "вечность" и... "владение"! Эти слова писал простой купец, который не имел в жизни иного культа, кроме культа собственности. Неверная, быть может, изможденная болезнью рука его (завещание было писано на одре смерти, при общем плаче друзей и родных... когда же тут было думать о соблюдении юридических тонкостей!) писала выражение, составляющее ныне предмет споров, но бодря его мысль несомненно была полна другим выражением, – выражением, насчет которого, к счастью для человечества, не может быть двух разных мнений. Нужно ли говорить здесь, какое это выражение? Я, с своей стороны, находил бы это излишним, так как оно и без того, конечно, вертится у каждого на языке. Но если уж непременно нужно произнести его, ежели этого во что бы то ни стало требует противная сторона – извольте, я не отступлю и перед этою обязанностью! Я произнесу это интересующее вас выражение, произнесу его скромно, но уверенно, без ненужного пафоса, но во всеуслышание! Выражение это, которое так сильно вас интригует, господин поверенный противной стороны... это страшное для вас выражение – есть СОБСТВЕННОСТЬ!!"

Под конец адвокат, очевидно, забылся и повторил недавно сказанную им на суде речь. Он делал так называемые красивые жесты и даже наскакивал на педагога, мня видеть в нем противную сторону. Когда он умолк, в каюте на несколько минут воцарилось всеобщее молчание; даже ликвидаторы как будто усомнились в правильности задуманных ими ликвидации и, с беспокойством взглянув друг на друга, разом, для храбрости, выпили по большой.

– Да-с, батенька, ежели таким манером... да ежели при этом еще ночным временем... это точно, что без мыла куда хочешь влезть можно! – процедил депутат-помещик, когда улеглось общее изумление, произведенное внезапным пролитием словесного дождя.

– И выиграла-с? – в свою очередь, как-то отрывисто спросил педагог.

– Выиграл-с. Но, с другой стороны, я очень хорошо понимаю, что на дело моей доверительницы можно, было взглянуть и с иной точки зрения (поощренный успехом, адвокат до того разыгрался, что с самою любезною откровенностью, казалось, всем и каждому говорил: "я шалопай очень разносторонний, господа! я и не такие штуки проделать согласен!"). Как я уже имел честь объяснить, господа, главная обязанность адвоката относительно поручаемых ему дел – это обстановка, ловкость и умение осветить предмет тем светом, который наиболее благоприятствует интересам его клиента. В подтверждение этой мысли я мог бы привести вам множество разнообразнейших случаев, но остановлюсь на одном, подобном сейчас же рассказанному мной деле, в котором я играл уже роль не ответчика, а истца. Точь-в-точь такой же купец и точь-в-точь такое же завещание. Но тут я, конечно, уже остерегся от обращения к вопросу, что такое духовное завещание, а прямо поставил дело на почву строгой законности, на почву несовместимости понятия о владении с понятием о собственности. "Господа! – говорил я, – не будем обманываться! взглянем на предмет спора прямо, без адвокатских уверток и в особенности без так называемых цветов красноречия! Перед нами два выражения: "владение" и "собственность". Чтобы определить их, нам стоит только заглянуть вот в эту книгу (я поднимаю десятый том и показываю публике), и мы убедимся, что владение, какими бы эпитетами мы ни сдобривали его, не только не однородно с собственностью, но даже исключает последнюю. Признаки того и другого до такой степени различны, и различие это так наглядно, почти осязаемо, что никто не вправе его игнорировать. Здесь больше, нежели где-нибудь, уместна угроза закона: никто не может отговариваться невежеством закона. Допустить смешение в таком основном вопросе – значит допустить, чтобы обществу постоянно угрожала очень существенная опасность. Единственный оплот против подобной опасности – это суд, который, конечно, и не допустит, чтобы закон был обойден и намерения законодателя попораны. К нему мы и обращаемся; к его помощи мы взываем, чтобы оградить оскорбленную правду. Нам говорят, что вечное владение и собственность – одно и то же; но, спрашиваю я вас, что же станется с священным принципом собственности, если мы допустим подобную юридическую ересь? Нам говорят еще, что завещатель был невежествен, что он не получил юридического образования, что он только не умел различить "вечного владения" от "собственности", но что мысль его несомненно тяготела к сей последней. Но остережемся, милостивые государи! Спросим себя прежде всего, имеем ли мы право отдавать на поругание невежеству самые дорогие основы нашей гражданственности! До сих пор невежество считалось одним из неудобств общезнания; теперь нас хотят уверить, что это – привилегия! Привилегия – в отношении к чему? – в отношении к священнейшему из всех прав человеческих, к праву собственности! Не чувствуете ли вы какую-то неловкость при подобном неслыханном притязании? Не чувствуете ли вы себя незащищенными, свою жизнь – отданною на произвол всевозможным случайностям? Невежество имеет привилегию попирать собственность, невежество имеет привилегию игнорировать ее, невежество имеет привилегию упразднить ее и на место ее поставить нечто, фантастическое и призрачное! Не правда ли, какая кровавая ирония! К счастью, у нас есть суд, который не допустит этого! Вместе с ним мы станем на страже у входе величественного храма собственности и скажем: юридическая ересь не имеет права войти сюда! Господа! не будем обманывать себя! Свойства юридических ересей таковы, что они неслышно проникают в самые сокровенные святилища и, раз проникнув, утверждаются там навсегда. Кто знает? быть может, благодаря этим неслышным вторжениям, уже колеблется и тот всем нам дорогой храм собственности, о котором я сейчас говорил и на страже которого мы стоим... Быть может, в то самое время, когда мы собираем рать на защиту его, – его уж нет... он потрясен! Вот почему, в данном случае, я прошу, чтобы за выражением "собственность" было оставлено то чистое, строгое представление, которое имел об нем сам законодатель. Требуя этого, я не высказываю никакой дерзкой самонадеянности, а только, по мере моих слабых сил, защищаю общество от грозившей ему опасности! Я кончил, господа".

Все тоскливо переглянулись. Казалось, над всеми тяготела мысль: "Да, этот обчистит! хоть и не яко разбойник, а все-таки..." Педагог потирал себе колени; помещики-депутаты переглядывались между собой, как бы говоря: "Уж на что мы

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik ловки, а против этого, брат, - ау!" Ликвидаторы, как встрепанные, выбежали из каюты. Последовал за ними на палубу и я. Там, в самом уголку носовой части, спиной к ветру, расположились двое Хрисашек, по-видимому еще не выросших в меру настоящего Хрисашки, и разложивши на коленях синюю сахарную бумагу, раздирали руками вяленую воблу. Ликвидаторы подбежали к ним и начали шептаться, по временам возвышая голос. Отрывки этого совещания долетали и до меня.

- В суд - чтобы ни-ни! аблакатов - ни-ни! - восклицали ликвидаторы, - вести дело начистоту!

- Зачем аблакатов! на что лучше, коли-ежели дело начистоту! - успокоивал один Хрисашка.

- Чистое-то дело - ровно как яичко облупленное! и глядеть-то на него весело! - присовокуплял другой Хрисашка.

Успокоенные ликвидаторы, потребовав на бегу еще графин очищенной, вновь скрылись в каюту, и я за ними. Адвокат окончательно разыгрался и сыпал случаями из своей юридической практики. Он весь сиял: из каждой поры его организма, словно от светящегося червячка, исходил загадочный свет.

- Вы удивляетесь, вы восклицаете: "Вот так "штука"!" - говорил он, когда мы вошли, - я тоже, в свою очередь, скажу: "Да, это "штука", но в том лишь смысле, что здесь слово "штука" означает победу знания над невежеством, ума над глупостью, таланта над бездарностью". Недавно в моей практике был следующий оригинальный случай, который я, можно сказать, не доводя до суда, устроил в пользу моей клиентки. Является ко мне дама и говорит, что у нее есть вексель от одного лица, уже не находящегося в живых. Мне стоило бросить только один взгляд на эту даму, чтобы понять, что тут есть что-нибудь неладное. И в самом деле, взял в руки вексель - черт знает что! подпись не подпись, а так какие-то каракули, навараканные и вкривь и вкось. "Это собственноручная подпись должника?" - спрашиваю я. "Да, это его подпись". - "Но это обыкновенная его подпись? всегда он подписывался таким образом?" - "Нет... да... болезнь..." - "Следовательно-с?.." Баба мнетса, краснеет, бледнеет... "Достаточно, - говорю я, - я не желаю искушать вашу совесть. Я не знаю, выиграется ли это дело, но знаю, что подобные дела выигрываются". Затем я условливаюсь насчет гонорара, подаю вексель ко взысканию, а через неделю уже удостоиваюсь посещения наследника должника. "Вы взыскиваете с меня по векселю, - говорит он мне, - но это документ фальшивый: вот настоящие и притом современные документу подписи должника". - "Не смею с вами спорить, - отвечаю я, - но согласитесь, что ежели делать фальшивый документ, то гораздо выгоднее подделать подпись как следует, нежели так, как она в настоящем случае сделана. Здесь самое неряшество подписи доказывает, что она действительная". - "Словом сказать, - отвечает он мне, - если бы подпись была хорошо подделана, вы бы доказывали, что нельзя подписаться под чужую руку так отчетливо; теперь же, когда подпись похожа черт знает на что, вы говорите, что это-то именно и доказывает ее подлинность?" - "Не смею с вами спорить, - говорю я, - но мое убеждение таково, что эта подпись подлинная". - "Позвольте-с! ну, предположим! ну, допустим, что подпись настоящая; но разве вы не видите, что она сделана в бессознательном положении и что ваш документ во всяком случае безденежный?" - "Опять-таки не смею спорить с вами, но позволю себе заметить, что все это требует доказательств и сопряжено с некоторым риском..." Затем мы пожимаем друг другу руки и расстаемся, как джентльмены. Через неделю он, однако же, вновь удостоивает меня посещением. - "Слушайте! - говорит, - я человек спокойный, в судах никогда не бывал и теперь должен судиться, нанимать адвокатов... поймите, как это неприятно!" - "Совершенно понимаю-с, но интересы моих клиентов для меня священны, и я, к сожалению, ничего не могу сделать для вашего спокойствия". - "Позвольте! если бы ваша клиентка сделала уступку... если бы, например, половину... ведь задаром и половину получить недурно... не правда ли, недурно!" - "Правда-с; но извините, я не имею права даже останавливаться на подобном предположении; это была бы правда, если б было доказано, что деньги, которые вы изволите предлагать на мировую, действительно приобретаются задаром, а для меня это далеко не ясно". - "Ну, так как же? нельзя, стало быть... задаром-то?" - "Извольте, я сделаю, что от меня зависит, я переговорю с моей доверительницей..." И чрез несколько дней, действительно, устраиваю дело к общему удовольствию!..

- То есть, взяли деньги задаром? - отрубил один из депутатов.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Повторяю: я не считаю себя вправе тяготеть над совестью моих клиентов. В настоящем случае моя роль была ясна: облегчить пути для мирного соглашения, и я достиг этого. Исполнивши это, я мог бы счесть свои обязанности оконченными, но я пошел даже дальше. Во внимание к тому, что противная сторона предупредительно избавила меня от грустной обязанности ходатайствовать пред судом, я дал ей полезный совет. "Берегитесь! – сказал я наследнику должника, – перед вами еще целых десять лет, в продолжение которых вас могут тревожить подобными документами!"

Это было сказано так ясно, отчетливо и вразумительно, что депутат-помещик уже без всякой церемонии запел:

– Но я-я-ко разбо-ойник!

Однако ж педагог не унялся и рискнул возразить.

– Позвольте, – сказал он, – не лучше ли возвратиться к первоначальному предмету нашего разговора. Признаться, я больше насчет деточек-с. Я воспитатель-с. Есть у нас в заведении кафедра гражданского права, ну и, разумеется, тут на первом месте вопрос о собственности. Но ежели возможен изложенный вами взгляд на юридическую истину, если он, как вы говорите, даже обязателен в юридической практике... что же такое после этого собственность?

Вопрос этот до такой степени изумил адвоката своею наивностью, что он смерил своего возражателя с головы до ног.

– Собственность! – ответил он докторальным тоном, – но кто же из нас может иметь сомнение насчет значения этого слова! Собственность – это краеугольный камень всякого благоустроенного общества-с. Собственность – это объект, в котором человеческая личность находит наиудобнейшее для себя проявление-с. Собственность – это та вещь, при несуществовании которой человеческое общество рисковало бы превратиться в стадо диких зверей-с. Я полагаю, что для "деточек" этих определений совершенно достаточно!

Сказав это, он, не торопясь, встал с места и вышел на палубу.

Усталый после бессонной ночи, проведенной в тарантасе, я прилег на диван с намерением заснуть, но выполнить это намерение не представлялось никакой возможности. С уходом адвоката в каюте сделалось как-то вольнее, как будто отсутствие его всем развязало языки.

– Ушел! – воскликнул один из депутатов. – И черт его знает... вот уже именно черт его знает!!

– Необыкновенные нынче люди пошли, – отозвался другой депутат, – глаза у него словно сверла, язык суконный... что захочет, то на тебя и наплетет!

– Долго ли наплести!

– Вот хоть бы сейчас. Говорил, это, говорил... Только что вот уцепишься за что-нибудь – глядь, он опять, шельма, из рук выскочил!

– И как он это просто сказал: налог, дескать, на ваше невежество! До сих пор казна налоги собирала, а нынче, изволите видеть, новые сборщики проявились!

– То ли дело прежние порядки! Придешь, бывало, к секретарю, сунешь ему барашка в бумажке: плети, не торопясь!

– А покуда он плетет – ты переезжай из усадьбы в усадьбу!

– Нет, этот и из-за тридевять земель выколупает! от него ни горами, ни морями – ничем не загородишься!

С своей стороны, педагог был неутешен.

– Теперича кафедра гражданского права... как тут учить! Как я скажу деточкам, что в гражданском процессе нет безотносительной истины! Ведь деточки – умные! А как же, скажут, ты давеча говорил, что собственность есть краеугольный камень

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
всякого благоустроенного общества?!

Один из заспанных празднующихся воспользовался этим смутным настроением общества и, остановившись против педагога, сказал:

– Слушайте! давайте, ради Христа, в преферанс играть!

Педагог с минуту колебался, но потом махнул рукой и согласился. Его примеру последовали и депутаты. Через пять минут в каюте были раскинута два стола, за которыми шла игра, перемежаемая беседой по душе.

– А вы слышали, что лекарь-то наш женился?

– Не может быть! неужто на предводительской француженке?

– Верно изволили угадать. Шестого числа у Петра Петровича в Воронове и свадьба была.

– Ну, едва ли, однако ж, наш эскулап в расчете останется!

– Чего в расчете! Сразу так и разыграл поговорку: по усам текло, в рот не попало!

– Что вы!

– Такая тут у нас вышла история! такая история! Надо вам сказать, что еще за неделю перед тем встречает меня Петр Петрович в городе и говорит: "Приезжай шестого числа в Вороново, я Машу замуж выдаю!" Ну, я, знаете, изумился, потому ничего такого не видно было...

– Помилуйте! как же не видно было! Да она с эскулапом-то, говорят, уж давненько!..

– Говорят-то говорят, а кто видел?.. Конечно, может быть, она и приголубливала его, но чтобы дойти до серьезного – ни-ни! Не такая это женщина, чтоб стала из-за пустого каприза верным положением рисковать. Ну-с, так слушайте. Приезжаю я перед вечером, а они уж и в церковь совсем готовы. Да, надо вам, впрочем, сказать, что Петр Петрович перед этим в нашу веру ее окрестил, чтобы после, знаете, разговоров не было... Ну-с, в церковь... из церкви... шаш, значит! В десять часов ужин. Весела она, обольстительна – как никогда! Кружева, блонды, атлас, брильянты; ну, думаю, кого-то ты, голубушка, будешь своими парюрами в нашем городишке прельщать? Хорошо. Не успели мы отужинать, а у них уж и экипажи готовы: молодые – к себе в город, Петр Петрович – в Москву. И представьте, среди тостов вдруг встает наш эскулап и провозглашает: "Господа! до сих пор шли тосты, так сказать, официальные; теперь я предлагаю мой личный, задушевный тост: здоровье отъезжающего!" Это Петра Петровича-то!

– Отъезжающего! ха-ха!

– Признаться, я тогда же подумал: "Не прогадай, mon cher! [дорогой мой! (франц.)] как бы не пришлось тебе пить за здоровье приезжающего..." ну, да это так, к слову... Часов этак в одиннадцать ушли молодые переодеться на дорогу, и Петр Петрович за ними следом. Через полчаса возвращается эскулап: щегольская жакетка, сумка через плечо... Понимаете, весь костюм для него Петр Петрович в Москве заказывал... Только сидим мы еще полчаса – ни Марьи Павловны, ни Петра Петровича! Ну, думаю, житейское дело: прощаются! Однако проходит и еще время: эскулап мой начинает уж на часы поглядывать (Петр Петрович ему великолепный хронометр подарил!). Стало уж и мне его жалко; я, знаете, спроста и говорю лакею: "Голубчик! попросил бы ты Петра Петровича к нам!" – "Да они, говорит, уж с час времени с Марьей Павловной в Москву уехали".

– Вот так случай!

– Ну, мы все, кто тут был, – поскорее за шапки. А уж он как до города добрался – этого не умею сказать!

– Однако ж!.. история!!

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– И представьте, только тем и попользовался, что хронометр да две пары платья получил!

– А не дурак ведь!

– Какой же дурак! Какие в нынешнем году, во время рекрутского набора, симфонии разыгрывал – гениальнейший человек-с! А тут вот слепота нашла.

– Да, знаете, не мудрено и опростоволоситься-то. Ведь если б он с купцом дело имел, а то ведь Петр Петрович... ведь благороднейший человек-с!

– Так-то так... слова нет; Петр Петрович...

– Если он ему обещал... положим, десять или пятнадцать тысяч... ну, каким же образом он этакому человеку веры не даст? Вот так история!! Ну, а скажите, вы после этого видели эскулапа-то?

– Как же; встретились. Ничего. "Погода, говорит, стоит холодная, прозябание развивается туго..."

– Это он, должно быть, еще в Воронове наблюдал... ха-ха!

– Ха-ха... пожалуй! Ха-ха... пожалуй, что и так!

– Господа! что-нибудь одно: либо в карты играть, либо анекдоты рассказывать! – тоскливо восклицает один из играющих, – пас!

Некоторое время в каюте ничего не слышно, кроме "пас! куплю! мизер! семь!" и т.д. Но мало-помалу душевный разговор опять вступает в свои права.

– Впрочем, я уж не раз замечал, что как-то плохо расчеты-то эти удаются. Вот еще недавно в Москве с князем Зубровым случай был...

– Какой это князь Зубров? что-то не слыхал такой фамилии!

– Литовская-с. Их предок, князь Зубр, в Литве был – еще в Беловежской пуше имение у них... Потом они воссоединились, и из Зубров сделали Зубровыми, настоящими русскими. Только разорились они нынче, так что и Беловежскую-то пушу у них в казну отобрали... Ну-с, так вот этот самый князь Андрей Зубров... Была в Москве одна барыня: сначала она в арфистках по трактирам пела, потом она на воздержанье попала... Как баба, однако ж, неглупая, скопила капиталец и открыла номера...

– Позвольте! это не та ли, что в гостинице "Неаполь" номера снимает! Варвара Ивановна!

– Ну, так-так-так! Она самая!

– И как до сих пор сохранилась!

– Ничего, в телах барыня. Только как открыла она номера, князь Зубров – в ту пору он студентом был – и стал, знаете, около нее похаживать. То в коридоре встретится – помычит, то в контору придет – лбом в нее уставится. Видит Варвара Ивановна, что дело подходящее: князь, молодой человек, статьи хорошие, образованный... стала его приголубливать. Только все, знаете, пустячками: рюмку водки из собственных рук поднесет, бутербродцем попотчует. Словом сказать, всякую аттенцию оказывает, а настоящего дела не открывает. Задумался мой князек: "В настоящем – ничего, в будущем – еще того меньше. Женюсь!" Разумеется, главный расчет – деньги; "женюсь, говорит, и буду с деньгами отдыхать!" Что ж – и женился-с! Только что бы вы думали? – отвела она ему номер... ну, разумеется, обед там, чай, ужин, а денег – ни-ни! И таким манером идет у них и посейчас! Ни его ни к кому, ни к нему никого! А себе, между прочим, независимо от сего, орденского драгуна завела! Так вот они каковы эти расчеты-то бывают!

– Уж очень, должно быть, прост ваш князек?

– Прост-то прост. Представьте себе, украдется как-нибудь тайком в общую залу, да и рассказывает, как его Бобоша обделала! И так его многие за эти рассказы

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
полюбили, что даже потчуют. Кто пива бутылку спросит, кто графинчик, а кто и шампанского. Ну, а ей это на руку: пускай, мол, болтают, лишь бы вина больше пили! Я даже подозреваю, не с ее ли ведома он и вылазки-то в общую залу делает.

– Да, с этими барынями... ой-ой, нужно ухо остро держать!

– Вот кабы векселя... это так! Тогда, по крайней мере, в узде ее держать можно. Обмундштучил, знаете... пляши! Вот у меня соседка, Кучерявина, есть, так она все мужа водкой поила да векселя с, него брала. Набрала, сколько ей нужно было, да и выгнала из имения!

– Господа! сделайте ваше одолжение! мы в карты играем! держу семь в бубнах.

– Позвольте-с! двадцать две копейки выиграл – и за карты должен платить! где же тут справедливость! – протестует за другим столом педагог.

Начинается спор: следует или не следует. Я убеждаюсь, что спать мне не суждено, и отправляюсь вверх, на палубу.

Восьмого половина; солнце уже низко; ветер крепчает; колеса парохода мерно рассекают мутные волны реки; раздается троекратный неистовый свист, возвещающий близость пристани. Виднеется серенький городишко, у которого пароход должен, по положению, иметь получасовую остановку. Пассажиры третьего класса как-то безнадежно слоняются по палубе, и между ними, накинув на плеча плед и заложив руки в карманы пальто, крупными шагами расхаживает адвокат.

– Вы в Петербург? – спрашивает он, подходя ко мне.

– Да, в Петербург.

– Я тоже. Черт знает, как этот проклятый пароход тихо двигается! Просто не знаешь, как время убить! А завтра еще в Т. полсутки поезда дожидаться нужно.

– Вы бы в карты... в каюте играют уж...

– Ну их. Я и то раскаиваюсь, что давеча погорячился. Пожалуй, еще на шпиона наткнешься.

– Ну вот! если б на все пароходы шпионов посылать, так тут никакого бюджета бы не хватило!

– Нет, батенька, вы не знаете. У нас тем-то и скверно, что добровольных, бесплатных шпионов не оберешься! А скажите, я давеча не проврался?

– Ничего, кажется, все как следует. А закончили даже отлично.

– Это насчет краеугольных камней-то? А что, разве вы не согласны?

– Помилуйте! что вы! да я на том стою! В "нашей уважаемой газете" я только об этом и пишу!

– Да? так вы тоже писатель?

– Еще бы. Вот эти статьи, в которых говорится: "с одной стороны, должно признаться, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться" – это всё мои!

– Так позвольте мне рекомендовать себя: мы борцы одного и того же лагеря. Если вы читали статьи под названием: "Еженедельные плевки в пустопорожнее место" – то это были мои статьи!

Мы обнялись. Быть может, в другом месте мы не сделали бы этого, но здесь, в виду этого поганого городишки, в среде этих людей, считающих лакомством вяленую воблу, мы, забыв всякий стыд, чувствовали себя далеко не шуточными деятелями русской земли. Хотя мы оба путешествовали по делам, от которых зависел только наш личный интерес, но в то же время нас ни на минуту не покидала мысль, что, кроме личного интереса, у нашей жизни есть еще высшая цель, известная под названием "украшения столбцов". Он мечтал о том, как бы новым "плевком" окончательно загадить пустопорожнее место, я же, с своей стороны, обдумывал

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
обременительнейший ряд статей, из которых каждая начиналась бы словами: "с одной
стороны, нужно признаться" и оканчивалась бы словами: "об этом мы поговорим в
другой раз"...

В отличнейшем расположении духа мы воротились в каюту. На одном столе игра еще продолжалась; кончившие игру сидели тут же и наблюдали.

– Вы в Т. едете? – спросил педагог у одного из депутатов.

– Мы туда все четверо по одному и тому же делу.

– К господину губернатору?

– Да, депутацией от уезда. Негодяй один у нас завелся. Собственности не признает, над семейством издевается... так мы его пробрать хотим!

– И проберем-с.

– Молодой человек?

– Как вам сказать... он у нас мировым судьей служит. Да он здесь, с нами же едет, только во втором классе. Почуяла кошка, чье мясо съела, – предупредить грозу хочет! Да н'што ему: спеша! поспешай! мы свое дело сделаем!

– Пропаганда, стало быть, с его стороны была?

– И пропаганда, и всё – мы уж расскажем! Мы всё, как на картине, изобразим! Вот как придется ему холодные-то климанты посетить, кровь-то у него и поостынет!

Говоря это, депутат взял взятку и с таким судорожным движением щелкнул ею по столу, что даже изогнул карты.

– Ну, что! я вам говорил! – шепотом заметил мне адвокат, – каков народец! Кому-нибудь судья-то отказал, дело решил не в пользу – сейчас и донос! Поверьте мне, батенька...

Но я уже не слушал: я как-то безучастно осматривался кругом. В глазах у меня мелькали огни расставленных на столах свечей, застилаемые густым облаком дыма; в ушах раздавались слова: "пас", "проберем", "не признает собственности, семейства"... И в то же время в голове как-то назойливее обыкновенного стучала излюбленная фраза: "с одной стороны, должно сознаться, хотя, с другой стороны, – нельзя не признаться"...

* * *

На другой день, с почтовым поездом, я возвращался в Петербург. Дорогой я опять слышал "благонамеренные речи" и мчался дальше и дальше, с твердою надеждой, что и впредь, где бы я ни был, куда бы ни кинула меня судьба, всегда и везде будут преследовать меня благонамеренные речи...

ПО ЧАСТИ ЖЕНСКОГО ВОПРОСА

Я возвращался с вечера, на котором был свидетелем споров о так называемом женском вопросе. Говоря по совести, это были, впрочем, не споры, а скорее обрывки всевозможных предположений, пожеланий и устремлений, откуда-то внезапно появлявшихся и куда-то столь же внезапно исчезающих. Говорили все вдруг, говорили громко, стараясь перекричать друг друга. В сознании не сохранилось ни одного ясно сформулированного вывода, но, взамен того, перед глазами так и мелькали живые образы спорящих. Вот кто-то вскакивает и кричит криком, захлебывается, жестикулирует, а рядом, как бы соревнуясь, вскакивают двое других и тоже начинают захлебываться и жестикулировать. Вот четыре спорящие фигуры заняли середину комнаты и одновременно пропекают друг друга на перекрестном огне восклицаний, а в углу безнадежно выкрикивает некто пятый, которого осаждают еще трое ораторов и, буквально, не дают сказать слова. Все глаза горят, все руки в движении, все голоса надорваны и тянут какую-то недостижимо высокую ноту; во всех горлах пересохло. Среди моря гула слух поражают фразы, скорее, имеющие вид междометий, нежели фраз.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Хоть бы позволили в Медико-хирургическую академию поступать! – восклицают
одни.

– Хоть бы позволили университетские курсы слушать! – отзываются другие.

– Не доказали ли телеграфистки? – убеждают третьи.

– Наконец, кассирши на железных дорогах, наборщицы в типографиях, сиделицы в
магазинах – все это не доказывает ли? – допрашивают четвертые.

И в заключение склонение: Суслова, Сусловой, Суслову, о, Суслова! и т.д.

Наконец, когда все пожелания были высказаны, когда исчерпались все междометия,
прения упали само собою, и все стали расходиться, в числе прочих вышел и я,
сопутствуемый другом моим, Александром Петровичем Тебеньковым.

Я либерал, а между "своими" слышу даже "красным". "Наши дамы", разумеется в
шутку, но тем не менее так мило называют меня Гамбеттой, что я никак не могу
сердиться на это. Скажу по секрету, название это мне даже льстит. Что ж, думаю,
Гамбетта так Гамбетта – не повесят же в самом деле за то, что я Гамбетта,
переложенный на русские нравы! Не знаю, по какому поводу пришло ко мне это
прозвище, но предполагаю, что я обязан ему не столько революционерным моим
наклонностям, сколько тому, что с малолетства сочувствую "благим начинаниям". В
сороковых годах я с увлечением аплодировал Грановскому и зачитывался статьями
Белинского. В середине пятидесятих годов я помню одну ночь, которую я всю
напролет прошагал по Невскому и чувствовал, как все мое существо словно уносит
куда-то высоко, навстречу какой-то заре, которую совершенно явственно видел мой
умственный взор. В конце пятидесятих и в начале шестидесятих годов я
просто-напросто ощущал, что подо мною горит земля. Я не жил в то время, а реял и
трепетал при звуках: "гласность", "устность", "свобода слова", "вольный труд",
"независимость суда" и т.д., которыми был полон тогдашний воздух. В довершение
всего, я был мировым посредником. Даже и ныне, когда все уже совершилось и
желать больше нечего, я все-таки не прочь посочувствовать тем людям, которые
продолжают нечто желать. По старой привычке, мне все еще кажется, что во всяких
желаниях найдется хоть крупица чего-то подлежащего удовлетворению (особливо если
тщательно рассортировывать желания настоящие, разумные от излишних и неразумных,
как это делаю я) и что если я люблю на досуге послушать, какие бывают на свете
вольные мысли, то ведь это ни в каком случае никому и ничему повредить не может.
Ведь я не выхожу с оружием в руках! Ведь я люблю вольные мысли лишь постольку,
поскольку они представляют *matiere ю discussion!* [материал для спора (франц.)]

Будемте спорить, господа! *raisonnons, messieurs, raisonnons!* [порассудим,
господа, порассудим! (франц.)] Но чтобы, с божьей помощью, выйти с вольными
мыслями куда-нибудь на площадь... Нет, это уж позвольте, господа! – это
запрещено-с!

А так как "наши дамы" знают мои мирные наклонности и так как они очень добры, то
прозвище "Гамбетта" звучит в их устах скорее ласково, чем сердито. К тому же,
быть может, и домашние Руэры несколько понадоели им, так что в Гамбетте они
подозревают что-нибудь более пикантное. Как бы то ни было, но наши дамы всегда
спешат взять меня под свое покровительство, как только услышат, что на меня
начинают нападать. Так что, когда однажды князь Лев Кирилыч, выслушав одну из
моих "благодетельных" диатриб, воскликнул:

– Вы, мой любезнейший друг, – человек очень добрый, но никогда никакой карьеры
не достигнете! – Потому что вы есть "красный"!

То княгиня Наталья Борисовна очень мило заступилась за меня, сказав:

– *Ce pauvre Gambetta! Il est dit qu'il restera toujours meconnu et calomnie! Et
il ne deviendra ni senateur, ni membre du Conseil de l'Empire!* [Бедный Гамбетта!
Ему суждено навсегда остаться непризванным и оклеветанным. Не быть ему ни
сенатором, ни членом Государственного совета! (франц.)]

Одним словом, я представляю собой то, что в нашем кружке называют *un liberal
ires prononce* [ярко выраженный либерал (франц.)], или, говоря другими словами,
я человек, которого никто никогда не слушает и которому, если б он сунулся к
кому-нибудь с советом, бесцеремонно ответили бы: *mon cher! vous divaguez!* [вы

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
чепуху городите, мой дорогой! (франц.)] И я сознаю это; я понимаю, что я не способен и что в мнении моем действительно никому существенной надобности не предстоит. Так что однажды, когда два дурака, из породы умеренных либералов (то есть два такие дурака, о которых даже пословица говорит: "два дурака съедутся - инно лошади одурят"), при мне вели между собой одушевленный обмен мыслей о том, следует ли или не следует принять за благоприятный признак для судебной реформы то обстоятельство, что тайный советник Проказников не получил к празднику никакой награды, то один из них, видя, что и я горю нетерпением подействовать разрешению этого вопроса, просто-напросто сказал мне: "Mon cher! ты можешь только запутать, помешать, но не разрешить!" И я не только не обиделся этим, но простодушно ответил: "Да, я могу только запутать, а не разрешить!" - и скромно удалился, оставив дураков переливать из пустого в порожнее на всей их воле...

Но как ни велико мое сочувствие благим начинаниям, я не могу выносить шума, я страдаю, когда в ушах моих раздается крик. Я рос и воспитывался в такой среде, где так называемые "резкости" считаются первым признаком неблаговоспитанности. Поэтому, когда передо мной начинают "шуметь", мне делается не по себе, и я способен даже потерять из вида предмет, по поводу которого производится "шум". Случалось, что я отворачивался от многих "благих начинаний", к которым я несомненно отнесся бы благосклонно, если б не примешались тут "шум" и "резкости". "Помилуйте! - говорю я, - разве можно иметь дело с людьми, у которых губы дрожат, глаза выпучены и руки вертятся, как крылья у мельницы? С людьми, которые не демонстрируют, а кричат? Сядемте, господа! будемте разговаривать спокойно! сперва пусть один скажет, потом другой пусть выскажется, после него третий и т.д. Тогда я, конечно, готов и выслушать, и взвесить, и сообразить, а ежели окажется возможным и своевременным... отчего же и не посочувствовать! Но вы хотите кричать на меня! вы хотите палить в меня, как из пушки, - ну, нет-с, на это я не согласен!"

А так как только что проведенный вечер был от начала до конца явным опровержением той теории поочередных высказов, которую я, как либерал и притом "красный", считаю необходимым условием истинного прогресса, то очевидно, что впечатление, произведенное на меня всем слышанным и виденным, не могло быть особенно благоприятным.

Но еще более неблагоприятно подействовал вечер на друга моего Тебенькова. Он, который обыкновенно бывал словоохотлив до болтливости, в настоящую минуту угрюмо запахивался в шубу и лишь изредка, из-под воротника, разрешался афоризмами, вроде: "Que! taudis! Tudieu, quel execrable taudis" [что за кабак! черт возьми, какой мерзкий кабак! (франц.)] или: "Ah, pour l'amour du ciel! ou me suis-je donc fourre!" [Бог мой, куда я попал! (франц.)] и т.д.

Тебеньков - тоже либерал, хотя, разумеется, не такой красный, как я. Я - Гамбетта, то есть человек отпетый и не признающий ничего святого (не понимаю, как только земля меня носит!). "наши" давно махнули на меня рукой, да и я сам, признаться, начинаю подозревать, что двери сената и Государственного совета заперты для меня навсегда. Я мог бы еще поправить свою репутацию (да и то едва ли!), написав, например, вторую "Парашу Сибирячку" или что-нибудь вроде "С белыми Борей власами", но, во-первых, все это уж написано, а во-вторых, к моему несчастью, в последнее время меня до того одолела офенбаховская музыка, что как только я размахнусь, чтоб изобразить монолог "Неизвестного" (воображаемый монолог этот начинается так: "и я мог усумниться! о, судебная реформа! о, земские учреждения! и я мог недоумевать!"), или, что одно и то же, как только приступлю к написанию передовой статьи для "Старейшей Российской Пенкоснимательницы" (статья эта начинается так: "Есть люди, которые не прочь усумниться даже перед такими бесспорными фактами, как, например, судебная реформа и наши всё еще молодые, всё еще неокрепшие, но тем не менее чреватые благими начинаниями земские учреждения" и т.д.), так сейчас, словно буря, в мою голову вторгаются совсем неподходящие стихи:

Je suis gai!

Soyez gais!

Il le faut!

Je le veux!

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов [Я весел! Будьте веселы! Так нужно! Я этого хочу! (франц.)]

И далее я уже продолжать не могу, а прямо бегу к фортепьяно и извлекаю из клавиш целое море веселых звуков, которое сразу поглощает все горькие напоминания о необходимости монологов и передовых статей...

Совсем другое дело – Тебеньков. Во-первых, он, как говорится, *toujours a cheval sur les principes*; [всегда страшно принципиален (франц.)] во-вторых, не прочь от "святого" и выражается о нем так: *"convenez cependant, mon cher, qu'il y a quelque chose que notre pauvre raison refuse d'approfondir"* [однако согласитесь, дорогой, есть вещи, в которые наш бедный разум отказывается углубляться (франц.)], и, в-третьих, пишет и монологи и передовые статьи столь неослабно, что никакой Оффенбах не в силах заставить его положить оружие, куда существует хоть один несраженный враг. Поэтому, хотя он в настоящую минуту и не у дел, но считает карьеру свою далеко не оконченной, и когда проезжает мимо сената, то всегда хоть одним глазком да посмотрит на него. В сущности, он даже не либерал, а фрондер или, выражаясь иначе: почтительно, но с независимым видом лающий русский человек.

Происхождение его либерализма самое обыкновенное. Кто-то когда-то сделал что-то не совсем так, как он имел честь почтительнейше полагать. По-настоящему, ему тогда же следовало, не конфузясь, объяснить недоразумение и возразить: "да я именно, ваше превосходительство, так и имел честь почтительнейше полагать!" – но, к несчастью, обстоятельства как-то так сложились, что он не успел ни назад отступить, ни броситься в сторону, да так и остался с почтительнейшим докладом на устах. Вот с этих пор он и держит себя особняком и не без дерзости доказывает, что если б вот тут на вершок убавить, а там на вершок прибавить (именно как он в то время имел наглость почтительнейше полагать), то все было бы хорошо и ничего бы этого не было. Но в то же время он малый зоркий и очень хорошо понимает, что будущее еще не ускользнуло от него.

– Я теперь в загоне, *mon cher*, – откровенничает он иногда со мной, – я в загоне, потому что ветер дует не с той стороны. Теперь – честь и место князю Ивану Семенычу: *c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Tant qu'il reste là, je m'eclipse – et tout est dit* [это он делает погоду. Раз он там, я стушевываюсь – и этим все сказано (франц.)]. Но это не может продолжаться. *Cette bagarre gouvernementale ne saurait durer* [Этой правительственной сумятице придет конец (франц.)]. Придет минута, когда вопрос о князе Льве Кирилыче сам собою, так сказать, силою вещей, выдвинется вперед. И тогда...

Дойдя до этого "тогда", он скромно умолкает, но я очень хорошо понимаю, что "тогда" – то именно и должно наступить царство того серьезного либерализма, который понемножку да помаленьку, с божьей помощью, выдаст сто один том "Трудов", с таковым притом заключением, чтобы всем участвовавшим в "Трудах", в вознаграждение за рвение и примерную твердость спинного хребта, дать в вечное и потомственное владение хоть по одной половине уезда в плодороднейшей полосе Российской империи, и затем уже всякий либерализм навсегда прекратит.

За всем тем, он человек добрый или, лучше сказать, мягкий, и те вершки, которые он предлагает здесь убавить, а там прибавить, всегда свидетельствуют скорее о благосклонном отношении к жизни, нежели об ожесточении. Выражения: согнуть в бараний рог, стереть с лица земли, вырвать вон с корнем, зашвырнуть туда, куда Макар телят не гонял, – никогда не принимались им серьезно. По нужде он, конечно, терпел их, но никак не мог допустить, чтоб они могли служить выражением какой бы то ни было административной системы. Он был убежден, что даже в простом разговоре излишне их избегать, чтобы как-нибудь по ошибке, вследствие несчастного *lapsus linguae* [обмолвки (лат.)] в самом деле кого-нибудь не согнуть в бараний рог. Первая размолвка его с князем Иваном Семенычем (сначала они некоторое время служили вместе) произошла именно по поводу этого выражения. Князь утверждал, что "этих людей, *mon cher*, непременно надобно гнуть в бараний рог", Тебеньков же имел смелость почтительнейше полагать, что самое выражение: "гнуть в бараний рог" – *est une expression de nationalgarde, a peu pres vide de sens* [это почти бессмысленное выражение национальных гвардейцев (франц.)].

– Смее думать, ваше сиятельство, – доложил он, – что и заблуждающийся человек может от времени до времени что-нибудь полезное сделать, потому что заблуждения не такая же специальность, чтобы человек только и делал всю жизнь, что заблуждался. Франклин, например, имел очень многие и очень вредные заблуждения,

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
но по прочему по всему и он был человек небесполезный. Стало быть, если б его в
то время взять и согнуть в бараний рог, то хотя бы он и прекратил по этому
случаю свои заблуждения, но, с другой стороны, и полезного ничего бы не
совершил!

Выслушав это, князь обрубил разом. Он встал и поклонился с таким видом, что
Тебенькову тоже ничего другого не оставалось как, в свою очередь, встать,
почтительно расшаркаться и выйти из кабинета. Но оба вынесли из этого случая
надлежащее для себя поучение. Князь написал на бумажке: "Франклин - иметь в
виду, как одного из главных зачинщиков и возмутителей"; Тебеньков же, воротясь
домой, тоже записал: "Франклин - иметь в виду, дабы на будущее время избегать
разговоров об нем".

Таким образом, Тебеньков очутился за пределами жизненного пира и начал
фрондировать. С этих пор репутация его, как либерала, дотоле мало заметная,
утвердилась на незыблемом основании. Идет ли речь о женском образовании -
Тебеньков тут как тут; напишет ли кто статью о преимуществах реального
образования перед классическим - прежде всего спешит прочесть ее Тебенькову;
задумается ли кто-нибудь о средствах к устранению чумы рогатого скота - идет и
перед Тебеньковым изливает душу свою. Народные чтения, читальни, издание дешевых
книг, распространение в народе здравых понятий о том, что ученье свет, а
неученье тьма - везде сумел приютиться Тебеньков и во всем дает чувствовать о
своем присутствии. Здесь скажет несколько прочувствованных слов, там - подарит
десятирублевую бумажку. И вместе с тем добр, ну так добр, что я сам однажды
видел, как одна нигилисточка трепала его за бакенбарды, и он ни одним движением
не дал почувствовать, что это его беспокоит. Словом сказать, человек хоть куда,
и я даже очень многих знаю, которые обращают к нему свои взоры с гораздо большею
надеждою, нежели ко мне...

Но, подобно мне, Тебеньков не выносит "шума" и "резкостей".

- Зачем они так кричат! а quoi menent toutes ces crudites! [к чему ведет вся эта
грубость! (франц.)] - жалуется он иногда, - зачем они привскакивают, когда
говорят? Премиленькие - а вот этого не понимают, что надобно, чтоб сперва один
высказался, потом другой бы представил свои соображения, потом третий бы
присовокупил... право! И какие у них голоса - точь-в-точь, как у актрис в
Александринке! Тоненькие - вот как булавка! Послушай, например, как Паска
говорит - вот это голос! А наши - ну, ни дать ни взять шавочки: ам-ам-ам! Хоть
ты что хочешь, ничего не разберешь!

Итак, мы возвращались домой. Покуда я вдыхал всеми легкими свежий воздух
начинающейся зимы, мне припоминались те "кабы позволили" да "когда же наконец
позволят", которые в продолжение нескольких часов преследовали мой слух.

Мне казалось, что я целый вечер видел перед собой человека, который зашел в
бесконечный, темный и извилистый коридор и ждет чуда, которое вывело бы его
оттуда. С одной стороны, его терзает мысль: "А что, если мне всю жизнь суждено
бродить по этому коридору?" С другой - стремление увидеть свет само по себе так
настоятельно, что оно, даже в виду полнейшей безнадежности, нет-нет да и
подскажет: "А вот, погоди, упадут стены по обе стороны коридора, или снесет
манием волшебства потолок, и тогда..."

Я знаю, что в коридоры никто собственною охотой не заходит; я знаю, что есть
коридоры обязательные, которые самою судьбою устраиваются в виду известных
вопросов; но положение человека, поставленного в необходимость блуждать и
колебаться между страхом гибели и надеждой на чудесное падение стен, от этого
отнюдь не делается более ясным. Это все-таки положение человека, которого ум
поглощен не действительным предметом известных и ясно сознанных стремлений, а
теми несносными околичностями, которые, бог весть откуда, легли на пути и ни на
волос не приближают к цели.

Такого рода именно положение совершенно отчетливо рисовалось мне посредине этих
беспреданно повторявшихся двух фраз, из которых одна гласила: "Неужели ж,
наконец, не позволят?", а другая: "А что, если не позволят?"

"Что, ежели позволят? - думалось, в свою очередь, и мне. - Ведь начальство - оно
снисходительно; оно, чего доброго, все позволит, лишь бы ничего из этого не
вышло. Что тогда будет? Будут ли они усердны в исполнении лежащих на них

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
обязанностей? – Конечно, будут, ибо не доказывают ли телеграфистки? Окажут ли
себя способными охранять казенный интерес? – Конечно, окажут, ибо не доказывают
ли кассирши на железных дорогах?"

В моих глазах это было так ясно, что, если б зависело от меня, я, конечно, ни
одной минуты не колебался бы: я бы позволил...

Скажите, какой вред может произойти от того, что в Петербурге, а быть может, и в
Москве, явится довольно компактная масса женщин, скромных, почтительных,
усердных и блюдущих казенный интерес, женщин, которые, встречаясь друг с другом,
вместо того чтоб восклицать: "Bonjour, chere mignonne! [Здравствуйте, милочка!
(франц.)] какое вчера на princesse N. [на княгине N. (франц.)] платье было!" –
будут говорить: "А что, mesdames, не составить ли нам компанию для защиты
Мясниковского дела?"

Какая опасность может предстоять для общества от того, что женщины желают
учиться, стремятся посещать Медико-хирургическую академию, слушать
университетские курсы? Допустим даже самый невыгодный исход этого дела: что они
ничему не научатся и потратят время даром – все-таки спрашивается: кому от
этого вред? Кто пострадает от того, что они даром проведут свое и без того
даровое время?

Как ни повертывайте эти вопросы, с какими иезуитскими приемами ни подходите к
ним, а ответ все-таки будет один: нет, ни вреда, ни опасности не предвидится
никаких... За что же это жестокое осуждение на бессрочное блуждание в коридоре,
которое, представляя собою факт беспричинной нетерпимости, служит, кроме того,
источником "шума" и "резкостей"?

Я знаю, многие полагают, будто женская работа не может быть так чиста, как
мужская. Но, во-первых, мы этого еще не знаем. Мы даже приблизительно не можем
определить, каким образом женщина обработала бы, например, Мясниковское дело, и
не чище ли была бы ее работа против той мужской, которую мы знаем. Во-вторых, мы
забываем, что определение степени чистоты работы должно быть вполне
предоставлено давальцам: не станет женщина чисто работать – растеряет давальцев.
В-третьих, наконец, не напрасно же сложилась на миру пословица: не боги горшки
обжигают, а чем же, кроме "обжигания горшков", занимается современный русский
человек, к какому бы он полу или возрасту ни принадлежал?

Я знаю других, которые не столько опасаются за чистоту работы, сколько за
"возможность увлечений". Но эти опасения уж просто не выдерживают никакой
критики. Что женщина охотно увлекается – это правда, но не менее правда и то,
что она всегда увлекается в известных границах. Начертив себе эти границы, она
все пространство, в них заключающееся, наполнит благородным энтузиазмом, но
только это пространство – ни больше, ни меньше. Она извлечет весь сок из данного
"позволения", но извлечет его лишь в пределах самого позволения – и отнюдь не
дальше. Если даже мужчина способен упереться лбом в уставы судопроизводства и не
идти никуда дальше, то женщина упрется в них тем с большим упоением, что для нее
это дело внове. Она и дома и на улице будет декламировать: "кто похитит или с
злым умыслом повредит или истребит..." и ежели вы прервете ее вопросом: как
здоровье мамы? – то она наскоро ответит (словно от мухи отмахнется):
"благодарю вас", и затем опять задекламирует: "Если вследствие составления
кем-либо подложного указа, постановления, определения, предписания или иной
бумаги" и т.д.

Нет, как хотите, а я бы позволил. Уж одно то, что они будут у дела, и,
следовательно, не останется повода ни для "шума" ни для "резкостей", – одно это
представило бы для меня несомненное основание, чтобы не медлить разрешением. Но,
кроме того, я уверен, что тут-то именно, то есть в среде женщин, которым
позволено, я и нашел бы для себя настоящую опору, настоящих столбов. Не спорю,
есть много столбов и между мужчинами, но, ради бога, разве мужчина может быть
настоящим, то есть пламенным, исполненным энтузиазма столбом? Нет, он и на это
занятие смотрит равнодушно, ибо знает, что оно ему разрешено искони и что никто
его права быть столбом не оспаривает. То ли дело столб, который еще сам
хорошенько не знает, столб он или нет, и потому пламенеет, славословит и
изъявляет желание сложить свою жизнь! И за что готов сложить жизнь? за то
только, что ему "позволено" быть столбом наравне с мужчинами!

Ну, просто, дозволил бы – и делу конец!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

Разумеется, если бы меня спросили, достигнется ли через это "дозволение" разрешение так называемого "женского вопроса", я ответил бы: "Не знаю, ибо это не мое дело".

Если бы меня спросили, подвинется ли хоть на волос вопрос мужской, тот извечный вопрос об общечеловеческих идеалах, который держит в тревоге человечество, - я ответил бы: "Опять-таки это не мое дело".

Но потому-то именно я, кажется, даже еще охотнее позволил бы. Как либерал, как русский Гамбетта, я люблю, чтоб вопросы стояли особняками, каждый в своих собственных границах, и смотрю с нетерпением, когда они слишком цепляются друг за друга. Я представляю себе, что я начальник (опять-таки, как русский Гамбетта, я не могу представить себе, чтоб у какого бы то ни было вопроса не имелось подлежащего начальника) и что несколько десятков женщин являются утруждать меня по части улучшения женского быта. Прежде всего, как *galant homme* [порядочный человек (франц.)], я принимаю их с утонченною вежливостью (я настолько благовоспитан, что во всякой женщине вижу женщину, а не кобылицу из татарсаля).

- *Mesdames! charme de vous voir!* [Сударыни! рад видеть вас! (франц.)] чем могу быть полезен? - спрашиваю я.

- Нам хотелось бы посещать университетские курсы, ваше превосходительство.

- Прекрасно-с. Сядемте и будемте обсуждать предмет ваших желаний со всех сторон. Но прежде всего прошу вас: будемте обсуждать именно тот вопрос, по поводу которого вы удостоили меня посещением. Остережемся от набегов в область других вопросов, ибо наше время - не время широких задач. Будем скромны, *mesdames!* Не станем расплываться! Итак, вы говорите, что вам угодно посещать университетские курсы?

- Точно так, ваше превосходительство.

- Извольте-с. Я готов дать соответствующее по сему предмету предписание. (Я звоню; на мой призыв прибегает мой главный подчиненный.) Ваше превосходительство! потрудитесь сделать надлежащее распоряжение о допущении русских дам к слушанию университетских курсов! Итак, сударыни, по надлежащем и всестороннем обсуждении, ваше желание удовлетворено; но я надеюсь, что вы воспользуетесь данным вам разрешением не для того, чтобы сеять семена революций, а для того, чтобы оправдать доброе мнение об вас начальства.

- Рады стараться, ваше превосходительство!

- Вы рады, а я в восторге-с. Я всегда и везде говорил, что вы скромны. Вы по природе переводчицы - я это знаю. Поэтому я всех, всегда и везде убеждал: "Господа! дадимте им книжку - пусть смотрят в нее!" Не правда ли, *mesdames?*

- Точно так, ваше превосходительство!

И если б в это время отделился какой-нибудь робкий голос, чтоб заметить:

- Но женский вопрос, ваше превосходительство...

Я сейчас же остановил бы возражательницу, сказав ей:

- Позвольте-с. Мы условились не выходить из пределов вопроса, подлежащего нашему обсуждению, а вопрос этот таков: предоставить женщинам посещать университетские курсы. Вы скажете, может быть, что кроме этого есть еще много других, не менее важных вопросов, - я знаю это, милостивые государыни! Я знаю, что вопросов существует больше, чем нужно! Но знаю также, что всякому вопросу свой черед - да-с! Впоследствии, идя постепенно, потихоньку да помаленьку, исподволь да не торопясь, мы, с божьею помощью, все их по очереди переберем, а быть может, по каждому издадим сто один том "Трудов", но теперь мы должны проникнуться убеждением, что нам следует глядеть в одну точку, а не во множество-с. Вы желаете посещать университетские курсы - я удовлетворил вашему желанию! затем я больше не имею причин вас задерживать, *mesdames!* Прощайте, и бог да просветит сердца ваши!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik и только. В результате оказалось бы, что я позволил бы женщинам учиться, что допустил бы их в звание стенографисток и что в то же время, с божьей помощью, на долгое время эскамотировал "женский вопрос"!

Так было бы, если б я "позволил"...

"Но если б я не позволил? - мелькнуло у меня в голове. - что было бы тогда?"

Да очень ясно, что было бы! Было бы то, что есть и теперь, а именно, что, в качестве либерала и русского Гамбетты, я был бы обязан ходить по "умным вечерам" и выслушивать безнадежные: "ах, кабы позволили!" да "не доказали ли телеграфистки?" и т.д.

Конечно, и "позволь" я, и "не позволь", ни в том, ни в другом случае общественное спокойствие не было бы нарушено, но разве это достаточный резон, чтобы непременно не позволять? Ужели же перспектива приобрести либеральную репутацию имеет в себе так мало заманчивого, чтобы предпочитать ей перспективы, обещаемые хладным и бесплодным восклицанием: "цыц"? Но в эту минуту размышления мои были прерваны восклицанием Тебенькова:

- Какие, однако, это неблагонамеренные люди!

Признаюсь, со стороны Тебенькова высказ этот был так неожидан, что я некоторое время стоял молча, словно ошарашенный.

- Тебеньков! ты! либерал! и ты это говоришь! - наконец произнес я.

- Да, я. Я либерал, *mais entendons-nous, mon cher* [но условимся, дорогой мой (франц.)]. В обществе я, конечно, не высказал бы этого мнения; но не высказал бы его именно только потому, что я представитель русского либерализма. Как либерал, я ни в каком случае не могу допустить аркебузирования ни в виде частной меры, ни в виде общего мероприятия. Но внутренне я все-таки должен сказать себе: да, это люди неблагонамеренные!

- Но что же тебя так поразило во всем, что мы слышали?

- Всѐ! и эта дерзкая назойливость (*ces messieurs et ces dames ne demandent pas, ils commandent!* [эти господа и дамы не просят, они приказывают (франц.)]), и это полупрезрительное отношение к авторитету благоразумия и опытности, и, наконец, это поругание всего, что есть для женщины драгоценного и святого! Всѐ!

- Над чем же поругание, однако ж?

- Над женским стыдом, сударь! Если ты не хочешь понимать этого, то я могу тебе объяснить: над женскою стыдливостью! над целомудрием женского чувства! над этим милым неведением, *ce je ne sais quoi, cette saveur de l'innocence* [этим едва уловимым ароматом невинности (франц.)], которые душистым ореолом окружают женщину! Вот над чем поругание!

Я знал, что для Тебенькова всего дороже в женщине - ее неведение и что он стоит на этой почве тем более твердо, что она уже составила ему репутацию в глазах "наших дам". Поэтому я даже не пытался возражать ему на этом пункте.

- Страшно! - продолжал он между тем, - не за них страшно (*les pauvres, elles ont l'air si content en debitant leurs mesquineries, qu'il serait inutile de les plaindre!* [бедняжки, они с таким довольным видом излагают свои скудные мысли, что было бы бесполезно их жалеть! (франц.)]), но за женщину!

- Позволь, душа моя! Если ты всего больше ценишь в женщине ее невежество...

- Не невежество-с, *mais cette pieuse ignorance, ce delieux parfum d'innocence qui fait de la femme le chef d'oeuvre de la creation!* [но то святое невежество, тот прелестный аромат невинности, который делает женщину венцом творения! (франц.)] Вот что-с!

- Ну, хорошо, не будем спорить. Но все-таки где же ты видишь неблагонамеренность?

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
– Везде-с. По-вашему, подкапываться под драгоценнейшее достояние женщины – это благонамеренность? По-вашему, топтать в грязь авторитеты, подкапываться под священнейшие основы общества – это благонамеренность? Ces gens... Эти люди... ces gens qui traînent la femme dans la fange... [люди, толкающие женщину на разврат (франц.)] по-вашему, они благонамеренны? Поздравляю-с.

– Да, но ведь это еще вопрос: что собственно составляет "драгоценнейшее достояние" женщины?

– Нет-с, это не вопрос. На этот счет сомнения непозволительны-с!

Сказав это, Тебеньков взглянул на меня так строго, что я счел излишним умолкнуть. Увы! наше время так грозно насчет "принципий", что даже узы самой испытанной дружбы не гарантируют человека от вторжения в его жизнь выражений вроде "неблагонадежного элемента", "сторонника выдохшегося радикализма" и проч. Тебеньков уже изменил "ты" на "вы" – кто же мог поручиться, что он вдруг, в виду городского (не с намерением, конечно, а так, невзначай), не начнет обличать меня в безверии и попрании авторитетов? Долгое время мы шли молча, и я другого ничего не слышал, кроме того, как из взволнованной груди моего друга вылетало негодующее фырканье.

– Нет, ты заметь! – наконец произносит он, опять изменяя "вы" на "ты", – заметь, как она это сказала: "а вы, говорит, милый старец, и до сих пор думаете, что Ева из Адамова ребра выскочила?" И из-за чего она меня огорошила? Из-за того только, что я осмелился выразиться, что с одной стороны история, а с другой стороны Священное писание... Ah, sapristi! Les gueuses! [А, черт возьми! Негодяйки! (франц.)]

– Но ведь это, наконец, твои личные счета, мой друг...

– А эта... маленькая... – продолжал он, не слушая меня, – эта, в букольках! Заметил ты, как она подсакивала! "Подчиненность женщины... я говорю, подчиненность женщины... если, с другой стороны, мужчины... если, как говорит Милль, вековой деспотизм мужчин..." Au nom de Dieu! [Ради бога!(франц.)]

– Но скажи, где же все-таки тут неблагонамеренность?

– Это дерзость-с, а дерзость есть уже неблагонамеренность. "Женщина порабощена"! Женщина! этот живой фимиами! эта живая молитва человека к богу! Она – "порабощена"! Кто им это сказал? Кто позволил им это говорить?

– Стало быть, ты просто-напросто не признаешь женского вопроса?

– Нет-с... то есть да-с, признаю-с. Но признаю совсем в другом смысле-с. Я говорю: женщина – это святыня, которой не должен касаться ни один нечистый помысел! Вот мой женский вопрос-с! И мужчина, и женщина – это, так сказать, двоица; это, как говорит поэт, "Лад и Лада", которым суждено взаимно друг друга восполнять. Они гуляют в тенистой роще и слушают пение соловья. Они бегают друг за другом, ловят друг друга – и наконец устают. Лада склоняет томно голову и говорит: "Reposons-nous!" [Отдохнем! (франц.)] Лад же отвечает: "Ce que femme veut, Dieu le veut" [Чего хочет женщина, то угодно богу (франц.)] – и ведет ее под сень дерев... A mon avis, toute la question est là! [По-моему, в этом суть(франц.)]

– Да хорошо тебе говорить: "Ce que femme veut, Dieu le veut!" Согласись, однако, что и пословицы не всегда говорят правду! Ведь для того, чтоб женщина действительно достигла, чего желает, ей нужно, даже при самых благоприятных условиях, лукавить и действовать исподтишка!

– Не исподтишка-с, а с соблюдением приличий-с.

– Но "приличия"... что же это такое? ведь приличия... это, наконец...

– Приличия-с? вы не знаете, что такое приличия-с? Приличия – это, государь мой, основы-с! приличия – это краеугольный камень-с. Отбросьте приличия – и мы все очутимся в анатомическом театре... que dis-je! [что я говорю! (франц.)] не в анатомическом театре – это только первая ступень! – а в воронинских банях-с! Вот что такое эти "приличия", о которых вы изволите так иронически выражаться-с!

Одним словом, мой либеральный друг так разгорячился, начал говорить такие неприятные вещи, что я не в шутку стал бояться, как бы не произошел в нем какой-нибудь "спасительный" кризис! А ну, как он вдруг, пользуясь сим случаем, возьмет да и повернет оглобли? Хотя и несомненно, что он повздорил с князем Иваном Семенычем – это с его стороны был очень замечательный гражданский подвиг! – но кто же знает, что он не тоскует по этой размолвке? Что, ежели он ищет только повода, чтоб прекратить бесплодное фрондерство, а затем явиться к князю Ивану Семенычу с повинной, сказав: "La critique est aisee, mais l'art est difficile [критика легка, искусство трудно (франц.)], ваше сиятельство, я вчера окончательно убедился в святости этой истины"? Что будет, если это случится?! Ведь Тебеньков – это столп современного русского либерализма! Ведь если он дрогнет, что станется с другими столпами? Что станется с князем Львом Кирилычем, который в Тебенькове видит своего вернейшего выразителя? Что станется с тою массой серьезных людей, которые выбрали либерализм, как временный *modus vivendi* [образ жизни (лат.)], в ожидании свободного пропуска к пирогу? Что станется, наконец, с "Старейшею Всероссийскою Пенкоснимательницей", этим лучшим проводником тебеньковских либеральных идей?

– Друг мой! – воскликнул я почти умоляющим голосом, – сообрази, однако ж! ведь они только в Медико-хирургическую академию просятся!

– Да-с, в академию, – отвечал он мне сухо, – в академию-с, но только не художеств, а в Медико-хирургическую. Знаю-с. Я сам смотрел на это снисходительными глазами... до нынешнего вечера-с! Они топтали в грязь авторитеты – и я молчал; они подрывали общественные основы – и я не противоречил. Я говорил себе: "Эти люди заблуждаются, но заблуждения – ведь это, наконец, в ведомстве князя Ивана Семеныча! Пусть он и вразумит их – *je m'en lave les mains!*" [я умываю руки! (франц.)] Но женщина-с! Но брак-с! Но святость семейных уз-с! Это уж превосходит все! Женщина! эта святыня! это благоухание! этот кристалл! *Et ton veut trainer tout ça dans la fange!* [И хотят тянуть всё это в грязь! (франц.)] В Медико-хирургическую академию! *Vous etes bien bonnes, mesdames!* [Вы очень добры, сударыни! (франц.)]

Сказавши это, он холодно кивнул головой и, даже не пожав мне руки, исчез в темноте переулка.

* * *

В течение ночи мои опасения насчет того, что в Тебенькове, чего доброго, произойдет "спасительный кризис", последствием которого будет соглашение с князем Иваном Семенычем, превратились в жгучее, почти несносное беспокойство. Если это соглашение состоится, думалось мне, то все кончено – либеральным идеям капут. Наш юный либерализм так слаб, так слаб, что только благодущие Тебенькова и поддерживает его. Откажись Тебеньков – и все это здание, построенное на песце, рухнет, не оставив после себя ничего, кроме пыли, способной возбудить одно чихание. Тебеньков тем опасен, что он знает (или, по крайней мере, убежден, что знает), в чем суть либеральных русских идей, и потому, если он раз решится покинуть гостеприимные сени либерализма, то, сильный своими познаниями по этой части, он на все резоны будет уже отвечать одно: "Нет, господа! меня-то вы не надуете! я сам был "оным"! я знаю!" И тогда вы не только ничего с ним не поделаете, а, напротив того, дождетесь, пожалуй, того, что он, просто из одного усердия, начнет открывать либерализм даже там, где есть лишь невинность.

А для князя Ивана Семеныча это воссоединение Тебенькова будет настоящим кладом. До сих пор князь был силен не столько основательностью, сколь живостью своих намерений. На практике его намерения очень редко получали надлежащее осуществление, и это происходило именно вследствие того, что, по неполному знанию признаков русского либерализма, князь довольно часто попадал, как говорится, пальцем в небо. Так случилось, например, с распоряжением о разыскании франклина, в котором этот последний был назван сначала "эмиссаром", потом "человеком, потрясшим Западную Европу", и, наконец, просто "злодеем". Конечно, в этом прежде всего виноват секретарь князя, который недосмотрел (он был немедленно за это уволен), но все-таки даже в клубах все ахнули, когда узнали, что ищут "эмиссара" франклина, а Тебеньков прямо так-таки и выразился: "*ça fait pitie!*" [Это вызывает жалость! (франц.)] Теперь Тебеньков все эти смешения устранил. Он прямо в настоящую точку ударит, он делает это уже по тому одному, что самое воссоединение его в лоно князя Ивана Семеныча может произойти лишь

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik ценою сожжения тебенёвских кораблей. Сколько погибнет тогда невинных людей! Сколько несчастных, никогда не имевших в голове другой идеи, кроме: как прекрасен божий мир с тех пор, как в нем существуют земские учреждения! – вдруг вынуждены будут убедиться, что это идея позорная, потрясая Западную Европу и потому достойная аркебузирования! Да, Тебенёв будет и аркебузировать, несмотря на то что до сих пор он горячо ратовал против аркебузирования! Он скажет: "Mon cher! я сам был против этого, но – que veux-tu! [что поделаешь! (франц.)] – у нас так мало средств, что это все-таки одно из самых подходящих!" И напрасно будут молить его "невинные", напрасно будут они сплетничать на других солибералов, напрасно станут клясться и доказывать свою невинность! На все извороты их Тебенёв даст один холодный и ясный ответ: "Господа! вы меня не надуете! я сам был "оним"! я знаю!"

Понятно, что, в виду такого темного будущего, я решился во что бы ни стало, даже с пожертвованием своего самолюбия, воспрепятствовать союзу Тебенёва с князем. При одной мысли, что в ад реакции проникнет этот новый Орфей и начнет петь там свои чарующие песни, в уме моем рисовались самые мрачные перспективы. Поэтому я принял всю вину на себя, я сделал вид, что не Тебенёв говорил мне вчера колкости, но я, по своей необдуманности и неопытности, был виною происшедшего скандала. И вот, на другой день, около полудня, я уже был у моего друга.

– Тебенёв! – приветствовал я его, – ужели из-за того, что произошло вчера, из-за нескольких необдуманных с моей стороны выражений, ты захочешь разорвать со мною!

Мой друг дрогнул. Я очень ясно прочитал на его лице, что у него уж готов был вицмундир, чтоб ехать к князю Ивану Семенычу, что опоздай я еще минуту – и кто бы поручился за то, что могло бы произойти! Однако замешательство его было моментальное. Раскаяние мое видимо тронуло его. Он протянул мне обе руки, и мы долгое время стояли рука в руку, чувствуя по взаимным трепетным пожиманиям, как сильно взволнованы были наши чувства.

– Разорвать! С тобой, мой бедный Гамбетта! – наконец произнес он, – никогда!

– Но... с либерализмом?! – спросил я, почти задыхаясь от страха.

Он дрогнул опять. Идея, что вицмундир вычищен и что затем стоит только взять извозчика и ехать – видимо угнетала его. Но такова сила либерального прошлого, что оно, даже ввиду столь благоприятных обстоятельств, откликнулось и восторжествовало.

– Никогда! – воскликнул он совершенно твердым голосом. – Plutôt la mort que le deshonneur! [Лучше смерть, чем бесчестие! (франц.)]

– La mort – c'est trop dire! [Смерть – уж это слишком! (франц.)] Но подумай, однако ж, мой друг! вот ты ждал к празднику через плечо, вот как бы это...

– А bah! Га viendra! [Ничего! в свое время будет! (франц.)] – сказал он весело и махнул рукою.

Затем мы обнялись. Тебенёв велел сервировать завтрак, и все недоразумения были сейчас же покончены.

– Мне – разорвать с либерализмом! мне? – говорил мой друг, покуда мы дегюстировали какой-то необыкновенной красоты лафит, – но разве ты не понимаешь, что это значило бы разбить вдребезги всю мою жизнь! Знаешь ли ты, с которых пор я либерал? ты еще в рубашечках ходил, как я уж был испытаннейшим либералом в целом Петербурге! Уже тогда я проектировал все те идеи, которыми теперь наш общий друг, Менаандр Прелестнов, волнует умы в "Старейшей Русской Пенкоснимательнице"! Покойный князь Федор Федорыч недаром говаривал: "Тебенёв тем более опасен, что никогда нельзя понять, чего собственно он добивается!" Ты понимаешь! Это была целая система, именно в том и заключающаяся, чтоб никто ни в чем не мог уличить, а между тем всякий бы чувствовал, что нечто есть, и только вот теперь эта система пошла настоящим образом в ход! Либерализм, mon cher, это для меня целое семейное предание! C'est tout un culte [Это настоящий культ(франц.)]. Мой отец, моя мать, мой дед... все были либералы! Мой отец первый подал мысль об обязательном посеве картофеля... tu sais [знаешь (франц.)], потом из этого еще произошли знаменитые "картофельные войны"? Моя

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
мать еще в тысяча восемьсот восемнадцатом году порешила с женским вопросом,
выйдя, при живом муже, замуж за моего отца! И ты мог думать, что я изменю этим
преданиям! Mon cher! позволь тебе сказать: ты грубо, ты непростительно грубо
ошибался!

Тебеньков так был взволнован, говоря это, что даже закусил нижнюю губу!

– Тебеньков! Я ошибался! я глубоко, грубо, непростительно ошибался! я сознаю
это! – лепетал я.

– Постой! я не все сказал. Возьми мои теперешние связи – они все до одной
либеральные. От кого я жду обновления России – от князя Льва Кирилыча! Какую
газету я читаю – "Старейшую Всероссийскую Пенкоснимательницу"! J'espere que
c'est assez conciliant! [Надеюсь, это довольно убедительно! (франц.)] Учреждение
читален, лекций, народного театра, распространение полезных знаний – во всем и
езде я играю первую роль! Я всегда и везде говорил: "Господа! не полагайте
движению препон, но умеете овладеть им. Овладейте, господа! дайте движению
надлежащее направление – et alors tout ira comme sur des roulettes! [и тогда
все пойдет как по маслу! (франц.)] Только овладейте!" Сколько я потерял через
это – ты знаешь сам. Ты знаешь очень хорошо, чем бы я мог быть, если б принял в
то время предложение князя Ивана Семеныча! Он предлагал мне Анны... Ты
понимаешь! святая Анны... помимо Станислава! в мои лета! Ah! c'était bien joli!
[Ах! это было прекрасно! (франц.)] Но я сказал прямо: "Если бы к этому прибавили
три тысячи аренды, то и тогда я еще подумаю!" Почему я так смело ответил? а
потому, мой друг, что, во-первых, у меня есть своя административная система,
которая несомненно когда-нибудь понадобится, а во-вторых, и потому, что я знаю
наверное, что от меня мое не уйдет. Система моя очень проста: никогда ничего
прямо не позволять и никогда ничего прямо не воспрещать. C'est simple comme
bonjour [Ясно, как день (франц.)]. Но чтобы ты мог лучше понять мой
административный идеал, я попрошу тебя вообразить себе, что в настоящую минуту я
нахожусь у дел. Первое, что я делаю, – это ослабляю бразды. Хотя, в сущности, в
этом еще нет ничего определенного, но для нас, русских, уже одно это очень и
очень важно. Мы так чувствительны к браздам, что малейшее изменение в манере
держат их уже ценится нами. И вот, когда я ослабил бразды, когда все
почувствовали это – вдруг начинается настоящее либеральное пиршество, un vrai
festin d'idees liberates [настоящий праздник либеральных идей(франц.)].
Литература ликует, студенты ликуют, женщины ликуют, все вообще, как бы
слогорившись, выходят на Невский с папиросами и сигарами в зубах! И заметь: я
ничего прямо не позволял, а только ничего прямо не воспрещал! Я, с своей
стороны, тоже ликую. Я вижу эти наивные, малым довольные лица, я указываю на них
и говорю: "Вот доказательства разумности моей системы! J'espere que j'ai bien
merite mon cordon rouge de s-te Anna!" [Надеюсь, я вполне заслужил красную ленту
святой Анны! (франц.)] Таким образом проходит год, а может быть, и два – я все
продолжаю мою систему, то есть ничего прямо не позволяю, но и ничего прямо не
воспрещаю. Тогда начинают там и сям прорываться проявления так называемой
licence [своевольности (франц.)]. Подчиненные держиморды бегут ко мне в ужасе и
докладывают, что такого-то числа в канонерском переулке, в доме под номером
таким-то, шла речь о непризнании авторитетов. Но я еще не разделяю опасений моих
сослуживцев и настаиваю на том, что мер кротости совершенно достаточно, чтоб
обратить заблудших на путь истины. Pas trop de zele, messieurs, говорю я,
surtout pas trop de zele! [Без лишнего усердия, господа... главное – без лишнего
усердия!(франц.)] Затем я призываю зачинщиков и келейным образом делаю им
внушение. "Господа! – говорю я, – вы должны понять, что у нас без авторитетов
нельзя! Если вы хотите, чтоб я имел возможность защитить вас, то поберегите и
меня! если не хотите, то скажите прямо – я удалюсь в отставку!" Разумеется, моя
угроза действует. Все кричат: "Осторожнее! осторожнее! потому что, если оставит
нас Тебеньков, – мы погибли!" Так проходит, быть может, еще целый год. mais
he!las! les idees subversives – c'est quelque chose de tres peu solide, mon cher!
[Но увы! разрушительные идеи – нечто весьма неустойчивое, дорогой мой! (франц.)]
С ними никогда нельзя быть уверенным, где они остановятся и не перейдут ли ту
границу "недозволенного", но и "не воспрещенного", в прочном установлении
которой и заключается вся задача истинного либерализма. И вот, по прошествии
известного времени, la licence releve la tete [своевольность снова поднимает
голову (франц.)] и прямо утверждает, что "невоспрещение" равняется "дозволению".
Начинается шум, mesquineries [мелкие препирательства (франц.)], резкости вроде
тех, которые мы слышали вчера вечером. Тогда я говорю уже прямо: "Messieurs! je
m'en lave les mains!" [господа! я умываю руки! (франц.)] и уступаю мое место
князю Ивану Семенычу. Hein? tu comprends? [А? понимаешь? (франц.)]

– Гм... да... это в своем роде...

– Не правда ли? Mais attends, attends encore! je n'ai pas tout dit! [Но подожди, подожди! Я еще не кончил! (франц.)] Итак, на мое место приходит и начинает оперировать князь Иван Семеныч. Собственно говоря, я ничего не имею против князя Ивана Семеныча и даже в ряду прочих феноменов признаю его далеко не бесполезным. В общей административной экономии такие люди необходимы. В минуты, когда дурные страсти доходят до своего апогея, всегда являются так называемые божи бичи и очищают воздух. Не нужно только, чтоб они слишком долго оставались в должности воздухоочистителей, потому что тогда это делается, наконец, скучным. Но по временам очищать воздух – не бесполезно. Таким образом, покуда князь Иван Семеныч выполняет свое провиденциальное назначение, я остаюсь в стороне; я только слежу за ним и слегка критикую его. Этою критикою я, так сказать, напоминаю о себе; я не даю забыть, что существует и другая система, которая состоит не столько в очищении воздуха, сколько в умеренном пользовании его благорастворениями. И действительно, не проходит нескольких месяцев, как страсти уже утихли, волнения отчасти усмирены, отчасти подавлены, и существование князя Ивана Семеныча само собой утрачивает всякий *raison d'etre* [смысл (франц.)]. Напрасно старается он устраивать бури в стакане воды: его время прошло, он не нужен, он надоел, он даже не забавен. Тогда опять прихожу я и опять приношу с собой свою систему... И таким образом, мы чередуемся: сперва я, потом князь Иван Семеныч, потом опять я, опять князь Иван Семеныч, и так далее. Mais n'est-ce pas que c'est le vrai systeme? [Ведь это правильная система, не правда ли? (франц.)]

– Да; это система... я назвал бы ее системой равновесия, – твердо заметил я.

– Именно так. Именно система равновесия. C'est toi qui l'as dit, Gambetta! Pauvre ami! tu n'as pas de systeme a toi, mais tu as quelquefois des revelations! [Золотые слова, Гамбетта! Бедный друг! У тебя нет своей системы, но иногда бывают озарения! (франц.)] Ты иногда одним словом определяешь целое положение! Система равновесия – c'est le mot, c'est le vrai mot! [лучше не скажешь, лучше не скажешь! (франц.)] Сегодня я, завтра опять Иван Семеныч, послезавтра опять я – какого еще равновесия нужно! Mais revenons a nos moutons [Но вернемся к нашему разговору (франц.)], то есть к цели твоего посещения. Итак, ты находишь, что вчера я был к ним слишком строг?

– Да, строгонек-таки...

– Нельзя, mon cher! Ты забываешь, что я им же добра хочу. Нельзя этого допустить... ты понимаешь: нельзя!

– Но ведь ты сам же сейчас говорил, что твоя "система", между прочим, заключается в том, чтоб "не воспрещать"!

– Ah, mais entendons nous, mon cher! [Однако условимся, дорогой мой! (франц.)] Прямо не воспрещать, но и прямо не позволять – voici la formule de mon systeme [вот формулировка моей системы (франц.)]. Сверх того, ты забываешь еще, что, как поправку к моей системе, я допускаю периодическое вмешательство князя Ивана Семеныча – а это очень важно! Ah! c'est tres grave, mon cher! [Это очень важно, дорогой мой! (франц.)] потому, что без князя Ивана Семеныча tout mon systeme s'ecroule et s'evanouit! [вся моя система рухнет и исчезнет (франц.)] Я необходим, но и князь Иван Семеныч... о! он тоже в своем роде... ah! c'est une utilite! c'est une tres grande utilite! [это ценность, очень большая ценность! (франц.)]

– Послушай, однако ж! Сообрази, чего же они, собственно, хотят!

– Они хотят извратить характер женщины – excusez du peu! [подумать только! (франц.)] Представь себе, что они достигнут своей цели, что все женщины вдруг разбредутся по академиям, по университетам, по окружным судам... что тогда будет? Оу sera le plaisir de la vie? [В чем будет радость жизни? (франц.)] Что станется с нами? с тобой, со мной, которые не можем существовать без того, чтоб не баловать женщину?

Вопрос, предложенный Тебеньковым, несколько сконфузил меня. Признаюсь, он и мне нередко приходил в голову, но я как-то всегда отлынивал от его разрешения. В самом деле, что станется со мной, если женщины будут пристроены к занятию? Кого

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik я буду баловать? Теперь, покада женский вопрос еще находится на старом положении, я знаю, где мне в "минуту жизни грустную" искать утешения. Когда мне горько жить, или просто когда мое сердце располагается к чувствительности, я ищу женского общества и знаю наверное, что там обрету забвение всех несносностей, которые отуманивают мое существование ici bas [здесь, на земле (франц.)]. Там я найду ту милую causerie [беседу (франц.)], полную неуловимых petits riens [безделиц (франц.)], которая, не прибавляя ничего существенного к моему благополучию, тем не менее разливает известный bien etre [благостный покой (франц.)] во всем моем существе и помогает мне хоть на время забыть, что я не более, как печальный осколок сороковых годов, живущий воспоминанием прошлых лучших дней и тщетно усиливающийся примкнуть к настоящему, с его "шумом" и его "crudites" [грубостью (франц.)]. Там я отдохну душой, в самом изящном значении этого слова. Там, на этих волнах кружев и блонд, на этом грациозном смешении бархата и атласа, мой взор успокоится от сермяжных впечатлений действительности. Там я найду тот милый обман, то чудесное смешение идеального и реального, которого так жаждет душа моя и которого, конечно, не дадут никакие диспуты о прародителях человека. Там все уютно, все тепло; там и свет не режет глаз, и тени ложатся мягче, ровнее. И всего этого вдруг не будет? И на мой вопрос: "Дома ли Катерина Михайловна?" - мне ответят: "Оне сегодня в окружном суде Мясиговское дело защищают"?! Что со мной станется, когда все эти petits riens исчезнут, уступив место крикливым возгласам о фаллопиевых трубах и об околоплодной жидкости? Кого я буду баловать? Перед кем стану сжигать фимиам моего сердца? Кому буду дарить конфеты? Кого станут называть "belle dame"? [красавицей (франц.)]

Но разве надо мной одним стряется беда - что будет с литературой, с романом? Если безделица отойдет на второй план, о чем будут трактовать романисты? Что ни говори, как ни притворяйся романист публицистом и гражданином, ему никогда не скрыть, что настоящая болячка его сердца - это все-таки улучшение быта безделицы. Не будет девиц, томящихся под сенью развесистых лип в ожидании кавалеров, не будет дам, изнемогающих в напрасной борьбе с адюльтером, - не будет и романа! Вот что ясно для меня, как дважды два. Но, ради самого бога, что же тогда будет! Кто меня утешит? кто заставит пролить слезу? Нет! ежели не ради себя, то ради романа, ради "изящной словесности" - я протестую!! Возьмите все, что угодно! Попирайте авторитеты! подкапывайтесь под основы! Оспаривайте русское происхождение Микулы Селяниновича! но сохраните девиц, глядящих на большую дорогу, по которой имеют обыкновение приезжать кавалеры, и дам, выходящих на борьбу с адюльтером! Ah, c'est si joli - une femme qui reste indecise entre le devoir et l'adultere! [Женщина, колеблющаяся между долгом и адюльтером, - ах, это так красиво! (франц.)] Сколько тут перипетий! сколько непредвиденного! Какая горькая, почти безнадежная борьба! Даже суровые моралисты - и те поняли, как велик предстоящий в этом случае женщине жизненный подвиг, и потому назвали победу над адюльтером - торжеством добродетели. Вот эта женщина "добродетельна", - говорят они, - ибо с успехом боролась в Чугуеве с целым штабом военных поселений. А вот эта женщина не может быть названа "добродетельною", потому что не могла устоять перед настойчивостью одного землемера... Одним словом, всякая женская "добродетель" заключена тут, в этом ограниченном, заветном круге...

- И за всем тем, я все-таки снисходителен, - продолжал мой друг, - до тех пор, пока они разглагольствуют и сотрясают воздух междометиями, я готов смотреть на их домогательства сквозь пальцы. Mais malheur a elles [но горе им (франц.)], если они начнут обобщать эти домогательства и приискивать для них надлежащую формулу... ah, qu'elles y prennent garde! [пусть остерегаются! (франц.)]

- Но ведь они ничего же и не формулируют!

- Гм... ты думаешь? ты полагаешь, что женский вопрос, по их мнению, в том только и состоит, чтоб женщины получили доступ в телеграфистки и к слушанию университетских лекций? Ты серьезно так полагаешь?

- Позволь! дело не в том, как я или они полагают, а в том, чем они ограничивают свои домогательства!

- A d'autres, mon cher! Un vieux sournois, comme moi, ne se laisse pas tromper si facilement [Говори это другим, мой дорогой! Старую лисицу вроде меня не так-то легко провести (франц.)]. Сегодня к вам лезут в глаза с какою-нибудь Медико-хирургической академиею, а завтра на сцену выступит уже вопрос об отношениях женщины к мужчине и т.д. Connu! [Знаем! (франц.)]

– Да не выступит этот вопрос! А ежели и выступит, то именно только как теоретический вопрос, который нелишне обсудить! Ты знаешь, как они охотно становятся на отвлеченную точку зрения! Ведь в их глазах даже мужчина – только вопрос, и больше ничего!

– Да! но вот это-то именно и опасно. C'est justement là que git le danger [Именно здесь и гнездится опасность (франц.)]. В твоих глазах абстрактность – смягчающее обстоятельство, в моих – это обстоятельство усугубляющее. Если б они разрешили этот вопрос практически, каждая сама для себя – ça serait une question de temperament, et voilà tout [тогда бы все сводилось к темпераменту, и только (франц.)]. Но они хотят, чтоб им разрешение на бумажке было написано. Они законов требуют! Понимаешь ли: они хотят, чтоб законодатель взял в руки перо и написал: "Позволяется а ces demoiselles" [девицам (франц.)] и т.д. Нет-с! Этого нельзя-с!

Опять мысль, и опять откровение! В самом деле, ведь они как будто о том больше хлопчут, чтоб было что-то на бумажке написано? Их интригует не столько факт, сколько то, что вот в такой-то книжке об этом так-то сказано! Спрашивается: необходимо ли это, или же представляется достаточным просто, без всяких законов, признать совершившийся факт, да и дело с концом?

– Наши дамы давно уже порешили с этим вопросом, и мир нимало не пострадал от этого! – продолжал ораторствовать Тебеньков. – На днях la princesse Nathalie – tu sais qu'il lui arrive quelquefois d'avoir des moments de charmante intimité avec ses amis! [княгиня Наталья – она порой бывает очаровательно интимна с друзьями, сам знаешь! (франц.)] – сказала мне. "Mon cher! nous autres, femmes du monde, nous avons depuis long-temps tranche la question! Nous ne faisons pas de radottages, mais nous agissons!" [Мой дорогой! Мы, светские женщины, давно уж разрешили вопрос. Мы не болтаем попусту, но действуем! (франц.)]

– La princesse Nathalie! est-ce possible? Une "sainte"! [княгиня Наталья! возможно ли? Эта "святая"!(франц.)]

– Да-с, une "sainte"! Et elle a parfaitement raison, la belle princesse! [И прекрасная княгиня совершенно права! (франц.)] Потому что ведь, ты понимаешь, ежели известные формы общежития станут слишком узкими, то весьма естественно, что является желание расширить их. Не об этом спор: это давно всеми признано, подписано и решено. Saperlotte! [Черт возьми! (франц.)] не делаться же монахиней из-за того только, чтоб князь Лев Кирилыч имел удовольствие свободно надевать на голову свой ночной колпак! Но как расширить эти формы – вот в чем весь вопрос! Voici la grande, la grrrandissime question! [Вот огромный, огррромнейший вопрос (франц.)]

– Стало быть, по-твоему, лучшее средство – это протестовать на манер "Belle Helene"? ["прекрасной Елены"? (франц.)]

– А ты шутишь с "Belle Helene"? Нет, ты подумай! Вот он, протест-то, с которых пор начался! и заметь: в этой форме никто никогда не видел в нем ни малейшей опасности. Еще во времена Троянской войны женский вопрос был уже решен, но решен так ловко, что это затрогивало только одного Менелая. Menelas! on s'en moque – et voilà tout! [Менелай! над ним смеются, только и всего! (франц.)] Все эти фрины, Лаисы, Аспазии, Клеопатры – что это такое, как не прямое разрешение женского вопроса? А они волнуются, требуют каких-то разъяснительных правил, говорят: "Напишите нам все это на бумажке!" Согласись, что это несколько странно? Согласен?

– Да... для "Belle Helene"... действительно, едва ли требуются разъяснительные правила!

– Ну, вот видишь! А они сохнут о правилах! Мы все, tant que nous sommes [сколько нас ни на есть(франц.)], понимаем, что первозданная Таутова азбука отжила свой век, но, как люди благоразумные, мы говорим себе: зачем подрывать то, что и без того стоит еле живо, но на чем покуда еще висит проржавевшая от времени вывеска с надписью: "Здесь начинается царство запретного"? Зачем публично и с каким-то дурным шиком вторгаться в пределы этого царства, коль скоро мы всем этим quasi-запретным [якобы запретным (лат.)] можем пользоваться под самыми удобными псевдонимами? Для большей вразумительности приведу тебе хоть следующий пример. И

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
ты, и я, и все мы, люди современной интеллигенции, любим от времени до времени посещать театр Берга. Для чего мы ездим туда? что привлекает нас? – Это, конечно, наше личное дело. И вдруг выискивается какой-нибудь intrus [выскочка (франц.)] и выпаливает нам в упор: "Вы, господа, ездите к Бергу смотреть, как французенки юпки поднимают!" Согласись, что это было бы крайне неприятно! По крайней мере, что касается до меня, то я сразу осадил бы наглеца. "Нет, милостивый государь! – сказал бы я, – вы ошибаетесь! я хожу к Бергу совсем не для юпок и проч., а для того, чтоб видеть французскую веселость, la bonne et franche gaite française!" [милую, свободную французскую веселость! (франц.)] Понимаешь? Он сказал: "юпки поднимают", а я ему ответил: "французская веселость". Вот это-то и есть псевдоним, один из тех псевдонимов, которые позволяют нам не слишком тяготиться игом перевозданной Таутовой азбуки!

Тебенёков говорил так убедительно и в то же время так просто и мило, что мне оставалось только удивляться: где почерпнул он такие разнообразные сведения о Тауте, Фрине и Клеопатре и проч.? Ужели всё в том же театре Берга, который уже столь многим из нас послужил отличнейшею воспитательной школой?

– Жизнь наша полна подобного рода экскурсий в область запретного, или, лучше сказать, вся она – не что иное, как сплошная экскурсия. Азбука говорит, например, очень ясно, что все дети имеют равное право на заботы и попечения со стороны родителей, но если бы я или ты дали одному сыну рубль, а другому грош, то разве кто-нибудь позволил бы себе сказать, что подобное действие есть прямое отрицание семейственного союза? Нет, всякий сказал бы себе: "Это только экскурсия в область запретного, экскурсия, в которой всякий смертный может встретить нужду!" Другой пример: кто не знает, что похищение чужой собственности есть прямое нарушение гражданских законов, но ежели бы X., благодаря каким-нибудь формальным упущениям со стороны Z., оттягал у последнего с плеч рубашку, разве кто-нибудь скажет, что такой исход процесса есть отрицание права собственности! Нет, всякий выразится, что и это только экскурсия, в которой каждый смертный может встретить нужду! Представь же себе теперь, что вдруг выступает вперед наглец и, заручившись этими фактами, во все горло орет: "Господа! посмотрите-ка! ведь собственность-то, семейство-то, основы-то ваши... фьюю!" Не вправе ли мы будем замазать этому человеку рот и сказать: "дурак! чему обрадовался! догадался?! велика штука! ты догадался, а мы и подавно! Только мы не хотим, чтоб ты нас беспокоил! Не беспокой нас, ибо дураков-горланов на цепь сажают!" Но, впрочем, pardon, cher! [извини, дорогой! (франц.)] Я, кажется, слишком заболтал тебя этими mesquineries [мелочами (франц.)], которые слывят у нас под пышным именем "вопросов".

– Ах, нет! нет! сделай милость! С твоей стороны это такая откровенность! такая, можно сказать, драгоценнейшая откровенность!

– Итак, continuons [продолжаем (франц.)]. Я сам не дорого ценю эту перевозданную азбуку и очень хорошо понимаю, что стоит ткнуть в нее пальцем – и она развалится сама собой. Но для черни, mon cher [дорогой мой (франц.)], это неоцененнейшая вещь! Представь себе, что вдруг все сказали бы, что запретного нет, – ведь это было бы новое нашествие печенегов! Ведь они подвергли бы дома наши разграблению, они осквернили бы наших жен и дев, они уничтожили бы все памятники цивилизации! Но, dieu merci [слава богу (франц.)], этого нет и не будет, потому что это запрещено. Они знают, saperlotte! [черт возьми! (франц.)] что в каждой губернии существует окружной суд, а в иных даже по два и по три, и что при каждом суде имеется прокурор, который относительно печенегов неумолим. Вот это-то именно и заставляет меня видеть в перевозданной азбуке некоторого рода палладиум. Я говорю себе: свойства этой азбуки таковы, что для меня лично она может служить только ограждением от печенежских набегов, – с какой же стати я буду настаивать на ее упразднении?

– Позволь, душа моя! Я понимаю твою мысль: если все захотят иметь беспрепятственный вход к Бергу, то понятно, что твои личные желания в этом смысле уже не найдут такого полного удовлетворения, какое они находят теперь. Но, признаюсь, меня страшит одно: а что, если они, то есть печенеги... тоже начнут вдруг настаивать?

– Impossible! [невозможно! (франц.)] это именно тот предрассудок, который уже не раз ввергал в бездну гибели целые нации. С тех пор как печенеги перестали быть номадами, их нечего опасаться. У них есть оседлость, есть дом, поле, домашняя утварь, и хотя все это, вместе взятое, стоит двугривенный, но ведь для человека,

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik не выдавшего ни гроша, и двугривенный уже представляет довольно солидную ценность. Сверх того, они "боятся", и что всего замечательнее, боятся именно того, что всего менее способно возбуждать страх в мыслящем человеке. Они боятся грома, боятся домовых, боятся светопреставления. Et plus ils sont betes, plus ils sont souples [и чем они глупее, тем податливее (франц.)]. Следовательно, самая лучшая внутренняя политика относительно печенегов - это раз навсегда сказать себе: чем меньше им давать, тем больше они будут упорствовать в удовольствии. Я либерал, но мой взгляд на печенегов до такой степени ясен, что сам князь Иван Семеныч, конечно, позавидовал бы ему, если бы он мог понять, в чем состоит настоящий, разумный либерализм. Печенег смирен, покуда ему ничего не дали. Как только ему попало что-нибудь на зубы - он делается ненасытен, et puis - c'est fini! L'histoire des peuples est la pour attester la verite de ce que j'avance! [а потом - конец! Истинность моих слов доказывается историей народов (франц.)]

- Так ли это, однако ж? Вот у меня был знакомый, который тоже так думал: "Попробую, мол, я не кормить свою лошадь: может быть, она и привыкнет!" И точно, дней шесть не кормил и только что, знаешь, успел сказать: "Ну, слава богу! кажется, привыкла!" - ан лошадь-то возьми да и издохни!

- Гм... да... ты все смеешься, Гамбетта! А знаешь ли ты, что эта смешливость очень и очень тебе вредит! Tu ne parviendras jamais [Тебе ни за что не преуспеть (франц.)] - и я первый об этом жалею, parce que tu as quelquefois des idees [ибо тебя иногда осеняют идеи (франц.)]. Даже наши либералы и те выражаются о тебе: "Ce n'est pas un homme serieux!" [Несерьезный человек! (франц.)] Разумеется, я заступаюсь за тебя, сколько могу. Я всем и всегда говорю: "В государстве, господа, и в особенности в государстве обширном, и Гамбетта имеет право на существование!" - но ведь против установившегося общего мнения и мое заступничество бессильно!

Сделавши этот выговор, Тебеньков так дружески мило подал мне руку, что я сам сознал все неприличие моего поведения и дал себе слово никогда не рассказывать анекдотов, когда идет речь о выеденном яйце.

- Затем возвратимся вновь к так называемому женскому вопросу и постараемся, прийти к заключению. Я утверждал, что вопрос этот давным-давно разрешен, и берусь подтвердить эту мысль примерами. Оглянись кругом: la princesse de P., la baronne de K. [княгиня П., баронесса К. (франц.)], наконец, Катерина Михайловна, наша добрейшая Катерина Михайловна, - разве не разрешили они этого вопроса совершенно определенно и к полному своему удовольствию? Что они не посещают Медико-хирургической академии - mais c'est simplement parce qu'elles s'en moquent bien... de l'academie! [так это просто потому, что им наплевать на нее... на академию (франц.)] А если бы захотели, то и в академию бы ездили, и никто бы не имел ничего сказать против этого! А почему никто ничего не сказал бы? потому просто, что всякий понял бы, что это один из тех jolis caprices de femme [милых женских капризов (франц.)], которым уже по тому одному нельзя противоречить, что ce que femme veut, Dieu le veut [чего хочет женщина, то угодно богу (франц.)].

- Но коли так, то почему же не удовлетворить желанию этих demoiselles, которых ты слышал вчера?

- Да именно потому, что в первом случае c'est un de ces jolis caprices que toute femme a le droit d'avoir [это один из тех милых капризов, на которые имеет право каждая женщина (франц.)]. Женщина, и в особенности хорошенькая, имеет право быть капризною - это ее привилегия. Если она может вдруг пожелать парюру в двадцать тысяч, то почему же вдруг не пожелать ей посетить медицинскую академию? И вот она желает, но желает так мило, что достоинство женщины нимало не терпит от этого. Напротив, тут-то именно, в этом оригинальном желании, и выступает та женственность, которую мы, мужчины, так ценим. La baronne de K., слушающая господина Сеченова, - можно ли вообразить себе quelque chose de plus gracieux, de plus piquant?! [что-либо привлекательнее и пикантнее?! (франц.)] Поэтому я не только не буду препятствовать желанию баронессы, но сам поеду сопровождать ее, сам предупрежу господина Сеченова. Monsieur! lui dirai-je, la baronne est bonne fille! Elle ne deteste point les crudites, mais a condition qu'on sache leur donner une forme piquante, qui permette a son sentiment de femme de ne pas s'en formaliser! [Сударь! - скажу я ему, - баронесса - славная бабенка! Она отнюдь не питает отвращения к непристойностям, только чтобы их преподносили в пикантной

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
форме, не оскорбляющей ее женского чувства! (франц.)] Затем мы едем, мы берем с собой Катерину Михайловну и ее jeunes gens [молодых людей (франц.)], мы садимся на тройки, устраиваем quelque chose comme un piquenique [нечто вроде пикника (франц.)] и выслушиваем курс физиологии а l'usage des dames et des demoiselles [предназначенный для дам и девиц (франц.)], который г. Сеченов прочтет нам. Оттуда - к Дороту или в другой какой-нибудь кабачок. Вот и все. О том, чтоб интернировать господина Сеченова в сердцах наших дам, о том, чтобы сделать его лекции настольной книгой наших будуаров, о том, чтоб укоренить в наших салонах физиологический жаргон - нет и помину. Мы разрешили женский вопрос, мы узнали, comment cela leur arrive [их повадку (франц.)], - этого с нас довольно! Напротив того, девицы, в обществе которых мы находились вчера, о том только и думают, чтобы навсегда интернировать господина Сеченова в своем домашнем обиходе. Чистота женского чувства, ce sentiment de pudeur qui fait monter le feu au visage d'une femme [стыдливость, заливающая лицо женщины краской (франц.)], это благоухание неведения, эта прелесть непочтотости - elles mettent tout ça hors de cause! [они отбрасывают всё это, как не идущее к делу(франц.)] Они требуют господина Сеченова tout de bon, et elles traînent le reste dans la fange! Halte-là, mesdames! [во что бы то ни стало, а остальное втапывают в грязь. Стоп, сударыни! (франц.)]

- Но все-таки нет же прямого повода называть их неблагонамеренными? Они любят Сеченова, но ведь они не неблагонамеренные? Не правда ли? Ведь ты согласен со мной?

- "Неблагонамеренные" - это слишком сильно сказано, j'en conviens. Mais ce sont des naïses [согласен. Но это - дурочки (франц.)] - от этого слова я никогда не откажусь. Это какие-то утопистки стенографистки и телеграфистки! А утопизм, mon cher, никогда до добра не доводит. Можно упразднить азбуку de facto: [фактически (лат.)] взял и упразднил - это я понимаю; но чтоб прийти и требовать каких-то законов об упразднении - c'est tout bonnement exorbitant [это уж чересчур (франц.)].

Я задумался. В самом деле, зачем дожидаться закона об упразднении, когда никто не препятствует de facto совершить самый акт упразднения? Ведь вот и la princesse de P., и la baronne de K., и, наконец, наша милейшая Катерина Михайловна - ведь упраздняют же они! О, Наденька Лаврецкая! о, Гапочка Перерепенко! Вы, которые чуть не пешком прибежали в Петербург из ваших захолустьев ради разрешения женского вопроса, - вы не понимаете, что вопрос этот разрешается так легко! Стоит только подобрать компанию jeunes gens bien, bien comme il faut [вполне, вполне приличных молодых людей(франц.)], затем нанять несколько троек и покатить, с бубенчиками, прямо в театр Берга, эту нацелесообразнейшую Медико-хирургическую академию а l'usage des dames et des demoiselles! Там девица Филиппо прочтет вам лекцию: "L'impot sur les célibataires" [Налог на холостяков (франц.)], а девица Лафуркад, пропев "A bas les hommes!" [Долой мужчин! (франц.)], вместе с тем провозгласит и окончательную эмансипацию женщин...

Тебеньков между тем торжествовал. Он заметил мое раздумье и до того уверовал в неотразимую убедительность своих доводов, что все лицо его как бы сияло вдохновением.

- Я не называю их неблагонамеренными, - говорил он, - а Dieu ne plaise! [не дай бог! (франц.)] Но полиция, mon cher! полиция не может быть либеральной, как я или ты! Она не имеет права терпеть, чтобы общественная нравственность была подрываема, так сказать, при свете дня. Она смотрит сквозь пальцы, она благосклонно толерирует, когда ты, я, всякий другой, наконец, разрешаем женский вопрос келейным образом и на свой страх. Но когда мы выходим из нашей келейности и с дерзостью начинаем утверждать, что разговор об околородной жидкости есть единственный достойный женщины разговор - alors la police intervient et nous dit: halte-là, mesdames et messieurs! respectons la morale et n'embetons pas les passants par des mesquineries inutiles! [тогда вмешивается полиция и говорит нам: стойте-ка, милостивые государыни и милостивые государи! давайте уважать нравственность и не будем досаждать прохожим никчемными пустяками! (франц.)] Согласитесь, что оно и не может быть иначе!

- Да как бы тебе сказать... оно точно... на практике оно так и бывает!

- Нет, не "бывает", а "должно быть", не может иначе быть! Ты, Гамбетта,

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
неисправим! Ты думаешь, что то, что совершается так, а не иначе, совершается по
какому-то озорству! Нет, оно совершается так потому, что не может иначе
совершиться. L'histoire a sa logique, mon cher [У истории своя логика, дорогой
мой (франц.)], и для каких-нибудь двух-трех десятков девиц не может изменить
свое величественное течение! Не расплывайтесь, messieurs! Помните, что наше
время - не время широких задач! Вот лозунг, к которому пришла вся наша
либеральная партия, et tant qu'elle restera dans ces convictions, la police
n'aura rien a y redire! [и пока она будет на том стоять, полиция ни в чем не
сможет ее упрекнуть (франц.)] Но, впрочем, к чему продолжать бесплодный
разговор! Чтоб убедить тебя наглядным образом, насколько эти дамы не правы,
добиваясь какого-то разрешения женского вопроса, тебе достаточно пройтись со
мною по Невскому и потом зайти позавтракать к Дюссо. Здесь ты на каждом шагу
десять раз убедишься, что женский вопрос давным-давно разрешен, и притом самым
радикальным образом. Итак, идем. Кстати, уж третий час, а это именно момент моей
прогулки и моего завтрака...

* * *

День стоял серый, не холодный, но с легким морозцем, один из тех дней, когда
Невский, около трех часов, гудит народом. Слышалось бряцание палашей, шарканье
калош, постукивание палок. Пестрая говорящая толпа наполняла тротуар солнечной
стороны, сгущаясь около особенно бойких мест и постепенно редая по мере
приближения к Аничкину мосту. Там и сям истоиво выступали "наши дамы", окруженные
молоденькими последнего выпуска офицерами и сопровождаемые лакеями в богатых
ливреях. Между ними, словно ящерицы, проползали ревнительницы женского вопроса,
по поводу которых у нас чуть-чуть не произошла ссора с Тебенковым, бойко стуча
каблучками и держа под мышками книги. Сановники faisaient leur tournée de matin
[занимались утренним моционом (франц.)], и некоторые из них очень мило вставляли
в глаз стеклышко и не без приятности фредонировали: "J'ai un pied qui r'mue!" [У
меня ноги пускаются в пляс! (франц.)] Четыре брата С. виделись на всех
перекрестках и своим сходством вводили проходящих в заблуждение. Деловой люд не
показывался или жался к стенам домов. Напротив, гуляющий люд шел вольно, целыми
шеренгами и партиями, заложив руки в карманы и занимая всю середину тротуара. У
Полицейского моста остановились два бывшие губернатора и объясняли друг другу,
как бы они в данном случае поступили. Выходец из провинции, в фуражке с красным
околышком, с широким затылком, с трепещущим под кашне кадыком и с осовелыми
глазами, уставился против елисеевских окон и только что не вслух думал: "Хорошо
бы тут родиться, тут получить воспитание, тут жениться и тут умереть, буде
бессмертие не дано человеку!" Перед магазином эстампов остановилась целая толпа
и глядела на эстамп, изображавший девицу с поднятою до колен рубашкою; внизу
эстампа было подписано: "L'oiseau envolé" [Улетевшая птичка (франц.)]. Из
ресторана Доминика выходили полинялые личности, жертвы страсти к бильярду и к
желудочной. Посередине улицы царствовала сумятица в полном смысле этого слова.
Кареты, сани, дилижансы, железнодорожные вагоны - все это появлялось и исчезало,
как в сонном видении. В самом разгаре суматохи, рискуя передавить пешеходов,
мчались на тысячных рысках молодые люди, обгоняя кокоток, которых коляски и
соболя зажигали неугасимое пламя зависти в сердцах "наших дам". Газ в магазинах
еще не зажигался, но по местам из-за окон уже виднелась протягивавшаяся к
газовому рожку рука. Еще минута - и весь Невский загорится огнями, а вместе с
огнями моментально исчезнет и та пестрая, фантастическая публика, которая
переполняет теперь его тротуары.

ГРУППА 1-я

На углу Большой Конюшенной; шеренга из четырех молодых людей неизвестного
оружия.

1-й молодой человек (докторальным тоном). Чтоб утверждать что-нибудь, надо
прежде всего знать, что утверждаешь. Ведь ты незнаком с Муриными?

2-й молодой человек. Я... да... нет... но я слышал... que!q'un, qui est tres
intime dans la maison, ma ra-conte... [один очень близкий друг их дома рассказал
мне (франц.)]

1-й молодой человек. Ну, вот видишь! ты только слышал, а утверждаешь! И что ты
утверждаешь? Qu'Olga est jusqu'a nos jours fidele a son grand dadais de colonel!
Olga! je vous demande un peu, si Ga a le sens commun! [что Ольга до сих пор
верна своему дурню-полковнику! Ольга! Скажите, да мыслимо ли это!(франц.)]

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

ГРУППА 2-я

У Казанского моста; трое штатских молодых людей.

1-й молодой человек. И представь себе: сразу!

2-й и 3-й молодые люди (вместе). Pas possible! [Не может быть! (франц.)]

1-й молодой человек. Я сам не успел хорошенько понять, что со мной делается, как уж был счастливейшим из смертных!

ГРУППА 3-я У Михайловской; два несомненные кавалериста.

Первый. И муж, ты говоришь, в соседней комнате... ха-ха!

Второй. Да, в соседней комнате, за преферансом сидит. И мы слышим, как он говорит: "пас!!"

Первый. Ah, c'est unique! [Бесподобно! (франц.)]

ГРУППА 4-я

У одной из Садовых; начальник и подчиненный.

Подчиненный. Он, вашеество, как место-то получил? Вы Глафиру-то Ивановну изволите знать?

Начальник. Как же! как же! Хорошенькая! Ах да! ведь она с графом Николаем Петровичем... по-ни-маю!

Подчиненный. Ну вот-с! ну вот-с! ну вот-с!

Начальник. Пон-ни-маю!!

:

ГРУППА 5-я

У подъезда Дюсо; Тебеньков и я.

Тебеньков. А ты еще сомневался, что женский вопрос решен! Давно, mon cher! Еще "Прекрасная Елена" - уж та порешила с ним!

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Двадцать первого июля, накануне своих именин, Марья Петровна Воловитинова с самого утра находится в тревожном ожидании. Она лично надзирает за тем, как горничные убирают комнаты и устраивают постели для дорогих гостей.

- Пашеньке-то! Пашеньке-то! подушечку-то маленькую не забудьте под бочок положить! - командует она направо и налево.

- А Семену Иванычу где постелить прикажете? - спрашивает ее ключница Степанида.

- Ну, Сенечка пусть с Петенькой поспит! - отвечает она после минутного колебания.

- А то угольная порожнем стоит!

- Нет, пусть уж, Христос с ним, с Петенькой поспит!.. Феденьке-то! Матрена! Феденьке-то не забудьте, чтоб графин с квасом на ночь стоял!

- А перинку какую Семену Иванычу прикажете?

- Попроще, Степанидушка, попроще! из тех... знаешь? - отвечает Марья Петровна, томно вздыхая.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

Сделав эти распоряжения, Марья Петровна удаляется в девичью, где ждет ее повар с разложенною на столе провизией.

– Я сегодня дорогих гостей к себе жду, Афоня! – говорит она повару.

– Слушаю-с.

– Так как же ты думаешь, что бы нам такое сготовить, чтоб дорогих гостей порадовать?

– На холодное галантир можно-с.

– Что это, господи! только и слов у тебя что галантир да галантир!

– Как вам угодно-с.

– Нет, уж ты лучше... да что ты жуешь? что ты все жуешь? – Афоня проворно подносит ко рту руку и что-то выплевывает.

– Таракан залез-с! – отвечает он.

– Ах ты, дурной, дурной! (Марья Петровна решила не омрачать праздника крепкими словами.) Верно уж клюкнул?

– Виноват-с.

– Вот то-то вы, дурачки! огорчаете вы вашу старую барыню, а потом и заедаете всякой дрянью!

– Виноват-с.

– Ты бы вот, дурачок, подумал, что завтра, мол, день барынина ангела; чем бы, мол, мне ее, матушку, порадовать!

– Виноват-с.

– Молчать! Что ты, подлец, какую власть надо мной взял! я слово, а он два! я слово, а он два!.. Так вот ты бы и подумал: "что бы, мол, такое сготовить, чтоб барыне перед дорогими гостями не совестно было!" а ты, вместо того, галантир да галантир!

– Можно ветчину с горошком подать-с! – отвечает повар с некоторым озлоблением.

– Ну да; ну, хоть ветчину с горошком... а с боков-то котлеточек...

Марья Петровна высчитывает, сколько у нее будет гостей. Будут: Феденька, Митенька и Пашенька; еще будет Сенечка, но его Марья Петровна почему-то пропускает.

– Так ты три котлеточки к одному боку положи, – говорит она, – ну, а на горячее что?

– Щи из свежей капусты можно сделать-с.

Марья Петровна рассчитывает: свежей капусты еще мало, а щи надобно будет всем подавать.

– Щи ты из крапивы сделай! или нет, вот что: сделай ты щи из крапивы для всех, да еще маленький горшочек из свежей капусты... понимаешь?

– Слушаю-с.

– А на жаркое сделай ты нам баранинки, а сбоку положи три бекасика...

– Можно-с.

– А пирожное, уж так и быть, общее: малиновый пирог! И я, старуха, с ними

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
полакомлюсь!

Кончивши с поваром, Марья Петровна призывает садовника, который приходит с горшками, наполненными фруктами. Марья Петровна раскладывает их на четыре тарелки, поровну на каждую, и в заключение, отобрав особо самые лучшие фрукты, отправляется с ними по комнатам дорогих гостей. Каждому из них она кладет в потаенное место по несколько отборных персиков и слив, исключая Сенечки, около комнаты которого Марья Петровна хотя и останавливается на минуту, как бы в борении, но выходит из борьбы победительницей.

Марья Петровна – женщина очень почтенная: соседи знают ее за чадолюбивейшую из матерей, а отец Павлин, местный сельский священник и духовник Марьи Петровны, даже всенародно однажды выразился, что душа ее всегда с благопоспешением стремится к благоутешению ближнего, а десница никогда не оскудевает благоготовностью к благоукрашению храмов божиих. Марья Петровна сама знает, что она хорошая женщина, и нередко, находясь наедине с самой собою, потихоньку умиляется по поводу разнообразных своих добродетелей. Сядет этак у окошечка, раздумается и даже всплакнет маленько. Все-то она устроила: Сенечку в генералы вывела, Митеньку на хорошую дорогу поставила, Феденька – давно ли из корпуса вышел, а уж тоже штабс-ротмистр, Пашенька выдана замуж за хорошего человека, один только Петенька... "Ну, да этот убогонький, за нас богу помолит! – думает Марья Петровна, – надо же кому-нибудь и богу молиться!.." И все-то она одна, все-то своим собственным хребтом устроила, потому что хоть и был у ней муж, но покойник ни во что не входил, кроме как подавал батюшке кадило во время всенощной да каждодневно вздыхал и за обедом, и за ужином, и за чаем о том, что не может сам обедню служить. А храмы-то, храмы-то божии! Тогда-то Марья Петровна пелену на престол пожертвовала, тогда-то воздуха прекрасные вышила, тогда-то паникадило посеребрила... Как вспомнит это Марья Петровна да сообразит, что все это она, одна она сделала и что вся жизнь ее есть не что иное, как ряд благопотребных подвигов, так у ней все внутри и заколышется, и сделается она тихонькая-претихонькая, Агашку называет Агашенькой, Степашку – Степанидушкой и все о чем-то сокрушается, все-то благодумствует.

У Марьи Петровны три сына: Сенечка, Митенька и Феденька; были еще две замужние дочери, но обе умерли, оставив после себя Пашеньку (от старшей дочери) и Петеньку (от младшей).

Сенечка, как сказано выше, уже генерал (разумеется, штатский) и занимает довольно видный пост в служебной иерархии. Начальники Сенечки не нахвалятся им; мало того что он держит в страхе своих подчиненных, но что всего драгоценнее, сам повиноваться умеет. Окончив с успехом курс в училище правоведения, Сенечка с гордостью мог сказать, что ни одного чина не получил за выслугу, а всё за отличие, и, наконец, тридцати лет от роду, довел свою исполнимость до того, что начальство нашлось вынужденным наградить его чином действительного статского советника. Поздравляя его с этой наградой, Сенечкин начальник публично улыбнулся и назвал его *general-enfant* [генерал-дитя(франц.)], а Сенечка, с своей стороны, разревновался до того, что в один год сочинил пять проектов, из коих два даже по совершенно постороннему ведомству. Начальство просто растерялось и не знало, как наградить молодого генерала. Сенечка же, с своей стороны, слушая со всех сторон себе похвалы, застенчиво краснел, что придавало еще более цены его усердию. Я не читал сочиненных Сенечкою проектов, но, признаюсь, очень хотел бы почитать их. А так как, с другой стороны, я достоверно знаю, что все они кончались словами: вменить начальникам губерний в обязанность и т.д., то, положив руку на сердце, я с уверенностью могу сказать, что содержание их мне заранее известно до точности, а следовательно, и читать их особенной надобности для меня не стоит.

Итак, со стороны службы, Сенечка был счастлив; он имел прекрасный, шитый золотом мундир, был баловнем своих начальников, служил предметом зависти для сверстников и примером подражания для подчиненных. Сверх того, он имел очень приятную наружность и те прекрасные манеры, которыми вообще отличаются питомцы школы правоведения. И в наружности, и в манерах его прежде всего поражала очень милая смесь откровенной преданности с застенчивою почтительностью; сверх того, он имел постоянно бодрый вид, а когда смотрел в глаза старшим, то взгляд его так отливал доверчивостью и признательностью, что старшие, в свою очередь, не могли оторвать от него глаз и по этой причине называли его василиском благодравия. Замечательно, что до всего этого он дошел своим собственным умом, без малейшей протекции, потому что *тапап* [мамаша (франц.)] Воловитинова хотя была женщина с состоянием, но жила безвыездно в деревне и никаких знатных связей не имела.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Вообще Сенечка мог дерзать в будущем очень далеко, и хотя предположений своих по этому предмету не высказывал, но я знаю, что и он был не чужд мечтаний. Я знаю, например, что нередко ему снились мундиры самых разнообразных цветов и покроев, но всегда с великолепным шитьем; однажды он даже увидел себя во сне сплошь утыканным павлиньими перьями, которые так и играли на солнце всевозможными радужными цветами. Сон оказался вещун, потому что на другой же день его представили к награде. Повторяю: Сенечка был счастлив. Однако было одно обстоятельство, которое грызло его, и обстоятельство это заключалось в том, что он никак не мог пленить сердце маменьки Марьи Петровны. По-видимому, он заключал в себе все данные для увеселения материнского сердца; по-видимому, он был и благоденствен, и почтителен, не пропускал ни одного праздника, чтоб не пожелать милой маменьке "встретить его в полном душевном спокойствии и в той сердечной тишине, которых вы, милая маменька, вполне достойны", однако материнское сердце оставалось холодно к нему. Нельзя сказать, чтобы Марья Петровна не "утешалась" им: когда он в первый раз приехал к ней показаться в генеральском чине, она даже потрепала его по щеке и сказала: "ах, ты мо-ой!", но денег не дала и ограничилась ласковым внушением, что люди для того и живут на свете, чтобы друг другу тяготы носить.

– Маменька, мне надо будет мундир новый сшить! – сказал Сенечка, думая деликатным образом дать понять об истинной цели своего посещения.

– Сшей, душенька, сшей! – снисходительно отвечала Марья Петровна, а денег так-таки и не дала.

Соседи всячески истолковывали себе причины холодности Марьи Петровны к своему первенцу. Приплетали тут и каких-то двух офицеров пошехонского пехотного полка, и Карла Иваныча, аптекаря; говорили, что Сенечка – первый и единственный сын своего отца и что Марья Петровна, не питавшая никогда нежности к своему мужу, перенесла эту холодность и на сына...

Я, с своей стороны, думаю, что все это пустяки. Не смея ни возражать, ни утверждать ничего относительно офицеров и аптекаря (потому что я и сам этого обстоятельства не привел в положительную известность), я объясняю себе холодность Марьи Петровны несколько иначе. Она была женщина простая, деятельная и весьма сообразительная; Сенечка же, напротив того, был молодой человек вычурный, лимфатический и слегка словно пришибенный. Марья Петровна любила, чтоб у нее дело в руках горело; Сенечка же любил всякое дело обсудить, то есть не столько обсудить, сколько наговорить по поводу его с три короба всякого рода предварительных пошлостей. Марья Петровна терпеть не могла, когда к ней лезли с нежностями, и даже целование руки считала хотя необходимою, но все-таки скучною формальностью; напротив того, Сенечка, казалось, только и спал и видел, как бы вlepить мамаше беззашку взасос, и шагу не мог ступить без того, чтобы не сказать: "Вы, милая маменька", или: "Вы, добрый друг, моя дорогая маменька". Весьма натурально, что, будучи от природы нетерпелива и не видя конца речи, Марья Петровна выходила наконец из себя и готова была выкусить язык этому "подлецу Сеньке", который прехладнокровно сидел перед нею и размазывал цветы своего красноречия. "Как начнет он, это, разводит да размазывать, да душу из меня выматывать, как начнет, это, свои слюни распускать, – говорила Марья Петровна по этому случаю, – так, поверите ли, родная моя, я даже свету невзвижу; так бы, кажется, изодрала ему рот-то его поганый, чтоб он кашу-то эту из себя скорей выблевал!" Когда Марья Петровна ела, то совсем не жевала, а проглатывала пищу, как щука; напротив того, Сенечка любил всякий кусок рассмотреть, разжевать, просмаковать, посыпать разговорцем и, к довершению всего, разрезывал кушанье на маленькие кусочки, а с огурца непременно срезывал кожу. Поэтому, когда им случалось вдвоем обедать, то у Марьи Петровны всегда до того раскипалось сердце, что она, как ужаленная, выскакивала из-за стола и, не говоря ни слова, выбегала из комнаты, а Сенечка следом за ней приставал: "кажется, я, добрый друг маменька, ничем вас не огорчил?" Наконец, когда Марья Петровна утром просыпалась, то, сплеснув себе наскоро лицо и руки холодной водой и накинув старенькую ситцевую блузу, тотчас же отправлялась по хозяйству и уж затем целое утро переходила от погреба к конюшне, от конюшни в контору, а там в оранжерею, а там на скотный двор. Сенечка, напротив того, и спал как-то не по-человечески: во-первых, на ночь умащал свое лицо притираньями; во-вторых, проснувшись, целый час рассматривал, не вскочило ли где прыщика, потом целый час чистил ногти, потом целый час изучал перед зеркалом различного рода улыбки, причём даже рот как-то на сторону выворачивал, словно выкидывал губами артикул. Хоть Марье Петровне до всего этого было очень мало дела, потому что она и не желала, чтоб

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
дети у ней в доме чем-нибудь распоряжались, однако она и на конюшне, бывало, вспомнит, что вот "Сенька-фатюй" теперь перед зеркалом гримасы строит, и даже передернет ее всю при этом воспоминанье. Одним словом, встречаясь в жизни на каждом шагу, они не только не могли ни в чем сойтись, но положительно и постоянно точили друг друга. Ясно, что причина этого явления лежала совсем не в офицерах пошехонского полка, но объяснялась гораздо проще. Они видеть друг друга не могли без того, чтоб мысленно не произнести – она: "Ах, если б ты знал, как меня от одного твоего вида тошнит!", он: "Ах, если б ты знала, с каким бы я удовольствием ноги своей сюда не поставил, кабы только от меня это зависело!" Какой же тут аптекарь! тут просто люди не понимают друг друга, потому что говорят на разных языках!

Однажды Сенечка насмерть перессорился с маменькой из-за бани. Приехавши летом в отпуск, вздумал он вымыться в баньке и пришел доложить об этом маменьке. Он тогда только что был произведен в статские советники и назначен вице-директором какого-то департамента.

– У меня есть до вас, милая маменька, большая просьба! – приступил Сенечка, по своему обыкновению, с предисловия.

– Говори, мой друг!

– Вы меня извините, добрый друг маменька, я только что приехал и решаюсь уже вас беспокоить...

– Говори, мой друг!

– Но обстоятельство такого рода, что я, зная ваше доброе ко мне расположение и как вы всегда были снисходительны ко всем моим нуждам...

– Да говори же, дурак!

– Я, право, не знаю, дорогая маменька, чем я мог заслужить ваш гнев...

– Долго ли ты меня притеснять будешь? долго ли тебе мной командовать?

– Я, милая маменька...

Но Марья Петровна уже вскочила и выбежала из комнаты. Сенечка побрел к себе, уныло размышляя по дороге, за что его наказал бог, что он ни под каким видом на маменьку потрафить не может. Однако Марья Петровна скоро обдумалась и послала девку Палашку спросить "у этого, прости господи, черта", чего ему нужно. Палашка воротилась и доложила, что Семен Иваныч в баньку желают сходить.

– На-тко! – сказала Марья Петровна и показала при этом Палашке указательный палец правой руки, – на дворе сенокос, люди в поле, а он в баньку выдумал! Поди, доложи, что некому сегодня топить.

Однако через несколько минут Марья Петровна опять обдумалась, велела затопить баню и послала за Сенечкой.

– Ну, ступай в баню, мой друг, – сказала она кротко.

– Но если это затрудняет вас в ваших распоряжениях, милый друг маменька...

– Ступай в баню, мой друг, – опять повторила Марья Петровна и, чтоб не увлекаться, занялась раскладыванием гран-пасьянса.

– Если все люди в поле, дорогая маменька...

Марья Петровна не отвечала, но, судорожно повёртываясь на стуле, думала: "Неужели это я такого дурака родила?"

– Я не знаю, милая маменька, что я такое сделал, чем я мог вас огорчить?

Молчание...

– Я благодарию своим заслужил любовь всех моих начальников, ныне назначен уже

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
вице-директором и лишь себя надеждою, что карьера моя далеко не кончена...

То же молчание, нарушаемое только шлепаньем карт.

– Во всех семействах первородные сыновья...

– Уйдешь ли ты в баню, мерзавец! – крикнула наконец Марья Петровна, но таким голосом, что Сенечке стало страшно. И долго потом волновалась Марья Петровна, и долго разговаривала о чем-то сама с собой, и все повторяла: "лишу! ну, как бог свят лишу я этого подлеца наследства! и перед богом не отвечу!" С своей стороны, Сенечка хоть и пошел в баню, но не столько мылся в ней, сколько размышлял: "Господи, да отчего же я всем угодил, всем заслужил, только маменьке Марье Петровне ничем угодить и заслужить не могу!"

Второй сын Марьи Петровны, Митенька, – дипломат. Он воспитывался в Лицее, прекрасно владеет французским диалектом, смотрит урожденным камер-юнкером и отлично танцует. Лицо его выразительно и напоминает скорее прекрасный худощавый итальянский тип, нежели наш мясистый русский. Поговаривают, будто он пользуется значительными успехами у дам; тем не менее он ведет себя очень осторожно; историй, которые могли бы его скомпрометировать, никогда не имел и, как видно, предпочитает обдeldывать свои дела полегоньку. Вообще это малый довольно глубокомысленный, понимающий, что счастье человеческое заключается в скромности, терпении и небрезгливости, и, вследствие того, всегда предпочитающий даму опытную, знакомую с жизненною дипломатией, какой-нибудь молоденькой, привлекательной, но в то же время неосновательной бабенке. Носились слухи, что он сумел "сыскать" в какой-то княгине, знаменитой не столько настоящею, сколько прошедшею своею красотой; говорили, что он не только пользуется ее благосклонностью, но не пренебрегает и другими, более вещественными выгодами. Как бы то ни было, но квартира его была действительно отделана как игрушечка, хотя Марья Петровна, по своей расчетливости, не слишком-то щедро давала детям денег на прожитие; сверх того, княгиня почти публично называла его сынком, давала ему целовать свои ручки и без усталости напоминала Митенькиным начальникам, что это перл современных молодых людей. Мне, как автору, кроме того, известно, что однажды княгиня, в порыве чувствительности, даже написала к Марье Петровне письмо, в котором называла ее доброю татап и просила благословения. Это был единственный случай, когда Митенька вышел из своего обычного хладнокровия и чуть было не поссорился с своею покровительницей. В первом увлечении гнева он нашел, что поступок этот чересчур уж нелеп, que ça n'a l'air de rien [то никуда не годится (франц.)], что это срам; однако ж, по зрелом размышлении, успокоился и даже рассудил, что нелепая сентиментальность княгини может возвысить его в мамашиних глазах и, вместо вреда, принести пользу. И действительно, почти вслед за тем, он получил от мамы письмо, полное самых шутивных намеков, которое окончательно его успокоило. Письмо это оканчивалось поручением поцеловать милую княгиню и передать ей, что ее материнское сердце отныне будет видеть в ней самую близкую, нежно любимую дочь. Разумеется, Митенька поручения этого не исполнил.

В своем обществе Митенька называл Марью Петровну *ma bonne pate de mere* [моя добрая матушка (франц.)] и очень трогательно рассказывал, как она там хозяйничает в деревне, чтоб прилично содержать своих детей. К Сенечке он относился дружелюбно, но виделся с ним редко и в отношения его к матери не входил, ибо считал, что это не его дело. Он знал, что Сенечка не потеряется и, в конце концов, все-таки женится на купчихе, которая соблазнится его генеральством. Феденьку, младшего брата, он в душе презирал и даже боялся, что он когда-нибудь непременно или казенные деньги украдет, или под суд попадет, или получит неприятность по лицу. Тем не менее это опасение, быть может, было причиной, что он поддерживал с Феденькой сношения даже более деятельные, нежели с Сенечкой: он надеялся, что если и возникнет какая-нибудь неприятность, то можно будет своевременно принятыми мерами предотвратить ее. Повторяю: это был малый очень глубокомысленный, принявший свое положение в том виде, в каком оно действительно представлялось, и употреблявший все свои усилия на то, чтоб вывернуться из него как можно приличнее. Если б можно было упечь Феденьку куда-нибудь подальше, но так, чтобы это было прилично (ему часто даже во сне виделось, что Феденька оказался преступником и что его ссылают в Сибирь), то он бы ни на минуту не усомнился оказать в этом деле все свое содействие.

С своей стороны, Марья Петровна не столько любила Митеньку, сколько боялась его. При одном его имени она чувствовала какой-то панический страх, точно вот он сейчас возьмет да и проглотит ее. Митенька дома держал себя таинственно-строго,

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik с матерью никогда не ссорился, но и в откровенности не пускался. В сущности, он и Сенечка представляли почти одну и ту же натуру: та же шаткость основ, то же отсутствие всякой живой мысли, но, вследствие особенностей характера и жизненной выдержки, то, что в Сенечке сказывалось прямою, неподкрашенной нелепостью, в Митеньке являлось твердостью характера, переходившею в холодную и расчетливую злость. Оба они говорили и делали одни и те же пошлости, но проводили эти пошлости в жизнь совершенно различными путями. Сенечка суетился и сентиментальничал; он не смотрел на себя как на государственного человека, но, надеясь на милость начальства, был предан и выигрывал единственно усердием и ничтожеством. Взвизывая на него, как он хлопчет и надрывается, усматривая на каждом шагу несомненные доказательства его почтительности, начальство говорило: "О! это молодой человек верный! этот не выдаст!" Напротив того, Митенька был неприступен и непроницаем; он хранил свою пошлость про себя и совершенно искренно верил, что в ней заключаются истинные задатки будущего государственного человека; он не хлопотал, не суетился, но делал свои маленькие нелепости серьезно и методически и поражал при этом благородством манер. Взвизывая на эту силу ничтожества, доведенную почти до олимпийского спокойствия, начальство говорило: "Да! это молодой человек положительный! этот не выдаст!" Результаты в обоих случаях выходили одинаковые, и действительно, Митенька шел вперед столь же быстрыми шагами, как и Сенечка, с тою только разницей, что Сенечка мог надеяться всплыть наверх в таком случае, когда будет запрос на пошлецов восторженных, а Митенька – в таком, когда будет запрос на пошлецов непромокаемых. Марья Петровна радовалась успехам Митеньки, во-первых, потому, что это не позволяло Сенечке говорить: "Все у вас дети пастухи – я один генерал!" и, во-вторых, потому, что Митенька один умел сдерживать Феденьку, эту скорбь и вместе с тем радость и чаянье ее материнского сердца.

И действительно, Феденька представлял собою совершеннейший тип не только пустейшего малого, но и положительного ерыги. "Все у него удовольствия какие-то неблагородные! все-то у него либо подол поднять, либо рожу раскраснеть!" – часто думала втихомолку Марья Петровна про Феденьку, и болело же, ох, болело! ее материнское сердце! И припоминала ей беспощадная память все оскорбления, на которые был так щедр ее любимчик; подсказывала она ей, как он однажды, пьяный, ворвался к ней в комнату и, ставши перед ней с кулаками, заревел: "Сейчас послать в город за шампанским, не то весь дом своими руками передешу!" "И передешу!" – невольно повторяет Марья Петровна при этом воспоминании. Подсказывала ей память, как он в другой раз преданную ей ключницу Степаниду сбирался за что-то повесить, как он даже вбил гвоздь в стену, приготовил веревку и, наконец, заставил Степаниду стать на колени и молиться богу. Подсказывала ей память, как он однажды батюшке потихоньку косу обстриг и как батюшка был от того в великом смущении и хотел даже доходить до епархиального начальства... Вообще каждый приезд Феденьки в родительский дом равнялся неприятельскому погрому, после которого обыватели долго не могли прийти в себя. Во-первых, всех горничных непременно перепортит, и не то чтоб лаской или резонным усовещиваньем, а все арапником да нагайкой; во-вторых, божьего дара не столько припьет-приест, сколько озорством разбросает; в-третьих, изо всего дома словно конюшню сделает. "Другая бы мать давно этакого молодца в суздаль-монастырь упекла!" – рассуждает сама с собой Марья Петровна, совершенно убежденная, что есть на свете какой-то суздаль-монастырь, в который чадолюбивые родители имеют право во всякое время упекать не нравящихся им детей. Никто в доме не любил Феденьку; всех-то он или побил, или оборвал; только горничные девки оказывали какое-то трепетное малодушие при одном его взгляде, несмотря на жестокое его обращение.

Тем не менее сердце Марьи Петровны ни к кому из детей так не лежало, как к Феденьке. Быть может, ей именно то в нем и нравилось, что он таким коршуном налетал: "разбойник!" – громко говорил ее рассудок; "молодец!" – подсказывали внутренности, и, как и водится, последние всегда одерживали победу в этой неравной борьбе. Будучи сама характера решительного и смелого, она весьма естественно симпатизировала Феденьке, который ни перед чем не задумывался, ничем не затруднялся. Никогда не имел случая испытать над собой гнет чьей-нибудь власти, сама всегда властвуя и повелевая, она исполнялась каким-то наивным удивлением перед Феденькой, который сразу подчинял ее себе. Это был совсем не страх, вроде того, который внушал ей Митенька, это именно было удивление. Митеньку она боялась, потому что знала, что уж если этот человек чего захочет, то не станет много разговаривать, не станет горячиться, а просто ехиднейшим образом подкопается подо все существование и изведет, измучит вконец, покуда не поставит на своем. Напротив того, Феденька, как буян по натуре, действовал убеждением, так сказать, механическим: вспылит, подымет дым коромыслом, порой

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik чуть-чуть не убьет, но через десять минут опять успокоится и опять пошел шутки шутить.

Ко всему этому Феденька был и по наружности молодец молодцом. Высокий, плечистый, искрасна-белокурый, он олицетворял собою тип чисто русский, мясистый тип, от которого млеют и ноют неиспорченные сердца русских помещиц и их горничных. Часто, глядя на него, Марья Петровна невольно думала: "Господи! да как же и противиться-то этакому молодцу!" - и в этом, быть может, была вторая причина ее предпочтения младшему сыну. Когда же, бывало, натянет он на себя свой кавалерийский мундир, а на голову наденет медную, как жар горящую, каску с какими-то чудодейственными орлами на вершине да войдет этаким чудачком в мамашину комнату, то Марья Петровна едва удерживалась, чтоб не упасть в обморок от полноты чувств.

- Эк! уж и расползлись! - скажет, бывало, Феденька и дико-торжественно загогочет.

- Да помилуй, мой друг! - вымолвит только Марья Петровна и долго смотрит на своего идола, смотрит без всяких мыслей, кроме одной: "Господи! да неужто же есть на свете такая женщина, которая может противиться моему молодцу!"

Кроме сыновей, у Марьи Петровны есть еще внучата: Пашенька и Петенька. Пашенька - кругленькое, маленькое и мяконькое существо - вот все, что можно сказать об ней. Она менее года как замужем за "хорошим человеком", занимающим в губернском городе довольно видное место, которого, однако ж, Феденька откровенно называет слюндром и фанатом; Марья Петровна души в ней не слышит, потому что Пашенька любит копить деньги. Петенька - четырнадцатилетний мальчик, полуидиот и единственный постоянный собеседник Марьи Петровны, которая обращается с ним снисходительно и жалуется только на то, что он, по своей нечистоплотности, слишком много белья изнашивает. Единственный рассказ, которым всех и каждого потчевал Петенька, заключался в том, как он однажды заблудился в лесу, лег спать под дерево и на другой день, проснувшись, увидел, что кругом оброс грибами.

- Что ж, ты, чай, так их сырые и приел? - спрашивал его обыкновенно Феденька.

- Ей! - отвечал Петенька, который, помимо малоумия, был до такой степени косноязычен, что трудно было понять, что он говорит.

- Ну, брат, скотина же ты!

- Кати...

Итак, вот то семейство, среди которого Марья Петровна Воловитинова считала себя совершенно счастливою.

Часу в первом усмотрено было по дороге первое облако пыли, предвещавшее экипаж. Девки засовались, дом наполнился криками: "Едут! едут!" Петенька, на палочке верхом, выехал на крыльцо и во все горло драл какую-то вновь сочиненную им галиматью: "Пати-маля, маля-тата-бум-бум!"

Марья Петровна тоже выбежала на крыльцо и по дороге наградила Петеньку таким шлепком по голове, что тот так и покатился. Первая прибыла Пашенька: она была одна, без мужа.

- Друг ты мой! а что же друг-то твой, Максим Александрыч? - воскликнула Марья Петровна, заключая в свои объятия возлюбленную внучку.

- Максиму Александрычу никак нельзя, милая бабенька; у нас, бабенька, скоро торги, так он готовится! Здравствуй, Петька!

- Пати-маля, маля-тата, бум-бум!

- Это он что-то новое у вас, бабенька, выучил!

- Не слыхала еще! сегодня, должно быть, выдумал! это он "реприманд" дорогим гостям делает.

- А я, бабенька, полторы тысячи накопила! - сообщает Пашенька, как только

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
унялись первые восторги.

- Ах, ты моя ягодка! да никак ты тяжела!
- Я, милая бабенька, тяжела уж с одиннадцатого февраля!
- Ах, малютка ты моя милая! где ж ты рожать-то будешь?
- Максим Александрыч говорит, что у себя, в городе.
- Да есть ли у вас бабка-то там?
- У нас, бабенька, такая бабка... такая бабка! нарочно для нашей губернаторши лучшую из Петербурга прислали!
- Стало быть, у вас губернаторша-то еще рождает?
- Ах, бабенька! у нас губернаторша... это ужас! Уж немолодая женщина, а каждый год! каждый год!
- Ну, это хорошо, что бабка у вас такая... Куда же ты деньги-то? положила?
- Нет, бабенька, Максим Александрыч мне класть не советовал; проценты нынче в опекуновом совете маленькие, так я в рост за большие проценты отдала.
- Смотри, чтоб он у тебя денег-то не выманил!
- Кто это?
- А Максимушка-то твой; бывают, Пашенька, мой друг, бывают такие озорники, что жену готовы живую съесть, только бы деньги из нее вымучить!
- Ну, уж это, бабенька, тогда разве будет, когда он жилы из меня потянет!
- То-то, ты смотри!

Бабенька смотрит Пашеньке в глаза и не налюбуется на нее; Пашенька, с своей стороны, докладывает, что приходил к ней недавно в город мужик из Жостова, Михей Пантелеев, просил оброк простить, потому что погорел, "да я ему, милая бабенька, не простила".

- Ну, душенька, иногда, по-божески, нельзя и не простить! – замечает Марья Петровна.
- Ну, уж нет, бабенька, этак они так об себе возмечтают, что после с ними и не сговоришь!
- Однако, душечка...
- Нет, бабенька, нет! Я уж решила никогда никому никаких снисхождений не делать!

Потом Пашенька рассказывает, какой у них в городе дом славный, как их все любят и какие у Максима Александрыча доходы по службе прекрасные.

- В прошлый набор, бабенька, так это ужаси, сколько Максим Александрыч приобрел! – говорит она.
- Да, это хорошо, коли в дом, а не из дому! Ты, Пашенька, разузнай под рукой про его доходы-то, а не то как раз на стороне метресу заведет!
- Что вы, бабенька, да я ему глаза выцарапаю!
- Ах ты, моя ягодка!

Пашенька чувствует прилив нежности, которая постепенно переходит в восторг. Она ластится к бабеньке, целует у ней ручки и глазки, называет царицей и божественной. Марья Петровна сама растрогана; хоть и порывается она заметить, по

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik по поводу Михея Пантелеева, что все-таки следует иногда "этим подлецам" снисходить, но заметка эта утопает в другом рассуждении, выражающемся словами: "а коли по правде, что их, канальев, и жалеть-то!" Таким образом время проводится незаметно до самого приезда дяденек.

Наконец и они приехали. Феденька, как соскочил с телеги, прежде всего обратился к Пашеньке с вопросом: "Ну, что, а слюняй твой где?" Петеньку же взял за голову и сряду три раза на ней показал, как следует ковырять масло. Но как ни спешил Сенечка, однако все-таки опоздал пятью минутами против младших братьев, и Марья Петровна, в радостной суете, даже не заметила его приезда. Без шума подъехал он к крыльцу, слез с перекладной, осыпал ямщика укоризнами и даже пригрозил отправить к становому.

– Милости просим! милости просим! хоть и поздний гость! – говорит ему Марья Петровна, когда он входит в ее комнату.

– Я, милая маменька, выехал прежде всех...

– А ты умеи после всех выехать, да прежде всех приехать! – говорит Феденька, – право, мы выехали со станции полчаса после него: думаем, пускай его угодит маменьке... Сеня! а Сеня! признайся, ведь тебе очень хотелось угодить маменьке?

Сенечка улыбается; он хочет притвориться, что Феденька и его фаворит и что, по любви к нему, он смотрит на его выходки снисходительно.

– Только на половине дороги смотрим, кто-то перед носом у нас трюх-трюх! – продолжает Феденька, – ведь просто даже глядеть было на тебя тошно, каким ты разуваем ехал! а еще генерал... ха-ха!

– Ну, Христос с ним, Феденька!

– Да нет, маменька! не могу я равнодушно видеть... его, да вот еще Пашенькинова слюняя... Шипят себе да шипят втихомолку!

– Что такое тебе мой слюняй сделал? – горячо вступается Пашенька, которая до того уже привыкла к этому прозвищу, что и сама нередко, по ошибке, называет мужа слюняем.

Митенька сидит и хмурит брови. Он спрашивает себя: куда он попал? Он без ужаса не может себе представить, что сказала бы княгиня, если б видела всю эту обстановку? и дает себе слово уехать из родительского дома, как только будут соблюдены необходимые приличия. Марья Петровна видит это дурное расположение Митеньки и принимает меры к прекращению неприятного разговора.

– Ну, вы, петухи индейские! как сошлись, так и наскочили друг на друга! – говорит она ласково, – рассказывайте-ка лучше каждый про свои дела! Начинай-ка, Феденька!

Митенька думает про себя: "Господи, и слова-то какие! "петухи индейские"! да куда ж это я попал!" Сенечка думает: "А ведь это она не меня петухом-то назвала. Это она все Федьку да Пашку ласкает!"

– Да что я скажу! – начинает Феденька, – жуируем!

– Да ты рассказывай! – настаивает Марья Петровна.

– Недавно одну корифейку затравили!

– Что ты!

– Уговаривали добром – не захотела, ну, и завели обманом в одно место и затравили!

– Ах вы, бедокуры! бедокуры! – говорит Марья Петровна, покачивая головой и вздыхая.

– Тебя, Феденька, за эти проделки непременно в солдаты разжалуют, – очень серьезно замечает Митенька.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Еще что!

– Ах, боюсь и я этого! боюсь я, что ты очень уж шаловлив стал, Феденька!

– Так неужто ж им спуску давать!

– Да уж очень ты неосторожно, друг мой! Чай, ведь она, Феденька, плакала!

– Ну что ж... и плакала! смотреть, что ли, на ихние слезы!

Марья Петровна опять вздыхает, но в этом вздохе не слышится ни малейшей укоризны, а скорее какое-то сладкое чувство удовлетворенной материнской гордости.

– Вот если б он вздумал такую проделку сделать, – продолжает Феденька, указывая на Сенечку, – ну, это точно: сейчас бы его, раба божьего, сграбастали... нет, да ведь я позабыть не могу, каким он фофаном давеча ехал!

– Ну, где уж ему!

– Нет, маменька, – прерывает вдруг Сенечка, которому хочется вступить за свою честь, – я тоже однажды имел случай в этом роде...

– Полно! полно хвастаться-то! уж где тебе, убогому!

Сенечка стыдливо умолкает и весь погружается в самого себя; он думает, что бы такое ему сказать приятное, когда маменька станет расспрашивать о его житье-бытье.

– Я маменька, опять Эндоурова обыграл, – продолжает повествовать Феденька.

– Скажи, сделай милость! и много выиграл?

– Да тысяч на пять обжег.

– Что это за Эндоуров такой? должно быть, хороший человек?

– Просто филин... в карты шагу ступить не умеет – ну, и обжег! Не суйся вперед, коли лапти плетешь!

– Ну, и за это тебя когда-нибудь в солдаты разжалуют, – хладнокровно замечает Митенька.

– Ах, что это ты, Митенька, точно ворона каркаешь! – с неудовольствием отзывается Марья Петровна.

– Не тянуть же мне канитель по две копейки в ералаш, как Семену Иванычу, – огрызается Феденька.

– Извините-с, я нынче по пяти играю, а не по две-с! – отвечает Сенечка не без волнения.

– Так ты по пяти играешь! ах ты, развратник! но только ты все-таки не поверишь, каким ты фофаном давеча ехал!

– Для тебя бы, Сенечка, такая-то игра и дорогонька! – сухо замечает Марья Петровна и обращается к Митеньке, – е ву, ля метресс... тужур бьен? [а у тебя с любовницей... по-прежнему хорошо? (франц. – et vous, la maîtresse... toujours bien?)]

– желал бы я знать, отчего вы вдруг по-французски заговорили? – угрюмо спрашивает Митенька.

– Отчего ж мне и не заговорить по-французски?

– Нет, я желал бы знать, отчего вы все время говорили по-русски, а вот как вам взошла в голову пакость, сейчас принялись за французский язык?

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Ах, господи! да неужто ж это преступление какое?

– И сколько я раз говорил вам, чтобы вы со мной о подобных предметах не заигрывали?

– Ведь ты, чай, сын мне! всякой матери лестно слышать, коли сын успехи имеет!

– А я вам говорил и вновь повторяю, что имею ли я успехи или нет, это до вас не касается!

– Ну, уж не знаю...

– Так знайте. И по-французски не упражняйтесь, потому что вы говорите не по-французски, а по-коровьи...

Я не знаю, как вывернулась бы из этого пассажа Марья Петровна и сумела ли бы она защитить свое материнское достоинство; во всяком случае, Сенечка оказал ей неоцененную услугу, внезапно фыркнув во всеуслышание. Вероятно, его точно так же, как и Митеньку, поразил французский язык матери, но он некоторое время крепился, как вдруг Митенька своим вовсе не остроумным сравнением вызвал наружу всю накопившуюся смешливость.

– Ты еще что? – строго обратилась к нему Марья Петровна.

– Я, маменька, один смешной случай вспомнил-с...

– Над матерью-то посмеяться тебя станет, а вот как заслужить чем-нибудь, так тут тебя нет!

– Я, маменька...

Но здесь опять, и, конечно, против всякого желания, Сенечка разразился самым неестественным фырканием, так что сам понял все неприличие своего поведения и инстинктивно поднялся со стула.

– Поди в свою комнату... очнись! – говорила ему вслед до глубины души оскорбленная мать.

Только к обеду явился Сенечка, но и то единственно затем, чтоб испить до дна чашу унижения. За обедом все шло по-сказанному; Марья Петровна сама выбирала и накладывала лучшие куски на тарелки Митеньке, Феденьке и Пашеньке и потом, обращаясь к Сенечке, прибавляла: "Ну, а ты, как старший, сам себе положишь, да к стати уж и Петеньке наложи". Очевидно, что, при такой простоте обращения, только относительно щей дело могло принять оборот несколько затруднительный, но и тут обстоятельства выручили Марью Петровну, потому что Феденька, как воин, грубый, предпочел крапивные щи ленивым, и, вследствие этого, оказалось возможным полтарелки последних уделить Сенечке. Наевшись баранины, Сенечка почувствовал такую тяжесть в желудке, что насилиу дошел до своей комнаты и как сноп свалился на постель; Феденька отправился после обеда на конюшню; Пашенька, как тяжелая, позволила себе часочек-другой отдохнуть. Марья Петровна осталась с Митенькой наедине.

– Вот вы смеетесь надо мной, мои друзья, – сказала она в виде предисловия, – а я, как мать, можно сказать, денно и ночью только об вас думаю.

Митенька молчал и думал про себя: "Ну, верно, по обыкновению, пойдут разговоры о завещании!"

– Вот я теперь и стара, и дряхла становлюсь, – продолжала Марья Петровна, – мне бы и об душе пора подумать, а не то чтоб именем управлять или светскими делами заниматься!

Митенька продолжал молчать, совершенно хладнокровно пуская ртом кольца дыма.

– Паче всего сокрушаюсь я о том, что для души своей мало полезного сделала. Всё за заботами да за детьми, ан об душе-то и не подумала. А надо, мой друг, ах, как надо! И какой это грех перед богом, что мы совсем-таки... совсем об душе своей

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
не рачим!

Но Митенька словно окаменел. Только чуть заметная ироническая улыбка блуждала на губах его.

– Вот я, мой друг, и придумала... Да что же ты, однако, молчишь? Я, как мать, можно сказать, перед тобой свое сердце открываю, а ты хоть бы слово!

– Вы об завещании хотите говорить... я знаю! – процедил сквозь зубы Митенька.

– Ну, да, об завещании... можно бы, кажется, на слова матери внимание обратить!

– Говорите.

– Нет, это обидно! Я, как мать, покоя себе не знаю, все присовокупляю, все присовокупляю... кажется, щепочку на улице увидишь, и ту несешь да в кучку кладешь, чтоб детям было хорошо и покойно, да чтоб нужды никакой не знали да жили бы в холе да в неженье...

– Да мы, маменька, очень вам благодарны...

– Нет, мне, видно, бог уж за вас заплатит! Один он, царь милосердый, все знает и видит, как материнское-то сердце не то чтобы, можно сказать, в постоянной тревоге об вас находится, а еще пуще того об судьбе вашей сокрушается... Чтобы жили вы, мои дети, в веселостях да в неженье, чтоб и ветром-то на вас как-нибудь неосторожно не дунуло, чтоб и не посмотрел-то на вас никто неприветливо...

– Да говорите же, маменька, я вас слушаю.

Мало-помалу, однако ж, Марья Петровна успокоилась. Она очень хорошо понимала, что весь этот разговор не что иное, как представление, да, сверх того, понимала и то, что и Митенька знает, что все это представление; но такова уже была в ней потребность порисоваться и посеCRETничать, что не могла она лишиться этого удовольствия, несмотря на то что оно, очевидно, не достигало своей цели.

– Ну, так видишь ли, друг мой, что я придумала. Года мои преклонные, да и здоровье нынче уж не то, что прежде бывало: вот и хочется мне теперь, чтоб вы меня, старуху, успокоили, грех-то с меня этот сняли, что вот я всю жизнь все об маммоне да об маммоне, а на хорошее да на благочестивое – и нет ничего. Так снимите же вы, Христа ради, с меня эту тягость; ведь замучилась уж я, день-деньской маявшись: освободите вы мою душу грешную от муки мученической! Ведь ты знаешь ли, какой я себе грех беру на душу: кажется, и не отмолить мне его вовек!

Марья Петровна даже прослезилась: так оно выходило хорошо да чувствительно. Несколько минут она все вздыхала и вытирала платком слезы, обильно струившиеся из глаз. Но мысль ее не спала в это время. Странное дело! эта мысль подсказывала ей совсем не те слова, которые она произносила: она подсказывала: "Да куда ж я, черт побери, денусь, коли имение-то все раздам! все жила, жила да командовала, а теперь, на-тко, на старости-то лет да под команду к детям идти!" И вследствие этого тайного рассуждения слезы текли еще обильнее, а материнское горе казалось еще горчее и безысходнее.

– Так что же вы предполагаете сделать? – спокойно спросил Митенька.

– Отдам! все отдам! – с каким-то почти злобным криком отвечала Марья Петровна, – нет моих сил! нет моих сил! Слушай ты меня: вот я какое завещание составила!

Марья Петровна отперла денежный ящик и вынула оттуда бумагу.

– Да ведь вы мне уж несколько раз это завещание читали, – иронически заметил Митенька.

– Нет, это я другое... я то переменяла.

– Ну-с, читайте.

– Во имя... ну, там всё, как следует, по-старому... первое, сыну моему Семену,

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
как непочтительному...

– Кто же вам поверит, что Сенечка был к вам непочтителен?

– Да мне какое дело, поверит ли кто или нет; я мать – я и судья; имение-то, чай, мое, благоприобретенное...

– Ну-с, хорошо-с...

– "Сыну моему Семену – село Вырыпаево с деревнями, всего триста пятьдесят пять душ; второе, сыну моему Дмитрию – село Последово с деревнями, да из вырыпаевской вотчины деревни Манухину, Веслицыну и Горелки, всего девятьсот шестьдесят одну душу..." – Марья Петровна остановилась и взглянула на Митеньку: ей очень хотелось, чтоб он хоть ручку у ней поцеловал, но тот даже не моргнул глазом. – Да что ж ты молчишь-то! что ты, деревянный, что ли! – почти крикнула она на него.

– Позвольте, маменька, дайте же до конца прослушать.

– "Третье, сыну моему Федору – сельцо Дятлово с деревню Околицей и село Нагорное с деревнями, а всего тысяча сорок две души".

Митенька пускал дым уже не кольцами, а клубами. Он знал, конечно, что все эти завещания вздор, что Марья Петровна пишет их от нечего делать, что она на следующей же неделе, немедленно после их отъезда, еще два завещания напишет, но какая-то робкая и вместе с тем беспокойная мысль шевелилась у него в голове. "А ну, как она умрет! – говорила эта мысль, – ведь все эти бредни, пожалуй, перейдут в действительность". Справедливость, однако ж, заставляет меня сказать, что ни разу не пришло ему в голову, что каково бы ни было завещание матери, все-таки братьям следует разделить имение поровну. В этом отношении он очень хорошо понимал, что долг его повиноваться воле матери, тем более что повинование это для него выгодно.

– Ну-с, – сказал он.

– Вот и всё; там обыкновенно, формальности разные...

– А капитал?

– Какой же у меня капитал? а коли и есть капитал, так ведь надо же мне, вдове, прожить на что-нибудь до смерти!

– Да ведь это завещание, а не отдельный акт...

– Неужто ж вы потребуете, чтоб я последнее отдала? чтоб я и рубашку с себя сняла?

– Это завещание, маменька, а не отдельный акт...

– Ну, нет! не ожидала я этого от тебя! что ж, в самом деле, выгоняйте мать! и поделом старой дуре! поделом ей за то, что себе, на старость лет, ничего не припасала, а все детям да детям откладывала! пускай с сумой по дворам таскается!

– Извините меня, маменька, но мне кажется, что все это только фантазии ваши, и напрасно вы с этим делом обратились ко мне ("это она Федьке весь капитал-то при жизни еще передать хочет!" – шевельнулось у него в голове)! Вы лучше обратились бы к Сенечке: он на эти дела мастер; он и пособлезновал бы с вами, и натолковался бы досыта, и предположений бы всяких наделал!

И действительно, в то самое время, как между Марьей Петровной и Митенькой происходила описанная выше сцена, Сенечка лежал на кровати в Петенькиной комнате и, несмотря на ощущаемую в желудке тяжесть, никак-таки не мог сомкнуть глаза свои. Предположения и планы, один другого чуднее, один другого разнообразнее, являлись его воображению. То видел он, что Марья Петровна умирает, что он один успел приехать к последним ее минутам, что она прозрела и оценила его любовь, что она цепенеющею рукой указывает ему на шкатулку и говорит: "Друг мой сердечный! Сенечка мой милый! это все твое!" То представлялось ему, что и маменька умерла, и братья умерли, и Петенька умер, и даже дядя, маменькин брат,

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik с которым Марья Петровна была в ссоре за то, что подозревала его в похищении отцовского духовного завещания, и тот умер; и он, Сенечка, остался общим наследником... То видится ему, что маменька призывает его и говорит: "Слушай ты меня, друг мой сердечный, Сенечка! лета мои преклонные, да и здоровье не то, что было прежде..." и в заключение читает ему завещание свое, читает без пропусков (не так, как Митеньке: "там, дескать, известные формальности"), а сплошь, начиная с во имя и кончая "здравым умом и твердою памятью", и по завещанию этому оказывается, что ему, Сенечке, предоставляется сельцо Дятлово с деревнею Околицей и село Нагорное с деревнями, а всего тысяча сорок две души...

– А капитал, милый друг мой, маменька? – мысленно спрашивает Сенечка.

– А капитал, друг мой, Сенечка! я тебе при жизни из рук в руки передам... Только успокой ты мою старость! Дай ты мне, при моих немощах, угодникам послужить! Лета мои пришли преклонные, и здоровье уж не то, что прежде бывало...

Пасмурная и огорченная явилась Марья Петровна ко всенощной. В образной никого из домашних не было; отец Павлин, уже совершенно облаченный, уныло расхаживал взад и вперед по комнате, по временам останавливаясь перед иконостасом и почесывая в бороде; пономарь раздувал кадило и, по-видимому, был совершенно доволен собой, когда от горящих в нем угольев внезапно вспыхивало пламя; дьячок шуршал замасленными листами требника и что-то бормотал про себя. Из залы долетал хохот Феденьки и Пашеньки.

– С дорогими гостями, – приветствовал отец Павлин, – начинать прикажете?

– Начинай, батюшка, начинай! Да что ж это Сенечки нет! Девки! позовите Семена Иваныча!

По обыкновению, и в этом случае Сенечка служил, так сказать, очистительную жертвою за братьев. За всенощной он должен был молиться. Но на этот раз ему как-то не молилось; машинально водил он рукою по груди и задумчиво вглядывался в облака дыма, изобильно выходявшие из батюшкинова кадила. Тщетно заливался дьячок, выводя руладу за руладой, тщетно вторил ему пономарь, заканчивая каждый кант каким-то тонким дребезжаньем, очень похожим на дребезжанье, которым заканчивает свой свист чирик; тщетно сам отец Павлин вразумительно и ясно произносил возгласы: Сенечка не внимал ничему и весь был погружен в мечтания, мечтания глупые, но тем не менее отнюдь не имевшие молитвенного характера. Марья Петровна, любившая, чтоб Сенечка за нее молился, тотчас же заметила это.

– Помилуй, мой друг, – сказала она ему, – что ты это рукою-то словно на балалайке играешь! Или за мать-то помолиться уж лень?

Вообще весь вечер прошел как-то неудачно для Сенечки, потому что Марья Петровна, раздраженная послеобеденным разговором, то и дело придиралась к нему. Неизвестно, с чего вздумал вдруг Сенечка вступить за чаем в диспут с батюшкой и стал доказывать ему преимущество католической веры перед православною (совсем он ничего подобного и не думал, да вот пришла же вдруг такая несчастная мысль в голову!), и доказывал именно тем, что в католической вере просфоры пекутся пресные, а не кислые. Батюшка, с своей стороны, разревновался и стал обличать Сенечку в ереси.

– Позвольте, – говорил он, – ведь таким манером и лютерцев оправдывать можно!

– Я не об лютеранах говорю...

– Нет, позвольте! я спрашиваю вас: оправдываете ли вы лютерцев?

– Да ведь мы...

– Нет, прошу ответ дать: заслуживают ли лютерцы, по вашему мнению, быть оправданными? – повторял батюшка и, повторяя, хохотал каким-то закатыстым, веселым хохотом и выказывал при этом ряд белых, здоровых зубов.

– И охота тебе, батька, с ним спорить! – вмешалась Марья Петровна, – разве не видишь, что он с ума сбрендил! Смотри ты у меня, Семен Иваныч! ты, пожалуй, и дворню-то мне всю развратишь!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Тем этот достославный спор и кончился; Сенечка думал удивить маменьку разнообразием познаний и полетом фантазии, но, вместо того, осрамился прежде, нежели успел что-нибудь высказать. После того он несколько раз порывался вернуть еще что-нибудь насчет эмансипации (блаженное время! ее тогда не было!), но Марья Петровна раз навсегда так дико взглянула на него, что он едва-едва не проглотил язык.

Оставалась одна надежда на подарок, который Сенечка приготовил маменьке для дня ангела, но и та обманула его. Проснулся он очень рано, да и вообще дурно спал ночью. Во-первых, его осаждала прискорбная мысль, что все усилия, какие он ни делал, чтоб заслужить маменькино расположение, остались тщетными; во-вторых, Петенька всю ночь метался на постели и испускал какое-то совсем неслыханное мычание; наконец, кровать его была до такой степени наполнена блохами, что он чувствовал себя как бы окутанным крапивою и несколько раз не только вскакивал, но даже произносил какие-то непонятные слова, как будто бы приведен был сильными мерами в восторженное состояние.

Узнавши, что маменька только что встала, что к обедне еще не начинали благовестить и что братцы еще почивают, Сенечка осторожно вынул из чемодана щегольской белый муар-антиковый зонтик и отправился к маменьке. Но каково же было его удивление, когда он застал ее за письменным столом в созерцании целых трех зонтиков! Он сейчас же догадался, что это были подарки Митеньки, Феденьки и Пашеньки, которые накануне еще распорядились о вручении их имениннице, как только "душенька-маменька" откроет глаза. Сенечка до того смутился, что даже вытаращил глаза и уронил зонтик.

– Здравствуй, друг мой!.. да что ж ты на меня, вытараща глаза, смотришь! или на мне грибы со вчерашнего дня выросли! – приветствовала его Марья Петровна.

– Я, маменька... позвольте мне, милый друг мой, маменька, поздравить вас с днем ангела и пожелать провести оный среди любящего вас семейства в совершенном спокойствии, которого вы вполне достойны...

– Благодарствуй, благодарствуй! да что это ты словно уронил что-то?

– Это, милая маменька, я желал принести вам слабую дань моей благодарности за те ласки и попечения, которыми вы меня, добрый друг, маменька, постоянно осыпаете!

– Да что вы, взбесились, что ли? все по зонтику привезли! – напустилась на него Марья Петровна при виде новой прибавки к коллекции зонтиков, уже лежавшей на столе, – смеяться, что ли, ты надо мной вздумал?

– Я, милая маменька, всею душою...

– Сговориться вы, что ли, между собой не можете, или и в самом деле вы друг другу не братья, а звери, что никакой между вами откровенности нет?

– Я, милая маменька...

– Это все ты, тихоня, мутишь! Вижу я тебя, насквозь тебя вижу! ты думаешь, на глупенькую напал? ты думаешь, что вот так сейчас и проведешь! так нет, ошибаешься, друг любезный, я все твои прожекты и вдоль и поперек знаю... все вижу, все вижу, любезный друг!

– Я, маменька, никаких прожектов не имею...

– Ты... ты... ты всей смуте заводчик! Если б не доброта моя, давно бы тебя в суздаль-монастырь упечь надо! не посмотрела бы, что ты генерал, а так бы высколила, что позабыл бы, да и другим бы заказал в семействе смутьянничать! Натко, прошу покорно, в одном городе живут, вместе почти всю дорогу ехали и не могли друг дружке открыться, какой кто матери презент везет!

– Маменька! чем же я виноват, что Феденька не хочет мне почтения делать?

– Да что ты, обалдел, что ли? какое тебе почтение! ведь ты ему, чай, брат!

– Я, маменька, старший брат, и Феденька обязан мне почтение оказывать!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik Бог знает, чем бы разыгралась эта история, если б в эту минуту не заблаговестили к обедне. Марья Петровна так и осталась с раскрытым ртом, только махнула рукой на Сенечку. Но зато после обедни она, можно сказать, испилила его всего. Не только братьям рассказала, что Сенечка требует, чтоб ему было оказываемо почтение, но даже всех соседей просила полюбоваться четырьмя зонтиками, подаренными ей в один день, и всю вину складывала на Сенечку, который, как старший брат, обязан был уговориться с младшими, какой презент маменьке сделать. Вследствие этого Феденька целый день трунил над Сенечкой, называл его "вашим превосходительством", привставал на стуле при его появлении и даже один раз бросился со всех ног, чтоб пододвинуть ему кресло, но в рассеянности тотчас же выдернул его из-под него. Все это было очень остроумно и возбуждало всеобщий смех, к которому оставался равнодушен только Митенька. И таким образом прошел целый мучительный день, в продолжение которого Сенечка мог в сотый раз убедиться, что подаваемые за обедом дупеля и бекасы составляют навсегда недостижимый для него идеал.

А Марья Петровна была довольна и счастлива. Все-то она в жизни устроила, всех-то детей в люди вывела, всех-то на дорогу поставила. Сенечка вот уж генерал - того гляди, губернию получит! Митенька - поди-ка, какой случай имеет! Феденька сам по себе, а Пашенька за хорошим человеком замужем! Один Петенька сокрушает Марью Петровну, да ведь надо же кому-нибудь и бога молить!

С своей стороны, Сенечка рассуждает так: "Коего черта я здесь ищу! ну, коего черта! начальники меня любят, подчиненные боятся... того гляди, губернатором буду да женюсь на купчихе Бесселендеевой - ну, что мне еще надо!" Но какой-то враждебный голос так и преследует, так и нашептывает: "А ну, как она Дятлово да Нагорное-то подлецу Федьке отдаст!" - и опять начинаются мучительные мечтания, опять напрягается умственное око и представляет болезненному воображению целый ряд мнимых картин, героем которых является он, Сенечка, единственный наследник и обладатель всех материнских имений и сокровищ.

Пашенька на другой же день именин уехала, но Сенечка все еще остается, все чего-то ждет, хотя ему до смерти надо в Петербург, где ожидают его начальники и подчиненные. Он ждет, не уедут ли Митенька с Феденькой, чтоб одному на просторе остаться с маменькой и объяснить ей, как он ее обожает. Но проходит пять дней, и ожидания его напрасны. Мало того что братья не уезжают, но он видит, как мать беспрестанно с ними о чем-то шушукается, и как только он входит, переменяет разговор и начинает беседовать о погоде. "Это они об духовном завещании шепчутся! - думает Сенечка и в то же время неволью прибавляет, - да для какого же черта я здесь живу!"

Митенька первый сжалился над ним и предложил вместе ехать в Петербург. Феденька так и остался полным властелином материнского сердца.

Едет Сенечка на перекладной, едет и дремлет. Снится ему, что маменька костенеющими руками благословляет его и говорит: "Сенечка, друг мой! вижу, вижу, что я была несправедлива против тебя, но так как ты генерал, то оставляю тебе... мое материнское благословение!" Сенечка вздрагивает, кричит на ямщика: "пошел!" и мчится далее и далее, до следующей станции.

ЕЩЕ ПЕРЕПИСКА

"Наконец, chere petite mere [дорогая мамочка (франц.)], для меня началась упоительная жизнь полка.

Я принят прекрасно и совсем не жалею, что не попал в гвардию. Это еще не уйдет, а покамест, право, мне нечего завидовать тому, что мои товарищи по училищу сокращают свою жизнь, дегюстируя коньяки и ликеры в закусочной Одинцова. Правда, что К***, в котором расположен наш полковой штаб, городок довольно мизерный, но, по крайней мере, я имею здесь простор и приволье и узнаю на практике ту поэтическую бивачную жизнь, которая производит героев. А главное, я вижу здесь настоящих женщин, *des femmes a passions* [женщин со страстями (франц.)], а не каких-нибудь Эрнестинок, которые за умеренную плату показывают приходящим "l'amour - ce n'est que fa!" [любовь - это только это! (франц.)].

Я целые дни в движении. Утром - ученье; после ученья - отдых в кругу товарищей, завтрак в кабачке, игра на бильярде и проч.; обед - у полкового командира; после обеда - прогулка верхом с полковыми дамами; вечером - в гостях, всего чаще опять

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik у полкового командира. По временам дежурство в карауле: каска, мундир на все пуговицы, кожаная подушка, жесткий диван и какой-то особенный солдатский запах... Но даже и это имеет свою прелесть, не говоря уже о том, что подобная суровая обстановка есть лучшая школа для человека, которого назначение быть героем. Домой я захожу на самое короткое время, чтоб полежать, потянуться, переодеться и поругаться с Федькой, которого, entre nous soit dit [между нами говоря (франц.)], за nepотребство и кражу моих папирос, я уже три раза отсылал в полицию для "наказания на теле" (сюда еще не проникла "вольность", и потому здешний исправник очень обязательно наказывает на теле, если знает, что его просит об этом un homme comme il faut) [порядочный человек(франц.)].

Разумеется, первою моею мыслью по приезде к К. была мысль о женщине, cet etre indécible et mysterieux [существе таинственном и неизъяснимом (франц.)], к которому мужчина фаталистически осужден стремиться. Ты знаешь, что две вещи: l'honneur et le culte de la beauté [честь и культ красоты(франц.)] - всегда были краеугольными камнями моего воспитания. Поэтому ты без труда поймешь, как должно было заботить меня это дело. Но и в этом отношении все, по-видимому, благоприятствует мне.

Почти все наши старшие офицеры женаты; стало быть, если б даже не было помещиц (а их, по слухам, достаточно, и притом большая часть принадлежит к числу таких, которым, как у нас в школе говаривали, ничто человеческое не чуждо), то можно будет ограничиться и своими дамами. Nous en avons de tous les types [Они у нас имеются всех видов (франц.)], чему, конечно, не мало способствовала кочевая жизнь полка. Наш полк перебивал всюду и везде ремонтировался хорошенькими женщинами. Роскошные малороссиянки, с белыми как кипень зубами, обаятельные брюнетки-польки, мечтательные золотокудрые немки, знойные молдаванки, enfin tout ce que les diverses nationalites peuvent offrir d'exquis et de recherché en fait de femmes [словом, все самое отборное и изысканное по части женщин, что могут представить разные национальности (франц.)] У одного дивизионера жена даже персиянка (говорят, с пунцовыми волосами), но, к сожалению, он ее никому не показывает, а по слухам, даже бьет нагайкой... le cher homme! [прелесть какая! (франц.)] Конечно, в манерах наших женщин (не всех, однако ж; даже и в этом смысле есть замечательные исключения) нельзя искать той женственной прелести, se fini, se varoqueux [той утонченности, той воздушности (франц.)], которые так поразительно действуют в женщинах высшего общества (tu en sais quelque chose, pauvre petite mere, toi, qui, a trente six ans, as failli tourner la tete au philosophe de Chizzlhurst [ты, в тридцать шесть лет чуть не вскружившая голову чизльгёрстскому философу, ты в этом знаешь толк, милая мамочка (франц.)]), но зато у них есть непринужденность жеста и очень большая свобода слова, что, согласишься, имеет тоже очень большую цену. Эта свобода, в соединении с адским равнодушием мужей (представь себе, некоторые из них так-таки прямо и называют своих жен "езжалыми бабами"!), делает их общество настолько пикантным, что поневоле забываешь столицу и ее увлечения...

Наш командир, полковник барон фон Шпек, принял меня совершенно по-товарищески. Это добрый, пожилой и очень простодушный немец, который изо всех сил хлопочет, чтоб его считали за русского, а потому принуждает себя пить квас, есть щи и кашу, а прелестную жену свою называет не иначе как "мой баб".

- Мы, русски, без церемони! - сказал он мне с первого же раза, - в три часа у нас щи-каша - милости прошу! - я вас мой баб представлять буду!

Разумеется, я не заставил повторять приглашение и ровно в три часа был уже представлен прелестной командирше.

Я, не преувеличивая, могу сказать, что это одна из очаровательнейших женщин, каких я когда-либо видел в своей жизни. Прежде всего, ей тридцать - тридцать пять лет, и она блондинка, почти с таким же темно-золотистым отливом, как у тебя, petite mere. Ты знаешь, я никогда не был охотник ни до очень молоденьких женщин, ни до женщин с черными волосами и темными глазами. Молоденькие бабенки глупы и надоедливы. Они поминутно лезут целоваться, сами не понимая зачем. Что же касается до брюнеток, то хотя и говорят, будто они страстны, но, по моему мнению, c'est une reputation usurpee [это - не заслуженная репутация (франц.)]. В сущности, они только деспотичны и резки - вот что многими принимается за страстность. Я, еще будучи в училище, изучил этот вопрос a fond. une brune est toujours froide et denudee de ressources [основательно. Брюнетка всегда холодна и однообразна (франц.)]. Я не говорю уже о формах, которые у брюнетки никогда не

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik достигают такой полноты и роскоши развития, такой, если можно так выразиться, лучезарности, как у блондинки. Брюнетка пикантна – и ничего больше. Это не женщина наслаждения. Даже каштановая женщина, в смысле наслаждения, представляет перед брюнеткой неоспоримые преимущества. Dans sa façon d'aimer une femme marron a déjà quelque chose de blond [по манере любить шатенка уже близка блондинке (франц.)]. Но блондинка, настоящая блондинка – это масло...

Итак, она блондинка; глаза у нее большие, серые и очень хорошо поставленные. Она не хуже любой Camille de Lyon [Камиллы де Лион (франц.)] умеет подрисовать себе веки, и потому глаза ее кажутся, в одно и то же время, и блестящими, и влажными. Нос прелестный, с тонкими, удивительно очерченными ноздрями. Рот с несколько вздернутой верхней губой, что придает всей физиономии вызывающее выражение. Подбородок круглый, мягкий, слегка пушистый, с ямочкой посередине... on dirait, un nid d'amour [словно гнездышко амура (франц.)]. Уши маленькие, сухие, почти прозрачные. Общий тон лица нежно-золотистый, как у спелой сливы. Ничего розового, вульгарного, напоминающего дурно сваренного поросенка. Форма – роскошь, не доходящая, однако ж, до пресыщения; ножка... но про ножку достаточно сказать, что она сама ею кокетничает!

Прибавь к этому бездну женственности и того неуловимого кокетства, которое всякую светскую красавицу окружает словно облаком аромата (она была в гвардии, прежде нежели попала сюда) – и ты получишь приблизительное понятие о том сокровище, которое я был так счастлив найти в одном из самых мизерных уголков нашего любезного отечества.

С первого же взгляда на эту женщину я почувствовал в сердце неотразимое желание покорить ее.

Недаром любовь правит миром, chère maman! [дорогая маменька! (франц.)] недаром она проникает и в раззолоченные палаты владык мира, и в скромную хижину земледельца! Все живущее спешит покориться жестоким и в то же время сладким законам ее. Даже дикий зверь и тот, под влиянием ее, забывает аппетит и сон! Вы видите бегущего по лесу волка: пасть его открыта, язык высунут, глаза мутны; он рвет землю когтями, бросается на своих собратьев, грызет их... а propos de quoi, je vous demande un peu? [и из-за чего, я вас спрашиваю? (франц.)] ужели только потому, что он видит перед собой эту отвратительную волчицу, которая бежит впереди стада с оскаленными зубами? – да-с, потому-с! ибо такова сила любовных чар, таково могущество любви! Другой причины нет... и не может быть!

Quelle mystère, chère maman! [какая тайна, дорогая маменька! (франц.)]

Читайте великих мастеров искусства: Paul de Kock, Ponson du Terrail, Feydeau... [Поль де Кок, Понсон дю Террайль, Фейдо (франц.)] что вы найдете у них? Любовь, любовь и любовь! Et "La belle Hélène" donc! [И, наконец, "Прекрасная Елена"! (франц.)]

Впрочем, по-видимому, мое предприятие не обойдется без препятствий. Я уже наметил двух конкурентов, борьба с которыми обещает не мало трудностей. Один из них – председатель местной земской управы Травников; другой – полковой казначей, ротмистр Цыбуля.

Травников – либерал. Он выжил два года в Париже, где познакомился с Бастиа, который, de vive voix [изустно (франц.)], передал ему тайны своей науки. Это сделало его до того обаятельным между здешними гласными, что когда он, воротившись из Парижа, поселился в своем имении, то его единогласно выбрали председателем управы. Теперь он пропагандирует Бастиа между полковыми дамами. Наружностью своей и манерами он напоминает выцветшего трактирного маркера. En somme, c'est un pauvre sire [в общем, это жалкий господин (франц.)], и было бы даже удивительно, что Полина (c'est le petit nom de la dame en question [таково имя дамы, о которой идет речь (франц.)]) интересуется им, если б он не был богат. Но это слово объясняет многое.

Ротмистр Цыбуля – неуклюжий малоросс, который говорит "фост" вместо "хвост". Но он тринадцати вершков роста и притом так крепок и силен, что, я уверен, мог бы свободно пройти сквозь строй через тысячу человек...

По-видимому, однако ж, и моя смиренная рожица произвела недурное впечатление. По крайней мере, после обеда, когда Травников и Цыбуля ушли к полковнику в кабинет,

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
она окинула меня взглядом и сказала:

– Какой вы молодой!

На что я поспешил ответить, что молодое сердце хотя и не может похвалиться опытом, но зато умеет горячо любить и быть преданным. И ответ мой был выслушан благосклонно...

Я вперед предвижу, что будет. Сначала меня будут называть "сыном" и на этом основании позволят мне целовать ручки. Потом мне дадут, в награду за какую-нибудь детскую услугу, поцеловать плечико, и когда заметят, что это производит на меня эффект, то скажут: "какие, однако ж, у тебя смешные глаза!" Потом тррах! – et tout sera dit! [и делу конец (франц.)]

Таков неумолимый закон любвей!

Я воротился домой очарованный и весь вечер предавался возвышенным мыслям. Ночь была тихая, теплая.

Я сидел у растворенного окна, смотрел на полную луну и мечтал. Сначала мои мысли были обращены к ней, но мало-помалу они приняли серьезное направление. Мне живо представилось, что мы идем походом и что где-то, из-за леса, показался неприятель. Я, по обыкновению, гарцую на коне, впереди полка, и даю сигнал к атаке. Тррах!.. ружейные выстрелы, крики, стоны, "руби!", "коли!". Et, ma foi! [И, честное слово! (франц.)] через пять минут от неприятеля осталась одна крошка!

Вот первые впечатления моей новой жизни. Я буду писать тебе часто, но надеюсь, что "Butor" [Грубиян (франц.)] не узнает о нашей переписке. Пиши и ты ко мне как можно чаще, потому что твои советы теперь для меня, более нежели когда-нибудь, драгоценны. Целую тебя.

Сергий Проказнин.

P. S. Против квартиры моей стоит большой каменный дом. Сегодня утром, подойдя к окну, я увидел на балконе этого дома очень недурную и еще молодую женщину. Не говоря худого слова, я взял бинокль и навел его на нее. Она не только не оскорбилась этим, но даже слегка усмехнулась и поиграла в мою сторону глазками. От Федьки я узнал, что это вдова купца Лиходеева и что она ежегодно отправляет значительное число барок с хлебом. Говорят также (все тот же Федька, у которого на этот счет изумительное чутье), что тут уж примазался здешний исправник. И действительно, в ту минуту, как я закрываю это письмо, его дрожки подъехали к крыльцу лиходеевского дома".

* * *

"Vous etes un noble coeur, Serge! [Ты благороден, Серж! (франц.)] ты понял меня! Ты понял, что мне нужна переписка с тобой, чтоб отдохнуть от той безвыходной прозы, которая отныне должна составлять все содержание моей бедной, неудавшейся жизни!

Ах, какая это жизнь! Вежетьировать изо дня в день в деревне, видеть налитую водкой физиономию Butor'a, слышать, как он, запершись с филаткой в кабинете, выкрикивает кавалерийские сигналы, ежеминутно быть под страхом, что ему вдруг вздумается сделать нашествие на мой будуар... Это ужасно, ужасно, ужасно!

Представь себе, что я узнала! До сих пор я думала, что должна была оставить Париж, потому что Butor отказался прислать мне деньги; теперь мне известно, что он подавал об этом официальную записку, и в этой записке... просил о высылке меня из Парижа по этапу!! L'animal! [Скотина! (франц.)]

Et moi qui croyais autrefois ю l'ideal, au sublime, i' l'infini... que sais-je! [А я-то верила в идеалы, в возвышенное, в бесконечное... и прочую ерунду! (франц.)] Я, которая думала, что вся моя жизнь будет непрерывным гимном божеству! И что ж! достаточно было прикосновения грубой руки одного человека, чтоб разбудить меня от моих золотых грез. И этот человек... c'est le Butor! Le sublime – et l'horrible, le ciel – et l'enfer, l'ange – et le demon... [Возвышенное – и ужасное, небо – и ад, ангел – и демон (франц.)] какой

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
паразитальный урок!

Я не знаю, что случилось бы со мной, если б я не нашла утешения в религии. Религия – это наше сокровище, мой друг! Без религии мы путники, колеблемые ветром сомнений, как говорит le pere Basile [отец Василий (франц.)], очень миленький молодой попик, который недавно определен в наш приход и которого наш Vutor уж успел окрестить именем Васьки-шалыгана. Я собственным горьким опытом убедилась в истине этих слов – и знаешь ли где? Там... в Париже! Сознаюсь, я в то время жила... comme une pauvre! [как язычница! (франц.)] Я ничего не понимала... c'était un reve! [это был сон! (франц.)] И вдруг мне объявляют, что если я завтра не выеду из Парижа, то меня посадят в Cligny! C'était comme un trait de lumière! [Клиши! Это был луч света! (франц.)] Я сейчас же приказала уложить мои вещи... и с этой минуты – ни малейшего ропота, ни единого горького слова! Я вдруг преобразилась, почувствовала, что мне легко. Paul de Cassagnac, Villemessant, Detroyat, Tarbe, Dugue de la Fauconnerie [Поль де Кассаньяк, Вильмессан, Детруйа, Тарбе, Дюге де ля Фоконнери (франц.)] [Журналисты мазурицкого оттенка. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)] – все прибежали, все хотели утешить меня, но я наотрез сказала: "N-i – n-i, c'est fini! Que la volonté de Dieu soit faite" [ни-ни, кончено! Да будет воля божья (франц.)]. И когда, на другой день, я садилась в вагон, Villemessant, прощаясь со мной, сказал: "Vous etes une sainte! c'est villemessant qui vous le dit!" [вы – святая! это говорит вам Вильмессан! (франц.)]

Но как он терзает меня... le Vutor! как он изобретателен в своих оскорблениях! как он умеет повернуть нож в не зажившей еще ране!

На днях – это было в день моего рождения (hélas! твоей pauvre mere исполнилось сорок лет, mon enfant! [увы!.. бедной матери... дитя мое! (франц.)]) – он является прямо в мой будуар.

– Честь имею поздравить!

Я молчу.

– Сорок годков изволили получить! Самая, значит, пора!

Я делаю чуть заметный знак нетерпения.

– По Бальзаку, это именно настоящая пора любви. Удивительно, говорят, как у этих сорокалетних баб оно знойно выходит...

– Только не для вас! – холодно ответила я и, окинув его презрительным взглядом, поспешила запереться у себя в спальню.

Я не знаю, какой эффект произвел на него мой ответ (Маша, моя горничная, уверяет, что у него даже губы побелели от злости), но я очень отчетливо слышала, как он несколько раз сряду произнес мне вдогонку:

– Заставлю-с! заставлю-с! заставлю-с!

И таким образом – почти ежедневно. Я каждое утро слышу его неровные шаги, направляющиеся к моей комнате, и жду оскорбления. Однажды – это был памятный для меня день, Serge! – он пришел ко мне, держа в руках листок "Городских и иногородных афиш" (c'est la seule nourriture intellectuelle qu'il se permet, l'innocent! [это единственная умственная пища, которую он себе позволяет, простофиля! (франц.)]).

– Ну-с вот и чизльгёрстский философ околел! – сказал он, посылая мне в упор свою пьяную улыбку.

– Как? кто? Он? – только могла я произнести.

– Да-с! он-с. Седанский герой-с; ваш...

Il a comme la chose... le monstre! [И у него повернулся язык... чудовище! (франц.)] Он не пощадил ничего... даже этого славного воспоминания моей жизни! Je le confesse [каюсь (франц.)], я была неделикатна. Я вцепилась ногтями в его лицо, но, впрочем, сию же минуту опаматовалась и убежала от него. Я целый час

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
была как сумасшедшая! Я думала, что он нарочно обманывает, дразнит меня! Но
вслед за тем – конечно, из жестокого желания не оставить во мне никакого
сомнения – он прислал мне с Машей листок... Это была правда! Он умер! Сперва
Морни, потом Персиньи... наконец он!! Целый рой сновидений пронесся предо
мною... *le reve dore de mon passe!* [золотой сон моего прошлого! (франц.)] Я, как
безумная, бегала по зале и все напевала: "*Ah! j'ai un pied qui r'rnie*" [Ах! у
меня ноги пускаются в пляс(франц.)] – мотив кадрили, которая тогда решила мою
участь. Я помню, на мне было платье совсем как из воздуха: *des bouillonees, des
bouillonees et puis encore des bouillonees, toujours des bouillonees...* *En un
mot, tout-a-fait frou-frou...* [буфы, буфы и опять буфы, повсюду буфы... Одним
словом, сплошная воздушность(франц.)] Он подошел ко мне и сказал: "*Quelle gorge
adorable*" [какая восхитительная грудь! (франц.)] – и только! Но при этом он
посмотрел на меня, как только он один умел смотреть... Это продолжалось не более
одной минуты, но участь моя была навсегда решена... Но зачем растревлять
воспоминанием еще дымящуюся рану!.. Одним словом, я до того увлеклась моими
воспоминаниями, что даже не заметила, что *Butor* стоит в дверях и во все горло
хохочет. У него все лицо распухло от глубоких царапин, которые сделали мои
ногти; *il etait ignoble, degoutant, immonde...* [он был мерзок, отвратителен,
гнусен (франц.)]

Вот моя жизнь! И представь себе, что иногда... бывают дни, когда этот человек
объявляет о каких-то своих правах на меня... *le butor!*

После всего этого ты можешь себе представить, какое блаженство для меня твои
письма. И что придает им еще больше прелести – это тайна и даже опасность, с
которыми сопряжено их получение. Я получаю их через Машу и иногда по целым часам
бываю вынуждена держать их под корсажем, прежде нежели прочитать. Тогда я
воображаю себя в пансионе, где я впервые научилась скрывать письма (и представь
себе, это были письма *Butor*'а, который еще в пансионе "соследил" меня, как он
выражался на своем грубом жаргоне), и жду, пока *Butor* не уляжется после обеда
спать. Это пытка, мой друг, это почти истязание, *mais c'est egal, c'est plein de
poesie!* [но все равно это полно поэзии! (франц.)] Иногда он, как нарочно,
медлит, и тогда я готова надеть глупостей от нетерпения... Но вот раздался
сигнальный храп – и я уж за делом. Я запираюсь у себя в комнате и читаю, и
перечитываю твои письма... *noble enfant de mon coeur!* [благородное дитя моего
сердца! (франц.)]

Я понимаю тебя и твои молодые стремления, мой друг! Я, твоя бедная мать, эта
сорокалетняя женщина, *cette femme de balzac, comme dit le butor!* [бальзаковская
женщина, как говорит *butor* (франц.)] И я была молода, и я увлекалась... ты
знаешь, кто меня любил! Теперь он в могиле... все в могиле, мой друг! *Morny,
Persigny...* Lui!! [Морни, Персиньи... он! (франц.)] Один *Базен* остался, и тот
сидит на каком-то острове [писано до получения известия о бегстве *Базена*. (Прим.
М. Е. Салтыкова-Щедрина.)], откуда он будет очень глуп, ежели не бежит. Но я не
забыла, я помню. Я все помню и потому все могу понимать...

Я отсюда вижу тебя и твою долину... *toi, plein de seve et de vigueur, elle -
rayonnante de ce doux parfum d'abnegation amoureuse qui est l'aureole et en meme
temps l'absolution de la pauvre femme... coupable! Tu es beau, elle est belle*
[ты, полный здоровья и силы, она – благоухающая сладостным ароматом любовной
самоотверженности, составляющей ореол и оправдание бедной... грешной женщины! Ты
красив, она – тоже! (франц.)]; вы оба молоды, сильны, оба горите избытком жизни,
оба чувствуете, как страсть катится по вашим жилам, давит вас... Но отчего же
признание дрожит на ваших губах – и не может сказаться?.. Отчего глаза ваши ищут
встретить друг друга – и, встретившись, опускаются? Вы встревожены, вас волнует
какая-то горькая мысль... Она – с трепетом вглядывается в будущее и падает ниц
перед идеей вечности... Ты – пугаешь себя ревнивыми воспоминаниями... *Травников,
Цыбуля*, даже сам *фон Шпек!*.. Ты никого не забыл! После – ты все забудешь, все
простишь. После – ты скажешь себе: "*И Травников, и Цыбуля – все это естественные
последствия фон Шпека!*" После – но не теперь! Теперь ты еще помнишь, хотя уже и
жадешь забыть.

А покуда я надеюсь, что ты выслушаешь воркотню старухи матери, решающейся
высказать несколько советов, которые, наверное, не будут для тебя бесполезны.

Любовь, мой друг, – это святыня, к которой нужно приближаться с осторожностью,
почти с благоговением, и вот почему мне не совсем нравится слово "ттрах",
которое ты употребил в письме своем. Может быть, все так и произойдет, как ты

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik писал, но уже по тому одному, что оно именно так и произойдет, то есть сначала называют тебя "сыном", потом дадут ручку, etc. [и так далее (лат.)] - ты всего менее вправе употреблять ce malencontreux [это неуместное (франц.)] "тррах". ga sent la caserne, mon cher, ga rue l'ecurie, le fumier [Это отдает казармой, дорогой мой, пахнет конюшней, навозом (франц.)]. Салон светской женщины (ты именно такую описываешь мне Полину) - не манеж и не одно из тех жалких убежищ, в которых вы, молодые люди, к несчастью, получаете первые понятия о любви... Это место очень приличное, где требуются совсем другие приемы, нежели... ты понимаешь где?

Помни, мой друг, что любовь - всё для женщины, или, лучше сказать, что вся женщина есть любовь. Что, стало быть, оскорбить ее любовь - значит оскорбить ее всё. Этого одного достаточно, чтобы понять, почему успех, в большей части случаев, достается совсем не тому, кто с громом и трубами идет точно на приступ, а тому, кто умеет ждать. Во-первых, все эти самонадеянные люди почти всегда нескромны и хвастливы, что совсем не входит в расчеты замужней женщины, которая желает сохранить les dehors [приличия (франц.)]. Во-вторых, женщины самолюбивы, и им всегда приятно дать щелчок человеку, у которого на уме "тррах". В-третьих - и это главное, - женщины вовсе не так алчут грубых наслаждений, как вы, мужчины, обыкновенно об этом думаете.

Женщина - это существо особенное, c'est un etre indicible et mysterieux, как ты сам очень мило определил ее в твоём письме (как странно звучит твоё "тррах" рядом с этим милым определением!). Разумеется, я говорю здесь не об институтках, а о настоящих женщинах, о тех, которые испытаны жизнью и к числу которых, по-видимому, принадлежит и Полина. Такие женщины любят медлить. Elles aiment a savourer les preludes de l'amour [Они любят наслаждаться прелюдиями любви (франц.)]. Эти таинственные, бесконечные излияния, в которых все отрывочно, недоконченно, неуловимо, но в которых каждое слово, каждый звук, каждая улыбка, каждый вздох имеют глубокое значение. Женщина любит неслышно погружаться в душистый пар недоговоренных слов, затаенных вздохов, взглядов, брошенных украдкой. Она любит заменять слово "любовь" словом "дружба"... Это доставляет ей минуты того сладкого головокружения, которое у самого падения отнимает все, что в нем есть грубого, сырого. Ce n'est pas une chute grossiere quelle ambitieuse, c'est une jolie chute [Они мечтают не о грубом падении, а о красивом (франц.)].

Вот почему женщин так увлекают высокопоставленные лица, даже старики. С точки зрения матерьялистической это кажется странным, но дело в том, что эти люди в высшей степени обладают тайною de la jolie seduction. Tout en causant [красивого обольщения. Попутно, в разговоре (франц.)], они неслышно подходят к женщине, неслышно овладевают ее вниманием и потом - неслышно же берут ее. Всё - en causant. La femme adore la causerie, les phrases bien tournees, les fines reparties, enfin tout ce joli caquetage que rend la vie facile et charmante [Женщина обожает беседу, гладкие фразы, тонкие выражения, словом - всю ту изящную болтовню, которая делает жизнь легкой и прелестной (франц.)].

Я знаю, есть женщины, которым нравится грубость, которые даже любят, чтоб их мальтретировали. Но это или очень молодые бабенки, или такие бабы, которым совсем нечего терять. Я и сама когда-то увлекалась butor'ом потому только, что он гремел шпорами, вертел зрачками и как-то иньобильно причмокивал, quand j'avais le sein trop decouvert [когда у меня была слишком открыта грудь (франц.)]; но ведь я тогда была девчонка и положительно ничего не смыслила dans les jolis raffinements du sentiment [в красивых утонченностях чувства (франц.)].

Быть может, ты с нетерпением читаешь мое письмо и даже удивляешься, с какой стати я принялась тебя морализировать. Но, рискуя даже надоесть тебе, прошу выслушать меня до конца.

Я сказала сейчас, что женщины любят то, что в порядочном обществе известно под именем causerie [легкой беседы (франц.)]. Наедине с женщиной мужчина еще может, а la rigueur [в крайнем случае (франц.)], ограничиться вращением зрачков, но в обществе он непременно должен уметь говорить или, точнее, - занимать. Поэтому ему необходимо всегда иметь под руками приличный сюжет для разговора, чтобы не показаться ничтожным в глазах любимой женщины. Ты понимаешь, надеюсь, к чему я веду свою речь?

Женщина прежде всего любит великодушные идеи, les idees genereuses. Она сама великодушна - это ее ахиллесова пята, которая всего чаще и губит ее. Поэтому,

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik ежи мужчина высказывает в ее присутствии даже слишком великодушные идеи (Les idées dites subversives [так называемые разрушительные идеи (франц.)]), то ей все-таки нравится это. Конечно, я никогда не позволила бы тебе сделаться на самом деле поклонником субверсивных идей, но в смысле экспозиции, как aperçu de morale [рассуждение о морали (франц.)] – это один из лучших sujets de conversation [предметов для разговора(франц.)]. Консервативные идеи страдают большим недостатком: им никак нельзя придать тот лоск великодушия, который зажигает симпатию в сердцах. Консервативные идеи хороши в кабинете, с глазу на глаз с начальством, но в будуаре или в обществе, где много молодых женщин, elles ne valent rien [грош им цена (франц.)]. Великодушные идеи придают лицу говорящего оживленное, осмысленное, почти могучее выражение, которое прямо свидетельствует о силе и мощи. Напротив того, самый убежденный консерватор напоминает собой менялу, приведенного в азарт. Я знаю, что в последнее время расплодилось много женщин, которые охотно выслушивают консервативные разговоры и даже называют себя консерваторками; но они положительно сами себя обманывают. Они дурно окружены – вот отчего это происходит. Они постоянно видят перед собой манкенов консерватизма, постоянно слышат их бесцветное и бессильное жужжание – и думают, что так и должно быть. Что эти сумерки, эта меняльная канитель, этот безнадежно серый цвет – явление нормальное. Но все это дурная привычка – и ничего больше! Представь себе теперь, что в эту ровную, едва не засыпающую атмосферу вдруг врывается человек, который прямо, а bout portent [в упор (франц.)], бросает новое, кипучее слово! В каком положении должна очутиться женщина, которая до тех пор ничего не слышала, кроме тягучего переливания из пустого в порожнее?! Ты скажешь, быть может, что непрошеное врыванье – скандал, но почему же ты знаешь, что для женщины даже и тут не скрывается своего рода обаяние? Не забудь, что она великодушна по природе, и следовательно...

Ах! тот, которого в насмешку прозвали чизльгёрстским философом, понимал это отлично! Среди величайших запутанностей и махинаций внутренней и внешней политики он никогда не забывал своего знаменитого: "Tout pour le peuple et par le peuple!" [все для народа и руками народа (франц.)]. Он понимал, конечно, что все это не более как aperçu de morale, но когда он говорил это, все лицо его светилось и все сердца трепетали. Я помню: я была в белом платье... des bouillonees... des bouillonees... partout des bouillonees! [буфы... буфы... везде буфы! (франц.)] Он подошел ко мне...

Et bien, ils sont tous morts! Morny... Persigny... Lui!! [И вот все они умерли! Морни... Персины... Он!!(франц.)] все в могилах, друг мой! Остался один Базен... entre-prendra-t-il quelque chose? nentreprendra-t-il rien? [предпримет ли он что-нибудь? или не предпримет? (франц.)]

Но это еще не всё, мой друг. Наука жить в свете – большая наука, без знания которой мужчина может нравиться только офицерше, но не женщине.

Одних aperçus de morale, о которых я сейчас упомянула, недостаточно: il faut savoir juger des choses de l'actualité et de l'histoire [современные и исторические факты нужно разбирать с умением (франц.)]. Одним словом, нужно всегда иметь в запасе несколько aperçus politiques, historiques et littéraires [политических, исторических и литературных суждений (франц.)]. Для самолюбивой женщины большой удар, если избранник ее сердца открывает большие глаза, когда при нем говорят о фенианском вопросе, об интернационале, о старокатоликах etc., если он смешивает Геродота с генералом Михайловским-Данилевским, Сафо с г-жою Кохановскою, если на вопрос о Гарибальди он отвечает известием о новом фасоне гарибальдийки. Наедине, с глазу на глаз, все это может сойти за наивность, но в обществе, при свете люстр, подобные смешения не прощаются... никогда! Знаешь ли, что было первую причиной моей холодности к Vitor'у? А вот что. Однажды (это было в первый мой приезд в Париж, сейчас после la belle echauffouree du 2 decembre [известного дерзкого предприятия 2 декабря (франц.)]), в один из моих приемных дней, en plein salon [в разгар приема (франц.)], кому-то вздумалось faire l'apologie du chevalier Bayard [восхвалять рыцаря Баяра (франц.)] – тогда ведь были в моде рыцарские чувства. К несчастью, я с кем-то заговорила и забыла, что Vitor требует неусыпного наблюдения. И вдруг, в самом жару апологии, я замечаю какое-то замешательство и вижу, что все глаза обращены на Vitor'a, который самым неприличным образом улыбается и даже всхлипывает... Спешу к нему, спрашиваю, что с ним... Представь себе мой ужас! он смешал le chevalier de Bayard с le chevalier de Faublas! Et il se ramait d'aise... [рыцаря Баяра с кавалером Фоблазом! и таял от удовольствия (франц.)] от одного ожидания, что вот-вот сейчас начнется рассказ известных походов!

Vous etes un noble et genereux coeur, Serge! [Ты благороден и великодушен, Серж! (франц.)] но, к сожалению, светская молодежь нашего времени думает, что одной физической силы (один петербургский адвокат de mes amis [из моих друзей (франц.)] называет это современной гвардейской правоспособностью) достаточно, чтоб увлечь женщину. Не верь этому, друг мой! La femme aime a etre initiee, entre deux baisers, aux mysteres de l'histoire, de morale et de litterature! [Женщина любит, чтобы между двумя поцелуями ее посвящали в тайны истории, морали, литературы (франц.)] и она очень рада, когда не слышит, как близкий человек утверждает, что Ликург был главным городом Греции и славился кожевенными и мыловаренными заводами, как это сделал, лет пять тому назад, на моих глазах, один национальгард (и как он идиотски улыбался при этом, чтобы нельзя было разобрать, в шутку ли он говорит это или вследствие серьезного невежества!).

Но довольно. Я вижу, что надоела тебе своей воркотней. Кстати, до меня уже долетают выкрики одиночного учения: это значит, что Butor восстал от послеобеденного сна. Надо кончить. Пиши обо всем, что касается Pauline. Je voudrais l'embrasser et la benir. Dis-lui qu'il faut quelle aime bien mon garçon. Je le veux. A toi de coeur -

Nathalie de Prokaznine

[Мне хотелось бы обнять и благословить ее. Скажи ей, чтобы она крепко любила моего мальчика. Я этого хочу. Твоя всем, всем сердцем - Наталья Проказнина (франц.)].

Ты не теряешь, однако, времени, дурной мальчик! - Ухаживаешь за Полиной и в то же время не упускаешь из вида вдовушку Лиходееву, которая "отправляет значительное количество барок с хлебом". Эта приписка мне особенно нравится! Mais savez-vous que c'est bien mal a vous, monsieur le dameret, de penser a une trahison, meme avant d'avoir reu le droit de trahir... [Но знаешь, господин волокита, с твоей стороны очень дурно замышлять измену еще до получения права изменять! (франц.)]

* * *

"Я получил твое письмо, chere petite mere. Comme modele de style - c'est un chef-d'oeuvre [как образец стиля - это шедевр (франц.)], но, к сожалению, я должен сказать, что ты, по крайней мере, на двадцать лет отстала от века.

Все эти финесы и деликатесы, эти aperçus de morale et de politique [рассуждения о морали и политике (франц.)], эти подходы и подвливания - все это старый хлам, за который нынче гроша не дадут. De nos jours, on ne fait plus d'aperçus: on fait l'amour - et voilà tout!.. [В наше время занимаются не рассуждениями, а любовью - вот и вся недолга! (франц.)] Мы - позитивисты (il me semble avoir lu quelque part ce mot) [кажется, я где-то вычитал это слово (франц.)], мы знаем, что time is money [время - деньги (англ.)], и предпочитаем любовный телеграф самой благоустроенной любовной почте.

И знаешь ли, кто произвел этот коренной переворот в обращении с любовью! - Это все тот же чизльгёрстский философ, l'auteur de la belle echauffouree du 2 decembre [виновник известного дерзкого предприятия 2 декабря (франц.)], о котором ты так томно воркуешь. Он и она... la resignee de Chizzlhurst la belle Eugenie [чизльгёрстская отшельница, прекрасная Евгения (франц.)]. В такое время, когда прелестнейшие женщины в мире забывают предания de la vieille courtoisie française, pour fraterniser avec la soldatesque [старинной французской учтивости ради братания с солдатней (франц.)], когда весь мир звучит любезными, но отнюдь не запечатленными добродетелью мотивами из "La fille de m-me Angot" ["дочери мадам Анго" (франц.)], когда в наиболее высокопоставленных салонах танцуют кадрили под звуки "ah, j'ai un pied qui r'mue", когда все "моды и роботы", турнюры и пуфы, всякий бант, всякая лента, всякая пуговица на платье, все направлено к тому, чтобы мужчина, не теряя времени на праздные изыскания, смотрел прямо туда, куда нужно смотреть, - в такое время, говорю я, некогда думать об aperçus [отвлеченностях (франц.)], а нужно откровенно, franchement [чистосердечно (франц.)], сказать себе: "хватай, лови, пей, ешь и веселись!"

Сознайся, petite mere, que tu as voulu faire de la blague et du joli style - et voilà tout [мамочка, ты хотела блеснуть остроумием и изящным стилем - только и

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
всего (франц.)]. В действительности же, ты сама очень хорошо знаешь, что все это одна меланхолия, как выражается ротмистр Цыбуля. Морни, Персиньи... неужели ты думаешь, что их можно было пленить разными apercus politiques, historiques et litteraires? и сама "la belle resignee de Chizzlhurst" [прекрасная чизльгёрстская отшельница (франц.)] - неужели "le philosophe" [философ (франц.)] пленил ее каким-нибудь ловким изложением "Слова о полку Игореве"? Нет, голубчик! ты сама не веришь этому, потому что тут же, через две-три строки, упоминаешь о существовании d'une certaine robe [некоего платья (франц.)], "сотканного точно из воздуха"... Вот это так! вот эти-то "сотканные из воздуха" платья одни и производят в наше время эффект. C'est simple comme bonjour [Это ясно, как день (франц.)].

И совсем я не так уж неотесан, как ты полагаешь. У меня даже больше sujets de conversation, нежели сколько требуется по тому роду оружия, в котором я служу. Я учился и истории, и литературе и, кроме того, владею французским языком. Я могу рассказать и про волчицу, вскормившую Ромула, и про Калигулу, которого многие (но не я) смешивают с Каракаллой. En fait de litterature [из области литературы(франц.)], я знаю "Вихрь полунощный, летит богатырь", "Оставим астрономам доказывать" - une foule de choses en un mot [кучу вещей, одним словом (франц.)]. Правда, я несколько призабыл греческую историю, но все-таки напрасно ты думаешь меня сбить с толку своим Ликургом. Кто же не знает, что главный город Греции был Солон?

Вообще, хоть я не горжусь своими знаниями, но нахожу, что тех, какими я обладаю, совершенно достаточно, чтобы не ударить лицом в грязь. Что же касается до того, что ты называешь les choses de l'actualite [злойбой дня (франц.)], то, для ознакомления с ними, я, немедленно по прибытии к полку, выписал себе "Сын отечества" за весь прошлый год. Все же это получше "Городских и иногородных афиш", которыми пробавляетесь ты и Vutor в тиши уединения.

Не думай, однако ж, petite mere, что я сержусь на тебя за твои нравоучения и обижен ими. Во-первых, я слишком bon enfant [паинька (франц.)], чтоб обижаться, а во-вторых, я очень хорошо понимаю, что в твоём положении ничего другого не остается и делать, как морализировать. Еще бы! имей я ежедневно перед глазами Vutor'a, я или повесился бы, или такой бы apercu de morale настроил, что ты только руками бы развела!

А теперь поговорим об моих маленьких делах. То, что я писал тебе, начинает сбываться. Меня уж назвали "сыном" и дали мне поцеловать ручку (ручка у нее маленькая, тепленькая, с розовыми ноготками). Конечно, это еще немного (я уверен даже, что ты найдешь в этом подтверждение твоих нравоучений), но я все-таки продолжаю думать, что ежели мои поиски и не увенчиваются со скоростью телеграфного сообщения, то совсем не потому, что я не пускаю в ход "apercus historiques et litteraires" [исторических и литературных рассуждений (франц.)], а просто потому, что, по заведенному порядку, никакое представление никогда с пятого акта не начинается. Что делать! Женщина так уж воспитана, что требует, чтобы однажды принятая канитель была проделана от начала до конца, а исключение в этом случае допускается только в пользу "чизльгёрстских философов"...

Это было вчера, после обеда. В этот день все офицерство праздновало на именинах у одного помещика, верст за пять от города, а потому я один обедал у полковника. Он сам хотя и не поехал к имениннику, отозвавшись нездоровьем, но после обеда тотчас исчез (представь себе, я узнал, что он делает экскурсии к жене нашего дивизионера, роскошной малороссиянке, и что это даже очень недешево обходится старику). Мы сидели вдвоем. Погода на дворе стояла отвратительная, совсем осенняя, и хотя был всего шестой час, в комнатах уже царствовал полусвет. Она полулежала на кушетке, завернувшись в шаль (elle est frileuse, comme le sont toutes les blondes [она зябкая, как все блондинки (франц.)]), я сидел несколько поодаль на стуле, чутко прислушиваясь к малейшему шороху. На ней было шелковое серо-стальное платье, которого цвет до того подходил к этим сумеркам, что мягкие контуры ее форм, казалось, сливались с общим полусветом комнаты. Я долгое время молчал, но опять-таки совсем не потому, чтобы не имел sujets de conversation, а потому просто, что наедине с хорошенькой женщиной как-то ничего не идет на ум, кроме того, что она хорошенькая. Но зато я смотрел на нее... пристально, почти в упор (c'est une maniere comme une autre de faire entendre certaines intentions [это один из способов намекнуть на известные намерения (франц.)]).

- Не хотите ли творогу со сливками? - вдруг обратилась она ко мне.

– Madame!.. – сказал я, не понимая ее вопроса.

– Вы такой молодой... vous devez adorer le laitage... [вы должны обождать молочное (франц.)]

Признаюсь, это меня как будто ожгло; но, к счастью, я скоро нашелся.

– Может быть, – ответил я, – но во всяком случае обождать молоко все-таки лучше, нежели обождать... лук!

В свою очередь, она с минуту в недоумении смотрела на меня... и вдруг поняла!

– Ах, да! – почти вскрикнула она, весело хохоча, – "лук"... "цыбуля"... c'est ça! Ce cher capitaine! Mais savez-vous que c'est tres mechant! [Вот оно что! Милый ротмистр! Но, знаете, это очень зло! (франц.)] Лук... цыбуля... обождать Цыбулю... ah! ah!

И она вновь так звонко засмеялась, что я почувствовал себя довольно неловко. Ты не можешь себе представить, тапан, какой это смех! Звук его ясный, чисто детский, и в то же время раздражающий, едкий. Нахохотавшись досыта, она вздохнула и сказала:

– Какой вы молодой!

– Послушайте, баронесса! – сказал я, – я уж однажды слышал от вас это восклицание. Теперь вы его повторяете... зачем?

– А хоть бы затем, чтоб вы не смотрели так, как сейчас на меня смотрели. Vous avez des regards de conquerant qui sont on ne peut plus compromettants... ah, oui! [У вас страшно компрометирующий взгляд победителя... да, да! (франц.)]

– В чьих же глазах это может компрометировать вас? Быть может...

Я остановился, как бы затрудняясь продолжать.

– В глазах ротмистра, хотите вы сказать? А если б и так?

– Цыбуля, баронесса! Поймите меня... Цыбуля!

– Вам не нравится эта фамилия? Какой вы молодой!

– De grace, baronne! [Помилуйте, баронесса! (франц.)]

– Да, молодой! Если б вы не были молоды, то поняли бы, что Цыбуля – отличный! Que c'est un homme charmant, un noble coeur, un ami a toute epreuve... [что это прелестный человек, благородное сердце, испытанный друг (франц.)]

– Rien qu'un ami? [Только друг? (франц.)]

– Ah! ah! par exemple! [О, о! А хотя бы и так! (франц.)]

Она опять залилась своим ясным, раздражающим смехом. Но я весь кипел; виски у меня стучали, дыхание занимало. Вероятно, в лице моем было что-то особенно горячее, потому что она пристально взглянула на меня и привстала с кушетки.

– Слушайте! – сказала она, – будемте говорить хладнокровно. Мне тридцать лет, и вы могли бы быть моим сыном... а peu pres... [почти (франц.)]

"Вот оно! сынок!" – мелькнуло у меня в голове.

– Что за дело! – начал я.

– Нет, очень большое дело. Я не хочу портить вашу жизнь... не хочу! Вы только в начале пути, а я...

– Неправда! неправда! – воскликнул я с жаром, – красота, грация... la chastete du sentiment!.. cette fraicheur de formes... ce moelleux... Га ne passe pas!

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
[целомудрие чувства!.. свежесть форм... нежность... это не проходит! (франц.)]
Это вечно!

Она засмеялась вновь, но уже тихонько, сладко, и приняла задушевный тон.

– Хотите быть моим другом? – сказала она, – нет, не другом... а сыном?

– Потому что "друг" у вас уж есть? – с горечью произнес я.

– Ну да, Цыбуля... c'est convenu! [решено (франц.)] А вы будете сыном... mon fils, mon enfant – Il est ce pas? [моим сыном, моим ребенком – не правда ли? (франц.)]

Я молчал.

– Но почтительным, скромным сыном... pas de betises... [без глупостей (франц.)] правда? и чтоб я никогда не видела никаких ссор... с Цыбулей?

– И с Травниковым? – бросил я ей в упор.

– И с Травниковым... ah! ah! par exemple! [О! о! А хотя бы и так! (франц.)] да, и с Травниковым, потому что он присылает мне прелестные букеты и отлично устраивает в земстве дела барона по квартирному полку... Eh bien! pas de betises... c'est convenu? [Итак, без глупостей!.. решено? (франц.)]

– Mais comprenez donc... [Но поймите же (франц.)]

– Pas de mais! Un bon gros baiser de mere, applique sur le front du cher enfant, et plus – rien! [Никаких "но"! Материнский поцелуй, запечатленный на лбу милого ребенка, и больше – ничего! (франц.)] Слышите! – ничего!

С этими словами она встала, подошла ко мне, взяла меня обеими руками за голову и поцеловала в лоб. Все это сделалось так быстро, что я не успел очнуться, как она уже отпрянула от меня и позвонила.

Я был вне себя; я готов был или разбить себе голову, или броситься на нее (tu sais, comme je suis impetueux! [ты знаешь, какой я пылкий! (франц.)]), но в это время вошел лакей и принес лампу.

Затем кой-кто подъехал, и, разумеется, в числе первых явился Цыбуля. Он сиял таким отвратительным здоровьем, он был так омерзительно доволен собою, усы у него были так подло нафабрены, голова так холопски напмажена, он с такою денщицкою самоуверенностью чмокнул руку баронессы и потом оглядел осовельми глазами присутствующих (после именинного обеда ему, очевидно, попало в голову), что я с трудом мог воздержаться...

И эта женщина хочет втереть мне очки насчет каких-то платонических отношений... с Цыбулей! С этим человеком, который пройдет сквозь строй через тысячу человек – и не поморщится! Ну, нет-с, Полина Александровна, – это вы напрасно-с! Мы тоже в этих делах кое-что смыслим-с!

Весь остаток вечера я провел в самом поганом настроении духа, но вел себя совершенно прилично. Холодно и сдержанно. Она заметила это и улучила минуту, чтоб подозвать меня к себе.

– Vous vous conduisez comme un sage! [Вы ведете себя умницей! (франц.)] – сказала она. – Вот вам за это!

Она быстро поднесла к моим губам руку, но я был так зол, что только чуть-чуть прикоснулся к этой хорошенькой, душистой ручке...

К довершению всего, мне пришлось возвращаться домой вместе с Цыбулей, которому вдруг вздумалось пооткровенничать со мною.

– Ты, хвендрик, не вздумай у меня Парасю отбить! – сказал он совсем неожиданно.

"Парася!" Je j'oli nom! [красивое имя! (франц.)] И я уверен, что с глазу на глаз, в минуты чувствительных излияний, он ее даже и Параськой зовет! Это окончательно

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
взбесило меня.

– Послушайте! – отвечал я, – во-первых, я не понимаю, о чем вы говорите, а во-вторых, объясните мне, почему вы говорите "хвендрик", тогда как отлично произносите "фост"?

– Эге! да ведь и в самой же вещи так! – удивился он и на всю улицу разразился хохотом...

Итак, первый акт кончился. Но что это именно только первый акт, за которым пойдут второй и последующие – в этом ручаюсь тебе я!

Целую твои ручки. Ах, если б ты могла улизнуть от несносного Butor'a и приехать в К***! Мне так нужны, так нужны твои советы!

Твой С. Проказнин.

Р. S. Вчера, в то самое время, как я разыгрывал роли у Полины, Лиходеева зазвала Федьку и поднесла ему стакан водки. Потом спрашивала, каков барин? На что Федька ответил: "Барин насчет женского полу – огонь!" Должно быть, ей это понравилось, потому что сегодня утром она опять вышла на балкон и стояла там все время, покуда я смотрел на нее в бинокль. Право, она недурна!"

* * *

"Взвесим все шансы, мой друг, и будем говорить серьезно.

Из последнего твоего письма я вижу, что твое предприятие гораздо сложнее, нежели можно было предположить. C'est tres serieux, mon enfant, c'est presque insurmontable [Дитя мое, это серьезнейшее, почти неосуществимое дело (франц.)]. Тут нужно много сдержанности, самоотвержения и – passe moi le mot [прости меня (франц.)] – ума. Потому что дело идет не о том только, чтобы наполнить праздное и скучающее существование, но о том, чтобы освободить это существование от тисков, которыми оно охвачено и которые со всех сторон заграждают путь к сердцу женщины.

Я вижу два заинтересованных лица: Цыбулю и Травникова. Ты приходишь третьим. Начнем с Цыбули.

Ротмистр, в твоём описании, выходит очень смешон. И я уверена, что Полина вместе с тобой посмеялась бы над этим напомаженным денщиком, если б ты пришел с своим описанием в то время, когда борьба еще была возможна для нее. Но я боюсь, что роковое решение уж произнесено, такое решение, из которого нет другого выхода, кроме самого безумного скандала.

Il doit y avoir une question d'argent – c'est presque certain [Здесь, вероятно, дело в деньгах – почти наверняка (франц.)]. Цыбуля – казначей, а такие люди нужны. Казначей всегда имеет деньги – j'en sais quelque chose, moi [уж я-то знаю (франц.)], потому что Butor одно время был казначеем. Очень возможно, что барон скуп и неохотно дает деньги на туалет жены; еще возможнее, что все доходы его уходят на удовлетворение прихотей "прекрасной малороссиянки". В таком случае Цыбуля – настоящий клад не только для нее, но и для него. Он развязывает его руки, избавляет его от необходимости ремонтировать дорогую игрушку – жену, к которой он уже не чувствует ни малейшего интереса.

Ты молод, мой друг! tu ne connais rien dans les miseres humaines [ты совершенно не разбираешься в слабостях человеческих (франц.)]. Ты не можешь себе представить, какое горькое значение имеют в жизни женщины тряпки, на которые ты едва обращаешь внимание. Видеть женщину хорошо одетую кажется до такой степени натуральным, что вам, мужчинам, не приходит даже на мысль спросить себя, как создается эта обаятельная обстановка, cette masse de soies, de velours, de mousselines et de dentelles, qui rend la femme si seduisante, si desirable [вся эта масса шелков, бархата, тюля и кружев, которая делает женщину столь обольстительной, столь желанной (франц.)]. А между тем это целая страдальческая эпопея. Тут всё: и борьба, и покорность, и обман, и унижение, и предательство, и слезы... tout jusqu'a l'oubli du 7-me commandement inclusivement [всё вплоть до забвения седьмой заповеди (франц.)].

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
Я отсюда вижу Полину, *cette pauvre ame desolee. Elle aime les bonnes choses* [Эту бедную страдающую душу. Она любит красивые вещи (франц.)]; она с удовольствием прячет себя в нежные, мягкие волны шелка и кружев. *sa habille si bien! Sa communique a la physionomie la plus ordinaire quel-que chose de distingue, de vaporeux, de celeste. Et puis... viennent les messieurs* [Это так красит, это придает зауряднейшему лицу нечто утонченное, воздушное, небесное. И вот... мужчины тут как тут (франц.)]. Они так страстно следят за этой шелковой зыбью, так жадно хотят проникнуть тайну, которая за нею скрывается, так обаятельно льстят, что бедная женщина, незаметно для самой себя, *petit a petit* [мало-помалу (франц.)], погружается в этот чарующий мир, где все мягко, душисто, уютно, тепло...

И вот в ту минуту, когда страсть к наряду становится господствующей страстью в женщине, когда муж, законный обладатель всех этих *charmes, tant convoites* [столь соблазнительных прелестей (франц.)], смотрит на них тупыми и сонными глазами, когда покупка каждой шляпки, каждого бантика возбуждает целый поток упреков с одной стороны и жалоб – с другой, когда, наконец, между обеими сторонами устанавливается полуравнодушное-полупрезрительное отношение – в эту минуту, говорю я, точно из земли вырастает господин Цыбуля. Он очень ловко начинает с того, что накидывает на себя маску преданности и смирения. Он ничего не требует, кроме счастья оказывать тысячи бескорыстных услуг. Он устраивает дела мужа, выводит его из затруднений, покровительствует его слабостям. И в то же время выказывает безграничное, почти благоговейное баловство относительно жены. Таким образом, мало-помалу, он становится необходимым для обоих. Это миротворец, это устранитель недоразумений, *c'est le coeur le plus noble, c'est lami a toute eprouve* [Это благороднейшее сердце, испытанный друг (франц.)].

Но если заслуга однажды уж признана, то весьма естественно, что с тем вместе признается и право на вознаграждение за нее. Это признание подкрадывается незаметно, в одну из тех минут мечтательного сострадания, в которые так охотно погружается женщина и которые Цыбуля умеют отлично ловить. *Des lors, la femme ne s'appartient plus* [С этого момента женщина больше не принадлежит себе (франц.)]. Она перестает быть собою, она делается собственностью, вещью... Цыбули! одного Цыбули, *sans partage!* [безраздельно! (франц.)] Сам муж, хотя и замечает, что у него под носом происходит нечто, не входившее в его первоначальные расчеты, но – поздно. Привычка и тысяча мелких услуг уже до того сковывают все его действия, что он не протестует, а думает только о том, чтобы спасти приличия.

Я знаю, ты скажешь опять, что Цыбуля смешон, что он не более как напояженный денщик, что порядочная женщина не может и т.д. *Et pourtant, tu sais tres bien qu'il y est* [И все-таки тебе отлично известно, что он преуспевает (франц.)]. Ах, мой друг! вы живете в провинции, в маленьком городке, где горизонты ужасно как суживаются. Та самая женщина, которая, живя в одном из больших цивилизованных центров, увидела бы в Цыбуле не больше как *l'homme au gros maggot* [толстосума(франц.)], в захолустье – мирится с ним совершенно, мирится как с человеком, даже независимо от его *maggot*. Глаз легко привыкает как к изящному, так и к безвкусному, и среди целой массы денщиков денщик Цыбуля уже не производит оскорбительного впечатления. Он "не противен" – этого одного достаточно, чтобы не разрывать с ним, тем больше что при тех условиях, в которых произошло сближение, разрыв равносителен такой огласке, которая для светской женщины тяжелее самых тяжелых цепей.

Таким образом, Цыбуля имеет за себя: во-первых, очень веские обязательства, во-вторых, привычку и, в-третьих, молчаливое потворство мужа... И ты думаешь, что она разорвет с ним!

Ни за что! Но этого мало, что она не разорвет: она едва ли даже решится обмануть его в твою пользу. В этом маленьком городке, где произошла ее семейная драма, ни одна даже малейшая подробность частной жизни не может ускользнуть от внимания праздных наблюдателей. К Цыбуле все уж привыкли; все видят в нем неизбежное дополнение семейства барона Шпека, так что самая ничтожная перемена в этом смысле возбудит общее внимание и непременно будет известна Цыбуле. С другой стороны, Цыбуля вовсе не такой человек, чтобы выпустить из рук свою добычу... и даже часть добычи. Поверь, что он ведет подробный счет своим издержкам, что у него всякая копейка записана в книгу *avec noms et prenom* [скрупулезнейшим образом (франц.)]. Это негодяй очень опасный, негодяй, который всё помнит и всё хранит. Наверное, у него есть письма Полины, неверное, в этих письмах... ах! ничего не может быть доверчивее бедной любящей женщины, и ничего не может быть

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik ужаснее денщиков, когда они делаются властелинами судьбы ее!

Итак, вот Цыбуля. Что касается до господина Травникова, то мне кажется, что ты ошибаешься, подозревая его в интимных отношениях к баронессе. Я, напротив, уверена, что он a peu pres находится в том же положении, как и ты. И est tout simplement un agreable blagueur, un chevalier servant [Просто он приятный балагур, услужливый кавалер (франц.)], невинный поставщик конфет и букетов, за которые, однако же, баронессе очень сильно достаётся от ревнивого Цыбули.

Как бы то ни было, но ты приходишь третьим.

Знаешь ли что! Я удивляюсь, что Полина даже настолько себе позволила, сколько она высказала при том случайном свидании, которое ты описываешь. C'est une ame vraiment heroique [Это действительно героическая душа (франц.)]. Другая, на ее месте, совсем бы притихла. Ведь эти денщики... они дерутся! Сколько нужно иметь твердости характера, самоотвержения и героизма, чтобы, в виду их, отважиться на какую-нибудь escapade! [шалость (франц.)] Однако ж она отважилась, правда, осторожно, почти двусмысленно, но даже и это, наверное, ей не прошло даром. Цыбуля уже подозревает, он уж следит за нею, et il n'en demordera pas, sois en certain [он не отступится, будь уверен (франц.)]. Он слишком денщик, чтобы забыть о деньгах, которые он истратил!

Вот соображения, которые я, как преданная мать, считаю себя обязанною передать тебе... только не поздно ли?

"Стало быть, нужно отступить?" - спросишь ты меня и, конечно, спросишь с негодованием. Мой друг! я слишком хорошо понимаю это негодование, я слишком ценю благородный источник его, чтоб ответить тебе сухим: "Да, лучше отступить!" Я знаю, кроме того, что подобные ответы не успокаивают, а только раздражают. Итак, поищем оба, не блеснет ли нам в темноте луч надежды, не бросит ли нам благосклонная судьба какого-нибудь средства, о котором мы до сих пор не думали?

Скажу тебе прямо: это средство есть, но оно потребует с твоей стороны не только благоразумия, но почти самоотвержения. Это средство - совершенно довериться инстинкту и такту Полины. Une femme qui aime est intarissable en matiere dexpedients. Il faut que Pauline trouve un compromis - sans cela pas de salut! avec ou sans Tziboulla, n'importe! [Любящая женщина бесконечно изобретательна на уловки. Полине необходимо найти компромисс - иначе нет спасения! с Цыбулей или без него - не важно! (франц.)] Ты должен сказать себе это, и в особенности остановиться на последнем, подчеркнутом мною, условии. Повторяю: ты не только не имеешь права быть придиричивым, но даже обязан всячески помогать Полине в ее миссии. Во-первых, не брюскировать ее и не пугать своим нетерпением; во-вторых, выказать относительно ее много, очень много терпимости.

Достанет ли у тебя героизма, чтоб выполнить это?

Но, может быть, ты и на эти советы согласишься как на пустую старушечью воркотню... Что ж делать, мой друг! Nous autres, vieilles mamans, nous ne savons qu'aimer! [Мы, старухи, способны только на материнскую любовь! (франц.)] Я давно уж освоилась с мыслью, что для меня возможна только роль старухи; Victor слишком часто произносит это слово в применении ко мне (и с какою язвительностью он делает это, если б ты знал!), чтобы я могла сохранять какие-нибудь сомнения на этот счет... Хотя le pere Basile и уверяет, что я могла бы еще любить...

Кого любить?.. Персины, Морни... Он!!

Нет, я никого не могу любить, кроме бога, ни в чем не могу найти утешения, кроме религии! Знаешь ли, иногда мне кажется, что у меня выросли крылья и что я лечу высоко-высоко над этим дурным миром! А между тем сердце еще молодо... зачем оно молодо, друг мой? зачем жестокий рок не разбил его, как разбил мою жизнь?

На днях, впрочем, и мое бедное существование озарилось лучом радости. Paul de Cassagnac вспомнил обо мне и прислал длинное письмо, которое, будто волшебством, перенесло меня в мир чудес. Все они: и Cassagnac, и Dugue de la Fauconnerie, и Souillard, и Rouher [и Кассаньяк, и Дюге де ля Фоконнери, и Суйяр, и Руэр (франц.)] - все полны надежд. Гамбетте готовится сюрприз, от которого он долго не оправится. Все веселы, бодры, готовы; все зовут меня: mais venez donc chez nous, pauvre cher ange incompris! [приезжайте же к нам, несчастный, милый,

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik непонятый ангел! (франц.)]

И представь себе, Vutor имел низость перехватить это письмо и прочитать его. С тех пор он не иначе зовет меня, как "pauvre cher ange incompris". И все это - в присутствии филатки. Так что даже те немногие бедные радости, которые мне остались, - и те становятся для меня источником досад и нравственных истязаний!

Я одна, одна, одна... Это ужасно! Я пробовала поставить le pere Basile au niveau de mon idéal [отца Василия на уровень моего идеала (франц.)], но до сих пор это как-то не удается мне. Хуже всего то, что, говоря со мной, он всегда пускает в ход этот несносный высокий слог. А еще хуже, что он совсем не умеет вести себя за столом, и когда кончит суп, то всегда кладет ложку на скатерть. Но иногда он меня поражает глубиной своих определений. На днях мы говорили с ним о вере, и знаешь ли, что он мне сказал? Что одна вера дает нам твердое (il prononce: [он произносит (франц.)] "твёрдое") и известное основание... ах, какая это истина, друг мой! Это именно то самое, в чем я убедилась тогда... в Париже!

И он страдал! И ему знакома эта святая жажда сердца, которая, вследствие злой насмешки судьбы, как-то всегда остается неудовлетворенною. Представь себе: он должен был жениться на дуре, которая не может отличить правую руку от левой, жениться, потому что иначе ему предстояло оставаться без места на неопределенное время. С тех пор вся его жизнь есть не что иное, как бесконечная цепь самоотвержений. Он сам говорил мне, что если б не сошел к нему с небеси ангел (кажется, он называет этим именем меня; tu vois, comme il est délicat [видишь, как он деликатен (франц.)]), то он давно бы начал пить.

Вот моя жизнь, мой друг, вот жизнь твоей старухи матери. Иногда мне кажется, что я даже начинаю свыкаться с ее однообразием, особенно когда Vutor оставляет меня в покое. От времени до времени он уезжает к соседям или на охоту, и тогда я целыми днями остаюсь одна. Я пользуюсь этими минутами отдыха, чтобы освежить свою душу воспоминаниями. Я убегаю в парк и долго брожу одна, совсем одна по пустынным аллеям. Наш парк - прелесть, и особенно осенью. Он так таинственно дремлет, облитый золотыми лучами сентябрьского солнца, так тихо помахивает багряными вершинами своих деревьев, как будто рассказывает какой-то бесконечный фантастический сон. Воздух совсем-совсем прозрачен и так гулок, что малейший шелест, малейший порх птицы отдается во всех углах парка. Я поминутно вздрагиваю. Свежо, бодро... чудо как хорошо! Я скоро-скоро бегу по усыпанному желтыми листьями дорожкам и вся отдаюсь своим мечтам. Mornu... Persigny... Lui!! Все это так недавно было... и всего этого нет! Rien! [Ничего! (франц.)] Понимаешь ли ты, какое безнадежное чувство я должна испытывать, ежеминутно повторяя себе это ужасное: rien!!

Rien! mais c'est le desespoir, c'est le neant, c'est la mort... [Ничего! но это означает отчаяние, небытие, смерть (франц.)] За что?!

Иногда мне кажется, что где-то, близко, меня подстерегает катастрофа... Что вдруг блеснет мне в глаза великая причина, которая вызовет с моей стороны великое решение...

Я ничего не знаю, что делается на свете. К довершению досады, даже "Городские и иногородные афиши" почти целый месяц не доходят до меня. Что делает Базен? смирился ли Plon-Plon? неужели "la belle resignee" [прекрасная отшельница (франц.)] проводит все время в том, что переезжает из Чизльгёрста в Арененберг и обратно? неужели Флэри ничего более умного не выдумал, кроме парадирования в полном мундире на смотре английских войск a cote de l'Ecolier de Woolwich? [рядом с вульвичским школьником? (франц.)] К чему же привели все эти casse tetes и sorties de bal [кастеты и плащи-накидки(франц.)], которые когда-то с таким успехом зажимали рты слишком болтливой capaille? [черни (франц.)] Ужели их никогда уже нельзя будет пустить в ход?

"Tout pour le peuple et tout par le peuple" - ужели и это, наконец, забыто?!

Ты, может быть, удивишься тому, что все это до сих пор меня волнует; но вспомни же, кто меня любил, и пойми, что я не могу оставаться равнодушною... хотя бы прошли еще годы, десятки лет, столетия!

Довольно. Еще раз прошу: внимательно обсуди настоящее мое письмо и не забывай ту, которая сердцем всегда с тобою, -

N. de Prokaznine.

P. S. Decidement, m-me Likhodeieff [несомненно, госпожа Лиходеева (франц.)] имеет на тебя виды. Et vraiment, elle n'est pas a dedaigner, cette chere dame [В самом деле, этой милой дамой не следует пренебрегать (франц.)], которая "отправляет множество барок с хлебом". По-видимому даже, она умна, потому что прямо обратилась к тому человеку, который всего лучше может устроить ее дело, то есть к Федьке. Quant a ce dernier, sa reponse a la belle amoureuse est incomparable de brio. Elle m'a rappelee les fines reparties de Jocrisse dans le "Jeu du hasard et de l'amour" [что до него, так его ответ влюбленной красотке бесподобен, блестящ. Он мне напоминает остроумные реплики Жокрисса в "Игре случая и любви"(франц.)].

* * *

"Vous etes la meilleure des meres, maman, mais decidement vous donnez dans la melancolie [ты, маменька, лучшая из матерей, но решительно впадаешь в меланхолию (франц.)]. Должно быть, присутствие vutor'a так действует на тебя. Неужели ты не можешь говорить своими словами, не прибегая к хрестоматии Ноэля и Шапсаля? Неужели ты и чизльгёрстского философа развлекала своими apercus de morale? Воображаю, как ему было весело!

Право, жизнь совсем не так сложна и запутанна, как ты хочешь меня уверить. Но ежели бы даже она и была такова, то существует очень простая манера уничтожить запутанности – это разрубить тот узел, который мешает больше других. Не знаю, кто первый употребил в дело эту манеру, – кажется, князь Александр Иванович Македонский, – но знаю, что этим способом он разом привел армию и флоты в блистательнейшее положение.

Кажется, именно я так и поступлю.

Ты просто бесишь меня. Я и без того измучен, почти искалечен дрянною бабенкою, а ты еще пристаешь с своими финесами да деликатесами, avec tes blagues? [со своими шутками (франц.)] Яраскрываю твое письмо, думая в нем найти дельный совет, а вместо того, встречаю описания каких-то "шелковых зыбей" да "masses de soies et de dentelles". Connu, ma chere! [массы шелка и кружев. Знаем мы все это, дорогая! (франц.)] Спрашиваю тебя: на кой черт мне все эти dentell'i, коль скоро я не знаю, что они собою прикрывают!

В одном только ты права: в том, что Полина дрянная, исковерканная бабенка. То есть тебе-то собственно эти коверканья нравятся, но, в сущности, это просто гадость. Полина – одна из тех женщин, у которых на первом плане не страсть и даже не темперамент, а какие-то противные minauderies [ужимки(франц.)], то самое, что ты в одном из своих писем называешь "les preludes de l'amour" [прелюдиями любви (франц.)]. По-моему, ничего гнуснее, развратнее этого быть не может. Женщина, которая очень хорошо понимает, чего она хочет и чего от нее хотят, и которая проводит время в том, что сама себя дразнит... фуй, мерзость! Ты можешь острить сколько тебе угодно насчет "гвардейской правоспособности" и даже намекать, что я принадлежу к числу представителей этого солидного свойства, но могу тебя уверить, что мои открытые, ничем не замаскированные слова и действия все-таки в сто крат нравственнее, нежели паскудные apercus politiques, historiques et litteraires, которыми вы, женщины, занимаетесь... entre deux baisers [между двумя поцелуями (франц.)].

Целуют меня беспрестанно – cela devient presque degoutant [это становится почти невыносимым(франц.)]. Мне говорят "ты", мне, при каждом свидании, суют украдкой в руку записочки, написанные точь-в-точь по образцу и подобию твоих писем (у меня их, в течение двух месяцев, накопились целые вороха!). Одним словом, есть все материалы для поэмы, нет только самой поэмы.

Это до того, наконец, обозлило меня, что вчера я решился объяснить.

Я нарочно пришел пораньше вечером.

– Вы знаете, конечно, что Базен бежал? – сказал я, чтобы завязать разговор.

Она удивленно взглянула на меня.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Да-с, – продолжал я, – бежал с помощью веревки, на которой даже остались следы крови... ночью... во время бури... И должен был долгое время плыть?!

Я остановился; она все смотрела на меня.

– Какой странный разговор! – наконец сказала она.

– Ничего нет странного... об чем говорить?

– Вероятно, это предисловие?

– А если бы и так?

– Предисловие... к чему?

– А хоть бы к тому, что все эти поцелуи, эти записочки, передаваемые украдкой, – все это должно же, наконец, чем-нибудь кончиться... к чему-нибудь привести?

Она взглянула на меня с таким наивным недоумением, как будто я принес ей бог весть какое возмутительное известие.

– Да-с, – продолжал я, – эти поцелуи хороши между прочим; но как постоянный режим они совсем не пристали к гусарскому ментуку!

– Mais vous devenez fou, mon ami! [Да вы с ума сходите, мой друг! (франц.)]

– Нет-с, не fou-с. А просто не желаю быть игралищем страстей-с!

Я был взбешен бесконечно; я говорил громко и решительно, без всяких menagements [обиняков(франц.)], расхаживая по комнате.

– Но чего же вы от меня хотите?

– parbleu! la question me parait singuliere [Черт побери! странный, по-моему, вопрос (франц.)].

– Vous etes un butor! [Вы грубиян! (франц.)]

Признаюсь, в эту минуту я готов был разорвать эту женщину на части! Вместо того чтобы честно ответить на вопросы, она отделяется какими-то общими фразами! Однако я сдержался.

– Быть может, ротмистр Цыбуля обращается деликатнее? – спросил я язвительно.

– Да, Цыбуля – деликатный! C'est un chevalier, un ami a toute epreuve [Он рыцарь, он испытанный друг(франц.)]. Он никогда не обратится к порядочной женщине, как к какой-нибудь drolesse! [потаскушке(франц.)]

– Еще бы! Мужчина четырнадцати вершков росту!

– Pardon! II me semble que vous oubliez... [Довольно! мне кажется, вы забываетесь... (франц.)]

– Послушайте! неужели вы, однако, не видите, что я, наконец, измучен?

Это восклицание, по-видимому, польстило ей. Ведь эти авторши разных aperçus de morale et de politique – в сущности, самые кровожадные, тигровые натуры. Ничто не доставляет им такого наслаждения, как уверенность, что пущенная в человека стрела не только вонзилась в него, но еще ковыряет его рану. В ее глазах блеснула даже нежность.

– Voyons, asseyons-nous et tachons de parler raison! [Сядем и попробуем поговорить здраво! (франц.)] – сказала она ласково.

Я опустил на диван возле нее. Опять начались поцелуи; опять одна рука ее крепко сжимала мою руку, а другая покоилась на моей голове и перебирала мои волосы. И вдруг меня словно ожгло: я вспомнил, что все это по вторникам,

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
четвергам и субботам проделывает m-me Pasca на сцене Михайловского театра.

– И вы называете это "parler raison"? [поговорить здраво? (франц.)] – почти закричал я.

– Mon ami! au nom du ciel! [Друг мой! бога ради! (франц.)]

– А! это на вашем языке называется "parler raison"! Eh bien, je ne veux pas parler raison, moi! Je veux extravaguer, je veux... [Но я не хочу говорить здраво. Мне хочется сумасбродствовать, хочется... (франц.)]

.

Я вел себя глупо; кажется даже, я мальтретировал ее. Но эта женщина – змея в полном смысле этого слова! Она скользит, вьется... Через четверть часа я сидел в своей дурацкой квартире, кусал ногти и рвал на себе волосы...

К довершению всего, по дороге мне встретился Цыбуля и словно угадал, что со мною произошло.

– А ну-те, хвэндрик! – сказал он, – добрые люди в гости, а он из гостей бежит! Может, гарбуз получил?

И, говоря это, глупейшим образом улыбался... скотина!

Прощай, я слишком озлоблен, чтоб продолжать. Пиши ко мне, пиши чаще, но, ради бога, без меланхолий.

С. Проказнин.

Р. С. Лиходеева опять залучила Федьку, дала ему полтинник и сказала, что на днях исправник уезжает в уезд "выбивать недоимки". Кроме того, спросила: есть ли у меня шуба?.. уж не хочет ли она подарить мне шубу своего покойного мужа... cette naïvete! [что за простодушие! (франц.)] Каждый день она проводит час или полтора на балконе, и я без церемоний осматриваю ее в бинокль. Положительно она недурна, а сложена даже великолепно!"

* * *

"Все кончено. И там, и тут. Везде, во всем мире кончено.

В тот же день, как я отправил тебе последнее письмо, я, по обыкновению, пошел обедать к полковнику... Ах, маман! Вероятно, я тогда сделал что-нибудь такое, в чем и сам не отдавал себе отчета!..

Когда я вошел в гостиную, я сейчас же заметил, что ее не было... Полковник что-то рассказывал, но при моем появлении вдруг все смолкло. Ничего не понимая, я подошел к хозяину, но он не только не подал мне руки, но даже заложил обе свои руки назад.

– Господин субалтерн-офицер! – сказал он мне, возвысив голос как на ученье, – вы вели себя как ямщики!

Мне ничего другого не оставалось, как повернуть налево кругом и исчезнуть.

После обеда я отправился, однако, в городской сад. Мне было так скверно, так тоскливо, что я был готов придрасться к первому встречному; но товарищи, завидев меня, скрывались. Я слышал только, что при моем появлении произносилось слово "шуба".

На другой день все объяснилось. Ах, какая это адская интрига! И с каким коварством она пущена в ход, чтобы забрызгать грязью одного меня и выгородить все остальное!.. Утром я сидел дома, обдумывая свое положение, как ко мне приехал один из наших офицеров. Он назвал себя депутатом и от имени всех товарищей пригласил меня оставить полк.

– Но за что же? – спросил я, – что я сделал такого, что не было бы согласно с

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
принятыми в офицерском звании обычаями?

– Очень жаль, – сказал он мне, – что между нами существует на этот счет разногласие, но общество наше никак не может терпеть в среде своей офицера, который унизился до того, что принял в подарок от женщины... шубу! Затем прошу вас уволить меня от дальнейших объяснений и позвольте надеяться, что вы добровольно и как можно скорее исполните просьбу бывших ваших товарищей!

Он шаркнул и был таков.

Меня вдруг точно озарило. Я вспомнил дурацкий вопрос Лиходеевой: есть ли у меня шуба? Я бросился к Федьке – и что же узнал! что этот негодяй в каком-то кабаке хвастался, что я не только в связи с Лиходеевой, но что она подарила мне шубу!.. Какой вздор!!

Карьера моя разбита. Пойми, *petite mere*, что я даже не могу опровергнуть эту клевету, потому что никто не станет слушать мои объяснения. *C'est un parti pris* [Это подстроено (франц.)]; "шуба" тут ни при чем – это просто отвод, придуманный фон Шпеками и Цыбулей...

Когда я думаю, что об этом узнает *Vutor*, то у меня холодеет спина. Голубушка! брось ты свою меланхолию и помирись с *Vutor'*ом. *Au fond, c'est un brave homme!* [В сущности, он славный парень!(франц.)] Ведь ты сама перед ним виновата – право, виновата! Ну, что тебе стоит сделать первый шаг? Он глуп и все забудет! Не могу же я погибнуть из-за того только, что ты там какие-то меланхолии соблюдаешь!

С. Проказнин.

Р. С. Пожалуйста, поскорее уломай *Vutor'*а, потому что я уж подал в отставку. Я без копейки – пусть придет денег. Представь себе, даже Лиходеева перестала показываться. Сегодня утром я смотрел в окно – вдруг дверь балкона отворяется, и в ней показывается улыбающаяся рожа исправника... Стало быть, и с этой стороны все кончено".

* * *

"*Vazaine s'est evade!* [Базен бежал! (франц.)] Я сегодня прочла об этом в "Городских и иногородных афишах", которые доставлены сюда разом за целый месяц.

Я не могу описать тебе, мой друг, что я почувствовала, когда прочла это известие. *C'etait comme une revelation* [Это было словно откровение (франц.)]. Опнишь, я писала тебе, что предчувствую катастрофу... *et bien, la-voici!* [и вот она! (франц.)] Я заперлась в своей комнате и целый час, каждую минуту повторяла одно и то же: "Базен бежал! Базен бежал!" и потом: "Рюль... Рюль... Рюль..."

Рюль! *Il est brave! il est jeune! il est beau!* [Он храбр! он молод! он красив! (франц.)]

И я вдруг, почти машинально, начала собираться. Мне так ясно, так отчетливо представилось, что мое место... там, а *cote de ce brave et beau jeune homme!* [рядом с этим молодым храбрым красавцем!(франц.)]

Oui, je dois etre a mon poste! je le sens, jamais je ne l'ai senti avec autant d'irresistibilite [Да, я должна быть на своем посту! Я это чувствую, чувствую с такой неодолимостью, как никогда прежде (франц.)]. Сначала еду в Париж, чтоб повидаться с *Sainte-Croix (celui qui a donne le soufflet a Gambetta)* [Сент-Круа (тот, что дал пощечину Гамбетте) (франц.)], потом... потом, быть может, и совсем останусь в Париже... *Ah! si tu savais, mon ami!* [Ах, если бы ты знал, друг мой! (франц.)]

Но, само собою разумеется, что где бы я ни была, сердцем я всегда с тобою.

Nathalie"

* * *

"Негодяй!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

Все письма твои я перечитал, а последние два даже сам лично получил.

Vutor – это я-с?!

Наталья Кирилловна, твоя мать, а моя жена, вчерашнего числа в ночь бежала, предварительно унеся из моего стола (посредством подобранного ключа) две тысячи рублей. Пишет, будто бы для свидания с Базеном бежит, я же наверно знаю, что для канканов в Closerie des lilas [Сиреневой беседке (франц.)]. Но я не много о том печалюсь, а трепещу только, как бы, навешавшись в Париже досыта, опять не воротилась ко мне.

До сих пор я читал седьмую заповедь так: "Не прелюбодействуй!" Но вы с матерью и сим недовольны, а новую заповедь выдумали: "Не перепрелюбодействуй!" Вы простому прелюбодейству не можете остаться верными, но даже в самый разгар оно о том всечасно помышляете, как бы новое учинить!

А посему вот от меня тебе приказ: немедленно с посланным приезжай в деревню и паси свиней, доколе не исправишься. Буде же сего не исполнишь, то поезжай к Базену и от него жди милости, а меня не раздражай.

За сим остаюсь навсегда разгневанный отец твой

Семен Проказнин"

КУЗИНА МАШЕНЬКА

Саваны, саваны, саваны! Саван лежит на полях и лугах; саван сковал реку; саваном окутан дремлющий лес; в саван спряталась русская деревня. Морозно; окрестность тихо цепенеет; несмотря на трудную, с лишком тридцативерстную станцию, обындевевшая тройка, не понуждаемая ямщиком, вскачь летит по дороге; от быстрой езды и лютого мороза захватывает дух. Пустыня, безнадёжная, надрывающая сердце пустыня... Вот налетел круговой вихрь, с визгом взбуравил снежную пелену – и кажется, словно где-то застонало. Вот звякнуло вдали; порывами доносится до слуха звон колокольчика обратной тройки, то прихлынет, то отхлынет, и опять кажется, что где-то стонет. Вот залаяла у деревенской околицы ледащая собачонка, зачуяв волка, – и снова чудятся стоны, стоны, стоны... Мнится, что вся окрестность полна жалобного ропота, что ветер захватывает попадающиеся по дороге случайные звуки и собирает их в один общий стон...

Саваны и стоны...

Для жителя столицы, знакомого лишь с железными путями, зимнее путешествие на лошадях, в том виде, в каком оно совершается в наши дни, должно показаться почти анахронизмом. Если даже в его памяти свежо сохранились воспоминания о старинной езде на почтовых, сдаточных и так называемых долгих, то и тут он должен сознаться, что в настоящее время этого рода способы передвижения, сохранив за собой прежние неудобства, значительно изменились к худшему. Прежде вы одинаковым способом, то есть на лошадях, передвигались от места до места и сообразно с этим устроивали известные приспособления: обряжали экипаж, запасались провизией, брали погребец с посудой, походную кровать и проч. Нынче везде по вашему пути врезалась железная дорога и нигде до "вашего места" не доехала. Железные дороги сделали прежние приспособления немислимыми, а между тем большинству смертных приходится сворачивать в сторону и ехать более или менее значительное расстояние на лошадях. Прежде по проезжим дорогам везде встречались постоялые дворы, где можно было найти хоть теплую отдельную комнату и, с помощью привезенных с собою приспособлений, устроить кой-какой невзыскательный комфорт. Нынче о постоялых дворах и в помине нигде нет, а место их заняли сырые, на скорую руку выстроенные, вонючие, исполненные гама и толкотни трактиры.

Вы оставили блестящий, быстро мчащийся железнодорожный поезд и сразу окунулись в самую глубину мерзости запустения. Вы очутились на одной из третьестепенных станций, которую станционный жандарм насквозь прокурил тютюном и пропитал запахом овчинного полушубка. Холодно, сыро, воняет. Наружные двери беспрерывно хлопают, и ни до одной нельзя без омерзения притронуться рукой: до того они пропитаны жиром и слизью. В общей пассажирской комнате дует сквозной ветер и царствует какой-то сизый полумрак. Сидеть в шубе – душно и неловко, снять ее – непременно схватишь простуду. Вы уходите в так называемую "дамскую" – там

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
невыносимый жар, угарно, негде повернуться. Вы спрашиваете чаю – вам отвечают, что на станции, где нет буфета, прохладиться пассажиру не полагается, и указывают на трактир, который отстоит в тридцати – сорока саженьях и к которому надо шагать по сугробам. Скрепя сердце, вы решаетесь ехать немедленно, и вот вас обступает стая ямщиков, которые, "глядя по пассажиру", устанавливают на вас цену и мечут об вас жребий. Наконец условились. Через полчаса к подъезду станции подкатывает тройка заиндеветших лошадей, запряженная в возок, снабженный с обеих сторон отверстиями, через которые пассажир обязывается влезать и вылезать и которые занавешиваются откидными рогожами. Вы надеваете тулуп, потом шубу и, чуть дыша под тяжестью одежд, направляетесь к двери. По дороге шпалерой выстраиваются какие-то люди. Один бегал в трактир за ямщиками, другой пришел с известием, что лошадей запрягают, третий помогал снять шубу, четвертый помогал надеть ее, пятый принес чемодан, шестой что-то подержал, куда вы укутывались. Тут же приютился и мальчик, который чиркнул спичкой, когда вы вынули папиросницу. Никто явно не просит, но все, словно по команде, возглашают: "дай бог счастливо!" Вы чувствуете, что каждый из этих людей, по-своему, содействовал факту вашего отъезда и, следовательно, каждый же имеет на вас какое-то право. Начинается процесс влезания в повозку, подсаживания, подталкивания... трогай!

Дорога. Подувает, продувает, выдувает, задувает. Рогожные занавески хлопают; то взвиваются на крышку возка, то с шумом опускаются вниз и врываются в повозку. Путь замедляет; повозка по временам стучит по обнаженному черепу дороги; по временам врывается в сугроб и начинает буровить. Если вы одни в повозке, то при каждом ухабе, при малейшей неровности, вас перекачивает из стороны в сторону; если вы сидите вдвоем, то непрерывно наваливаетесь на соседа или он на вас. Все старания, которые вы употребляли на станции, чтобы плотнее закутаться, – старания, сопровождаемые поощрительными возгласами: "Вот так! вот теперь хорошо! теперь хоть тысячу верст поезжай – не продует!" – оказываются напрасными. Через четверть часа вы уже растерзаны; шуба сбилась под вас, ноги и весь перед тела оголились и защищены только тулупом и валенками. Начинается дорожная тоска, выражаемая ежеминутным спрашиванием: "далеко ли?" Из глаз, из носу, с усом каплет. Наконец вы решаетесь лечь на бок и притулиться к одной стороне – тррах! – через минуту вы на другом боку!

Через три, три с половиной часа – станция. Вас привозят в деревенский трактир, где уж угощается толпа проезжего и местного люда. В минуту вашего появления людской гомон стихает; "гости" сосредоточенно уткнулись в наполненные чаем блюдечки, осторожно щелкают сахар, чмокают губами и искоса поглядывают на ввалившуюся "дворянскую шубу", как будто ждут, что вот-вот из-за приподнятого воротника раздастся старинное: "Эй вы, сиволапые, – брысь!" Но так как нынче подобных возгласов не полагается, то вы просто-напросто освобождаетесь от шубы, садитесь на первое свободное место и скромно спрашиваете чаю. Сквозной ветер, сырость, грязь, вонь. Приносят подлый, захватанный стакан, миниатюрный чайник, которого крышка привязана к ручке жирною бечевкой, мельхиоровую ложку, красную от долговременного употребления. Ввиду вашей скромности, гомон возобновляется. "Гости" постепенно становятся развязнее и развязнее; наконец заводится разговор о том, что "в трактире за свой пяточок всякий волен", что "это прежде, бывало, дворяне форсу задавали, а нынче царь-батюшка всем волю дал", что "если, значит, пришел ты в трактир, то сиди смирно, рядом со всеми, и не фордыбачь!"

– Прежде очень для дворян вольготно было! – говорит один гость, – приедет, бывало, барин на постоялый, гаркнет: "Мужиком чтоб не пахло!" – ну, и ступай на улицу! А нынче – шабаш!

– Нынче слободно! – излагает другой гость, – нынче батюшка царь всем волю дал! Нынче, коли ты хочешь сидеть – сиди! И ты сиди, и мужик сиди – всем сидеть дозволено! То есть, чтобы никому... чтобы ни-ни... сиди, значит, и оглядывайся... Вот как царь-батюшка повелел!

– Нынче, брат, форсы-то оставить надо! и рад бы пофорсить – да руки коротки! Коли хочешь смирно сидеть – сиди! И мужик сиди, и ты сиди – всем сидеть позволено! – разъясняет третий гость.

Среди этой поучительной беседы проходит час. Привезший вас ямщик бежит по дворам и продает вас. Он порядил с вами, примерно, на сто верст (до места) со сдачей в двух местах, за пятнадцать рублей, теперь он проехал тридцать верст и норовит сдать вас рублей за шесть, за семь. Покуда он торгуется, вы обязываетесь нюхать трактирные запахи и выслушивать поучения "гостей". Наконец ямщик

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
появляется в трактир самолично и объявляет, что следующую станцию повезет он же, на тех же лошадях.

Протестовать бесполезно; остается только раз навсегда изъявить согласие на всякие случайности и замереть. И вот, если вы выехали в восемь часов утра и рассчитывали попасть в "свое место" часов в десять вечера, то уже с первого шага начинаете убеждаться, что все ваши расчеты писаны на воде и что в десять-то часов вряд вам попасть и на вторую станцию.

Как хотите, а при подобной обстановке самое крепкое и испытанное чувство собственности, семейственности, государственности и проч. – и то не устоит!

Ранним утром, часов около шести, я наконец добрался до места. Деревня пробуждалась. Окна изб ярко пылали пламенем топящихся печей; через улицу шмыгали бабы с коромыслами на плечах; около деревенского колодца, кругом окованного льдом, слышались говор и суета; кое-где, у ворот, мужики, позевывая и почесываясь, принимались снаряжать дровнишки. Зябко; в воздухе плавала белесоватая, насквозь пронизывающая мгла; лошади, как угорелые, мчались по укатанной деревенской улице и замерли перед крыльцом небольшого барского флигеля.

Я счастлив уже тем, что нахожусь в теплой комнате и сознаю себя дома, не скутанным, свободным от грязи и вони, вдали от поучений. Старик Лукьяныч, о котором я уже не раз упоминал на страницах "Благонамеренных речей" и который до сих пор помогает мне нести иго собственности, встречает меня с обычным радушием, хотя, я должен сознаться, в этом радушии по временам прорывается легкий, но очень явный оттенок иронии.

Я люблю Лукьяныча искренно и положительно убежден, что и он, с своей стороны, готов в мою пользу кому угодно горло перервать. Но в то же время я знаю, что никто с такою любовью не выискивает средства отравить мою жизнь, как он. Независимо от общеиронического характера его отношений ко мне, он всегда имеет наготове или отвратительное известие, или какой-нибудь такой безнадежный вывод, вследствие которого я непременно должен почувствовать себя в положении рыбы, бьющейся об лед. Да, существуют еще люди этого закала, хотя несомненно, что тип крепостного Ментора уже вымирает. По мнению моему, эти люди страдают особенною болезнью, которую я назвал бы "бессилием преданности", и, кроме того, они никак не могут позабыть изречение: "Любляй наказует". Лукьяныч рад бы вселенную разорить в мою пользу, но так как руки у него коротки, да и я, по той же причине, не могу оказать ему в этом смысле ни малейшего содействия, то он и вымещает на мне наше обоюдное бессилие. Может быть, он на что-нибудь надеется. Я знаю, ему хотелось бы, чтоб я воспрянул духом, чтоб я облекся в звериный образ и начал бы косить направо и налево, "как папенька". И вот он думает, что его ироническое шпынянье подействует на меня, что я действительно воспряну и начну "косить"...

Именно это самое ироническое отношение повторилось и теперь. Едва успел я глотнуть чаю, как Лукьяныч уже поспешил метнуть в меня камнем, который он, очевидно, с любовью холил у себя за пазухой.

– Мужички опять не согласны! – вымолвил он злорадно-спокойным голосом, стоя у косяка двери и сложив на груди руки кренделем.

Это известие заставило меня вздрогнуть. Я все претерпел, я оставил семейство и занятия именно в твердой уверенности, что "мужички согласны" и что иго земельной собственности, наконец, перестанет тяготеть надо мной.

– Как так? – спросил я испуганным голосом.

– Не согласны, и шабаш!

– Да не сам ли же ты писал, что они "на всё согласны"?

– И были третьего дня согласны, а вчера одумали и несогласны сделались. Может, сегодня не будет ли чего.

– Господи! да который же раз я сюда езжу!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– И сто раз будете ездить – все то же будет!

– Заколдованное ваше место, что ли?

– Не заколдовано, а жить в нем надо. Минуту, значит, ловить.

Я как-то вдруг упал духом. Не далее как четверть часа тому назад я ехал по деревенской улице, видел пламя топящихся печей, видел мужиков, обряжающих дровни (некоторые даже шапки сняли, завидев меня), баб, спешащих к колодцу, и был уверен, что все это означает "согласны". И вдруг оказывается, что это-то именно и означает "несогласны", что все эти действия и признаки говорят о закоренелости и упорстве. Вот они совершают свой обычный дневной обряд, поднимаются от сна с полатей, с лавок и с пола, едут в поле за сеном и в лес за дровами, посылают баб за водой, задают корм лошадям и коровам, совершая все это рутинно, почти апатично, без всяких признаков закоренелости, – и, за всем тем, они упорствуют, они несогласны.

Кто измерит глубину пучины, называемой мужицким сердцем! кто сумеет урегулировать воздушные колебания, которые производят зыбь на поверхности этой пучины!

– Вы бы, сударь, ослобонили меня! – пустил вдруг шип по-змеиному Лукьяныч, покуда я, в бессилии, мысленно восклицал: "Да где же конец этим оттяжкам!"

Я уж не впервые слышу эту угрозу из уст Лукьяныча. Всякий раз, как я приезжаю в Чемезово, он считает своим долгом пронзить меня ею. Мало того: я отлично знаю, что он никогда не решится привести эту угрозу в действие, что с его стороны это только попытка уязвить меня, заставить воспрянуть духом, и ничего больше. И за всем тем, всякий раз, как я слышу эту просьбу "ослобонить", я невольно вздрагиваю при мысли о той беспомощности, в которой я найдусь, если вдруг, паче чаяния, стрясется надо мной такая беда.

– Опомнись, Лукьяныч! что ты говоришь! – обратился я к нему.

– Да ведь умру – надо же тогда будет другого искать!

– А ты прежде кончи!

Он уставился глазами в землю и пощипывал одной рукой бородку.

– Кончать надо... это так. И сам я вижу. Только кончим ли? Кабы вы настоящий "господин" были – это точно... Вот как березниковская барыня, например...

– Какая еще березниковская барыня?

– Порфирьева, Марья Петровна. Сестрица вам будет... чтой-то уж и забыли! А оне вечер гонца в Чемезово присылали, просили весточку им дать, как приедете.

– Машенька Величкина! кузина! Боже! да ведь и в самом деле она здесь!

Целый рой воспоминаний пронесся передо мной при этом имени. Я знал Машеньку еще шестнадцатилетнею девушкой, да и самому мне было в то время не более двадцати шести, двадцати семи лет. В то время я с особенным удовольствием ездил в Березники (владелец их приходился мне двоюродным дядей), верстах в двенадцати от Чемезова, в Березники, где была прекрасная барская усадьба, в которой царствовало безграничное гостеприимство. Но, кажется, меня всего больше влекла туда Машенька. Ее нельзя было назвать красивой, но она была удивительно миловидная девушка-ребенок. Именно ребенок. Маленькая, худенькая, почти прозрачная, точно бисквитная куколка. "Совсем-совсем куколка", говорили тогда об ней. В глазах у нее постоянно светилось какое-то горе, которое всего точнее можно назвать горем ни об чем; тонкие бровки были всегда сдвинуты; востренький подбородок, при малейшем недоумении, нервно вздрагивал; розовые губы, в минуты умиления, складывались сердечком. "Миленькая! миленькая!" – как-то естественно думалось при взгляде на нее.

Повторяю: я с особенным удовольствием посещал Березники и еще с большим удовольствием бродил с Машей по аллеям парка. Я помню, я говорил ей, что истина вечна, красота вечна, дух вечен, добро вечно. Что все остальное пройдет, как

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik дурной сон, а эти четыре фактора человеческого существования навсегда пребудут незабываемыми и неприкосновенными. Что люди – братья, что они должны любить друг друга, что счастье есть удел всех. И что, за всем тем, нельзя обойтись без страдания, потому что страдание очищает человека. Я помню, как она с недоумением вслушивалась в мои слова, как глаза ее начинали светиться сугубым горем "ни об чем" и как она вдруг, в самом патетическом месте, пугливо прерывала меня.

– Голубчик! – говорила она мне. – Я знаю, ты будешь смеяться надо мной, но что же мне делать: мысль о вечности пугает меня!

– Какое ребячество! – разувверял я ее, – чего же тут пугаться! Что такое вечность? Вечность – это красота, это истина, это добро, это жизнь духа – все, взятое вместе и распространенное в бесконечность... Мысль об вечности должна не устрашать, а утешать нас.

– Да, это так... но вечность! вечность!

– Но почему же ты вдруг заговорила о вечности? – допытывался я.

– Ах, я не знаю... но иногда... Иногда, после разговоров с тобой, мне вдруг приходит мысль: что же такое мы? что такое вся наша жизнь?

И она так мило вздрагивала при этом, что я употреблял все усилия, чтоб утешить это прозрачное, маленькое существо.

Вообще она была большая трусиха. Бледнела при виде пробегающей мыши, бледнела, заслышав внезапный шум, но в особенности сильно трусила советника т – ской казенной палаты, Савву Силыча Порфирьева. Савва Силыч был рослый, тучный и рыхлый губернский сановник, с сероватым лицом, напоминавшим ноздреватый известковый камень. Он с пятнадцатилетнего возраста облюбовал Машеньку, точно предвидел, что из этого хрупкого материала можно выработать благонадежную мать семейства. Несколько раз он делал ей предложение, но Машенька все отказывала. Однако она делала эти отказы в такой форме, что Порфирьев не только не отчаялся в успехе, но продолжал по-прежнему дружески посещать дом Величкиных. Она просто говорила: боюсь.

– А боитесь, барышня, так со временем привыкнете! – любезно возражал Савва Силыч, перебирая ногами на манер влюбленного петуха, – спешить нам нечего, я подожду-с!

И, обращаясь к Петру Матвеечу Величкину, тут же, при ней же, прибавлял:

– Ничего-с! это в них девичье-с! Спешить нечего-с! Оне – в цвету-с, я – в поре-с... подождем-с!

И дождался-таки, хотя я в то время готов был сто против одного держать пари, что он никогда ничего не дождетсЯ и что никогда к грубому ноздреватому известковому камню не прикоснется нежный, хрупкий бисквит.

С тех пор прошло двадцать лет. Я совершенно потерял Машу из вида и только мельком слышал, что надежды Порфирьева осуществились и что "молодые" поселились в губернском городе Т. Я даже совершенно забыл о существовании Березников и никогда не задавался вопросом, страдает ли Маша боязнью вечности, как в былые времена. Теперь я узнал от Лукьяныча, что она два года тому назад овдовела и вновь переселилась в родные Березники; что у нее четверо детей, из которых старшей дочке – десять лет; что Березники хотя и не сохранили вполне прежнего роскошного, барского вида, но, во всяком случае, представляют ценность очень солидную; что, наконец, сама Марья Петровна...

* * *

На другой день, часу во втором, я подъезжал к Березникам. В противоположность чемезовскому и другим "дворянским гнездам", старинная березниковская усадьба и в настоящее время смотрела бодро, почти уютно. Впрочем, из всех свидетелей прежней барской жизни на широкую руку оставались только громадный дом, оранжереи и парк. Но они не были в забросе, как в большей части соседних имений, а, напротив того, с первого же взгляда можно было безошибочно сказать, что здесь живется тепло и удобно. Все лишнее, оказавшееся после упразднения крепостного права

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
обременительным, было сломано и снесено. Я помню, так называемый красный двор
был загроможден флигелями, людскими, амбарами, погребами; теперь на этом самом
месте был распланирован довольно обширный сад, который посредине прорезывала
дорога, ведущая к барскому дому. Все службы были сгруппированы в одном месте,
через дорогу, и бросались в глаза новыми бревенчатыми стенами. Вероятно, еще
покойный Савва Силыч начал и привел к окончанию все эти преобразования, однако,
и по смерти его, заботливая рука поддерживала их.

Машенька выбежала ко мне в переднюю со словами:

– Ах, родной мой... как давно! как давно!

– Машенька! ты ли... да, это ты! – в свою очередь, восклицал я.

Я сжимал ее руками за локти, словно желая приподнять, и с любовью разглядывал
ее. Она почти совсем не изменилась. Передо мной стояла все та же
шестнадцатилетняя Машенька, которая когда-то так "боялась вечности". Маленькая,
худенькая, прозрачная, "совсем-совсем куколка", несмотря на то, что ей было уже
за тридцать пять лет. В глазах по-прежнему светилось горе "ни об чем",
по-прежнему вздрагивал востренький подбородок, губы, от внутреннего умиления,
сложились сердечком, бровки были сдвинуты. В ее черных, как вороново крыло,
волосах не было заметно ни одной сединки. Ни единой морщины на лбу и около глаз.
Словом сказать, для нее как будто не было времени, тех двадцати лет, которые так
придавили и доконали меня. Больной всеми старческими недугами, молча любовался я
ей, внутренне переживая далекое прошлое и с каким-то удивлением встречаясь лицом
к лицу с своею молодостью, тою бесплодной молодостью, которая не дала ни
привычки к труду, ни предусмотрительности, ни выносливости, а только научила
"нас возвышающим обманам".

– Да, друг мой, давно я тебя не видала, – продолжала она, вводя меня в гостиную
и усаживая на диван подле себя, – многое с тех пор изменилось, а, наконец, богу
угодно было испытать меня и последним ударом: неделю тому назад минуло два года,
как отлетел наш ангел!

Высказавши это, она на минуту отвернула от меня лицо; вероятно, на ее глаза
навернулись две крошечные слезки, которые она хотела незаметно для меня
смигнуть,

– Да, слышал... Савва Силыч... Впрочем, я знал его так мало...

– Ты можешь даже сказать, что совсем не знал его. Ах, мой друг, как мы были в то
время легкомысленны! Помнишь, как я боялась его! И скажу тебе откровенно, что
даже после выхода замуж я года три еще боялась его; все казалось: ах, какой он
большой! Глупенькая ведь я была. И представь себе: никогда он даже вида не
подал, что это для него обидно. Бывало, обнимет меня рукой, а я вся дрожу.
Другой бы забранил, а он, напротив, еще приголубит: "Ничего, говорит,
привыкнешь! нам спешить некуда!" и точно: потихоньку да помаленьку, я и сама
наконец стала удивляться, что можно было находить в нем страшного!

– Привыкла?

– Нет, не то что привыкла, а так как-то. Я не принуждала себя, а просто само
собой сделалось. Терпелив он был. Вот и хозяйством я занялась – сама не знаю
как. Когда я у папеньки жила, ничто меня не интересовало – помнишь? Любила я,
правда, помечтать, а спроси, об чем – и сама сказать не сумею. А тут вдруг...

Я не мог удержаться, чтоб вновь не взять ее за руки. Да, это она! глазки, полные
грустного недоумения, бровки сдвинуты, губки вот-вот сейчас сложатся
сердечком... миленькая! миленькая! И я невольно подумал: "Возьми теперь эту
тридцатисемилетнюю девочку за руку и веди ее, куда тебе хочется. Вдруг – она
очутится в лесу, вдруг – среди долины ровных, вдруг – сделается хозяйкой и
матерью, вдруг – проникнется страстью к балам и пикникам. И повсюду одинаково
грустно-недоумело будут смотреть ее глазки, повсюду останутся сдвинутыми ее
хорошенькие бровки, а губки, в данную минуту, сложатся сердечком. И что всего
важнее, нигде она не пропадет, ничем ее не собьешь, кроме разве, что найдется и
еще кто-нибудь и тоже возьмет ее за ручку, и тоже поведет, куда ему хочется".

– А какой христианин он был! – лепетала она, – и какой христианской кончины

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
удостоил его бог!

– Болен он был?

– Нет, вдруг это как-то случилось. К обеду пришел он из казенной палаты, скушал тарелку супу и говорит: "Я, Машенька, прилягу". А через час велел послать за духовником и, покуда ходили, все распоряжения сделал. Представь себе, я ничего не знала, а ведь у него очень хороший капитал был!

– Стало быть, он скрывал его от тебя?

– Нет, не то что скрывал, а я сама тогда не понимала. Прямо-то он не открывался мне, потому что я еще не готова была. Это он и перед смертью мне высказал.

– Стало быть, ты теперь обеспечена?

– Да, родной мой, благодаря святым его трудам. И вот как удивительно все на свете делается! Как я его, глупенькая, боялась – другой бы обиделся, а он даже не попомнил! Весь капитал прямо из рук в руки мне передал! Только и сказал: "Машенька! теперь я вижу по всем поступкам твоим, что ты в состоянии из моего капитала сделать полезное употребление!"

Машенька слегка заалелась и закрыла глазки платком.

– И ты совсем переселилась в Березники?

– Да, совсем; надо же было его волю исполнить.

– Разве он требовал этого?

– Да. Он прямо сказал, что в Березниках жить дешевле. Ну, и насчет помещения капитала здесь удобно. Земля нынче дешева, леса тоже. Если умненько за это дело взяться, большие деньги можно нажить.

Я вновь взглянул на нее, но на этот раз не столько с любовью, сколько с любопытством. Такая маленькая, худенькая, совсем-совсем куколка – и вдруг говорит: "большие деньги", "нажива"...

– Да отчего же Савва Силыч при жизни не скупал земель? ведь он мог бы заняться этим, конечно, с большим знанием, нежели ты?

– Ах, голубчик, в том-то и дело, что не мог! Ведь он из духовного звания происходил (и никогда он этого не стыдился, мой друг!), следственно, когда на службу поступал – разумеется, у него ничего не было!

И вдруг бы у него оказался капитал – откуда? как? что подумали бы! Ах, мой друг, не мало он страдал от этого!

– Напрасно, мне кажется, он затруднялся этими соображениями.

– Не говори, мой родной! люди так завистливы, ах, как завистливы! Ну, он это знал и потому хранил свой капитал в тайне, только пятью процентами в год пользовался. Да и то в Москву каждый раз ездил проценты получать. Бывало, как первое марта или первое сентября, так и едет в Москву с поздним поездом. Ну, а процентные бумаги – ты сам знаешь, велика ли польза от них?

– Покойно зато.

– Да, но имеем ли мы право искать спокойствия, друг мой? Я вот тоже, когда глупенькая была, об том только и думала, как бы без заботы прожить. А выходит, что я заблуждалась. Выходит, что мы, как христиане, должны беспрерывно печься о присных наших!

– Помилуй, душа моя! ведь христианство-то прямо указывает на птиц небесных!

– Это в древности было, голубчик! Тогда действительно было так, потому что в то время все было дешево. Вот и покойный Савва Силыч говаривал: "Древние христиане могли не жать и не сеять, а мы не можем". И батюшку, отца своего духовного, я не

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
раз спрашивала, не грех ли я делаю, что присовокупляю, - и он тоже сказал, что по нынешнему дорогому времени некоторые грехи в обратном смысле понимать надо!

- Если так, то понятное дело, что покойный Савва Силыч должен был тяготиться, получая на свой капитал только пять процентов.

- И как еще тяготился-то! Очень-очень скучал! Представь только себе: в то время вольную продажу вина вдруг открыли - всем ведь залоги понадобились! Давали под бумаги восемь и десять процентов, а по купонам получка - само по себе. Ты сочти: если б руки-то у него были развязаны - ведь это пятнадцать, а уж бедно-бедно тринадцать процентов на рубль он получал бы!

Высказав это, Машенька умилилась и сложила губки сердечком.

- А впрочем, он не роптал, - продолжала она, - он слишком христианин был, чтобы роптать! Однажды он только позволил себе пожаловаться на провидение - это когда откупа уничтожили, но и тут помолился богу, и все как рукой сняло.

- Что же мешало ему в отставку выйти, чтоб распорядиться с капиталом с большею выгодною?

- Ах, как это можно! В последнее время стали управляющих палатами из советников делать - ну, он и надеялся. А как он прозорлив был - так это удивительно! Всякое его слово, все, все так именно и сбылось, как он предсказывал!

- Например?

- Да вот хоть бы насчет земли. Сколько он раз, бывало, говаривал: "Машенька! паче чаянья, я умру - ты непременно земли покупай! Теперь, говорит, у помещиков выкупные свидетельства пока водятся, так земли еще в цене, а скоро будет, что все выкупные свидетельства проедят - тогда земли ничем покупать будет можно!" И все так именно, по его, и сбылось. Все нынче стали земли распродавать, и уж так дешево, так дешево, что просто задаром. Вот я и покупаю, коли где сходно. Леса покупаю, земли. Леса свожу, а землю мужичкам в кортому отдаю. Ведь им земля-то нужна, мой друг! ах, как она им нужна!

- И выгодно это?

- Так выгодно! так выгодно! Разумеется, и тут тоже надо с оглядкой поступать: какая земля? Коли земля близко к крестьянской околице лежит - ту непременно покупать следует, потому что она мужичкам нужна. Мужички за нее что хочешь дадут: боятся штрафов. Ну, а коли земля дальняя - за ту надо дешево давать, да и то если на ней молодой березник или осинничек растет. С еловым молодятником я совсем земли не покупаю, потому что туго очень эта ель растет, а вот березка да осинничек - самый это выгодный лес! И представь себе, как это хорошо: ведь с первого-то взгляда кажется, что земля это так, ничего не стоящая - ну, рублей по пяти за десятину и даешь. Смотришь, ан на ней, лет через двадцать, уж дрова порядочные будут - за ту же десятину, на худой конец, тридцать рублей дадут! Сообрази-ка теперь: ведь это в шесть раз капитал на капитал - в двадцать-то лет!

Опять умиление и опять губы сердечком. Это было до такой степени мило, что я не удержался, чтоб не спросить:

- Ну, а как насчет вечности, Машенька? не боишься... помнишь, как прежде?

- Нет, мой друг, я нынче совсем-совсем христианкой сделалась! Чего бояться вечности! надо только с верою приступать - и все легко будет! И покойный Савва Силыч говаривал: бояться вечности - только одно баловство!

- Кто же у тебя всеми этими делами орудует?

- И сама, и добрые люди советом не оставляют. Вот Анисимушко - он еще при покойном папеньке бурмистром был; ну, и Филофей Павлыч тоже.

- Какой такой Филофей Павлыч?

- Промптов. Покойного Саввы Силыча друг. Он здесь в земской управе председателем служит. Хотел вот и сегодня, по пути в город, заехать; познакомишься.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

Она проговорила эти слова как-то неровно; мне показалось, что даже немного сконфузилась при этом.

– Уж не жених ли? – пошутил я, – ведь в твои годы...

– Ах, нет! ах, нет! что ты! что ты! да что ж это дети, однако ж! – продолжала она, переменяя разговор, – ведь мы тебя не ожидали сегодня, по-домашнему были – ну, и разбрелись по углам!

– А много у тебя детей?

– Четверо, мой друг. Старшенькая-то у меня дочь, Нонночка, а прочие – мальчики. Феогност – старший, Коронат – средний, а Смарагдушка – меньшей. Савва Силыч любил звучные имена.

– И ты любишь детей?

– Ах, мой друг!

Она с укором посмотрела на меня, как будто я и невесть какую ересь высказал.

– Только скажу тебе откровенно, – продолжала она, – не во всех детях я одинаковое чувство к себе вижу. Нонночка – так, можно сказать, обожает меня; Феогност тоже очень нежен, Смарагдушка – ну, этот еще дитя, а вот за Короната я боюсь. Думается, что он будет непочтителен. То есть, не то чтобы я что-нибудь заметила, а так, по всему видно, что холоден к матери!

– Извини меня, Машенька, но, право, мне кажется что ты вздор говоришь! Ну, какие же ты могла заметить признаки непочтительности в семилетнем мальчике?

– Ах, не говори этого, друг мой! Материнское сердце далеко угадывает! Сейчас оно видит, что и как. Феогностушка подойдет – обнимет, поцелует, одним словом, все, как следует любящему дитяти, исполнит. Ну, а Коронат – нет. И то же сделает, да не так выйдет. Холоден он, ах, как холоден!

– Это бывает. Родители заберут себе случайно в голову, что ребенок неласков, да и твердят ему об этом. Ну, разумеется, он тоже смекает. Сначала только робеет, а потом и в самом деле становится холоден.

– Ах, нет, не я одна, и Савва Силыч за ним это замечал! И при этом упрям, ах, как он упрям! Ни за что никогда родителям удовольствия сделать не хочет! Представь себе, он однажды даже давиться вздумал!

– Что ты!

– Право! сдавил себе обеими руками шею... весь посинел!

В эту минуту дети гурьбой вбежали в гостиную. И все, точно не видали сегодня матери, устремились к ней здороваться. Первая, вприпрыжку, подбежала Нонночка и долго целовала Машу и в губки, и в глазки, и в подбородочек, и в обе ручки. Потом, тоже стремительно, упали в объятия мамы Феогностушка и Смарагдушка. Коронат, действительно, шел как-то мешкотно и разинул рот, по-видимому, заглядевшись на чужого человека.

– Ну, вот и молодцы мои! – рекомендовала мне Машенька детей, – не правда ли, хорошие дети?

Нонночка сделала книксен; прочие шаркнули ножкой.

– Прелестные! – поспешил согласиться я, целуя всех по очереди.

– Хорошие, послушные, заботливые дети и любят свою мамашу. Не правда ли... Коронат?

Коронат, надувшись, смотрел вниз и молчал.

– Что ж ты молчишь! Любишь мамашу?.. Анна Ивановна! верно, он опять сегодня

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
шалил!

Вопрос этот относился к молодой особе, которая вошла вслед за детьми и тоже подошла к Машенькиной ручке. Особа была крайне невзрачная, с широким, плоским лицом и притом кривая на один глаз.

– По обыкновению-с, – отвечала Анна Ивановна голосом, в котором звучала ирония; при этом единственный ее глаз блеснул даже ненавистью, которой, конечно, она не ощущала на деле, но которую, в качестве опытной гувернантки, считала долгом показывать, – очень достаточно-таки пошалил monsieur Koronat [господин Коронат (франц.)].

– Ну, что же делать! оставайся, мой друг, без пирожного! – тотчас же решила Машенька, – ах, пожалуйста, не куксись! Помнишь, что говорила я тебе об дурных поступках? помнишь?

Коронат молчал.

– Mais repondez donc! [Отвечайте же! (франц.)] – язвила Анна Ивановна,

– Отвечай же! помнишь? – приставала Машенька, но Коронат только пыхтел в ответ.

– Ну, вот видишь, какой ты безнравственный мальчик! ты даже этого утешения мамаше своей доставить не хочешь! Ну, скажи: ведь помнишь?

– Помню, – процедил сквозь зубы Коронат.

– Ну, повтори! повтори же, что я говорила! Вот при дяденьке повтори!

– "Дурные поступки сами в себе заключают свое осуждение", – произнес красный как рак Коронат, словно клещами вытянули из него эту фразу.

– Ну, видишь ли, друг мой! Вот ты себя дурно вел сегодня – следовательно, сам же себя и осудил. Не я тебя оставила без пирожного, а ты сам себя оставил. Вот и дяденька то же скажет! Не правда ли, cher cousin? [дорогой кузен? (франц.)]

– Ну, что касается до меня, то я полагаю, что если Коронат осудил себя сам, то он же не только может простить самого себя, но даже и даровать себе право на двойную порцию пирожного! – выразился я, стараясь, впрочем, придать моему ответу шуточный оттенок, дабы не потрептать родительского авторитета.

– Видишь, какой дяденька добрый! Ну, так и быть, для дяденьки ты получишь сегодня пирожное. Но ты должен дать ему обещание, что вперед будешь воздерживаться от дурных поступков. Обещаешься?

На Короната опять находит "норов", и он долгое время никак не соглашается "обещаться". Новое приставание: "Mais repondez donc, monsieur Koronat!" [Отвечайте же, господин Коронат! (франц.)] – со стороны Анны Ивановны, и "да скажи же, что обещаешься!" – со стороны Машеньки.

– Да господи! обещаюсь! – выпаливает наконец Коронат, который, по-видимому, готов лопнуть от натуги.

– Ну, теперь шаркни ножкой и поблагодари дяденьку!

Но я стремительно вскакиваю с дивана и, чтоб положить конец дальнейшим сценам, обнимаю Короната.

– Можете идти покуда в залу и побегать; а вы, chere [дорогая (франц.)] Анна Ивановна, потрудитесь сказать, чтоб подавали кушать. Ах, предупредной, презакоренелый у него характер! – обратилась она ко мне, указывая на удаляющегося Коронатушку и печально покачивая головкой, – очень, очень я за него опасаюсь!

– А я так нимало не опасаюсь. Вот скажи-ка мне лучше, где ты такое сокровище достала?

– Это ты про Анну Ивановну? Дешевенькая, голубчик. Всего двести рублей в год, а

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik между тем с музыкой. Ну, конечно, иногда на платье подаришь: дурна-дурна, а нарядиться любит. Впрочем, прекраснейшего поведения. Покорна, ласкова... никогда дурного слова!

– Ну, а я все-таки не взял бы ее в гувернантки!

– Нет, мой друг; Савва Силыч – он ее из воспитательного привез – очень правильно на этот счет рассуждал. Хорошенькая-то, говаривал он, сейчас рядиться начнет, а потом, пожалуй, и глазами играть будет. Смотришь на нее – ан враг-то и попутал!

– Вот как! стало быть, он не очень-то на себя надеялся!

– Нет, не то чтобы, а так... Вообще он не любил себя искушать. В семейном быту надо верную обстановку устраивать, покойную! Вот как он говорил.

Наконец пришли доложить, что подано кушать. Признаюсь, проголодавшись после трехдневного поста, я был очень рад настоящим образом пообедать. За столом было довольно шумно, и дети, по-видимому, не особенно стеснялись, кроме, впрочем, Короната, который сидел, надувшись, рядом с Анной Ивановной и во все время ни слова не вымолвил.

– Вот видишь, какой он злопамятный! – шепнула мне по этому поводу Машенька.

* * *

– И ты не скучаешь? – спросил я Машу, когда мы, после обеда, заняли прежние места в гостиной.

– Нет, мне скучать нельзя: у меня дети, мой друг. Да и некогда. Если б занятий не было, тогда другое дело... Вот я помню, когда я в девушках была, то всегда скучала!

– Будто бы?

– Да, потому что на уме всё глупости были. Ах, ты не можешь вообразить, какая я тогда была глупая и что я себе представляла!

– Например?

– Ну, вот хоть бы... нет, ни за что не скажу! Помнишь, тогда сочинение это вышло... "Les misérables" ["Отверженные" (франц.)], что ли... да нет, не скажу! Мне самой стыдно, как вспомнишь иногда...

Она слегка потупилась и вздохнула.

– Стало быть, это Савва Силыч выучил тебя не скучать?

– Да, все он; всему он меня научил. Он желал, чтоб я всегда была занята. Вообще он был добр, даже очень добр до меня, но насчет этого строг. Праздность не только порок, но и бедствие: она суетные мечтания порождает, а эти последние ввергают человека в духовную и материальную нищету – вот как он говорил.

– Чем же ты, при жизни его, занималась?

– Мало ли, друг мой, в доме занятий найдется? С той минуты, как утром с постели встанешь, и до той, когда вечером в постель ляжешь, – всё в занятиях. Всякому надо приготовить, за всем самой присмотреть. Конечно, все больше мелочи, но ведь ежели с мелочами справляться умеешь, тогда и большое дело не испугает тебя.

– Это тоже Савва Силыч говорил?

– Да, мой друг, он. А что?

– Ничего. Так спросилось. Хорошая мысль.

На эту тему мы беседовали довольно долго (впрочем, говорила все время почти одна она, я же, что называется, только реплику подавал), хотя и нельзя сказать, чтоб разговор этот был разнообразен или поучителен. Напротив, должно думать, что он

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
был достаточно пресен, потому что, под конец, я таки не удержался и зевнул.

– Ах, что же я? – всполошилась она, – и не подумала, что с дороги тебе отдохнуть хочется! А еще хозяйкой себя выставляю.

– Успокойся, душа моя, я не сплю после обеда. А вот что я думаю: не уехать ли мне? По-настоящему, я ведь мешаю тебе!

– Ах, что ты! чем же ты мне мешать можешь! Если б и были у меня занятия, то я для родного должна их оставить. Я родных почитаю, мой друг, потому что ежели мы родных почитать не станем, то что же такое будет! И Савва Сильч всегда мне внушал, что почтение к родным есть первый наш долг. Он и об тебе вспоминал и всегда с почтением!

– Ну, если я не мешаю тебе, то тем лучше.

– А я вот что, братец. Я велю вареньица подать, нам и веселее будет. А потом и чаю; ведь ты чай любишь?

– Что ж, это прекрасно. И вареньица, и чаю – не откажусь.

– Ах, как я рада! И как это хорошо, что ты откровенно мне высказал, что тебе нравится. А вот другие любят, чтоб хозяева сами угадывали – вот мука-то!

Она взяла меня за обе руки и так грустно-грустно взглянула мне в лицо, словно хотела сказать: "Сиротка ты, бедненький! надо же тебя приголубить и подкормить!"

Через несколько минут на столе стояло пять сортов варенья и еще смоквы какие-то, тоже домашнего изделия, очень вкусные. И что всего удивительнее, нам действительно как-то веселее стало или, как выражаются крестьяне, поваднее. Я откинулся в угол на спинку дивана, ел варенье и смотрел на Машу. При огнях она казалась еще моложавее.

– Машенька! – невольно вырвалось у меня.

– Ах, ты кончил? Вот покушай еще; дай я тебе положу... морошки или крыжовнику?

– Нет, я не о том. Я все хочу тебе сказать: какая ты еще молодая! Совсем-совсем ты не изменилась с тех пор, как мы расстались!

– Это по наружности только, а внутри..

– Что такое "внутри"! Ты напускаешь на себя – и больше ничего! Право, ты так еще мила, что не грех и приволокнуться за тобой, и я уверен, что этот Филофей Павлыч...

– Ах, нет! что ты! что ты!

– Нет, признайся! Наверное, этот вертопрах...

– Во-первых, он совсем не вертопрах, а во-вторых, оставим это... Знаешь, ведь я об чем-то хотела с тобой поговорить!

– Об чем же?

– Скажи, правда ли, что ты с Чемезовом кончить хочешь ?

– Правда.

– Вот как! А я все думала, что ты у меня в соседстве поселишься. Ах, как бы это было хорошо!

– Хорошо-то хорошо, да нельзя этого, голубушка. Ты знаешь, занятия, обстоятельства...

– Что такое "обстоятельства"! Не обстоятельства должны управлять человеком, а человек обстоятельствами!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Это тоже Савва Силыч говорил?

– Да, и он.

– А Филофей Павлыч, быть может, подтверждал?

– Ах, ты опять об этом! Вот ты так не изменился! Все шутишь! А ведь я серьезный разговор хотела с тобою вести!

– Ну, будем вести серьезный разговор.

Лицо ее, действительно, приняло озабоченное выражение; бровки сдвинулись больше обыкновенного.

– Скажи, пожалуйста, на чем же ты хочешь кончить? покупатели есть? – таинственно спросила она, причем даже по сторонам огляделась, как бы желая удостовериться, не подслушивает ли кто.

– Были покупатели. Дерунов охотился, Бородавкина Заяц привозил смотреть.

– И что ж?

– Мне хотелось бы с крестьянами сделаться.

– Ах, нет! ах, пожалуйста! прошу тебя: не имей ты дела с крестьянами!

– Что так?

– Ах, это такие неблагодарные! такие неблагодарные!

– Да мне-то какое дело до того, благодарны они или неблагодарны! Я продавец, они покупатели.

– Помилуй! как это можно! они такие неблагодарные! такие неблагодарные! Представь себе, в то время... ну, вот как уставные грамоты составляли... ведь мои-то к губернатору на Савву Силыча жаловаться ходили! Так он был тогда огорчен этим! так огорчен!

– А!

– И представь себе, какую клевету на него взвели: будто он у них Гулино отнял! у них! Гулино! знаешь: это как к селу-то подъезжаешь, у самой почти что околицы – тут у меня еще прехорошенькая сосновая рощица нынче пошла!

– Что ж? разобрали дело?

– Ну, конечно, им отказали, потому что Савва Силыч как дважды два доказал... Зато теперь они и каются: ведь им, друг мой, без Гулина-то курицы некуда выпустить!

– Как "зато"! Да ведь если б они и не жаловались, Гулино-то все-таки не осталось бы за ними!

– Ах, какой ты! Я тебе говорю: вот какие они неблагодарные, что даже на Савву Силыча жаловались! Да, мой друг! Столько мы беспокойств, столько, можно сказать, неприятностей через них имели, что Савва Силыч даже на одре смерти меня предостерег: "Прошу тебя, говорит, Машенька, никогда ты не имей дело с этими неблагодарными, а действуй по закону!"

– Однако ты, несмотря на это, имеешь-таки с ними дела! вот земли в кортому отдаешь...

– Это совсем другое дело; тут уж я по закону. Да ведь и по-христиански, мой друг, тоже судить надо. Им ведь земля-то нужна, ах, как нужна! Ну, стало быть, я по-христиански...

Она на минуту смолкла, потихоньку вздохнула и даже как бы закручинилась ("миленькая!" мелькнуло у меня в голове).

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Ты не поверишь, как они бедны! ах, как бедны! – продолжала она таким голосом, как будто ей вот-вот сейчас душу на части начнут рвать. – И представь себе, бедны, а в кабаке у меня всегда толпа!

– Ты и кабак устроила?

– Да, тут у нас строеньице ненужное осталось, так Анисимушко присоветовал. Ведь это выгодно, родной мой!

– Да?

– Очень, очень даже выгодно. Но представь себе: именно все, как говорил покойный Савва Силыч, все так, по его, и сбывается. Еще в то время, как в первый раз вино волю сказали, – уж и тогда он высказался: "Курить вино – нет моего совета, а кабаки держать – можно хорошую пользу получить!"

– Машенька! ты милая! – невольно вскрикнул я и – каюсь – не удержался-таки, поцеловал ее в щечку.

– Что ты! дети... ах, какой ты! – застыдилась она.

– Ну, хорошо, хорошо! не стану! Так что же ты мне насчет Чемезова-то сказать хотела?

Она на мгновение задумалась, потом вдруг все лицо ее словно озарилось.

– Знаешь ли что! – вскрикнула она почти восторженно, – Лукьяныч обманывает тебя!

– Что ты! Христос с тобой! Старику семьдесят лет!

– Говорю тебе, обманывает! это так верно, так верно...

– Ну, оставим это! пускай себе обманывает, а мы возьмем да перехитрим его. Что же ты мне еще скажешь?

– А вот что, мой друг. Признаюсь, я очень, даже очень в твое дело вникала. И могу сказать одно: жаль, что ты "кусточки" в то время крестьянам отдал! И Савва Силыч говорил: "Испортил братец все свое имение".

– Помилуй! да ведь "кусточки" как раз около Чемезова; крестьянам и обойтись без них невозможно! Да и всегда, и при крепостном праве, "кусточками" крестьяне владели!

– В том-то и дело, друг мой, что крестьянам эта земля нужна – в этом-то и выгода твоя! А владели ли они или не владели – это всегда обделать было можно: Савва Силыч с удовольствием бы для родного похлопотал. Не отдай ты эти "кусточки" – ведь цены бы теперь твоему имению не было!

– Да что ж об "кусточках" говорить, коли они уж отданы! А без "кусточков" как велика, по-твоему, цена за всю землю?

– А сколько Осип Иванов (Дерунов) тебе давал?

– Пять тысяч.

– Как тебе сказать, мой друг! Я бы на твоём месте продала. Конечно, кабы здесь жить... хорошенькие в твоём именье местечки есть... Вот хоть бы Филиппцево... хорош, очень хорош лесок!.. Признаться сказать, и я иногда подумывала твое Чемезово купить – все-таки ты мне родной! – ну, а пяти тысяч не дала бы! Пять тысяч – большие деньги! Ах, какие это большие деньги, мой друг! Вот кабы "кусточки"...

– Дались тебе "кусточки"! Каких-нибудь двадцать десятин!

– Двадцать десятин, а за двести ответят! Это и Анисимушко скажет тебе. Вот почему я и думаю: обманывает тебя Лукьяныч! Ну, так обманывает! так обманывает!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Да полно же, ради Христа!

– Нет, мой друг, это дело надо разыскать. Если б он верный слуга тебе был, согласился ли бы он допустить, чтоб ты такое невыгодное условие для себя сделал? Вот Анисимушко – тот прямо Савве Силычу сказал: "Держитесь Гулина, ни за что крестьянам его не отрезывайте!" Ну, Савва Силыч и послушался.

– Слушай! да ведь я сам уставную-то грамоту и составил и подписал!

– Все-таки. Кабы Лукьяныч настоящий христианин был – все бы ему следовало тебя предостеречь!

– Машенька! клянусь, ты милая!

– Ну, видишь ли! я ведь знала, что с тобой серьезно нельзя говорить. Всегда ты был такой; всегда в тебе эта неосновательность была. С тобой серьезно говорят, а у тебя всё мысли какие-то. И Савва Силыч это замечал; а он очень тебя любил.

– За что ж он меня любил?

– Он всех родных вообще почитал. Он всегда... он такой... Ну вот, ты и опять этими воспоминаниями расстроил меня, друг мой!

Действительно, ее глазки блеснули, и две маленькие слезки скатились на ее щеки. Воспоминание ли о Савве Силыче на нее подействовало, или просто взгрустнулось... так – во всяком случае, это было так мило, что я невольно подумал: а ведь этот Филофей дурак будет, если Машеньку к себе не приурочит.

Такие женщины в деревенской тиши настоящий клад. И нежна, и "кусточков" не проглядит, и приголубить может, и весь дом обегает, за всем сама присмотрит, все прикажет. Блаженству! Хорошо этакую "куколку" по головке погладить и потом сказать ей: "А что, Машенька, кабы теперь вареньица!" Хорошо целовать эти глазки и читать в них, как они думают: что бы еще велеть с погреба принести! Да и не надоедлива ведь она: прибежит, сядет к тебе на колени, вспомнит, что нужно насчет белья распорядиться, – вскочит и убежит; потом опять прибежит, на колени сядет – и опять вспомнит, что Смарагдушке нужно пупочек бобковой мазью потереть... Вот настоящее *utile dulce* [(сочетание) приятного с полезным (лат.)]; вот единственное условие, при котором никакое деревенское захолустье опостылет не может! Но, может быть, опостылеет жизнь вообще?..

Нет, едва ли и это. По крайней мере, Филофей, наверное, совсем не так думает. Не знаю, почему мне вспал на ум этот Филофей, но я убежден, что он тут что-нибудь маклерит. Недаром два раза Машенька покраснела при его имени. Конечно, он такой же крупный и вальяжный, как и Савва Силыч, и из такого же ноздреватого известкового камня вырублен. Маленькие женщины сначала боятся таких идолов, а потом льнут к ним: защиту себе видят. Муж нервный, худощавый, болезненный не защитит. А вот как целая глыба под руками, стоит только присесть сзади, никто и не увидит. Таков первоначальный повод для привязанности, а потом, разумеется, и другие найдутся. А Машенька уж обтерпелась за Саввой Силычем, и Филофей это знает. Может быть, он и тогда, при жизни мужа, уж думал: "Мерзавец этот Савка! какую штучку поддел! вон как она ходит! ишь! ишь! так по струнке и семенит ножками!" И кто же знает, может быть, он этому Савке, другу своему, даже подсыпал чего-нибудь, чтоб поскорей завладеть этою маленькою женщиной, которая так охотно пойдет за тем, кто первый возьмет ее за ручку, и потом всю жизнь будет семенить ножками по струнке супружества!

Но это была уже уголовщина, и я поспешил опомниться. Машенька правду сказала: нельзя со мной серьезно говорить! Сейчас я на окольную дорогу сверну и начну совсем о другом. И с какой стати я к этому Филофею привязался! Может быть, это просто семинарист какой-нибудь – и сам семинарист, и, кроме того, еще друг покойного семинариста, – который, по старой сквальжнической привычке, заезжает в Березники, на перепутье из деревни в земскую управу, потому только, что у Машеньки сладенько поесть можно! Приедет, наестся, выпится, наговорит изречений из старых прописей – и отправится дальше...

Покуда я так размышлял, доложили, что пришел Анисимушко.

Анисимушко – старик древний, лет под восемьдесят, но еще бодрый на вид, хотя и

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik ходит с палкою. Осанку он имеет важную, лицо почтенное, выражающее, что он себе цену понимает. Садится, не дожидаясь позволения, и говорит барыне "ты". Вообще, это одна из тех личностей, без совета с которыми, при крепостном праве, помещики шагу не делали, которых называли "министрами" и которые пользовались привилегией "говорить правду", но не забываются, подобно тем своим знатым современникам, которые, в более высокой сфере, имели привилегию

Истину царям с улыбкой говорить...

Анисимушко вошел степенно, важно; не торопясь помолится в восточный угол, где висел образ, потом поклонился мне и барыне и сел.

– Вот и Анисимушко, рекомендую! – произнесла Машенька, – мой советчик, руководитель и, можно сказать даже, друг. Надеюсь, что ты позволишь нам поговорить?

– Ах, сделай одолжение!

– Ну, что, Анисимушко, скажешь?

– Клинцы, сударыня, продают.

– Это где?

– Рядом с Ульяновцем. Пустошонка десятин с сорок, побольше, будет.

– А земля какова?

– Земля не то чтобы... Покосишко есть... не слишком то же... леску тоже молоденького десятички с две найдется... земля не очень... Только больно уж близко к Ульяновцу подошла!

– Дорого просят?

– Дорого. Восемьсот; по двадцати рублей за десятину на круг.

– Ой! что ты!

Машенька даже испугалась громадности цифры.

– А купить все-таки надо будет, – солидно продолжал Анисимушко.

– Ни за что! Разориться мне, что ли, прикажешь!

И она растерянно взглянула на меня. Наверное, она вспомнила недавние свои инсинуации насчет Лукьяныча и хотела угадать, не думаю ли я того же самого об ее Анисимушке.

– До разоренья еще далеко, – иронически возражал Анисимушко, – ты сначала выслушай!

– Помилуй, Анисимушко!

– Слушай-ко. Первое дело – ульянцевские сейчас за нее тысячу дают. Сегодня ты восемьсот дашь, а завтра тысячу получишь.

– Так отчего ж они не покупают! Тысячу-то тысячу, да, может быть, в рассрочку?

– И не в рассрочку, а деньги на стол. Да, вишь, барин негодование на них имеет, судились они с ним за эту самую землю – он ее у них и оттягал. Вот теперь он и говорит: "Мне эта земля не нужна, только я хоть задаром ее первому встречному отдам, а вам, распостылые, не продам!"

– Ах, боже мой! да если ты говоришь, что эта земля так им нужна, зачем же ее продавать! Можно и так с пользой отдавать им же в кортому!

– Ему это не рука, барину-то, потому он на теплые воды спешит. А для нас, ежели купить ее, – хорошо будет. К тому я и веду, что продавать не надобно – и так по

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
четыре рубля в год за десятину на круг дадут. Земля-то клином в ихнюю угоду
врезалась, им выйти-то и некуда. Беспременно по четыре рубля дадут, ежели не
побольше.

Машенька задумалась и перебирала пальчиками, словно рассчитывала.

– Так ты думаешь, купить? – робко спросила она.

– Послушай ты моего мужицкого разума! не упущай ты этого случая!

– Денег-то очень уж много, Анисимушко!

– Мало ли денег! Да ведь и я не с ветру говорю, а настоящее дело докладываю. Коли много денег кажется, поторговаться можно. Уступит и за семьсот. А и не уступит, все-таки упускать не след. Деньги-то, которые ты тут отдашь, словно в ламбарте будут. Еще лучше, потому что в Москву за процентами ездить не нужно, сами придут.

– А ежели мужички не будут землю кортомить?

– Христос с тобой! куда ж они от нас уйдут! Ведь это не то что от прихоти: земля, дескать, хороша! а от нужды от кровной: и нехороша земля, да надо ее взять! Верное это слово я тебе говорю: по четыре на круг дадут. И цена не то чтобы с прижимкой, а самая настоящая, христианская...

– Да уж, Анисимушко! надо по-христиански! и их тоже пожалеть нужно!

– Известное дело, и их пожалеть, про что ж я и говорю. Дело хоть обоюдное, вольное, а все же по-христиански нужно. Потому, бог – он все видит. Ты думаешь, бог-от далеко, а он вон он! По-христиански – как возможно! не в пример лучше! И мужичкам хорошо, и тебе покой! Так-то. Ты тужишь, что у тебя рублик-другой промеж пальцев будто ушел, а бог-от тебя в другом месте благословит! А совесть-то и завсе у тебя спокойна. И уснул ты сладко, и встал поутру, никакого покору за собой не знаешь! Так ли я, сударыня, говорю?

– Так, Анисимушко! Я знаю, что ты у меня добрый! Только я вот что еще сказать хотела: может быть, мужички и совсем Клины за себя купить пожелают – как тогда?

– Что ж, сударыня, с богом! отчего же и им, по-христиански, удовольствия не сделать! Тысячу-то теперь уж дают, а через год – и полторы давать будут, коли-ежели степенно перед ними держать себя будем!

Опять минута задумчивости; глазки грустные-грустные; подбородочек вздрагивает.

– Так уж я куплю, Анисимушко, – вздохнув, решает Машенька.

– Купи, матушка! Ты моего мужицкого ума слушайся! Потоль и служу, поколь жив.

– А уж я-то как благодарна тебе, Анисимушко! так благодарна! так благодарна! Дети! Феогност! Нонночка! велите Анисимушку чаем напоить! С богом, Анисимушко!

В эту минуту у крыльца послышался звон колокольчика, и дети в зале всполошились.

– Дядя приехал! Дяденька! – кричали они.

* * *

Я не обманулся: это была действительно глыба. И притом глыба, покушавшаяся быть любезною и отчасти даже грациозною. Вошел он в гостиную как-то боком, приятно переплетая ногами, вынул из ушей канат, спрятал его в жилетный карман и подошел Машеньке к ручке.

– А вот и братец приехал! – рекомендовала меня Машенька, складывая губки сердечком.

– Приятно-с. Служить изволите?

– Нет, не служу, а так.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Вот даже сейчас видно, что вы Марье Петровне родственником доводитеесь! Оне тоже очень часто это слово "так" в разговоре употребляют.

Он улыбнулся и не без вожделения скосил глазами в сторону Машеньки, причем меланхолически склонил голову набок, так что я заметил под левою его скулой большой кружок английского пластыря, прикрывавший, очевидно, фистулу.

Однако замечание его смутило-таки меня. В самом деле, зачем я сказал это "так"? Что такое "так"? Что хотел я этим выразить? Вот Машенька – она действительно "так"; я и сам это давеча заметил. И для нее это нимало не предосудительно; ей это даже прелесть придает, потому что она женщина и притом вдова. Впрочем, и она, я подозреваю, больше ради прелести употребляет это слово, потому что филофею оно нравится. А я-то зачем? Зачем я сказал: "так"? И может быть, я только не замечаю за собою, а на деле и частенько-таки этим словом щеголяю?

– Из Петербурга приехать изволили? – любезничал со мной Промптов.

– Из Петербурга.

– Большой город. Париж, говорят, обширнее; ну, да ведь то уж Вавилон. Вот мы так и своим уездным городом довольны. Везде можно пользу приносить-с. И океан, и малая капля вод – кажется, разница, а как размыслишь, то и там, и тут – везде одно и то же солнце светит. Так ли я говорю-с?

– Да, философы утверждают...

– Скажу хоша про себя: на нынешнее трехлетие званием председателя управы меня почтили. Дело оно, конечно, небольшое, а все же пользишку принести можно. Кто желает, и в таком деле пищу для труда найдет. А труд, я вам доложу, великая вещь: скуку он разгоняет. Вот и Марья Петровна трудятся – и им не скучно.

– Не скучно, а так... – как-то лениво промолвила Машенька, и на сей раз я положительно утверждаю, что она сказала это слово неспроста, а с желанием пококетничать с филофеем.

– Вот видите: и сейчас оне это слово "так" сказали, – хихикнул он, словно у него брюшко пощекотали, – что же-с! в даме это даже очень приятно, потому дама редко когда в определенном круге мыслей находится. Дама – женщина-с, и им это простительно, и даже в них это нравится-с. Даме мужчина защиту и вспомоществование оказывать должен, а дама с своей стороны... хоть бы по части общества: гостей занять, удовольствие доставить, потанцевать, спеть, время приятно провести – вот ихнее дело.

Он опять меланхолически скосил глаза в сторону Машеньки и опять показал мне свою фистулу. "Знает ли она, что у него под скулой фистула?" – невольно спросил я себя и тут же, внимательно обсудив все обстоятельства дела, решил, что не только знает, но что даже, быть может, и пластырь-то на фистулу она сама, собственными ручками, налепляет.

– Следовательно, вам не скучно? – обратился я к нему.

– Докладываю вам: тружусь-с. Кабы не трудился, может быть, и скучал бы. Может быть, вино бы пить стал; может быть, в разврат бы впал...

– Ах, что вы, филофей Павлыч! – испугалась Машенька.

– Не извольте, сударыня, беспокоиться: со мной этого случиться не может. Я себя очень довольно понимаю. Рюмка перед обедом, рюмка перед ужином – для желудка сварения-с... Я вот и табак прежде, от скуки, нюхал, – обратился он ко мне, – да, вижу, доброй соседушке не нравится (Машенька заалелась) – и оставил-с!

– И вы постоянно здесь живете?

– Оседлость имею – ну, и живу. Слава богу, послужил. Был в Т. советником губернского правления; теперь государя моего действительный статский советник в отставке – чего нужно! Не растратил, а, по милости божией, приобрел-с. На собственные, на трудовые денежки – наследственного-то мне родители не завещали!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– купил здесь, поблизости, именье, да и катаюсь взад да вперед: из имения в город, из города в именье. Вот к Марье Петровне на перепутье заезжаю. Чайком напоит, вареньицем полакомит, а иногда, грешным делом, и отдохнуть разрешит.

Он встал и опять, переплетая ногами, подошел Машеньке к ручке.

– Сегодня-то вы у нас ночуете? – спросила она.

– Всенепременно-с, ежели такая ваша милость будет. Я, сударыня, вчера утром фонтанель на обеих руках открыл, так боюсь: дорогой-то в шубе сидишь, как бы не разбередить.

– Давно уж я вам про эту фонтанель советовала... что ж, и удачно?

– Нельзя лучше-с. Сегодня утром рассматривал: материя идет – отличнейшая-с. И даже сейчас уж лучше на оба уха слышу!

– Ну, и слава богу!

Новое переплетанье ногами и новое чмокание Машенькиной ручки.

– Так мы здесь и живем! – сказал он, усаживаясь, – помаленьку да полегоньку, тихо да смирно, войн не объявляем, тяжб и ссор опасаемся. Живем да поживаем. В умствования не пускаемся, идей не распространяем – так-то-с! Наше дело – пользу приносить. Потому, мы – земство. Великое это, сударь, слово, хоть и неказисто на взгляд. Вот, в прошлом году, на перервинском тракте мосток через Перерву выстроили, а в будущем году, с божьей помощью, и через Воплю мост соорудим...

– Ах, да, пожалуйста, устройте! Я намеднись чуть не провалилась! – пожаловалась Машенька.

– Ах, грех какой! А вы, сударыня, осторожнее! Вот изволите, сударь, видеть! всем до нас дело! Марье Петровне мосток построить, другому – трактец починить, третьему – переправочку через ручей устроить! Ан дела-то и многонько наберется. А вы, осмелюсь спросить, писательством, кажется, заниматься изволите?

– Да, пишу.

– И это полезно, ежели в учительном духе... Мы здесь, признаться, только "Московские ведомости" выписываем, так настоящую-то литературу мало знаем.

– Братец, кажется, больше по сатирической части, – вмешалась Машенька.

– Что ж, и сатира не без пользы, коли в пределах. *ridendo castigat mores* [Смех исправляет нравы(лат.)] – так, кажется? Дело писателей – изображать, а дело правительства – их воздерживать. И в древности сатирики были: Ювенал, Персий, Кантемир. Даже Цицерон, временами, к сатире склонность выказывал, а Кантемира так сам блаженной памяти государь Петр Алексеич из Молдавии вывезти изволил. Современникам, конечно, не всегда приятны ихние стрелы были, а теперь, по прошествии времени, даже в средних учебных заведениях читать не возбраняется.

– А дорого, братец, за эти сатиры дают?

– Не знаю, как тебе сказать, голубушка, не считал.

– Писатели, сударыня, подробностей этих никогда не открывают. Хотя же и не отказываются от приличного за труды вознаграждения, однако все-таки желательнее для них, чтобы другие думали, якобы они бескорыстно произведениями своего вдохновения досуги человечества услаждают. Так, сударь?

– Ну, не совсем так, но, во всяком случае, ничего определительного на вопрос Машеньки ответить не могу. Вознаграждение за литературный труд так изменчиво, что точно определить его норму почти невозможно.

– А знаете ли, братец, ведь и у нас здесь прошлым летом чуть-чуть сатирик не проявился?

– Как же-с! молодой человек один, никола-воплинского иерея сынок. Кончил курс в

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik семинарии, да вместо того чтоб невесту искать, начал здешний уезд в сатирическом смысле описывать. Однако мы сейчас же его сократили.

– Как так?

– В настоящее время он в дальние губернии, по распоряжению, выслан-с.

– Помилуйте! за что же!

– Возмущение от него большое выходило. Чуть что – сейчас опишет и начнет, это, распространять. Все мы, сударь, человеки и человеческим слабостям причастны, а он выше всех себя мнил. Вот мы его однажды подкараулили да к господину становому, вместе с писаниями, и представили.

– Однако трудненько-таки у вас сатирику жить!

– Жить у нас, сударь, всякому можно. И даже сатирами заниматься никто не препятствует. Вот только касаться – этого, действительно, нельзя.

Разговор принимал такой любопытный оборот, что я счел долгом своим поближе взглядеться в эту известковую глыбу. Слова Промптова пахнули на меня чем-то знакомым, хотя и недосказанным; они напомнили мне о какой-то жгучей задаче, которую я постоянно стирался обойти, но от разрешения которой – я это смутно чувствовал – мне ни под каким видом не избавиться. "Будь сатириком, но не касайся" – да ведь это оно, это то самое решение, которого никто до сих пор ясно не формулировал, но которое, несомненно, у всех на уме. В особенности в Петербурге на этот счет существует какое-то малодушное двоегласие. Язык говорит: "Кто же запрещает! обличайте! преследуйте! карайте!" – а в глазах в это время бегают огоньки. Ясно, что в результате такого двоегласия должно быть постоянное сатирическое беспокойство. Общечеловеческая слабость нашептывает сатирику: "Мужайся! верь словам! огоньки, – это "так"!" А опыт и подозрительность предостерегают: "Помни об огоньках, а слова – это "так"!"

И вот простой рыбарь, какой-то безвестный филофей, взял на себя труд разрешить задачу ясно, просто и, главное, спокойно и без огоньков. "Будь сатириком, но не касайся!" – да, это оно, оно самое! Но вот вопрос: способен ли филофей преподавать надлежащие к выполнению своего афоризма наставления? Гм... конечно, с его точки зрения, он способен. Не он ли сейчас сказал: "Подкараулили да к господину становому, вместе с писаниями, и представили"? Вот вам и исполнение. Только разрешает ли оно самую задачу? Создаст ли оно такого сатирика, который и сатиры будет писать, и в то же время "касаться" не станет? В этом-то я и позволю себе усомниться. Да и в Петербурге, по-видимому, тоже сомневаются, а вследствие этого и допускают "огоньки" в виде пальятивной меры. Пусть, мол, до времени огоньки служат предостережением, а вот ежели... Что "ежели"?

Под влиянием этих мыслей я еще пристальнее взглянул на высившуюся передо мною известковую глыбу: не скажет ли она еще что-нибудь, не разъяснит ли? Но, увы! глыба так заурядно, почти бессмысленно покачивалась, вместе с креслом, в котором она сидела, и при этом так масляно косила глазами по направлению к Машеньке, что мне сделалось ясно, что она ничего не сознавала. Афоризм вырвался у нее из глотки "так", без понимания, и даже без малейшей претензий на дальнейшее развитие. Он представлял собою одну из тех "благонамеренных речей", которыми так изобилует среда рыбарей. Так что я, который намеревался просить разъяснений по этому поводу и даже не прочь был вступить в спор, я сразу же убедился, что самое лучшее в этом случае – это последовать мудрому правилу: не тронь навоза – не воняет.

– А знаете ли что, филофей Павлыч, – догадалась между тем Машенька, – ведь Коронат-то у нас, пожалуй, сатириком будет?

– Разве расположение выказывает?

– Нет, вообще... Безнравственность в нем какая-то... из всех детей он какой-то... Вон и братец давеча видел...

– А вы бы, сударыня, березовой кашицей почаще... И я знавал эти примеры: в детстве не остепеняли, а со временем, от этой самой родительской слабости, люди злодеями делались.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Ах, и я этого боюсь! боюсь я за него!

– Самое главное, сударыня, в этом разе – все силы-меры употреблять, чтоб из ребенка человек вышел. Чтобы к семейству привязанность имел, собственность чтобы уважал, отечество любил бы. Лоза, конечно, прямо этому не научит, но споспешествовать может.

– Да ведь и я тоже... вот и братец... Ах, кстати! ведь братец с Чемезовом-то кончать хочет!

– Что так-с! – огорчился Филофей, – а мы было думали, что вы здесь оснуетесь! С сестрицей бы, по соседству, видались! очень бы приятно!

– Неудобно мне.

– Очень, очень было бы приятно. А между тем и имение... хорошенькое у вас, сударь, именице! Полезные местечки есть! Вот кабы вы "кусточков" мужичкам не отдали – и еще бы лучше было!

– И я ему то же говорила...

– Да-с, близок локоть, да не укусишь. Это бы уж Лукьянычево дело вас предостеречь. Он обязан был разъяснить вам, что "кусточки" – это, так сказать, узел-с...

– Слушайте! да как же я мог не отдать "кусточков"? Ведь чемезовским крестьянам без этой земли просто жить нельзя!

– А они бы у вас кортомили ее. Вы бы христианскую цену назначили, а они бы пользовались. И им бы без обиды, и вам бы хорошая польза была.

– Да ведь они имели право на "кусточки"! "Право" – ясно ли это, наконец! Вы сами сейчас говорили, что собственность уважать надо, а по разъяснениям-то выходит, что уважать надо не собственность, а прижимку!

Высказав это, я сейчас же догадался, что очень опрометчиво поступил, употребив слово "прижимка". Это было и слишком резко, и в то же время слишком мягко. Резко потому, что обличало во мне человека, с которым "попросту" (мы с ним "по-родственному", а он – и т.д.) объясняться нельзя; мягко потому, что Филофей, конечно, отлично понимает, что на уме-то у меня совсем другое слово было, да только не сказалося оно. Тем не менее слово произвело свой эффект: Машенька вдруг съехала, Филофей отвратительно перекошил рот. Минуты на две разговор совершенно упал.

– А какая сегодня погода отличнейшая! – первый прервал молчание Промптов, – мягкость какая, тишина-с!

– Да, давеча, как молотили, я выходила – очень было хорошо! – отозвалась Машенька.

– Для меня, как путешественника, в особенности такая погода приятна, – с своей стороны присовокупил и я.

– Да вот и в прошлом году погода... – начала было Машенька, но не кончила, слегка зевнула и потянулась.

Молчание.

– А сколько бы вы за чемезовскую землю получить желали? – вдруг обратился ко мне Промптов, словно бы его озарила новая мысль.

– Я ведь с крестьянами в соглашение войти желаю.

– Так-с. С крестьянами – на что лучше! Они – настоящие здешние обыватели, коренники-с. Им от земли и уйти некуда. Платежи вот с них... не очень-то, сударь, они надежны! А коли-ежели по христианству – это что и говорить! С богом, сударь! с богом-с! Впрочем, ежели бы почему-нибудь у вас не состоялось с

годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
крестьянами, просим иметь в виду-с.

Он боком повернул голову в мою сторону и любезно искривил рот в улыбку.

– Ах, что вы! – вступилась Машенька, – братцу ведь Осип Иваныч пять тысяч давал!

– Слышали и об этом-с. Впрочем, это в прошлом году Осип Иваныч такую цену давал, а нынче вряд ли. Пять тысяч – много денег-с!

– А по-вашему какая же будет цена?

– По-моему, три с половинкой, много четыре. Нет спору, есть в вашей даче местечки полезные, да покупатель ведь надвое рассчитывает: будут прибыли – мои; а убытки будут – тоже мои,

– Поэтому-то я и думаю, что с крестьянами все-таки прямее дело вести. Если и будет оттяжка в деньгах, все-таки я не более того потеряю, сколько потерял бы, уступив землю за четыре и даже за пять тысяч. А хозяева у земли между тем будут настоящие, те, которым она нужна, которые не перепродадут ее на спекуляцию, потому что, как вы сами сейчас же высказались, им и уйти от земли некуда.

– Что говорить! с крестьянами кончить – святое это дело!

Машенька опять зевнула и потянулась; било девять часов.

– Ну-с, а теперь пора тебе, Машенька, и покой дать! – сказал я, вставая и отыскивая шапку. Машенька как бы встревожилась.

– Братец! куда же? а ночевать? Я ведь надеялась, что и вечерок вместе приятно проведем! – молвила она, выражая глазками знакомую мне грусть ни об чем.

Но я уклонился и даже настоял, чтоб она не провожала меня в переднюю, что она и исполнила, слегка, разумеется, покобенившись. Одеваясь, я слышал, как она произнесла в зале:

– А Анисимушко сегодня Клинцы для меня приторговал!

* * *

Возвратившись в Чемезово, я сообщил Лукьянычу, что Промптов мне за землю четыре тысячи надавал. Он даже лопатками передернул, словно спина у него зачесалась от этого известия.

– Пронтов-то этот, – сказал он, – и с Марьей Петровной, прошлым летом, все по грибы в Филиппцево да в Ковалиху ездили. Раз с пяток были.

– Ну?

– То-то. Чудно мне это тогда показалось. Чтой-то, думаю, наши грибы им полюбились! Своих роцей девать некуда, а они всё к нам да к нам. А они вон что!

– Да, похоже на то, что присматривались.

– Так вот что, сударь. Сегодня перед вечером я к мужичкам на сходку ходил. Порешили: как-никак, а кончить надо. Стало быть, завтра чем свет опять сходку – и совсем уж с ними порешить. Сразу чтобы. А то у нас, через этого самого Пронтова, и конца-краю разговорам не будет.

НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЙ КОРОНАТ

Прошло лет шесть после того, как я в последний раз посетил родное Чемезово, и я совершенно утерял из вида Машеньку. Два раза, впрочем, она сама напоминала мне о себе. В первый раз уведомила о своем вступлении во вторичный законный брак с Филофеем Павлычем Промптовым, тем самым, которому она, еще будучи вдовою после первого мужа, приготавливала фонтанели на руки и налепляла пластырь на фистулу под левую скулой. Во второй раз писала об отъезде в Петербург двоих старших сыновей: Феогноста и Короната, для поступления в казенные заведения, и просила меня принять их в свое "родственное расположение". "Поручаю тебе, мой родной, –

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik писала она, – моих двоих молодцов, коих и прошу принять в свое родственное расположение; я же, с своей стороны, им лично внушала, чтобы они как добронравным поведением, так и прилежанием, всемерно старались оное заслужить. Как мать и христианка, я так рассудила, чтобы каждый из них тот путь избрал, который всего вернее к счастью ведет. И так как Феогностушка – мальчик характера откровенного, то я и заключила из сего, что он ближе всего найдет свое счастье в кавалерии; Коронатушку же, как мальчика скрытного и осмотрительного, заблагорассудила пустить по юридической части. Что же касается до Смарагдушки, то пускай он, по молодости лет, еще дома понежится, а впоследствии, ежели богу будет угодно, думаю пустить его по морской части, ибо он и теперь мастерски плавает и, сверх того, имеет большую склонность к открытиям: на днях в таком месте белый гриб нашел, в каком никто ничего путного не находил" и т.п.

И действительно, вслед за вторым письмом явились ко мне Феогност и Коронат, шаркнули ножкой, поцеловали в плечико и в один голос просили принять их в свое родственное расположение, обещаясь, с своей стороны, добронравием и успехами в науках вполне оное заслужить. При этом я узнал от них, что они, по приезду в Петербург, поселились у какого-то отставного начальника отделения департамента податей и сборов, с которым еще покойный отец их, Савва Силыч Порфирьев, состоял в связях по откупным делам, и что этот же начальник отделения обязался брать их из "заведений" по праздникам к себе.

Однако ж племянники не баловали меня визитами. Феогностушка еще заходил по временам; придет, брякнет саблю, скажет: "а меня, дяденька, вчера чуть в карцер не посадили" – и убежит. Но Коронат приходил не больше двух-трех раз в год, да и то с таким видом, как будто его задолго перед тем угнетала мысль: "И создал же господь бог родственников, которых нужно посещать!" Вообще это был молодой человек несообщительный и угрюмый; чем старше он становился, тем неуклюжее и неотесаннее делалась вся его фигура. Придет, бывало, сядет как-то особняком, закурит папиросу и молчит. Смотрит всегда исподлобья, иногда вдруг замурлычет или засмеется, словно хочет сказать что-то очень колкое, но ничего не выходит. К удивлению, я и с своей стороны чувствовал себя не совсем ловко в его присутствии. И угрюмое молчание, и отрывистые ответы, которые он давал на мои вопросы, – все явно показывало, что он тяготится присутствием в моем доме и что, будь он свободен, порог моей квартиры никогда не увидел бы ноги его. Сначала я думал, что он или неумысел, или запуган, но впоследствии, по многим признакам, убедился, что отчужденность его обдуманная, сознательная. Очевидно, в голове этого юноши происходила какая-то своеобразная работа, но он считал ее настолько принадлежащую исключительно ему, что не имел ни малейшей охоты посвящать всякого встречного в ее тайны. А на меня он, по-видимому, именно смотрел как на "встречного", то есть как на человека, перед которым не стоит метать бисера, и если не говорил прямо, что насилует себя, поддерживая какие-то ненужные и для него непонятные родственные связи, то, во всяком случае, действовал так, что я не мог не понимать этого.

И вот в одно из воскресений (это было уже лет пять спустя после того, как он определился в заведение по "юридической" части) Коронат пришел ко мне. На этот раз он явился еще загадочнее, нежели когда-либо. По обыкновению, отыскал дальний угол, сел и закурил папироску, но уже по тому, как дрожала его рука, зажигая спичку, я заключил, что он чем-то сильно взволнован. Некоторое время он молчал; но плечи его беспрестанно вздрагивали, и он то обращал ко мне свое лицо, как будто и решался и не решался что-то высказать, то опять начинал смотреть прямо, испытывая пространство. Наконец он вдруг выпалил:

– А я, дядя, в Медицинскую академию хочу!

– А школу как? побоку? – спросил я, несколько испуганный этим внезапным решением.

– Стало быть – побоку.

– Христос с тобой! что же за причина?

– Это было бы долго рассказывать, да притом и неинтересно для вас. Словом сказать – я решился.

Я был совсем озадачен. Меня всегда пугала та стремительность, с которой нынешние молодые люди принимают самые радикальные решения и приводят их в исполнение.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Придет молодой человек (родственники у меня между ними есть), скажет: "Прощайте! я завтра за границу удираю... совсем!" Думаешь, что он шутку шутит, а, смотришь, и действительно завтра его след простыл! Или скажет: "Прощайте! я на днях туда нырну, откуда одна дорога: в то место, где Макар телят не гонял!" Опять думаешь, что он пошутил, – не тут-то было! сказал, что нырну, и нырнул; а через несколько месяцев, слышу, вынырнул, и именно в том месте, где Макар телят не гонял. Словом, исполнил в точности: стремительно, быстро, без колебаний. Я сначала полагал, что это у них так делается: ни с того ни с сего, взял да и удрал или нырнул; но потом убедился, что в них это мало-помалу накапливается. Мы, старцы сороковых годов, видим, как они молчат (при нас они действительно молчат, словно им и говорить с нами не о чем), и посмеиваемся: вот, мол, шалопаи! чай, женский вопрос, с точки зрения фонарного переулка, разрешают! А они совсем не о том: у них просто в это время накапливается. Накопится, назреет, и вдруг бац! – удеру, нырну, исчезну... И как скажет, так и сделает.

И все-таки повторяю: как ни обыденна в нынешнее время эта внезапность решений, она всегда меня пугает. И странно, и жутко. Он, молодой-то человек, давно уж порешил, что ему там лучше – благороднее! – а нам, старцам, все думается: "Ах, да ведь он там погибнет!" И в нас вдруг просыпается при этом вся сумма того теплого, почти страстного соблезнования к гибнущему, которым вообще отличается сердобольная и не позабывшая принципов гуманности половина поколения сороковых годов. Сколько раз я, на свою долю, принимался и уговаривать, и отклонять – и все напрасно.

– Послушайте, молодой человек! – говорил я, – что вам за охота гибнуть?

– Это было бы слишком долго объяснять, да для вас ведь оно и неинтересно.

– Но отчего же! Если б с вами говорил человек равнодушный или зложелательный, перед которым вам было бы опасно душу открыть...

– Извольте-с. Если вы уж так хотите, то души своей хотя я перед вами и не открою, а на вопрос отвечу другим вопросом: если б вам, с одной стороны, предложили жить в сытости и довольстве, но с условием, чтоб вы не выходили из дома терпимости, а с другой стороны, предложили бы жить в нужде и не иметь постоянного ночлега, но все-таки оставаться на воле, – что бы вы выбрали?

Вопрос странный, почти необыкновенный; но тем не менее, коль скоро он однажды стоит перед вами, то не ответить на него невозможно. Стараешься, разумеется, как-нибудь увильнуть, обратить дело в шутку, но ведь есть совопросники, с которыми даже шутить нельзя. "Отвечайте, сударь, прямо; не увертывайтесь, а прямо говорите: что бы вы выбрали, сытный ли дом терпимости или голодную свободу?" Ну и отвечаешь; отвечаешь, конечно, в таком смысле, чтобы самому себя лицом в грязь не ударить и аттестат себе хороший получить. Оно недурно, положим, в довольстве да в сытости пожить, да ведь дернула же нелегкая к хорошему-то житью дом терпимости пристегнуть. Дом терпимости! каково-с?!

– Стало быть, по-вашему, мы в доме терпимости живем? – попробуешь тоже ответить вопросом на вопрос.

– Стало быть-с.

– И следовательно, я, который...

– Следовательно-с.

И только. Ни отступления, ни раскаяния, ни даже самых общеупотребительных формул учтивости – ничего. Вот и старайся тут смягчать, да сглаживать, да компромиссы отыскивать! Что бы, например, стоило сказать: "Помилуйте! это я не об вас говорю!" или хоть так: "О присутствующих, дескать, не говорят и т.д.", – нет, так-таки и прет: "Стало быть-с!" Ничем, даже простою, ничего не стоящею вежливостью поступиться не хочет! Посмотришь-посмотришь на эту необузданность, да и скажешь себе: "Нет, лучше с этими господами не разговаривать! Подальше от них – да-с! пускай они сами, как знают, карьеру свою делают, а мы, старцы, карьеру свою, уж сделали... да-с!"

А как бы покойно жить на свете, если б этой стремительности, этого самомнения не было! Шел бы всякий по своей части, один по кавалергардской, другой по

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
юридической, третий по морской, а маменька Марья Петровна сидела бы в Березниках
да умилялась бы, на деток гляючи! И сделался бы Коронатушка адвокатом,
прослезился бы он в Мясниковском деле и уж наверно упал бы в обморок по делу о
поджоге овсянниковской мельницы. И был бы он малый с деньгами, обзавелся бы
домком, женился бы и вечером, возвратясь из суда, говорил бы: "А я сегодня,
душенька, Языкова подкузьмил: он - в обморок, а я, не будь глуп, да выкликать
начал!" И вдруг, вместо всего этого, - хочу в Медицинскую академию!

- Ты бы, однако ж, прежде обдумал свое решение, - обратился я к Коронату после минутного молчания.

- Отчего же вы полагаете, что я не обдумал его?

- Ты, конечно, знаешь, что мать предназначила тебя не в медики, а по юридической части...

- А ежели бы она меня по танцевальной части предназначила?

- Позволь, душа моя! Как ни остроумно твое сближение, но ты очень хорошо знаешь, что юридическая часть и танцевальная - две вещи разные. Твоя мать, желая видеть в тебе юриста, совсем не имела в виду давать пищи твоему остроумию. Ты отлично понимаешь это.

- Но я еще лучше понимаю, что если б она пожелала видеть во мне танцмейстера, то это было бы много полезнее. Я отплясывал бы, но, по крайней мере, вреда никому бы не делал. А впрочем, дело не в том: я не буду ни танцмейстером, ни адвокатом, ни прокурором - это я уж решил. Я буду медиком; но для того, чтоб сделаться им, мне нужно пять лет учиться и в течение этого времени иметь хоть какие-нибудь средства, чтоб существовать. Вот по этому-то поводу я и пришел с вами переговорить.

- А мать знает о твоём намерении оставить школу?

- Знает.

- Что же она пишет?

- А вот прочтите.

Он вынул из кармана и подал мне письмо, в котором я прочитал следующее:

"Любезный сын Коронат! Намерение твое оставить юридическую часть и пойти по медицинской весьма меня удивило. Причину столь внезапного твоего предпочтения, впрочем, очень хорошо понимаю: ты и прежде сего был непочтительным сыном, и впредь таковым быть намерен. Ежели так, то пусть будет воля божия! Хотя нынче и в моде родителей не почитать, но я таковой моды не признаю, и правила мои на этот счет очень тверды. Я всегда была христианкой и матерью и всегда буду. Следовательно, ежели ты упорствуешь в непочтительности, то и я в своих правилах остаюсь непреклонною. И согласия моего на твою фантазию не изъявляю, а приказываю, как христианка и мать: продолжай по юридической части идти, как тебе от меня и от бога сие предназначено. В противном же случае надейся на себя, а на меня не пеняй. За сим, да будет над тобой божие и мое благословение. Я же остаюсь навсегда неизменно тебя любящая -

Мария Промптова"

- Это - ответ матери на мое письмо, - объяснил Коронат, когда я окончил чтение.

- Я просил ее давать мне по триста рублей в год, куда я не кончу академического курса. После я обязуюсь от нее никакой помощи не требовать и, пожалуй, даже возратить те полторы тысячи рублей, которые она употребит на мое содержание; но до тех пор мне нужно. То есть, коли хотите, я могу обойтись и без этих денег, но это может повредить моим занятиям.

Он остановился и взглянул на меня; я тоже глядел на него, волнуемый смутными подозрениями. Я знал, что Коронат не денег от меня хочет: на этот счет он всегда был очень брезглив. Один раз только, когда он был еще в первом классе, он прислал ко мне училищного сторожа с запиской: "для некоторого предприятия

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
необходимо 60 копеек серебром, которые и прошу вручить подателю сего; я же при первом удобном случае возвращу". И возвратил. Но ежель ничто не угрожало моим капиталам, то явно, что существовало какое-то посягательство на мое спокойствие, что на меня возлагалась надежда, быть может, сопряженная с требованием вмешательства. А между тем идеал всей моей жизни именно в том и состоял, чтобы никогда ни во что не вмешиваться. Вмешательство! – при одном этом слове меня кидало в дрожь! Поди, разговаривай, выслушивай тупоумные возражения, старайся опровергнуть мысли, в которых даже ухватиться не за что, – сколько тут пошлого празднословия, мелочных уколов, дрызг, утомительной суетни! А я уж и стар, и устал. Состарелся – сам не знаю как; устал – сам не знаю отчего. Ах, лучше бы, во сто крат лучше бы, если бы он у меня денег попросил, – право, я с удовольствием пятьдесят, сто рублей отдал бы! Деньги – это, во-первых, не сопряжено ни с какими личными хлопотами: вынул из кармана, отсчитал – и пошел себе по Невскому щеголять; а во-вторых – это жертва, которую всякий оценит и сосчитать в состоянии. Давши деньги, можно, для облегчения сердца, кой-кому и пожаловаться. Вот, мол, самому были нужны, а бедный родственник пришел да и утащил из-под носа. Так нет же! не нужно ему, изволите видеть, денег, а поди хлопочи, переливай из пустого в порожнее, бей языком, расстроивай себе печень – и все ради того, чтоб в результате оказался пшик. Эх! сказано было: "Иди по юридической части – и иди! А если претит юридическая часть – ну, сам и устроишься, а других не беспокой". Очень уж вы строги, господа, а между тем мало ли между юристами хороших людей! Да и не только между юристами – даже между шпионами бывают такие, которые возвышенную душу имеют. Я знал одного шпиона: придет, бывало, со службы домой, сядет за фортепьяно, начнет баллады Шопена разыгрывать, а слезы так и льются, так и льются из глаз. – Душа у него так и тает, сердце томительно надрывается, всемогущая мировая скорбь охватывает все существо, а уста бессознательно шепчут: "Подлец я! великий, неисправимый подлец!" И что ж, пройдет какой-нибудь час или два – смотришь, он и опять при исполнении обязанностей! Быстр, находчив, бодр, при случае глубокомыслен, при случае сострадателен, при случае шутив. А потом – и опять Шопен, и опять слезы, томительные, сладкие слезы...

– Следовательно, – продолжал между тем Коронат, – если вы желаете мне быть полезным, то этого можно достигнуть следующим образом: вы съездите в Березники и убедите мать, чтоб она не глупила. Я желаю, чтоб вы меня поняли, почтеннейший дядюшка, я знаю, что вам мое предложение не может нравиться, но так как тут дело идет о том, чтоб вырвать человека из омута и дать ему возможность остаться честным, то полагаю, что можно и побеспокоить себя. Вы скажите матери, что я не больше пяти лет буду ей в тягость и что, по выходе из академии, не только не обращусь к ней за помощью, но, пожалуй, даже возвращу все ее траты на меня.

Я разинул было рот, чтоб вставить и мое слово в этот односторонний разговор, но он не дал мне.

– Вы поймите мое положение, – сказал он, – я и мать – мы смотрим в разные стороны; впрочем, об ней даже нельзя сказать, смотрит ли она куда-нибудь. А между тем все мое будущее от нее зависит. Ничего я покуда для себя не могу. Не могу, не могу, не могу... От одной этой мысли можно голову себе раздробить. Только нет, я своей головы не раздроблю... во всяком случае! Прощайте. Надеюсь, что я вас не стеснил.

Высказавши это, он встал, пожал мою руку и вышел из комнаты прежде, нежели я мог очнуться от изумления и что-нибудь возразить.

Не знаю, как это случилось, но через неделю я был уже в дороге, а еще через два дня – в том самом Чемезове, с которым я уже столько раз знакомил читателя.

Я остановился у Лукьяныча, который жил теперь в своем доме, на краю села, при самом тракте, на собственном участке земли, выговоренном при окончательной разделке с крестьянами. До сих пор я знал Лукьяныча исключительно как слугу. Приезжая в Чемезово лишь изредка и притом на самое короткое время, я останавливался в старом господском доме, куда являлся ко мне и Лукьяныч. Откуда он являлся, какое было его внеслужебное положение, мог ли он обладать какою-либо иною физиономией, кроме той, которую носил в качестве старосты, радел ли он где-нибудь самостоятельно, за свой счет, в своемуглу, за своим горшком щей, под своими образами, или же, строго придерживаясь идеала "слуги", только о том и сохнул, как бы барское добро соблюсти, – мне как-то никогда не приходило в голову поинтересоваться этим. Я знал смутно, что хотя он, в моем присутствии,

годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik ютился где-то в подвальном этаже барского дома, но что у него все-таки есть на селе дом, жена и семья; что два сына его постоянно живут в Москве по фруктовой части и что при нем находятся только внучата да бабы, жены сыновей, при помощи которых и справляется его хозяйство. Теперь я увидел его полным хозяином и самостоятельным устройтеlem собственного муравейника, каждый член которого, по мере сил, трудился на пользу общую. Он купил у крестьян на снос всю барскую стройку, половину продал, а из другой выбрал материал покрепче и выстроил себе просторную избу. В одной половине жил сам с семьей, а в другую пускал проезжих извозчиков – благо тракт был довольно оживленный.

Постарел он за эти восемь лет достаточно, но все еще был крепок, вполне сохранил зрение и память и только на ноги жаловался, что к погоде мозжат.

– Это я их, должно быть, в те поры простудил, как в первый холерный год рекрутов в губернию сдавать ездил, – рассказывал он. – Схватили их тогда наускори, сейчас же в кандалы нарядили – и айда в дорогу! Я было за сапожишками домой побежал, а маменька ваша, царство небесное, увидела в окошко да и поманила: это, мол, что еще за щеголь выискался – и в валенках будешь хорош! Ан тут, как на грех, оттепель да слякоть пошла – ну, и схватил, должно полагать.

Принял он меня добродушно, почти с радостью, но когда показывал свой дом, то как будто сконфузился. Вероятно, думал: увидит барин, какую Лукьяныч махину соорудил, скажет: "Эге! стало быть, хорошо старостой-то служить!" Представил мне всю семью, от старшего сына, которого незадолго перед тем из Москвы выписал, до мелконького-мелконького внучка Фомушки, ползавшего по полу на карачках. Полюбопытствовал я на старое пепелище сходить – сводил и туда. На месте господского дома стояли бугры и глубокие ямы, наполненные осколками кирпича и штукатурки; поверх мусора густою стеной разрослась крапива, а по местам пробивались молодые березки. Но старого сада докуда еще не тронули; по-прежнему был он полон прохлады и сумерек; по-прежнему старые дуплистые липы и березы задумчиво помавали в вышине всклокоченными вершинами; по-прежнему волною неслись отовсюду запахи и прозрачную, душистую массу стояли в воздухе.

– Ишь парки-то! – молвил Лукьяныч, когда я, охваченный волнами прошлого, невольно остановился посреди одной из аллей. – Дерунов мужичкам тысячу рублей сулил, чтоб на дрова срубить, однако мужички согласия не дали. Разве что после будет, а покуда у нас здесь девки по воскресеньям хороводы водят... гулянье! Так и в приговоре написали.

Поговоривши о делах, потревоживши старину, спросил я Лукьяныча и о Промптовых; но, к величайшей неожиданности, вести были очень неутешительные.

– Совсем нынче Марья Петровна бога забыла, – сказал мне Лукьяныч, – прежде хоть землей торговала, все не так было зазорно, а нынче уж кабаками торговать начала. Восемь кабаков на округе под чужими именами держит; а сколько она через это крестьянам обиды делает – кажется, никакими слезами ей того не замолить!

– Да ведь крестьяне – не маленькие, голубчик. Неужто ж стоит только кабак поставить, чтобы вся деревня так и разорилась дотла! Не ходи в кабак! не пей!

– Это что и говорить! чего лучше, коли совсем не пить! только ведь мужику время провести хочется. Книжек мы не читаем, местов таких, где бы без вина посидеть можно, у нас нет, – оттого и идут в кабак.

А попал туда раз – и в другой придешь. Дома-то у мужика стены голые, у другого и печка-то к вечеру выстыла, а в кабак он придет – там и светло, и тепло, и людно, и хозяин ласковый – таково весело косушечками постукивает. Ну, и выходит, что хоть мы и не маленькие, а в нашем сословии одно что-нибудь: либо в кабак иди, либо, ежели себя соблюсти хочешь, запишись дома да и сиди в четырех стенах, словно чумной.

– Помнится, старостой-то ты не так говорил?

– Начальником был, усердие имел – ну, и говорил другое. Оброки сбирал: к одному придешь – денег нет, к другому придешь – хоть шаром на дворе покати! А барин с теплых вод пишет: "Вынъ да положъ!" Ходишь-ходишь – и скажешь грехом: "Ах, волк вас задави! своего барина, мерзавцы, на кабак променяли!" Ну, а теперь сам мужиком сделался.

– Да ведь ты сам-то не пьешь?

– Отроду не пивал. Так ведь я не то чтобы за грех почитал, а настращан уж очень: мужик, мол, ты, а коли мужик пить начал – так тут ему и капут. Ну, и боишься. А отчего же в других сословиях бывает, что и пьют, а себя все-таки помнят? И Степан у меня покуда в кабак никогда ноги не ставил, только вот что я вам скажу: выписал я его из Москвы, а теперь вижу, что ему скучненько у нас. День-то еще нешто, словно бы и дело делаешь: в анбар заглянешь, за ворота выйдешь, на дорогу поглядишь, а вечер наступит – и пошел сон долить. Ты зевнул, за тобой другой, третий зевнул – смотришь, ан и вся семья зазевала.

– А как Машенька с новым мужем живет? согласно?

– Да не слышать н'ишто. Видится, как будто она в доме-то головой. Он все председателем в управе состоит, больше в городе живет, а она здесь распоряжается. Нынче, впрочем, у них не очень здорово. Несчастья пошли. Сначала-то сын старшенький избидел...

– Как так?

– Долгов, слышь, наделал. Какой-то мадаме две тысячи задолжал да фруктовщику тысячу. Уж приятель какой-то покойного Саввы Сильча из Петербурга написал: скорее деньги присылайте, не то из заведения выключат. Марья-то Петровна три дня словно безумная ходила, все шептала: "Три тысячи! три тысячи! три тысячи!" Она трех-то тысяч здесь в год не проживет, а он, поди, в одну минуту эти три тысячи матери в шею наколотил!

– Чем же они решили ?

– Было тут всего. И молебны служили, и к покойному Савве Сильчу на могилку ездили. Филофей-то Павлыч все просил, чтоб она его прокляла, однако она не согласилась: любимчик! Думала-думала и кончила тем, что у Дерунова выкупное свидетельство разменяла, да и выслала денежки на уплату мадаме.

– Ну, а еще что у них случилось?

– А потом, вскоре, дочка с судебным следователем сбежала – тоже любимочка была. И тут дым коромыслом у них пошел; хотела было Марья Петровна и к губернатору-то на суд ехать и прошение подавать, да ночью ей, слышь, видение было: Савва Сильч, сказывают, явился, простить приказал. Ну, простила, теперь друг к дружке в гости ездят.

– Так что теперь Машенька одна с мужем живет?

– Одна, и муж-то почти никогда дома не бывает. Еще больше в кабаки ударилась: усчитывает да усчитывает своих поверенных. Непонятлива уж очень: то копейки не найдет, то целого рубля не видит. Из-за самых пустяков по целым часам человека тиранит!

На другой день, утром рано, я отправился в Березники. Из полученных сведений я не мог вывести никакого заключения относительно будущности, ожидающей предпринятое мною дело, и потому старался припомнить себе нравственный образ кузины Машеньки. Но ничего ясного, отчетливого составить себе не мог. Что-то недоделанное, обрывочное, в высшей степени противоречивое мелькало у меня перед глазами. Женщина с ребяческими мыслями в голове и с пошло-старческими словами на языке; женщина, пораженная недугом институтской мечтательности и вместе с тем по уши потонувшая в мелочах самой скаредной обыденной жизни; женщина, снедаемая неутолимою жадной приобретения и, в то же время, считающая не иначе, как по пальцам; женщина, у которой с первым ударом колокола к "достойной" выступают на глазах слезки и кончик носа неизменно краснеет и которая, во время проскомидии, считает вполне дозволенным думать: "А что, кабы у крестьян пустошь Клинцы перебить, да потом им же перепродать?.." Зачем? ну, зачем я приехал?!

Признаюсь откровенно: давно я не чувствовал себя так неприятно, как в ту минуту, когда Березники, залитые в лучах июльского солнца, открылись перед моими глазами.

Березники смотрели так же солидно и заправиво, как и в последнее мое посещение. Но ни около служб, ни около дома никого не было видно: по случаю рабочей поры всякий был около своего дела. На крыльце меня встретила лохматая и босая девчонка в затрапезном платье (Машенька особенно старалась сохранить за своею усадьбой характер крепостного права и потому держала на своих хлебах почти весь женский штат прежней барской прислуги) и торопливо объявила, что Филофей Павлыч в город уехали, а Марья Петровна в поле ушли. Впрочем, она тут же опрометью бросилась через двор, вероятно, за барыней, так что я уже собственною властью вошел сначала в переднюю, а потом и в комнаты. В зале было жарко и душно, как на полке в бане; на полу, на разостланном холсте, сушился розовый лист и липовый цвет; на окнах, на самом солнечном припеке, стояли бутылки, до горлышка набитые ягодами и налитые какою-то жидкостью; мухи мириадами кружились в лучах солнца и как-то неистово гудели около потолка; где-то в окне бился слепень; вдали, в перспективе, виднелась остановившаяся кошка с птицей в зубах. В гостиной было прохладнее, благодаря отворенной двери на балкон, защищенный навесом. Тут я и остался, в ожидании хозяйки.

Минуты ожидания длились довольно томительно. Сначала где-то вдали хлопнула дверь – и все смолкло, потом кто-то стремглав пробежал по коридору – и опять воцарилось безмолвие минут на десять. Наконец, вдруг все двери точно сорвались с петель, словно волна какая-то шла; началось всеобщее хлопанье и угорелая беготня, слышались голоса, то громкие, то осторожные, отдававшие различные приказания.

– Галантир из телячьей головки приготовить не забудь! – раздавалось где-то.

– Яиц-то! Яиц на пирожное повару выдайте! – кричал кому-то вдогонку чей-то голос.

Машенька изменилась необыкновенно. Эта маленькая головка, эти мелкие черты лица, эта миниатюрная фигурка с легким, почти воздушным станом – все это сморщилось, съежилось, свернулось в комочек. Глаза ввалились и, вместо прежней грусти ни об чем, выражали простую тусклость; кожа на щеках и на лбу отливала желтизною; нос вытянулся, губы выцвели, подбородок заострился; в темных волосах прокрадывались серебристые змейки. Взамен того, корпус отяжелел и обнаруживал явную наклонность сделаться совсем шарообразным. Увидевши меня, она сначала как бы удивилась, но сейчас же оправилась и протянула мне обе руки.

– Ах, мой родной! Кто бы мог думать! – восклицала она, обнимая меня, – ведь эта глупая Анютка сказала, что новый становой приехал – ну, я и не тороплюсь! А это – вот кто! Вот неожиданность-то! Вот радость! И Филофей Павлыч... вот удивится-то! Вот-то будет рад!

– Мне сказали, что он в городе...

– Будет, мой друг, к обеду, непременно будет. И Нонночка с мужем – все вместе приедут. Чай, ты уж слышал: ведь я дочку-то замуж выдала! а какой человек... претличнейший! В следователях служит у нас в уезде, на днях целую шайку подметчиков изловил! Вот радость-то будет! Ах, ты родной мой, родной!

Как ни порывисты были эти восклицания радости, но на меня уже они не производили прежнего действия. Мне слышалась в них только дань тем традициям родственности, которые предписывают во что бы то ни стало встречать "доброе родного" шумными изъявлениями радостного празднословия. Это – такой же бессодержательный обычай, такое же лганье, как и причитание по покойнике. И прежде, вероятно, она лгала, и теперь лжет. Только прежде у нее полненькие щечки были – выходило мило, а теперь щечки съежились – выходит противно. Очень возможно, что она и сама не сознаёт своего лганья, но я уверен, что если б она в эту минуту порылась в тайниках своей души, то нашла бы там не родственное ликование, а очень простую и совершенно естественную мысль: "Вот, мол, принесла нелегкая "гостя"... в рабочую пору!"

Тем не менее она усадила меня на диван перед неизбежным овальным столом, по бокам которого, по преданию всех старинных помещичьих домов, были симметрически поставлены кресла; усадивши, обеспокоилась, достаточно ли покойно мне сидеть, подложила мне под руку подушку и даже выдвинула из-под дивана скамейку и

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
заставила меня положить на нее ноги,

– За делом, что ли, за каким приехал, или так? – спросила она меня, когда кончились первые излияния, в которых главную роль играли пожимания рук, оглядывания и восклицания: "Ах, как постарел!" или: "Ах, как поседел!" – за которыми, впрочем, сейчас же следовало: "Что ж я, однако ж: совсем не постарел! какой был, такой и остался... даже удивительно!"

– Нет, не за делом, – ответил я, – а именно "так".

– Ну, и слава богу! на старинное пепелище посмотришь, могилкам поклонись, родным воздухом подышишь – все-таки освежишься! Чай, у Лукьяныча во дворце остановился? да, дворец он себе нынче выстроил! тесно в избе показалось, помещиком жить захотел... Ах, мой друг!

Это было высказано не без ехидства, но не потому, чтобы она питала к Лукьянычу какое-нибудь зло, а просто "так". Как, мол, это мужик себе "дворец" выстроил – чтой-то уж больно чудно!

Начались расспросы, хорошо ли живется, здоровье паче всего в исправности ли, продолжаю ли я по сатирической части писать и т.д.

– А я, мой друг, так-таки и не читала ничего твоего. Показывал мне прошлой зимой Филофей Павлыч в ведомостях объявление, что книга твоя продается, – ну, и сбиралась всё выписать, даже деньги отложила. А потом, за тем да за сем – и пошло дело в длинный ящик! Уж извини, Христа ради, сама знаю, что не по-родственному это, да уж...

– Помилуй, при чем же тут родство? – времени у тебя, вероятно, нет – вот и все.

– Ах! времени-то нет – это так; это ты правду сказал. Так мало, так мало у меня времени, что если бы, кажется, сорок восемь часов в сутках было, и тех бы недостало, чтобы все дела переделать. А впрочем, ты не думай, чтобы я совсем не интересовалась тобой. Всякий раз, как детям пишу, всегда об тебе спрашиваю. Ну, Коронат – тот молчит, а Феогностушка частенько-таки об тебе уведомляет. Ах, как ты, однако ж, постарел! и в особенности поседел! так поседел! так поседел! Постой-ка, я поближе на тебя посмотрю... А что ж, впрочем... нет! какой в последний раз приезжал, таким и теперь остался! Право-ну, ни на волос не переменялся!

– Да что же ты все обо мне; ты лучше о себе расскажи! – откликнулся я, когда она уж достаточно повертела меня во все стороны.

– Что же я могу тебе о себе сказать! Моя жизнь – все равно что озеро в лесу: ни зыби, ни ряби, тихо, уединенно, бесшумно, только небо сверху смотрится. Конечно, нельзя, чтоб совсем без забот. Хоть и в забытом углу живем, а все-таки приходится и об себе, и о других хлопотать.

– И ты счастлива?

Я очень хорошо заметил, что при этом вопросе ее нос слегка вздрогнул; но, по-видимому, она сейчас же вспомнила, что, по кодексу родственных приличий, никогда не следует упускать случая для лганья, – и поправилась.

– Откровенно тебе скажу: очень я, мой друг, счастлива! – лгала она, – так счастлива! так счастлива, что и не знаю, как бога благодарить! Вот хоть бы Нонночка – никогда я худого слова от нее не слыхала! Опять и муж у нее... так ласков! так ласков!

Сказавши это, она быстро кинула на меня испытующий взгляд, не слыхал ли, мол, чего, но, должно быть, ничего не прочитала на моем лице и успокоилась.

– Вот и Феогностушка тоже – так меня радуется! – Продолжала она лгать, – ни грубого слова, ни претензии – никогда! Ласковый мальчик! откровенный! А ежели иногда, по молодости лет, и впадет в ошибку (она бросила на меня новый испытующий взгляд) – ну, сейчас же и поправится: "Виноват, маменька!" И обезоружит. Ах, мой друг! великая эта милость божия, коли дети родителей почитают! Почтением да ласкою – только ведь этим и держится свет! Ежели дети

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
родителей почитают, то и родители, с своей стороны... Вот Коронат – ну, про
этого... А впрочем, грех мне роптать, друг мой. Всем господь свой крест
посылает, ну и мне, стало быть...

Она задумалась и сомнительно покачала головой.

– Что ж, и Коронат, кажется, – хороший молодой человек! – счел долгом вступить за
я.

– Как бы тебе сказать, голубчик! Для других, может быть, и хорош, а для меня...
Не знаю! не вижу я от него ласки! Не вижу!

– Тебе бы всё ласки! а ты пойми, что у людей разные темпераменты бывают. Один
любит приласкаться, маминку ручку поцеловать, а другому это просто в голову
не приходит. Коронат скромненький, учиться хорошо, жалоб на него нет; мне кажется, что
больше ты и требовать от него не вправе.

– Ну, а мне уж позволь свое мнение об этом иметь.

– Имей сколько угодно, но только не забудь: если ты будешь избегать проверки
этого "мнения", как теперь, например, то скоро из мнения у тебя вырастет
предубеждение...

– Нет уж... Хотя ты и родной мне и я привыкла мнения родных уважать... Впрочем,
это – уж не первый у нас разговор: ты всегда защитником Короната был. Помнишь, в
последний твой приезд? Я его без пирожного оставить хотела, а ты выпросил!

– Помню, помню; ты и тогда уж Короната в категорию "непочтительных" записала!

Я взглянул на нее: лицо ее глядело совершенно спокойно; но что-то, не то чтобы
злое, а глупо-непоколебимое сквозило сквозь это спокойствие. Как будто бы она
говорила: "Как ты там ни ораторствуй, а у меня "свои правила" есть". Это бывает
особенно с женщинами, ибо они вообще как-то охотнее, нежели мужчины, составляют
себе "правила". Иная, во всю свою молодость, только и слышала: "Ах, миленькая!
как к ней это платьице идет!" – смотришь, а она из этого какие-то "правила"
вывела! Потом выйдет замуж, сначала попадет в школу прописей под начальством
какого-нибудь Саввы Силыча, затем перейдет в другую школу прописей под фирмой
Филофея Павлыча – смотришь, и опять у ней "правила". И так она за эти "правила"
держится, что, словно львица разъяренная, готова всякому горло зубами перервать
и кровь выпить, кто к ним без сноровки подойдет!

Главное свойство этих "правил" – отсутствие всяких правил и полная невозможность
отделить от шелухи ту руководящую мысль, которая послужила для них основанием.
Это – какая-то неуловимая путаница, в которой ни за что ухватиться нельзя; но
потому-то именно она и обладает своего рода неприступностью. Заберется
"миленькая" в эту своеобразную крепость, и никак ее оттуда не вытащишь. И на
убеждения, и даже на прямые опровержения жизни – на всё будет говорить: "У меня
свои "правила" есть". Единственное средство пролезть в эту крепость – это начать
уговаривать "миленькую", то есть взять ее за руки, посадить поближе к себе и
гладить по спинке, как лошадку с норовом: "Тпру, милая, тпру! но-но-но-но!"
Оглаживаешь, оглаживаешь – и видишь, как постепенно начинают "правила" таять.
Тают, тают, и вдруг образуются новые "правила", иногда те самые, каких нужно, а
иногда и другие, совсем неожиданные...

Лет восемь тому назад я непременно употребил бы это средство в отношении к
Машеньке, но теперь, ввиду изменений, которые произошли в ее внешности, оно
показалось мне несколько рискованным. Во всяком случае, я решился прибегнуть к
нему лишь в крайности.

– А я... много я переменялась, братец? – спросила она меня, словно угадывая
часть моих мыслей.

– Нет... ничего! Как была восемь лет тому назад, так и теперь... ничего! –
солгал я "по-родственному".

– Ну, уж, чай, где ничего! Состарелась я, голубчик, вот только духом еще бодр,
а тело... А впрочем, и то сказать! Об красоте ли в моем положении думать (она
вздыхнула)! Живу здесь в углу, никого не вижу. Прежде хоть Нонночка была, для

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
нее одевалась, а теперь и одеваться не для кого.

– Ты бы в Петербург на зиму приехала; на детей бы посмотрела.

– И, что ты! в Петербург! Я и от людей-то отвыкла. Право. Месяца с два тому назад вице-губернатор наш уезд ревизовал, так филофей Павлыч его обедать сюда пригласил. Что ж бы ты думал? Спрашивает он меня за обедом... ну, одним словом, разговаривает, а я, как солдат, вскочила, это, из-за стола: "Точно так, ваше превосходительство!.." Совсем-таки светское обращение потеряла.

– Поживешь месяц-другой в Петербурге – опять привыкнешь.

– Поздно, друг мой; в Покров мне уж сорок три будет. Я вот в шесть часов вставать привыкла, а у вас, в Петербурге, и извозчики раньше девяти не выезжают. Что ж я с своею привычкой-то делать буду? сидеть да глазами хлопать! Нет уж! надо и здесь кому-нибудь хлопотать: дети ведь у меня. Ах, детки, детки!

– Что ж "детки"! Детки и без тебя дорогу найдут, нечего уж очень-то убиваться об них. Вот, например, Коронат: ну, могу тебя уверить, что он...

– Ах, братец! ты все об нем!

– Отчего же и не говорить об "нем"? Скажи на милость, разве он чем-нибудь тебя огорчил, что ты как будто им недовольна?

– Нет, ничего... Заварилась было у нас каша на днях, ну, да ведь я...

– А что именно?

– Нет, так... Я уж ему ответила. Умнее матери хочет быть... Однако это еще бабушка надвое сказала... да! А впрочем, и я хороша; тебя прошу не говорить об нем, а сама твержу: "Коронат да Коронат!" Будем-ка лучше об себе говорить. Вот я сперва закуску велю подать, а потом и поговорим; да и наши, того гляди, подъедут. И преприятно денек вместе проведем!

Подали завтрак, сели, но об себе как-то не говорилось. Это довольно часто случается с людьми, которые когда-то были близки, потом надолго расстались, потом опять свиделись. И вдруг оказывается, что не только им не об чем говорить, но что они даже положительно в тягость друг другу. Мы хотя и не совсем были в таком положении, но все-таки ощущали томительную неловкость. Обыкновенно в таких случаях прибегают к воспоминаниям, как к такой нейтральной почве, на которой всего легче выйти из затруднения, но мне как-то и вспоминать не хотелось. Напрасно Машенька заговаривала, указывая то на липовый круг, то на лужайку, обсаженную березами: "Помнишь, как мы тут игрывали?" Или: "Помнишь, как в папенькины именины покойница Каролина Федоровна (это была гувернантка Маши) под вон теми березами группу из нас устроила: меня посредине с гирляндой из розанов поставила, а ты и братец Владимир Иваныч – где он теперь? кажется, в Москве, в адвокатах служит? – в виде ангелов, в васильковых венках, по бокам стояли? Ах, времечко, времечко!" Я отвечал на эти напоминания односложными словами и с явную неохотой. И разговор, наверное, упал бы совсем, если б я не решился вновь поворотить его на тот предмет, который собственно и составлял цель моей поездки.

– Послушай, – сказал я, – я должен сознаться перед тобой, что приехал сюда, собственно, по желанию Короната.

При этих словах она несколько побледнела, и сухая улыбка скользнула на ее губах.

– По желанию Короната? – повторила она, – вот как! стало быть, Коронат в тебе адвоката нашел!

– Да, он просил меня. Он желал, чтоб я лично тебе подтвердил, что он хочет оставить школу и поступить в Медицинскую академию.

– Хочет!.. как-то это для меня странно... хочет! Помнишь, мы в эти года не смели хотеть, а дожидались, как старшие захотят!

– Дело не в выражениях, мой друг, и прошу тебя, ты меня на словах не лови. Если тебе не нравится слово "хочет"...

– И откровенно тебе скажу: даже очень, очень не нравится... Так как-то пошло уж слишком!

– Не он это слово сказал, а я; следовательно, ты можешь его заменить другим: "желал бы", "предполагал бы", "осмеливался бы думать" – словом сказать, выразиться, как тебе самой кажется почтительнее. Итак, к делу. Он писал тебе о своем желании и получил от тебя двусмысленный ответ...

– Вот уж не двусмысленный! Напротив того, я даже слишком ясно ответила, что никаких перемещений не хочу... не то что "не желаю", а именно "не хочу"! Не хочу, не хочу и не хочу!

– Но ежели он желает этого? Если он в этом перемещении видит для себя пользу?

– Ах, боже мой! Если он желает! если он для себя видит пользу! Что ж! с богом! Нечего у матери и спрашивать... если он желает!

Она улыбалась и даже слегка подсмеивалась; но уж не просто сухость, а злорадство откликнулось в этом смехе. Злорадство, и какое-то торжествующе-идиотское: хоть кол на голове теши!

– И прекрасно, что ты не препятствуешь; мы примем это к сведению. Но вопрос не в этом одном. Ему необходимо существовать в течение пяти лет академического курса, и ежели он, ради насущного труда, должен будет уделять добрую часть времени постороннему труду, то это несомненно повредит его учебным занятиям... ты понимаешь меня?

– Не понимаю... нет, ничего я не понимаю! Как это труд может повредить занятию?!

– Очень просто. Вот ты своим хозяйством занимаешься, а предположи, что необходимость заставляла бы тебя, в то же время, уроки танцеванья давать; ведь хозяйство твое потерпело бы от этого, не так ли?

– Уроки танцеванья, хозяйство... воля твоя, ничего я тут не понимаю, мой друг!

– Одним словом, необходимо, чтобы ты, в течение пяти лет, оказывала ему помощь.

– Ну, это... статья особенная!

– То есть, как же... ты отказываешь ему?

– Ничего я не "отказываю", мой друг, а только так говорю: особенная это статья.

– Но ведь ты тратишься же на него теперь? ты даешь ему денег на лакомство, ты платишь за него тому господину, который берет его к себе по праздникам?

– Да, покуда он волю родительскую чтит.

– Но что же ты имеешь против его намерения?

– Ничего я не имею, а вообще... Что ж, коли хочет по медицинской части идти – пусть идет, я препятствовать не могу! Может быть, он и счастье себе там найдет; может быть, сам бог ему невидимо на эту дорогу указывает! Только уж...

– Так помоги ему!

– Ну, это... особенная статья.

– А почему же?

– А почему... потому...

Машенька окончательно заволновалась и долго бормотала что-то, словно не могла совладеть с своими мыслями. Наконец она, однако ж, кой-как собрала их.

– Уж коли ты хочешь непременно знать почему, – сказала она, возвышая голос, – так вот почему: правила у меня есть!

– Какие же это правила?

– А такие правила, что дети должны почитать родителей, – вот какие!

– В чем же, однако, выразилась непочтительность Короната?

– И ежели родители что желают, то дети должны повиноваться и не фантазировать! – продолжала Машенька, не слушая меня, – да, есть такие правила! есть! И правительству эти правила известны, и всем, и никому эти правила пощады не дадут – не только детям... непочтительным, но и потаковщикам их.

– Так ты, значит, и меня... по-родственному?

– Нет, я не про тебя, а вообще... И бог непочтительным детям потачки не дает! Вот Хам: что ему было за то, что отца родного осудил! И до сих пор хамское-то племя... только недавно милость им дана!

– Но ежели ты так верно знаешь, что бог непочтительных детей наказывает, то пусть он и накажет Короната! Предоставь это дело богу, а сама жди и не вмешивайся!

Слова эти окончательно раздражили ее, так что она почти хриплым голосом кинула мне в ответ:

– Ах, мой родной! уж извини ты меня! не училась ведь я кощунствовать-то!

– Тут и нет кощунства. Я хочу сказать только, что если ты вмешиваешь бога в свои дела, то тебе следует сидеть смиренно и дожидаться результатов этого вмешательства. Но все это, впрочем, к делу не относится, и, право, мы сделаем лучше, если возвратимся к прерванному разговору. Скажи, пожалуйста, с чего тебе пришла в голову идея, что Коронат непременно должен быть юристом?

– Стало быть, пришла... если так вздумалось!

– Вот видишь: тебе "вздумалось", а Коронат, по твоему мнению, не имеет права быть даже сознательно убежденным! Ведь ему, конечно, ближе известно, какая профессия для него более привлекательна.

– Хороша привлекательность... собак потрошить!

– В этом ли привлекательность или в чем-нибудь другом – это вопрос особый. Важно тут убеждение, на каком поприще можешь наибольшую сумму пользы принести.

– Однако! по-твоему, значит, дети умнее родителей стали! Что ж, по нынешнему времени – пожалуй!

– Оставь, сделай милость, нынешнее время в покое. Сколько бы мы с тобой об нем ни судачили – нам его не переменить. Что же касается до того, кто умнее и кто глупее, то, по мнению моему, всякий "умнее" там, где может судить и действовать с большим знанием дела. Вот почему я и полагаю, что в настоящем случае Коронат – умнее. Ведь правда? ведь не можешь же ты не понимать, что поднятый им вопрос гораздо ближе касается его, нежели тебя?

Я взглянул на нее в ожидании ответа: лицо ее было словно каменное, без всякого выражения; глаза смотрели в сторону; ни один мускул не шевелился; только нога судорожно отбивала такт.

– Скажи же что-нибудь! Ну "да" – не правда ли, "да" ? – настаивал я.

– Как христианка и как мать... не могу, мой друг! – отвечала она, постукивая в такт ножкой с тою неумолимо-наглою непреклонностью, которая составляет удел глупца, сознающего себя силой.

Я понимал, что мне нужно замолчать; но темперамент требовал, чтоб я сделал еще попытку.

– Вспомни, – сказал я, – что ты одной минутой легкомыслия можешь испортить жизнь

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
своего сына!

– Нет уж...

– Помни, что Коронат все-таки выполнит свое намерение, что упорство твое, в сущности, ничего не изменит, что оно только введет в существование твоего сына элемент нужды и что это несомненно раздражит его характер и отзовется на всей его дальнейшей жизни!

– Нет уж...

– Машенька! наконец, не Коронат, а я, я, я прошу тебя изменить свое решение!

– Нет уж...

– Слушай же ты, однако ж...

Я остановился вовремя. Но она, должно быть, сама заметила, что отвечала мне не "по-родственному", и потому поспешила прибавить:

– Я хочу сказать, что правила мои не позволяют...

– Чего не позволяют?

– Ну... сделать... или, как это... уступить... Господи, боже мой! да что же это за несчастье на меня! Я так всегда тебя уважала, да и ты всегда со мной "по-родственному" был... и вдруг такой разговор! Право, хоть бы наши поскорее приехали, а то ты меня точно в плен взял!

– Так это – твое последнее слово?

– Какое же... "слово"! Никакого "слова" я не говорила... ах, право, какой ты! я только об "правилах": своих говорю, а он сейчас: "слово"!

Предмет моей поездки в несколько минут был исчерпан сполна. Мне оставалось только возвратиться в Чемезово, но какая-то смутная надежда на Филофея Павлыча, на Нонночку удерживала меня. Покуда я колебался, звон бубенцов раздался на дворе, и, вслед за тем, целая ватага влетела в переднюю.

– А вот и наши приехали! – весело воскликнула Машенька, поднимаясь навстречу приезжим.

* * *

Филофей Павлыч сделался как-то еще крупнее прежнего: по-видимому, земские хлебы пошли ему впрок. Но грации от этого в нем не убавилось, той своеобразно-семинарской грации, которая выражалась в том, что он, во время разговора, в знак сочувствия, помахивал направо и налево головой, устраивал рот сердечком, когда хотел что-нибудь сказать приятное, и приближался к лицам женского пола не иначе, как бочком и семеня ножками. Фистула по-прежнему красовалась под левою его скулой и точно так же была залеплена черным тафтяным кружком; на лбу возвышался кок, и виски были зачесаны по направлению глаз, словно приклеены. Он молодился, одет был в щеголеватый светло-серый костюм и относился к жене с предупредительностью маркиза с подмостков Александрийского театра. Вообще он был игрив и играл в доме роль не деспота, а скорее избалованного молодого человека.

Нонночка нимало не походила на мать. Это была рыхлая и вальяжная молодая особа с очень круглыми чертами лица, с чувственным выражением в больших серых глазах навывкате, с узеньким придавленным лбом, как у негритянки, с толстым носом, пухлыми губами, высокою грудью и роскошною косой. Наружный тип Саввы Силыча воплотился в ней вполне, но так как воспитание было дано ей "неженное", то есть глупое, то внутренний тип выработался свой, не похожий ни на отца, ни на мать. По всем признакам, это была личность ленивая, праздная и чувственная, которую могли занимать только сплетни, еда и супружеские ласки. К близким она относилась капризно, к мужу – как-то пошло-любовно. Беспреданно присасывала она к его губам свои пухлые губы (у Машеньки всегда в этих случаях даже белки глаз краснели), и лицо ее при этом принимало то плотоядно-страдальческое выражение,

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
которое можно подметить только у очень чувственных женщин. Ни чтение, ни так
называемые talents de societe [светские таланты (развлекать и быть душой
общества) (франц.)], ни даже наряды – ничто не занимало ее. Одетая она была
слишком неряшливо для "молодой", и я без труда счел несколько пятен на ее
платье, которое вообще чересчур уж широко сидело на ней.

Муж ее, Павел Федорыч Добрецов, один из птенцов той школы, которая снабжает всю
Россию героями судоговорения, – молодой человек, небольшого роста, очень
проворный, ходкий и с чрезвычайными претензиями на деловитость и
проницательность. Едва три года, как он кончил курс, – и уже уловлял вселенную в
качестве судебного следователя. Маленькие глаза его как-то пытливо перебегали с
одного предмета на другой, как будто хотели отыскать поличное; но я не думаю,
чтоб это было в нем прирожденное ехидство, а скорее результат похвал и
начальственных поощрений. Очень часто молодые люди сначала только роль играют, а
потом втягиваются и получают дурные привычки. На меня подобные люди, всегда
что-то высматривающие и поднюхивающие, к чему-то прислушивающиеся, производят
неприятное впечатление. Все кажется, будто вот-вот у меня сейчас кошелек из
кармана исчезнет. Конечно, я первый очень хорошо понимаю, что подозрение мое
неосновательное, но переломить невольного чувства все-таки не могу. Не кошелек,
так другое что-нибудь, – а непременно он у меня вытянет! думается мне. Может
быть, он в душе моей покопаться хочет, что-нибудь оттудова унести, ради
иллюстрации в искренней беседе с начальством... Много, ах, много нынче таких
молодых людей развелось! и глазки бегают, и носик вздрагивает, и ушки на макушке
– всё ради того, что если начальство взглянет, так чтобы в своем виде перед ним
быть...

Увидев меня, Филофей Павлыч любезно потоптался на месте, потом расцеловался,
потом взял меня за обе руки и откинулся корпусом несколько назад, чтоб и издали
на меня взглянуть, потом опять расцеловался и, в заключение, радостно-изумленным
голосом воскликнул:

– Вот приятная неожиданность! Сестрицу проведать пожелали?

Нонночка отнеслась ко мне апатично и как-то лениво произнесла:

– Ах, дядя, это вы!

Затем тотчас же обратилась к матери и продолжала: – А мы, маменька, мимо усадьбы
Иудушки Головлева проезжали – к нему маленькие Головлята приехали. Один
черненький, другой беленький – преуморительные! Стоят около дороги да
посвистывают – скука у них, должно быть, адская! Черненький-то уж офицер, а
беленький – штафирка отчаянный! Я, маменька, в офицера-то апельсинной коркой
бросила!

– Проказница ты! проказница!

– Да еще что-с! одному-то апельсинную корку бросила, а другому безе ручкой
послала! – пожаловался Филофей Павлыч, – а тот, не будь глуп, да с разбега в
коляску вскочил! Да уж Павла Федорыча – незнакомы они – увидел, так извинился!
Стыдно, сударыня! стыдно, Нонна Савишна!

– Что ж за стыд! мужчины и не то с нами делают, да не стыдятся. Поль! ты что со
мною сделал?

Поль, в ответ, самодовольно оттопырил губы и закрыл, в знак стыда, глаза.

– Так то мужчины, мой друг! – наставительно заметила Машенька, – ихнее и
воспитанье такое! Так вот как: стало быть, и Иудушка... то бишь, и Порфирий
Владимирыч в радости... сосед дорогой! Да что ж ты, милочка, в рассказни
пустилась, а мужа-то дяденьке и не представишь! Все, чай, не худо попросить в
родственное расположение принять!

– Извольте. Почтеннейший дядюшка! имею честь представить вам моего... как бы вам
это объяснить! Ну, одним словом, вы понимаете... всегда, всегда мы вместе...
Душка!! – прибавила она, жадно приликая губами к лицу своего мужа.

Павел Федорыч, как молодой человек благовоспитанный и современный, начал с
литературы.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– А мы вас читаем! – сказал он, бросая на меня взгляд, в котором, однако, виднелась оговорка, что он не вполне-таки одобряет и со многим согласиться не может.

– Ах, дядя! я намеднишь что-то ваше читала! так хохотала! так хохотала! – с своей стороны польстила Нонночка.

– Ну, видишь, ты какова! небось сама читала, а нет того, чтоб матери дать дяденькино сочинение почитать! – посетовала Машенька.

– Мы, Марья Петровна, сами соберемся да выпишем – тогда им и не дадим! – не преминул слюбезничать Филофей Павлыч.

– И точно, что не дадим! Вот будете просить, а мы не дадим!

Словом сказать, я вдруг очутился в перекрестном огне любезностей. Всякий стремился что-нибудь приятное мне сказать, чем-нибудь меня ублажить. Так что если б я решился быть, и с своей стороны, "по-родственному", то есть не "вмешивался" бы, не "фыркал", то, наверное, я бы тут как сыр в масле катался.

– А я, знаете ли, маменька, что придумала! – молвила вдруг Нонночка, – вы бы теперь за Головлятами послали, а после обеда они приедут, мы и потанцевали бы.

– А дамы-то где?

– Можно за сестрицами Корочкиными послать; три сестрицы Корочкины, да я – вот дамы; Поль, двое Головлят, дядя – и кавалеры налицо.

– Нет, на меня не рассчитывай. Во-первых, мне в Чемезово нужно, а во-вторых, я с детства не танцевал.

– Так папа за кавалера будет.

– С удовольствием-с. Только зачем же до послеобеда ждать? Это сейчас можно, благо лошади запряжены, четыре версты туда, да четыре версты назад – мигом оборотят. Вот Павел Федорыч – съездите, сударь! И вы – молодой человек, и господа Головлевы – молодые люди... тут же и познакомитесь! Что ж, в самом деле, неужто уж и повеселиться нельзя!

– Съезди, Поль... душка! Ах, маменька! как будет весело! Весело, весело, весело! – кричала она, хлопая в ладоши и подпрыгивая так, что пол слегка вздрагивал и стеклышки гремели в люстре, висевшей посреди потолка.

Павел Федорыч уехал, а мы перешли в гостиную. Филофей Павлыч почти толкнул меня на диван ("вы, братец, – старший в семействе; по христианскому обычаю, вам следовало бы под образами сидеть, а так как у нас, по легкомыслию нашему, в парадных комнатах образов не полагается – ну, так хоть на диван попокойнее поместитесь!" – сказал он при этом, крепко сжимая мне руку), а сам сел на кресло подле меня. Сбоку, около стола, поместилась маменька с дочкой, и я слышал, как Машенька шепнула: "Займи дядю-то!"

– Итак, вы в наши Палестины пожаловали? – начал Филофей Павлыч, любезно пригибая голову по направлению ко мне.

– Надобность есть, Филофей Павлыч.

– И надобность даже! вот как приятно!

Он опять взял мою руку, подержал ее в обеих своих и взглянул на меня такими елейными глазами, что я так и ждал: вот-вот он меня сейчас соборовать начнет.

– Из Петербурга чего нет ли? – спросила между тем Маша Нонночку.

– Ничего еще... такая досада! Наш прокурор пишет, что министр за границей, так ждут его возвращения, чтоб о Поле доложить. А впрочем, обещает.

– Павел Федорыч шайку подмётчиков в наших местах накрыл, – объяснил мне Филофей

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik Павлыч, – организация целая... так вот награды себе ждет.

– Представьте, дядя, бог знает что хотели тут натворить! – прибавила Нонночка. – Поль пять человек в острог засадил!

– Да-с, собирались-таки, собирались-с! Дьячка от Спаса Милостивого сынок, да учительшка тут у Троицы есть, да господин Анпетов. Из Петербурга, говорят, лозунг у них был!

– Что ж они делали?

– Да охуждали-с. Промежду себя, конечно, ну, и при свидетелях случалось. А по нашему месту, знаете, охуждать еще не полагается! Вот за границей – там, сказывают, это можно; там даже министрами за охужденья-то делают!

– И такую кутерьму они натворили! – вступилась Машенька, – все было у нас тихо да смирно, а тут вдруг... пошли это спросы да допросы – весь околоток запутали! Даже мужиков от работы отбили – страх, что тут было.

– И всё Павел Федорыч раскрыл?

– Да, всё он, голубчик. Хочется у начальства на хорошее замечание попасть – ну, и старается! Много Нонночка от них, от негодяев, слез приняла.

– Еще бы! Ночь, спать хочется, а у Поля допросы идут!

– И какая, братец, умора была! Дьячков-то сын вдруг исчез! Ищут-ищут – сгинул да пропал, и все тут! А он – что ж бы ты думал! – не будь прост, да в грядках на огороде и спрятался. Так в бороздочке между двух гряд и нашли!

– Да... это... уморительно!

– Умора-то умора, а между прочим, и перепугались все. Так перепугались! так перепугались! Сперва-то с одного началось, а потом шире да глубже, глубже да шире... Всякий думает, что и его притянут! Иной и не виноват, да неверно нынче очень! Очень нынче неверно, ах, как неверно! Куда ступить, в какую сторону идти – никто этого нынче не знает!

– Выходит, стало быть, что оно и уморительно, да и не весело?

– Вы здесь, дядя, в одну неделю соскучитесь, – как-то некстати молвила Нонночка, – у нас даже и соседей настоящих нет. Прежде, говорят, очень весело в здешней стороне бывало: по три дня помещики друг у друга гащивали, танцевали, в фанты играли, свои оркестры у многих были. А нынче хорошие-то или повымерли, или в разные стороны разъехались – все эта эмансипация наделала! Только и остались, что сестрицы Корочкины, да вот мы, да еще старый Головель года с четыре поселился. А вы, маменька, не слыхали, как наши "сестрицы" себе женихов заманивают? У них на селе один офицер из нашего полка квартировал, так он рассказывал. Встанут утром, да и пойдут все три в Воплю купаться – прямо против его квартиры. И уж выделявают они штуки в воде, выделявают! А он стоит у окна да в бинокль смотрит!

– А ему, коли он благородный человек, отвернуться бы следовало или мать бы предупредить! – сентенциозно заметила Машенька.

– Есть радость жаловаться! Мать-то, может, сама и учила... Да и ему... какой ему резон себя представленья лишать? Дядя! вы у нас долго пробудете?

– Нет; сегодня в Чемезово еду, а завтра чем свет – в дорогу, в Петербург.

– В городе бы у нас побывали; на будущей неделе у головы бал – головиха именинница. У нас, дядя, в городе весело: драгуны стоят, танцевальные вечера в клубе по воскресеньям бывают. Вот в К. – там пехота стоит, ну и скучно, даже клуб жалкий какой-то. На днях в наш город нового землемера прислали – так танцует! так танцует! Даже из драгун никто с ним сравняться не может! Словом сказать, у всех пальму первенства отбил!

– Ах ты, танцевальщица! и сегодня вот танцы затеяла, а подумала ли, кто

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
музыку-то вам играть будет!

– Вы, маменька. Фортепьяно-то у нас не очень ведь расстроено?

– Не знаю; с тех пор, как ты уехала, не раскрывали. Да что же я вам играть-то буду? Как молода была – ну, действительно... даже варьяции игрывала, а теперь... Разве вот "Ah, mein lieber Augustin!" ["Ах, мой милый Августин!" (нем.)] вспомню, да и то навряд!

– Вспомните, вспомните... как-нибудь... А вы, дядя, отчего не танцуете?

– Склонности, друг мой, не имею.

– А вы принудьте себя. Не всё склонность, надо и другим удовольствие сделать. Вот папенька: ему только слово сказали – он и готов, а вы... фи, какой вы недобрый! Может быть, вы любите, чтобы вас упрашивали?

– Нет, уж сделай милость, уволь!

– Дядя! душка! хотите, я на колени перед вами встану?

– Коли охота есть на коленях стоять – становись!

– Фи, недобрый какой! а еще либералом считается! Дяденька! ведь вы либерал – ха-ха! Меня намеднись предводитель спрашивал: "Что это ваш дяденька-либерал как будто хвост поджал?.." в рифму, ха-ха!

В таком характере длился разговор в продолжение целого часа, то есть до тех пор, когда, наконец, явился Павел Федорыч с обоими Головлятами. Действительно, один был черненький, другой беленький. Оба шаркнули ножкой, подошли к Машеньке к ручке, а Нонночке и Филофею Павлычу руку пожали.

– Внучки Арины Петровны – чай, помнишь, братец! – отрекомендовала их мне Машенька. – Приятельница мне была, а во многих случаях даже учительница. А христианка какая... даже кончина ее... ну, самая христианская была! Пришла в праздник от обедни, чайку покушала, легла отдохнуть – так мертвенькую в постели и нашли!

На несколько минут все вдруг смолкли. Машенька вздыхала, Нонночка улыбалась и обменивалась с молодыми Головлевыми взглядами, которые очень смешили их.

– Поль! а скоро старый Головель своих Головлят с тобой отпустил? – первая прервала молчание Нонночка.

– Ну, нет, подумал-таки!

– Он, Нонна Савишна, боится, чтоб мы нечаянно в разврат не впали! – сказал беленький Головленок.

– Он нас, Нонна Савишна, нынче по утрам все просвирами кормит! – присовокупил черненький Головленок.

– Уж он крестил нас, крестил! Мы уж в коляску сели – а он все крестит. Как мост переехали, я нарочно назад оборотился, а он стоит на балконе и все крестит!

– Ах, молодые люди, молодые люди! – вступилась Машенька, – все-то бы вам покошунствовать! А разве худое дело – хоть бы просвиры! ведь они... божественные! Ну, или покрестить – отчего же и не перекрестить в путь шествующих!

– В путь шествующих... в Березники! – заметил Павел Федорыч, и все вдруг засмеялись.

Опять наступило молчание, и возобновилась прежняя игра глазами между молодыми людьми. Наконец уже около четырех часов доложили, что кушать подано, и все гурьбой потянулись в залу.

За обедом все языки развязались, и сделалось очень шумно, так что я начинал уже

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
терять надежду возобновить разговор о Коронате, как Нонночка совершенно
неожиданно помогла мне.

– От Короната Савича какой-нибудь новенькой выходки не получили ли? – обратилась она к матери.

– Нет, пока ничего... – ответила Машенька, слегка конфузясь и быстро взглядывая на меня.

– Вы знаете, дядя, что у нас в семействе нигилист проявился? – продолжала болтать Нонночка.

– Философ-с, – пояснил Филофей Павлыч, – юриспруденцией не удовлетворяется, считает ее за науку эфемерную и преходящую-с. В корень бытия проникнуть желает.

– Нет, в самом деле! Вы слышали, дядя, что Коронат Савич в Медицинскую академию перейти желает... ха-ха!

– Слышал. Но что же тут смешного?

– Как что смешного! Мальчишка в семнадцать лет – и сам себе звание определяет... ха-ха! Медиком быть хочу... ха-ха!

– Он, может быть, Нонна Савишна, ветеринаром быть желает. Нынче земские управы всё ветеринаров вызывают – так вот он и прочел! – сострил беленький Головлев.

– Ветеринаром – ха-ха! именно, именно ветеринаром! отлично! отлично! Вы – душка, Головлев! Папаша! пожалуйста, вы его в наш уезд ветеринаром определите! Я его к своей Бижутке годовым врачом приглашу!

Нонночка грохотала, и весь синклит вторил ей, кроме, впрочем, Машеньки, которая сидела, уткнувшись в тарелку, и Добрецова, который был серьезно-печален, словно страдал гражданским недугом.

– Я не имею чести знать Короната Савича, – обратился он ко мне, – и, конечно, ничего не могу сказать против выбора им медицинской карьеры. Но, за всем тем, позволяю себе думать, что с его стороны пренебрежение к юридической карьере, по малой мере, легкомысленно, ибо в настоящее время профессия юриста есть самая священная из всех либеральных профессий, открытых современному человеку.

– Почему же вы так думаете?

– А потому просто, что общество никогда так не нуждалось в защите, как в настоящее время.

– В защите? против чего?

– Против современного направления умов-с. Против тех незрелых и, смею так выразиться, нетерпимых теорий, которые предъявляются со стороны известной части молодого поколения, к которому, впрочем, имею честь принадлежать и я.

– Но ведь такого рода защиту могут и становые пристава оказать!

– Могут-с; но без знания дела-с.

– Отчего же? Ведь доискаться, что человек между грядами спрятался, или допросить его так, чтоб ему тепло сделалось, – право, все это становой может сделать если не лучше (не забудьте, на его стороне опыт прежних лет!), то отнюдь не хуже, нежели любой юрист.

– Да-с, но ведь факты, на которые вы указали, – ни больше ни меньше, как простые формальности. И даже печальные формальности, прибавлю я от себя. Их, конечно, мог бы с успехом выполнить и становой пристав; но ведь не в них собственно заключается миссия юриста, а в чем-то другом. Следствие будет мертво, если в него не вложен дух жив. А вот этот-то дух жив именно и дается юридическим образованием. Только юридическим образованием, а не рутиною-с.

– Гм... ежели вы с точки зрения "духа жива"... Скажите, пожалуйста, этот "дух

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
жив" – ведь это то самое, что в прежние времена было известно под именем "корней
и нитей"?

– И это-с. Вообще, юрист прежде всего обращает внимание не на частности, а на полноту общей картины, на тоны ее, на то, чтобы в ней, как в зеркале, отражалось действительное веяние среды и минуты. Что преступление не должно остаться безнаказанным – это, конечно, не может подлежать ни малейшему спору. Но главное все-таки – это раскрыть глаза самому обществу, указать ему на сущность и источник вредных поползновений и возбудить в нем желание самозащиты. Этот последний результат в особенности важен; в нем, я полагаю, заключается самое бесспорное доказательство преимущества современных юридических деятелей над прежними.

– Извините! я – человек старого покроя, и многое в современных порядках не совсем для меня ясно. Вот вы сейчас о самозащите упомянули: скажите, часто бывают доносы в ваших краях?

– Не доносы-с, а выражения общественной самопомощи-с.

– Ну, да; разумеется, самопомощи... Часто?

– Да, общество наше, по-видимому, с каждым годом яснее и яснее сознает свои права и обязанности.

– Гм... Конечно, это – не больше, как личное мое мнение, но я все-таки должен сознаться, что сердце мое больше лежит к станovým приставам. И даже именно потому, что у них мало юридического развития.

– Ну, это уж – дело вкуса-с.

Покуда мы таким образом беседовали, все остальные молчали. Нонночка с удовольствием слушала, как ее Польша разговаривает с дяденькой о чем-то серьезном, и только однажды бросила хлебным шариком в беленького Головлева. Филофей Павлыч, как глиняный кот, наклонял голову то по направлению ко мне, то в сторону Добрецова. Машенька по-прежнему не отрывала глаз от тарелки.

– А впрочем, – кинул Добрецов в заключение, – так как речь у нас началась с Короната Савича, то я считаю долгом заявить, что ничего против его намерений не имею. Медицинское поприще, и даже ветеринарное, как заметил мсье Головлев...

Достаточно было возобновления этой остроты, чтобы все засмеялись, и разговор наш прекратился. Машенька вздохнула свободно и, чтобы дать другое направление мыслям, обратилась к черненькому Головлеву с вопросом:

– Ну, а папенька как? Здоров?

– Как бык-с.

– Ну, и слава богу. Благочестивый ваш папенька человек. Вот я так не могу: в будни рано встаешь, а в воскресенье все как-то понежиться хочется. Ну, и не поспеешь в церковь раньше, как к Евангелию. А папенька ваш, как в колокол ударили – он уж и там.

– Он у нас сам первый в колокол и ударяет. Возьмет за веревку и зазвонит.

– Любит бога ваш папенька! нечего сказать – очень любит! Не всякий это...

– Он у нас с священником все полемику ведет! – как-то высунулся вперед, словно вынырнул, беленький Головлев.

– Старозаветный ведь поп-то у вас!

– Да, все на ектениях сбивается – ну, отец и поправляет, да вслух, на всю церковь! "Николаевну" – врешь: "Михайловну"!"

– Вот как!

– А то у нас такой случай был: в Егорьев день начали крестьяне попа по полю

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
катать – примета у них такая, что урожай лучше будет, если поп по полю
покатается, – а отец на эту сцену и нагрязнул! Ну, досталось тут всем на орехи!

– Скажите на милость – так вот у вас поп какой. Нет, у нас попик – ничего, чистенький. Всё "Труды" какие-то читает! Зато, может быть, ваш малым довольствуется, а наш за свадьбы больно дорого берет! Ни на что не похоже. Вот я земскому-то деятелю жаловалась: "Хоть бы вы, земство, за неимущих вступились!"

– Ничего-с, погодите. В губернию съездим – и попика к одному знаменателю приведем.

И вдруг, в самом разгаре "светского" разговора, Нонночку словно бес под бока толкнул.

– Дядя! вы давно ли Короната Савича видели? – обратилась она ко мне.

Машеньку даже передернуло всю.

– Нонночка! финиссё... лессе! – заговорила она по-французски (когда она терялась, то всегда прибегала к французскому языку), – ты видишь, что дяденьке этот разговор неприятен.

Нонночка с наивным изумлением взглянула сперва на меня, потом на мать, и вдруг что-то поняла.

– По-ни-маю! – пробормотала она как бы про себя, ворочая крупными, воловьими глазами, – так вот что! Беленький Головлик! расскажите-ка нам, как вас папенька от соблазнов оберегает?

– Во-первых, на ночь все входы и выходы собственноручно запирает на ключ; во-вторых, внезапно встает по ночам и подслушивает у наших дверей; в-третьих, афонский устав в Головлеве ввел, ни коров, ни кур – никакого животного женского пола...

Головлев долго что-то рассказывал, возбуждая общую веселость, но я уже не слушал. Теперь для меня было ясно, что меня все поняли. Филофей Павлыч вскинул в мою сторону изумленно-любопытствующий взор; Добрецов – язвительно улыбнулся. Все говорили себе: "Каков! приехал законы предписывать!" – и единодушно находили мою претензию возмутительною.

Под конец обеда гостей прибавилось: три девицы Корочкины поспели к мороженому. Наконец еда кончилась: отдавши приказание немедленно закладывать лошадей, я решил сделать последнюю попытку в пользу Короната и с этою целью пригласил Промптова и Машеньку побеседовать наедине.

– Филофей Павлыч, – начал я, когда мы уселись втроем в гостиной, – до вашего приезда я долго говорил с Машенькой, но, по-видимому, без успеха. Позвольте теперь обратиться к вам: может быть, ваш авторитет подействует на нее убедительнее...

Я взглянул на них: Филофей Павлыч делал вид, что слушает... но не больше, как из учтивости, Машенька даже не слушала; она смотрела совсем в другую сторону, и вся фигура ее выражала: "Господи! сказано было раз... чего бы, кажется!"

– Дело вот в чем, – продолжал я, – Коронат не чувствует в себе призвания к юридической карьере и желает перейти в Медицинскую академию...

– Так что же-с?

– Но для того, чтоб просуществовать в продолжение пяти лет академического курса, он нуждается в помощи...

– Что же-с! вот мать – права ее-с!

– Но матери кажется, что Коронат, поступая таким образом, выходит из повиновения родительской власти, что если она раз, по каким-то необъяснимым соображениям, сказала себе, что ее сын будет юристом, то он и должен быть таковым. Одним словом, что он – непочтительный.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

- Никогда я этого не говорила! – вдруг встрепенулась Машенька.
 - Помилуй, душа моя! да в этом весь и вопрос!
 - Никогда не говорила, что непочтительный! заблуждающий – вот это так!
 - Позвольте, Марья Петровна! допустимте, что вы даже сказали: "непочтительный!" Что же, сударь! И по-моему – довольно-таки близко около этого будет!
 - Послушайте! Коронату уж семнадцать лет, и он сам может понимать свои склонности. Вопрос о будущем, право, ближе касается его лично, нежели даже самых близких его родственников. Все удачи и неудачи, которые ждут его впереди, – все это его, его собственное. Он сам вызвал их, и сам же будет их выносить. Кажется, это понятно?
 - Помилуйте! даже очень-с! Но ведь и родителям тоже смотреть на свое детище... А впрочем, я – что же-с! Вот мать – права ее-с!
 - Но если б сын даже заблуждался, скажите; достаточная ли это для родителей причина, чтоб оставлять его в жертву лишениям?
 - Но если он сам на лишения напрашивается... А впрочем – вот мать-с!
 - Я должен сказать вам, что Коронат ни в каком случае намерения своего не изменит. Это я знаю верно. Поэтому весь вопрос в том, будет ли он получать из дома помощь или не будет?
 - Нет ему моего благословения по медицинской части! нет, нет и нет! – как-то восторженно воскликнула Машенька, – как христианка и мать... не позволяю!
 - Слушай, Машенька! ты готовишь для себя очень, очень горькое будущее!
 - Будущее, братец, в руке божией! – сентенциозно произнес Филофей Павлыч.
 - Машенька! я... я прошу тебя об этом!
 - Ах, братец!..
 - Неужели же ты так и остановишься на этом решении?
 - Голубчик! Пожалуйста... позволь мне уйти! Меня там ждут... потанцевать им хочется... Я бы поиграла... Право, позволь мне...
- Как раз, совсем кстати, в эту минуту в дверях гостиной показалась Нонночка и довольно бесцеремонно крикнула:
- Дядя! вы скоро их отысповедуете? Мы танцевать хотим!
- Ясно, что делать мне больше было нечего. Я вышел в залу и начал прощаться. Как и водится, меня проводили "по-родственному". Машенька даже всплакнула.
- Братец, – сказала она, – может, и еще в нашу сторону заглянешь – не забудь, ради Христа! заверни!
- Господин Добрецов сильно потряс мою руку и произнес:
- А мы вас почитываем!
- Нонночка, не желая отставать от других, сказала:
- Дядя! вы что ж меня не целуете... фи, недобрый какой!
- Филофей Павлыч проводил меня до крыльца и, поматывая головой, воскликнул:
- Что прикажете – женщина-с... А впрочем, мать – все права ее-с. Так и в законе-с...

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Покуда ящик собирал вожжи и подавал тарантас, в ушах моих раздалось:

A-ach, mein lieber Augustin!

Augustin, Augustin!

Дружный хохот, встретивший эту допотопную ритурнель, проводил меня до ворот.

* * *

Был час восьмой, когда я выехал от Промптовых, и в воздухе надвигались уже сумерки. Скоро мы въехали в лес, и с каждым шагом мгла становилась гуще и гуще. Казалось, что тени выползают из глубины лесной чащи, бегут за экипажем, хватаются за него. Я начал припоминать происшествия дня, и вдруг мне сделалось страшно. Целое море глупости, предрассудков, ничем не обусловленного упрямства развернулось перед глазами – море, по наружности тихое, но алчущее человеческих жертв. "Так уж", "нет уж" – невольно припоминалось мне, и сзади этих бессмысленных словесных обрывков появлялся упорствующий образ непочтительного Короната, на котором, по какой-то удивительной логике, непочтительность должна отозваться голодом, холодом и всяческими лишениями.

Но, как ни простодушна Машенька, однако и у нее нечаянно вырвалось меткое слово.

"Неверно нынче! – сказала она, – очень даже, мой друг, неверно! Куда ступить, в которую сторону идти – никто нынче этого не знает!"

Этим изречением я и заканчиваю.

В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ

Кроме Тебенькова, с которым я уже познакомил читателя, у меня есть еще приятель Максим Михайлыч Плешивцев.

Все трое мы воспитывались в одном и том же "заведении", и все трое, еще на школьной скамье, обнаружили некоторый вкус к мышлению. Это был первый общий признак, который положил начало нашему сближению, – признак настолько веский, что даже позднейшие разномыслия не имели достаточно силы, чтоб поколебать образовавшуюся между нами дружескую связь.

В то время, и в особенности в нашем "заведении", вкус к мышлению был вещь очень мало поощряемая. Высказывать его можно было только втихомолку и под страхом более или менее чувствительных наказаний. Тем не менее мы усердно следили за тогдашними русскими журналами, пламенно сочувствовали литературному движению сороковых годов и в особенности с горячим увлечением относились к статьям критического и полемического содержания. То было время поклонения Белинскому и ненависти к Булгарину. Мир не видал двух других людей, из которых один был бы столь пламенно чтим, а другой – столь искренно ненавидим. Конечно, во всем этом было очень много юношеского пыла и очень мало сознательности, но важно было то, что в нас уже существовало "предрасположение" к наслаждению более тонким и сложным, нежели, например, наслаждение прокатиться в праздник на лихаче или забраться с утра в заднюю комнату ресторанчика и немедленно там напиться. А именно этого рода наслаждениям страстно предавалось большинство товарищей.

Дружба, начавшаяся на школьной скамье, еще более укрепилась в первое время, последовавшее за выпуском из "заведения". Первое ощущение свободы было для нас еще большим ощущением изолированности. Большинство однокашников, с свойственной юности рьяностью, поспешило занять соответственные места: кто в цирке Гверры, кто в цирке Лежара, кто в ресторане Леграна, кто в ресторане Сен-Жоржа (дело идет о сороковых годах). С другой стороны, новые знакомства для нас мог представлять только чиновнический круг канцелярий, в которые мы поступили, но с этим кругом мы сходились туго и неохотно. Мы очутились втроем, ни с кем не видясь, не расставаясь друг с другом, вместе восхищаясь, пламенея и нимало не скучая унисонностью наших восхищений. Мы не спорили, даже не комментировали, а просто-напросто метафоризировали, чем в особенности отличался Плешивцев, человек, весь сотканый из пламени. Мы не подозревали, что за миром мысли и слова есть какой-то мир действия и игры страстей, мир насущных нужд и эгоистических вождлений, с которым мы, рано или поздно, должны встретиться лицом к лицу. Мы не думали, что этому дрянному миру суждено будет вызвать в

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
каждом из нас ту интимную подкладку, которая до сих пор оставалась безмолвной.
Что столкновение с ним может сделать из нас западников, славянофилов,
прогрессистов, консерваторов, федералистов, централизаторов и т.д. То есть лиц,
обладающих убеждениями, резкая противоположность которых заставляет иногда людей
ненавидеть друг друга.

Этот мир практической деятельности, существование которого мы так долго не
подозревали, представила нам провинция, в которую бросил нас естественный ход
нашей служебной карьеры. Служба разбросала нас по разным концам России и
положила конец нашим совместным восхищениям. В провинции мы выровнялись и
приобрели ту драгоценную деловую складку, которая полагает отдельную черту
между делом и убеждениями и позволяет первому идти вполне независимо от
последних. И когда мы, после долгих лет скитаний, вновь встретились в
Петербурге, то эта складка прежде всего бросилась в глаза и вновь сделалась для
нас соединительным звеном. Подкрепленная воспоминаниями прошлого, она помогла
нам вынести то разноречие в убеждениях, которое принесла нам жизнь. Мы очень
серьезно сказали себе: "Прежде всего - Россия! прежде всего - отечество,
призывавшее нас к обновительной деятельности! А потом уж - убеждения".

Это был самый удобный *modus vivendi* [образ жизни (лат.)] для того времени, когда
начальство везде искало "людей" и охотно давало им места с хорошим жалованьем.
Начальство было тогда снисходительное и сквозь пальцы смотрело на так называемые
убеждения. Только не допускайте резкостей, не призывайте к оружию, а затем
будьте хоть федералистом. Ведь ни сепаратизм, ни социализм не мешают писать
доклады, циркуляры, предписания и отношения. С такого-то часа до такого-то сиди
в фонарном переулке, развивай за стаканом чаю сепаратистические соображения
насчет самостоятельности Сибири, покрывай мир фаланстерами, а с такого-то часа
до такого-то сиди в департаменте и пиши бумагу о "воссоединениях", о средствах к
искоренению превратных толкований. Вот как думало тогдашнее начальство, и
думало, по мнению моему, правильно, потому что, несмотря на его
снисходительность по сему предмету, Сибирь все-таки и по настоящую пору не
отделена. Так же точно думали и мы. "Дело прежде всего!" - восклицали мы, - то
обновительное дело, которое, в звании мировых посредников, может одинаково
приютить и западников, и славянофилов, и централизаторов, и федералистов... и
фельдфебелей.

Как бы то ни было, но мы подросли с своею деловою складкой совершенно ко
времени, так что начальство всех возможных ведомств приняло нас с распростертыми
объятиями. В его глазах уже то было важно, что мы до тонкости понимали
прерогативы губернских правлений и не смешивали городских дум с городскими
магистратами. Сверх того, предполагалось, что, прожив много лет в провинции, мы
видели лицом к лицу народ и, следовательно, знаем его материальные нужды и его
нравственный образ.

- Мы, ваше превосходительство, народ-то не из книжек знаем! Мы его видели - вот
как (рука поднимается и ставится на недалеком расстоянии перед глазами, ладонью
внутрь)! мы в курных избах, ваше превосходительство, ночевывали! мы хлеб с
лебедой едали! - говорили мы бойко и весело.

По правде сказать, в этих словах была очень значительная доля преувеличения.
Окунувшись в тину провинциальной жизни, мы вовсе не думали ни о материальных
нуждах, ни о нравственном образе народа. Мы заседали в палатах и правлениях, мы
производили суд и расправу, мы ревизовали, играли в карты, ездили в мундирные
дни в собор, танцевали и т.д. Проезжая мимо базарной площади в присутствие или
мчась на почтовых мимо сел и деревень к месту производства следствия, мы столь
же мало видели народ, как мало видит его и любой петербуржец, проезжающий мимо
Сенной или Конной площади. Но, во-первых, провинция несомненно дала нам хотя
впечатление курной избы и серого зипуна. Во-вторых, провинциальная жизнь имеет
ту особенность, что она незаметно накапливает в человеке значительную массу
анекдотов, из совокупности которых составляется какое-то смутное представление о
том, что действительно кишит где-то далеко, на самом дне. И представление это,
если им ловко воспользоваться, может, при случае, сослужить службу великую.

Сверх того, в этом преувеличении немалое участие принимала и нервная
чиновничья впечатлительность. Трудно не снервничать, когда на лице начальника
видишь благосклонную улыбку, когда начальство, так сказать, само, под влиянием
нервной чувствительности, ко всякому встречному вопиет: "Искренности, только
искренности, одной искренности!"

Благонравен ли русский мужик? Привязан ли он к тем исконным основам, на которых зиждется человеческое общество? Достаточно ли он обеспечен в материальном отношении? Какую дозу свободы может он вынести, не впадая в самонадеянные преувеличения и не возбуждая в начальстве опасений? – вот нешуточные вопросы, которые обращались к нам, людям, имевшим случай стоять лицом к лицу с русским народом...

Согласитесь, что для людей, имеющих в виду сделать служебную карьеру, подобные вопросы – сущий клад.

Но мы, даже независимо от эгоистических соображений о карьере, имели полную возможность дать именно те ответы, которые всего больше подходили к веяниям минуты. Подобные ответы вырываются как-то сами собою. Бывают торжественные минуты, когда сердце подчиненного невольно настроивается в унисон с сердцем начальника и когда память, словно подкупленная, представляет целую массу именно таких фактов, которые наиболее в данный момент желательны. Это те минуты, когда в воздухе чутся особенно сильный запрос на подчиненную искренность. Тогда мысли зарождаются в голове мгновенно, слова льются из уст без удержки, и всё слова хорошие, настоящие. "Благонравен", "привязан", "обеспечен", "способен и достоин" и т.д. И мы видели, как, по мере наших ответов, тени, лежавшие на лицах наших начальников, постепенно сбегали с них и как эти люди, дотоле недоумевавшие, а быть может, и снедаемые опасениями, вдруг загорались уверенностью, что черт совсем не так страшен, как его малюют...

– Так что если, в видах пользы службы, несколько усилить власть исправников, то народ это вынесет?

– Совершенно вынесет, ваше превосходительство!

– А ежели распорядиться насчет упрочения основ при посредстве не отяготительной, но зрело соображенной системы штрафов, то народ и этим останется доволен?

– Совершенно доволен, ваше превосходительство!

– Ну, а ежели поприкинуть кой-что к повинностям... как вы думаете, это не произведет чувствительного влияния на народное благосостояние?

– Не только, ваше превосходительство, не произведет, но даже... ах, ваше превосходительство!

И так далее.

Одним словом, мы непререкаемыми фактами подтвердили все те предвидения и чаяния, которые смутно гнездились в сердцах петербургских начальников насчет "достоинств" и "способностей" русского мужика. В Петербурге надеялись, что русский человек гостеприимен – мы привели столько анекдотов насчет русского гостеприимства (некоторые анекдоты даже свидетельствовали о гостеприимстве с раскровенением), что отныне факт этот из области "видов и предположений" перешел в область самой неопровержимой действительности. В Петербурге предвидели, что русский человек патриархален – мы рассказали столько анекдотов из практики патриархальнейшего снохачества, что и этот факт утвердился на незыблемом основании. В Петербурге догадывались, что русский человек живет в полном удовольствии – мы и эту догадку подтвердили, рассказав, что многие мужики разводят гусей, уток и поросят... для себя.

Если бы мы не подтвердили всего этого, то очень может быть, что петербургские начальники огорчились бы, но, к счастью для нас, наши собственные наблюдения (по крайней мере, в том виде, как представляла их наша память) до того сходились с петербургскими предвидениями, что нам не приходилось даже лицемерить.

Повторяю: мы были искренны. Мы действительно видели в деревнях и гусей и уток, действительно знали множество примеров патриархального снохачества, действительно производили следствия о гостеприимстве с раскровенением. И по мере того как мы рассказывали наши анекдоты, в нас самих происходил психологический мираж, вследствие которого мужик становился перед нами словно живой. Мужик благонравный, патриархальный, трудолюбивый, мужик угодный богу и начальству не неприятный. И много прочувствованных слов сказали мы об этом мужике, и даже не

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik одну слезу пролили по поводу его. То были сладкие, нервные слезы, под тихое журчание которых незаметно, сами собой, устраивались наши служебные карьеры...

Тем не менее, как я сказал выше, в наших теоретических взглядах на жизнь существовало известное разноречие, которое хотя и сглаживалось общему нам всем деловой складкою, но совсем уничтожено быть не могло. Разноречие это, впрочем, имеет и свою хорошую сторону, потому что позволяет нам, в свободное от забот о служебной карьере время, разнообразить наши беседы живою полемикой по поводу бесчисленных вопросов, которыми так богата современная русская жизнь. Сегодня сойдемся, посидим, поспорим, наговорим друг другу колкостей, а завтра как ни в чем не бывало опять засядем за докладные записки, за циркуляры и предписания и даже будем подавать друг другу советы насчет вящего и успешнейшего подкузвления.

Я ничего не буду говорить о себе, кроме того, что во всех этих спорах и пререканиях я почти исключительно играю роль свидетеля. Но считаю нелишним обратить внимание читателей на Тебенькова и Плешивцева, как на живое доказательство того, что даже самое глубокое разномыслие не может людям препятствовать делать одно и то же дело, если этого требует начальство.

Оба они, как говорится, всегда *a cheval sur les principes* [во всеоружии принципов (франц.)], то есть прежде всего выкладывают свои принципы на стол и потом уже, отправляясь от них, начинают диспутировать. Но в самой манере того и другого относиться к собственным принципам замечается очень резкая разница. Тебеньков называет себя западником и в этом качестве не прочь прослыть за *esprit fort* [вольнодумца (франц.)]. Поэтому он относится к своим собственным принципам несколько озорно, и хотя защищает их очень прилично, но не нужно быть чересчур пронизательным, чтобы заметить, что вся эта защита ведется как будто бы "пур ле жанс", и что, в сущности, для него все равно, что восток, что запад, по пословице: была бы каша заварена, а там хоть черт родись. Вообще он никогда не забывает, что у него есть вицмундир, который хотя и висит теперь в шкафу, но который завтра все-таки придется надеть. Напротив того, Плешивцев, спрятавши свой вицмундир в шкаф, смотрит на себя как на апостола и обращается с своими принципами бережно, словно обедню служит. Как "почвенник", он верит в жизненность своих убеждений и при защите их всегда имеет в виду "русскую точку зрения". Вследствие этого в разгаре спора, Плешивцев называет Тебенькова "департаментской засушиной", "гнуснецом" и "паскудником", а Тебеньков Плешивцева - "юродствующим" и "блаженненьким".

- Тебе что! - говорит Плешивцев, - ты гнуснец! ты вот завтра встанешь, умоешься и смоешь с себя все, что случайно сегодня на тебя насело!

- Не знаю, - отвечает, в свою очередь, Тебеньков, - но думаю, что чистоплотность не лишнее качество... даже в юродствующем!

И только чувство деликатности мешает ему прибавить: "Блаженненький! ведь и ты каждый день умываешься в департаменте! да еще как умываешься-то!"

И Тебеньков, и Плешивцев - оба консерваторы. Ежели спросить их, в чем заключается их консерватизм, они, наверное, назовут вам одни и те же краеугольные камни, те самые, о которых вы услышите и в любой обвинительной речи прокурора, и в любой защитительной речи адвоката. Пойдите на улицу - вам объяснит их любой прохожий; зайдите в лавочку, любой сиделец скажет вам: "Кабы на человека да не узда, он и бога-то позабыл бы!" Все: и прокуроры, и адвокаты, и прохожие, и лавочники - понимают эти камни точно так же, как понимают их Плешивцев и Тебеньков. А между тем какое глубокое разномыслие разделяет их по этому коренному вопросу! Плешивцев утверждает, что человек должен быть консерватором не только за страх, но и за совесть; Тебеньков же объявляет, что прибавка слов "и за совесть" только усложняет дело и что человек вполне прав перед обществом и законом, если может доказать, что он консерватор "только за страх".

- Мне все равно, как ты подплясываешь, - говорит он, - за один ли страх, или вместе за страх и за совесть! Ты подплясываешь - этого с меня довольно, и больше ничего я не могу от тебя требовать! И не только не могу, но даже не понимаю, чтобы можно было далее, простирает свои требования!

- Ты не понимаешь, потому что ты паскудник! - возражает ему Плешивцев, - ты вот и выражения такие подыскиваешь, которые доказывают, что в тебе не душа, а

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik департаментская засушина! Это ты "подплясываешь", а я не подплясываю, а пламенею! Да, "пламенею", вот что.

– Ну, и пламеней! – подсмеивается Тебеньков.

И Тебеньков, и Плешивцев одинаково утверждают, что для человека необходима "почва", вне которой человек для обоих представляется висящим в воздухе. Но, высказавши это, Тебеньков объясняет, что "почва", в его глазах, не что иное, как *modus vivendi*, как сборник известных правил (вроде, например, "Искусства нравиться женщинам"), на которые человек, делающий себе карьеру, может во всякое время опереться. В жизни всякое может случиться. Начальство вдруг спросит: "А покажите-ка, молодой человек, есть ли у вас правила!"; родителю любимой особы взбредет на мысль сказать "Охотно отдали бы мы, молодой человек, вам нашу Катеньку, да не знаем, как вы насчет правил". Вот тут-то и может сослужить службу "почва", в том смысле, как понимает ее Тебеньков. Сейчас в карман, вынул книжку "Искусство нравиться начальникам" и тут же вымолвил: "Правила, ваше превосходительство, вот они-с". Словом сказать, "почва", по мнению Тебенькова, есть все то, что не воспрещено, что не противоречит ни закону, в его современном практическом применении, ни обычаям известной общественной среды. Если принято платить карточный долг на другой день по проигрыше – это "почва"; если можно воспользоваться несоблюдением тех или других формальностей, чтоб оттягать у соседа дом, – это тоже "почва". Просто, ясно и вразумительно. Однако Плешивцев не только не удовлетворяется этим объяснением, но называет его "паскудством". К сожалению, сам он под словом "почва" понимает что-то очень загадочное, и когда принимается определять его, то более вращает глазами и вертит руками в воздухе, нежели определяет, над чем Тебеньков очень добродушно смеется.

– А ну-ка, скажи! скажи-ка, что же, по-твоему, почва? – подзадоривает он Плешивцева.

– Ты паскудник, – горячится, в свою очередь, последний, – тебе этого не понять! Ты все на свой ясный паскудный язык перевести хочешь! Ты всюду с своим поганым, жалким умишком пролезть усиливаешься! Шиш выкусишь – вот что! "Почва" не определяется, а чувствуется – вот что! Без "почвы" человек не может сознавать себя человеком – вот что! Почва, одним словом, это... вот это!

И, высказавшись таким образом, делает жест, как будто копается где-то глубоко руками...

И Тебеньков, и Плешивцев – оба аристократы, то есть имеют, или думают, что имеют, кровь алую и кость белую. Предки Тебенькова доподлинно играли в истории роль: один был спальником, другой чашником, у третьего была выщипана по волоску борода. Насчет предков Плешивцева история была менее красноречива. Известно было только, что дед его был однажды послан светлейшим князем Потемкиным за две тысячи верст за свежую севрюжиной, исполнил это поручение с честью и с тех пор бойко пошел в ход. Но, одинаково признавая принцип аристократизма, Тебеньков и Плешивцев глубоко расходятся во взгляде на его основания. Тебеньков в основании аристократизма полагает право завоевания. "Первые дружинники – вот мои предки, – говорит он, – они свою кровью запечатали свое право, и я, их потомок, явил бы себя недостойным их, если б поступил хотя одним атомом этого дорогого добытого права!" Сверх того, под веселую руку, Тебеньков сознается, что аристократический принцип ему еще потому по душе, что вообще лучше пользоваться земными благами, нежели не пользоваться ими. И таким образом, он сообщает своим объяснениям какой-то материалистический, недостойный характер. Напротив того, Плешивцев основывает аристократизм на "любви". "Первые излюбленные люди – вот мои предки! – говорит он, – и я был бы недостойн их, если б поступил хотя частицей ореола народной любви, которая освятила права их!"

– Но ты забываешь, что у тебя никакой "любви" не было, а просто была севрюжина! – подсмеивается Тебеньков.

– Да ведь и тебе не мешало бы помнить, что и у тебя никакого "завоевания" не было, а был какой-то Митька Тебеньков, которому за "шатость и измену" выщипали бороду по волоску! – язвил с своей стороны Плешивцев.

И Тебеньков, и Плешивцев – оба религиозны, и оба очень усердно выполняют требуемые религией обряды. Оба утверждают, что общество без религии все равно что тело без души, но, в то же время, оба придают своей религиозной практике

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik глубоко различный смысл. Тебеньков стоит на почве государственной религии, говорит, что религия есть один из рычагов, которым государство имеет право пользоваться для своих целей. А лично о себе выражается, что он обязан быть религиозным, потому что должен подавать пример "пур ле жанс". Сверх того, он не скрывает, что религиозность не бесполезна, "как средство обратить на себя внимание начальства" (бывают такие эпохи, когда начальство вдруг все сплошь проникается набожностью, как бывают и такие, когда начальство сплошь проникается скептицизмом). С ним даже был очень любопытный случай в этом роде. Сначала в том ведомстве, где служил Тебеньков, был начальник esprit fort и любил крошечку покошунствовать. Вместе с ним крошечку же кошунствовал Тебеньков и получил (конечно, не за это собственно, но все-таки немножко по поводу этого) повышение. Потом на место прежнего esprit fort поступил новый начальник, который не только усердно посещал подведомственную ему домовую церковь, но даже любил петь на клиросе. Тогда Тебеньков являлся к самому началу службы и не без дерзости выбивал поклоны перед местного иконой. И тоже получил повышение. Ничего подобного Плешивцев не допускает: он религиозен без надежды на повышение. Он тоже считает государство немыслимым без религии, но видит в последней не "подспорье", как Тебеньков, а основание. И, вследствие этого, жалеет о временах патриархов. Религия, почва и любовь – вот триада, которой поклоняется Плешивцев и в которой он видит так называемую русскую подоплеку. Он не может более ясно определить, в чем собственно состоит эта подоплека, но ожидает от нее очень много.

– Ты проходимец! – говорит он Тебенькову, – ты постное жрешь, потому что знаешь, что князь Иван Семеныч посты блюдет! А я ем постное, потому что этим во мне действо русского духа проявляется! Вот ты и понимай!

– А кто в прошлое воскресенье князю Ивану Семенычу просвирку принес? – неожиданно, словно из пистолета, выстреливает в ответ Тебеньков.

– Я принес! Но не страха ради иудейска принес, а потому, что в этом приношении любви действо проявляется – вот что!

На это Тебеньков уже не возражает, а только потихоньку мурлыкает себе под нос:

A Provins, trou-la-la!

On recołte des roses

Et du jasmin, trou-la-la!

Et beaucoup d'autres choses...

[В Провансе, тру-ля-ля!

Собирают розы и жасмин, тру-ля-ля!

и многое другое... (франц.)]

И Тебеньков, и Плешивцев – оба разделяют человечество на пасущих и пасомых. Но Тебеньков видит в этом разделении простое требование устава благоустройства и благочиния, а Плешивцев и тут ухитряется примостить "любви действо". Тебеньков говорит: "Все не могут повелевать, надобно, чтобы кто-нибудь и повиновался". Плешивцев говорит: "Нет, это не так, это слишком сухо, черство, голо; это чересчур пахнет счетом, арифметикой". И предлагает в основание разделения людей на повелевающих и повинующихся положить принцип "любви". Повелевающие повелевают "любви ради", а покоряющиеся покоряются тоже "любви ради". И это первых ободряет, а последних утешает.

– Да на кой черт тебе эти ободрения и утешения! – спорит Тебеньков, – ведь суть-то в том, чтоб покоряющиеся покорялись – и ничего больше!

– Ты паскудник! ты этого не понимаешь! – отвечает Плешивцев, – ты всюду со своей арифметикой лезешь, из всего сухую формулу хочешь сделать, а для меня совсем другое важно. Для тебя животворящий принцип – палка! а для меня этого мало. И палка, сударь, нема, коли в ней любви действо не проявляется!

Наконец, и Тебеньков, и Плешивцев – оба уважают народность, но Тебеньков смотрит

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik на этот предмет с точки зрения армий и флотов, а Плешивцев – с точки зрения подоплеки. Оба говорят: "Есть ли на свете другой такой народ, как русский!" Но Тебеньков относит свои похвалы преимущественно к дисциплине, а Плешивцев – к смирению.

Таким образом, бойко и живо идут наши вечерние собеседования. Подчас, благодаря пламенности Плешивцева и язвительным замашкам Тебенькова, они угрожают перейти в серьезные стычки, но нас спасает уверенность, что наутро нам всем троим придется встретиться в департаменте и всем троим приняться за общее дело подкузвления. И таким образом, департаментская бездна пожирает все разномыслия и на все наши распри проливает умиротворяющий бальзам.

Если бы читатель спросил меня, чью сторону я держу во время этих полемических собеседований, я очень затруднился бы ответом на этот вопрос. Для меня вполне ясно только одно: что оба друга мои вполне благонамеренные люди. Оба признают необходимость "почвы", оба консерваторы, оба сторонники аристократического принципа, оба религиозны, оба разделяют человечество на пасущих и пасомых, оба уважают народность. Этого для меня вполне достаточно, чтоб находить их общество вполне приличным, а затем, каким процессом достались им эти убеждения и в какие закоулки каждый из них считает нужным зайти, чтоб подкрепить свой нравственный строй, – к этому я совершенно равнодушен.

Я думаю даже, что в их разномыслии скорее играет роль различие темпераментов, нежели различие убеждений. Плешивцев пылок и нетерпелив, Тебеньков рассудителен и сдержан. Плешивцев охотно лезет на стену, Тебеньков предпочитает пролезть в подворотню. Плешивцев проникает в человеческую душу с помощью взлома, Тебеньков делает то же самое с помощью подобранного ключа. Вот и все.

Иногда мне даже кажется, что передо мною лицедействуют два субъекта: прокурор, в пух и прах разбивающий адвоката, и адвокат, в пух и прах разбивающий прокурора. Оба эти человека очень серьезно взаимно считают себя противниками, оба от полноты сердца язвят друг друга и отнюдь не догадываются, что только счастливое недоумение не позволяет им видеть, что оба они, в сущности, делают одно и то же дело и уязвлениями своими не разбивают, а, напротив того, подкрепляют друг друга. На деле перед вами происходит замысловатая, но в то же время несколько шальная комедия, в которой граф, неизвестно зачем, разыгрывает роль лакея, а лакей, без всякого разумного основания, напяливает на себя графский фрак. Или нечто вроде встречи двух пьяных, которые, собственно говоря, имеют в виду только поцеловаться, но которых взаимные приставанья, обыкновенно сопровождающие процесс пьяного целования, нередко доводят до потасовки.

Говорят, будто Плешивцев искреннее, нежели Тебеньков, и, будто бы с этой точки зрения, он заслуживает более симпатии. Но, по-моему, они оба – равно симпатичны. Правда, я достоверно знаю, что если Плешивцеву придется кого-нибудь преследовать, то не мудрено, что он или на дыбу того человека вздернет, или на костре изжарит. Но я знаю также, что если и Тебенькову выдастся случай кого-нибудь преследовать, то он тихим манером, кроткими мерами... но все-таки того человека изведет.

Затем, если кто предпочитает перспективу дыбы и костра перспективе тихого и постепенного изведения, или наоборот, то это уж дело личного вкуса, относительно которого я судьей быть не берусь.

* * *

На днях наша дружеская полемика получила новую богатую пищу. В газетах появилась речь одного из эльзас-лотарингских депутатов, Тейтча, произнесенная в германском рейхстаге. Речь эта, очень мало замечательная в ораторском смысле, задела нас за живое внезапностью своего содержания. Никто из нас не ожидал, чтобы мог выступить, в качестве спорного, такой предмет, о котором, по-видимому, не могло существовать двух различных мнений. Этот оказавшийся спорным предмет – любовь к отечеству.

Из обращения Тейтча к германскому парламенту мы узнали, во-первых, что человек этот имеет общее *a tous les coeurs bien nes* [всем благородным сердцам (франц.)] свойство любить свое отечество, которым он почитает не Германию и даже не отторгнутые ею, вследствие последней войны, провинции, а Францию; во-вторых, что, сильный этою любовью, он сомневается в правильности присоединения Эльзаса и

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Лотарингии к Германии, потому что с разумными существами (каковыми признаются эльзас-лотарингцы) нельзя обращаться как с неразумными, бессловесными вещами, или, говоря другими словами, потому что нельзя разумного человека заставить переменить отечество так же легко, как он меняет белье; а в-третьих, что, по всем этим соображениям, он находит справедливым, чтобы совершившийся факт присоединения был подтвержден спросом населения присоединенных стран, действительно ли этот факт соответствует его желаниям.

"До сих пор было в обычае в этой палате, - говорил Тейтч, обращаясь к рейхстагу, - что ежели кто-нибудь возвышал голос в защиту угнетенных вами населений, то ему зажимали рот и карали его, как изменника отечеству (какому? вчерашнему или сегодняшнему?). Но изменник не тот, который проклинает неправду, а те, которых стремления к материальному преобладанию увлекают к попранию всякого права".

Оставим в стороне "проклинания неправды" и "попрания права"; пусть будут эти слова пустыми цветами красноречия, которые в людях, "стремящихся к материальному преобладанию", могут возбудить только веселый смех. Факт ясен и прост сам по себе: Тейтч любит свое отечество, то отечество, которое он с тех пор, как помнит себя, всегда считал таковым. С другой стороны, он обращается с этой любовью не к космополитам-теоретикам и не к каким-нибудь проходцам, которые вчера предлагали свои услуги американским рабовладельцам, сегодня предлагают их Дон Карлосу, а завтра предложат Наполеону IV или ватиканскому владыке. Нет, он обращается к таким же солидным людям, как и он сам, к членам рейхстага, из которых каждый отнюдь не меньше его любит свое отечество. И Тейтч, и эти люди стоят на одной и той же почве, говорят одним и тем же языком и об одном и том же предмете. Так что, например, если б Тейтч в стенах Берлинского университета защищал диссертацию на тему о любви к отечеству, то Форкенбек (президент рейхстага) не только не оборвал бы его и не пригрозил бы ему призывом к порядку, но первый же с восторгом объявил бы его доктором отечестволюбия.

Между тем здесь, в стенах рейхстага, где, по всем правам, любовь к отечеству должна бы ожидать для себя торжественного практического подтверждения, - тут-то именно и происходит нечто совершенно неожиданное. Люди этого собрания, так горячо любящие свое отечество, не только не поощряют Тейтча, не только не приглашают его дать полезный урок "беспочвенному космополитизму", но, напротив того, глумятся над Тейтчем, как над блаженненьким, осыпают его насмешками и бранью, как будто он самый вредный из вреднейших членов интернационалки. Они скорее готовы примириться с архиепископом Ресом, с этим не помнящим родства субъектом, явившимся в рейхстаг во имя интересов папства, нежели с чудачком, который никак не может позабыть, что у него недавно было нечто такое, что он называл своим отечеством!

Как они смеялись над ним! Как весело провели они эти полчаса, в продолжение которых Тейтч, на ломаном немецком языке, объяснял, как сладко любить отечество и как сильна может быть эта любовь! И что всего замечательнее: они смеялись во имя той же самой "любви к отечеству", именем которой и Тейтч посылал им в лицо свои укоры!

Что скажут об этом космополиты! Что подумают те чистые сердцем, которые, говоря об отечестве, не могут воздержаться, чтобы не произнести: "Да будет забвенна десница моя, ежели забуду тебя, Иерусалиме!" Как глубоко поражены будут те пламенные юноши, которых еще в школе напивали высокими примерами Регулов и Муциев Сцевола, которые еще в колыбели засыпали под сладкие звуки псалма: "На реках вавилонских, тамо седохом и плакахом"?!

О чем "плакахом"? Увы! нынче нет ни Иерусалима, ни Регулов, ни Муциев Сцевола! Зато есть хохочущий рейхстаг, есть президент Форкенбек, осушающий непрошеные слезы призывом к порядку, есть Бисмарк, освежающий разгоряченную воспоминаниями об утраченном "Иерусалиме" голову насмешкою, почерпнутою из устава о благоустройстве и благочинии!

Происшествие это тем более затронуло нас, что наше время есть по преимуществу время превратных толкований, которых мы, как известно, боимся до страсти. Не далее как накануне Плешивцев написал и представил князю Ивану Семенычу проект циркуляра, в котором, именно ввиду постоянного распространения "превратных толкований", любовь к отечеству рекомендовалась вниманию начальствующих лиц, как такое чувство, которое заслуживало со стороны их особого внимания и поощрения. "Любовь к отечеству, - писалось в этом проекте, - родит героев. Она

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
возвышает нравственную температуру человека, изодряет его ум и делает его
способным не только к подвигам личной самоотверженности, но и к изобретению
орудий с целью истребления врагов... Науки обязаны ей своим непрерывным
развитием, чему примером служит Ломоносов, который, будучи рожден в податном
состоянии, умер в чине статского советника... Но наипаче существенным
оказывается ее влияние при отправлении денежных и натуральных повинностей, ибо
только при деятельном содействии сего жизненного стимула достигается
безнедоимочное поступление принадлежащих казне сборов... То же должно сказать и
о бедствиях, которые, в форме повальных болезней, неурожаев и проч., постигают
человеческий род и которые поистине были бы непереносны, если б бедствующему
человеку не являлась на помощь любовь к отечеству, споспешествуемая благотворным
сознанием, что закон неукоснительно преследует людей, не умеющих быть твердыми в
бедствиях". В заключение изъяслялась надежда, "что, по всем этим соображениям,
ваше превосходительство не оставите обратить ваше просвещенное внимание на столь
важный предмет и в согласность сему озаботитесь сделать распоряжение, дабы в
пределах вверенного вам ведомства упомянутое чувство воспитывалось и охранялось
со всею неуклонностью и дабы превратным толкованиям были пресечены все способы к
омрачению и извращению оною".

Эта бумага была плодом заветнейших замыслов Плешивцева. Он писал ее по секрету и
по секрету же сообщил об ней лишь одному мне. Читая ее, он говорил: "Я здесь -
Плешивцев! понимаешь? Плешивцев, а не чиновник!" И затем представив свою работу
князю Ивану Семенычу, он даже несколько побаивался за ее судьбу.

- Заметь, братец, - говорил он, - об государстве ни одного слова! Отечество - и
баста!

- Да, браг, это - штука! - отвечал я, с своей стороны.

Тем не менее надежда на успех все-таки была, хотя, должно сознаться, она
основывалась преимущественно на каламбуре. Предполагалось, что в департаментской
практике некоторые выражения до такой степени осинонимизировались, что нужно
было нарочито подыскиваться, чтоб употребленная Плешивцевым тонкость могла быть
понята. К числу таких однородных выражений принадлежали "отечество" и
"государство", которые в департаменте употреблялись не только безразлично, но
даже чередовались друг с другом, в видах избежания частых повторений одного и
того же слова. Поэтому Плешивцев имел очень веские основания надеяться.

- Не догадаются! - таинственно шептал он мне.

- Не догадаются! - от всей души откликнулся и я. С другой стороны, и Тебенков не
дремал, но тоже по секрету представил князю Ивану Семенычу проект циркуляра, о
котором тоже сообщил только мне. Там писалось: "Любовь к отечеству, чувство,
бесподобное само по себе, приобретает еще больше значения, если взглянуть на
него как на одно из самых могущественных административных подспорьев... Будучи
эксплуатируемо с осторожностью, но неукоснительно, оно незаметно развивается в
чувство государственности, сие же последнее, содейвая управляемых способными к
быстрому постижению административных мероприятий, в значительной степени
упрощает механизм оных и чрез то, в ближайшем будущем, обещает существенные
сокращения штатов, причем, однако ж, чиновники усердные и вполне благонадежные
не токмо ничего не потеряют, но даже приобретут... Главнейшее же внимание должно
быть обращено на то, дабы отечество, в сознании управляемых, ни в каком случае
не отделялось от государства и дабы границы сего последнего представлялись оным
яко непрменные и естественные границы первого... История всех образованных
государств, с самой глубокой древности и до наших времен, доказывает, сколь
полезны бывали внушения сего рода, не токмо в години бедствий, не переставших и
поныне периодически удручать род человеческий, но и во всякое другое,
благоприятно для административных мероприятий время. А посему ваше
превосходительство не оставите обратить на сей важный предмет ваше просвещенное
внимание и в согласность сему озаботитесь сделать зависящие распоряжения, дабы в
пределах вверенного вам ведомства упомянутое чувство любви к отечеству
развивалось и охранялось со всею неуклонностью и дабы превратным толкованиям
были пресечены все способы к омрачению в извращению оною".

Итак, оба друга мои сочинили по циркуляру. От одного разило государственностью,
в другом очень осторожно, но в то же время очень искусно был пущен запах
подоплеки. А так как я лично оплошал, то есть никакого циркуляра не сочинил, то
мне оставалось только выжидать, который из моих приятелей восторжествует.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

И вдруг в газетах появляется речь Тейтча, которая на все плешивцевские махинации проливает яркий свет!

– Не пройдет! нечего и думать! – шепнул мне Плешивцев еще утром, как только прочитал газетное известие.

Напротив того, Тебеньков сделался веселее и самоувереннее обыкновенного.

– Теперь мое дело в шляпе, – сказал он мне, – придется, может быть, несколько почистить: "отечества" поурезать да "государственности" поприпустить – и готово!

Вечером мы все были в сборе; но долгое время, словно сговорившись, не приступали к интересовавшему нас предмету. Плешивцев молча ходил взад и вперед по комнате, ерошил себе волосы, как бы соображая, нельзя ли и "подоплеку" соблюсти, и рейхстагу германскому букетец преподнести. Я ни о чем особенном не думал, но в ушах моих с какою-то мучительной назойливостью звенело: вот тебе и "седоном и плакахом"! Тебеньков тоже молчал, но это было молчание, полное торжества, и взгляд его глаз, и без того ясных, сделался до такой степени колюч, что меня подирал мороз по коже.

– Однако, чудеса на свете делаются! – сказал наконец я, чтобы завязать разговор.

– Да, брат! ничего не поделаешь! – отозвался Плешивцев, – вот она! вот она, подоплека-то, где сказалась!

– Encore cette malheureuse podoplioka! [Снова эта несчастная подоплека! (франц.)] – весело воскликнул Тебеньков,

– Не прогневайтесь, Александр Петрович! Малёрёз подоплиока – это так точно-с! С канканчиком-с, с польдекоковщиной-с, с гнильцой-с, с государственным обезличеньем-с! Вот им, обладателям этой малёрёз подоплиока, и говорят, не трудитесь, мол, насчет отечества прохаживаться, потому что ваше отечество в танцклассе у Мариинкевича... да-с!

– Жолі! [Прекрасно! (франц.)]

– Жолі или не жолі, а только это так-с. С канканчиком, конечно, можно еще как-нибудь на идею государства – вашего, Александр Петрович, тебеньковского государства! – набрести, ну, а отечество – это штука помудреннее будет.

Я был смущен. Я знал, что со стороны Тебенькова оправдание претерпенной Тейтчем неудачи не только возможно, но и вполне естественно, но, признаюсь, выходка Плешивцева несколько изумила меня.

– Как! и ты, Плешивцев! – воскликнул я, – и ты, значит, оправдываешь этот веселый хохот над человеком, огорченным потерей отечества?

– Ничего, братец, не поделаешь! Когда у людей, вместо подоплеку, канканчик...

– Послушай, душа моя! зачем же ты приплетаешь сюда какой-то канканчик? Ведь у французов не один же канкан! Есть у них и своя цивилизация, и своя литература, и своя промышленность! Всего этого, право, очень достаточно, чтобы в человеке получилось представление о той совокупности вещей и явлений, из которой выводится идея отечества! Посмотри! не прошло трех лет после разгрома, а почти не заметно и следов его! Уплатили пять миллиардов немцу, а сколько еще миллиардов потребовалось, чтоб собственные внутренние раны залечить! И все это совершилось воочию! Какая сила! Какое неистощимое богатство!

– И богатство есть, и фабрики, и заводы; даже полиция есть. Но чтоб была цивилизация – вот с чем я никогда не соглашусь! Плоха, брат, та цивилизация, от которой мертвечиной пахнет, в которой жизни духа нет!

– "Жизни духа, духа жизни"! – поддразнил Тебеньков.

– Да-с, Александр Петрович, ни жизни духа, ни духа жизни – ничего, кроме гнили-с! А потому и не жалуйся, гнилой человечешко, что его в полон взяли! Не сетуй, не растабарывай насчет отечества, которого у тебя нет!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Но ты забываешь, что Франция, в продолжение многих столетий, была почти постоянно победительницей, что французские войска квартировали и в Берлине, и в Вене...

– Et Moscou donc! [и даже в Москве! (франц.)] – озорно отозвался Тебеньков.

– Шиш взяли!

– Что этот самый Эльзас, эта самая Лотарингия были когда-то немецкими провинциями?

– Ну да, и в Берлине были, и в Вене были, и Эльзас с Лотарингией отобрали у немцев! Что ж! сами никогда не признавали ни за кем права любить отечество – пусть же не пеняют, что и за ними этого права не признают.

– Постой! это другой вопрос, правильно или неправильно поступали французы. Речь идет о том, имеет ли француз настолько сознательное представление об отечестве, чтобы сожалеть об утрате его, или не имеет его? Ты говоришь, что у французов, вместо жизни духа – один канкан; но неужели они с одним канканом прошли через всю Европу? неужели с одним канканом они офранцузили Эльзас и Лотарингию до такой степени, что провинции эти никакого другого отечества, кроме Франции, не хотят знать?

– Все это был один пьяный порыв! А вот как их приперли, хорошенько да показали, что есть на свете ружья почище шасспо, – на дне-то порыва и оказалась гниль!

– Гниль! что же это за слово, однако ж! Третий раз ты его повторяешь, а ведь, собственно говоря, это совсем не ответ, а простой восклицательный знак! Ты оставь метафоры и отвечай прямо: имел ли германский рейхстаг основание не признавать за Тейтчем право любить свое отечество!

– Да я с того и начал, что сказал: вот она, подоплека-то! вот как она дала себя почувствовать!

– "Подоплека"! "Гниль"! Воля твоя, а это не разговор!

– Господин Плешивцев, конечно, полагает, что чебоксарская подоплека (Плешивцев был родом из Чебоксар) будет мало-мало подобротнее, нежели французская! – уязвил Тебеньков.

– Да-с, подобротнее-с! Чебоксарская подоплека не дерет глотки, а постоит за себя! Да-с, постоит-с! Мы, чебоксарцы, не анализируем своих чувств, не взвешиваем своих побуждений по гранам и унциям! Мы просто идем в огонь и в воду – и всё тут! И нас не отберут, как каких-нибудь эльзасцев-с! Нет-с, обожгутся-с!

Тебеньков на эту диатрибу только свистнул в ответ и, улегшись с ногами на диван, замурлыкал себе под нос из "m-me Angot" ["Мадам Анго" (франц.)]:

Elle est tellement innocente

Quelle ne comprend presque rien!

[Она так невинна, что почти ничего не понимает! (франц.)]

Я тоже недоумевал. Я мысленно спрашивал себя, в какой степени возможно продолжение разговора, предмет которого грозит перейти на чебоксарскую почву? Можно ли, например, оспаривать, что чебоксарская подоплека добротнее французской? не будет ли это противно тем инстинктам отечестволюбия, которые так дороги моему сердцу? не рассердит ли это, наконец, Плешивцева, который хоть и приятель, а вдруг возьмет да крикнет: "караул! измена?!" И ничего ты с ним не поделаешь, потому что он крепко стоит на чебоксарской почве, а ты колеблешься! Хороши Чебоксары, прекрасен Наровчат, но когда перед тобой начнут сравнивать их с Парижем в ущерб последнему – тебе все-таки совестно. А ему, Максиму Михайлову Плешивцеву, потомку майора, ездившего за две тысячи верст за севрюжиной для Потемкина, не только не совестно, но он даже цветнее от этих сравнений делается!

Тем не менее вопрос, о котором зашла у нас речь, представлял для меня такой

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
интерес, что я решил довести нашу беседу до конца, хотя бы даже Плешивцев и обвинил меня в измене.

– И так, ты в целой Франции, в ее истории, в ее гении ничего не видишь, кроме "La belle Helene"? – сказал я вновь.

– Ничего!

– "La belle Helene"? Mais je trouve que c'est encore ties joli Га! ["Прекрасная Елена"? А я нахожу, что и это еще хорошо! (франц.)] Она познакомила нашу армию и флоты с классической древностью! – воскликнул Тебеньков. – На днях приходит ко мне капитан Потугин: "Правда ли, говорит, Александр Петрович, что в древности греческий царь Менелай был?" – "А вы, говорю, откуда узнали?" – "В Александринке, говорит, господина Марковецкого на днях видел!"

– Вот она... французская-то цивилизация! Смотри на него! любуйся! – трагически произнес Плешивцев, протягивая руку по направлению Тебенькова.

– А ты хочешь от меня примеров чебоксарской цивилизации! Успокойся, душа моя! их много найдется и во Франции! Есть, голубчик, есть! Вспомни лурдские богомолья, вспомни парэ-ле-мониальское посвящение Иисусову сердцу! Право, хоть сейчас в Чебоксары!

– И в самом деле! – ободрился я, – ведь это тоже своего рода подоплека!

– И даже едва ли не более добротная, нежели чебоксарская! По крайней мере, это подоплека, выразившаяся независимо от начальственных поощрений, тогда как, если взглянуть пристальнее в чебоксарскую подоплеку, то наверное увидишь на ней следы исправника или станového!

– А ведь это правда, что чебоксарская-то подоплека немного тово... как будто помята руками особ, на заставах команду имеющих... что ты скажешь на это, Плешивцев?

– Что говорить! Шутить изволите – ну и шутите!

– Хорошо. Будем говорить серьезно, – сказал Тебеньков. – Отбросим в сторону "подоплеку", "гнили", "жизни духа" и другие метафоры, которыми ты так охотно уснащаешь свой разговор, и постараемся резюмировать сущность сказанного тобой по поводу похождения господина Тейтча в германском рейхстаге. Эта сущность, выраженная в грубой, но правдивой форме, заключается в следующем: человек, который в свои отношения к явлениям природы и жизни допускает элемент сознательности, не должен иметь претензии ни на религиозность, ни на любовь к отечеству? Est-ce Га, mon vieux? [Так ли, старина?(франц.)]

– Са да не да [Так, да не так (франц.)]. Сознательность бывает разная. Я, например, сознаю себя русским – это сознательность здоровая, сильная, освежающая. Но ежели сознательность родит Тебеньковых... извини меня, я такой сознательности и уважать не могу!

– Благодарю – не ожидал! Так что, например, ежели я не верю, что будущий урожай или неурожай зависит от того, катали или не катали попа по полю в Егорьев день, как верят этому господа чебоксарцы, то я не могу называть себя религиозным человеком? Так ведь?

– Продолжайте, Александр Петрович, продолжайте!

– Но ведь это логически выходит из всех твоих заявлений! Подумай только: тебя спрашивают, имеет ли право француз любить свое отечество? а ты отвечаешь: "Нет, не имеет, потому что он приобрел привычку анализировать свои чувства, развешивать их на унцы и грани; а вот чебоксарец – тот имеет, потому что он ничего не анализирует, а просто идет в огонь и в воду!" Стало быть, по-твоему, для патриотизма нет лучшего помещения, как невежественный и полудиккий чебоксарец, который и границ-то своего отечества не знает!

– Для того чтобы любить родину, нет надобности знать ее географические границы. Человек любит родину, потому что об ней говорит ему все нутро его! В человеке есть внутреннее чутье! Оно лучше всякого учебника укажет ему те границы, о

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
которых ты так много хлопчешь!

– То есть, не столько "внутреннее чутье", сколько начальственное распоряжение. Скажет начальство чебоксарцу: вот город Золотоноша, в котором живут все враги; любезный чебоксарец! возьми и предай Золотоношу огню и мечу! И чебоксарец исполнит все это.

– Врешь ты! Этого не может быть!

– Это было, Плешивцев. Вспомни удельный период: вспомни в позднейшее время Тверь, Новгород, Псков...

– Это совсем не то! это были уособицы! это были внутренние неурядицы! это...

Ясно было, что Плешивцев окончательно начинает терять хладнокровие, что он, вообще плохой спорщик, дошел уже до такой степени раздражения, когда всякое возражение, всякий запрос принимают размеры оскорбления. При таком расположении духа одного из спорящих первоначальный предмет спора постепенно затемняется, и на сцену бог весть откуда выступают всевозможные детали, совершенно ненужные для разъяснения дела. Поэтому я решил напомнить друзьям моим, что полемика их зашла слишком далеко.

– К вопросу, господа! – сказал я, – Вопрос заключается в следующем: вследствие неудач, испытанных Францией во время последней войны, Бисмарк отнял у последней Эльзас и Лотарингию и присоединил их к Германии. Имеет ли он право требовать, чтобы жители присоединенных провинций считали Германию своим отечеством и любили это новое отечество точно так, как бы оно было для них старым отечеством?

– Не Бисмарк, а народ! понимаешь! не германское государство, которое воплощает собою Бисмарк, а германский народ!

– А народ германский, стало быть, имеет это право?

– Имеет.

– На каком же основании?

– А на том основании, что его нравственная физиономия выше, нежели нравственная физиономия какого-нибудь эльзасца, воспитанного в растлевающей французской школе!

– Послушай! но ведь это своего рода дарвинизм, своеобразный, но все-таки дарвинизм. По твоему мнению, организм более нравственный имеет право поработать организм менее нравственный?

– Не поработать, а преображать, просветлять. Для развращенного, лишенного нравственной подкладки эльзасца это не поработание, а просветление. Да-с.

– Но кто же судья в этом деле? кому принадлежит право решать, какой организм более нравствен и какой организм менее нравствен!

– Судья в этом деле – совесть самого более нравственного организма, его собственное сознание принадлежащего ему права и как результат этого сознания – успех.

– Так что, если, например, ты признаешь себя относительно меня и Тебенькова более нравственным организмом, то ты имеешь право просветлять нас по всей твоей воле?

– Имею-с.

– И немцы имеют право сказать эльзасцам: отныне вы обязываетесь любить нас?

– Имеют-с. И не только имеют основание теоретически заявить об этом праве, но и достигать его осуществления. И достигнут-с.

– Так что ежели эльзасцы будут продолжать упорствовать...

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– То они докажут этим, что для них нужна школа. И получают ее.

– Mais c'est juste ce que je dis: [я так и говорю (франц.)] люби не люби, а подплясывай! – вставил Тебеньков.

– Но ты забыл, душа моя, что присоединение Эльзаса и Лотарингии есть результат войны, что шансы войны подвержены множеству случайностей! ты забыл, что случайности эти одинаковы для всех и что таким образом и Чебоксары могут подвергнуться процессу просветления... Опомнись!

– Не случайности, а пути провидения! Слышишь! Я не признаю случайностей! Я знаю только провидение!

– Но Чебоксары?..

Это был крик моего сердца, мучительный крик, не встретивший, впрочем, отзыва. И я, и Плешивцев – мы оба умолкли, как бы подавленные одним и тем же вопросом: "Но Чебоксары?!" Только Тебеньков по-прежнему смотрел на нас ясными, колючими глазами и втихомолку посмеивался. Наконец он заговорил.

– Господа! – сказал он, – к удивлению моему, я с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что как ни беспощадна полемика, которую ведет против меня наш общий друг Плешивцев, но, в сущности, мы ни по одному вопросу ни в чем существенном не расходимся. Он требует для человека почвы, и я требую для человека почвы. Он признает, что есть известные основы, без которых общество не может существовать, и я признаю, что есть известные основы, без которых общество не может существовать. Он уважает религию, и я уважаю религию. Он консерватор, и я консерватор. Разница между нами заключается в том, что я употребляю некоторые выражения, которые не по душе Плешивцеву, а он употребляет некоторые выражения, которые не по душе мне. Но смею думать, что это только диалектические особенности, ибо, ежели резюмировать наши убеждения в кратчайшей форме, отрешив их от диалектических приемов, а особенно ежели взять во внимание те практические применения, которые эти убеждения получают, проходя сквозь горнило департамента, в котором мы оба служим, то, право, окажется, что вся наша полемика есть не что иное, как большое диалектическое недоразумение. Мы оба требуем от масс подчинения, а во имя чего мы этого требуем – во имя ли принципов "порядка" или во имя "жизни духа" – право, это еще не суть важно, blanc bonnet, bonnet blanc [Что в лоб, что по лбу(франц.)] – вот и всё. Следовательно, нам нужно только отказаться от некоторых мудреных и малоупотребительных выражений – и все недоразумения исчезнут. Не правда ли, Плешивцев? Скажи по совести, ведь мы можем подать друг другу руки?

Сказавши это, Тебеньков протянул Плешивцеву руку, но последний не принял ее.

– Ну, нет! Это стара штука! – сказал он, – это спор старый! Он еще при Петре начался! Тут не одними мудреными словами пахнет! Тут есть кой-что поглубже!

– Очень жаль, что наружное разномыслие наше должно продолжаться без срока, хотя, повторяю, разномыслие это чисто наружное и отнюдь не мешает полному внутреннему нашему единомыслию. Да, мой друг! что ни говори, а все эти "подоплеки", все эти "жизни духа" – все это диалектические приемы того же устава благочиния, во имя которого ратую и я. Тебе по сердцу "просветление", мне – "административное воздействие", но и в том и в другом случае, в конце концов, все-таки прозревается военная экзекуция. Тебе нравится московский период государства российского, мне нравится петербургский период государства российского, но оба и несомненно мы имеем в виду одну и ту же государственность. Не правда ли?

Ответа на этот вопрос не последовало.

– Итак, будем продолжать. Ты говоришь: "Эльзас-лотарингцы обязываются примириться с тем положением, в которое поставили их результаты войны, и не имеют права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельств подарила их отечеством новым". Я говорю: "Эльзас-лотарингцы обязываются примириться с тем положением, в которое поставили их результаты войны, и не имеют права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельств подарила их отечеством новым". Воля твоя, но мы говорим совершенно одно и то же!

– Ты позабыл исходные пункты... малость!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– То есть некоторые диалектические приемы...

– Нет, не диалектические приемы, а исходные пункты! Понимаешь! Исходные пункты!

– Ну да, я их-то и называю диалектическими приемами. Потому что если б наши исходные пункты были действительно разные, то и результаты их были бы разные. Но этого нет, а следовательно, при одинаковых результатах, какая же надобность знать, откуда кто отправляется: с Плющихи ли в столичном городе Москве, или с Офицерской в столичном городе Петербурге?

Это было ясно. В сущности, откуда бы ни отправлялись мои друзья, но они, незаметно для самих себя, фаталистически всегда приезжали к одному и тому же выходу, к одному и тому же практическому результату. Но это была именно та "поганая" ясность, которая всегда так глубоко возмущала Плешивцева. Признаюсь, на этот раз она и мне показалась не совсем уместною.

– К делу, Тебеньков, к делу! – сказал я, – говори, правы ли, по твоему мнению, члены германского рейхстага, так весело насмеявшиеся над Тейтчем?

– То есть, вот видишь ли: я никогда не одобряю неделикатности, и, по мнению моему, смеяться над огорченным человеком, во всяком случае, непростительно. *C'est bourgeois, c'est mesquin* [Это мещанство, это мелко (франц.)]. Но я не могу все-таки не сказать, что в настоящем случае смех имеет в свою пользу смягчающие обстоятельства. Помилуй! что же может быть постылее, как назойливость по поводу выеденного яйца! Люди занимаются делом, обсуждают новый закон о книгопечатании, предпринимают реорганизацию армий и флотов, а к ним лезут с протестами против бесповоротного удара судьбы!

– Но как же все это согласить с тем... ну, с тем циркуляром... в котором любовь к отечеству...

– Ah! mais entendons-nous, mon cher! [Но согласимся, дорогой мой! (франц.)] Отечество любить обязательно, но необходимо все-таки объяснить себе, что такое это обязательно любимое отечество?

– Что же, по-твоему, это отечество?

– Eh bien, nous y arrivons [Вот мы и добрались до сути (франц.)]. Возражая Плешивцеву, я упомянул о необходимости иметь точные сведения о географических границах. По моему мнению, вот вещь, необходимая для совершенно ясного определения пределов ведомства любви к отечеству, вот вещь, без точного знания которой мы всегда будем блуждать впотьмах.

– Так что, например, болгары, сербы... при настоящем положении границ Турецкой империи... должны считать Турецкую империю своим отечеством и должна любить ее?

– Позволь на этот раз несколько видоизменить формулу моего положения и ответить на твой вопрос так: я не знаю, должны ли сербы и болгары любить Турецкую империю, но я знаю, что Турецкая империя имеет право заставить болгар и сербов любить себя. И она делает это, то есть заставляет настолько, насколько позволяет ей собственная состоятельность.

– Но это ужасно! стало быть, если граница России идет до Эмбы, я должен любить ее до Эмбы? а ежели эта граница идет только до Урала, то я должен любить только до Урала?

– *C'est triste, mais e'est vrai* [Печально, но это так (франц.)].

– Но Чебоксары?! Опомнись, душа моя! Ведь географические границы – дело наживное! Ведь таким образом Ветлуга, Малмыж, Чебоксары...

На этом наш разговор кончился. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Но я уверен, что даже в холодной душе Тебенькова не раз после этого шевельнулся вопрос:

– Но Чебоксары?!

Ежели мы, русские, вообще имеем довольно смутные понятия об идеалах, лежащих в основе нашей жизни, то особенно безалаберностью отличается наше отношение к одному из них, и самому главному – к государству. Даже люди культуры, как-то: предводители дворянства, члены земских управ и вообще представители так называемых дирижирующих классов, – и те как-то нерешительно и до чрезвычайности разнообразно отвечают на вопрос: что такое государство? Одни смешивают его с отечеством, другие – с законом, третьи – с казною, четвертые – громадное большинство – с начальством. Одни, чтоб отделаться от вопроса, прибегают к наглядным примерам: Швеция – государство. Великобритания – государство, Франция – государство и проч. Другие говорят: "Государство! смешно даже спрашивать, что такое государство!" Третьи таращат глаза, точно их сейчас разбудили. А если, сверх того, предложить еще вопрос: какую роль играет государство в смысле развития и преуспеяния индивидуального человеческого существования? – то ответом на это, просто-напросто, является растерянный вид, сопровождаемый бессмысленным бормотанием. Одним словом, из всего видно, что выражение "государство" даже в понятиях массы культурных людей не представляет ничего определенного, а просто принадлежит к числу слов, случайно вошедших в общий разговорный язык и силою привычки укоренившихся в нем. А так как с подобного рода словами обыкновенно обращаются очень неряшливо, то выходит, что выражение, само по себе требующее определения, делается, вследствие частого употребления, определяющим, дающим окраску целой совокупности жизненных подробностей. Из коренного слова "государство" являются производные: "государственность", "государственный", которыми предводители дворянства щеголяют в клубах и на земских собраниях без малейшего стеснения, точно так, как бы слова эти были совершенно для них понятны.

Но ежели такая смута в понятиях о государстве господствует в дирижирующих классах общества, то что же должны мы ожидать от непросвещенной черни! Увы! здесь представление об этом важном предмете уже до такой степени отсутствует, что трудно даже вообразить себе простолюдина, произносящего слово "государство". Простолюдин, конечно, знает, что над ним поставлен становой пристав и что в известные сроки он обязан уплачивать подати и повинности; но какую роль во всем этом играет государство – этого он не знает. В этом отношении перед ним вечно стоит какое-то загадочное пространство, в которое он тревожно вперяет взоры, но ничего, кроме станового и повинностей, различить не может.

Благодаря этой путанице, мы вспоминаем о государстве (и даже не о государстве в собственном смысле этого слова, а о чем-то подходящем к нему) лишь тогда, когда нас требуют в участок для расправы. Что же касается до обыденной жизненной практики, то, кроме профессоров, читающих с кафедры лекции государственного права, да школьников, обязанных слушать эти лекции, вряд ли кто-нибудь думает о той высшей правде, осуществлением которой служит государство и служению которой должна быть всецело посвящена жизнь обывателей. Всякий живет и прозябает по-своему, сам по себе, и делает свое маленькое дело совершенно независимо от государственных соображений. Сапожнику, тачающему сапоги, даже и на ум никогда не придет, что его работа (да и вообще вся его жизнь) имеет какое-нибудь отдаленное отношение к тому общему строю вещей, который носит название государства. Много-много, ежели он сознает связь своей жизни с местным квартальным надзирателем, да и то не с квартальным надзирателем вообще, а именно с Иваном Ивановичем, который поступил на место Петра Петровича и увеличил дани вдвое. Поэтому в таких захолустьях, куда квартальные не заглядывают вовсе, обыватели доходят до того, что вспоминают о своей прикосновенности к чему-то более обширному и для них загадочному только в минуты уплаты податей и повинностей. И вспоминают, конечно, невесело. В городах и в местах более населенных эта неряшливость сказывается, конечно, в меньшей степени; но ведь и здесь, как уже упомянуто выше, руководящую нитью обывательской жизни все-таки служат взгляды и требования ближайшего начальства, а отнюдь не мысль о государстве. Да и сами квартальные надзиратели, разве они, заставляя, например, обывателей очищать дворы от навоза, сознают, что этим удовлетворяют высшей правде, осуществляемой государством? Нет; они исполняют это, во-первых, потому, что так приказывает начальство, и, во-вторых, потому, что выполнение приказаний начальства есть их ремесло. А на вопрос: что такое государство? – и они могут, точно так же, как и прочие обыватели, отвечать только вздрагиванием. Начальство же с своей стороны...

Здесь я останавлиюсь. Я знаю, мне могут сказать, что я отстал от своего века, что

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik то, что я говорю об отсутствии чувства государственности в квартальных надзирателях, относится к дореформенному времени и что, напротив того, нынешнее поколение квартальных надзирателей очень тонко понимает, чему оно служит и какой идеи является представителем. На это я могу ответить следующее: я не выдаю своих мнений за безусловно истинные и первый буду очень рад успехам господ квартальных надзирателей на поприще государственности, ежели успехи эти будут доказаны. Но, признаюсь откровенно, я боюсь, что упомянутое сейчас возражение основано на недоразумении и что характеристическою чертою настоящего времени является не столько знание интересов и нужд государства и бескорыстное служение им, сколько самоуверенная и хлесткая болтовня, сопровождаемая знанием, где раки зимуют, и надеждою на повышение. Согласитесь, что между тем и другим имеется разница довольно существенная.

А между тем путаница в понятиях производит путаницу и в практической жизни. Тут мы на каждом шагу встречаемся и с взяточничеством, и с наглейшим обиранием казны, и с полным равнодушием к уплате податей, и, наконец, с особым явлением, известным под именем сепаратизма. И всё – следствие неясности наших представлений о государстве.

Обратитесь к первому попавшемуся на глаза чиновнику-взяточнику и скажите ему, что действия его дискредитируют государство, что по милости его страдает высшая идея правды и справедливости, оберегать которую призван сенат и Государственный совет, – он посмотрит на вас такими удивленными глазами, что вы, наверное, скажете себе: "Да, этот человек берет взятки единственно потому, что он ничего не слышал ни о государстве, ни о высшей идее правды и справедливости". И действительно, все, что он знает по этому предмету, заключается лишь в следующем: 1) что действия его противоречат такой-то статье Уложения о наказаниях и, буде достаточно изобличены, подлежат такой-то каре;

2) что прежде нежели подпасть этой каре, нужно его судить, а прежде нежели судить, нужно еще предать суду;

3) что, следовательно, взятки надо брать с осторожностью, а паче всего надеяться на милосердие начальства, от которого зависит предание суду. Спрашивается: при чем же тут государство?

То же самое замечание, и даже с большим основанием, может быть применено и к той категории преступных действий, которая известна под названием казнокрадства. Государство так часто продается за грош, и притом так простодушно продается, что даже история уже не следит за подобными деяниями и не заносит их на свои скрижали. Была горькая година в жизни России, – година, во время которой шла речь о ее значении в сонме европейских государств и подвергалась сомнению ее военная слава. И что ж! в это самое время находились люди, которые ставили ополченцам сапоги с картонными подметками, продавали в свою пользу волов, пожертвованных на мясную порцию для нижних чинов, снабжала солдат кремневыми ружьями, в которых, вместо кремня, была вставлена выкрашенная чурочка, и т.д. И в то же время эти люди не только не имели злодейского вида, но и сами себя не считали злодеями. Они пили, ели, провозглашали тосты, устраивали фестивали и даже очень искренно молились в церквах о ниспослании победы и одоления тем самым ратникам, которых сейчас спустили по морозцу на картонных подошвах. Ужели можно предположить, что, поступая таким образом, эти люди понимали, что они обездоливают и продают то самое государство, которое их приютило, поставило под защиту своих законов и даже дало средства нажитья? Нет, предположить это – значило бы допустить в людях такую нравственную одичалость, которая сделала бы немислимым существование человеческого общества. Скорее всего упомянутые казнокрады оттого так действовали, что не имели никакого понятия ни о ключах от храма гроба господня, ни об устьях Дуная, которыми разрешался вопрос об ключах, ни об отношении этих вопросов к русскому государству. Они действовали совершенно простодушно, полагая, что обездоливают совсем не государство, а только казну. А о казне-матушке даже пословица такая сложилась, которая доказывает, до какой степени велико ее долготерпение.

Затем, что касается уплаты податей и повинностей, то все плательщики на этот счет единодушны. Все уплачивают что нужно, и втайне все-таки думают, что не платить было бы не в пример лучше. Редкий понимает, что своевременное и безнедоимочное очищение окладных листов есть дело государственной важности; большинство же исповедует то мнение, что казна и без того богата.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Наконец, если мы всмотримся ближе в причины, обуславливающие такое явление, как сепаратизм, то легко увидим, что и тут главную роль играет неясность понятий о государстве: многие смешивают понятие о государстве с понятием о родине и даже о родной колокольне; другие приходят в смущение вследствие частых изменений государственных граничных рубежей. И ежели для вразумления первых достаточно домашних мер, то вторые немало-таки причиняют беспокойств серьезным людям, заведывающим делами Европы. Достаточно указать на такие местности, как альпийское побережье Средиземного моря, Шлезвиг и, наконец, Эльзас и Лотарингию. Все эти местности кишат людьми, которые, несмотря на уверения, что понятие о государстве есть понятие безразличное, независимое ни от национальностей, ни даже от исторических преданий, никак не могут понять, почему они обязаны с такого-то момента считать своим государством Францию, а не Италию, Германию, а не Данию и не Францию. Единственное в этом отношении исключение составляет Ташкент, но и то не потому, чтобы там идеи о государстве были очень ясны, но потому, что правда, осуществлявшаяся в лице автобачей, не в пример менее доброкачественна, нежели правда, олицетворением которой явились русские уездные исправники.

Одним словом, как-то так выходит, что мы точно с таким же правом называем себя членами государства, с каким пустосвяты называют себя людьми религии. Конечно, такое положение вещей не составляет новости (и в прежние времена, в этом отношении, не лучше было), но ново то, что оно начинает пробуждать пылкость человеческого ума. Покуда люди жили "без тоски, без думы роковой", до тех пор и столпы стояли твердо и прямо. Становые брали взятки, подрядчики надували и обирали казну, крестьяне копили недоимки, сепаратисты говорили: "Нет, никогда москалям не пивать таких водок, как наши малороссийские сливянка и запеканка!" и, за всем тем, никому не приходило на мысль, что от этого может страдать государство. Но вот консерваторы первые заметили, что есть в этом положении вещей что-то неладное, и, разумеется, приписали это интригам злонамеренных людей. Это было с их стороны и неосторожно, и неполитично. Консерваторы лучше других должны были понимать, что есть вещи, которые следует молчаливо оставлять предметом боязливого культа, даже и в таком случае, если б интрига (притом же существующая только в воображении) и действительно направляла против них свое жало.

* * *

Но особенную дикость понятий относительно значения слова "государство" выказывают у нас женщины. Вообще они у нас бойки только по части разговоров о том, какое чувство слаще - любовь или дружба, или о том, какую роль играл кринолин в истории женского преуспеяния. Тем не менее ежели вы спросите, например, княжну Оболдуй-Тараканову, на какую монету купец даст больше яблочка - на гривенник или на целковый, то, быть может, найдутся светлые минуты, когда она и ответит на этот вопрос. Но спросите ее: "Что такое государство?" - и она, во-первых, струсит, а во-вторых, заподозрит в вас или демагога, или шпиона. Она не только ничего тут не понимает, но и считает лишним понимать. И в своей обыденной жизни поступает совершенно так, как бы не была связана никакими государственными узами.

А между тем, заметьте, княжна - совсем не рядовая девица из тех, которые хохочут, когда им показывают палец (имена их ты, господи, веси!). Нет, было время, когда она называла себя консерваторкой и в этом качестве делала из окна ручкой проезжему кавалергарду и выходила гулять не иначе как в сопровождении ливрейного лакея. Теперь она называет себя нигилисткой и, в согласность с этим, постукивает по тротуару каблучками, говорит о трудовой жизни и кавалергардов называет пустоплясами. Стало быть, на ней все-таки что-нибудь да отражается, и она понимает, что выразить собою нечто - приятнее и достойнее, нежели не выразить ровно ничего.

Но ежели даже такая женщина, как княжна Оболдуй-Тараканова, не может дать себе надлежащего отчета ни в том, что она охраняет, ни в том, что отрицает, то что же можно ждать от того несметного легиона обыкновенных женщин, из которого, без всякой предвзятой мысли, но с изумительным постоянством, бросаются палки в колеса человеческой жизни? Несколько примеров, взятых из обыденной жизненной практики, лучше всего ответят на этот вопрос.

В молодости я знал одну почтенную старушку (фамилия ее была Терпугова), обладательницу значительного имения и большую охотницу до гражданских процессов,

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
которая до смерти своей прожила в полном неведении о "государстве", несмотря на то, что сам губернатор, встречаясь с нею, считал долгом целовать у нее ручку. И ни домашнее ее хозяйство, ни душевная ясность ее никогда не потерпели ни малейшего ущерба от этого пробела. Она жила, распоряжалась, кормила чиновников обедами, выдавала беременных девок замуж за мужиков в дальние деревни, содержала целую стаю приказных, которые именем ее вели тяжёлые дела в судах, и никогда ей даже на мысль не приходило, что она живет и действует таким образом - в государстве.

Однажды приезжает к ней в побывку сын, молодой человек, только лет пять тому назад покинувший школьную скамью, и объявляет, что он уже получил место обер-секретаря в сенате.

- Я, маменька, хоть и молод, - похвастался он, - но начальство любит и отличает меня. Теперь я в своей экспедиции - все. Сенаторы будут дремать, а все дела буду решать - я! Согласитесь сами, что в двадцать пять лет это - штука не маленькая!

- Ну, вот и слава богу! - отвечала почтенная старушка, - теперь, стало быть, ты как захочешь, так и будешь решать! А у меня кстати с птенцовскими мужиками дело об лугах идет; двадцать лет длится - ни назад, ни вперед! То мне отдадут во владенье, то опять у меня отнимут и им отдадут. Да этак раз с десять уж. А теперь, по крайности, хоть конец будет: как тебе захочется, так ты и решишь.

Как ни упоен был молодой человек собственным величием, но и у него от маменькиных слов дыхание в зубу сперло.

- Помилуйте, маменька! - воскликнул он, - ведь я незатем обер-секретарем сделан, чтобы свои дела в свою пользу решать! Ведь меня за это...

- А ты, мой друг, потихоньку! Разумеется, со всяким встречным об таких делах не след болтать, а так, слегка... как будто тебя не касаются.

- Не касаются! Да сам-то я буду же знать! Ах, маменька, маменька! я ведь не личным своим интересам, а государству служу.

- Так что ж что государству! Государство - само по себе, а свои дела - сами по себе. Об своих делах всякий должен радеть: грех великий у того на душе, который об устройстве своем не печется! Ты знаешь ли, что в Писании-то сказано: имущему прибавится, а у неимущего и последнее отнимется!

- Да, но ведь это, голубушка, совсем не в том смысле сказано!

- В том ли смысле или в другом - это как хочешь, так и можешь понимать. А только я всегда, и как мать и как христианка, скажу: кто об своих делах не радеет, тот и богу не слуга.

На первый раз разговор этим кончился. Но так как за ним скрывались интересы очень существенные, то он возобновился и на другой день, и вообще повторялся в течение всех двадцати восьми дней, покуда длился отпуск Терпугова. Молодой человек нарочно приехал к старухе матери, чтобы обрадовать ее своим возвышением, и вдруг, вместо радости, чуть было не сделался причиной целого семейного переполоха! Тщетно старался он втолковать старухе, что такое государство и почему чувство государственности должно иметь верх над чувством индивидуализма, - почтенная женщина на все его толкования отвечала одними и теми же словами:

- Знаю я, батюшка! Десять лет сряду за убылые души плачу - очень хорошо знаю! Кого в солдаты, кого в ратники взяли, а кто и сам собой помер - а я плати да плати! Россия-матушка - вот тебе государство! Не маленькая я, что ты меня этим словом тычешь! Знаю, ах, как давно я его знаю!

- Но ежели вы, маменька, знаете...

- Знаю и все-таки говорю: государство там как хочет, а свои дела впереди всего! А об птенцовских лугах так тебе скажу: ежели ты их себе не присудишь, так лучше и усадьбу, и хозяйство - всё заранее нарушь! Плохо, мой друг, то хозяйство, где скота заведено пропасть, а кормить его нечем!

Кончилось тем, что восторжествовал все-таки индивидуализм, а государственность

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik должна была уступить. Правда, что Терпугов оставлял поле битвы понемногу: сначала просто потому, что говорить о пустяках не стоило, потом – потому, что надо же старушку чем-нибудь почтить; но, наконец, разговаривая да разговаривая, и сам вошел во вкус птенцовских лугов.

– А что, в самом деле! – рассудил он, – ведь без птенцовских лугов, пожалуй, и плохо придется? Ну, сам я, положим... ну, конечно, я сам ни за что!.. А кого бы, однако ж, попросить, чтоб это дело направить? То-то старушка обрадуется!

И действительно, года через два процесс о птенцовских лугах был кончен...

Другой пример.

Несколько лет тому назад женился мой однокашник и друг, Володя Горохов. Жена его – очень милая особа, только что вышедшая из института (с шифром) и наивная до бесконечности. Однако медовый месяц ей понравился. К сожалению, Горохов состоит на государственной службе и, в качестве столоначальника департамента препон, очень хорошо помнит мудрое изречение: "делу – время, потехе – час". Это изречение имел он в виду и при женитьбе, а именно: выпросился в двадцативосьмидневный отпуск с тем, чтобы всецело посвятить это время потехе, а затем с свежеею головой приняться за дело.

Сказано – сделано. На двадцать девятый день, утром, проснулась Наденька Горохова – хват, мужа простыл и след! Живо надела она на босу ногу туфельки и в одной кофточке тихо-тихо подкралась к мужнину кабинету. О, ужас! он сидел за письменным столом совсем одетый и строчил докладную записку "О мерах к пресечению распространения идей между инородцами, населяющими Мамадышский уезд". И перед ним, и по обоим бокам лежали развернутые объемистые дела, в которые он заглядывал с видимым нетерпением, как будто они стесняли полет его административной фантазии. Но что важнее всего, он до такой степени углубился в свою работу, что не только не почувствовал присутствия Наденьки, но даже не слышал приближения ее шагов.

На одно мгновение в белокурой головке Наденьки промелькнула мысль: обидеться ей или нет? Но к чести ее должно сказать, что она перемогла себя и не обиделась. Потихоньку, на цыпочках, приблизилась она к креслу, на котором сидел муж, и зажала ему глаза своими крошечными ручками. Сюрприз застал Володю немного врасплох (в эту минуту он только что начал загибать фразу: "следовательно, ежели с одной стороны злоумышленники"...), и на мгновение он даже поморщился. Но именно только на одно мгновение, потому что тотчас же вслед за этим он очень нежно отнял от глаз ручки жены, поцеловал их и тоном радостного изумления сказал:

– Как, ты уж и встала, Наденька?

– И он говорит это... бессовестный! Ушел – и думает, что я и не почувствую! А как мне, Володька, без тебя было холодно! Сейчас же бери меня на коленки и согрей!

– Но, Наденька, ты знаешь... Сегодня срок моему отпуску; я должен явиться в департамент, и вот докладная записка...

– Уже?! – воскликнула Наденька.

Только всего она и сказала, но в голосе ее звучало такое горе, что Горохов тревожно взглянул на нее. На голубых ее глазках дрожали две маленькие слезинки, щечки пылали, ротик полураскрылся под влиянием горестного изумления. Словом сказать, никогда она не была так очаровательна. Но Горохов был столоначальник всем естеством своим, и притом такой столоначальник, который с минуты на минуту ждал, что его позовут в кабинет директора и скажут: "не хотите ли место начальника отделения?" Поэтому, даже в такую опасную минуту, когда кофточка на груди у Наденьки распахнулась, – даже и тогда он не мог выжать из своих мозгов иной мысли, кроме: "делу – время, потехе – час". Тем не менее он понял, что нужно же как-нибудь утешить это милое дитя, которое так скоро зябнет в его отсутствии. Поэтому он шутливо искривил губы и сказал:

– А ты как думала, дурочка! Ведь я на государственной службе состою и, следовательно, несу известные обязанности. Государство, мой друг, не шутит. Оно

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik уволило меня на двадцать восемь дней, а на двадцать девятый день требует, чтоб я был на своем посту. Ступай же, ангел мой, и постарайся заснуть! В десять часов я тебя разбужу, ты нальешь мне чаю, а в одиннадцать часов я беру шляпу и спешу в департамент!

Но она стояла неподвижно, раскрывши глазки, в которых словно застыли две слезинки, появившиеся еще в начале семейной сцены. Казалось, она ровно ничего не понимала в том сумбуре, который бормотал ее муж.

– Неужели?! – тихо шептала она, покуда муж разводил свою канитель.

– Что такое "неужели"? – обиделся он.

– Неужели ты уже променял меня... меня!.. на эти дрянные бумаги? – вырвался из груди ее вопль.

– Но неужели же ты не можешь понять, что сегодня истекает срок моему отпуску? Наденька! да пойми же меня, мой друг! Я состою на службе; я служу не какому-нибудь частному лицу, а государству... Государству, голубчик мой, государству!

– Ах, это противное государство!

Горохов улыбнулся и обнял Наденьку за талию. Он понимал тайну Наденькиных восклицаний и не без основания надеялся, что с той минуты, как она назвала государство противным, дело непременно должно пойти на лад. И действительно, как только Наденька почувствовала, что он гладит ее по спине, так тотчас же все ее сомнения рассеялись. Через минуту она уже обвила руками его шею и говорила:

– Володька! гадкий! противный! не смей бумагами заниматься! Целуй меня! крепче... вот так!

Это было так мило, что даже вошедший в эту минуту в кабинет лакей Иван – и тот не мог удержаться, чтоб не улыбнуться.

На этот раз размолвка кончилась благополучно. Правда, что Горохов, вместо надлежащих разветий, наскоро закончил свой доклад так: "Посему я полагаю разделить сих людей на три категории: первую – разорить, вторую – расточить, третью – выдержав при полиции, водворить в места жительства под строгий надзор. И тогда край несомненно процветет", – но все-таки он поспел в департамент как раз за пять минут до того, как прибыл туда директор. Директор принял его милостиво, пристально посмотрел ему в глаза, как будто отыскивал там следы чего-то, и, взяв из его рук докладную записку, дружески молвил:

– Впрочем, я думаю, едва ли вы были в состоянии дать моим мыслям надлежащее развитие. В вашем положении... столь важная перемена в жизни... Поздравляю вас, мой друг! от души поздравляю!

Несмотря на такой исход, государственная карьера Горохова была уже подорвана. Мир был заключен, но на условиях, очень и очень нелегких. Наденька потребовала, во-первых, чтоб в кабинете мужа была поставлена кушетка; во-вторых, чтоб Володька, всякий раз, как идет в кабинет заниматься, переносил и ее туда на руках и клал на кушетку, и, в-третьих, чтобы Володька, всякий раз, как Наденьке вздумается, сейчас же бросал и свои гадкие бумаги, и свое противное государство и садился к ней на кушетку.

Понятно, что, при таком положении вещей, никакие идеи надлежащего развития получить не могли.

Результат оказался плачевный. Мало-помалу Горохов совсем утратил доверие начальства, а вместе с тем и надежду на получение места начальника отделения, и вот на днях встречаю я его на Невском: идет сумрачный, повесив голову, как человек, у которого на душе скребут мыши, но который, в то же время, уже принял неизменное решение.

– Поздравь меня! я сейчас в отставку подал! – сказал он мне.

– Что так? Помилуй, вот чего бы я никогда не ожидал! Такая блестящая карьера

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
предстояла впереди – и вдруг!

– Карьера моя... то бишь, семейное мое положение... фу-ты! Словом сказать, не клеится тут что-то, мой друг! Быть может, впоследствии... со временем... Прощай, голубчик!

И таким образом, благодаря Наденьке, государство лишилось одного из лучших слуг своих. И на этот раз узкий индивидуализм победил государственность. Спрашивается, могла ли бы Наденька таким образом поступать, если бы в институте ей было своевременно преподано ясное и отчетливое понятие о том, что такое государство? Но, увы! не о государстве и его требованиях толковали ей, а на все лады пели:

L'amour – quest que c'est que Га мам'selle?

L'amour – quest que c'est que Га?

[Что такое любовь, мадемуазель?

Любовь – что это такое? (франц.)]

И вот плоды.

Третий пример.

Кормилицу мою, семидесятилетнюю старуху Домну, бог благословил семейством. Двенадцать человек детей у нее, всё – сыновья, и все как на подбор – один другого краше. И вот, как только, бывало, пройдет в народе слух о наборе, так старуха начинает тосковать. Четырех сынов у нее в солдаты взяли, двое послужили в ополченцах. Теперь очередь доходит до внуков. Плачет старуха, убивается каждый раз, словно по покойнике воеет.

– Вот и бог благословил, а радости нету! – жалуется она мне.

– Напротив того, – урезониваю я ее, – есть радость, и даже большая. Дети твои государству послужат, и этого одного достаточно, чтоб утешить тебя в разлуке с ними.

И я начинаю ей разъяснять, как, что и почему; но по мере того как развиваются мои разъяснения, я и сам незаметным образом сбиваюсь с толку. Вместо того чтоб пропагандировать чистую идею государственности, я ударяюсь в околичности, привожу примеры, доказывающие, что многие солдаты до генеральских чинов дослужились, а больше, конечно, до чина прапорщичьего.

– Так-то так, – возражает старуха, – да что радости! вот у Петра Васильича сын-офицер из полку приехал, взял да отца по шее из дома и выгнал!

И затем опять начинается вой, вой без конца, вой, который нельзя утолить ни увещаниями, ни государственными соображениями. Не понимает глупая баба – и все тут.

Я мог бы привести таких примеров множество, но думаю, что достаточно и трех.

Быть может, мне скажут: "Все это – женщины, которым, по неразумию, многое прощается"?

Позвольте, господа! Откупщики – разве женщины? железнодорожные деятели – разве женщины? Да и сами женщины – разве они не по образу и подобию божию созданы, хотя бы и из ребра Адамова?

Нет! я знаю одно: в бывалые времена, когда еще чудеса действовали, поступки и речи, подобные тем, которые указаны выше, наверное не остались бы без должного возмездия. Либо земля разверзлась бы, либо огонь небесный опалил бы – словом сказать, непременно что-нибудь да случилось бы в предостерегательном и назидательном тоне. Но ничего подобного мы нынче не видим. Люди на каждом шагу самым несомненным образом попирают идею государственности, и земля не разверзается под ними. Что же это означает, однако ж?

Я знаю, впрочем, что не только иностранцы, но и многие русские смотрят на свое отечество, как на Украину Европа, в которой было бы даже странно встретиться с живым чувством государственности. Нельзя и ожидать, говорят они, чтобы оголтелые казаки сознавали себя живущими в государстве; не здесь нужно искать осуществления идеи государственности, а в настоящей, заправской Европе, где государство является продуктом собственной истории народов, а не случайною административною подделкой, устроенной ради наибольшей легкости административных воздействий.

К сожалению, возражение это делается больше понаслышке, причем теоретическая разработка идеи государства, всепроникающего и всеобъемлющего, смешивается с ее применением на практике.

Несомненно, что наука о государстве доведена на западе Европы до крайних пределов; правда и то, что все усилия предержавших властей направлены к тому, чтоб воспитать в массах сознание, что существование человека немисливо иначе, как в государстве, под защитой его законов, для всех равно обязательных и всем равно покровительствующих. Представительными собраниями издано великое множество положений, которые до мельчайших подробностей определяют отношения индивидуума к государству; с другой стороны, учеными издано не меньшее количество трактатов, в которых с последнею убедительностью доказывается, что вне государства нет ни справедливости, ни обеспеченности, ни цивилизации. Зная и видя все это, конечно, ничего другого не остается, как радоваться и восклицать: вот благословенные страны, для которых ничто не остается неразъясненным! вот счастливые люди, которые могут с горделивым сознанием сказать себе, что каждый их поступок, каждый шаг проникнут идеей государственности!

Но есть одно обстоятельство, которое в значительной степени омрачает эту прекрасную внешность. Обстоятельство это – глухая борьба, которая замечается всюду и существование которой точно так же не подлежит сомнению, как и существование усилий к ее подавлению. Трактаты пишутся, но читаются лишь самым незаметным меньшинством, законоположения издаются, но не проникают внутрь ядра, а лишь скользят по его поверхности. И здесь старуха Домна наполняет воздух своим воем и антигосударственными причитаниями.

Отношение масс к известной идее – вот единственное мерило, по которому можно судить о степени ее жизненности. В том еще нет ничего удивительного, что государственные люди и профессора государственного права имеют совершенно отчетливое понятие о значении государства в жизни современных обществ. Это – их ремесло, за которое они получают соответствующее вознаграждение. Можно бы даже и с тем примириться, если б с их стороны было меньше отчетливости, лишь бы массы отрешились от своей одичалости и, хотя до некоторой степени (и притом, конечно, без вознаграждения), сообщили своим стремлениям и действиям характер сознательно-государственный. Но тут-то именно мы и встречаемся с тою же сумятицей, которая существует и у нас, с незначительными лишь видоизменениями в подробностях.

Вот уже целый год, как я скитаюсь за границей: сперва жил в южной Германии, потом в Париже и, наконец, в южной Франции. И все мои наблюдения сводятся к следующему: 1) люди культуры видят в идее государственности базис для известного рода профессии, дающей или прямые выгоды в виде жалованья, или выгоды косвенные – в виде премии за принадлежность к той или другой политической партии, и 2) массы либо совсем игнорируют эту идею, либо относятся к ней крайне робко и безалаберно. Я даже не думаю, чтоб последние почувствовали какое-нибудь беспокойство, если б, например, отбывание воинской повинности – одна из существеннейших прерогатив государства – было объявлено навсегда упраздненным.

Правда, что южная Германия – больное место империи, созданной войною 1870 – 71 г., но для наблюдателя важно то, что здесь даже резкие перемены, произведенные успехами Пруссии, не помешали появлению некоторых симптомов, которые в других частях новосозданного государства находятся еще в дремотном состоянии. Несмотря на замечательную ловкость прусских государственных людей и сильную поддержку, доставляемую им печатью, партикуляризм не только не успокаивается на юге Германии, но, по-видимому, с каждым годом приобретает более и более ожесточенный характер. Конечно (в особенности в городах), и теперь встречается немало людей убежденных, которых восторгает мысль о единстве и могуществе Германии, о той

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
неувядаемой славе, которою покрыло себя немецкое оружие, раздавивши
"наследственного врага", и о том прекрасном будущем, которое отныне, по праву,
принадлежит немецкому народу; но ведь эти люди представляют собою только казовый
конец современной южногерманской действительности. Под ними и за ними стоят
целые массы субъектов, изнемогающих под гнетом вопроса о насущном хлебе,
субъектов, которые не вопрошают ни прошедшего, ни будущего, но зато с
удивительною цепкостью хватаются за наличную действительность и очень
бесцеремонно взвешивают и сравнивают все, что взвешиванию и сравнению подлежит.

Пропаганда идеи о германском единстве ведется уже так давно, что не могла обойти
и людей насущного хлеба. Им припоминали прогулки Наполеона I по Германии и
угрожали подобными же прогулками "наследственного врага" в ближайшем будущем. Им
говорили об общем германском отечестве, которое тогда будет только в состоянии
противостоять каким бы то ни было присоединительным поползновениям, когда оно
сплотится в единое, сильное и могущественное государство. Что только тогда они
могут считать себя спокойными за свои семейства и за свою собственность, когда у
них не будет смешных государств, вроде Шаумбург-Липпе, о которых ни один
путешественник не может говорить иначе как при помощи анекдотов. Что, тем не
менее, снисходя к их человеческой слабости, можно примирить партикуляризм с
объединением, оставив рядом с общим государством, сильным и неприступным, и
прежние частные государства. И что, таким образом, для них откроется возможность
иметь разом "две высших правды и два верных подданства".

Из всего этого люди насущного хлеба отнеслись сочувственно только к надежде быть
спокойными за свою собственность и за свои семейства; все прочее они выслушали
ни сочувственно, ни несочувственно, потому что это прочее составляло для них
тарабарскую грамоту. Быть может, некоторым и приходил в голову вопрос: "А в
каком положении будут подати и повинности?" - но вопрос этот уже по тому одному
остался без последствий, что некому было ответить на него. Война была на носу, и
потому все делалось впопыхах. Не до разъяснений в такие минуты, когда требуются
деньги и солдаты, солдаты и деньги. Даже представители южногерманской культуры,
которые нынче так ясно понимают, что променяли кукушку на ястреба, - и те в то
время должны были молчать. Они находились в очень фальшивом положении, ибо над
ними тяготело подозрение в недостатке сочувствия к опасностям, угрожающим общему
германскому отечеству.

Таким образом, и солдаты, и деньги были даны. И вот, в одно прекрасное утро,
баварцы, баденцы и проч. проснулись не просто королевскими, но
императорско-королевскими подданными. Само собою разумеется, что это привело их
в восторг.

Но это был именно только восторг, слепой и внезапный, а отнюдь не торжество
чувства государственности. Это было хмельное упоение славой побед, громом
оружия, стонами побежденных, - упоение, к которому, сверх того, в значительной
доле примешивалось и ожидание добычи, в виде пяти миллиардов.

Прошло не больше пяти лет, и путешественник уже с изумлением спрашивает себя:
"Куда девались восторги? что сделалось с недавним упоением? где признаки того
добровольного стремления к единству, в жертву которому приносились солдаты и
деньги, деньги и солдаты?"

Ничего подобного нет и в помине. Вместо восторгов мы видим полное господство
низменных интересов, вместо добровольного стремления к успокоению на лоне
великого, единого государства - борьбу. Да, все политическое существование
современной Германии представляет отнюдь не торжество государства, а только
сплошную борьбу во имя его. Борьбу с партикуляризмом, борьбу с католицизмом,
борьбу с социалистическими порываниями - словом, со всем, что чувствует себя
утесненным в тех рамках, которые выработал для жизни идеал государства,
скомпонованный в Берлине. Но спрашивается: можно ли считать осуществившуюся
идею, которая имеет уже за себя право сильного, но и за всем тем вынуждена
бороться за свое существование? и можно ли назвать успешным такое мероприятие,
которое выполняется только потому, что за невыполнение его грозит кара?

Повторяю: покуда низменные, будничные интересы держат массы в плену, до тех пор
для них недоступна будет высшая идея правды, осуществляемая государством. Немец,
ежели он не гелертер, не присяжный политик и не чиновник, есть обыватель по
преимуществу. Он всецело предан идее насущного хлеба и тем подробностям,
которыми эта идея обставлена; за тем все отношения его к государству, как и у

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik нас, ограничиваются податями и солдатчиною. Подати империя значительно увеличила, солдатчину сделала общедоступною. Все это, конечно, необходимо ради государства, ради его величия и славы, и в Германии на этот счет менее, нежели где-либо, может быть недоразумений. Всякому известно, что столько-то миллионов употреблено на заказ пушек, столько-то на приобретение ружей новой системы, столько-то на постройку и вооружение крепостей и что все это необходимо на страх наследственным и ненаследственным врагам. Но когда люди думают совсем о другом, то от них самые доказательные убеждения отскакивают, как от стены горох.

– Все миллиарды, уплаченные Францией, употреблены на составление инвалидного фонда, да на вооружения, да на дотации, а на развитие промышленности ничего не попало! – жалуется один немец.

– Прежде мы солдатчины почти не чувствовали, а теперь даже болезнью от нее не отмолишься. У меня был сын; даже доктор ему свидетельство дал, что слаб здоровьем, – не поверили, взяли в полк. И что ж! шесть месяцев его там мучили, увидели, что малый действительно плох, и прислали обратно. А он через месяц умер! – вторит другой немец.

– У нас нынче в школах только завоеваниям учат. Молодые люди о полезных занятиях и думать не хотят; всё – "wacht am Rhein" да "Kriegers Morgenlied" ["Стражу на Рейне", "Утреннюю песню воина" (нем.)] распевают! Что из этого будет – один бог знает! – рассказывает третий немец.

– Все наши соки Берлин сосет...

Понятно, что в людях, которые таким образом говорят, чувство государственности должно вполне отсутствовать.

* * *

Во Франции это дело поставлено иначе. Там партикуляризма, в смысле политической партии, не существует вовсе; борьба же с католицизмом ведется совсем не во имя того, что он служит помехою для исполнения начальственных предписаний, а во имя освобождения человеческой мысли от призраков, ее угнетающих. Сверх того, во Франции, с 1848 года, практикуется всеобщая подача голосов, которая, по-видимому, должна бы непрестанно напоминать обывателям, во-первых, о том, что они живут в государстве, и, во-вторых, о том, что косвенно каждый из них участвует и в выборе правителей страны, и в самом управлении ею.

Тем не менее все это отнюдь не устраняет множества недоразумений, которые и тут, как и везде, ставят идею государства в условия, весьма для нее неблагоприятные.

Несмотря на несколько революций, во Франции, как и в других странах Европы, стоят лицом к лицу два класса людей, совершенно отличных друг от друга и по внешнему образу жизни, и по понятиям, и по темпераментам. Во главе государства стоит так называемый правящий класс, состоящий из уцелевших остатков феодальной аристократии, из адвокатов, литераторов, банкиров, купцов и вообще всевозможных наименований буржуа. Внизу – кишит масса управляемых, то есть городских пролетариев и крестьян. И тот и другой классы относятся к государству совсем неодинаковым образом.

В среде правящих классов стремление к государственности высказывается довольно определенно. У буржуа государство не сходит с языка, так что вы сразу чувствуете, что этот человек даже не может мыслить себя вне государства, ибо слишком хорошо понимает, что это единственное его убежище против разнузданности страстей. Государство ограждает его собственность; оно устраивает в его пользу тысячи разнообразнейших удобств, которые он никак не мог бы иметь, предоставленный самому себе; оно охраняет его предприятия против завистливых притязаний одичалых масс и, в случае надобности, встанет за него горой. Взвешивая все эти выгоды и сравнивая их с теми жертвами, которые государство, взамен их, от него требует, буржуа не может не сознавать, что последние почти ничтожны, и потому редко ропщет по их поводу (между прочим, он понимает и то, что всегда имеет возможность эти жертвы разложить на других). И жизнь его течет легко и обильно, проникнутая сознанием тех благ, которые изливаются на него государством, и решимостью стоять за него, по крайней мере, до тех пор, пока этой решимости не будет угрожать серьезная опасность.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

Но самая эта уверенность в возможности всегда найти для себя защиту под покровом государства имеет свою невыгодную сторону. А именно: она делает буржуа самонадеянным и даже привередливым; она приучает его неряшливо относиться к тому самому предмету, перед которым он должен только благодарно благоговеть. Убеденный, что будущее, во всяком случае, принадлежит ему, буржуа уже не довольствуется тем, что у него есть государство, которое не даст его в обиду, но начинает рассуждать вкривь и вкось о форме этого государства и признает законною только ту форму, которая ему любя. Есть буржуа-монархисты и есть буржуа-республиканцы. Монархистов три сорта: легитимисты, орлеанисты и бонапартисты; республиканцев тоже три сорта: левый центр, просто левая сторона и, наконец, крайние левые. И все эти прихотливые буржуа видят друг в друге смертельных врагов, предаются непрерывным взаимным пререканиям и в этих чисто внешних эволюциях доходят иногда до такого пафоса, что издали кажется, не забыли ли они, что у всех у них одна цель: чтоб государство оставалось неприкосновенным, и чтоб буржуа был сыт, стоял во главе и благодумствовал.

Из области государства дело переходит в область вопроса о кличках и о принадлежности тому или другому хозяину. Является предательство, измена, желание лучше утопить страну, нежели дать возможность восторжествовать противнику. Словом сказать, все те скандалы, которыми так обильно было существование недавно канувшего в вечность Национального собрания и которые так ясно доказали, что политическая арена слишком легко превращается в арену для разрешения вопроса: при, ком или при чем выгоднее? – благоразумно при этом умалчивая: для кого?

Результатом такого положения вещей является, конечно, не торжество государства, а торжество ловких людей. Не преданность стране, не талант, не ум делаются гарантией успеха, а пронырливость, наглость и предательство. И Франция доказала это самым делом, безропотно, в течение двадцати лет, вынося иго людей, которых, по счастливому выражению одной английской газеты, всякий честный француз счел бы позором посадить за свой домашний обед.

Таким образом, и государство, и все, что до него относится, находится во Франции, так сказать, на откуп у буржуазии. Что же касается до масс, то они коснеют в полном неведении чувства государственности и в совершенном равнодушии к тем политическим пререканиям, которые волнуют буржуазию. И здесь, как и везде, очень мало сделано в этом отношении, и здесь, как и везде, государство представляется исключительно в виде усмирителя и сборщика податей, а не в виде убежища. Над массами тяготеют два закона: над городскими пролетариями – закон отчаяния, над обывателями деревень, – закон бессознательности. От этого первые, при удобном случае, так легко ударились в коммуны; от этого вторые, во время прусской войны, массами бежали с поля сражения. Первые не понимали, что они разрушают, вторые – что им предстоит защищать. И в том и в другом случае – уверенность, что формы правления безразличны и что все они имеют в виду только вящее утучнение и без того тучного буржуа, уверенность печальная и даже неосновательная, но тем не менее сообщающая самому акту всеобщей подачи голосов характер чистой случайности.

Последний опыт всеобщей подачи голосов, происходивший в феврале 1876 года, дал торжество республиканской партии. Буржуазия, по-видимому, поняла, что республика нисколько не препятствует осуществлению её стремлений, и, во-вторых, что она представляет даже больше шансов для "благоразумной экономии". Вследствие этого, во время избирательного периода, Франция была покрыта целю сетью комитетов, которых цель заключалась в уловлении масс. Усилия комитетов увенчались успехом. Правда, что почти везде целая треть избирателей воздержалась от подачи голосов и, затем, остальные две трети выказали в этом случае больше дисциплины, нежели сознательности; но, как бы то ни было, поле сражения осталось за республикой. Естественно, что республиканцы поспешили запечатлеть эту победу практическим результатом. Министерство Дюфора – Бюффе пало и было заменено министерством Дюфора – Рикара...

Когда я узнал об этом из газет, то, конечно, прежде всего поспешил сообщить о происшедшей перемене портье того пансиона, в котором я поселился.

– Vous savez, Andre, – сказал я ему, – que le ministere Dufaure – Buffet n'existe plus, et que desormais c'est le ministere Dufaure – Ricard qui dirigera les destinies de la France? [Вы знаете, Андрэ, что министерства Дюфора – Бюффе более не существует и отныне судьбами Франции будет управлять министерство Дюфора – Рикара? (франц.)]

Но, к удивлению, он до такой степени не понял моего вопроса, что заставил меня повторить его. И когда я это сделал, то он вытаращил глаза и произнес:

– Est-ce que je sais! [А мне-то что! (франц.)]

А между тем этот человек существует (cogito ergo sum [мыслю – значит, существую (лат.)]), получает жалованье, устраивает, как может, свои дела, и я даже положительно знаю, что 20-го февраля он подал голос за республиканца. И все это он делает, ни разу в жизни не спросив себя: "что такое государство?"

Можно ли так жить?

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД

Прошу читателя перенестись мыслью в эпоху 1853 – 1855 годов.

Я жил тогда в одном из опальных захолустьев России. В Крыму, на Черном море, на берегах Дуная гремела война, но мы так далеко засели, что вести о перипетиях военных действий доходили до нас медленно и смутно. Губерния наша была не дворянская, и потому в ней не могли иметь места шумные демонстрации. Не было у нас ни обедов по подписке, ни тостов, ни адресов, ни просьб о разрешении идти на брань с врагом поголовно, с чадами и домочадцами. Мы смиренно радовались успехам родного оружия и смиренно же горевали о неудачах его. За отсутствием дворянства, интеллигенцию у нас представляло чиновничество и весьма немногочисленное купечество, высшие представители которого в этой местности искони променяли народный зипун на немецкий сюртук. К интеллигенции же причисляло себя и довольно большое количество ссыльных, большая часть которых принадлежала к категории "политических". И чиновники, и купцы, и даже ссыльные – все это был люд, настолько занятой и расчетливый, что затевать подписные обеды было решительно некому и некогда. Было, правда, между ссыльными несколько шулеров, делателей фальшивых ассигнаций и злоупотребителей помещичьей властью (был даже пожилой, но очень видный мажордом, ходивший с большим бриллиантовым перстнем на указательном пальце и сосланный по просьбе детей княгини Т*** за "предосудительные действия, сопровождаемые покушением войти в незаконную связь с их родительницей"), которым, казалось бы, представлялся при этом отличнейший случай блеснуть, но и они вели себя как-то сдержанно, в той надежде, что сдержанность эта поможет им пройти в общественном мнении зауряд с "политическими". Такое уж было тогда время, что даже в захолустном обществе "политических" принимали лучше, ласковее, нежели шулеров.

Патриарх у нас в то время был старый, беззубый, безволосый, малорослый и совсем простой. Это было тем более необыкновенно, что рядом, в соседней губернии, патриарх был трех аршин роста и имел грудь колесом. Даже в нашем захолустье как-то обидным казалось появление такого человека на патриаршеском поприще. Тогда времена были строгие, и от патриарха требовалось, чтоб он был "хозяин" или, по малой мере, "орел". Наш же, даже в сравнении с сторожами губернского правления, казался ошипанною курицей. И к довершению всего, фамилию он носил какую-то странную: Набрюшников. Все это, вместе взятое, самую губернию как бы принижало, переводило от высшего в низший класс, чем в особенности обижался вице-губернатор.

– Просто курам на смех! – негодовал он, – не патриархом ему быть, а в шалаше сидеть да горох стеречь!

И попал он к нам самым странным образом. Служил он некогда в одной из внутренних губерний акушером при врачебной управе (в то время такая должность была, так и назывался: "акушер врачебной управы"), но акушерства не знал, а знал наговор, от которого зубную боль как рукой снимало. Многих он от зубного недуга исцелил, и в числе этих многих случилась одна из местных магнаток, графиня Варвара Алексеевна Серебряная. Прошло после того много лет; Набрюшников успел выйти в отставку с чином действительного статского советника (чин этот выхлопотала ему графиня) и поселился у себя в деревне. И прожил бы он там спокойно остальные дни живота своего и, по всем вероятностям, даже изобрел бы средство избавлять домашних птиц от типуна, как вдруг получил от графини письмо: "Любезный куманек, господин Набрюшников!"

С тех пор как ты мне услугу оказал, от зубов навсегда избавил, не успела я тебя

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik еще как следует отблагодарить. А нонча мне министр два преотличнейших места на пари проиграл, так одно из них, пожалуй, не откажи мне, прими. Место, правда, не бойкое, да ведь прокормиться и в тишине можно. Еще где потише, пожалуй, для вашего брата сытее будет. А впрочем, пребываю к вам доброжелательная". И вот через месяц он уже сидел на проигранном месте, сидел плотно и поселял своим видом уныние во всех сердцах, которым дороги были достоинство и блеск губернии.

Смирен он был до такой степени, что даже акциденции почти исключительно брал провизией. Подадут, например, у городского головы зернистой икры к закуске, он сейчас же поманит хозяина пальцем: нельзя ли, дескать, мне фунтиков десять прислать. Или узнает, что такой-то купец на ярмарку едет, сейчас ему реестрик: изюму столько-то, миндальных орехов столько-то, шепталы, черносливу и т.д. Однажды был даже такой случай, что по целому городу мужичок с возом мерзлой рыбы ездил, спрашивая, где живет патриарх: оковский, мол, исправник в презент ему рыбки прислал. Много было у нас толков по поводу этого случая.

– Ах, срам какой! – восклицал советник питейного отделения, Петр Гаврилыч Птенцов. – Рыбой!

– Рыбой берет! Рыбой! – выходил из себя вице-губернатор.

– Не вник еще! Еще узы ему бог не разрешил! – замечал уездный лекарь Погудин, человек ума острого и прозорливого, как бы предрекая, что придет время, когда узы сами собою упадут.

Даже обывателям казалось как-то постыдно, что с них такую малость берут, так что многие избегали его и на званные обеды не приглашали.

– Ну, возьми он! Ну, если уж так надобно... ну, возьми! А то – рыбой! Рыбой! – восклицали все хором.

В те времена о внутренней политике в применении к администрации еще не было речи, а была только строгость. Но жить все-таки было можно. Были, правда, как я уже сказал выше, "политические", но в глазах всех это были люди, сосланные не за какие-нибудь предосудительные поступки, а за свойственные дворянскому званию заблуждения. Заблуждаться казалось естественным. "Заблуждаться" – это означало любить отечество по-своему, не так, быть может, как начальство приказывает, но все-таки любить. Заблуждались преимущественно дворяне, потому что их наукам учили. Ежели бы не учили их наукам, то они и не заблуждались бы. Во всяком случае, ни о "внутренних врагах", ни о "неблагонадежных элементах" тогда даже в помине не было. Какие к черту "внутренние враги", которые сидят смиренно да книжки читают? И как им книжек не читать, когда их тому в кадетских корпусах учили! Наукам учат, а заблуждаться не позволяют – на что похоже! Таково было тогдашнее настроение умов нашей интеллигенции, и вследствие этого "политических" не только не лишали огня и воды, но даже не в пример охотнее принимали в домах, нежели шулеров, чему, впрочем, много способствовало и то, что "политические", по большей части, были люди молодые, образованные и обладавшие приличными манерами. Даже жандармский полковник сознавал это и хотя, играя в клубе в карты, запускал по временам глазуна в сторону какого-нибудь "политического", но делал это почти машинально, потому только, что уж служба его такая.

Просто было тогдашнее время, а патриарх наш ухитрился упростить его еще больше. Всякий обходился с ним запанибрата, всякий мог ему противоречить и даже грубить. Собственные его чиновники особых поручений, народ молодой и ветреный, в глаза смеялись над ним, рассказывая всякие небылицы. Однажды его очень серьезно уверяли, будто одного из его предместников губернское правление сумасшедшим сделало. Пришел, дескать, он в губернское правление, закричал, загамил, на закон наступил, а советники (в то время вице-губернаторы не были причастны губернским правлениям, а в казенных палатах председательствовали), не будь просты, послали за членами врачебной управы, да и составили вкуче акт об освидетельствовании патриарха в состоянии умственных способностей. И Набрюшников поверил этому...

Панибратство это тоже многим казалось обидным, ибо тоже принижало губернию. Все чувствовали, все понимали, что на этом месте должен быть "орел", а тут вдруг – тетерев! Даже сторожа присутственных мест замечали, что есть в нашем патриархе что-то неладное, и нимало не стеснялись в выражении своего негодования.

– Какой это начальник! – говорили они, – идет, бывало, начальник – земля у него

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
под ногами дрожит, а этот идет, ногами во все стороны дрыгает, словно кому
киселя дать хочет!

– За губернию стыдно-с! – вторил сторожам вице-губернатор.

Итак, вот при какой административной обстановке застигла нас памятная эпоха 1854
– 1856 годов.

Повторяю: вести с театра войны доходили до нас туго. Не было в то время ни
железных дорог, ни телеграфов, а были только махальные. Почта приходила к нам из
Петербурга два раза в неделю, да и то в десятый день. Собираясь в почтовые дни в
клубе, мы с жадностью прочитывали газеты и передавали друг другу известия,
полученные частным путем. Но, в сущности, мы очень хорошо понимали, что все наши
тревоги и радости (смотря по содержанию полученных известий) происходят, так
сказать, задним числом и что, быть может, в ту самую минуту, когда мы, например,
радуемся, действительное положение дела представляет картину, должествующую
возбудить чувство совершенно иного, противоположного свойства.

В особенности много мучили нас частные письма, которыми мы, так сказать,
комментировали загадочность газетных реляций. То держится Севастополь, то сдан;
то сдан и опять взят. По поводу подобных известий сочинялись целые планы
кампаний. С картой театра военных действий в руках стратеги в вицмундирах
толковали по целым часам, каким образом могло случиться, что француз сперва взял
Севастополь, а потом снова его уступил. Встречались при этом такие затруднения,
что для разъяснения их обращались к батальонному командиру внутренней стражи
(увы! ныне уж и эта должность упразднена!), который, впрочем, только тарачил
глаза и нес сухую чепуху.

– Все зависит от того, – говорил он, – как начальство прикажет-с. Прикажет сдать
– сдадим-с. Прикажет опять взять – возьмем-с.

Таким образом, по части внешних известий все было мрак и сомнение...

Был, однако ж, признак, который даже искренно убежденных в непобедимости
русского оружия заставлял печально покачивать головами. Этот признак составляли:
беспрерывные рекрутские наборы, сборы бессрочноотпускных и т.п. За месяц и за
два мы знали, что предстоит набор, по тем распоряжениям, которые обыкновенно
предшествуют этой мере. В палате государственных имуществ наскоро составлялись
призывные списки, у батальонного командира, в швальной, шла усиленная заготовка
комиссариатских вещей. А так как распоряжения этого рода учащались все больше и
больше, то и сомнения невольным образом усиливались.

Сидим мы, бывало, в клубе и трактуем, кто остался победителем при Черной, как
вдруг в залу влетает батальонный командир и как-то необыкновенно юрко, словно
его кто-нибудь с праздником поздравил, возглашает:

– Сорок тысяч пар сапогов приказано изготовить-с!

Или:

– Получено распоряжение выслать в К. сто человек портных-с!

При этом известии обыкновенно наступала минута сосредоточенного молчания. Слово
"набор" жужжало по зале, и глаза всех присутствующих инстинктивно устремлялись к
столу, где сидели за вистом председатель казенной палаты и советник ревизского
отделения и делали вид, что ничего не слышат. Но всем понятно было, что они не
только слышат, но и мотают себе на ус. А прозорливый Погудин даже прозревал весь
внутренний процесс, который происходил в это время в советнике ревизского
отделения.

– Посмотрите, – говорил он, – как у Максима Афанасьича левое ухо разгорелось! К
добрым вестям, значит. Набор будет.

И действительно, наборы почти не перемежались. Не успеет один отбыть, как уж
другой на дворе. На улицах снова плачущие и поющие толпы. Целыми волостями валил
народ в город и располагался лагерем на площади перед губернским рекрутским
присутствием, в ожидании приемки. На всю губернию было в то время только четыре
рекрутских присутствия; из них к губернскому причислено было три с половиной

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik уезда с населением около двухсот тысяч душ, с которых причиталось до тысячи рекрутов (некоторые волости должны были совершить скорбный путь в триста с лишком верст, чтобы достигнуть губернского города). В рекрутском присутствии шла деятельность беспримерная. Прием начинали с восьми часов утра, кончали в четыре пополудни, принимая в день от восьмидесяти до ста двадцати человек. Происходила великая драма, местом действия которой было рекрутское присутствие и площадь перед ним, объектом – податное сословие, а действующими лицами – военные и штатские распорядители набора, совместно с откупщиком и коммерсантами – поставщиками сукна, полушубков, рубашечного холста и проч.

Я не могу сказать, как велика была сила патриотизма в объекте драмы, то есть в податном сословии. В то время мы как-то не обращали на этот предмет внимания. Но зато действующие лица драмы были настолько патриоты, что не только не изнемогали под бременем лежавших на них обязанностей, но даже как бы почерпали в них новые силы. Максим Афанасьич (советник ревизского отделения) хотя и жаловался на лом в поясице, но в рекрутское присутствие ходил неупустительно. Лицо у него сделалось масляное, глаза покрылись неисточимую слезой, и что всего замечательнее, когда кто-нибудь у него спрашивал, как дела, то он благодарил, видимо стараясь взглянуть вопрошающему как можно прямее в глаза. Председатель казенной палаты прямо говорил, что не только в настоящий набор, но если будет объявлен и другой, и третий – он всегда послужить готов. Управляющий палатой государственных имуществ смотрел даже благороднее, нежели обыкновенно, и всем существом как бы говорил: "никакая клевета до меня коснуться не может!" Откупщик, перекрест из евреев, не только не сомневался в непобедимости русского оружия, но даже до того повеселел, что, задолго до появления г. Вейнберга, утешал общество рассказами из еврейского быта. Батальонный командир метался, словно вьюн на сковороде: то вытягивался, то свертывался в кольцо, то предавался боковому конвульсивному движению.

Один патриарх продолжал на все смотреть холодными глазами и даже никому не завидовал.

Однако после второго или третьего набора стали мы замечать, что у старика начинают раздуваться ноздри, как будто он к чему-то принюхивается. Первый, разумеется, заметил это прозорливый лекарь Погудин.

– Помяните мое слово, – говорил он, – что к следующему набору бог ему узы разрешит!

И точно, мало-помалу стал он подсаживаться то к председателю казенной палаты, то к батальонному командиру, то к управляющему палатой государственных имуществ. Сядет и смотрит не то мечтательно, не то словно в душу проникнуть хочет. И вдруг заговорит о любви к отечеству, но так заговорит, что председатель казенной палаты так-таки и сгорит со стыда.

– "Впроситься" старик хочет! – по секрету сообщил председатель Максиму Афанасьичу.

– Похоже на то-с! – меланхолически ответил Максим Афанасьич.

И все словно замерли, в ожидании, что будет. И вот однажды, после пульки, подсел старик к батальонному командиру и некоторое время до того пристально смотрел на него, что полковник весь съезжился.

– Ну-с, как дела, полковник? – вдруг произнес старик.

– Помаленьку, вашество!

– То-то "пома-лень-ку"! – проскандировал старик, постепенно возвышая голос, и в заключение почти уж криком крикнул. – Старика, сударь, забываете! Да-с!

С этими словами он встал и твердыми шагами вышел из клубной залы.

Смятение было невообразимое; у всех точно пелена с глаз упала. И вдруг, без всякого предварительного соглашения, в одно мгновение ока, всем припомнилось давно забытое слово "начальник края"...

Это было незадолго до появления манифеста об ополчении...

* * *

Пришел наконец и манифест. Патриарх прозрел окончательно.

Прежде всего его поразила цифра. Всего, всего тут было много: и холста, и сукна, и сапожных подметок, не говоря уже о людях. Ядреная, вкусная, сочная, эта цифра разом разрешила связывавшие его узы, так что прежде даже, нежели он мог хорошенько сообразить, какое количество изюма, миндаля и икры представляет она, уста его уже шептали:

– Теперь я всё сам. Сам всё сделаю. Да-с, сам-с.

И шептал он это с каким-то злорадством, словно бы хотел отмстить всем этим хищникам, которые бесцеремонно набивали свои карманы, а его держали на балыках да на зернистой икре.

В тот же вечер он призвал к себе откупщика и огорошил его вопросом:

– Ты, любезный, мне что присылаешь?

Откупщик стоял, как опущенный в воду, и не смел взглянуть ему в глаза.

– Два ведра водки в месяц мне посылаешь! Ска-а-ти-на!

Больше он ничего не сказал, но весть об этом разговоре с быстротою молнии разнеслась по городу, так что на следующий день, когда, по случаю какого-то чиновничьего парада, мы были в сборе, то все уже были приготовлены к чему-то решительному.

И действительно, трудно даже представить себе, до какой степени он вдруг изменился, вырос, похорошел. Многим показалось даже, что он сидит на коне и гарцует, хотя в действительности никакого коня под ним не было. Он окинул нас взором, потом на минуту сосредоточился, потом раза с два раскрыл рот и... заговорил. Не засвистал, не замычал, а именно заговорил.

Прежде всего он поставил вне всякого сомнения, что удобный для истребления врага момент наступил.

– У врагов наших есть нарезные ружья, но нет усердия-с, – сказал он, – у нас же хотя нет нарезных ружей, но есть усердие-е. И притом дисциплина-с. Смирно! – вдруг крикнул он, грозя на нас очами.

Затем, очень лестно отозвавшись об ополчении, которому предстоит в близком будущем выполнение славной задачи умиротворения, он перешел от внешних врагов к внутренним (он первый употребил это выражение, и так удачно, что после того оно вполне акклиматизировалось в нашем административном обиходе), которых разделил на две категории. К первой он отнес беспокойных людей вообще и критиков в особенности.

– Ни беспокойных людей, ни критиков – я не потерплю, – сказал он. – Критики вообще вредны, а у нас в особенности. Государство у нас обширное, а потому и операции в нем обширные. И притом в самоскорейшем времени-с. Следовательно, если выслушивать критики, то для одного рассмотрения их придется учредить особую комиссию, а впоследствии, быть может, и целое министерство. А ополчение тем временем будет без сапог-с. Не критиковать надобно, а памятовать, что в мире все подвержено тлению, а амуничные вещи в особенности. Скажу вам притчу. В прошлом году некоторый садовод посадил у себя в саду две яблони, а в нынешнем ожидал получить от них плод. И точно: одна яблоня дала плод, но другая – высохла. Ужели же следует садовода за это критиковать. Подобно сему – и ратницкий сапог. Один сапог дойдет до Севастополя, другой – только до первой станции. Никакая критика в этом случае не поможет, потому что достоинство сапога зависит не от критики, а от сапожника. Закон это предвидел и потому ни в каком ведомстве должности критика не установил-с.

К другой категории "внутренних врагов" он отнес тех чиновников "посторонних ведомств", которые, выставляя вперед принцип разделения властей, тем самым стремятся к пагубному административному сепаратизму.

– Многие из вас, господа, не понимают этого, – сказал он, не то гневно, не то иронически взглядывая в ту сторону, где стояли члены казенной палаты, – и потому чересчур уж широкой рукой пользуются предоставленными им прерогативами. Думают только о себе, а про старших или совсем забывают, или не в той мере помнят, в какой по закону помнить надлежит. На будущее время все эти фанаберии должны быть оставлены. Я здесь всех критикую, я-с. А на себя никаких критик не потерплю-с!

Высказавши это, он в заключение воскликнул:

– А теперь обратимся к подателю всех благ и вознесем к нему теплые мольбы о ниспослании любезному отечеству нашему победы и одоления. Милости просим в собор, господа!

Речь эта произвела очень разнообразное впечатление. Губернское правление торжествовало, казенная палата казалась сконфуженною, палата государственных имуществ внимала в гордом сознании своего благородства. Батальонный командир держал руки по швам, жандармский полковник старался вникнуть.

Даже строительная комиссия – и та соображала, нельзя ли и ей примкнуть к общему патриотическому настроению, вызвавшись взять на себя хозяйственную заготовку пик и другого неогнестрельного оружия.

Я ехал в собор вместе с Погудиным.

– А ведь речь-то хоть куда! – сказал я, – и, главное, совсем неожиданно.

– Это бывает, – ответил он, – в моей практике я и не такие чудеса видел. Позвали меня однажды к попу. Прихожу, лежит мой поп, как колода, языком не владеет, не слышит, не видит, только носом нюхает. Домашние, разумеется, в смятении; готовят горчишники, припарки. "Не нужно, говорю, ничего, а вот поднесите ему к носу ассигнацию". И что ж бы вы думали? как только он нюхнул, вдруг вскочил как встрепанный! Откуда что полезло: и заговорил, и прозрел, и услышал! И сейчас же водки попросил.

– Ну, вы это ехидничаете. А вы по правде скажите: хороша речь?

– Хороша-то хороша. И критиков заранее устранил, и насчет этой дележки: "Об себе, мол, думаете, а старших забываете"... хоть куда! Только вот что я вам скажу: не бывать вороне орлом! Как он там ни топырься, а оставят они его по-прежнему на одних балыках!

– Будто бы!

– Право, так. Взглянул я давеча на управляющего палатой государственных имуществ: уж так он благородно смотрел! Слово так вот всем естественным и говорит: "Ты только меня пропусти к ополчению, а уж я тебе покажу, где раки зимуют!"

– Да ведь вы известный пессимист!

– Верьте моей опытности. Управляющий палатой государственных имуществ – это именно тот самый человек, про которого еще в древности писано было: "И придут нецыи, и на вратах жилищ своих начертуют: "Здесь стригут, бреют и кровь отворяют"". А Набрюшникову – балыки!

Когда мы приехали в собор, литургия уже оканчивалась. Потом шел молебен с коленапреклонением. Певчие превзошли себя, протодьякон тоже. Набрюшников стоял впереди и от времени до времени осматривался назад, как бы испытывал, нет ли где "внутренних врагов". Я случайно взглянул на управляющего палатой государственных имуществ. Он смотрел благородно и вместе с прочими выражал доверие в силу русского оружия, но с тем лишь неременным условием, если ему, управляющему, будет предоставлено хозяйственное заготовление нужных для ополчения вещей. Не знаю почему, но мне невольно вспомнились при этом слова Погудина: "А Набрюшникову – балыки!"

* * *

Итак, "придут нецыи и на вратах жилищ своих начертуют: "Здесь стригут, бреют и

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
кровь отворяют"...

Несмотря на шуточность тона, предсказание Погудина сильно огорчило меня. Увы! оно относилось к моему приятелю Удодову, управляющему палатой государственных имуществ.

Владимир Онуфриевич Удодов был самый симпатичный из пионеров того времени. Если б я был женщина-романист, то следующим образом описал бы наружность его: "Его нельзя было назвать красавцем, но лицо его представляло такое гармоническое сочетание линий, что в нем, как в зеркале, отражались все свойства прекрасной души. Темные волосы счастливо оттеняли высокий матовой белизны лоб, на котором мысль врезала клеймо свое. То была скорбная, горькая мысль, которая глубоко, до самого сердца, пускала свои разветвления. Под влиянием ее, выразительное лицо его мгновенно вспыхивало, тонкие античные ноздри нервно вздрагивали, а глубокие темные глаза гневно искрились. Эти глаза – их нельзя было забыть. Темно-серые, вдумчивые, они, как живая загадка, выглядывали из-за больших темных ресниц. Что сулили они? упоение или горечь разочарования – это была тайна, которую знало только его сердце да сердце той... Но не будем предупреждать событий и скажем только, что тот, кто однажды видел эти глаза, навсегда был преследуем воспоминанием об них. Голос у него был мягкий, вкрадчивый и до такой степени мелодичный, что сердце женщины, внимавшей ему, словно пойманная птичка, трепетало в груди. Роста он был небольшого, но строгая соразмерность всех частей организма заставляла забыть об этом недостатке, если можно назвать это недостатком в мужчине, который не предназначал себя в тамбурмажоры. Прибавьте к этому тончайший запах *ess-bouquet*, которым он имел привычку душить свой носовой платок, – и вы получите разгадку того обаятельного действия, которое он производил на женщин".

Но я не романист и не женщина, а потому скажу просто: Удодов был пионер. Он ревностно поддерживал и хранил те преобразовательные традиции, в силу которых обыватели, с помощью целой системы канцелярских мероприятий, должны были быть приведенными к одному знаменателю. Тогда не было еще речи ни о централизации, ни о самоуправлении, ни об акцизном и контрольном ведомствах, но уже высказывались, хотя и с большою осторожностью, мнения о вреде взяточничества и о необходимости оградить от него обывателей при пособии хорошо устроенной системы опекаательства. Это было своего рода веяние времени, не преминувшее разрешиться появлением целого полчища Удодовых, которые бойко принялись за выполнение предлежавшей им реформаторской задачи. В провинции Удодовы были встречены с некоторым недоумением и даже с боязнью; втихомолку их называли эмиссарами Пугачева.

Владимир Онуфриевич любил блеснуть своими ораторскими дарованиями. Он охотно говорил обо всем: и о народе, и о высших соображениях, и о святости задачи, к выполнению которой он призван. У него был всегда наготове целый словесный поток, который плавно, и порой даже с одушевлением, сбегал с его языка, но сущность которого определить было довольно трудно. Так, например, я никогда не мог вполне определительно ответить на вопрос, действительно ли он "жалеет" народ или, в сущности, просто-напросто презирает его. Чаще всего мне казалось, что он в народе усматривает подходящую *anima vilis* ["гнусную душу", то есть подопытное животное (лат.)], над которою всего удобнее производить опыты канцелярских преобразований и которую, ради успеха этих преобразований, позволительно даже слегка поуродовать.

Вообще это был человек нервный, увлекающийся не столько собственными идеями, сколько идеями своих начальников, которые он воспринимал необыкновенно живо. Мысль ограждать невежественную массу крестьян от притязаний чиновников-взяточников несомненно увлекала и его самого, но она сделалась для него еще более привлекательною вследствие того, что к задаче ограждения пристегивали еще, с начальственного соизволения, воспитательный элемент. Мало ограждать, надо еще опекать. Приятно сказать человеку: "Ты найдешь во мне защиту от набегов!", но еще приятнее крикнуть ему: "Ты найдешь во мне ум, которого у тебя нет!" И Удодов неумоимо разъезжал по волостям, разговаривал с головами и писарями, старался приобщить их к тем высшим соображениям, носителем которых считал самого себя, всюду собирал какие-то крохи и из этих крох составлял записки и соображения, которые, по мере изготовления, и отправлял в Петербург. Все мужицкие обычаи представлялись ему вредными, весь мужик – подлежащим коренной перделке. Записки "о средствах к истреблению неграмотности и лени", "о необходимости искоренения вредных предрассудков" сыпались одна за другою, свидетельствуя о неусыпной реформаторской деятельности Удодова. И что в

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
особенности дорого было в этих "записках" – это полное совпадение их с тем
общеопекательным тоном, который господствовал в то время в одной части
петербургского бюрократического мира! Начальство читало эти записки и думало:
"Вот оно! отовсюду одно и то же пишут!" – нимало не подозревая, что оно, так
сказать, занималось перепиской само с собою, то есть само себе посылало
руководящие предписания и само от себя же получало соответствующие своим
желаниям донесения.

Как бы то ни было, но в общезнании Удодов был малый положительно приятный и
любезный. Он охотно сближался с молодыми людьми и не только не важничал, подобно
прочим чинам пятого класса, но даже пускался с ними в откровенные беседы,
предмет которых преимущественно составляли: святость его миссии и
бюрократическая его безупречность. Одно было в нем несколько подозрительно: он
слишком часто впадал в нервную раздражительность, слишком охотно злоупотреблял
"слезою". Это как-то напоминало Ипполита Маркелыча Удушьева, о котором в таких
восторженных выражениях отзывался Репетиллов...

Нередко мы целыми вечерами просиживали с ним один на один, и, право, это были
недурные вечера. За стаканом доброго вина он передавал мне заветнейшие мечты
свои и, несмотря на полное отсутствие какой-либо теоретической подготовки, по
временам даже поражал меня силой полета своей мысли.

– Наш народ – дитя, – говорил он мне. – Дитя доброе, смышленное, но все-таки
дитя. Сам собою он управляться не может. Он не имеет понятия ни о гражданском
союзе, ни о союзе государственном. Весь цикл его идей вертится около требований
и указаний обычного права. Поэтому для него необходимы добрые правители, которые
были бы, так сказать, посредниками между ним и государством. Государству
необходима военная оборона, необходим бюджет, а народ ничего этого не понимает.
Он не умеет обобщать и всего себя приурочивает к общине, к волости и, в крайнем
случае, к своему уездному городу. В его глазах фиск есть нечто загадочное, нечто
такое, что приходит, берет и уходит. Поэтому надобно его воспитывать. Надобно,
чтоб он беспрестанно был лицом к лицу с государством, чтобы последнее, так
сказать, проникло в самое сердце его. Народ – дитя, повторяю я, дитя, имеющее
множество предрассудков, обычаев, привычек... дурных привычек. Он настолько
погряз во всем этом, что сам по себе не чувствует от этого даже особенных
неудобств. Но ведь дело не в нем одном, а в государстве – в государстве,
относительно которого народ представляет лишь тягольную единицу. Государство
должно быть сильно, государство должно быть образованно, государство обязывается
иметь свою промышленность, торговлю и проч. Высшее же выражение государства есть
правительство, которое и несет на себе всю ответственность за него. Отсюда – его
права и обязанности. Права: собирать подати для удовлетворения требованиям
бюджета, объявлять рекрутские наборы для пополнения армии и флотов, поддерживать
благочиние, гармонию и единообразие. Обязанности: входить в нужды народа и
устроить его благосостояние с таким расчетом, чтобы государство от того
процветало. Такова основная мысль нашего управления. Мы обязываемся не только
ограждать подведомственных нам крестьян от всевозможных притязаний, но и служить
посредниками между ними и государством. Или, другими словами, мы должны
требовать и наблюдать, чтоб их внутренние распорядки отнюдь не противоречили
высшим государственным соображениям. Хотите, я прочту вам записку о
необходимости увеличить срок возраста для вступления в брак мужского пола лиц
из крестьянского сословия?

И он читал мне свою "записку", в которой излагал, что, во время разъездов по
волостям, он неоднократно был поражаем незрелым и слабосильным видом некоторых
молодых крестьян, которых он принимал за подростков и которые, по справке,
оказывались уже отцами семейств. Имея в виду, с одной стороны, что
преждевременное исполнение супружеских обязанностей вообще имеет вредное влияние
на человеческий организм, а с другой стороны, что ранние браки в значительной
мере усложняют успешное отправление рекрутской повинности, он, Удодов, полагал
бы разрешать крестьянам мужского пола вступать в брак не прежде, как по вынужденности
благоприятного рекрутского жребия, и притом по надлежащем освидетельствовании, в
особо учрежденном на сей предмет присутствии, относительно достижения
действительного физического совершеннолетия. Что же касается до
крестьянок-женщин, то участь их он предоставлял на благоусмотрение начальства.

Таким образом, он прочитал мне целый ряд "записок", в которых, с государственной
точки зрения, мужик выказывался опутанным такою сетью всевозможных опасностей,
что если б из тех же "записок" не явствовало, что, в лице моего собеседника,

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
мужик всегда найдет себе верную и скорую помощь, а следовательно, до конца
погибнуть не может, то мне сделалось бы страшно.

– И вот наше существование, друг мой! – прибавлял он грустно, – мы не имеем ни
одной свободной минуты, мы ни об чем другом не думаем, как об исполнении
обязанностей службы, а между тем нам завидуют, нас называют пугачевскими
эмиссарами! Ну, похожи ли мы на это?

Иногда он был даже чересчур либерален и, быть может, устроил бы меня резкостью
некоторых своих положений, если бы они были высказаны не в то простодушное время,
когда о "неблагонадежных элементах" не было и помина, а "в настоящее время,
когда..."

– Я понимаю одно из двух, – говорил он, – или неограниченную монархию, или
республику; но никаких других административных сочетаний не признаю. Я не
отрицаю: республика... res publica... это действительно... Но для России, по
мнению моему, неограниченная монархия полезнее. Что такое неограниченная
монархия? – спрашиваю я вас. Это та же республика, но доведенная до простейшего
и, так сказать, яснейшего своего выражения. Это республика, воплощенная в одном
лице, а потому ни одно правительство в мире не в состоянии произвести столько
добра. Возьмите, например, такое явление, как война. Какая страна может разом
выставить такую массу операционного материала? Выставить без шума, без гвалта,
без возбуждения распрей? Или, например, такое явление, как неурожай. Какая
страна может двинуть разом такое громадное количество продовольственного
материала из урожайной местности в неурожайную, при помощи одной натуральной
подводной повинности? – Конечно, ни одна страна в целом мире, кроме России и...
Американских Соединенных Штатов (повторяю, он до того был прозорлив, что уже в
то время провидел "заатлантических друзей")! Итак, дело не в имени, а в
результатах. Говорят, что у нас, благодаря отсутствию гласности, сильно
укоренилось взяточничество. Но спрашиваю вас: где его нет? И где же, в сущности,
оно может быть так легко устроимо, как у нас? Сообразите хоть то одно, что
везде требуется для взяточников суд, а у нас достаточно только внутреннего
убеждения начальства, чтобы вредный человек навсегда лишился возможности
наносить вред. Стало быть, стоит только быть внимательным и уметь находить
достойных правителей. Вот и все. А что такие люди есть – ответом на это служит
наше ведомство.

Наконец, он был совершенно неистощим и даже поэтичен, когда заходила речь о
любви к отечеству.

– Отечество, – говорил он, – это что-то таинственное, необъяснимое, но в то же
время затрогивающее все фибры человеческого сердца. Спойте передо мной: "je me
fiche, je m'en moque" [Мне дела нет, мне наплевать (франц.)] – и вы найдете меня
холодным. Но спойте "не белы снеги" или даже "Барыню" – и я готов расплакаться.
Почему? А именно потому, что тут есть что-то необъяснимое, загадочное. Я не могу
равнодушно видеть, когда на театре пляшут трепака, хотя в трепаке решительно нет
ничего трогательного. Я не могу без умиления видеть декорацию, изображающую нашу
русскую деревню. Темная изба, бесконечно вьющаяся дорога, белый саван зимы,
обнаженные деревья и внизу, под горой, застывшая речка... не правда ли, что тут
есть что-то родное? N'est ce pas? [Не правда ли?(франц.)]

По целым часам заговаривались мы на эту тему и, не ограничиваясь словами,
выражали глубину своего чувства действием. То есть затягивали "не белы снеги" и
оглашали унылым пением стены его квартиры до тех пор, пока не докладывали, что
подано ужинать. За ужином мы опять говорили, говорили, говорили без конца...

И вот об этом-то человеку Погудин изрекает такой жестокий приговор.

В самом деле, со дня объявления ополчения в Удодове совершилось что-то странное.
Начал он как-то озиаться, предался какой-то усиленной деятельности. Прежде не
проходило почти дня, чтобы мы не виделись, теперь – он словно в воду канул. Даже
подчиненные его вели себя как-то таинственно. Покажутся в клубе на минуту,
пошепчутся и разойдутся. Один только раз удалось мне встретить Удодова. Он ехал
по улице и, остановившись на минуту, крикнул мне:

– Тяжкие испытания, мой друг, наступают для России!

Затем, пожав мне руку горячее обыкновенного, он проследовал далее.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

Что хотел он сказать этим? Кто готовит тяжкие испытания для России? Воевода ли Пальмерстон или он, Удодов?

Наконец разнесся слух, что он заключил оборонительный и наступательный союз с Набрюшниковым, – с Набрюшниковым, о котором никогда до тех пор не выражался, как тоном величайшего негодования...

И вот, в один прекрасный вечер, я встретил его в клубе. Он пришел поздно и как-то особенно горячо обнял меня.

– Я сегодня счастлив, мой друг! – сказал он, – нынче вечером на меня возложена вся хозяйственная часть по устройству ополчения. Борьба была жаркая, но я победил. Ну, вы, конечно, уверены, что я своего кармана не забуду!

Последние слова были сказаны тем шуточным тоном, который у мало-мальски благовоспитанного собеседника должен вызвать, по малой мере, разуверяющий простосердечный смех.

Но я, не знаю почему, вдруг покраснел.

– Фома неверующий! – воскликнул он с укором.

Затем мы сели ужинать, и он спросил шампанского. Тут же подседа целая компания подручных устройств ополчения. Все было уже сформировано и находилось, так сказать, на чеку. Все смеялось, пило и с доверием глядело в глаза будущему. Но у меня не выходило из головы: "Придут нечьи и на ворота жилищ своих начертуют: "Здесь стригут, бреют и кровь отворяют"".

* * *

Это была скорбная пора; это была пора, когда моему встревоженному уму впервые предстал вопрос: что же, наконец, такое этот патриотизм, которым всякий так охотно заслоняет себя, который я сам с колыбели считал для себя обязательным и с которым, в столь решительную для отечества минуту, самый последний из прохвостов обращался самым наглым и бесцеремонным образом?

Теперь, с помощью Бисмарков, Наполеонов и других поборников отечестволюбия, я несколько уяснил себе этот вопрос, но тогда я еще был на этот счет новичок.

В первый момент всех словно пришибло. Говорили шепотом, вздыхали, качали головой и вообще вели себя прилично обстоятельствам. Потом мало-помалу освоились, и каждый обратился к своему ежедневному делу. Наконец всмотрелись ближе, вникли, взвесили...

И вдруг неслыханнейшая оргия взволновала наш скромный город. Словно молния, блеснула всем в глаза истина: требуется до двадцати тысяч ратников! Сколько тут сукна, холста, кожевенного товара, полушубков, обозных лошадей, провианта, приварочных денег! И сколько потребуется людей, чтобы все это шить, пригнать в самый короткий срок!

И вот весь мало-мальски смысленный люд заволновался. Всякий спешил как-нибудь поближе приютиться около пирога, чтоб нечто урвать, утаить, ушить, укроить, усчитать и вообще, по силе возможности, накласть в загорбок любезному отечеству. Лица вытянулись, глаза помутились, уста оскалились. С утра до вечера, среди непроходимой осенней грязи, сновали по улицам люди с алчными физиономиями, с цепкими руками, в чаянии воспользоваться хоть грошом. Наш тихий, всегда скупой на деньгу город вдруг словно ошалел. Деньги полились рекой: базары оживились, торговля закипела, клуб процвел. Вино и колониальные товары целыми транспортами выписывались из Москвы. Обеды, балы следовали друг за другом, с танцами, с патриотическими тостами, с пением модного тогдашнего романа о воеводе Пальмерстоне, который какой-то проезжий итальянец положил, по просьбе полицеймейстера, на музыку и немилосердно коверкал при взрыве общего энтузиазма.

Бессознательно, но тем не менее беспощадно, отечество продавалось всюду и за всякую цену. Продавалось и за грош, и за более крупный куш; продавалось и за картонным столом, и за пьяными тостами подписных обедов; продавалось и в домашних кружках, устроенных с целью наилучшей организации ополчения, и при

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
звоне колоколов, при возгласах, призывавших победу и одоление.

Кто не мог ничего урвать, тот продавал самого себя. Все, что было в присутственных местах пьяненького, неспособного, ленивого, – все потянулось в ополчение и переименовывалось в соответствующий военный чин. На улицах и клубных вечерах появились молодые люди в новеньких ополченках, в которых трудно было угадать вчерашних неуклюжих и ошипанных канцелярских чиновников. Еще вчера ни одна губернская барыня ни за что в свете не пошла бы танцевать с каким-нибудь коллежским регистратором Горизонтовым, а нынче Горизонтов так чист и мил в своей офицерской ополченке, что барыня даже изнемогает, танцуя с ним "польку-трамблямс". И не только она, но даже вчерашний начальник, вице-губернатор, не узнает в этом чистеньком офицерике вчерашнего неопрятного, отрепанного писца Горизонтова.

– А! Горизонтов! мило! очень, братец мой, хорошо! – поощряет вице-губернатор, повертывая его и осматривая сзади и спереди.

– Сегодня только что от портного, ваше высокородие!

– Прекрасно! очень, даже очень порядочно шит кафтанок! И скоро в поход?

– Поучимся недели с две, ваше высокородие, и в поход-с!

– Смотри! Сражайся! Сражайся, братец! потому что отечество...

– Нам, ваше высокородие, сражаться вряд ли придется, потому – далеко. А так, страны света увидим...

И шли эти люди, в чайные на ратницкий счет "страны света" увидеть, шли с легким сердцем, не зная, не ведая, куда они путь-дороженьку держат и какой такой Севастополь на свете состоит, что такие за "ключи", из-за которых сыр-бор загорелся. И большая часть их впоследствии воротилась домой из-под Нижнего, воротилась спившаяся с круга, без гроша денег, в затасканных до дыр ополченках, с одними воспоминаниями о виденных по бокам столбовой дороги странах света. И так-таки и не узнали они, какие такие "ключи", ради которых черноморский флот потопили и Севастополь разгромили.

Шитье ратницкой амуниции шло дни и ночи напролет. Все, что могло держать в руке иглу, все было занято. Почти во всяком мещанском домишке были устроены мастерские. Тут шили рубахи, в другом месте – ополченские кафтаны, в третьем – стучали сапожными колодками. Едешь, бывало, темною ночью по улице – везде горят огни, везде отворены окна, несмотря на глухую осень, и из окон несется пар, говор, гам, песни...

А объект ополчения тем временем так и валил валом в город. Валил с песнями, с причитаниями, с подыгрыванием гармоники; валил, сопровождаемый ревушим и всхлипывающим бабьем.

– Волость привели! – молодецки докладывает волостной старшина управляющему палатой государственных имуществ, выстроив будущих ратников перед квартирой начальника.

Управляющий выходит с гостями на крыльцо и здоровкается.

– Молодцы, ребята! – кричит он по-военному, – за веру! Помнить, ребята! За веру, за царя и отечество! С железом в руке... С богом!

И вот из числа гостей выступает вперед откупщик, перекрест из жидов. Он приходит в такой энтузиазм от одного вида молодцов-ребят, что тут же возглашает:

– По царке! по две царки на каждого ратника жертвую! за веру!

– С богом! трогай! – вновь напутствует управляющий толпу, – за ве-е-ру!

"Объект" удаляется с песнями.

Знает ли он, что за "ключи" такие, ради которых перекрест из жидов жертвует ему по чарке водки на человека?

Одним словом, и на улицах, и в домах шла невообразимая суета. Но человека, постороннего делу организации ополчения, в этой суете прежде всего поражало преобладание натянутости и таинственности. Общий разговор исчез совершенно. В собраниях, в частных домах – сейчас же формировались отдельные группы людей, горячо о чем-то между собою перешептывавшихся. В виду этих групп непосвященному становилось просто неловко. На приветствие его отвечали машинально; ежели же он проявлял желание присоединиться к общему разговору, то переменили разговор и начинали говорить вздор. Приходилось или уединиться, или присаживаться к девицам, которые или щипали корпию, или роптали на то, что в наш город не присылают пленных офицеров. По временам от которой-нибудь группы отделялся индивидуум и торопливо куда-то исчезал. Через некоторое время исчезнувший так же торопливо появлялся вновь, один или с новыми индивидуумами, и опять начинался оживленный шепот. По временам целая группа куда-то исчезала, вероятно в дом к кому-нибудь из заговорщиков, у которого можно было расположиться вольнее...

– Да что же такое происходит, наконец? – спросил я однажды Погудина, который зашел ко мне утром посидеть.

– Топка, батюшка, происходит, великая топка теперь у нас идет! – ответил он, – и богу молятся, и воруют, и опять богу молятся, и опять воруют. "И притом в самоскорейшем времени", как выразился Набрюшников.

– Неужто и Удодов тут?

– Удодов – по преимуществу. Много тут конкурентов было: и голова впрашивался, и батальонный командир осведомлялся, чем пахнет, – всех Удодов оттер. Теперь он Набрюшникова так настегал, что тот так и лезет, как бы на кого наброситься. Только и твердит каждое утро полициеймейстеру: "критиков вы мне разыщите! критиков-с! А врагов мы, с божьею помощью, победим-с!"

– А разве уж и критики появились?

– Немудрые. Какой-то писаришко анонимное письмо написал: новым Ровоамом Набрюшникова называет. Ну, какой же он Ровоам!

– Стало быть, сделка между Набрюшниковым и Удодовым состоялась?

– Нехитрая сделка: Набрюшников десять процентов себе выговорил. Тут, батюшка, сотни тысяч полетят, так ежели десять копеек с каждого рубля – сочтите, сколько денег-то будет!

– Послушайте! да не много ли десять-то процентов! Ведь ежели Набрюшникову десять процентов, сколько же Удодов себе возьмет! сколько возьмут его агенты!

– Все возьмут, да еще увидите, что и "благоразумная экономия" будет. А впрочем, знаете ли, что мне приходит на мысль: Удодов поглядит-поглядит, да и заграбит все сам. А Набрюшникова на бобах оставит!

– Ну, это мудрено!

– Ничего мудреного нет. Вы взгляните в Удодова, какая у него в последнее время физиономия сделалась. Так ведь и написано на ней: "И за что я какому-нибудь тетереву буду десять процентов отдавать!"

– Так вот он, Удодов-то! А какой человек-то! Намеднись сидел я у него, и зашел у нас разговор о любви к отечеству. "Отечество, говорит, это святыня!"

– А "не белы снеги" как поет! просто даже слеза прошибает!

Погудин даже закручинился под влиянием этого воспоминания. Машинально свесил голову набок и чуть-чуть сам не запел.

– Да, – сказал он после минутного молчания, – какая-нибудь тайна тут есть. "не белы снеги" запоют – слушать без слез не можем, а обдирать народ – это вольным духом, сейчас! Или и впрямь казна-матушка так уж согрешила, что ни в ком-то к ней жалости нет и никто ничего не видит за нею! Уж на что казначей – хранитель, значит! – и тот в прошлом году сто тысяч украл! Не щемит ни в ком сердце по ней,

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
да и все тут! А что промежду купечества теперь происходит - страсть!

- Например?

- И грызутся, и смеются, и анекдоты друг про дружку рассказывают. Хоть и большое дело двадцать тысяч человек снарядить, а все-таки не всякому туда впроситься удалось. Вот и идет у них теперь потеха: кто кому больше в карман наладит. Орфенову, например, ничего не дали, а он у нас по кожевенной части первый человек. А поделили между собою полушубки и кожевенный товар Москвины да Костроминны, а они сроду около кожевенного-то товара и не хаживали. Вот Орфенов и обозлился. "Жив, говорит, не буду, коли весь товар не скуплю: пуцай за тридевять земель полушубки покупают!" Так его сегодня полицеймейстер к Набрюшникову таскал.

- Это зачем?

- Реприманд Набрюшников делал. "Отъелся, говорит, так за критики принялся! Знаешь ли, говорит, что с тобою, яко с заговорщиком, поступить можно?"

- Ловко!

- Да, не без приятности для Удодова. Да собственно говоря, он один и приятность-то от всего этого дела получит. Он-то свой процент даже сейчас уж выручил, а прочим, вот хоть бы тем же Костроминным с братией, кажется, просто без всяких приятностей придется на нет съехать. Только вот денег много зараз в руках увидят - это как будто радуется!

- Ну, не станут же и они без пользы хлопотать.

- А вот как я вам скажу. Был я вчера у Радугина: он ночью нынче в Москву за сукном уехал. Так он мне сказывал: "Взялся, говорит, я сто тысяч аршин сукна поставить по рублю за аршин и для задатков вперед двадцать пять тысяч получил - сколько, ты думаешь, у меня от этих двадцати пяти тысяч денег осталось?" - "Две синеньких?" - говорю. "Две не две, а... пять тысяч!!"

- Строг же Удодов!

- Уж так аккуратен! так аккуратен! Разом со всего подряда двадцать процентов учел. Святое дело. Да еще что: реестриков разных Радугину со всех сторон наслали: тот то купить просит, тот - другое. Одних дамских шляпок из Москвы пять штук привезти обязался. Признаться сказать, я даже пожалел его: "купи, говорю, кстати, и мне в Москве домишко какой-нибудь немудрящий; я, говорю, и надпись на воротах такую изображу: подарен, дескать, в знак ополчения".

- Удивительнее всего, что они даже не скрываются. Так-таки всё и выкладывают!

- Нельзя. Удодов пытал останавливать, даже грозил, да ничего не поделаешь. Сначала пообещают молчать, а через час не выдержат - и выболтают. По секрету, разумеется. Тому по секрету, другому по секрету - ан оно и выходит, словно в газетах напечатано. Вот и я вам тоже по секрету,

- Черт возьми, однако! Ведь, по-настоящему, Удодову теперь руку подать стыдно!

- Ничего стыдного нет. Рука у него теперь мягкая, словно бархат. И сам он добрее, мягче сделался. Бывало, глаза так и нижут насквозь, а нынче больше все под лоб зрачки-то закатывать стал. Очень уж, значит, за отечество ему прискорбно! Намеднись мы в клубе были, когда газеты пришли. Бросился, это, Удодов, конверт с "Ведомостей" сорвал: "Держится! - кричит, - держится еще батюшка-то наш!" Это он про Севастополь! Ну, да прощайте! Секрет!

Погудин направился было к передней, но с половины дороги вернулся.

- Забыл! - сказал он, - сегодня ко мне мажордом приходил - знаете, тот самый, что за "покушение войти в незаконную связь с княгиней Т***" к нам сослан. "А что, говорит, не махнуть ли и мне, Петр Васильич, в ополчение? Уж очень, говорит, расее послужить захотелось!" - "Валяй", - говорю. "Только я, говорит, насчет чина сомневаюсь. Вон Горизонтова в прапоры произвели, а меня каким чином примут?" - "Прямо прохвостом", - говорю. "Ну, нет, говорит, мне, по моему

годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
положению, не того надобно!" - "А какое же, спрашиваю, твое положение?" - "А
такое, говорит, положение, что хоша я по просьбе князя Павла Павлыча сюда
сослан, а он сам - беспреречно мой сын!" - "Врешь, говорю, хвастаешься! за
"покушение" ты сослан - понимаешь! Покушался ты только мерзость сделать, а в
исполнение не привел!"... Так он даже в азарт вошел! Вертит, это, перстнем у
меня перед глазами: "Это, говорит, что! разве за "покушения" такие перстни
дарят!" Посмотрел я на перстень - хорош! - "Хорош, говорю, перстенок, а все-таки
никакого другого чина, кроме прохвоста, обещать тебе не могу!" С тем он от меня
и ушел... Так вот оно что значит, отечество-то! Даже мажордом восчувствовал!
"Расее, говорит, послужить хочу!"

* * *

И все опять запрыгало, завертелось. Дамы щиплют корпию и танцуют. Мужчины
взывают о победе и одолении, душат шампанское и устраивают в честь ополчения
пикники и *dejeuners dansants* [танцевальные утреники (франц.)]. Откупщик
жертвует чарку за чаркой. Бородатые ратники, в собственных рваных полушубках, в
ожидании новых казенных, толпами ходят по улицам и поют песни. Все перепуталось,
все смешалось в один общий густой гвалт.

И как-то отчетисто, резко выделяется из этого гвалта голос Удодова,
возглашающий:

- Держится голубчик-то наш! Не сдается! Нахимов! Лазарев! Тотлебен! Герои!
Уррра!

* * *

Наконец ополчение, окончательно сформированное, двинулось. Я, впрочем, был уже в
это время в Петербурге и потому не мог быть личным свидетелем развязки великой
ополченской драмы. Я узнал об этой развязке из письма Погудина.

"Наша ополченская драма, - писал он мне, - разрешилась вчера самым неожиданным
образом. Удодов исчез, то есть уехал ночью в Петербург, чтобы не возвращаться
сюда. Оказывается, что уже две недели тому назад у него был в кармане отпуск.
Все это сделалось так внезапно, что самые приближенные к Удодову лица ничего не
знали. Вечером у него собралось два-три человека из "преданных", играли в карты,
ужинали. В полночь он послал за лошадьми, говоря, что едет на сутки на ревизию.
И только уже садясь в возок, сказал провожавшим его гостям: господа, не
поминайте лихом! в Петербург удираю! Набрюшников так и остался при малой мзде,
которая ему была выдана из задаточных денег. Однако он решился не оставлять
этого дела и сегодня же посылает просьбу о разрешении и ему отпуска в Петербург.
Надеется хоть на половину суммы Удодова усовестить. Усовестит ли?"

ПРИВЕТ

Мы мчались на всех парах по направлению из Кенигсберга в Вержболово. Вот Вёлау,
вот Инстербург, вот Гумбинен... скоро, теперь скоро! Сердце робело, как бы
припоминая старую привычку болеть; саднящая тревога распространялась по всему
организму; глаза закрывались, словно боясь встретиться с неожиданностью.

Собственно говоря, впереди не было ничего ни неизвестного, ни неожиданного -
напротив! Но сложилась на свете какая-то особого рода известность, которую, как
ни вертись, нельзя назвать иначе как известностью неизвестности. Что проку в
том, что впереди все до последней нитки известно, если в чреве этой известности
нельзя найти ничего другого, кроме пословицы: "Известно, что все мы под богом
ходим". Ах! это - самая бессовестная, самая унижительная пословица! Смысл ее
горчее всякой горькой несправедливости, жесточе самой жестокой кары!

Нехорошо жить тому, кто не может даже определить для себя, виноват он или не
виноват; не имеет руководящей нити, чтобы угадать, что его ждет впереди -
награда или кара. Посреди этой смуты представлений настоящего и будущего,
конечно, самое разумное - это довести свой иск к жизни до минимума, то есть
сказать себе: "Удобнее всего быть ни виноватым, ни невиноватым, не заслуживать
ни кары, ни награды; я, дескать, сам по себе, я ничего не требую, ничего не ишу
и претендую только на то, что имею право жить". Согласитесь, что это немного. Но
тут-то именно изнуренное прирожденным пленом воображение и отыскивает всякого
рода загвоздки. Во-первых, что это за чин такой: "сам по себе"? во-вторых, какое

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
такое "право жить"? Право существовать, то есть? право ходить по струнке? право
жить в той мере...

Мне было стыдно. Я смотрел на долину Прегеля и весь горел. Не страшно было, а именно стыдно. Меня охватывала беспредметная тоска, желание метаться, биться головой об стену. Что-то вроде бессильной злобы раба, который всю жизнь плясал и пел песни, и вдруг, в одну минуту, всем существом своим понял, что он весь, с ног до головы, – раб.

Очевидно, сердце припоминало старую боль. Я слишком долгое время чувствовал себя чужим среди чужих и потому отвык болеть. Но нам это необходимо, нам нужна ноющая сердечная боль, и покамест это все-таки – лучший (самый честный) *modus vivendi* [образ жизни (лат.)] из всех, которые предлагает нам действительность.

Но истинный раб имеет впечатлительность скоропреходящую; потому-то именно он и раб, что не может сосредоточить свою мысль ни в каком ощущении. Вспышки совести в нем часты, но минутны. Блуждание между нравственною анемией и беспорядочным раскаянием – вот единственная форма, в которой воплощаются те проблески общечеловеческих основ, которые бессильна заглушить даже беспощадная рабская дисциплина. И чем сильнее вспышки самосознания, тем резче следующий за ними общий упадок сил. Даже раскаяние, эта податливейшая из всех форм внутреннего человеческого самосуда, слишком тяжеловесно, чтобы плечи раба могли выносить его время.

Раб не перестает быть рабом даже в те минуты, когда у него болит сердце. Охваченный бунтующею совестью, он умиротворяет ее не действительным удовлетворением ее законных требований, а тем, что старается обойти, замять, позабыть. Он изобретателен на всякие уловки – это одна из прерогатив его звания – и потому без труда отыскивает противовес пробудившемуся сознанию в готовых представлениях о неизбежности и коловратности. И вот крики боли начинают мало-помалу стихать, и недавний вопль: "Унизительно, стыдно, больно!" сменяется другим: "Лучше не думать!" Затем человек уже делается рассудительным; в уме его постепенно образуется представление о неизбежном роке, о гнетущей силе обстоятельств, против которой бесполезно, или, по малой мере, рискованно прать, и наконец, как достойное завершение всех этих недостойностей, является краткий, но имеющий решающую силу афоризм: "Надо же жить!"

Да, надо жить! Надо нести иго жизни с осторожностью, благоразумием и даже стойкостью. Раб – дипломат по необходимости; он должен как можно чаще повторять себе: "Жить! жить надо" – потому что в этих словах заключается отпущение его совести, потому что в них утопают всевозможные жизненные программы, начиная свободой и кончая рабством.

Мало-помалу мой стыд пропал, и его место заняло смутное желание "увидеть вновь". Я не объяснял себе, что предстоит увидеть; я именно твердил только эти слова: "увидеть вновь". А так как не могло быть ни малейшего сомнения в том, что я "увиджу вновь" непременно и не дальше, как вслед за сим, то мысли мои невольно начали принимать направление деловое, реальное, которое немало помогло окончательному миротворению потуг стыда. Я начал вслушиваться, всматриваться и мало-помалу вполне допустил завладеть собой мелочам обыденной, чередовой жизни.

Нас сидело в купе четыре человека, всё русские. Мы выехали из Берлина накануне, в восемь часов вечера, но, по русскому обычаю, расселись по углам, помолчали и, наконец, заснули, кто как мог. Только утром товарищи мои начали вглядываться друг в друга и испускать какие-то предварительные звуки, которые обнаруживают поползновение вступить в разговор. Но в Кенигсберге, за завтраком, общественное положение моих спутников объяснилось вполне. Все трое были представителями русской культуры: один, Василий Иванович, ехал из Парижа; другой, Павел Матвейч, – из Ниццы; третий, Сергей Федорыч, – из Баден-Бадена, в соответствующие города: Навозный, Соломенный и Непросыхающий. Все трое были женаты; жены их провели ночь вместе, в особом вагоне для некурящих, и довольно близко между собою познакомились. И не мудрено: у них был общий и очень существенный интерес. У каждой было по несколько кусков материй, которые надлежало утаить от таможенного надзора, а это, как известно, составляет предмет неистощимейших разговоров для всякой свободномыслящей русской дамы, которая, пользуясь всеми правами культурного срамословия, потому только не мнит себя кокеткою, что освобождается от взятия желтого билета. За кофеем последовало взаимное представление мужей, а когда поезд тронулся, то знакомство уже стояло

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik на прочном основании, и между новыми приятелями, без задержки, полилась вольная русская речь.

Покуда мне было стыдно, я не обращал внимания на происходивший около меня разговор; теперь, когда стыд мой прошел, я, как уже сказано выше, начал вслушиваться. Спутники мои, за исключением Сергея Федорыча, были, очевидно, истыми представителями и ревнителями интересов русской культурности, из числа тех, которые помнили времена, когда еще существовали культурные люди, "не позволявшие себе на ногу наступить". Теперь, когда наступание на ноги, за всеобщим его распространением, приобрело уже до такой степени обычный характер, что никого не заставляет даже краснеть, домашнее дело этих господ, то есть защита интересов культурности, до такой степени упростилось, что они увидели перед собою пропасть праздного времени, которое и решились наполнить бесцельным шатанием по бесчисленным заграничным stations de sante [курортам (франц.)], где праздность находит для себя хоть то оправдание, что доставляет занятие и хлеб бесконечному сонмищу комиссионеров, пактрэгеров и динстманов. И Василий Иванович, и Павел Матвеич были люди вполне утробистые, с тою, однако ж, разницею, что у первого живот расплывался вширь, в виде обширного четырехугольника, приподнимавшегося только при очень обильном насыщении; у второго же живот был собран клубком, так что со стороны можно было подумать, что у него в штанах спрятана бомба. Василий Иванович выглядел джентльменом: одет был щеголевато, лицо имел чистое, матовое, доказывавшее, что периодическое омоложение уже вошло в его привычки; напротив того, Павел Матвеич глядел замарашкой: одет был неряшливо, в белье рыжеватого цвета, лицо имел пористое, покрытое противною маслянистою слизью, как у человека, который несколько суток сряду спал, лежа в тарантасе, на протухлой подушке. Василий Иванович обнаруживал некоторое знакомство с европейскими манерами, то есть говорил резонно и свободно, дышал ровно и совсем не курил; напротив, Павел Матвеич говорил отрывисто, почти что мычал, не дышал, а сопел и фыркал, курил вонючие папиросы, одну за другою, и при этом как-то неистово захлебывался. Что же касается до Сергея Федорыча, то это был малый низенький, вертлявый и поджарый, что прямо обнаруживало, что прикосновенность его к культурности очень недавняя и притом сомнительная. Очевидно, он был когда-то исправником или становым и лишь в последнее время, за общим запустением, очутился представителем интересов культурности. Даже фамилия у него была совсем не культурная – Курицын, тогда как Василий Иванович был Спальников, а Павел Матвеич – Постельников.

– А ведь это было когда-то все наше! – говорил Василий Иванович, указывая рукой на долину Прегеля.

Павел Матвеич устремил в окно непонятливый взор, как будто хотел что-то разглядеть сквозь туман, хотя в действительности никакого тумана не было, кроме того, которым сама природа застилала его глаза.

– Когда же? – заерзал на месте господин Курицын.

– Да уж там когда бы то ни было, хоть при царе Горохе, а всё наше было. И это, и дальше всё. Отцы наши тут жили, мощи наших угодников почивали. Кёнигсберг-то Королевцем назывался, а это уж после немцы его в Кенигсберг перекрестили.

Павел Матвеич зевнул и произнес:

– Пушай их! у нас и своих болот девать некуда!

– Однако ж! – возразил Василий Иванович, – довольно не довольно, а все-таки своего всякому жалко.

– Да неужто это правда? – встревожился Сергей Федорыч.

– Верно говорю, все наше было. Сам покойный Михайло Петрович мне сказывал: поедешь, говорит, за границу, не забудь Королевцу поклониться: наш, братец, был! И Данциг был наш – Гданском назывался, и Лейпциг – Липовец, и Дрезден – Дрозды, все наше! И Поморье все было наше, а теперь немцы Померанией называют! Больно, говорит. Да что тут еще толковать! – и посейчас один рукав Мемеля Русью зовется, и местечко при устье его – тоже Русь! Вот она где, наша Русь православная, была!

– Странно! как же мы это так... оплошали!

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Об том-то я и говорю, что сротозейничали. Не будь этого... ишь-ишь-ишь! – сколько аистов по полям бредет!

Павел Матвеич взглянул в окно, но только почесал нос.

– Все бы наше было, и аисты наши были бы!

– Не корыстная птица, – заметил Павел Матвеич, – я слышал, мышами питается.

– Что ж, гадов выводит – и за то спасибо! Вот у нас этой птицы нет, оттого и гаду много! Как переехал за Эйдкунен – ау, аисты! Ворона пошла.

– В одном месте аисты, в другом – ворона, где чему вод!

– Да, вот здесь крыши черепицей кроют, а у нас – соломой!

– Соломой-то проще! да ведь и то сказать: у другого крыша хоть и соломенная, да зато под крышею...

– По-од кры-ы-шею! – зевнул во весь рот Павел Матвеич, – фу-ты, разоспался! От самого от Берлина в себя прийти не могу! Вы откуда едете?

– Мы – из Парижа. Каждый год ездим, поживем, закупки сделаем – и домой!

– А я из Ниццы. Море...

– Я целую зиму в Баден-Бадене прожил, – отозвался и Сергей Федорыч, – всем хорошо, только праздник Христов тяжело на чужой стороне встречать!

– Па-а-сха! – опять зевнул Павел Матвеич.

– Да, побыли, погуляли, а теперь вот домой едем, делом займемся, оброки соберем. А зимой, ежели захочем, – и опять за границу! – рассудил Василий Иваныч.

– Хорошо-хорошо за границей, а дома лучше.

– Дома – чего лучше!

– Пасха пресвята-а-я! – затянул Павел Матвеич.

Все трое на минуту смолкли. Павел Матвеич повернулся боком к окну и смотрел непонятливыми глазами вдаль, остальные двое покачивались.

– Дома – святое дело! – начал наконец Василий Иваныч, – это так только говорят, что за границей хорошо, а как же возможно сравнить? Вот хоть бы насчет еды: у нас ли еда или за границей?

– Вот! именно это я всегда и жене говорил! Помилуй, говорю, у нас ли еда или в этой Ницце проклятой! – с какою-то жадностью воскликнул Павел Матвеич. Он весь оживился, и даже непонятливые его глаза как будто блеснули.

– Мне, – доложил, в свою очередь, Сергей Федорыч, – как я за границу отправлялся, губернатор говорил: "Счастливец ты, Сергей Федорыч, будешь тюрбо есть!" А я ему: "Это еще, говорю, ваше превосходительство, бабушка надвое сказала, кто счастливее: тот ли, который тюрбо будет есть, или тот, у кого под руками и осетринка, и стерлядка, и севрюжка – словом, все".

– Да, над этим еще задумаешься, – отозвался Павел Матвеич и утер ладонью нос.

– С одним тюрбо – хоть он растюрбо будь – далеко тоже не уедешь! – согласился и Василий Иваныч.

– Вот в Ницце и много рыбы, да черта ли в ней!

– То ли дело наша стерлядь!

– Одна ли стерлядь! вы возьмите: судак! ведь это – какая рыба! куда хотите, туда ее и поверните! и а ля русс, и с провансалом, и с кисленьким соусом – всяко!

- А молодые судачки - на жаркое!
- Вот это - так рыба! настоящая рыба!
- Осетрина, белужина, севрюжка, белорыбица, сазан, налим!
- А лещ-то! лещ! тешку леща зажарить да с кашей!
- Ну, я вам скажу, ежели линия тоже приготовить! хоть и невидная, деревенская это рыба, а ежели под красным соусом приготовить да лучку подпустить!
- А про лососину-то и забыли!
- Ну, лососина, пожалуй, и у них есть. У нас в Баден-Бадене...
- Что в Баден-Бадене! Бывал я и в Баден-Бадене! форель - только и свету в окне! Ну, еще лососина, пожалуй... кусочек с горошину подадут... нет, вы про сига нашего вспомните! нет нашего сига! нигде нашего сига нет!
- Какого тут сига искать! шуку едят, назовут "броше" - и едят!
- А у меня шуку люди не станут есть. При крепостном праве ели, а теперь - баста! Попы - те и сейчас шук едят.
- Тюрбо да тюрбо! а его только и можно есть, что под белым соусом!

Дойдя до такого почти безнадежного результата, спутники мои чувствуют, однако, что зашли уж слишком далеко. Поэтому в мнениях их происходит минутная реакция, выразителем которой, к удивлению, является Павел Матвеич.

- Ну, положим, и не одно тюрбо! - говорит он, не без хитрости подмигивая одним глазом, - вспомните-ка!
- Конечно, не одно тюрбо, - уступает и Василий Иванович, - ежели всё-то вспомнить, так и у них рыба есть - как рыбе не быть!
- Тоже народ живет - пить-есть надо! - присовокупляет Сергей Федорыч.
- Соль, барбю - это ведь в своем роде...
- Соусы-с!

- Соусы - это верно, что соусы! Я и сам сколько раз гарсону в кафе Риш говорил: "что ты меня, Филипп, все соусом-то кормишь. С соусом-то я тебе перчатки свои скормлю! а ты настоящее дело подавай!"

Это замечание опять настроивает мысли на патриотический лад.

Соус? что такое соус? Есть ли это настоящая пища или только так, какое-то мнимое, не достигшее преосуществления антреме?

- Ел я их пресловутую буйль-абесс, - говорит таинственно Павел Матвеич, - это у них вместо нашей ухи!
- Ну уж! куда уж!
- У нас уху-то подадут - а?! Со стерлядью да с налимьими печенками... зо-ло-та-а-я! Да расстегаи к ней...
- Что уж!
- У меня коли уху готовят: сперва из мелких стерлядей бульон сделают, да луку головку туда бросят, потом сквозь чистое полотенце процедят да в этом-то бульоне уж и варят настоящую стерлядь! Так она так на зубах и брызжет!
- Что уж!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

- А то буйль-абесс! А они даже и ее только по праздникам едят – диковина!
- И опять-таки: буйль-абесс эта – совсем не уха, а соус!
- Все соусы! за что ни возьмись – все соусы!
- Зато они в соусах – мастера! то есть, впрочем, французы только... Мастера, бестии, соусы приготавливать!
- Еще бы! субиз, морнё, беарнез, борделез... пальчики оближешь!
- Хитер народ! настоящий провизии нет, так на соусах выезжают!
- Настоящей провизией только у нас, в матушке-России, и можно разжиться!
- Только у нас – это верно! Насчет чего другого, а насчет провизии к нам приезжай!

Все трое затихают и погружаются в себя, словно отыскивая в тайниках души какую-нибудь новую провизию для сравнения. Надо, впрочем, сказать, что Сергей Федорыч вообще принимал довольно ограниченное участие в этом разговоре. Как человек новый, в некотором роде мещанин во дворянстве, он, во-первых, опасался компрометировать себя каким-нибудь слишком простым кушаньем, а во-вторых, находил, что ему предстоит единственный, в своем роде, случай поучиться у настоящих культурных людей, чтобы потом, по приезде в Непросыхающий, сделать соответствующие применения, которые доказали бы его знакомство с последними результатами европейской культуры.

- Сравните теперь нашего цыпленка с ихним пуле! – начинает Павел Матвейч.
- Велика Федора, да дура! – отзывается Василий Иваныч.
- Наш ли цыпленок или ихний? Наш цыпленок – робенок! его с косточками, с головой, со всем проглотить можно! У него и жир-то робячий! Запонируют, это, в сухариках да в сливочном масле заколеруют – так это что!

Опять легкая пауза, в продолжение которой все трое сопят.

- У нас цыпленка гречневой кашей, да творогом, да белым хлебом, да яйцом кормят – ну, он и цыпленок! А у них чем кормят? Был я в жарден даклиматасьон – там за деньги кормление-то это показывают – срам смотреть!
- Однако, и у них бывают... жирные бывают пуле!
- Еще бы не жирные! будешь жирен, как стервятиной да дохлятиной кормить будут! Да и вообще... разве это цыпленок! Подадут дылду на стол, двоим вряд убрать, и говорят: пуле!
- Пулярка – это правильнее.

– Коли пулярка, так и говори, что пулярка, а пуле, мол, пожалуйста в Россию кушать. Да опять и пулярка: наша ли пулярка или парижская – об немецких уж и не говорю! Наша пулярка хоть небольшая, да нежная, тонкая, аромат у ней есть! а тамошняя пулярка – большая, да пресная – черта ли в ней, в этой преснятине! Только говорят: "Савёр да савёр!", а савёру-то именно и нет!

– Ну, положим, пулярки у них все-таки еще бывают; а вот вы мне что скажите: где у них наша дичь?

При этом вопросе собеседники сначала изумленно переглядываются, потом безнадежно махают руками.

- Наш рябчик, наш тетерев, наш дупель – где они?
- Утица наша... да кряковная! – неосторожно вмешивается Сергей Федорыч и тотчас же стыдливо потупляет глаза.

По холодному блеску глаз, которыми взглянул на него Василий Иваныч, он

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik убеждается, что сделал какой-то непозволительный промах. Утица, да еще кряковная... что такое утица? Филе де-каннетон - еще пожалуй! Это, быть может, даже на дело похоже! Кряковная! Даже Павел Матвеич, и тот как-то добродушно сконфузился при этом напоминании.

- ТХтерева-то, коли в кастрюльке да на чухонском масле зажарить, - спешит Павел Матвеич переменить разговор, - да подрумянить... да чтобы он в кастрюльке-то хорошенько вздохнул... ведь это - что ж!

- Да коли он не лежалый, да аромат этот в нем... ведь это - что!

- А рябчика-то на вертеле... да перчиком, да перчиком... бочка-то, бочка!

- У нас тетерев, рябчик, дупель, вальдшнеп, куропатка, а у них - кайль да кайль!

- А по-нашему, кайль-то - перепелка!

- У нас дрозд, а по-ихнему - грив. Думаешь, и бог знает что подают - ан дрозд простой!

- Ну, есть у них и пердро. Это ведь тоже недурно, особливо коли-ежели...

- А вы попробуйте-ка каждый день зарядить пердро да пердро, так оно у вас, батюшка, в горле застрянет! Нет, у нас - как можно! сегодня рябчик, завтра тетерев, послезавтра, пожалуй, пердро... Господи, а поросенок-то! об поросеночке-то и позабыли!

И все вдруг засмеялись, но так любовно, как будто блудного сына обрели.

- Поросенка за границей днем с огнем не отыщешь! - с знанием дела заявил Сергей Федорыч.

- Им поросенок невыгоден. Я не один раз у Филиппа спрашивал: "Отчего у вас, Филипп, поросенка не подают?" - "А оттого, говорит, что для нас поросенок невыгоден; мы его затем воспитываем, чтоб из него свинья или боров вышел - тогда и бьем!"

- А того не понимает, что свинья - сама по себе, а поросенок - сам по себе.

- Поросеночка, да молоченького, да ежели с неделю еще сливочками подкормить... Это - что же такое!

- Кожица-то у него, ежели он жареный... заслушаешься, как она на зубах-то хрустит!

- А я, признаться, больше люблю вареного... да тепленького, да чтоб сметанки с хренком...

- В Английском клубе, в Москве, в прежние времена повар был... ах, хорошо, бестия, поросят подавать уметь!

Опять пауза; все трое смотрят в землю, словно подавленные воспоминаниями. Наконец Павел Матвеич восклицает:

- Ах, заграница! заграница!

Я думал, что этим восклицанием кулинарные воспоминания исчерпаются; но, видно, много накипело в душе у этих людей, и это многое уже не могло держаться под спудом ввиду скорого свидания с родиной.

- Баранина у них - вот это так! А что касается до говядины, до телятины - всё у нас лучше!

- Крысы у них хороши в Париже; во время осады, говорят, всё крысами питались.

- Ну, я, кажется, озолоти меня - не стану крысу есть.

- Однако! смотря потому...

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

- С голода лопну, а не стану!
- А француз ест; соусом приправит, перчиком сдобрит и ест. Может, и мы когда-нибудь в Париже кошку за лапена съели.
- И съели.
- Вот оно что соус-то значит!
- Велико дело - соус!
- У нас этих соусов нет, потому что наша еда - настоящая.
- Как же возможно! наша ли еда или заграничная!

Все трое разом зевнули и потянулись: знак, что сюжет начинал истощаться, хотя еще ни одним словом не было упомянуто об ветчине. Меня они, по-видимому, совсем не принимали в соображение: или им все равно было, есть ли в вагоне посторонний человек или нет, или же они принимали меня за иностранца, не понимающего русского языка. Сергей Федорыч высунулся из окна и с минуту вглядывался вперед.

- Что? видно? - спросил его Василий Иванович.
- Бог знает! видно что-то, да не разберу!
- Да, мудрена Россия-матушка! не скоро ее разберешь!

Павел Матвеич только махнул рукой и сильнее прежнего затянулся папироской.

- И прежде трудно было, - сказал он, - а теперь, как везде наследили следов, пожалуй, и совсем не разберешь! Везде для тебя дорога написана, и нигде тебе дороги нет!

- Именно. У меня, в Навозном, дело завелось; сам-то я за границу уехал, так ходоку поручил, - представьте! пишет, что четвертый месяц начальства ищет, не может найти!

- Как так?

- Да так вот. Исправник нынче никаких дел не принимает, а мировые - один в отставку вышел, другой, по болезни, не правит, а третий по уезду ездит, поймать нигде нельзя. Нет начальства - хоть волком вой!

- А вот французы, у них начальства даже по закону не положено, а живут!

- Спросили бы вы, как живут-то! тоже ведь, как и мы, грешные, горе мыкают! Голоштанники да республиканцы - те, конечно, рады! а хороших людей спросите - ой-ой, как морщатся!

- Как можно без начальства! без начальства - мат!

- И хоть бы свобода была! Республика да республика, а посмотришь да поглядишь - право, у нас свободнее!

- Как же возможно! у нас - простор!

- У нас, коли ты сидишь смиренно, да ничего не делаешь, так никто тебя не тронет - Христос с тобой, хоть два века смиренно сиди!

- А захотел разговаривать - так не прогневайся!

- И дельно - потому, молчи!

- Насмотрелся-таки я на ихнюю свободу, и в ресторанах побывал, и в театрах везде был, даже в палату депутатов однажды пробрался - никакой свободы нет! В ресторан коли ты до пяти часов пришел, ни за что тебе обедать не подадут! после восьми - тоже! Обедай между пятью и восемью! В театр взял билет - так уж не прогневайся!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
ни шевельнуться, ни ноги протянуть – сиди, как приговоренный! Во время
представления – жара, в антрактах – сквозной ветер. Свобода!

– Да, посидишь в тисках – запросишь простору! А впрочем, правду надо сказать:
бестии эти француженки, можно для них и в тисках посидеть! Насчет это лямуру или
ляшозу...

– Как вам сказать! ведь и насчет лямуру они больше у нас распоясываются. Знают,
что денег у русских много, – ну, и откальвают. А в Париже и половины тех штук не
выделявают, что у нас.

– Говорят, Мак-Магонша лямуру не любит.

– Да, и она. Много она для Франции полезного сделала, а частичка тоже и вреда
есть. Главное дело – иностранцев от Парижа отвадила. Возьмем хоть бы нас,
русских: кабы настоящим-то манером, как при Евгении, лямур выделявали, да нас
бы, кажется, и не отодрать оттоле!

– Кричат: "Республика!", а свободы не дают!

– Скажите, однако ж: я слышал, что картинки такие в Париже продаются...
интересные будто бы картинки приобрести можно?

– Это для стереоскопа, что ли? Я целую охапку с собой захватил!

– Интересны?

– Отдай всё, да и мало!

– Тсс...

– Да у них еще то ли есть! В модных магазинах показывают, как барыни платья
примеривают! Приедет, это, дама – и всё из большого света! – разденется
декольте, а из соседней комнаты кавалер на нее сквозь щелочку и смотрит,

– Ишь ты! а она, сердешная, и не знает?

– Иные и знают, нарочно знакомиться с кавалерами приезжают. Повертывается она
декольте перед зеркалом, а из засады – кавалер: же лоннёр... Большие съезды
бывают.

– И наши, чай, барыньки...

– Чего уж!

Каждый смотрит на каждого вопрошающим взглядом, словно хочет сказать: "А что,
брат, уж не твоя ли?"

– Ах, дамочки наши! дамочки! – вздыхает Сергей Федорыч.

– Так вы и в палате депутатов побывали? – любопытствует Павел Матвейч.

– Был, в самый раз попал, амнистию обсуждали. Галдят, а толку нет. Знают, что
придет Наполеон, и всем им одно решение выйдет – в Кайенну ушлют.

– Вот и этого у нас нет!

– Зачем нам! У нас, коли ты сидишь смирно, да ничего не делаешь – живи! У нас
все чередом делается. Вот, приедем в Вержболово – там нас рассортируют, да всех
по своим местам и распределят.

– Турки-то! турки-то тоже конституции запросили! ах, прах их побери!

– Смехота!

– То-то оно и есть! даже у турок взбеленились, а у нас – спокой!

– Нам конституциев не надо! Мы и без них проживем! Разъедемся теперь по

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
деревням, амуницию долой – спокой!

Все трое заговорили разом: "У нас как возможно! У нас – тишина! спокой! каких еще там конституций! долой амуницию – чего лучше!" Гул стоял в отделении вагона от восклицаний, лишенных подлежащего, сказуемого и связки.

– Нет, вы только сообразите, сколько у них, у этих французов, из-за пустяков времени пропадает! – горячился Василий Иваныч, – ему надо землю пахать, а его в округу гонят: "Ступай, говорят, голоса подавать надо!" Смотришь, ан полоса-то так и осталась непаханная!

– И ништо им! пущай без хлеба сидят!

– Зато у нас мужичка никто уж не тронет: паши себе да паши!

– Разве с подводой выгонят, так ведь без этого тоже нельзя!

– Подвода – дело! а у них что!

– Ах, французы! французы! жаль их! дельный народ, а насчет язычка – слабеньки!

– А вы думаете, что они сами этого не чувствуют? не чувствуют, что ли, что если Россия им хлеба не даст, так им мат? Чувствуют, да еще и ах как чувствуют!

Опять завопили все разом: "чувствуют! да еще как чувствуют! Мат! именно мат!"

– А позвольте спросить, – вдруг надумался Сергей Федорыч, – вот вы насчет Турции изволили говорить, будто там конституции требуют; стало быть, это действительно так?

– Чего вернее, во всех газетах написано.

– Да! заварили турки кашу! придется матушке-России опять их уму-разуму учить!

– А позвольте еще спросить: дворяне у них есть... турецкие?

Вопрос этот сначала словно ошеломил собеседников, так что последовала короткая пауза, во время которой Павел Матвеич, чтоб скрыть свое смущение, повернулся боком к окну и попробовал засвистать. Но Василий Иваныч, по-видимому, довольно твердо помнил, что главная обязанность культурного человека состоит в том, чтобы выходить с честью из всякого затруднения, и потому колебался недолго.

– Как, чай, дворянам не быть, – ответил он, – только документов у них настоящих нет, а по-ихнему – все-таки дворяне.

– Помилуйте! да у меня в Соломенном и сейчас турецкий дворянин живет, и фамилия у него турецкая – Амурадов! – обрадовался Павел Матвеич, – дедушку его Потемкин простым арабчонком вывез, а впоследствии сто душ ему подарил да чин коллежского асессора выхлопотал. Внук-то, когда еще выборы были, три трехлетия исправником по выборам прослужил, а потом три трехлетия под судом состоял – лихой!

– И белый... из лица, то есть?

– Немножко как будто с точечками, а впрочем, как есть – русский: и в церковь нашу ходит, и ругается по-нашему.

– У нас дворяне – жалованные, а у них – так! – пояснил Василий Иваныч, – у наших права, а у ихних – прав нет!

– Сегодня он – дворянин, а завтра – опять холуй!

– Завтра его подрежут да евнухом в гарем определяют!

– Тсс... а что, кабы у нас так?

– Вот еще что вздумали! У нас этого нельзя, у нас – закон!

– У нас чего лучше! у нас, ежели ты по закону живешь, никто тебя и пальцем не

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik тронет! Ну, а коли-ежели не по закону – ау, брат!

Спутники мои очевидно начинали повторяться: знак, что скудный запас разговора приближается к концу. Все отяжелели: Василий Иваныч вытянул руки вверх и с наслаждением сибарита шевелил лопатками; Павел Матвейч просто-напросто завывал, зевая; один Сергей Федорыч ерзал на месте, но не для того, чтоб спросить еще что-нибудь, а как бы ища куда-нибудь половчее примазаться. Если б не близость Вержболова, наверное, эти люди через минуту заснули бы тем тревожным, захлебывающимся сном, от которого у русского культурного человека стискиваются зубы и лицо в самое короткое время покрывается глянцевитым туком. Однако я был убежден, что еще далеко не все сказано. Не может быть, думалось мне, что они так-таки и позабыли о ветчине! И действительно, предчувствие не обмануло меня; хотя и окольным путем, но они пришли, однако ж, к ветчине,

– Обедать, что ли, в Вержболове будем? – спросил Павел Матвейч.

– Сперва на Страшный суд сходим, а потом и отобедаем!

– Да, скажите, пожалуйста, – я ведь за границей-то в первый раз – что с нами, собственно говоря, в Вержболове делать будут? – интересовался Сергей Федорыч.

– Ничего, голову сперва снимут, а потом отпустят! – пошутил Василий Иваныч.

– Нет, вы серьезно... поучите! в первый ведь раз!

– А вот увидите. Сперва на один Страшный суд поведут – таможенные обшарят; потом на другой Страшный суд представят – жандармы пачпорта осматривать будут.

– Посмотрят и отдадут?

– Ну, там, глядя по человеку. Ежели человек в книге живота не записан – простят, а ежели чего паче чаяния – в пастухи определят, вместе с Макаром телят пасти велят.

– Однако!

– В других землях вот этого нет!

– В других землях нет, а у нас – порядок! Я в полгода всю Европу объехал – нигде задержек не было; а у нас – нельзя! ни въехать, ни выехать у нас без спросу нельзя, все мы под сумлением состоим: может быть, злоумышленник!

– И дельно.

– Спокойнее. Да ежели и есть задержка – разве она велика? Коли я ничего не сделал, да пачпорт у меня чист – да хоть до завтра его смотри! Я даже с удовольствием!

– Еще для меня спокойнее. Коли хорошенько пачпорт-то у меня проэкзаменуют, так и мне легче. По крайности, уверенность есть, что ни в чем не замечен.

– Ну, насчет уверенности – это еще бабушка надвое сказала. Начальство – оно тоже с умом: иногда нарочно новадку дает, чтоб ты в уверенности был, а само между тем примечает!

– Что ж, и это дельно! будь в страхе! оглядывайся! Кабы мы не оглядывались, да нас бы...

– Вообще у нас порядку больше. Лишнего не позволят, да зато и в яму упасть не дадут.

– А коли по правде-то говорить, так ведь это-то настоящая свобода и есть!

– Чего свободнее! Простор у нас один какой! зима-то наша! зима-то! Велишь, это, тройку в сани заложить – покатывай!

– Да колокольчик у коренной под дугой заливадается, да пристяжные бубенчиками погромыхивают, да кучеру песни петь велишь... и-ах! и-ух!

- В целом свете такого раздолья не найдешь!
- Опять же насчет провизии! наша ли еда или ихняя!
- Я и сплю и вижу, как в Вержболово приедем! сейчас же ветчинки кусочек спрошу!
- Вот! давеча перечисляли-перечисляли еду всякую, а про ветчину-то и позабыли!
- А ветчина между тем... знаете ли, едал я ихнюю ветчину, и вестфальскую, и лионскую, и итальянскую, всякую пробовал, – ну, нет, против нашей тамбовской куда жиже!
- Помилуйте, наша ли свинья или ихняя! наша свинья – чистая, хлебная, а ихняя – что! Стервятиной свинью кормят, да еще требуют, чтоб она вкусом вышла! А ты сперва свинью как следует накорми, да потом уж с нее и спрашивай!
- Трихин-то, трихин-то, чай, сколько в ихней ветчине!
- Пожалуй, что, кроме трихин, ничего другого и нет. Признаться, я все время, как был за границей, как от огня, от ихней свинины бегал. Вот, стало быть, и еще один предмет продовольствия из реестрика исключить приходится.
- Да и предмет-то какой!
- Чего еще! Коли без опасения свинину употреблять – хоть на сто манеров ее приготовляй! Ветчины захотелось: хошь провесную, хошь копченую – любую выбирай! Свежая свинина по вкусу пришлась – буженину заказывай, котлетки жарь, во щи свининки кусочек припусти! Буженина, да ежели она в соку – ведь это что! Опять колбасы, сосиски – сколько сортов их одних наберется! сосиски в мадере, сосиски с чесночком, сосиски на сливках, сосиски с кислую капустой, сосиски... э, да что тут!

Разговор внезапно оборвался. Эти перечисления до того взволновали моих спутников, что глаза у них заблестели зловещим блеском и лица обозлились и осунулись, словно под гнетом сильного душевного изнурения. Мне показалось, что еще одна минута – и они совершенно созреют для преступления. К счастью, в эту минуту поезд наш начал мало-помалу уменьшать ход, и все сердца вдруг забились в виду чего-то решительного.

Мы приехали в Эйдкунен, откуда, после короткой остановки, поезд медленно и как-то торжественно повлек нас в Вержболово. Казалось, Европа сдавала нас по принадлежности с какою-то попечительною благосклонностью: "Вот, мол, они! берите и распределяйте их! невинными я их от вас приняла и невинными же сдаю вам! А ежели и случился с ними какой грех, то виновата в этом я одна, а их – простите! Каюсь, я не только открыла им доступ во все рестораны и модные магазины, но многим даже развязала языки; однако ж я уверена, что дома, у себя, они сумеют и помолчать! Не правда ли, *mesdames et messieurs?*" [милостивые государыни и милостивые государи? (франц.)]

– Помилуйте! да мы! да никогда! да упаси боже! – слышались мне воображаемые голоса соотечественниц и соотечественников, с готовностью и с чистым сердцем устремляющихся на "Страшный суд".

Но на деле никаких голосов не было. Напротив того, во время минутного переезда через черту, отделяющую Россию от Германии, мы все как будто остепенились. Даже дамы, которые в Эйдкунене пересели в наше отделение, чтобы предстать на Страшный суд в сопровождении своих мужей, даже и они сидели смирно и, как мне показалось, шептали губами обычную короткую молитву культурных людей: "Пронеси, господи!"

– Что! притихла небось! – обратился Василий Иваныч к своей жене, высокой и статной брюнетке, которая даже в Париже, этом всесветном сборном пункте красивых кокоток, не осталась незамеченною.

Но красавица ничего не ответила и продолжала шевелить губами.

– Материю-то куда спрятала? – приставал Василий Иваныч.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
Легкая краска, которою покрылось красивое лицо барыни, да какой-то загадочный жест внутрь себя, сделанный почти бессознательно, послужили ответом на этот вопрос. Действительно, в эту минуту красавица показала мне гораздо полнее, вальяжнее, нежели в Кенигсберге за завтраком.

– Чай, аршин с тридцать кругом себя обмотала? – подмигнул Василий Иваныч своим собеседникам, – а вот из Вержболова выйдем – разматываться начнем. Ах, барыни! барыни!

Павел Матвеич и Сергей Федорыч только махнули руками в сторону своих дам, которые тоже после кенигсбергской остановки заметно пополнили.

Вержболово... свершилось!

Нас попросили выйти из вагонов, и, надо сказать правду, именно только попросили, а отнюдь не вытурили. И при этом не употребляли ни огня, ни меча – так это было странно! Такая ласковость подействовала на меня тем более отдохновительно, что перед этим у меня положительно подкашивались ноги. В голове моей даже мелькнула нахальная мысль: "Да что ж они об Страшном суде говорили! какой же это Страшный суд! – или, быть может, он после будет?"

Но и после никакого Страшного суда не было. Таможенный чиновник с такою изысканностью обзрел наши чемоданы, что дамам оставалось только пожалеть, зачем он и их хорошенько не обыскал. Жандармский офицер величаво исполнил обряд обрезания над нашими паспортами, но, исполнивши, с улыбкой заявил, что в сущности это – пустая формальность и что по этой статье, как и по всем прочим, ожидается реформа в самом ближайшем времени. Даже жандармский унтер-офицер Тарара – и тот широко улыбался, словно всем своим лицом говорил:

– Наши! наши приехали!

Я повеселел окончательно и, в порыве радости, навеянной свиданием с родиной, готов был даже потребовать от Василия Иваныча строгого отчета:

– Где же, милостивый государь, тот Страшный суд, которым вы изволили нас стращать?

Но он предупредил мой вопрос. В руках его была паспортная книжка, на которую он смотрел с каким-то недоумением, словно ему казалось странным, что последний листок, заключающий отметку о возвращении, вдруг исчез.

– Ну, теперь, брат, крепко! – проговорил он вслух, – теперь, брат, ау! уж никуда не убежишь!

Игрушечного дела людишки

В 184* году я жил в одной из северных губерний России. Жил, то есть состоял на службе, как это само собой разумелось в то время. И при этом всякие дела делал: возлежал на лоне у начальника края, танцевал котильон с губернаторшей, разговаривал с жандармским штаб-офицером о величии России и, совместно с управляющим палатой государственных имуществ, плакал горячими слезами, когда последний удостоверял, что будущее принадлежит окружным начальникам. И, что всего важнее, ужасно сердился, когда при мне называли окружных начальников эмиссарами Пугачева. Одним словом, проводил время не весьма полезно.

В то время, вблизи губернского города, процветал (а быть может, и теперь процветает) уездный городок Любезнов, куда я частенько-таки ездил, во-первых, потому что праздного времени было пропасть, а во-вторых, потому, что там служил, в качестве городничего, мой приятель, штабс-капитан Вальяжный, а у него жила экономка Аннушка. Эта Аннушка была премилая особа, и, признаюсь, когда мне случалось пить у Вальяжного чай или кофе, то очень приятно было думать, что предлагаемый напиток разливала девица благоутробная, а не какая-нибудь пряничная форма. Но, впрочем, только и всего. Хотя же и был на меня донос, будто б я ездю в Любезнов "для лакомства", но, ввиду моей беспорочной службы, это представляло так мало вероятия, что сам его превосходительство собственноручно на доносе написал: "Не верю; пусть ездит".

Подобно тому, как у любого отца семейства всегда бывает особенно надежное чадо,
Страница 305

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
о котором родители говорят: "Этот не выдаст!" - подобно сему и у каждого губернатора бывает свой излюбленный город, который его превосходителство называет свою "гвардией" и относительно которого сердце его не знает никаких тревог. Об таких городах ни в губернаторской канцелярии, ни в губернском правлении иногда по целым месяцам слухом не слышать. Исправники в них - непьющие; городничие - такие, что две рюмки вставши, да три перед обедом, да три перед ужином - и сами говорят: "Баста!", городские головы - такие, что только о том и думают, как бы новую пожарную трубу приобрести или общественный банк устроить, а обыватели - трудолюбивые, к начальству ласковые и к уплате податей склонные.

К числу таких веселящих начальственные сердца муниципий принадлежал и Любезнов. Я помню, губернатор даже руки потирал, когда заводили речь об этом городе. "За Любезнов я спокоен! Любезновцы меня не выдадут!" - восклицал его превосходительство, и все губернское правление, в полном составе, вторило: "Да, за Любезнов мы спокойны! Любезновцы нас не выдадут!" Зато, бывало, как только придет из Петербурга циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал-майора Мардария Отчаянного, так тотчас же первая мысль: поскорее дать знать любезновцам! И точно: не успеет начальство и оглянуться, как исправник Миловзоров уже шлет 50 коп., а городничий Вальяжный - целых 75 коп. Тогда как из Полоумного городничий с тоской доносит, что, по усиленному его приглашению, пожертвований на означенный предмет поступила всего 1 копейка... Да еще испрашивает в разрешение предписания, как с одной копейкой поступить, потому-де что почтовая контора принимает к пересылке деньги лишь в круглых суммах!

Любезнов был городок небольшой, но настолько опрятный, что только разве в самую глухую осень, да и то не на всех его улицах, можно было увязнуть. В нем был общественный банк, исправная пожарная команда, бульвар на берегу реки Любезновки, небольшой каменный гостиный двор, собор, две мощные улицы - одним словом, все, что может веселить самое прихотливое начальническое сердце. Но главным украшением города был городской голова. Этот замечательно деятельный человек целых пять трехлетий не сходил с головодства и в течение этого времени неуклонно задавал пиры губернским властям, а местным - кидал подачки. С помощью этой внутренней политики он и сам твердо держался на месте, и в то же время содержал любезновское общество в дисциплине, подходящей к ежовым рукавицам. И вот, быть может, благодаря этим последним, в Любезнове процвели разнообразнейшие мастерства, которые сделали имя этого города известным не только в губернии, но и за пределами ее.

Этот блестящий результат был, однако ж, достигнут не без труда. Есть предание, что Любезнов некогда назывался Буяновым и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей. Было будто бы такое время, когда любезновцы проводили время в гульбе и праздности и все деньги, какие попадали им в руки, "крамольным обычаем" пропивали и проедали; когда они не токмо не оказывали начальству должных знаков почитания, но одного из своих градоначальников продали в рабство в соседний город (см. "Северные народоправства", соч. Н. И. Костомарова). Даже и доднесь наиболее распространенные в городе фамильные прозвища свидетельствуют о крамольническом их происхождении. Таковы, например, Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы, Вольницыны, Непройменовы и т. д. Так что несколько странно видеть какого-нибудь Идолова, которого предок когда-то градоначальника в рабство продал, а ныне потомок постепенными мерами до того доведен, что готов, для увеселения начальства, сам себя в рабство задаром отдать.

К счастью для Буянова, случилось сряду четыре удачных и продолжительных головодства, которые и положили конец этой неурядице. Первый из этих удачных градских голов дал городу раны, второй - скорпионы, третий - согнул в бараний рог, а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами. И, независимо от этого, все четверо прибегали и к мерам кротости, неослабно внушая приведенным в изумление гражданам, что человек рожден для трех целей: во-первых, дабы пребывать в непрерывном труде; во-вторых, дабы снимать перед начальством шапку, и в-третьих, - лить слезы. Повторяю: результат оказался блестящий. Изуверовы, вместо того, чтобы заниматься "противодействиями", занялись изобретением *perpetuum mobile* [вечного двигателя (лат.)], и в ожидании, покуда это дело выгорит, работали самокаты и делали какие-то особенные игрушки, которые "чуть не говорят"; Идоловы, прекратив "филантропии", избрали специальностью сборку деревянных часов, которые в сутки показывали двое суток, но и за всем тем, как образчик

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik русской смекалки, могли служить поводом для размышлений о величии России; Строптивцевы, бросив "революции", изобрели такие шкатулки, до которых нельзя было дотронуться, чтобы по всему дому не пошел гвалт и звон; а один из Непройменовых, занявшийся торговлей муравьиными яйцами (для кормления соловьев), до того осмелился, что написал даже диссертацию "О сравнительной плотности муравьиных яиц" и, отослав оную в надлежащее ученое общество (вместе с удостоверением, что недоимок за ним не состоит), получил за сие диплом на звание члена-соревнователя.

И вот, когда город совсем очистился от крамолы и все старые недоимки уплатил, когда самый последний из мещан настолько углубился в свою специальность, что буйствовать стало уж некогда, а впору было платить дани и шапки снимать, - случилось нечто торжественное и чудное! Обыватели, созванные на вече (это было последнее вече, после которого вечевой колокол был потоплен в реке) городским головой вольниченым, принесли публичное покаяние, а затем, в порыве чувств, единогласно постановили: просить вышнее начальство, дабы имя Буянова из географии Арсеньева исключить, а город ихний возродить к новой жизни под именем Любезнова...

Нужно ли прибавлять, что ходатайство сие было уважено?

Повторяю: в 184* году Любезнов ни о каких "народоправствах" уже не думал, а просто принадлежал к числу городов, осужденных радовать губернаторские сердца. А так как времена были тогда патриархальные, то члены губернского синклита частенько-таки туда езжали, во-первых, чтобы порадоваться на трудолюбивых и ласковых мещан, а во-вторых, чтобы попить и поесть у гостеприимного головы. Следуя общему настроению умов, ездил туда и я.

Однажды приезжаю прямо к другу моему, Вальяжному, и уже на лестнице слышу, что в городнической квартире происходит что-то не совсем обычное. Отворяю дверь и вижу картину. Городничий стоит посреди передней, издавая звуки и простирая длани (с рукоприкладством или без оного - заверить не могу), а против него стоит, прижавшись в угол, довольно пожилой мужчина, в синем кафтане тонкого сукна, с виду степенный, но бледный и как бы измученный с лица. Очевидно, это был один из любезновских граждан, который до того уж проштрафился, что даже голова нашел находящиеся в его руках меры кротости недостаточными и препроводил виновного на воздействие предержавшей власти.

- Степан Степаныч! голубчик! - воскликнул я, приветствуя дорогого хозяина, - а мы-то в губернии думаем, что в Любезнове даже самое слово "расправа" упразднено!

- Да... вот... - сконфузился было Вальяжный, но тотчас же поправился и, обращаясь к стоявшим тут "десятикам", присовокупил: - Эй! бегите в лавку за Твердолобовым, да судья чтобы... В бостончик? - обратился он ко мне.

- С удовольствием.

- Отлично. Милости просим! А я - вот только кончу!

И покуда я разоблачался (дело было зимой), он продолжал суд.

- Говори! почему ты не хочешь с женой "жить"? Вальяжный остановился на минуту и укоризненно покачал головой. Подсудимый молчал.

- И баба-то какая... Давеча пришла... печь печью! Да с этакой бабой... конца-краю этакой бабе нет! А ты!! Ах ты, ах!

Но подсудимый продолжал молчать.

- Да ты знаешь ли, что даже в книгах сказано: "Муж, иже жены своя..." - хотел было поучить от Писания Вальяжный, но запнулся и опять произнес: - Ах-ах-ах!

Мещанин продолжал переминаться с ноги на ногу, но на лице его постепенно выступало какое-то бесконечно-тоскливое выражение.

- Говори! что ж ты не говоришь?

- Что же я, вашескорodie, скажу?

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Будешь ли "жить" с женой как следует... как закон велит? Говори!

Подсудимый несколько секунд помолчал и наконец вдруг заметался.

– Вашескорodie! Мне не токма что говорить, а даже думать... увольте меня, вашескорodie!

– А коли так – марш в холодную! и завтра чтобы без разговоров! А будешь разговаривать – так вспрысну, что до новых веников не забудешь! Марш!

И, помахав (чтоб крепче было) у подсудимого под носом указательным перстом, Вальяжный приказал его увести и затем, обратившись ко мне, протянул обе руки и воскликнул:

– Ну, вот вы и к нам! очень рад! очень рад! Аннушка! чаю!

* * *

До бостона я с полчаса спорил с Вальяжным. Он говорил, что "есть в законах"; я говорил, что "нет в законах". Послали за письмоводителем – тот ответил надвое: "Сам не видал, а, должно быть, где-нибудь да есть". Аннушка, вслушавшаяся в наш разговор, тоже склонялась в пользу того мнения, что где-нибудь да должно быть: "Потому, ежели они теперича в браке, то какие же это будут порядки, если жена своо положения от мужа получать не будет". Даже подоспевший к бостону судья – и тот сказал, что нужно где-нибудь в примечаниях поискать, потому что иногда где не чаешь, там-то именно и обретишь сокровище. Кончилось тем, что Вальяжный приказал письмоводителю к завтраму отыскать закон и в заключение прибавил:

– А ночь он пускай в холодной посидит! Там что еще окажется, а ему – наука!

В течение вечера дело хотя и недостаточно, но все-таки слегка для меня объяснилось. Обвиняемый был любезновский мещанин, Никанор Сергеев Изуверов, имевший в городе лучшую игрушечную мастерскую. Человек трезвый, трудолюбивый и послушливый, он представлял собой идеал обывателя, каким ему перед богом и Страшным его судом предстать надлежит. Слава об его мастерстве доходила некоторым образом даже до столиц, потому что всякий заезжий по делам службы, столичный чиновник или офицер считал своею обязанностью поощрить "самородка" и приобрести у него несколько особенно хитрых игрушечных механизмов. Говорили, что он не игрушки делает, а "настоящих деревянных человечков". И еще говорили, что если бы всех самородков, в недрах земли русской скрывающихся, откопать, то вышла бы такая каша, которой врагам России и вовек бы не расхлебать.

Изуверов до сорока лет прожил одиноко с старухой матерью. Всецело углубившись в свою специальность, он, по-видимому, даже не ощущал потребности в обществе жены; но лет пять тому назад старуха мать умерла, и Изуверова попутал бес. Некому было шти сготовить, некому – заплату на штаны положить. Он затосковал и начал было даже попивать. В это время под руку подвернулась двадцатипятилетняя девица Матрена Идолова, рослая, рыхлая, как будто нарочно созданная, чтобы горшки из печи ухватом таскать. Изуверов решился. Он даже радовался, что у него будет жена сильная, печь печью; думал, что при сильной бабе в доме больше порядку будет. Но, увы! Матрена с первых же шагов заявила наклонность не столько к тасканию горшков из печи, сколько к тому, чтобы муж вел себя относительно ее как дамский кавалер. И так как Никанор Сергеев, по-видимому, к роли дамского угодника чувствовал призвание очень слабое, то немедленно же обнаружилась полнейшая семейная неурядица, а под конец дело дошло и до разбирательства полиции.

Разумеется, на другой день письмоводитель доложил, что "в законах нет". Но, кроме того, оказалось и еще кое-что, а именно, что даже "вспрыснуть" Изуверова нельзя, так как закон на этот раз гласил прямо, что мещане, яко образованные, от телесных воздействий освобождаются. Поэтому Изуверова тогда же выпустили, а жене его Вальяжный объявил кратко: "Закона нет".

Результат этого я отчасти приписываю себе. Конечно, я был тут орудием случайным и даже страдательным, но все-таки, в качестве чиновника из губернии, в известной мере олицетворял авторитет. Я убежден, что, не наткнись я на сцену и не возбудил вопроса о том, есть ли в законе, или нет, никто (и всех меньше сам Изуверов) и не подумал бы об этом. Никанор Сергеев не только высидел бы в холодной свое

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
"положенное", но, наверное, был бы и "вспрыснут". Много-много, если бы Валььяжный
перед "вспрыснутием" сказал бы: "А ну, образованный, ложись!" Это был бы
единственный компромисс, который он допустил бы в свидетельстве, что в
городническом правлении, действительно, имеется шкаф, в котором, в качестве
узника, заключен закон.

К стыду моему, я должен сознаться, что, очень часто слыша о необыкновенных
способностях Изуверова, я до сих пор еще ни разу не любопытствовал
познакомиться с произведениями его мастерства. Поэтому теперь, когда, помимо его
репутации, меня заинтересовала самая личность "самородка-механика", я счел уже
своею обязанностью посетить его и его заведение.

Домик, в котором жил Изуверов, стоял в одной из пригородных слобод и почти ничем
не отличался от соседних домов. Такой же чистенький, словно подскобленный, так
же о трех окнах и с таким же маломерным двором. Вообще мастерские и ремесленные
слободы Любезнова были распланированы и обстроены с изумительным однообразием,
так что сами граждане в шутку говаривали: "Точно у нас каторга!" В домиках с
утра до ночи шла неусыпающая деятельность; все работали: и взрослые, и
подростки, и малолетки, и мужск, и женск пол; зато улицы стояли пустынные и
безмолвные.

Я застал хозяина в мастерской одного. Изуверов принял меня с каким-то робким
радушием и показался мне чрезвычайно симпатичным. Лицо его, изжелта-бледное и
слегка изнуренное, было очень привлекательно, а в особенности приятно смотрели
большие серые глаза, в которых, от времени до времени, проблескивало глубоко
тоскливое чувство. Тело у него было совсем тщедушное, так что сразу было видно,
что ему на роду написано: не быть исправным кавалером. Плечи узкие, грудь
впалая, руки худые, безволосые, явно непривычные к тяжелой работе. Когда я
вошел, он стоял в одной рубаше за верстаком и суетливо заторопился надеть армяк,
который висел возле на гвоздике. На верстаке лежала кукла, сделанная вчерне.
Плешивая голова без глаз; вместо груди и живота - две пустые коробки,
предназначенные для помещения механизма; деревянные остовы рук и ног с
обнаженными шалнерами.

Я, конечно, видал в своей жизни великое множество разоренных кукол, но как-то
они никогда не производили на меня впечатления. Но тут, в этой насыщенной
"игрушечным делом" атмосфере, меня вдруг охватило какое-то щемящее чувство, не
то чтобы грусть, а как бы оторопь. Точно я вошел в какое-то совсем оголтелое
царство, где все в какой-то оцепенелой безнадежности застыло и онемело. Это
последнее обстоятельство было в особенности тяжело, потому что немота именно
заключает в себе что-то безнадежное. Так что мне ужасно жалким показался этот
человек, который осужден проводить жизнь в этом застывшем царстве, смотреть в
просверленные глаза, начинать всякой чепухой пустые груди и направлять всю силу
своей изобретательности на то, чтобы руки, приводимые в движение замаскированным
механизмом, не стучали "по-деревянному", а плавно и мягко, как у ханжей и
клеветников, ложились на перси, слегка подправленные тряпкой и ватой и, "для
натуральности", обтянутые лайкой.

- Как живете? - приветствовал я хозяина.

- Тихо-с. Смирно у нас здесь-с. Прохор Петрович (голова) такую в нашем городе
тишину завел, что, кажется, кабы не стучал станок - подумал бы, что и сам-то
умер.

- Скучно?

- Не скучно-с, а как будто совсем нет ничего: ни скуки, ни веселости - одна
тишина-с. Все мы здесь на равных правах состоим, точно веревка скрозь
продернута. Один утром проснулся; за веревку потянул - и все проснулись; один за
станок стал - и все стали. Порядок-с.

- Что ж, это хорошо. Порядок и притом тишина - это прежде всего. Оттого и
начальники, глядя на вас, радуются; оттого и недоимок на вас нет. А присем,
весьма возможно, что и порочные наклонности ваши, не встречая питания...

К счастью, я поперхнулся на этом слове, и когда откашлялся, то потерял нить, и,
таким образом, учительное настроение как-то само собой оставило меня.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Вы, сказывали мне, игрушечным мастерством занимаетесь? И притом какие-то особенные, отличнейшие куклы работаете?

– Хвалить себя не смею, а, конечно, стараюсь доходить. Весь век промежду кукол живешь, все молчишь, все думаешь... Думаешь да думаешь – и вдруг, это, кукла перед тобой как живая стоит! Ну, натурально, потрафить хочется... А в этом разе, уж само собой, одной тряпкой да лайкой мудрено обойтись.

– Значит, вы отчасти и в скульптуру вдаетесь?

– Не знаю, сударь, как на это вам доложить. По-моему, я куклу работаю, – только, разумеется, потрафить стараюсь. Скажем теперича хоть так: желаю я куклу-подьячего сделать – как с этим быть? Разумеется, можно и так: взял чурбашок, наметил на нем глаза, нос, губы, напялил камзолишко да штанишки – и снес на базар продавать по гривеннику за штуку. А можно и иначе. Можно так сделать, что этот самый подьячий разговаривать будет, мимику руками разводить.

– Вот как!

– Да и это, позвольте вам доложить, еще не самый конец. И подьячие тоже разные бывают. Один подьячий – мздоимец; другой – мзды не емлет, но лакомству предан; третий – руками вперед без резону тычет; четвертый – только о том думает, как бы ему мужичка облагодетельствовать. Вот извольте видеть: только четыре сорта назвал, а уж и тут четыре особенные куклы понадобились.

– Так что если бы всех сортов подьячих в кукольном виде представить, так они, пожалуй, всю мастерскую бы вашу заполонили?

– Мудреного нет-с. Или, например, женский род – сколько тут для кукольного дела материалу сыщется! Одних "щеголих" десятками не сосчитаешь, а сколько бесстыжих, закоснелых, оглашенных, сколько таких, которые всю жизнь зря мотаются и ни к какому безделью пристроить себя не могут! Да вон она-с! извольте присмотреть! – вскрикнул он, указывая в окошко, – это соседка наша, госпожа Строптивцева, по улице мостовой идет! Муж у ней часовым мастерством занимается, так она за него, вишь, устала, погулять вышла! Извольте взглянуть – чем не кукла-с?

Действительно, по другой стороне улицы проходила молодая женщина, несколько странного, как бы забвенного, вида. Идет, руками машет, головой болтает, ногами переплетает. Не то чего-то ищет, не то припоминает: "Чего, бишь, я ищу?"

– Вот этакую-то куклу, да ежели ейный секрет как следует уследить – стоит ли за ней посидеть, спрошу вас, или нет? А многие ли, позвольте спросить, из нашего брата, игрушечников, понимают это? Большая часть так думает: насовал тряпки, лайкой обтянул да платьем прикрыл – и готов женский пол! Да вот, позвольте-с! у меня и образчик отличнейший в этом роде найдется – не угодно ли полюбопытствовать?

Он подошел к стеклянному шкапу и вынул оттуда довольно большую и ценную куклу. Кукла представляла собой богато убранную "новобрачную", в кринолине, в белом атласном платье, украшенном серебряным шитьем и кружевными тряпочками. Личико у нее было восковое, с нежным румянчиком на щеках; глазки – фарфоровые; волосы на голове – желтенькие. С головы до полу спускался длинный тюлевый вуаль.

– Полковник здесь у набора был, – объяснил Изуверов, – так он заведение мое осматривал, а впоследствии мне эту куклу из Петербурга в презент прислал. Как, сударь, по-вашему, дорого эта кукла стоит?

– Да рублей двадцать, двадцать пять.

– Вот видите-с. Мне этакой суммы и не выговорить, а по-моему, вся ей цена, этой кукле, – грош!

– Что так?

– Пустая кукла – вот отчего-с. Что она есть, что нет ее – не жалко. Сейчас ты у ней голову разбил – и без головы хороша; платье изорвал – другое сшить можно. Ишь у ней глазки-то зря болтаются; ни она ссыкоса взглянуть ими, ни кверху их завести – ничего не может. Пустая кукла – только и всего!

В самом деле, рассмотревши внимательно щегольскую петербургскую куклу, я и сам убедился, что эта пустая кукла. Дадут ее ребенку в руки, сейчас же он у нее голову скусит – и поделом. Однако ж я все-таки попытался хоть немного смягчить приговор Изуверова.

– Послушайте! да ведь это "новобрачная"! – сказал я, – чего ж вы хотите от нее?

– Ежели, вашескородие, насчет ума это изволите объяснять, так позвольте вам доложить: хоть и трудно от "новобрачной" настоящего ума ожидать, однако, ежели нет у ней ума, так хоть простота должна быть! А у этой куклы даже и простоты настоящей нет. Почему она "новобрачная"? на какой предмет и в каком градусе состоит? – Какие ответы она на эти вопросы может дать? Что уваль-то у ней на голове, в знак, непорочности, положен? так ведь его можно и снять-с! Что тогда она будет? "новобрачная" или просто пологрудая баба, которая наготовю своею глаза прохожим людям застелить хочет?

– Да разве можно от нее ответов требовать, коль скоро она "новобрачная"? ведь она и сама, вероятно, о себе ничего сказать не сумеет.

– Бывает с ними, конечно, и это-с. Бывают промежду ихней сестры такие, что об чем ты с ней ни заговори, она все только целоваться лезет... Так ведь нужно, чтобы и это было сразу понятно. Чтобы всякий, как только взглянул на нее, так и сказал! "Вот так баба... ах-ах-ах!" А то – на-тко! Нацепил уваль – и думает, что дело сделал! Этакие-то куклы у нас на базаре по гривеннику штука продают. Вон их, чурбашков, сколько в углу навалено!

– Так вы, значит, и простую куклу работаете?

– Без простой куклы нам пропитаться бы нечем. А настоящую куклу я работаю, когда досуг есть.

– И это интересует вас?

– Известно, кабы не было занято, так лучше бы чурбашки работать: по крайности, полтинников больше в кармане водилось бы. А от этих от "человечков" и пользы для дому не видишь, да не ровен час и от тоски, пожалуй, пропадешь с ними.

– Тоска-то с чего же?

– С того самого и тоска, что тебе вот "дойти" хочется, а дело показывает, что руки у тебя коротки, хочется тебе, например, чтоб "подьячий"... ну, рассердился бы, что ли... а он, вместо того, только "гневаётся"! Хочется, чтоб он сегодня – одно, а завтра – другое; а он с утра до вечера все одну и ту же канитель твердит! Хочется, чтоб у "человечков" твоих поступки были, а они только руками машут!

– Еще бы вы чего захотели: чтоб у кукол поступки были!

– Знаю, сударь, что умного в этом хотенье мало, да ведь хотеть никому не заказано – вот горе-то наше какое! Думаешь: "Сейчас взмахну и полечу!" – а "человечек"-то вцепился в тебя, да и не пускает. Как встал он на свою линию, так и не сходит с нее. Я даже такую механику придумал, что людишки мои из лица краснеют – ан и из этого проку не вышло. Пустишь это в лицо ему карминцу, думаешь: "Вот сейчас он рассердится!" – а он "гневаётся", да и шабаш! А нынче и еще фортель приспособил: сердца им в нутро вкладывать начал, да уж наперед знаю, что и из этого только проформа выйдет одна.

И он показал мне целую связку крошечных кукольных сердец, из которых на каждом мелкими-мелкими буквами было вырезано: "Цена сему сердцу Адна копек."

– Так вот как поживешь, этта, с ними: ума у них – нет, поступков – нет, желаний – нет, а на место всего – одна видимость, ну, и возьмет тебя страх. Того гляди, зарежут. Сидишь посреди этой немоты и думаешь: "Господи! да куда же настоящие-то люди попрятались?"

– Ах, голубчик, да ведь и в заправской-то жизни разве много таких найдется, которых можно "настоящими" людьми назвать?

– Вот, сударь, вот. Это одно и смиряет. Взглянешь кругом: все-то куклы! везде-то куклы! не есть конца этим куклам! Мучат! тиранят! в отчаянность, в преступление вводят! Верите ли, иногда думается: "Господи! кабы не куклы, ведь десятой бы доли злых дел не было против того, что теперь есть!"

– Гм... отчасти это, пожалуй, и так.

– Вполне верно-с. Потому настоящий человек – он вперед глядит. Он и боль всякую знает, и огорчение понять может, и страх имеет. Осмотрительность в нем есть. А у куклы – ни страху, ни боли – ничего. Живет как забвенная, ни у ней горя, ни радости настоящей, живет да душу изнимает – и шабаш! Вот хоть бы эта самая госпожа Строптивцева, которую сейчас изволили видеть, – хоть распотроши ее, ничего в ней, кроме тряпки и прочего кукольного естества, найти нельзя. А сколько она, с помощью этой тряпки, злодеяний наделает, так, кажется, всю жизнь ее судить, так и еще на целую такую же жизнь останется. Так вот как рассудишь это порядком – и смиришься-с. Лучше, мол, я к своим деревянным людишкам уйду, не чем с живыми куклами пропадать буду!

– С деревянными-то людишками, стало быть, поваднее?

– Как же возможно-с! С деревянным "человечком" я какой хочу, такой разговор и поведу. А коли надоел, его и угомонить можно: ступай в коробку, лежи! А живую куклу как ты угомонишь? она сама тебя изведет, сама твою душу вынет, всю жизнь тебе в сухоту обратит!

Изуверов высказал это страстно, почти с ненавистью. Видно было, что он знал "живую куклу", что она, пожалуй, и теперь, в эту самую минуту, невидимо изводила его, вынимала из него душу и скулила над самым его ухом.

– У нас, сударь, в здешнем земском суде хороший человек служит, – продолжал он, – так он, как ему чуточку в голову вступит, сейчас ко мне идет. "Изуверов, говорит, исправник одолел! празднословит с утра до вечера – смерть! Сделай ты мне такую куклу, чтоб я мог с нею, заместо исправника, разговаривать!"

– А любопытно было бы исправника вашей работы видеть – есть у вас?

– Материалу покуда у нас, вашескородие, еще не припасено, чтобы господ исправников в кукольном виде изображать. А впрочем, и то сказать: невелику бы забаву и господин секретарь получил, если б я его каприз выполнил. Сегодня он позабавился, сердце себе утолил, а завтра ему и опять к той же живой кукле на расправу идти. Тяжело, сударь, очень даже тяжело промежду кукол на свете жить!

Он помолчал с минуту, вздохнул и прибавил:

– Отец дьякон соборный не однажды говаривал мне: "Прямой ты, Изуверов, дурак! И от живых людишек на свете житья нет, а он еще деревянных плодит!"

Изуверов опять умолк, и на этот раз, по-видимому, даже усомнился, правильно ли он поступил, сообщив разговору философическое направление. Он застенчиво ходил около верстака и полою армяка сметал с него опилки и стружки.

– А не покажете ли вы мне своих "людишек"? – попросил я.

– Помилуйте! отчего же-с! – ответил он, – даже за честь почту-с! Да вот, позвольте, для начала, хоть господ "подьячих" вам отрекомендовать.

* * *

– А ну-тка, господин коллежский асессор, вылезай! – воскликнул Изуверов, вынимая из картонки куклу и становя ее на верстак.

Передо мною стоял "человечек" величиною около пяти вершков; лицо и части тела его были удовлетворительно соразмерены; голова, руки и ноги свободно двигались. Тип подьячего был схвачен положительно хорошо. Волоса на голове – черные, тщательно прилизанные, с завиточками на висках и с коком над лбом; лицо, вздернутое кверху, самодовольное, с узким лбом и выдающимися скулами; глаза маленькие, подвижные и блудливые, с сильным бликом; щеки одутловатые, отливающие

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik желтизною и в выдающихся местах как бы натертые кирпичиком (вместо румянца); губы пухлые, красные, масляные, точно сейчас после принятия жирной пищи; подбородок бритый и порезанный; кой-где по лицу рассеяны прыщи. Одет в вицмундир серого казинета, с красным казинетовым же воротником, и притом несколько странного покроя: с узенькими-узенькими фалдочками, падающими почти до земли; при вицмундире серенькие штанишки, коротенькие и отрепанные; карманы везде глубокие, способные вместить содержание сумы нищего, возвращающегося домой после удачного сбора "кусков". В петлице висит серебряной фольги медаль с надписью: "За спасение погибающих". Бедро крутые, женского типа; брюшко круглое, как комочек, и весело колеблющееся, как будто в нем еще продолжают трепыхаться только что заглотанные живьем куры и другая живность. Одну руку он утвердил фертом на бедре, другую – засунул в карман брюк, как бы нечто в оный поспешно опуская; ноги сложил ножницами. Вообще всей своей фигурой он напоминал ножницы, опрокинутые острым концом вниз. И хотя я не мог доподлинно вспомнить, где именно я эту личность видел, но несомненно, что где-то она мне встречалась, и даже нередко.

– "Мздоимец"? – спросил я.

– Он самый-с; как на ваш взгляд-с?

– Недурен. Только, признаюсь, я не совсем понимаю, зачем вы его в серый вицмундир одели, да еще с красным воротником? Ведь такой формы, сколько мне известно, не существует.

– Для цензуры-с. Ежели бы я в настоящий вицмундир его нарядил – куда бы я с ним сунулся-с? А теперь с меня взятки гладки-с. Там, как хочешь разумеи, а у меня один ответ: партикулярный, мол, человек, – только и всего.

– Ну а зачем вы его коллежским асессором прозвали?

– Тоже для цензуры-с. Приезжал ко мне, позвольте вам доложить, в мастерскую человек один – он в Петербурге чиновником служит, – так он мне сказывал, что там свыше коллежского асессора представлять в кукольном виде не дозволяется, а до коллежского асессора будто бы можно. Вот я с тех пор и поставил себе за правило эту самую норму брать.

– Правильно. Ну, так покажите мне теперь вашего коллежского асессора, как он действует.

– Сейчас, вашескорodie. Мы ему сперва-наперво экзамент учиним. Сказывай, коллежский асессор: взятки любишь?

– Папп-п-па! – вдруг совершенно отчетливо крикнул "человечек".

Я даже вздрогнул. Как-то удивительно неприятно поражал голос, которым были произнесены эти звуки. Точно попугай в соседней комнате крикнул, да еще в старозаветных помещичьих домах приживалки и попадьи таким голосом говаривали, когда желали веселить своих благодетелей.

– Это значит: люблю-с, – пояснил Изуверов и, вновь обращаясь к "коллежскому асессору", продолжал: – Большую, поди, мзду любишь?

– Папп-п-па!

– Таковую, чтоб ограбить? дотла чтобы?

– Паппа! паппа! паппа!

Троекратно произнося этот возглас, коллежский асессор выказывал чрезвычайное волнение: вращал глазами, кивал головой, колыхал животом и хлопал руками по бедрам, точь-в-точь как бьет крыльями птица, которая неожиданно налетела на рассыпанный корм. Мне показалось, что даже было одно мгновение, когда он покраснел.

– Вот вы говорили, что ваши "человечки" поступков не имеют, – сказал я, – а посмотрите, какой неподдельный восторг ваш коллежский асессор выказывает!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– То-то и есть, что не вполне, вашескородие! – возразил Изуверов, – и руками он хлопает, и глазами бегаёт – это действительно; а в лице все-таки настоящей алчности нету! Вот у нас в магистрате секретарь служит, так тот, как взятку-то увидит, даже из себя весь помертвеет! И взгляд у него помутится, и руки затрясутся, и слюна на губах. Ну, а мой до этого не дошел-с.

– Мне кажется, что вы чересчур уж скромны, Никанор Сергеич. По моему мнению, и ваш "подьячий" – мерзавец хоть куда!

– Нет, сударь, что уж? Дальше – лучше увидите доказательства, что не напрасно я недоволен им. А покуда позвольте мне экзамент продолжать. – Ну, коллежский ассессор, сказывай! Что большую мзду ты любишь – это мы знаем, а как насчет малой мзды – приемлешь?

– Папп... взззз...

"человечек" как будто спохватился и зашипел. Признаться, я подумал, не испортился ли в нем механизм, но Изуверов поспешил разуверить меня.

– Это значит: приемлю и малую мзду, но лишь в тех случаях, когда сорвать больше нечего. – Ну, а как ты насчет того скажешь, чтобы, например, совсем без мзды дело решить?

– Вззззз...

Коллежский ассессор не только зашипел, но даже закружился. Лицо у него совсем налилось красною жидкостью; глаза блудливо бегали в орбитах. Вообще было видно, что самая идея решить дело без мзды может довести его до исступления.

Даже Изуверов возмущился такою наглостью и строго покачал головой.

– Как посмотрю я на тебя, "мздоимец", – сказал он, – так ты жаден, так жаден, что, кажется, отца родного за взятку продать готов?

– Папп-па! папп-па! папп-па!

– А под суд за это попасть хочешь?

– Вззззз...

– Не любишь? Конечно!.. Кому под суд попасть хочется! Какой ни на есть пансион, хоть грош, а все-таки заслужить лестно! Ты, поди, уж и деревнюшку для себя присмотрел?

– Папп-па!

– Наберешь взятков, женишься, уедешь в вотчину, станешь деток зоблить, крестьян на барщину гонять, в праздники на крылосе за обедней подпевать!

– Папп-па!

– И вдруг кондрашка?!

– Вззззз...

– Не любишь? Ничем его так, вашескородие, огорчить нельзя, как ежели о смертном часе напомнить. Ну, ладно, коллежский ассессор! Покуда что, а мы тебя теперь с одним человечком сведем...

Изуверов отыскал другую картонку и вынул оттуда "мужика".

Мужик был совсем настоящий и, по-видимому, даже зажиточный. Борода длинная, с сильною проседью; волосы, обильно вымазанные коровьим маслом; на плечах – синий армяк, подпоясанный красным кушаком, на ногах – совсем новенькие лапти. Из-за пазухи у него высывались куры, гуси, утки, индюшки, поросята, а в одном из карманов торчала даже целая корова. Изуверов поставил его сначала поодаль от коллежского ассессора.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Ну, что, мужичок! виноват?

– Мм-му-у!

– А коли виноват – становись, значит, на коленки!

Он поставил мужика на колени и обратил лицом к коллежскому асессору.

– Ползи!

Мужик пополз и остановился перед "Мздоимцем". Коллежский асессор сначала отвернул голову в сторону, притворяясь, будто не видит просителя; но после несколько раз повторенных "мм-му-у!" постепенно начал взглядывать по направлению виноватого и наконец вдруг плотоядно и пронзительно взвизгнул:

– Папп-па!

И тотчас же вырвал у мужика из-за пазухи гуся, которого тут же, при неистовом гоготании птицы, живьем и сожрал.

– Кланяйся же! кланяйся, мужичок! – поощрял Изуверов, – проси прощенья... вот так! виноват, мол, ваше высокородие! не буду!

– Мму-у-у! мму-у-у! мму-у-у! – твердил мужичок.

Поощренный этим, коллежский асессор словно остервенился. Откинулся всем корпусом назад и некоторое время стоял в этой позе, как бы разглядывая свою жертву; потом начал раскачиваться из стороны в сторону, наливаясь при этом кровью, и наконец со всех ног бросился на мужика и принялся его теревить и грабить. Все это было сделано до такой степени живо, что у меня даже волосы встали дыбом. "Мздоимец" повиытаскал из-за пазухи мужика всех курят, выволок из кармана за рога корову, потом выворотил другой карман и нашел там свинью, которая со страху сейчас же опоросилась десятью поросятами, и при всякой находке восклицал:

– Папп-па! папп-па! папп-па!

Мужик же в умилении вторил ему:– Мму-у-у!!

Наконец "Мздоимец" отцепился, и мужик, думая, что вина ему уж прощена, тоже начал проворно становиться на ноги. Однако ж не тут-то было. Коллежский асессор опять что-то вспомнил (и, по-видимому, самое важное) и энергично замахал руками, указывая мужику на лапти. Мужик сконфузился, как будто его уличили в плутне; затем беспрекословно опустился на пол и стал разувать онучи и лапти. Все время, покуда происходил процесс разувания, "Мздоимец" внимательно следил за виноватым и лукаво улыбался, как бы говоря: "Надуть хотел... негодяй!!" И точно: по мере того, как развертывались мужиковы онучи, из них во множестве сыпались беленькие и желтенькие кружочки.

– Это крестовики и полуимпериальчики-с! – пояснял Изуверов.

Коллежский асессор остервенился вновь. В одно мгновение ока бросился он на виноватого, обшарил с головы до ног, обрал деньги, снял с мужика армяк и даже отнял медный гребень, висевший у него на поясе.

– Папп-па! папп-па! папп-па! – восклицал он в восхищении.

– Мму-у-у! – вторил ему мужик.

– Ну вот, теперь вставай! – решил Изуверов, становя мужика на ноги.

Мужик был сильно помят, но, по-видимому, нимало не огорчен. Он понимал, что исполнил свой долг, и только потихоньку встряхивался.

– Доволен? – обратился к нему Изуверов.

– Мму-у-у!

– Ну, то-то! теперь твое дело – верное! и дома всем так говори: "Теперь, мол,
Страница 315

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
меня хоть с кашею ешь, хоть на куски режь – мое дело верное!" Ну-ну! добро,
полезай опять в картонку да обрастай до будущего раза!

Он ухватил мужика поперек туловища и уложил его обратно в картонку.

– Этот мужичок у меня для "представлений" служит, – объяснил мне Изуверов, – сам по себе он персоны не обозначает, а коли-ежели силу души кому показать нужно, так складнее парня не сыскать! А засим позвольте, вашескорodie, попросить: не угодно ли будет вам уж от себя вопросы господину коллежскому асессору предложить?

– Какие же вопросы?

– Что, сударь, вздумаете, то и спросите. Увидите, по крайности, какую силу он перед вами выкажет.

– Извольте! Что бы, например?.. Ну, например: понимаешь ли ты, коллежский асессор, какое значение слово "правда" имеет?

Молчание.

– А бога... боишься?

Молчание.

– Ну, что бы еще?.. На пользу ближнему послужить не прочь?

Опять и опять молчание. Я в недоумении взглянул на Изуверова.

– Не понимает-с, – объяснил он кратко.

– То есть, как же это не понимает? Кажется, вопросы не очень мудреные?

– И не мудреные, а он ответить не может. Нет у него "добродетельного" разговора – и шабаш! все воровство, да подлости, да грабеж – только на уме! Вообще, позвольте вам доложить, сколько я ни старался добродетельную куклу сделать – никак не могу! Мерзавцев – сколько угодно, а что касается добродетели, так, кажется, экого слова и в заводе-то в этом царстве нет!

– Да ведь это, впрочем, и естественно. Возьмите даже живую куклу – разве она понимает, что такое добродетель?

– Не понимает – это верно-с. Да, по крайности, она хоть лицемерить может. Спросите-ка, например, нашего магистратского секретаря: "Боишься ли ты бога?" – так он, пожалуй, даже в умиление впадет! Ну, а мой коллежский асессор – этого не может.

– Это, я полагаю, оттого, что, в сущности, ваш "коллежский асессор" добродетельнее, нежели магистратский секретарь, – вот и всё. А попробуйте-ка вы "добродетельные" разговоры с точки зрения лицемерия повести – тогда я уверен, что и ваш "Мздоимец" не хуже магистратского секретаря на всякий вопрос ответит.

Идея эта, сама по себе очень простая, – сделать доступною для негодяя добродетель, обратив ее, при посредстве лицемерия, в подлость, – по-видимому, не приходила до сих пор в голову Изуверову. Даже и теперь он не сразу понял: как это так? сейчас была добродетель... и вдруг будет подлость!! Но, в конце концов, метаморфоза, разумеется, объяснилась для него вполне.

– А ведь я, вашескорodie, попробую! – сказал он, робко взглядывая на меня.

– Разумеется, попробуйте! И я уверен, что успех будет полный.

– Ведь я тогда, вашескорodie, пожалуй, и госпожу Строптивцеву вполне сработать могу?

– Еще бы! Да вот, постойте: попробуйте даже сейчас с вашим "Мздоимцем" опыт сделать. Поставимте ему вопрос по-новому – что он нам скажет?

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
И, обращаясь к кукле, я формулировал вопрос так:

– Слушай, "Мздоимец"! Что ты не понимаешь, что значит правда, – это мы знаем. Но если бы, например, на пироге у головы кто-нибудь разговор об правде завел, ведь и ты, поди, сумел бы притвориться: одною, мол, правдою и свет божий мил?

"Коллежский ассессор" взглянул на нас с недоразумением и несколько мгновений как бы соображал, стараясь понять. И вдруг пронзительно и радостно крикнул: – Папп-па! папп-па! папп-па!

* * *

Новая кукла, "Лакомка", с внешней стороны оказалась столь же удовлетворительной, как и "Мздоимец". "Лакомка" был "человек" неизвестных лет, в напудренном парике, с косичкою назади и букольками на висках, в костюме петиметра осьмнадцатого столетия, как их изображают на дешевеньких гравюрах, украшающих стены провинциальных гостиниц. Лицо полное, румяное, улыбающееся, губы сочные, глаза с поволокою. Одной рукой он зажимал трехугольную шляпу, другую – держал наотмашь, как бы посылая в пространство воздушный поцелуй. Сзади его стояли ширмы, на которых сусального золота буквами было написано: "Приют слатких адахнавений"; сбоку были поставлены другие ширмы с надписью: "Вхот для прелесниц". Вообще было заметно поползновение устроить такую обстановку, которая сразу указывала бы на постыдный характер занятий действующего лица.

– Тоже состоит на службе? – спросил я.

– Помилуйте! пряжку имеете!

После этого предварительного объяснения "Лакомка", по данному знаку, учащенно замахал свободной рукой, то прижимая ее к сердцу, то поднося к губам. И в то же время, как бы повинувшись какому-то тонкому психологическому побуждению, одну ногу поднял.

– Это он женский пол чувствует! – объяснил мне Никанор Сергеич, покуда "Лакомка", что есть мочи, кричал:

– Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

Как бы в ответ на этот призыв, занавеска, скрывающая "вход для прелестниц", заколыхалась. Я ждал, что вот-вот сейчас войдет какая-нибудь ветреная маркиза, но, к удивлению моему, вошла... старуха!.. И не маркиза, а старая мещанка, в отрепанном платьишке, с платком на голове, и даже, по-видимому, добродетельная. Лицо у нее сморщилось, глаза слезились, подбородок трясся, нос выказывал признаки затяжного насморка, во рту не было видно ни одного зуба. Она держала в руках прошение и тотчас же бросилась на колени перед "Лакомкой", как бы оправдываясь, что у нее ничего нет, кроме бесплодных воспоминаний о добродетельно проведенной жизни.

Сначала "Лакомка" как бы не верил глазам своим, но потом ужасно разгневался.

– Вззз... – шипел он злобно, топая ногами и изо всей силы потрясая крошечным колокольчиком.

– Ишь, Искарриот, ошалел! – шепнул мне Изуверов, по-видимому, принимавший в старухе большое участие. – Он, вашескорodie, у нас по благотворительной части попечителем служит, так бабья этого несть конца что к нему валит. И чтобы он, расподлец, хворости или старости на помощь пришел – ни в жизнь этому не бывать! Вот хоть бы старуха эта самая! Колькой уж год она в богадельню просится, и все пользы не видать!

Покуда Изуверов выражал свое негодование, на звон колокольчика прибежал сторож, и между действующими лицами произошла так называемая "комическая" сцена. "Лакомка" бросился с кулаками на сторожа, сторож с тем же оружием – на старуху; с головы у старухи слетел шлык, и она, обозлившись, ущипнула "Лакомку" в жирное место. Тогда сторож и "Лакомка" окончательно рассвирепели и стали тузить старуху уже соединенными силами. Одним словом, вышло что-то неестественное, сумбурное и невеселое, и я был даже доволен, когда добродетельную старуху наконец вытолкали.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Вззз... – потихоньку шипел "Лакомка", оправляясь перед зеркалом и с трудом овладевая охватившим его волнением.

Мало-помалу, однако ж, все пришло в порядок; сторож скрылся, а "Лакомка", успокоенный, встал в прежнюю позу и вновь, что есть мочи, закричал:

– Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

На этот раз из-за занавески показалась молодая женщина. Но так как чувство изящного было не особенно развито в Изуверове, то красота вошедшей "прелестницы" отличалась каким-то совсем особенным характером. Все в ней, и лицо, и тело, заплывало жиром; краски не то выцвели, не то исчезли под густым слоем неумытости и заспанности. Одета она была маркизой осемнадцатого столетия, в коротком платье, сделанном из лоскутков старых оконных драпри, в фижмах и почти до пояса обнажена. Несмотря, однако ж, на непривлекательность "прелестницы", "Лакомка" даже шляпу из рук выронил при виде ее: так она пришлась ему по вкусу!

– Индюшка-с! – шепнул мне Изуверов. Действительно, остановившись перед "Лакомкой",

"прелестница" как-то жалобно и с расстановкой протянула:

– П-пля! п-пля! п-пля!

На что "Лакомка" немедленно возопил:

– Курлы-рлы-рлы! Кур-курлы!

Началась мимическая сцена обольщения. Как ни глупа казалась "Индюшка", но и она понимала, что без предварительной игры ходатайство ее не будет уважено. А ходатайство это было такого рода, что человеку, получающему присвоенное от казны содержание, нельзя было не призадуматься над ним. А именно – требовалось, чтоб "Лакомка", забыв долг и присягу, соединился с внутренним врагом, сделал из подведомственных ему учреждений тайное убежище, в котором могли бы укрываться неблагонадежные элементы и оттуда безнаказанно сеять крамолу. Понятно, что "Индюшка" должна была пустить в ход все доступные ей чары, чтобы доставить торжество своему преступному замыслу.

Мы, видевшие на своем веку появление и исчезновение бесчисленного множества вольнолюбивых казенных ведомств, – мы уж настолько притупили свои чувства, что даже судебная или земская крамола не производит на нас надлежащего действия. Но в то время крамола была еще внове. "Лакомка", по-видимому, и сам не вполне понимал, в чем именно заключается опасность, а только смутно сознавал, что шаг, который ему предстоит, может иметь роковые последствия для его карьеры. И под гнетом этого предчувствия потихоньку вздрагивал.

Сцена обольщения продолжалась. "Индюшка" закатывала глаза, сгибала стан, потрясала бедрами, а "Лакомка" все стоял, впевив в нее мутный взор, и вздрагивал. Что происходило в это время в душе его? Понял ли он, наконец? приходил ли в ужас от дерзости преступной незнакомки, или же наивно обдумывал: "Сначала часок-другой приятно позабавлюсь, а потом и отошлю со сторожем в полицию на дальнейшее распоряжение..."

Как бы то ни было, но, ввиду этих колебаний, "Индюшка" решилась на крайнюю меру: начала всю горстью скрести себе бедра, томно при этом выкрикивая:

– П-ля! п-ля! п-ля!

Тогда он не выдержал. Забыв долг службы, весь в мыле, он устремился к обольстительнице и ухватил ее поперек талии... Признаюсь, я ужасно сконфузился. "Приют сладких отдохновений" находился так близко, что я так и думал: "Вот-вот сейчас будет скандал". Но Изуверов угадал мои опасения и поспешил успокоить меня.

– Не извольте опасаться, вашескородие! недолжного ничего не будет! – сказал он в ту минуту, когда, по-видимому, ничто уже не препятствовало осуществлению крамолы.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
И действительно, вдруг откуда ни возьмись... мужик!! Это был тот же самый
мужичина, который, за несколько минут перед тем, фигурировал и у "Мздоимца", -
но как он в короткое время оброс! Опять на нем был синий армяк, подпоясанный
красным кушаком; опять из-за пазухи торчал целый запас кур, уток, гусей и проч.,
а из кармана, ласково мыча, высовывала рогатую голову корова; опять онучи его
кипели млеком и медом, то есть серебром и золотом... И опять он был виноват!

Он вбежал, как угорелый, бросился на колени и замер.

- Это он по ошибке! - объяснил Изуверов, - ему опять надлежало к "Мздоимцу"
отъявиться, а он этажом ошибся, да к "Лакомке" попал!

И рассказал при этом анекдот, как однажды сельский поп, приехав в губернский
город, повез к серебрянику старое серебро на приданое дочери подновить, да тоже
этажом ошибся и, вместо серебряника - к секретарю консистории влопался.

- И таким родом воротился восвояси уже без серебра, - прибавил Изуверов в
заключение.

Первую минуту и "Лакомка", и "Индюшка" стояли в оцепенении, точно сейчас
проснулись. Но вслед за тем оба зашипели, бросились на мужика и начали его
тузить. На шум прибежал, разумеется, сторож и тоже стал направо и налево тузить.
Опять произошла довольно грубая "комическая" сцена, в продолжение которой
действующие лица до того перемешались, что начали угощать тумачами без разбора
всякого, кто под руку попадет. Мужика, конечно, вытолкали, но в общей свалке, к
моему удовольствию, исчезла и "Индюшка".

- Надеюсь, что она больше уж не явится? - обратился я к Изуверову.

- Явится, - отвечал он, - но только тогда, когда вопрос о крамоле окончательно
созреет.

"Лакомка" остался один и задумчиво поправлял перед зеркалом слегка вывихнутую
челюсть.

Несмотря на принятые побои, он, однако ж, не унялся, и как только поврежденная
челюсть была вправлена, так сейчас же, и даже умильнее прежнего, зазевал:

- Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

Впорхнула довольно миловидная субретка (тоже по рисункам XVIII столетия),
скромно сделала книксен и, подавая "Лакомке" книжку, мимикой объяснила:

- Барышня приказали кланяться и благодарить; просят, нет ли другой такой же
книжки - почитать?

Увы! к величайшему моему огорчению, я должен сказать, что на обертке присланной
книжки было изображено: "Сочинения Баркова. Москва. В университетской
типографии. Печатано с разрешения Управы Благочиния".

Я так растерялся при этом открытии, что даже посовестился узнать фамилию
барышни.

Между тем "Лакомка", бережно положив принесенный том на стол, устремился к
субретке и ущипнул ее. Произошла мимическая сцена, по выразительности своей не
уступавшая таковым же, устраиваемым на театре города Мариуполя Петипа.

- Еще ничего я от вас не видела, - говорила субретка, - а вы уж щиплетесь!

Тогда "Лакомка", смекнув, что перед ним стоит девица рассудительная, без потери
времени вынул из шкапа банку помады и фунт каленых орехов и поверг все это к
стопам субретки.

- А ежели ты будешь мне соответствовать, - прибавил он телодвижениями, - то я,
подобно сему, и прочие мои сокровища не замедлю в распоряжение твое
предоставить!

Субретка задумалась, некоторое время даже рассчитывала что-то по пальцам и

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
наконец сказала:

– Ежели к сему прибавишь еще полтинник, то – согласна соответствовать.

Весь этот разговор произошел ужасно быстро. И так как не было причины предполагать, чтоб и развязка заставила себя ждать (я видел, как "Лакомка" уже начал шарить у себя в карманах, отыскивая требуемую монету), то я со страхом помышлял: "Ну, уж теперь-то наверное скандала не миновать!"

Но гнусному сластолюбцу было написано на роду обойтись в этот день без "лакомства". В ту минуту, когда он простирали уже трепетные руки, чтобы увлечь новую жертву своей ненасытности, за боковой кулисой послышались крики, и на сцену ворвалась целая толпа женщин. То были старые "лакомкины" прелестницы. Я счел их не меньше двадцати штук; все они были в разнообразных одеждах, и у каждой лежало на руках по новорожденному ребенку.

– П-ля! п-ля! п-ля! – кричали они разом. "Лакомка" на минуту как бы смутился. Но сейчас же оправился и, обращаясь в нашу сторону, с гордостью произнес, указывая на младенцев:

– Таковы результаты моей попечительной деятельности за минувший год!

Этим представление кончилось.

После этого Изуверов разыграл передо мной еще два "представления": одно – под названием "Наказанный Гордец", другое – "Нерассудительный Выдумщик, или Сделай милость, остановись!" Я, впрочем, не буду в подробности излагать здесь сценарий этих представлений, а ограничусь лишь кратким рассказом их содержания.

Пьеса "Наказанный Гордец" начиналась тем, что коллежский асессор появился в телеге, запряженной тройкой лихих лошадей, и с чрезвычайной быстротой проскакал несколько кругов по верстаку. Едва въехал он на сцену, как во всю мочь заорал: "Го-го-го!", объявил, что едет на усмирение, и дал ямщику тумака в спину. На нем было форменное пальто с светлыми пуговицами и фуражка с кокардой на голове; в левой руке он держал мешок с выбитыми, по разным административным соображениям, зубами, а правую имел в готовности. Несмотря на захватывающую дух езду, он ни на минуту не переставал гоготать, мерно ударяя ямщика в спину, вылуцывая ему зубы и лишая волос. Наконец частные членовредительства, по-видимому, показались ему мало действительными и он решил покончить с ямщиком разом. Снял с него голову и бросил ее в кусты. Почувяв свободу, лошади бешено рванули вперед, и я уж предвидел минуту, когда телега и ее утлый седок будут безжалостно растрепаны; но, к счастью, станция была уже близко. Повинуясь инстинкту, лошади, как вкопанные, остановились перед станционным столбом и тотчас же все три поколели. Покуда "Гордец" скакал последние полверсты, я заметил, что на станционном дворе происходило какое-то чрезвычайно суетливое движение; но когда тройка подскакала и раздалось раскатистое "го-го-го!", то никто на этот оклик не ответил. "Гордец", закинув голову назад, ходил взад и вперед, держа в руках часы и твердо уверенный, что через минуту новая перекладная будет подана. Но урочная минута прошла, и никакого движения не проявлялось. Тогда "Гордец" удивленно огляделся кругом, и унылая картина предстала очам его...

Почтовый двор стоял одиноко в лесу, и внутри его все словно умерло. Какие-то таинственные звуки доносились со двора, не то шепот, не то фырканье, да слышно было, что где-то вдали, в лесной чаще, аукается леший. "Гордец" отлично понял, что тут кроется противодействие властям, и сейчас же бросился на розыски. Действительно, не прошло и минуты, как он вытащил за шиворот из потаенных убежищ писаря и четверых ямщиков. И, по мере того как вытаскивал, немедленно лишал их жизни даже без допроса. Когда же лишил жизни последнего ямщика, то вновь возопил: "Го-го-го!", думая, что теперь-то уж непременно выедет готовая перекладная. Однако и на этот оклик никто не явился. Тогда, вне себя от гнева, он поймал петуха и оторвал ему голову; потом, завидев бегущую собаку, погнался за ней, догнал и разорвал на части. Но и это не помогло.

Между тем времени прошло немало; на землю спустились сумерки, и в глубине леса показалось стадо голодных волков. Впервые в голове "Гордеца" блеснула мысль, что если б он не заботился так много об ограждении прерогатив власти, то, вероятно, в эту минуту преспокойно продолжал бы путь, а может быть, доехал бы уж до места. А волки между тем, почувяв убиенных, подходили всё ближе и ближе, и подняли,

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
наконец, такой надрывающий душу вой, что даже вороны, облепившие, в чайнии пира,
соседнюю сосну, поняли, что тут взятки гладки, и, с шумом снявшись с дерева,
полетели дальше.

Мрак сгущался, волки выли, лес начинал гудеть... Долго крепился "Гордец", все думал: "Не может этого быть!" – но наконец заплакал. Плакал он много и горько, плакал безнадежно, как человек, который неожиданно понял, сколько жестокого, сатанински бессмысленного заключает в себе акт лишения жизни. И, плача, вспоминал папеньку, маменьку, братцев, сестриц и горько взывал к ним: "Где вы?" Потом обратился мыслью к начальникам и тоже вопиял: "Где вы?" И среди этой агоний слез – кошунствовал, говорил: "А ведь управлять и опустошать – не одно и то же!"

Но тут совершилось нечто ужасное. Стая волков настолько приблизилась, что совершенно заслонила собой "Гордеца". Еще минута – и на пороге станционного дома валялась одна фуражка, украшенная кокардою...

Содержание "Нерассудительного Выдумщика" было несколько сложнее.

Некоторый коллежский асессор, получив власть, вдруг почему-то сообразил, что она дана ему не напрасно. А так как начальники, облекшие его властью, ничего ему на этот счет не объяснили, то он начал додумываться сам. Думал-думал и наконец выдумал: власть дается для искоренения невежества. "Уж больше столетия, – сказал он себе, – как коллежские асессоры искореняют русское невежество, а толку все нет. Отчего? А оттого, сударь мой, что не все коллежские асессоры в одинаковой силе действуют. Много есть между ними мздоимцев, много прелюбодеев, много зубосокрушителей и очень мало настоящих искоренителей невежества. Начнет истинный искоренитель искоренять, а невежество возьмет да за полтинник откупится. А надо так на невежество нажать, чтоб ему вздыху не было, чтоб куда оно ни сунулось – везде ему мат".

И как только решил про себя "Выдумщик", какая ему задача предстоит, так сел за письменный стол, да с тех пор и не выходит оттуда. Не пьет, не ест, не спит – всё "нерассудительные" выдумки выдумывает.

Строчит с утра до вечера; но так как он и сам не понимает, что строчит, то все выходит у него без связи, вразброд. То вдруг, с большого ума, покажется: оттого в России невежество, что община по рукам и по ногам мужика связывает, – и вот готов проект: общину упразднить. То вдруг мелькнет: оттого царствует невежество, что в деревнях хороших племенных жеребцов нет, – немедленно таковых приобрести! Или вздумается: истинное основание русскому невежеству полагают кабаки – сейчас резолюции: кабаки закрыть, а вместо оных повсеместно открыть торговлю печатными пряниками. А наконец и еще: куда были бы мы просвещеннее, если б мужики сеяли на полях, вместо ржи, персидскую ромашку, а на огородах, вместо репы, морковь! И опять резолюция: дать знать, кому ведать надлежит, и т. д.

Но беда в том, что невежество упорно. Недостаточно сказать ему: "В видах твоего искоренения необходимо упразднить общину". Надо, кроме того, еще сделать его способным к восприятию этой истины. Иначе, пожалуй, оно и того не поймет, с какой стати его невежеством зовут и зачем непременно понадобилось его искоренить. Каким же образом добиться, чтобы невежество сделалось способным к восприятию? Думал-думал коллежский асессор и наконец хоть и с болью в сердце, но пришел к заключению, что самое лучшее средство – это экзекуция! "Конечно, – рассудил он сам с собою, – это то же самое, что в древности называлось "поронцами", но ведь одно другого дороже: или церемониться, или достигать! Поронцы, так поронцы!"

И вот сидит он да нерассудительность свою не уставаючи тешит, а по дороге солдатики в рога трубят, а в рощице волостные начальнички веники режут, а на селе мужичок кричит: "Вашескорodie! не буду!" Слышит эти крики "Выдумщик", но некоторое время делает вид, что не понимает. Однако ж, наконец, и он видит, что притворяться непонимающим дольше нельзя. Вскочит, приложит руку к сердцу и скажет в свое оправдание: "Знаю, милые, что ныне вам больно, но надеюсь, что впоследствии вы сами поймете, сколь сие было для вас полезно!"

И что всего ужаснее – не только неподкупен, но и неумолим. Сколько раз мужички всем миром ходили, хабару носили, на коленях просили – не внемлет и не приемлет. "Глупенькие! – говорит, – стерпится – слюбится, а после вы меня же благодарить

годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
будете!"

Так у них до сих пор колесом дело и идет. Он нерассудительные выдумки выдумывает, они – вопиют: "вашескородие! не будем!" Ромашку персидскую посеяли, а клопы пуще прежнего одолели; о племенных жеребцах докучали, а начальство, по недоразумению, племенных поросят прислало; кабаки закрыли – корчемщиков развели.

Одна только община о сю пору цела стоит: видно, уж сам бог ее бережет!

* * *

"Подьячие" были исчерпаны. Только и додумался Изуверов до этих четырех типов, да, может быть, и в самом деле только их и было в тогдашнее несложное время. Я, впрочем, был очень этому рад. Несмотря на то, что мое посещение длилось не больше двух часов, я чувствовал какую-то чрезвычайную усталость. И не только физическую, но и нравственную. Как будто ощущение оголтения, о котором я говорил выше, мало-помалу заползло и в меня самого, и все внутри у меня онемело и оскудело.

Я немало на своем веку встречал живых кукол и очень хорошо понимаю, какую отраву они вносят в человеческое существование; но на этот раз чувство немoty произвело на меня такое угнетающее впечатление, что я готов был вытерпеть бесчисленное множество живых кукол, лишь бы уйти из мира "людишек". Даже госпожа Стротивцева, возвращавшаяся в это время по улице домой, – и та показалась мне "умницей".

Мне кажется, разгадка этого чувства угнетенности заключается в том, что живых кукол мы встречаем в разнообразнейших комбинациях, которые не позволяют им всегда оставаться вполне цельными, верными своему кукольному естеству. А сверх того, они живут хотя и скудно, но все-таки живую жизнь, в которой имеются некоторые, общие людскому роду, инстинкты и вождения. Словом сказать – принимают участие в общей жизненной драме. Тогда как деревянные людишки представляются нам как-то наянливо сосредоточенными, до тупости последовательными и вполне изолированными от каких-либо осложнений, вызываемых наличностью живого инстинкта. Участвуя в общей жизненной драме, попеременно с другими такими же куклами, живая кукла уже по тому одному действует не так вымогательно, что назойливость ее отчасти умеряется разными жизненными нечаянностями. Деревянные людишки и этого отпора не встречают. У них в запасе имеется только одна струна, но они бьют в эту струну с беспрепятственностью и регулярностью, доводящими мыслящего зрителя до отчаяния.

Правда, Изуверов утверждает, что его "людишек" можно легко угомонить, тогда как живая кукла сама, дескать, вынет из тебя душу и заставит проклинать час твоего рождения. Положим, что это и так; но в таком случае стоит ли интересоваться этими людишками, стоит ли тратить на них свою жизнь? И не прав ли был соборный дьякон, укорявший Изуверова: "И от живых людишек отбою на свете нет, а ты еще деревянных плодишь!"

Но, сверх того, ежели хорошенько вникнуть в дело, то Изуверов окажется не прав и в другом. Он слишком презрительно, свысока отозвался о присланной из Петербурга "Новобрачной", слишком поспешил назвать ее "пустою" куклой. Во-первых, чтобы сделать такую куклу, не нужно ни задумываться, ни изобретать, ни мнить себя гением, а достаточно обладать некоторым навыком, иметь под рукой достаточное количество тряпок и лайки и уметь со вкусом распорядиться наружными украшениями. А во-вторых, как "Новобрачная", эта кукла положительно не оставляет ничего желать. Изуверов спрашивает: "на какой предмет? и в каком- градусе?" – странные вопросы! Да на всякий предмет и во всяком градусе – вот и все.

Природа благосклонна; люди – злее. Природа не допускает строго последовательного пустоутробия; люди, напротив, слишком охотно настаивают на этой последовательности. Если б природа хотела быть до конца жестокою, она награждала бы живых людишек тем же идиотским упорством побуждений и движений, каким награждает Изуверов своих деревянных людишек. Вот тогда было бы ужасно, ужасно, ужасно – в полном смысле этого слова! Ни угомонить куклу, ни уйти от нее нельзя! сиди и ежемгновенно чувствуй, как она вынимает из тебя душу! и не шелохнись, потому что всякий протест, всякое движение вызывают новую жестокость, новую невыносимую боль!

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Но, может быть, жизнь уж и созидает таких людишек? Может быть, в тех
бесчисленных принудительных сферах, которые со всех сторон сторожат человека,
совсем не в редкость те потрясающие "кукольные комедии", в которых живая кукла
попирает своей пятой живого человека? Может быть, Изуверов является совсем не
изобретателем, а только бледным копиистом того, что уже давно изобретено жизнью?

Кто возьмет на себя смелость утверждать, что это не так? И кто не согласится,
что из всех тайн, раскрытие которых наиболее интересует человеческое
существование, "тайна куклы" есть самая существенная, самая захватывающая?

Черезовы, муж и жена

Оба молоды, и оба без устали работают.

Женились они всего три месяца назад, и только брачный день позволили себе
провести праздну. Сватовство было недолгое. Семен Александрыч в первый раз
увидел Надежду Владимировну в конторе, где она работала и куда он заходил за
справкой. Затем раз пять им пришлось сидеть рядом за общим столом в
кухмистерской. Разговорились; оказалось, что оба работают. Оба одиноки, знакомых
не имеют, кроме тех, с которыми встречаются за общим трудом, и оба до того
втянулись в эту одинокую, не знающую отдыха жизнь, что даже утратили ясное
сознание, живут они или нет.

– Хоть в праздники-то вы свободны ли? – однажды спросил он у нее.

– Да, но без работы скверно; не знаешь, куда деваться. В номере у себя сидеть,
сложивши руки, – тоска! На улицу выйдешь – еще пуще тоска! Словно улица-то
новая; в обыкновенное время идешь и не замечаешь, а тут вдруг... магазины,
экипажи, народ... К товарке одной – вместе работаем – иногда захожу, да и она уж
одичала. Посидим, помолчим и разойдемся.

– Это уж вроде схимы...

– А что вы думаете? именно схима! Даже вериги чувствовать начинаю.

– Вы бы что-нибудь читали хоть в праздник...

– Отвыкла. Ничто не интересует. Говорю вам, совсем одичала. В театр изредка в
воскресенье схожу – и будет! А вы?

Он безнадежно махнул рукой в ответ.

– Тоже недалеко от схимы?

– Чего недалеко! весь веригами опутан... каким образом? из-за чего?

– Как из-за чего? Жизнь-то не достается даром. Вот и теперь мы здесь
роскошествуем, а уходя все-таки сорок пять копеек придется отдать. Здесь сорок
пять, в другом месте сорок пять, а в третьем и целый рубль... надо же добыть!

– И таким образом проходит вся жизнь?

– Жизнь только еще начинается. Потом она будет продолжаться, а затем и конец.

– Именно так: начинается, продолжается и кончается – только и всего. Но неужто
вы совсем одни? ни родных, ни знакомых?

– Одна. Отец давно умер, мать – в прошлом году. Очень нам трудно было с матерью
жить – всего она пенсии десять рублей в месяц получала. Тут и на нее и на меня;
приходилось хоть милостыню просить. Я, сравнительно, теперь лучше живу. Меня
счастливицей называют. Случай как-то помог, работу нашла. Могу комнату отдельную
иметь, обед; хоть голодом не сижу. А вы?

– И я один; ни отца, ни матери не помню; воспитывался на какие-то пожертвования.
Меня начальник школы и на службу определил. И тоже хоть голодом не сижу, а
близко-таки... Когда приходится туго, призываю на помощь терпение,
изворачиваюсь, удваиваю старания, – и вот, как видите!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Скучно вам?

– Скучать некогда. Даже о будущем подумать нет времени. Иногда и мелькнет в голове: надо что-нибудь... не всегда же... да только рукою махнешь. Авось как-нибудь, день за день, и пройдет... жизнь.

– Да; трудно что-нибудь выдумать. Жить надо – только и всего.

Спустя некоторое время, после одного из таких разговоров, он спросил ее:

– А что, если мы вместе будем работать?

Она на минуту смутилась и побелела. Но затем щеки у нее заалели румянцем, она подала ему руку и бодро ответила:

– Будемте.

Через месяц они были муж и жена, и, как я сказал выше, позволили себе в праздности провести будничным день. Но на завтра оба уж были в работе.

Ей посчастливилось. Утром она работала в банкирской конторе, вечером – имела урок. Все это вместе давало ей около восьмисот рублей в год. В летнее время доход уменьшался, за отъездом ученицы; но тогда она приискивала другую работу, хотя и подешевле. Вообще вопрос о безработице не коснулся ее. Он тоже успел довольно прочно устроиться; утром ходил в департамент, где служил помощником столоначальника; вечером – имел занятия в одном из железнодорожных правлений. Доход его простирался до полутора тысяч, так что оба вместе они получали в год до двух тысяч пятисот рублей.

Им завидовали и говорили, что на эти деньги вдвоем прожить можно не только без нужды, но даже позволяя себе некоторые прихоти. И они соглашались с этим. Кругом они видели столько бедности и наготы, что заработок их действительно представлялся суммой очень достаточной. Несмотря на это, они никогда не испытывали даже слабого довольства. Продолжали жить, по-прежнему, со дня на день, с трудом сводя концы с концами, и – что всего хуже – постоянно испытывали то чувство страха перед будущим, которое свойственно всем людям, живущим исключительно личным трудом. Что, ежели вдруг случится заболеть? что, ежели в уроке не будет надобности? что, ежели частная служба изменит? соперник явится, место упразднится, в работе окажется недосмотр, начальник неудовольствие выкажет? Все эти вопросы даже усиленную работою не заглушались, а волновали и мучили с утра до вечера. Некогда было подумать о том, зачем пришла и куда идет эта безрассветная жизнь... Но о том, что эта жизнь может мгновенно порваться, думалось ежемгновенно, без отдыха.

В сущности, неправы были те, которые удивлялись, что они, при своем заработке, не умеют прожить иначе, как с величайшею осторожностью. Если бы эти деньги являлись, например, в виде заработка главы семейства, а она пользовалась хоть относительным досугом, тогда действительно жизнь не представляла бы особенных недостатков с материальной стороны. Личный домостроительный труд помогает сокращать издержки на добрую треть. Можно вовремя распорядиться, вовремя закупить, – был бы досуг. Стоит только сходить за четыре версты – ноги-то свои, не купленные! – за курицей, за сигом, стоит выждать часа два у окна, пока появится во дворе знакомый разносчик, – и дело в шляпе. Рубля двоим на обед за глаза достаточно, даже и с детьми, ежели их немного; пожалуй, и пирог в праздник будет. И прислуга заведется, и опять-таки дешевенькая... Где-нибудь в колонии, из-за хлеба, молодую девчонку отыщут и приучат ее понемногу. В конце года, смотришь, окажется даже экономия. Муж доволен, что сыт; жена довольна, что бог их и с семьею за рубль прокормил; у детей щеки от праздничного пирога лоснятся. Квартира – ничего себе, стол – ничего себе; извозчика, правда, нанять не из чего – ну, да ведь не графы и не князья, и на своих на двоих дойти сумеем. Даже приятели вечером придут – и для тех закуска найдется. В винт по сотой копейки засядут, проиграет глава семейства рубль – и не поморщится. Вот как на две-то с половиной тысячи умные люди живут, а не то чтобы что.

Ничем подобным не могли пользоваться Черезовы по самому характеру и обстановке их труда. Оба работали и утром, и вечером вне дома, оба жили в готовых, однажды сложившихся условиях и, стало быть, не имели ни времени, ни привычки, ни надобности входить в хозяйственные подробности. Это до того въелось в их

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik природу, с самых молодых ногтей, что если бы даже и выпал для них случайный досуг, то они не знали бы, как им распорядиться, и растерялись бы на первом шагу при вступлении в практическую жизнь.

Сделавшись мужем и женой, они не оставили ни прежних привычек, ни бездомовой жизни; обедали в определенный час в кухмистерской, продолжали жить в меблированных номерах, где занимали две комнаты, и, кроме того, обязаны были иметь карманные деньги на извозчика, на завтрак, на подачки сторожам и нумерной прислуге и на прочую мелочь. А там еще одежда, белье – ведь на частную работу или на урок не пойдешь засуча рукава в ситцевом платье, как ходит в лавочку домовитая хозяйка, которая сама стоит на страже своего очага. Одним словом, приходилось тратить полтора рубля там, где у домовитого хозяина выходило не больше рубля. Но зато они тратили деньги без хлопот, точно как по преискуртанту.

Сходились они обыкновенно за обедом в кухмистерской и дома в поздний час. Оба приходили усталые, обоим было не до разговоров. Пили чай, съедали принесенную закуску и засыпали, чтобы на другой день, около десяти часов утра, разойтись. Но с праздниками им удалось устроиться так, что они проводили целый день вместе. Утром он ей читал, и непременно что-нибудь печальное, так как это всего больше соответствовало их душевному настроению; вечером – ходили в театр. В праздники же им случалось разговаривать по душе, но беседа шла болезненная, скорее растрavляющая, нежели успокоивающая. Во всяком случае, заработок утекал незаметно, так что они были рады, если год кончался без особенных затруднений, вроде долга мелочной лавочке или хозяйке квартиры.

Страх перед завтрашним днем ни на минуту не оставлял их. Оба принадлежали к тому типу обыкновенных, смиренных людей, которые инстинктивно стремятся к одной цели: самосохранению. Может быть, при других обстоятельствах, при иной школе, сердца их раскрылись бы и для иных идеалов, но труд без содержания, труд, направленный исключительно к целям самосохранения, окончательно заглушил в них всякие зачатки высших стремлений. Они не сознавали даже, что этот труд, который доставляет им дневной кошт, в то же время мало-помалу убивает их и навсегда лишает возможности различать добро от зла. Не вникая в содержание труда, они ценили его лишь с точки зрения оплаты и охотно брались за всякую работу, лишь бы она была оплачена. Постыдного они, правда, не делали, но кто же и поручит им что-нибудь постыдное? Для постыдного и люди должны быть постыдные, прожженные, дошлые люди, которые могут и пролезть, и вылезть, и сухими из воды выйти, – куда же им с их простотой! ведь им и на ум ничего постыдного не придет! Это просто не жившие, но уже измученные жизнью люди, и только. Бояться и трепетать – вот их дело. Все разговоры их ведутся на эту тему и не исчерпаются никогда, потому что они всецело сосредоточились в испуге, и никакие влияния, ни внешние, ни внутренние, не могут внести иные элементы в их скудное существование. Нет этих влияний, и неоткуда им прийти; труд для труда, труд, падающий в какую-то бездну и мгновенно поглощаемый ею, погубил всякую восприимчивость, всякий зачаток самостоятельности.

– Боюсь я, как бы урока мне не лишиться, – говорила она.

– А что?

– Да так; ученица моя поговаривает, что отец ее совсем из Петербурга хочет уехать. Пожалуй, двадцать-то пять рублей в месяц и улыбнутся.

– Скверно; ну, да бог даст...

– Я уж и то стороною разузнаю, не наклюнется ли чего-нибудь... Двоюродная сестра у моей ученицы есть, так там тоже учительнице хотят отказать... вот кабы!

– Ищи, голубушка; только не тяжело ли будет, ежели два урока придется давать?

– Ничего, устроюсь. Надо же. Да вот что я еще хотела тебе сказать, Сеня. Бухгалтер у нас в конторе ко мне пристаёт... с тех пор как я замуж вышла. Подсаживается ко мне, разговаривает, спрашивает, люблю ли я конфеты...

– Мерзавец!

– И я говорю, что мерзавец, да ведь когда зависишь... Что, если он банкиру на меня наговорит? – ведь, пожалуй, и там... Тут двадцать пять рублей улыбнутся, а там и целых пятьдесят. Останусь я у тебя на шее, да, кроме того, и делать нечего

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
будет... С утра до вечера все буду думать... Думать да думать, одна да одна...
ах, не дай бог!

– Ну, как-нибудь обойдется; ты у меня молодец, вывернешься. Вот у нас в правлении должность бухгалтера скоро очистится, – разве попытаться?

– А у тебя как свое-то дело идет?

– Покуда – ничего. В департаменте даже говорят, что меня столоначальником сделают. Полторы тысячи – ведь это куш. Правда, что тогда от частной службы отказаться придется, потому что и на дому казенной работы по вечерам довольно будет, но что-нибудь легонькое все-таки и посторонним трудом можно будет заработать, рубликов хоть на триста. Квартиру найдем; ты только вечером на уроки станешь ходить, а по утрам дома будешь сидеть; хозяйство свое заведем – живут же другие!

– Ах, боюсь я – особенно этот бухгалтер... Придется опять просить, кланяться, хлопотать, а время между тем летит. Один день пройдет – нет работы, другой – нет работы, и каждый день урезывай себя, рассчитывай, как прожить дольше... Устанешь хуже, чем на работе. Ах, боюсь!

Теперь они боятся в особенности, потому что Надежда Владимировна готовится сделаться матерью. Ах, что-то будет? что такое будет, даже представить себе нельзя!.. Сколько рабочих дней отнимут одни роды, а потом и ребенок. Надо его кормить, пеленать, мыть, отлучиться от него нельзя. Да и как тут поступить – не знаешь. Настанут роды – к кому обратиться, куда идти, что будет стоить, и вообще как совершается весь этот процесс? Прислуга – дорогая и ненадежная, да материнского сердца и не уймешь. Вот тогда-то действительно придется бросить бездомную жизнь, нанять квартиру, лишиться главного заработка, засучить рукава, взять скалку в руки и раскатывать на столе тесто для пирога. На какие деньги они будут жить! Хотя и обещали Семену Александрычу место столоначальника, да что-то не слышать, а сам он заискивать и напоминать о себе не смеет. Фальшивые нынче люди, не верные! все их обещания на воде писаны. Ах, не сумеют они своим домом жить. В мебелированных комнатах – все готово, в кухмистерской тоже. Так они прожили всю жизнь и другой жизни не знают. И вдруг очутятся в пространстве на собственной ответственности – вот где настоящая-то мука! Везде – обман, везде – фальшь, а ежели и нет обмана, то будет казаться, что он есть.

– Куда мы с тобой денемся? – мучительно спрашивает она его.

Он тоже глядит вопросительно, хочет сказать что-нибудь и не может. Он сам не раз задавался этим вопросом и ни к какому решению не пришел.

– Скажи, что мы будем делать? – настаивает она.

– Ах, да не мучь ты меня!

– Через три месяца у нас ребенок будет. Надо теперь же начать... Ходи, старайся, хлопочи!

– Стесниться придется на первое время...

– Нет, стесниться уж больше некуда, и без того тесно. Говорю тебе: надо кланяться, напоминать о себе, хлопотать... Хлопочут же другие...

– Ну, хорошо, попытаюсь.

Но черезовская удача и тут приходит к ним на выручку. Через месяц Семена Александрыча делают хоть и не столоначальником, – начальство думает, что для этой должности он недостаточно боек, – а чем-то вроде регистратора, с столоначальническим окладом. Это, впрочем, еще лучше, потому что у регистратора вечерних занятий нет; стало быть, можно будет и частную службу за собой оставить. Только вот будущее как будто захлопнулось навсегда; но на радостях он об этом не думает. Да и никогда, признаться, не думал, потому что никогда дверь будущего не была перед ним настезь раскрыта. Однако ж Надежду Владимировну этот полууспех мужа несколько смутил.

– Зачем мы сошлись! зачем мы живем! – мучительно волнуется она себя.

– Ты сама кормить будешь? – спрашивает он ее, прерывая ее думу.

– Ах, почему я знаю. Зачем, зачем мы сошлись! жили бы мы...

До последней возможности они, однако ж, живут в меблированных комнатах. Черезов успел, на всякий случай, скопить несколько денег, несмотря на то, что Надежда Владимировна лишилась места в банкирской конторе. Она сидит по утрам дома, готовится и помаленьку всматривается в жизнь. Открытий оказалась бездна, но хозяйка квартиры и соседка по комнате не оставляют ее и помогают своими указаниями хоть сколько-нибудь освоиться с жизнью. Обе учат, что нужно приготовить для ожидаемого первенца, и советуют лечь в родильный дом.

– Где вам справиться, ничего вы в жизни не видели! – говорят они в один голос, – ни вы, ни Семен Александрыч и идти-то куда – не знаете. Так, попусту, будете путаться.

Так и сделали. Она ушла в родильный дом; он исподволь подыскивал квартиру. Две комнаты; одна будет служить общей спальней, в другой – его кабинет, приемная и столовая. И прислугу он нанял, пожилую женщину, не ветрогонку и добрую; сумеет и суп сварить, и кусок говядины изжарить, и за малюткой углядит, покуда матери дома не будет.

– Проживем! – утешает он себя.

Наконец ожидаемый первенец увидел свет. И благо ему, что он вступил в жизнь в родильном доме, при готовом уходе и своевременной врачебной помощи, потому что, произойди этот случай в своей квартире, Семен Александрыч, наверное, запутался бы в самую критическую минуту. Родился сын, и Надежда Владимировна решила кормить его сама. Спустя урочное время, она вышла из родильного дома, но работать еще не могла. Уход за ребенком был так сложен, что отнимал все время, да и заработка в виду не было. Надо было переждать и потом опять просить, хлопотать. Тем не менее они продолжали жить – и это было все, что нужно.

Спустя некоторое время нашлась вечерняя работа в том самом правлении, где работал ее муж. По крайней мере, они были вместе по вечерам. Уходя на службу, она укладывала ребенка, и с помощью кухарки Авдотьи устраивалась так, чтобы он до прихода ее не был голоден. Жизнь потекла обычным порядком, вялая, серая, даже серее прежнего, потому что в своей квартире было голо и царствовала какая-то надрывающая сердце тишина.

Даже ребенок не особенно радовал Черезовых. Они до самой минуты его рождения ничего такого не предвидели, и теперь их единственно занимал вопрос: как он проживет (разумеется, с материальной стороны)? То есть тот самый вопрос, который их самих ежеминутно терзал и который они инстинктивно переносили и на ребенка. Этот вопрос обнимал собою и высшую любовь, и высшее нравственное убожество. Высшую любовь – потому что в благополучном его разрешении заключалось, по их воззрению, все благо, весь жизненный идеал; высшее нравственное убожество – потому что, даже в случае удачного разрешения вопроса о пропитании, за ним ничего иного не виделось, кроме пустоты и безнадежности.

Ребенок рос одиноко; жизнь родителей, тоже одинокая и постылая, тоже шла особняком, почти не касаясь его. Сынок удался – это был тихий и молчаливый ребенок, весь в отца. Весь он, казалось, был погружен в какую-то загадочную думу, мало говорил, ни о чем не расспрашивал, даже не передразнивал разносчиков, возглашавших на дворе всякую всячину.

– Ты у меня, Гриша, будешь умница? – спрашивал Семен Александрыч, глядя его по голове.

Гриша удивленно взглядывал на отца, как бы говоря: неужто можно сомневаться в этом?

Из Надежды Владимировны даже посредственной хозяйки не вышло. Она рассудила, с своей точки зрения, очень правильно: на хозяйстве, как ни бейся, все-таки выгадаешь какой-нибудь двугривенный, тогда как "работа" во всяком случае даст рубль. И, заручившись этою истиной, подыскала себе утренний урок, который на два часа сокращал ее домашнюю жизнь. Теперь у нее явилось страстное желание копить;

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik но скапливались такие пустяки, что просто совестно. Слыхала она, правда, анекдот про человека, который, выходя из дома, начинал с того, что кликал извозчика, упорно держась гривенника, покуда не доходил до места пешком, и таким образом составил себе целое состояние. Но как-то плохо верилось этому анекдоту, когда, несмотря на все урезыванья, в результате оказывалось, что годовой доход увеличивался на каких-нибудь пять рублей.

– Сколько он башмаков в год износит! – сетовала она на Гришу, – скоро, поди, и из рубашек вырастет... А потом надо будет в ученье отдавать, пойдут блузы, мундиры, пальто... и каждый год новое! Вот когда мы настоящую нужду узнаем!

Словом сказать, сетованиям и испугу конца не было. Даже кухарка Авдотья начала скучать, слыша беспрестанные толки о добыче и трудностях жизни.

– Точно вы на каторге оба живете! – ворчала она, – по-моему, день прошел – и слава богу! сегодня прошел – завтра прошел, – что тут загадывать!

Она одна относилась к ребенку по-человечески, и к ней одной он питал нечто вроде привязанности. Она рассказывала ему про деревню, про бывших помещиков, как им привольно жилось, какая была сладкая еда. От нее он получил смутное представление о поле, о лесе, о крестьянской избе.

– И как это ты проживешь, ничего не видевши! – кручинилась она, – хотя бы у колонистов на лето папенька с маменькой избушку наняли. И недорого, и, по крайности, ты хоть настоящую траву, настоящее деревцо увидел бы, простор узнал бы, здоровья бы себе нагулял, а то ишь ты бледный какой! Посмотрю я на тебя, – и при родителях ровно ты сирота!

Изредка она вводила его на рынок или в лавку: пускай, по крайности, хоть на людей посмотрит, каковы таковы живые люди бывают!

Однако ж главное все-таки было в порядке, и черезовская удача продолжала не изменять. Семен Александрыч регистраторствовал с таким тактом, что начальник говорил про него: "в первый раз вижу человека, который попал на свое место, – именно таков должен быть истинный регистратор!"

Частная служба хотя не представляла прежней устойчивости, особенно у Надежды Владимировны, но все-таки не приносила особенных ущербов. Колесо было пущено, составила репутация, – стало быть, и с этой стороны бояться было нечего. Но бояться чего-нибудь все-таки было надобно. Боялись, что вдруг придет болезнь и поставит кого-нибудь из них в невозможность работать...

– Что тогда мы будем делать! – мучилась Надежда Владимировна.

– Да, на казенной-то службе еще потерпят, – вторил ей Семен Александрыч, – а вот частные занятия... Признаюсь, и у меня мурашки по коже при этой мысли ползают! Однако что же ты, наконец! все слава богу, а тебе с чего-то вздумалось!

По временам его самого начинали уже обременять назойливые страхи, которые преследовали Надежду Владимировну. Он настолько обтерпелся, что ему было почти удобно. Каторга не изнурила его, а, напротив, казалось, укрепила и закалила. К петербургской атмосферической сутолоке, с ее сыростью, изменчивостью и непогодами, он привык и чувствовал себя вполне здоровым; жена и сын тоже никогда не бывали больны. Зачем же придумывать напрасные угрозы в будущем? Авдотья рассуждает в этом случае правильнее: день прошел, и слава богу! в их положении иначе не может и быть.

"А что, если и в самом деле... – внезапно мелькало у него в голове. – Что тогда?"

Он усиленно зарывался в работу, чтоб заглушить эти мысли, чтобы не терзали они его.

Оказалось, однако ж, что Надежда Владимировна была права: черезовская удача совсем неожиданно изменила. Все шло своим порядком, тихо, безмятежно и вдруг порвалось. И именно порвала болезнь.

Однажды, глубокой осенью, Черезов возвращался вечером из своего правления. Идти

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik было довольно далеко, а на улице точно светопреставление царствовало. Дождь лил как из ведра, тротуары были полны водой, ветер выл как бешеный и вместе с потоками дождя проникал за воротник пальто. Впрочем, Черезову не в первый раз приходилось видеть картины петербургского безвременья; он прибавил шагу и шел. Но, пришедши домой, почти мгновенно почувствовал легкий озноб: оказалось, что он промочил ноги. Жена раздела его, напоила наскоро чаем, укутала и уложила в постель. Предчувствие грозы уже томило ее, но на этот раз она не высказалась. К двум часам ночи он был весь в огне и разбудил жену. Хотели бежать за доктором, но было так поздно и непогода так разыгралась, что он посовестился. Ограничились тем, что опять напоили его чаем и еще плотнее укутали.

– Теперича его в пот вгонит, – утешала Авдотья, – а к утру потом болезнь и выгонит. Посидит денька два дома, а потом и, опять молодцом на службу пойдет!

Но пота не появлялось; напротив, тело становилось все горячее и горячее, губы запеклись, язык высох и бормотал какие-то несвязные слова. Всю остальную ночь Надежда Владимировна просидела у его постели, смачивая ему губы и язык водою с уксусом. По временам он выбивался из-под одеяла и пылающе рукою искал ее руку. Мало-помалу невнятное бормотанье превратилось в настоящий бред. Посреди этого бреда появлялись минуты какого-то вымученного просветления. Очевидно, в его голове носились терзающие воспоминания.

– Что я делал? Зачем жил? – стонал он и затем, обращаясь к жене, повторял: – Что мы делали? зачем жили?

Утром, часу в девятом, как только на дворе побелело, Надежда Владимировна побежала за доктором; но последний был еще в постели и выслал сказать, что приедет в одиннадцать часов.

Когда она воротилась домой, больной как будто утих, но все-таки не спал, а только находился в лихорадочном полузабытьи. Почувяв ее присутствие, он широко открыл глаза и, словно сквозь сон, сказал:

– Что мы делали? зачем жили?

Затем он опять начал метаться, повторяя:

– Ах, какие все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Она стояла возле него, неподвижная, бледная, замученная, и вслед за ним так же, словно сквозь сон, твердила:

– Ах, какие все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Даже Авдотья, стоя поодаль и утирая слезы концом головного платка, всхлипывала:

– Надорвался!.. сердечный!

Сын (ему было уже шесть лет) забился в угол в кабинете и молчал, как придавленный, точно впервые понял, что перед ним происходит нечто не фантастическое, а вполне реальное. Он сосредоточенно смотрел в одну точку: на раскрытую дверь спальни – и ждал.

В одиннадцать часов приехал доктор, осмотрел больного и осторожно заявил, что Черезов безнадежен.

– До вечера, может быть, доживет, – сказал он, – но в ночь... Впрочем, я вечером забегу.

– Что такое мы делали? Зачем, зачем мы жили? – стонал между тем больной.

К вечеру, едва смерклось, как началась агония. Сравнительно он умирал покойно и уже в полном сознании сказал жене:

– Надя! Тебе будет трудно... Не справиться... И сама ты, да еще сын на руках. Ах, зачем, зачем была дана эта жизнь? Надя! Ведь мы на каторге были, и называли это жизнью, и даже не понимали, из чего мы бьемся, что делаем; ничего мы не понимали!

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

В шесть часов вечера его не стало. Черезовская удача до такой степени изменила, что он не воспользовался даже льготным сроком, который на казенной службе дается заболевшим чиновникам. Надежда Владимировна совсем растерялась. Ей не приходило в голову, что нужно обрядить умершего, послать за гробовщиком, положить покойника на стол и пригласить псаломщика. Все это сделала за нее Авдотья.

Через два дня его схоронили у Митрофания на счет небольшого пособия, присланного из департамента. Похороны состоялись без помпы, хотя департамент командировал депутата для присутствования. Депутат доехал на извозчике до Измайловского проспекта, там юркнул в первую кондитерскую и исчез. За гробом дошли до кладбища только Надежда Владимировна и Авдотья.

Но тут черезовская удача опять воротилась. Надежде Владимировне назначили пенсию в триста рублей, хотя муж ее никакого пенсионного срока не выслужил, а в таком размере и подавно.

Она и теперь продолжает работать с утра до вечера. Теряя одну работу, подыскивает другую, так что "каторга" остается в прежней силе.

Николай Лесков

Несмертельный Голован

Из рассказов о трех праведниках

Совершенная любовь изгоняет страх.

Иоанн

1

Он сам почти миф, а история его – легенда. Чтобы повествовать о нем – надо быть французом, потому что одним людям этой нации удастся объяснить другим то, чего они сами не понимают. Я говорю все это с тою целию, чтобы вперед испросить себе у моего читателя снисхождения ко всестороннему несовершенству моего рассказа о лице, воспроизведение которого стоило бы трудов гораздо лучшего мастера, чем я. Но Голован может быть скоро совсем позабыт, а это была бы утрата. Голован стоит внимания, и хотя я его знаю не настолько, чтобы мог начертать полное его изображение, однако я подберу и представлю некоторые черты этого не высокого ранга смертного человека, который сумел прослыть "несмертельным".

Прозвище "несмертельного", данное Головану, не выражало собою насмешки и отнюдь не было пустым, бессмысленным звуком – его прозвали несмертельным вследствие сильного убеждения, что Голован – человек особенный; человек, который не боится смерти. Как могло сложиться о нем такое мнение среди людей, ходящих под богом и всегда помнящих о своей смертности? Была ли на это достаточная причина, развившаяся в последовательной условности, или же такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости?

Мне казалось, что последнее было вероятнее, но как судили о том другие – этого я не знаю, потому что в детстве моем об этом не думал, а когда я подрос и мог понимать вещи – "несмертельного" Голована уже не было на свете. Он умер, и притом не самым опрятным образом: он погиб во время так называемого в г. Орле "большого пожара", утонув в кипящей ямине, куда упал, спасая чью-то жизнь или чье-то добро. Однако "часть его большая, от тлена убежав, продолжала жить в благодарной памяти" (*1), и я хочу попробовать занести на бумагу то, что я о нем знал и слышал, дабы таким образом еще продлилась на свете его достойная внимания память.

2

Несмертельный Голован был простой человек. Лицо его, с чрезвычайно крупными чертами, врезалось в моей памяти с ранних дней и осталось в ней навсегда. Я его встретил в таком возрасте, когда, говорят, будто бы дети еще не могут получать прочных впечатлений и износить из них воспоминаний на всю жизнь, но, однако, со мною случилось иначе. Случай этот отмечен моею бабушкою следующим образом:

"Вчера (26 мая 1835 г.) приехала из Горохова к Машеньке (моей матери), Семена Дмитрича (отца моего) не застала дома, по командировке его в Елец на следствие о страшном убийстве. Во всем доме были одни мы, женщины и девичья прислуга. Кучер уехал с ним (отцом моим), только дворник Кондрат оставался, а на ночь сторож в переднюю ночевать приходил из правления (губернское правление, где отец был советником). Сегодняшнего же числа Машенька в двенадцатом часу пошла в сад посмотреть цветы и кануфер полить, и взяла с собой Николушку (меня) на руках у Анны (пояныне живой старушки). А когда они шли назад к завтраку, то едва Анна начала отпирать калитку, как на них сорвалась цепная Рябка, прямо с цепью, и прямо кинулась на грудцы Анне, но в ту самую минуту, как Рябка, опершись лапами, бросился на грудь Анне, Голован схватил его за шиворот, стиснул и бросил в погребное творило. Там его и пристрелили из ружья, а дитя спаслось".

Дитя это был я, и как бы точны ни были доказательства, что полуторагодовалый ребенок не может помнить, что с ним происходило, я, однако, помню это происшествие.

Я, конечно, не помню, откуда взялась взбешенная Рябка и куда ее дел Голован, после того как она захрипела, барахтаясь лапами и извиваясь всем телом в его высоко поднятой железной руке; но я помню момент... только момент. Это было как при блеске молоньи среди темной ночи, когда почему-то вдруг видишь чрезвычайное множество предметов зараз: занавес кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жердочке канарейку и стакан с серебряной ложечкой, на ручке которой пятнышками осела магnezия. Таково, вероятно, свойство страха, имеющего большие очи. В одном таком моменте я как сейчас вижу перед собою огромную собачью морду в мелких пестринах - сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в синеватом, точно напомаженном зеве... оскал, который хотел уже защелкнуться, но вдруг верхняя губа над ним вывернулась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно задвигалась, как голый человеческий локоть, выпятившаяся горловина. Надо всем этим стояла огромная человеческая фигура с огромною головою, и она взяла и понесла бешеного пса. Во все это время лицо человека улыбалось.

Описанная фигура был Голован. Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу.

В нем было, как в Петре Великом, пятнадцать вершков; сложение имел широкое, сухое и мускулистое; он был смугл, круглолиц, с голубыми глазами, очень крупным носом и толстыми губами. Волосы на голове и подстриженной бороде Голована были очень густые, цвета соли с перцем. Голова была всегда коротко острижена, борода и усы тоже стриженные. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Голована ни на минуту: она светила в каждой черте, но преимущественно играла на устах и в глазах, умных и добрых, но как будто немножко насмешливых. Другого выражения у Голована как будто не было, по крайней мере, я иного не помню. К дополнению этого неискусного портрета Голована надо упомянуть об одной странности иди особенности, которая заключалась в его походке. Голован ходил очень скоро, всегда как будто куда-то поспешая, но не ровно, а с подскоком. Он не хромал, а, по местному выражению, "шкандыбал", то есть на одну, на правую, ногу наступал твердою поступью, а с левой подпрыгивал. Казалось, что эта нога у него не гнулась, а пружинила где-то в мускуле или в суставе. Так ходят люди на искусственной ноге, но у Голована она была не искусственная; хотя, впрочем, эта особенность тоже и не зависела от природы, а ее устроил себе он сам, и в этом была тайна, которую нельзя объяснить сразу.

Одевался Голован мужиком - всегда, летом и зимою, в пеклые жары и в сорокаградусные морозы, он носил длинный, нагольный овчинный тулуп, весь промасленный и почерневший. Я никогда не видал его в другой одежде, и отец мой, помню, частенько шутил над этим тулугом, называя его "вековечным".

По тулупу Голован подпоясывался "чекменным" ремешком с белым сбруйным набором, который во многих местах пожелтел, а в других - совсем осыпался и оставил наружу дратву да дырки. Но тулуп содержался в опрятности от всяких мелких жильцов - это я знал лучше других, потому что я часто сиживал у Голована за пазухой, слушая его речи, и всегда чувствовал себя здесь очень покойно.

Широкий ворот тулупа никогда не застегивался, а, напротив, был широко открыт до самого пояса. Здесь было "недро", представлявшее очень просторное помещение для

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
бутылок со сливками, которые Голован поставлял на кухню Орловского дворянского собрания. Это был его промысел с тех самых пор, как он "вышел на волю" и получил на разживу "ермоловскую корову".

Могучую грудь "несмертельного" покрывала одна холщовая рубашка малороссийского покроя, то есть с прямым воротом, всегда чистая как кипень и непременно с длинной цветною завязкою. Эта завязка была иногда лента, иногда просто кусок шерстяной материи или даже ситца, но она сообщала наружности Голована нечто свежее и джентльменское, что ему очень шло, потому что он в самом деле был джентльмен.

3

Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской улице и стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно красиво. Тогда, до пожаров, это был край настоящего города. Вправо за Орлик шли мелкие хибары слободы, которая примыкала к коренной части, оканчивавшейся церковью Василия Великого. Сбоку был очень крутой и неудобный спуск по обрыву, а сзади, за садами, – глубокий овраг и за ним степной выгон, на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла солдатская муштра и палочный бой – самые ранние картины, которые я видел и наблюдал чаще всего прочего. На этом же выгоне, или, лучше сказать, на узкой полосе, отделявшей наши сады заборами от оврага, паслись шесть или семь коров Голована и ему же принадлежавший красный бык "ермоловской" породы. Быка Голован содержал для своего маленького, но прекрасного стада, а также разводил его в поводу "на подержанье" по домам, где имели в том хозяйственную надобность. Ему это приносило доход.

Средства Голована к жизни заключались в его удоистых коровах и их здоровом супруге. Голован, как я выше сказал, поставлял на дворянский клуб сливки и молоко, которые славились своими высокими достоинствами, зависевшими, конечно, от хорошей породы его скота и от доброго за ним ухода. Масло, поставляемое Голованом, было свежо, желто, как желток, и ароматно, а сливки "не текли", то есть если оборачивали бутылку вниз горлышком, то сливки из нее не лились струей, а падали как густая, тяжелая масса. Продуктов низшего достоинства Голован не ставил, и потому он не имел себе соперников, а дворяне тогда не только умели есть хорошо, но и имели чем расплачиваться. Кроме того, Голован поставлял также в клуб отменно крупные яйца от особенно крупных голландских кур, которых водил во множестве, и, наконец, "приготавливал телят", отпаивая их мастерски и всегда ко времени, например к наибольшему съезду дворян или к другим особенным случаям в дворянском кругу.

В этих видах, обуславливающих средства Голована к жизни, ему было очень удобно держаться дворянских улиц, где он продовольствовал интересных особ, которых орловцы некогда узнавали в Паншине, в Лаврецком и в других героях и героинях "Дворянского гнезда".

Голован жил, впрочем, не в самой улице, а "на отлете". Постройка, которая называлась "Головановым домом", стояла не в порядке домов, а на небольшой террасе обрыва под левым рядом улицы. Площадь этой террасы была сажен в шесть в длину и столько же в ширину. Это была глыба земли, которая когда-то поехала вниз, но на дороге остановилась, окрепла и, не представляя ни для кого твердой опоры, едва ли составляла чью-нибудь собственность. Тогда это было еще возможно.

Голованову постройку в собственном смысле нельзя было назвать ни двором, ни домом. Это был большой, низкий сарай, занимавший все пространство отпавшей глыбы. Может быть, бесформенное здание это было здесь возведено гораздо ранее, чем глыбе вздумалось спуститься, и тогда оно составляло часть ближайшего двора, владелец которого за ним не погнался и уступил его Головану за такую дешевую цену, какую богатырь мог ему предложить. Помнится мне даже, как будто говорили, что сарай этот был подарен Головану за какую-то услугу, оказывать которые он был большой охотник и мастер.

Сарай был переделен надвое: одна половина, обмазанная глиной и выбеленная, с тремя окнами на Орлик, была жилым помещением Голована и находившихся при нем пяти женщин, а в другой были наделаны стойла для коров и быка. На низком чердаке жили голландские куры и черный "шпанский" петух, который жил очень долго и считался "колдовской птицей". В нем Голован растил петуший камень, который

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik пригоден на множество случаев: на то, чтобы счастье приносить, отнятое государство из неприятельских рук возвращать и старых людей на молодых переделывать. Этот камень зреет семь лет и созревает только тогда, когда петух петить перестанет.

Сарай был так велик, что оба отделения – жилое и скотское – были очень просторны, но, несмотря на всю о них заботливость, плохо держали тепло. Впрочем, тепло нужно было только для женщин, а сам Голован был нечувствителен к атмосферным переменам и лето и зиму спал на ивняковой плетенке в стойле, возле любимца своего – красного тирольского быка "Васьки". Холод его не брал, и это составляло одну из особенностей этого мифического лица, через которые он получил свою баснословную репутацию.

Из пяти женщин, живших с Голованом, три были его сестры, одна мать, а пятая называлась Павла, или, иногда, Павлагеюшка. Но чаще ее называли "Голованов грех". Так я привык слышать с детства, когда еще даже и не понимал значения этого намека. Для меня эта Павла была просто очень ласковою женщиною, и я как сейчас помню ее высокий рост, бледное лицо с ярко-алыми пятнами на щеках и удивительной черноты и правильности бровями.

Такие черные брови правильными полукругами можно видеть только на картинах, изображающих персиянку, покоящуюся на коленях престарелого турка. Наши девушки, впрочем, знали и очень рано сообщили мне секрет этих бровей: дело заключалось в том, что Голован был зелейник и, любя Павлу, чтобы ее никто не узнал, – он ей, сонной, помазал брови медвежьим салом. После этого в бровях Павлы, разумеется, не было уже ничего удивительного, а она к Головану привязалась не своею силою.

Наши девушки все это знали.

Сама Павла была чрезвычайно кроткая женщина и "все молчала". Она была столь молчалива, что я никогда не слышал от нее более одного, и то самого необходимого слова: "здравствуй", "садись", "прощай". Но в каждом этом коротком слове слышалась бездна приветов, доброжелательства и ласки. То же самое выражал звук ее тихого голоса, взгляд серых глаз и каждое движение. Помню тоже, что у нее были удивительно красивые руки, что составляет большую редкость в рабочем классе, а она была такая работница, что отличалась деятельностью даже в трудолюбивой семье Голована.

У них у всех было очень много дела: сам "несмертельный" кипел в работе с утра до поздней ночи. Он был и пастух, и поставщик, и сыровар. С зарею он выгонял свое стадо за наши заборы на росу и все переводил своих статных коров с обрывца на обрывец, выбирая для них, где потучнее травка. В то время, когда у нас в доме вставали. Голован являлся уже с пустыми бутылками, которые забирал в клубе вместо новых, которые снес туда сегодня; собственноручно врубал в лед нашего ледника кувшины нового удоя и говорил о чем-нибудь с моим отцом, а когда я, отучившись грамоте, шел гулять в сад, он уже опять сидел под нашим заборчиком и руководил своими коровками. Здесь была в заборе маленькая калиточка, через которую я мог выходить к Головану и разговаривать с ним. Он так хорошо умел рассказывать сто четыре священные истории, что я их знал от него, никогда не уча их по книге. Сюда же приходили к нему, бывало, какие-то простые люди – всегда за советами. Иной, бывало, как придет, так и начинает:

– Искал тебя, Голованыч, посоветуй со мной.

– Что такое?

– А вот то-то и то-то; в хозяйстве что-нибудь расстроилось или семейные нелады.

Чаще приходили с вопросами этой второй категории. Голованыч слушает, а сам ивнячок плетет или на коровок покрикивает и все улыбается, будто без внимания, а потом вскинет своими голубыми глазами на собеседника и ответит:

– Я, брат, плохой советник! Бога на совет призови.

– А как его призовешь?

– Ох, брат, очень просто: помолись да сделай так, как будто тебе сейчас помирать надо. Вот скажи-ка мне: как бы ты в таком разе сделал?

Тот подумает и ответит.

Голован или согласится, или же скажет:

– А я бы, брат, умираючи вот как лучше сделал.

И рассказывает, по обыкновению, все весело, со всегдашней улыбкой.

Должно быть, его советы были очень хороши, потому что всегда их слушали и очень его за них благодарили.

Мог ли у такого человека быть "грех" в лице кротчайшей Павлагеюшки, которой в то время, я думаю, было с небольшим лет тридцать, за пределы которых она и не перешла далее? Я не понимал этого "греха" и остался чист от того, чтобы оскорбить ее и Голована довольно общими подозрениями. А повод для подозрения был, и повод очень сильный, даже, если судить по видимости, неопровержимый. Кто она была Головану? Чужая. Этого мало: он ее когда-то знал, он был одних с нею господ, он хотел на ней жениться, но это не состоялось: Голована дали в услуги герою Кавказа Алексею Петровичу Ермолову, а в это время Павлу выдали замуж за наездника Ферапонта, по местному выговору "Хранена". Голован был нужный и полезный слуга, потому что он умел все, – он был не только хороший повар и кондитер, но и сметливый и бойкий походный слуга. Алексей Петрович платил за Голована, что следовало, его помещику, и, кроме того, говорят, будто дал самому Головану взаймы денег на выкуп. Не знаю, верно ли это, но Голован действительно вскоре по возвращении от Ермолова выкупился и всегда называл Алексея Петровича своим "благодетелем". Алексей же Петрович по выходе Голована на волю подарил ему на хозяйство хорошую корову с теленком, от которых у того и пошел "ермоловский завод".

4

Когда именно Голован поселился в сарае на обвале, – этого я совсем не знаю, но это совпадало с первыми днями его "вольного человечества", – когда ему предстояла большая забота о родных, оставшихся в рабстве. Голован был выкуплен самолично один, а мать, три его сестры и тетка, бывшая впоследствии моею нянькою, оставались "в крепости". В таком же положении была и нежно любимая ими Павла, или Павлагеюшка. Голован ставил первую заботою всех их выкупить, а для этого нужны были деньги. По мастерству своему он мог бы идти в повара или в кондитеры, но он предпочел другое, именно молочное хозяйство, которое и начал при помощи "ермоловской коровы". Было мнение, что он избрал это потому, что сам был молокан (*2). Может быть, это значило просто, что он все возился с молоком, но может быть, что название это метило прямо на его веру, в которой он казался странным, как и во многих иных поступках. Очень возможно, что он на Кавказе и знал молоканов и что-нибудь от них позаимствовал. Но это относится к его странностям, до которых дойдет ниже.

Молочное хозяйство пошло прекрасно: года через три у Голована было уже две коровы и бык, потом три, четыре, и он нажил столько денег, что выкупил мать, потом каждый год выкупал по сестре, и всех их забирал и сводил в свою просторную, но прохладную лачугу. Так лет в шесть-семь он высвободил всю семью, но красавица Павла у него улетела. К тому времени, когда он мог и ее выкупить, она была уже далеко. Ее муж, наездник Храпон, был плохой человек – он не угодил чем-то барину и, в пример прочим, был отдан в рекруты без зачета.

В службе Храпон попал в "скачки", то есть верховые пожарной команды в Москву, и вытребовал туда жену; но вскоре и там сделал что-то нехорошее и бежал, а покинутая им жена, имея нрав тихий и робкий, убоилась коловратностей столичной жизни и возвратилась в Орел. Здесь она тоже не нашла на старом месте никакой опоры и, гонимая нуждою, пришла к Головану. Тот, разумеется, ее тотчас же принял и поместил у себя в одной и той же просторной горнице, где жили его сестры и мать. Как мать и сестры Голована смотрели на водворение Павлы, – я доподлинно не знаю, но водворение ее в их доме не посеяло никакой распри. Все женщины жили между собою очень дружно и даже очень любили бедную Павлагеюшку, а Голован всем им оказывал равную внимательность, а особенное почтение оказывал только матери, которая была уже так стара, что он летом выносил ее на руках и сажал на солнышко, как больного ребенка. Я помню, как она "заходила" ужасным кашлем и все молилась "о прибрании".

Все сестры Голована были пожилые девушки и все помогали брату в хозяйстве: они убрали и доили коров, ходили за курами и пряли необыкновенную пряжу, из которой потом ткали необыкновенные же и никогда мною после этого не виданные ткани. Пряжа эта называлась очень некрасивым словом "поплевки". Материал для нее приносил откуда-то в кульках Голован, и я видел и помню этот материал: он состоял из небольших суковатых обрывочков разноцветных бумажных нитей. Каждый обрывочек был длиной от вершка до четверти аршина, и на каждом таком обрывочке непременно был более или менее толстый узелок или сучок. Откуда Голован брал эти обрывки – я не знаю, но очевидно, что это был фабричный отброс. Так мне и говорили его сестры.

– Это, – говорили, – миленький, где бумагу прядут и ткут, так – как до такого узелка дойдут, сорвут его да на пол и сплунут – потому что он в берда не идет, а братец их собирает, а мы из них вот тепленькие одеяльца делаем.

Я видал, как они все эти обрывки нитей терпеливо разбирали, связывали их кусочек с кусочком, наматывали образующуюся таким образом пеструю, разноцветную нить на длинные шпули; потом их трастили, ссучивали еще толще, растягивали на колышках по стене, сортировали что-нибудь одноцветное для каем и, наконец, ткали из этих "поплеков" через особое бердо "поплевковые одеяла". Одеяла эти с виду были похожи на нынешние байковые: так же у каждого из них было по две каймы, но само полотно всегда было мрамористое. Узелки в них как-то сглаживались от ссучивания и хотя были, разумеется, очень заметны, но не мешали этим одеялам быть легкими, теплыми и даже иногда довольно красивыми. Притом же они продавались очень дешево – меньше рубля за штуку.

Эта кустарная промышленность в семье Голована шла без остановки, и он, вероятно, находил сбыт поплевковым одеялам без затруднения.

Павлагешка тоже вязала и сучила поплевки и ткала одеяла, но, кроме того, она, по усердию к приютившей ее семье, несла еще все самые тяжелые работы в доме: ходила под кручу на Орлик за водою, носила топливо, и прочее, и прочее.

Дрова уже и тогда в Орле были очень дороги, и бедные люди отапливались то гречневою лузгою, то навозом, а последнее требовало большой заготовки.

Все это и делала Павла своими тонкими руками, в вечном молчании, глядя на свет божий из-под своих персидских бровей. Знала ли она, что ее имя "грех", – я не сведущ, но таково было ее имя в народе, который твердо стоит за выдуманные им клички. Да и как иначе: где женщина, любящая, живет в доме у мужчины, который ее любил и искал на ней жениться, – там, конечно, грех. И действительно, в то время, когда я ребенком видал Павлу, она единогласно почиталась "Головановым грехом", но сам Голован не утрачивал через это ни малейшей доли общего уважения и сохранял прозвище "несмертельного".

5

"Несмертельным" стали звать Голована в первый год, когда он поселился в одиночестве над Орликом с своею "ермоловскою коровою" и ее теленком. Поводом к тому послужило следующее вполне достоверное обстоятельство, о котором никто не вспомнил во время недавней "прокофьевской" чумы. Было в Орле обычное лихолетье, а в феврале на день св.Агафьи Коровницы по деревням, как надо, побежала "коровья смерть". Шло это, яко тому обычай есть и как пишется в универсальной книге, иже глаголется Прохладный вертоград (*3): "Как лето сканчевается, а осень приближается, тогда вскоре моровое поветрие начинается. А в то время надобе всякому человеку на всемогущего бога упование возлагати и на пречистую его мать и силою честного креста ограждатися и сердце свое воздержати от кручины, и от ужаста, и от тяжелой думы, ибо через сие сердце человеческое умалывается и скоро порса и язва прилепляется – мозг и сердце захватит, осилеет человека и борзо умрет". Было все это тоже при обычных картинах нашей природы, "когда стают в осень туманы густые и темные и ветер с полуденной страны и последи дожди и от солнца воскурение земли, и тогда надобе на ветер не ходити, а сидети во избе в топленой и окон не отворяти, а добро бы, чтобы в том граде ни жити и из того граду отходити в места чистые". Когда, то есть в каком именно году последовал мор, прославивший Голована "несмертельным", – этого я не знаю. Такими мелочами тогда сильно не занимались и из-за них не поднимали шума, как вышло из-за Наума Прокофьева. Местное горе в своем месте и кончалось, усмиряемое одним упованием

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik на бога и его пречистую мать, и разве только в случае сильного преобладания в какой-нибудь местности досужего "интеллигента" принимались своеобразные оздоровляющие меры: "во дворах огонь раскладывали ясный, дубовым дровом, дабы дым расходился, а в избах курили пельнею и можжевелевыми дровами и листовым рутовым". Но все это мог делать только интеллигент, и притом при хорошем зажитке, а смерть борзо брала не интеллигента, но того, кому ни в избе топленой сидеть некогда, да и дровом дубовым раскрытый двор топить не по силам. Смерть шла об руку с голодом и друг друга поддерживали. Голодающие побирались у голодающих, больные умирали "борзо", то есть скоро, что крестьянину и выгоднее. Долгих томлений не было, не было слышно и выздоравливающих. Кто заболел, тот "борзо" и помер, кроме одного. Какая это была болезнь – научно не определено, но народно ее звали "пазуха", или "веред" (*4), или "жмыховой пупырух", или даже просто "пупырух". Началось это с хлебобродных уездов, где, за неимением хлеба, ели конопляный жмых. В Карачевском и Брянском уездах, где крестьяне мешали горсть непросевой муки с толченой корою, была болезнь иная, тоже смертоносная, но не "пупырух". "Пупырух" показался сначала на скоте, а потом передавался людям. "У человека под пазухами или на шее садится болячка червена, и в теле колотье почует, и внутри негасимое горячество или во удесех (*5) некая студеность и тяжкое въздыхание и не может въздыхати – дух в себя тянет и паки выпускает; сон найдет, что не может перестать спать; явится горесть, кислоть и блевание; в лице человек сменится, станет образом глиностен и борзо помирает". Может быть, это была сибирская язва, может быть, какая-нибудь другая язва, но только она была губительна и беспощадна, а самое распространенное название ей, опять повторяю, было "пупырух". Вскочит на теле прыщ, или по-простонародному "пупырушек", зажелтоголовится, вокруг зардеет, и к суткам начинает мясо отгнивать, а потом борзо и смерть. Скорая смерть представлялась, впрочем, "в добрых видах". Кончина приходила тихая, не мучительная, самая крестьянская, только всем помиравшим до последней минутки хотелось пить. В этом и был весь недолгий и неутомительный уход, которого требовали, или, лучше сказать, вымаливали себе больные. Однако уход за ними даже в этой форме был не только опасен, но почти невозможен, – человек, который сегодня подавал пить заболевшему родичу, – завтра сам заболел "пупырухом", и в доме нередко ложилось два и три покойника рядом. Остальные в осиротелых семьях умирали без помощи – без той единственной помощи, о которой заботится наш крестьянин, "чтобы было кому подать напиться". Вначале такой сирота поставит себе у изголовья ведро с водою и черпает ковшиком, пока рука поднимается, а потом сосучит из рукава или из подола рубашки соску, смочит ее, сунет себе в рот, да так с ней и заостенет.

Большое личное бедствие – плохой учитель милосердия. По крайней мере, оно нехорошо действует на людей обыкновенной, заурядной нравственности, не возвышающейся за черту простого сострадания. Оно притупляет чувствительность сердца, которое само тяжко страдает и полно ощущения собственных мучений. Зато в этикие горестные минуты общего бедствия среда народная выдвигает из себя героев великодушных, людей бесстрашных и самоотверженных. В обыкновенное время они не видны и часто ничем не выделяются из массы: но наскочит на людей "пупырушек", и народ выделяет из себя избранника, и тот творит чудеса, которые делают его лицом мифическим, баснословным, "несмертельным". Голован был из таких и в первый же мор превзошел и затмил в народном представлении другого здешнего замечательного человека, купца Ивана Ивановича Андросова. Андросов был честный старик, которого уважали и любили за доброту и справедливость, ибо он "близко-помещен" был ко всем народным бедствиям. Помогал он и в "мору", потому что имел списанным "врачевание" и "все оное переписывал и множил". Списания эти у него брали и читали по разным местам, но понять не могли и "приступить не знали". Писано было: "Аще болячка явится по верху главы или ином месте выше пояса, – пушай много кровь из медианы; аще явится на челе, то пушай скоро кровь из-под языка; аще явится подле ушей и под бороною, пушай из сефалиевы жилы, аще же явится под пазухами, то, значит, сердце больно, и тогда в той стороне медиан отворяй". На всякое место, "где тягостно услышишь", расписано было, какую жилу отворять: "сафенову" (*6), или "против большого перста, или жилу спатику" (*7), полуматику, или жилу базику" (*8) с наказом "пушай из них кровь течи, дондеже" (*9) зелена станет и переменится". А лечить еще "левкарем да антелем" (*10), печатною землею да землею армейскою; вином малмозеею, да водкой буглосовою (*11), вирианом виницейским, митридатом (*12) да сахаром монюс-кристи", а входящим к больному "держат во рте Дягилева корение, а в руках – пельнь, а ноздри сворбориновым уксусом (*13) помазаны и губу в уксусе мочену жохать". Никто ничего в этом понять не мог, точно в казенном указе, в котором писано и переписано, то туда, то сюда и "в дву потомуж". Ни жил таких не находили, ни вина малмозеи, ни земли арменской, ни водки буглосовой, и читали люди списания доброго старичка

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik Андросова более только для "утоли моя печали". Применять же из них могли одни заключительные слова: "а где бывает мор, и в те места не надобе ходить, а отходить прочь". Это и соблюдали во множестве, и сам Иван Иванович держал то же ж правило и сидел в избе топленой и раздавал врачебные списания в подворотенку, задерживая в себе дух и держа во рту дягиль-корень. К больным можно было безопасно входить только тем, у кого есть оленьи слезы или безоар-камень (*14); но ни слез оленьих, ни камня безоара у Ивана Ивановича не было, а в аптеках на Болховской улице камень хотя, может быть, и водился, но аптекаря были - один из поляков, а другой немец, к русским людям надлежащей жалости не имели и безоар-камень для себя берегли. Это было вполне достоверно потому, что один из двух орловских аптекарей как потерял свой безоар, так сейчас же на дороге у него стали уши желтеть, око одно ему против другого убавилось, и он стал дрожать и хоша желал вспотеть и для того велел себе дома к подошвам каленый кирпич приложить, однако не вспотел, а в сухой рубахе умер. Множество людей искали потерянный аптекарем безоар, и кто-то его нашел, только не Иван Иванович, потому что он тоже умер.

И вот в это-то ужасное время, когда интеллигенты отирались уксусом и не испускали духу, по бедным слободским хибаркам еще ожесточеннее пошел "пупырух"; люди начали здесь умирать "соплюшь и без всякой помощи", - и вдруг там, на nive смерти, появился с изумительным бесстрашием Голован. Он, вероятно, знал или думал, будто знает, какую-то медицину, потому что клал на опухоли больных своего приготовления "кавказский пластырь"; но этот его кавказский, или ермоловский, пластырь помогал плохо. "Пупырухов" Голован не вылечивал, так же как и Андросов, но зато велика была его услуга больным и здоровым в том отношении, что он безбоязненно входил в зачумленные лачуги и поил зараженных не только свежей водою, но и снятым молоком, которое у него оставалось из-под клубных сливок. Утром рано до зари переправлялся он на снятых с петель сарайных воротницах через Орлик (лодки здесь не было) и с бутылками за необъятным недром шнырял из лачужки в лачужку, чтобы промочить из скляницы засохшие уста умирающих или поставить мелом крест на двери, если драма жизни здесь уже кончилась и занавесь смерти закрылась над последним из актеров.

С этих пор доселе малоизвестного Голована широко узнали во всех слободах, и началось к нему большое народное тяготение. Имя его, прежде знакомое прислуге дворянских домов, стали произносить с уважением в народе; начали видеть в нем человека, который не только может "заступить умершего Ивана Ивановича Андросова, а даже более его означать у бога и у людей". А самому бесстрашию Голована не умедлили подыскать сверхъестественное объяснение: Голован, очевидно, что-то знал, и в силу такого знахарства он был "несмертельный"...

Позже оказалось, что это так именно и было: это помог всем разъяснить пастух Панька, который видел за Голованом вещь невероятную, да подтверждалось это и другими обстоятельствами.

язва Голована не касалась. Во все время, пока она свирепствовала в слободах, ни сам он, ни его "ермоловская" корова с бычком ничем не заболели; но этого мало: самое важное было то, что он обманул и извел, или, держась местного говора, "изништожил" саму язву, и сделал то, не пожалев теплой крови своей за народушко.

Потерянный аптекарем безоар-камень был у Голована. Как он ему достался - это было неизвестно. Полагали, что Голован нес сливки аптекарю для "обыденной мази" и увидал этот камень и утаил его. Честно это или не честно было произвести такую утайку, про то строгой критики не было, да и быть не должно. Если не грех взять и утаить съедомое, потому что съедомое бог всем дарствует, то тем паче не предосудительно взять целебное вещество, если оно дано к общему спасению. Так у нас судят - так и я сказываю. Голован же, утаив аптекарев камень, поступил с ним великодушно, пустив его на общую пользу всего рода христианского.

Все это, как я выше уже сказал, обнаружил Панька, а общий разум мирской это выяснил.

6

Панька, разноглазый мужик с выцветшими волосами, был подпаском у пастуха, и, кроме общей пастушьей должности, он еще гонял по утрам на росу перекрещиванских коров. В одно из таких ранних своих занятий он и подсмотрел все дело, которое вознесло Голована на верх величия народного.

Это было по весне, должно быть, вскоре после того, как выехал на русские поля изумрудные молодой Егорий светлохрабрый (*15), по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, по концам звезды переходящие, а божий люд честной-праведный выгнал встреч ему мал и крупен скот. Травка была еще так мала, что овца и коза ею едва-едва наедались, а толстогубая корова мало могла захватывать. Но под плетнями в тенях и по канавкам уже ботвели полынь и крапива, которые с росой за нужду елися.

Выгнал Панька переkreщиванских коров рано, еще затемно, и прямо бережком около Орлика прогнал за слободу на полянку, как раз напротив конца Третьей Дворянской улицы, где с одной стороны по скату шел старый, так называвшийся "Городецкий" сад, а слева на своем обрывке лепилось Голованово гнездо.

Было еще холодно, особенно перед зарею, по утрам, а кому спать хочется, тому еще холоднее кажется. Одежда на Паньке была, разумеется, плохая, сиротская, какая-нибудь рвань с дырой на дыре. Парень вертится на одну сторону, вертится на другую, молит, чтобы святой фекул на него теплом подул, а наместо того все холодно. Только заведет глаза, а ветерок заюлит, заюлит в прореху и опять разбудит. Однако молодая сила взяла свое: натянул Панька свитку на себя совсем сверх головы, шалашком, и задремал. Час какой не расслышал, потому что зеленая богоявленская колокольня далеко. А вокруг никого, нигде ни одной души человеческой, только толстые купеческие коровы пыхтят да нет-нет в Орлике резвый окунь всплеснет. Дремлется пастуху и в дырявой свитке. Но вдруг как будто что-то его под бок толкнуло, вероятно, зефир где-нибудь еще новую дыру нашел. Панька остановился, повел спросонья глазами, хотел крикнуть: "куда, комолая", - и остановился. Показалось ему, что кто-то на той стороне спускается с кручи. Может быть, вор хочет закопать в глине что-нибудь краденое. Панька заинтересовался; может быть, он подстережет вора и накроет его либо закричит ему "чур вместе", а еще лучше, постарается хорошенько заметить похоронку да потом переплывет днем Орлик, выкопает и все себе без раздела возьмет.

Панька воззрился и все на кручу за Орлик смотрит. А на дворе еще чуть серело.

Вот кто-то спускается с кручи, сошел, стал на воду и идет. Да так просто идет по воде, будто посуху, и не плескает ничем, а только костыльком подпирается. Панька оторопел. Тогда в Орле из мужского монастыря чудотворца ждали, и голоса уже из подполицы слышали. Началось это сразу после "Никодимовых похорон" (*16). Архиепирей Никодим был злой человек, отличившийся к концу своей земной карьеры тем, что, желая иметь еще одну кавалерию (*17), он из угодливости сдал в солдаты очень много духовных, между которыми были и единственные сыновья у отцов и даже сами семейные дьячки и пономари. Они выходили из города целой партией, заливаясь слезами. Провожавшие их также рыдали, и самый народ, при всей своей нелюбви к многоовчинному поповскому брюху, плакал и подавал им милостыню. Самому партионному офицеру было их так жалко, что он, желая положить конец слезам, велел новым рекрутам запеть песню, а когда они хором стройно и громко затянули ими же сложенную песню:

Архирей наш Никодим

Архилютый крокодил,

то будто бы и сам офицер заплакал. Все Это тонуло в море слез и чувствительным душам представлялось злом, вопиющим на небо. И действительно - как достигло их вопление до неба, так в Орле пошли "гласы". Сначала "гласы" были невнятные и неизвестно от кого шли, но когда Никодим вскоре после этого умер и был погребен под церковью, то пошла явная речь от прежде его погребенного там епископа (кажется, Аполлоса) (*18). Прежде отшедший епископ был недоволен новым соседством и, ничем не стесняясь, прямо говорил: "Возьмите вон отсюда это падло, душно мне с ним". И даже угрожал, что если "падло" не уберут, то он сам "уйдет и в другом городе явится". Это многие люди слышали. Как, бывало, пойдут в монастырь ко всенощной и, отстояв службу, идут назад, им и слышно: стонет старый архиепирей: "Возьмите падло". Всем очень желалось, чтобы заявление доброго покойника было исполнено, но не всегда внимательное к нуждам народа начальство не выбрасывало Никодима, и явно открывавшийся угодник всякую минуту мог "сойти с

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов "Тесковник двора".

Вот не что иное, как это самое, теперь и происходило: угодник уходит, и видит его только один бедный пастушок, который так от этого растерялся, что не только не задержал его, но даже не заметил, как святой уже и из глаз у него пропал. На дворе же только чуть начало светать. Со светом к человеку прибывает смелости, с смелостью усиливается любознательность. Панька захотел подойти к самой воде, через которую только что проследовало таинственное существо; но едва он подошел, как видит, тут мокрые ворота к берегу шестом приткнуты. Дело выяснилось: значит, это не угодник проследовал, а просто проплыл несмертельный Голован: верно, он пошел каких-нибудь обезродевших ребятишек из недра молочком приветить. Панька подивился: когда этот Голован и спит!.. да и как он, этакой мужичище, плавает на этакой посудине – на половинке ворот? Правда, что Орлик река не великая и воды его, захваченные пониже запрудой, тихи, как в луже, но все-таки каково это на воротах плавать?

Паньке захотелось самому это попробовать. Он стал на воротца, взял шестик да, шая, и переехал на ту сторону, а там сошел на берег Голованов дом посмотреть, потому что уже хорошо забрезжило, а между тем Голован в ту минуту и кричит с той стороны: "Эй! кто мои ворота угнал! назад давай!"

Панька был малый не большой отваги и не приучен был рассчитывать на чье-либо великодушие, а потому испугался и сделал глупость. Вместо того чтобы подать Головану назад его плот, Панька взял да и схоронился в одну из глиняных ямок, которых тут было множество. Залег Панька в яминку и сколько его Голован ни звал с той стороны, он не показывается. Тогда Голован, видя, что ему не достать своего корабля, сбросил тулуп, разделся донага, связал весь свой гардероб ремнем, положил на голову и поплыл через Орлик. А вода была еще очень холодна.

Панька об одном заботился, чтобы Голован его не увидел и не побил, но скоро его внимание было привлечено к другому. Голован переплыл реку и начал было одеваться, но вдруг присел, глянул себе под левое колено и остановился.

Было это так близко от яминки, в которой прятался Панька, что ему все было видно из-за глубинки, которою он мог закрываться. И в это время уже было совсем светло, заря уже румяnela, и хотя большинство горожан еще спали, но под городецким садом появился молодой парень с косою, который начал окашивать и складывать в плетушку крапиву.

Голован заметил косаря и, встав на ноги, в одной рубахе, громко крикнул ему:

– Малец, дай скорей косу!

Малец принес косу, а Голован говорит ему:

– Поди мне большой лопух сорви, – и как парень от него отвернулся, он снял косу с кося, присел опять на корточки, оттянул одною рукою икру у ноги, да в один мах всю ее и отрезал прочь. Отрезанный шмат мяса величиною в деревенскую лепешку швырнул в Орлик, а сам зажал рану обеими руками и повалился.

Увидев это, Панька про все позабыл, выскочил и стал звать косаря.

Парни взяли Голована и перетащили к нему в избу, а он здесь пришел в себя, велел достать из коробки два полотенца и скрутить ему порез как можно крепче. Они стянули его изо всей силы, так что кровь перестала.

Тогда Голован велел им поставить около него ведро с водою и ковшик, а самим идти к своим делам, и никому про то, что было, не сказывать. Они же пошли и, трясясь от ужасти, всем рассказали. А услышавшие про это сразу догадались, что Голован это сделал неспроста, а что он таким образом, избоясь за людей, бросил язве шмат своего тела на тот конец, чтобы он прошел жертвией по всем русским рекам из малого Орлика в Оку, из Оки в Волгу, по всей Руси великой до широкого Каспия, и тем Голован за всех отстрадал, а сам он от этого не умрет, потому что у него в руках аптекарев живой камень и он человек "несмертельный".

Сказ этот пришел всем по мысли, да и предсказание оправдалось. Голован не умер от своей страшной раны. Лихая же хвороба после этой жертвы действительно прекратилась, и настали дни успокоения: поля и луга уключились густой зеленью, и

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
привольно стало по ним разъезжать молодому Егорию светлохраброму, по локоть руки
в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц,
а по концам звезды переходные. Отбелились холсты свежью юрьевой росой (*19),
выехал вместо витязя Егория в поле Иеремия пророк с тяжелым ярмом, волоча сохи
да бороны, засвистали соловьи в Борисов день, утешая мученика, стараниями святой
Мавры засинела крепкая рассада, прошел Зосима святой с долгим костылем, в
набалдашнике пчелиную матку пронес; минул день Ивана Богословца, "Николина
батюшки", и сам Никола отпразднован, и стал на дворе Симон Зилот, когда земля
именинница. На землины именины Голован вылез на завалинку и с той поры
мало-помалу ходить начал и снова за свое дело принялся. Здоровье его,
по-видимому, нимало не пострадало, но только он "шкандыбать" стал - на левую
ножку подпрыгивал.

О трогательности и отваге его кровавого над собою поступка люди, вероятно, имели
высокое мнение, но судили о нем так, как я сказал: естественных причин ему не
доискивались, а, окутав все своею фантазией, сочинили из естественного события
баснословную легенду, а из простого, великодушного Голована сделали мифическое
лицо, что-то вроде волхва, кудесника, который обладал неодолимым талисманом и
мог на все отважиться и нигде не погибнуть.

Знал или не знал Голован, что ему присвоивала такие дела людская молва, - мне
неизвестно. Однако я думаю, что он знал, потому что к нему очень часто
обращались с такими просьбами и вопросами, с которыми можно обращаться только к
доброму волшебнику. И он на многие такие вопросы давал "помогательные советы", и
вообще ни за какой спрос не сердился. Бывал он по слободам и за коровьего врача,
и за людского лекаря, и за инженера, и за звездочия, и за аптекаря. Он умел
сводить шелуди и коросту опять-таки какую-то "ермоловской мазью", которая стоила
один медный грош на трех человек; вынимал соленым огурцом жар из головы; знал,
что травы надо собирать с Ивана до полу-Петра (*20), и отлично "воду показывал",
то есть где можно колодец рыть. Но это он мог, впрочем, не во всякое время, а
только с начала июня до св. Федора Колодезника, пока "вода в земле слышно как
идет по суставчикам". Мог Голован сделать и все прочее, что только человеку
надо, но на остальное у него перед богом был зарок дан за то, чтобы пупырух
остановился. Тогда он это кровью своею подтвердил и держал крепко-накрепко. Зато
его и бог любил и миловал, а деликатный в своих чувствах народ никогда не просил
Голована о чем не надобно. По народному этикету это так у нас принято.

Головану, впрочем, столь не тягостно было от мистического облака, которым
повивала его народная fama [слух, молва (лат.)], что он не употреблял, кажется,
никаких усилий разрушить все, что о нем сложилось. Он знал, что это напрасно.

Когда я с жадностью пробежал листы романа Виктора Гюго "Труженики моря" и
встретил там Жильята, с его гениально очерченной строгостью к себе и
снисходительностью к другим, достигшей высоты совершенного самоотвержения, я был
поражен не одним величием этого облика и силою его изображения, но также и
тождеством гернсейского героя с живым лицом, которого я знал под именем
Голована. В них жил один дух и бились самоотверженным боем сходные сердца. Не
много разнились они и в своей судьбе: во всю жизнь вокруг них густела какая-то
тайна, именно потому, что они были слишком чисты и ясны, и как одному, так и
другому не выпало на долю ни одной капли личного счастья.

7

Голован, как и Жильят, казался "сумнителен в вере".

Думали, что он был какой-нибудь раскольник, но это еще не важно, потому что в
Орле в то время было много всякого разномыслия: там были (да, верно, и теперь
есть) и простые староверы, и староверы не простые, - и федосеевцы, "пилипоны", и
перекрещиванцы, были даже хлысты (*21) и "люди божий", которых далеко выслали
судом человеческим. Но все эти люди крепко держались своего стада и твердо
порицали всякую иную веру, - особились друг от друга в молитве и ядении, и одних
себя разумели на "пути правом". Голован же вел себя так, как будто он даже
совсем не знал ничего настоящего о наилучшем пути, а ломал хлеб от своей крахи
без разбору каждому, кто просил, и сам садился за чей угодно стол, где его
приглашали. Даже жиду Юшке из гарнизона он давал для детей молока. Но
нехристианская сторона этого последнего поступка по любви народа к Головану
нашла себе кое-какое извинение: люди проникли, что Голован, задабривая Юшку,
хотел добыть у него тщательно сохраняемые евреями "иудины губы", которыми можно

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik перед судом отолгаться, или "волосатый овощ", который жидам жажду тушит, так что они могут вина не пить. Но что совсем было непонятно в Головане, это то, что он водился с медником Антоном, который пользовался в рассуждении всех настоящих качеств самую плохую репутацию. Этот человек ни с кем не соглашался в самых священных вопросах, а выводил какие-то таинственные зодии и даже что-то сочинял. Жил Антон в слободе, в пустой горенке на чердаке, платя по полтине в месяц, но держал там такие страшные вещи, что к нему никто не заходил, кроме Голована. Известно было, что Антон имел здесь план, рекомый "зодии" (*22), и стекло, которым "с солнца огонь изводил"; а кроме того, у него был лаз на крышу, куда он вылезал ночами наружу, садился, как кот, у трубы, "выставлял плезирную трубку" (*23) и в самое сонное время на небо смотрел. Приверженность Антона к этому инструменту не знала пределов, особенно в звездные ночи, когда ему видны были все зодии. Как только прибежит от хозяина, где работал медную работу, - сейчас проскользнет через свою горенку и уже лезет из слухового окна на крышу, и если есть на небе звезды, он целые ночи сидит и все смотрит. Ему это могли бы простить, если бы он был ученый или, по крайней мере, немец, но как он был простой русский человек - его долго отучали, не раз доставали шестами и бросали навозом и дохлой кошкой, но он ничему не внимал и даже не замечал, как его тычут. Все, смеясь, звали его "Астроном", а он и в самом деле был астроном [я и мои товарищ по гимназии, нынче известный русский математик К.Д.Краевич (*24), знавали этого антика в конце сороковых годов, когда мы были в третьем классе Орловской гимназии и жили вместе в доме Лосевых; "Антон-астроном" (тогда уже престарелый) действительно имел кое-какие понятия о небесных светилах и о законах вращения, но главное, что было интересно: он сам приготавливал для своих труб стекла, отшлифовывая их песком и камнем, из доньшек толстых хрустальных стаканов, и через них он оглядывал целое небо... жил он нищим, но не чувствовал своей нищеты, потому что находился в постоянном восторге от "зодии" (прим.авт.)]. Человек он был тихий и очень честный, но вольнодумец; уверял, что земля вертится и что мы бываем на ней вниз головами. За эту последнюю очевидную несообразность Антон был бит и признан дурачком, а потом, как дурачок, стал пользоваться свободой мышления, составляющего привилегию этого выгодного у нас звания, и заходил до невероятного. Он не признавал седьмин Даниила прореченными на русское царство (*25), говорил, что "зверь десятирогий" заключается в одной аллегории, а зверь медведица - астрономическая фигура, которая есть в его планах. Так же он вовсе неправославно разумел о "крыле орла", о фиалах и о печати антихристовой. Но ему, как слабоумному, все это уже прощалось. Он был не женат, потому что ему некогда было жениться и нечем было бы кормить жену, - да и какая же дура решилась бы выйти за астронома? Голован же был в полном уме, но не только водился с астрономом, а и не шутил над ним; их даже видели ночами вместе на астрономовой крыше, как они, то один, то другой, переменяясь, посматривали в плезирную трубу на зодии. Понятно, что за мысли могли внушать эти две стоящие ночью у трубы фигуры, вокруг которых работали мечтательное суеверие, медицинская поэзия, религиозный бред и недоумение... И, наконец, сами обстоятельства ставили Голована в несколько странное положение: неизвестно было - какого он прихода... Холодная хибара его торчала на таком отлете, что никакие духовные стратеги не могли ее присчитать к своему ведению, а сам Голован об этом не заботился, и если его уже очень докучно расспрашивали о приходе, отвечал:

- Я из прихода творца-вседержителя, - а такого храма во всем Орле не было.

Жильят, в ответ на предлагаемый ему вопрос, где его приход, только поднимал вверх палец и, указав на небо, говорил:

- Вон там, - но сущность обоих этих ответов одинакова.

Голован любил слушать о всякой вере, но своих мнений на этот счет как будто не имел, и на случай неотступного вопроса: "Како веруеши?" - читал:

"Верую во единого бога-отца, вседержителя творца, видимым же всем и невидимым".

Это, разумеется, уклончивость.

Впрочем, напрасно бы кто-нибудь подумал, что Голован был сектант или бежал церковности. Нет, он даже ходил к отцу Петру в Борисоглебский собор "совесть поверять". Придет и скажет:

- Посрамите меня, батюшка, что-то себе очень не нравлюсь.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Я помню этого отца Петра, который к нам хаживал, и однажды, когда мой отец
сказал ему к какому-то слову, что Голован, кажется, человек превосходной
совести, то отец Петр отвечал:

– Не сомневайтесь; его совесть снега белей.

Голован любил возвышенные мысли и знал Поппе (*26), но не так, как обыкновенно
знают писателя люди, прочитавшие его произведение. Нет; Голован, одобряя "Опыт о
человеке", подаренный ему тем же Алексеем Петровичем Ермоловым (*27), знал всю
поэму наизусть. И я помню, как он, бывало, слушает, стоя у притолки, рассказ о
каком-нибудь новом грустном происшествии и, вдруг вздохнув, отвечает:

Любезный Болинброк, гордыня в нас одна

Всех заблуждений сих неистовых вина.

Читатель напрасно стал бы удивляться, что такой человек, как Голован,
перекидывался стихами Поппе. Тогда было время жестокое, но поэзия была в моде, и
ее великое слово было дорого даже мужам кровей. От господ это снисходило до
плебса. Но теперь я дохожу до самого большого казуса в истории Голована – такого
казуса, который уже несомненно бросал на него двусмысленный свет, даже в глазах
людей, не склонных верить всякому вздору. Голован представлялся не чистым в
каком-то отдаленном прошлом. Это оказалось вдруг, но в самых резких видах.
Появилась на стогнах Орла личность, которая ни в чьих глазах ничего не значила,
но на Голована заявляла могущественные нравы и обходилась с ним с невероятной
наглостью.

Эта личность и история ее появления есть довольно характерный эпизод из истории
тогдашних нравов и не лишенная колорита бытовая картинка. А потому – прошу
минуту внимания в сторону, – немножко вдаль от Орла, в края еще более теплые, к
тихоструйной реке в ковровых берегах, на народный "пир веры", где нет места
деловой, будничной жизни; где все, решительно все, проходит через своеобразную
религиозность, которая и придает всему свою особенную рельефность и живость. Мы
должны побывать при открытии мощей нового угодника (*28), что составляло для
самых разнообразных представителей тогдашнего общества событие величайшего
значения. Для простого же народа это была эпопея, или, как говорил один
тогдашний вития, – "свершался священный пир веры".

8

Такого движения, которое началось ко времени открытия торжества, не может
передать ни одно из напечатанных в то время сказаний. Живая, во низменная дела
сторона от них уходила. Это не было нынешнее спокойное путешествие в почтовых
экипажах или по железным дорогам с остановками в благоустроенных гостиницах, где
есть все нужное, и за сходную цену. Тогда путешествие было подвигом, и в этом
случае благочестивым подвигом, которого, впрочем, и стоило ожидаемое
торжественное событие в церкви. В нем было также много поэзии, – и опять-таки
особенной – пестрой и проникнутой разнообразными переливами церковно-бытовой
жизни, ограниченной народной наивности и бесконечных стремлений живого духа.

Из Орла к этому торжеству отправилось множество народа. Больше всего,
разумеется, усердствовало купечество, но не отставали и средней руки помещики,
особенно же валил простой народ. Эти шли пешком. Только те, кто вез "для цельбы"
неможных, тянулись на какой-нибудь клячонке. Иногда, впрочем, и немощных везли
на себе и даже не очень тем тяготились, потому что с немощных на постоянных
дворах за все брали дешевле, а иногда даже и совсем пускали без платы. Было
немало и таких, которые нарочно на себя "болезни сказывали: под лоб очи пущали,
и двое третьего, по переменкам, на колесеньках везли, чтобы имать доход
жертвенный на воск, и на масло, и на другие обряды".

Так я читал в сказании, не печатанном, но верном, списанном не по шаблону, а с
"живого видения", и человеком, предпочитавшим правду тенденциозной лживости того
времени.

Движение было такое многолюдное, что в городах Ливнах и в Ельце, через которые

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik лежал путь, не было мест ни на постоянных дворах, ни в гостиницах. Случалось, что важные и именитые люди ночевали в своих каретах. Овес, сено, крупа – все по тракту поднялось в цене, так что, по замечанию моей бабушки, воспоминаниями которой я пользуюсь, с этих пор в нашей стороне, чтобы накормить человека студеном, щами, бараниной и кашей, стали брать на дворах по пятьдесят две копейки (то есть пятиалтынный), а до того брали двадцать пять (или 7 1/2 коп.). По нынешнему времени, конечно, и пятиалтынный – цена совершенно невероятная, однако это так было, и открытие мощей нового угодника в подъеме ценности на жизненные припасы имело для прилегающих мест такое же значение, какое в недавние годы имел для Петербурга пожар мстинского моста. "Цена вскочила и такая и осталась".

Из Орла, в числе прочих паломников, отправилось на открытие семейство купцов С-х, людей в свое время очень известных, "ссыпщиков", то есть, проще сказать, крупных кулаков, которые ссыпают в амбары хлеб с возов у мужиков и потом продают свои "ссыпки" оптовым торговцам в Москву и в Ригу. Это прибыльное дело, которым после освобождения крестьян было не погнушались и дворяне; но они любили долго спать и скоро горьким опытом дознали, что даже к глупому кулачному делу они неспособны. Купцы С. считались, по своему значению, первыми ссыпщиками, и важность их простиралась до того, что дому их вместо фамилии была дана возвышающая кличка. Дом был, разумеется, строго благочестивый, где утром молились, целый день теснили и обирали людей, а потом вечером опять молились. А ночью псы цепями по канатам гремят, и во всех окнах – "лампад и сияние", громкий храп и чьи-нибудь жгучие слезы.

Правил домом, по-нынешнему сказали бы, "основатель фирмы", – а тогда просто говорили "сам". Был это мякенький старичок, которого, однако, все как огня боялись. Говорили о нем, что он умел мягко стлать, да было жестко спать: обходил всех словом "матинька", а спускал к черту в зубы. Тип известный и знакомый, тип торгового патриарха.

Вот этот-то патриарх и ехал на открытие "в большом составе" – сам, да жена, да дочь, которая страдала "болезнью меланхолии" и подлежала исцелению. Испытаны были над нею все известные средства народной поэзии и творчества: ее поили бодрящим девясилом (*29), обсыпали пиониею, которая унимает надхождение стени (*30), давали нюхать майран, что в голове мозг поправляет, но ничто не помогло, и теперь ее взяли к угоднику, поспешая на первый случай, когда пойдет самая первая сила. Вера в преимущество первой силы очень велика, и она имеет своим основанием сказание о силоамской купели, где тоже исцелевали первые, кто успевал войти по возмущении воды.

Ехали орловские купцы через Ливны и через Елец, претерпевая большие затруднения, и совершенно измучились, пока достигли к угоднику. Но улучшить "первый случай" у угодника оказалось невозможным. Народу собралась такая область, что и думать нечего было протолкаться в храм, ко всеобщей под "открытый день", когда, собственно, и есть "первый случай", – то есть когда от новых мощей исходит самая большая сила.

Купец и жена его были в отчаянии, – равнодушнее всех была дочка, которая не знала, чего она лишалась. Надежд никаких не было помочь горю, – столько было знати, с такими фамилиями, а они простые купцы, которые хотя в своем месте что-нибудь и значили, но здесь, в таком скоплении христианского величия, совсем потерялись. И вот однажды, сидя в горе под своею кибиточкою за чаем на постоялом дворе, жалуется патриарх жене, что уже и надежды никакой не полагает достигнуть до святого гроба ни в первых, ни во вторых, а разве доведется как-нибудь в самых последних, вместе с ниварями и рыбаками, то есть вообще с простым народом. А тогда уже какая радость: и полиция освирепает, и духовенство заморится – вдоволь помолиться не даст, а совать станет. И вообще тогда все не то, когда уже приложится столько тысяч уст всякого народа. В таковых видах можно было и после приехать, а они не того доспевали: они ехали, томились, дома дело на приказчицкие руки бросили и дорогою за все втридорога платили, и вот тебе вдруг какое утешение.

Пробовал купец раз и два достигнуть до дьяконов – готов был дать благодарность, но и думать нечего, – с одной стороны одно стеснение, в виде жандарма с белой рукавицею или казака с плетью (их тоже пришло к открытию мощей множество), а с другой – еще опаснее, что задавит сам православный народушко, который волновался, как океан. Уже и были "разы", и даже во множестве, и вчера, и

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов сегодня. Шарахнутся где-нибудь добрые христиане от взмаха казачьей нагайки целой стеною в пять, в шесть сот человек, и как попрут да поналяжут стеной друженько, так из середины только стон да пах пойдет, а потом, по освобождении, много видано женского уха в серьгах рваного и персты из-под колец верчены, а две-три души и совсем богу проставлялись.

Купец все эти трудности и высказывает за чаем жене и дочери, для которой особенно надо было улучшить первые силы, а какой-то "пустошный человек", неведомо, городского или сельского звания, все между разными кибитками ходит под сараем да как будто засматривает на орловских купцов с намерением.

"Пустошных людей" тогда тоже собралось здесь много. Им не только было свое место на этом пиршестве веры, но они даже находили здесь себе хорошие занятия; а потому понахлынули сюда в изобилии из разных мест, и особенно из городов, прославленных своими воровскими людьми, то есть из Орла, Кром, Ельца и из Ливен, где славились большие мастера чудеса строить. Все сошедшиеся сюда пустошные люди искали себе своих промыслов. Отважнейшие из них действовали строем, располагаясь кучами в толпах, где удобно было при содействии казака произвести натиск и смятение и во время суматохи обыскать чужие карманы, сорвать часы, поясные пряжки и поведергать серьги из ушей; а люди более степенные ходили в одиночку по дворам, жаловались на убожество, "сказывали сны и чудеса", предлагали привороты, отвороты и "старым людям секретные помочи из китового семени, вороньего сала, слоновьей спермы" и других снадобий, от коих "сила постоянная движет". Снадобья эти не утрачивали своей цены и здесь, потому что, к чести человечества, совесть не за всеми исцелениями позволяла обращаться к угоднику. Не менее охотно пустошные люди смиренного обычая занимались просто воровством и при удобных случаях нередко дочиста обворовывали гостей, которые за неимением помещений жили в своих повозках и под повозками. Места везде было мало, и не все повозки находили себе приют под сараями постоянных дворов; другие же стояли обозом за городом на открытых выгонах. Тут шла жизнь еще более разнообразная и интересная и притом еще более полная оттенков священной и медицинской поэзии и занимательных плутней. Темные промышленники шныряли повсеместно, но приютом им был этот загородный "бедный обоз" с окружавшими его оврагами и лачужками, где шло ожесточенное корчемство (*31) водкой и в двух-трех повозках стояли румяные солдаты, приехавшие сюда в складчину. Тут же фабриковались стружки от гроба, "печатная земля", кусочки истлевших риз и даже "частицы". Иногда между промышленными этими делами художниками попадались люди очень остроумные и выкидывали штуки интересные и замечательные по своей простоте и смелости. Таков был и тот, которого заметило благочестивое орловское семейство. Проходимец подслушал их сетование о невозможности приступить к угоднику, прежде чем от мощей истекнут первые струи целебной благодати, и прямо подошел и заговорил начистоту:

– Скорби-де ваши я слышал и могу помочь, а вам меня избегать нечего... Без нас вы здесь теперь желаемого себе удовольствия, при столь большом и именитом съезде, не получите, а мы в таковых разгах бывали и средства знаем. Угодно вам быть у самых первых сил угодника – не пожалейте за свое благополучие сто рублей, и я вас поставлю.

Купец посмотрел на субъекта и отвечал:

– Полно врать.

Но тот свое продолжал:

– Вы, – говорит, – вероятно, так думаете, судя по моему ничтожеству; но ничтожное в очах человеческих может быть совсем в другом расчислении у бога, и я за что берусь, то твердо могу исполнить. Вы вот смущаетесь насчет земного величия, что его много наехало, а мне оно все прах, и будь тут хоть видимо-невидимо одних принцев и королей, они нимало нам не могут препятствовать, а даже все сами перед нами расступятся. А потому, если вы желаете сквозь все пройти чистым и гладким путем, и самых первых лиц увидеть, и другу божию дать самые первые лобызания, то не жалеете того, что сказано. А если ста рублей жалко и не побрезгаете компанией, то я живо подберу еще два человека, коих на примете имею, и тогда вам дешевле станет.

Что оставалось делать благочестивым поклонникам? Конечно, рискованно было верить пустотному человеку, но и случая упустить не хотелось, да и деньги требовались

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
небольшие, особенно если в компании... Патриарх решился рискнуть и сказал:

– Ладь компанию.

Пустошный человек взял задаток и побегал, наказав семейству рано пообедать и за час перед тем, как ударят к вечерне в первый колокол, взять каждому с собой по новому ручному полотенцу и идти за город, на указанное место "в бедный обоз", и там ожидать его. Оттуда немедленно же должен был начинаться поход, которого, по уверениям антрепренера, не могли остановить никакие принцы, ни короли.

Таковые "бедные обозы" в больших или меньших размерах становились широким станом при всех подобных сборищах, и я сам видал их и помню в Коренной под Курском, а о том, о котором наступает повествование, слышал рассказы от очевидцев и свидетелей тому, что сейчас будет описано.

9

Место, занятое бедным становищем, было за городом, на обширном и привольном выгоне между рекою и столбовою дорогою, а в конце примыкало к большому извилистому оврагу, по которому бежал ручеек и рос густой кустарник; сзади начинался могучий сосновый лес, где клектали орлы.

На выгоне расположилось множество бедных повозок и колымаг, представлявших, однако, во всей своей нищете довольно пестрое разнообразие национального гения и изобретательности. Были обыкновенные рогожные будки, полотняные шатры во всю телегу, "беседки" с пушистым ковылем-травой и совершенно безобразные лубковые окаты. Целый большой луб с вековой липы согнут и приколочен к тележным грядкам, а под ним лежка: лежат люди ногами к ногам в нутро экипажа, а головы к вольному воздуху, на обе стороны вперед и назад. Над возлежащими проходит ветерок и вентилирует, чтобы им можно было не задохнуться в собственном духу. Тут же у взвязанных к оглоблям пихтерей с сеном и хрептугов стояли кони, большею частью тощие, все в хомутах и иные, у бережливых людей, под рогожными "крышками". При некоторых повозках были и собачки, которых хотя и не следовало бы брать в паломничество, но это были "усердные" собачки, которые догнали своих хозяев на втором, третьем покорме и ни при каком бойле не хотели от них отвязаться. Им здесь не было места, по настоящему положению паломничества, но они были терпимы и, чувствуя свое контрабандное положение, держали себя очень смирно; они жались где-нибудь у тележного колеса под дегтяркою и хранили серьезное молчание. Одна скромность спасала их от остракизма и от опасного для них крещеного цыгана, который в одну минуту "снял с них шубы". Здесь, в бедном обозе, под открытым небом жилось весело и хорошо, как на ярмарке. Всякого разнообразия здесь было более, чем в гостиничных номерах, доставшихся только особым избранныкам, или под навесами постоялых дворов, где в вечном полумраке мостились в повозках люди второй руки. Правда, в бедный обоз не заходили тучные иноки и иподиаконы, не видать было даже и настоящих, опытных странников, но зато здесь были свои мастера на все руки и шло обширное кустарное производство разных "святостей". Когда мне довелось читать известное в киевских хрониках дело о подделке мощей (*32) из бараньих костей, я был удивлен младенчеством приема этих фабрикантов в сравнении с смелостью мастеров, у которых слыхал ранее. Тут это было какое-то откровенное неглиже с отвагой. Даже самый путь к выгону по Слободской улице уже отличался ничем не стесняемою свободою самой широкой предприимчивости. Люди знали, что этакие случаи не часто выпадают, и не теряли времени: у многих ворот стояли столики, на которых лежали иконки, крестики и бумажные сверточки с гнилою древесною пылью, будто бы от старого гроба, и тут же лежали стружки от нового. Весь этот материал был, по уверению продавцов, гораздо высшего сорта, чем в настоящих местах, потому что принесен сюда самими столярами, копачами и плотниками, производившими самые важные работы. У входа в лагерь вертелись "носящие и сидящие" с образками нового угодника, заклеенными пока белою бумажкою с крестиком. Образки эти продавались по самой дешевой цене, и покупать их можно было сию же минуту, но открывать нельзя было до отслужения первого молебна. У многих недостойных, купивших такие образки и открывших их раньше времени, они оказались чистыми дощечками. В овраге же за становищем, под санями, опрокинутыми кверху полозьями, жили у ручья цыган с цыганкою и цыганятами. Цыган и цыганка имели тут большую врачебную практику. У них на одном полозе был привязан за ногу большой безголосый "петух", из которого выходили по утрам камни, "двигавшие постельную силу", и цыган имел кошкину траву, которая тогда была весьма нужна к "болячкам афедроновым". Цыган этот был в своем роде знаменитость. Слава о нем шла такая, что он, когда в неверной земле семь спящих дев открывали, и там он не

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
лишний был: он старых людей на молодых переделывал, прутяные сеченья господским
людям лечил и военным кавалерам заплечный бой из нутра через водоток выводил.
Цыганка же его, кажется, знала еще большие тайны природы: она две воды мужьям
давала: одну ко обличению жен, кои блудно грешат; той воды если женам дать, она
в них не удержится, а насквозь пройдет; а другая вода магнитная: от этой воды
жена неохочая во сне страстно мужа обоймет, а если усилится другого любить - с
постели станет падать.

Словом, дело здесь кипело, и многообразные нужды человечества находили тут
полезных пособников.

Пустошный человек как завидел купцов, не стал с ними разговаривать, а начал их
манить, чтобы сошли в овражек, и сам туда же вперед юркнул.

Опять это показалось страшновато: можно было опасаться засады, в которой могли
скрываться лихие люди, способные обобрать богомольцев догола, но благочестие
превозмогло страх, и купец после небольшого раздумья, помолясь богу и помянув
угодника, решился переступить шага три вниз.

Сходил он осторожно, держась за кустики, а жене и дочери приказал в случае
чего-нибудь кричать изо всей мочи.

Засада здесь и в самом деле была, но не опасная: купец нашел в овраге двух таких
же, как он, благочестивых людей в купеческом одеянии, с которыми надо было
"сладиться". Все они должны были здесь заплатить пустотному уговорную плату за
проводы их к угоднику, а тогда он им откроет свой план и сейчас их поведет.
Долго думать было нечего, и упорство ни к чему не вело: купцы сложили сумму и
дали, а пустошный открыл им свой план, простой, но, по простоте своей, чисто
гениальный: он заключался в том, что в "бедном обозе" есть известный пустошному
человеку человек расслабленный, которого надо только поднять и нести к угоднику,
и никто их не остановит и пути им не затруднит с болящим. Надо только купить для
слабого болезный одрец [носилки] да покровец и, подняв его, нести всем шестерым,
подвязавши под одр полотенчики.

Мысль эта казалась в первой своей части превосходною, - с расслабленным
носителей, конечно, пропустят, но каковы быть могут последствия? Не было бы
дальше конфуза? Однако и на этот счет все было успокоено, проводник сказал
только, что это не стоит внимания.

- Мы таковые разы, - говорит, - уже видали: вы, в ваше удовольствие, сподобитесь
все видеть и приложиться к угоднику во время всеобщего пения, а в рассуждении
болящего, будь воля угодника, - пожелает он его исцелить - и исцелит, а не
пожелает - опять его воля. Теперь только скиньтесь скорее на одрец и на
покровец, а у меня уж все это припасено в близком доме, только надо деньги
отдать. Мало меня здесь повремените, и в путь пойдем.

Взял, поторговавшись, еще на снасть по два рубля с лица и побежал, а через
десять минут назад вернулся и говорит:

- Идем, братия, только не бойко выступайте, а попустите малость очи
побогомысленнее.

Купцы спустили очи и пошли с благоговением и в этом же "бедном обозе" подошли к
одной повозке, у которой стояла у хрептуга совсем дохлая клячонка, а на передке
сидел маленький золотушный мальчик и забавлял себя, перекидывая с руки на руку
ощипанные плоднички желтых пупавок [ромашек]. На этой повозке под липовым лубком
лежал человек средних лет, с лицом самих пупавок желтее, и руки тоже желтые, все
вытянутые и как мягкие плети валяются.

Женщины, завидев этакую ужасную немощь, стали креститься, а проводник их
обратился к больному и говорит:

- Вот, дядя фотей, добрые люди пришли помочь мне тебя к исцеленью нести. Воли
божией час к тебе близится.

Желтый человек стал поворачиваться к незнакомым людям и благодарственно на них
смотрит, а перстом себе на язык показывает.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik Те догадались, что он немой. "Ничего, - говорят, - ничего, раб божий, не благодари нас, а богу благодарствуй", - и стали его вытаскивать из повозки - мужчины под плечи и под ноги, а женщины только его слабые ручки поддерживали и еще более напугались страшного состояния больного, потому что руки у него в плечевых суставах совсем "перевалились" и только волосяными веревками были кое-как перевязаны.

Одрик стоял тут же. Это была небольшая старая кровать, плотно засыпанная по углам клоповыми яйцами; на кровати лежал сноп соломы и кусок редкого миткалю с грубо выведенным красками крестом, копнем и тростию. Проводник ловкою рукою распушил соломку, чтобы на все стороны с краев свешивалась, положили на нее желтого расслабленного, покрыли миткалем и понесли.

Проводник шел впереди с глиняной жаровенкой и крестообразно покуривал.

Еще они и из обоза не вышли, как на них уже начали креститься, а когда пошли по улицам, внимание к ним становилось все серьезнее и серьезнее: все, видя их, понимали, что это к чудотворцу несут болящего, и присоединялись. Купцы шли поспешаючи, потому что слышали благовест ко всенощной, и пришли с своею ношею как раз вовремя, когда запели: "Хвалите имя господне, рабы господа".

Храм, разумеется, не вмещал и сотой доли собравшегося народа; видимо-невидимо людей сплошную массою стояло вокруг церкви, но чуть увидели одр и носящих, все загудели: "Расслабного несут, чудо будет", - и вся толпа расступилась.

До самых дверей стала живая улица, и дальше все сделалось, как обещал проводник. Даже и твердое упование веры его не осталось в постыжении: расслабленный исцелел. Он встал, он сам вышел на своих ногах "славяще и благодаряще". Кто-то все это записал на записочку, в которой, со слов проводника, исцеленный расслабленный был назван "родственником" орловского купца, через что ему многие завидовали, и исцеленный за поздним временем не пошел уже в свой бедный обоз, а ночевал под сараем у своих новых родственников.

Все это было приятно. Исцеленный был интересным лицом, на которого многие приходили взглянуть и кидали ему "жертвки".

Но он еще мало говорил и неясно - очень шамкал с непривычки и больше всего на купцов исцеленною рукою показывал: "их-де спрашивайте, они родственники, они все знают". И тогда те поневоле говорили, что он их родственник; но вдруг под все это подкралась неожиданная неприятность: в ночь, наставшую после исцеления желтого расслабленного, было замечено, что у бархатного намета над гробом угодника пропал один золотой шнур с такою же золотою кистью.

Дознавали об этом из-под руки и спросили орловского купца, не заметил ли он, близко подходя, и что такое за люди помогали ему нести больного родственника? Он по совести сказал, что люди были незнакомые, из бедного обоза, по усердию несли. Возили его туда узнавать место, людей, клячу и тележку с золотушным мальчиком, игравшим пупавками, но тут только одно место было на своем месте, а ни людей, ни повозки, ни мальчика с пупавками и следа не было.

Дознание бросили, "да не молва будет в людях". Кисть повесили новую, а купцы после такой неприятности скорее собрались домой. Но только тут исцеленный родственник осчастливил их новой радостью: он обязывал их взять его с собою и в противном случае угрожал жалобою и про кисть напомнил.

И потому, когда пришел час к отъезду купцов восвояси, фотей очутился на передке рядом с кучером, и скинуть его было невозможно до лежавшего на их пути села Крутого. Здесь был в то время очень опасный спуск с одной горы и тяжелый подъем на другую, и потому случались разные происшествия с путниками: падали лошади, переворачивались экипажи и прочее в этом роде. Село Крутое непременно надо было проследовать засветло, иначе надо заночевать, а в сумерки никто не рисковал спускаться.

Наши купцы тоже здесь переночевали и утром при восхождении на гору "растерялись", то есть потеряли своего исцеленного родственника фотей. Говорили, будто с вечера они "добре его угостили из фляги", а утром не разбудили и съехали, но нашлись другие добрые люди, которые поправили эту растерянность и, прихватив фотей с собою, привезли его в Орел.

Здесь он отыскивал своих неблагодарных родственников, покинувших его в Крутом, но не встретил у них родственного приема. Он стал нищенствовать по городу и рассказывать, будто купец ездил к угоднику не для дочери, а молился, чтобы хлеб подорожал. Никому это точнее Фотей известно не было.

10

Не в долгих днях после появления в Орле известного и покинутого Фотея в приходе Михаила Архангела у купца Акулова были "бедные столы". На дворе, на досках, дымились большие липовые чаши с лапшой и чугуны с кашей, а с хозяйского крыльца раздавали по рукам ватрушки с луком и пироги. Гостей набралось множество, каждый со своей ложкой в сапоге или за пазухой. Пирогам оделял Голован. Он часто был зван к таким "столам" архитриклином (*33) и хлебодаром, потому что был справедлив, ничего не утаит себе и основательно знал, кто какого пирога стоит – с горохом, с морковью или с печенкой.

Так и теперь он стоял и каждому подходящему "оденял" большой пирог, а у кого знал в доме немощных – тому два и более "на недужную порцию". И вот в числе разных подходящих подошел к Головану и Фотей, человек новый, но как будто удививший Голована. Увидав Фотея, Голован словно что-то вспомнил и спросил:

– Ты чей и где живешь?

Фотей сморщился и проговорил:

– Я ничей, а божий, обшит рабьей кожей, а живу под рогожей.

А другие говорят Головану: "Его купцы привезли от угодника... Это Фотей исцеленный".

Но Голован улыбнулся и заговорил было:

– С какой стати это Фотей! – но в эту же самую минуту Фотей вырвал у него пирог, а другою рукою дал ему оглушительную пощечину и крикнул:

– Не брешь лишнего! – и с этим сел за столы, а Голован стерпел и ни слова ему не сказал. Все поняли, что, верно, это так надобно, очевидно, исцеленный юродует, а Голован знает, что это надо сносить. Но только "в каком расчислении стоил Голован такого обращения?" Это была загадка, которая продолжалась многие годы и установила такое мнение, что в Головане скрывается что-нибудь очень бедовое, потому что он Фотей боится.

И впрямь тут было что-то загадочное. Фотей, скоро павший в всеобщем мнении до того, что вслед ему кричали: "У святого кисть украл и в кабаке пропил", – с Голованом обходился чрезвычайно дерзко.

Встречая Голована где бы то ни было, Фотей заступал ему дорогу и кричал: "Долг подавай". И Голован, нимало ему не возражая, лез за пазуху и доставал оттуда медную гривну. Если же у него не случалось с собою гривны, а было менее, то Фотей, которого за пестроту его лохмотьев прозвали Горностаем, швырял Головану недостаточную дачу назад, плевал на него и даже бил его, швырял камнями, грязью или снегом.

Я сам помню, как однажды в сумерки, когда отец мой со священником Петром сидели у окна в кабинете, а Голован стоял под окном и все они втроем вели свой разговор, в открытые на этот случай ворота вбежал ободранный Горностай и с криком: "Забыл, подлец!" – при всех ударил Голована по лицу, а тот, тихонько его отстранив, дал ему из-за пазухи медных денег и повел его за ворота.

Такие поступки были никому не в редкость, и объяснение, что Горностай что-нибудь за Голованом знает, было, конечно, весьма естественно. Понятно, что это возбуждало у многих и любопытство, которое, как вскоре увидим, имело верное основание.

11

Мне было около семи лет, когда мы оставили Орел и переехали на постоянное жительство

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik в деревню. С тех пор я уже не видал Голована. Потом наступило время учиться, и оригинальный мужик с большой головою пропал у меня из вида. И слышал я о нем только раз, во время "большого пожара". Тогда погибло не только много строений и подвижности, но сгорело и много людей – в числе последних называли Голована. Рассказывали, что он упал в какую-то яму, которой не видно было под пеплом, и "сварился". О семейных, которые его пережили, я не справлялся. После этого я вскоре уехал в Киев и побывал в родимые места уже через десять лет. Было новое царствование, начинались новые порядки; веяло радостной свежестью, – ожидали освобождения крестьян и даже поговаривали уже о гласном судопроизводстве. Все новое: сердца горели. Непримиемых еще не было, но уже обозначались нетерпеливцы и выжидатели.

На пути к бабушке я остановился на несколько дней в Орле, где тогда служил совестным судьей (*34) мой дядя, который оставил по себе память честного человека. Он имел много прекрасных сторон, внушавших к нему почтение даже в тех людях, которые не разделяли его взглядов и симпатий: он был в молодости щеголь, гусар, потом садовод и художник-дилетант с замечательными способностями; благородный, прямой, дворянин, и "дворянин au bout des ongles" [до кончика ногтей (франц.)]. Понимая по-своему обязательство этого звания, он, разумеется, покорствовал новизне, но желал критически относиться к эмансипации и представлял из себя охранителя. Эмансипации хотел только такой, как в Остзейском крае (*35). Молодых людей он привечал и ласкал, но их вера, что спасение находится в правильном движении вперед, а не назад, – казалась ему ошибкой. Дядя любил меня и знал, что я его люблю и уважаю, но во мнениях об эмансипации и других тогдашних вопросах мы с ним не сходились. В Орле он делал из меня по этому поводу очистительную жертву, и хотя я тщательно старался избегать этих разговоров, однако он на них направлял и очень любил меня "поражать".

Дяде всего более нравилось подводить меня к казусам, в которых его судейская практика обнаруживала "народную глупость".

Помню роскошный, теплый вечер, который мы провели с дядею в орловском "губернаторском" саду, занимаясь, признаться сказать, уже значительно утомившим меня спором о свойствах и качествах русского народа. Я несправедливо утверждал, что народ очень умен, а дядя, может быть, еще несправедливее настаивал, что народ очень глуп, что он совершенно не имеет понятий о законе, о собственности и вообще народ азиат, который может удивить кого угодно своею дикостью.

– И вот, – говорит, – тебе, милостивый государь, подтверждение: если память твоя сохранила ситуацию города, то ты должен помнить, что у нас есть буераки, слободы и слободки, которые черт знает кто межевал и кому отводил под постройки. Все это в несколько приемов убрал огонь, и на месте старых лачуг построились такие же новые, а теперь никто не может узнать, кто здесь по какому праву сидит?

Дело было в том, что, когда отдохнувший от пожаров город стал устраиваться и некоторые люди стали покупать участки в кварталах за церковью Василия Великого, оказалось, что у продавцов не только не было никаких документов, но что и сами эти владельцы и их предки считали всякие документы совершенно лишними. Домик и местишко до этой поры переходили из рук в руки без всякого заявления властям и без всяких даней и пошлин в казну, а все это, говорят, писалось у них в какую-то "китрать", но "китрать" эта в один из бесчисленных пожаров сгорела, и тот, кто вел ее, – умер; а с тем и все следы их владенных прав покончились. Правда, что никаких споров по праву владения не было, но все это не имело законной силы, а держалось на том, что если Протасов говорит, что его отец купил домишко от покойного деда Тарасовых, то Тарасовы не оспаривали владенных прав Протасовых; но как теперь требовались права, то прав нет, и совестному судье воочью предлежало решать вопрос: преступление ли вызвало закон или закон создал преступление?

– А зачем все это они так делали? – говорил дядя. – Потому-с, что это не обыкновенный народ, для которого хороши и нужны обеспечивающие право государственные учреждения, а это номады, орда(*36), осевшая, но еще сама себя не сознающая.

С тем мы заснули, выспались, – рано утром я сходил на Орлик, выкупался, посмотрел на старые места, вспомнил Голованов домик и, возвращаясь, нахожу дядю в беседе с тремя неизвестными мне "милостивыми государями". Все они были купеческой конструкции – двое сердовые (*37) в сюртуках с крючками, а один

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik совершенно белый (*38), в ситцевой рубахе навыпуск, в чуйке и в крестьянской шляпе "гречником".

Дядя показал мне на них рукою и говорит:

– Вот это иллюстрация ко вчерашнему сюжету. Эти господа рассказывают мне свое дело: войди в наше совещание.

Затем он обратился к предстоящим с очевидною для меня, но для них, конечно, с непонятною шуткою и добавил:

– Это мой родственник, молодой прокурор из Киева, – к министру в Петербург едет и может ему объяснить ваше дело.

Те поклонились.

– Из них, – видишь ли, – продолжал дядя, – вот этот, господин Протасов, желает купить дом и место вот этого, Тарасова; но у Тарасова нет никаких бумаг. Понимаешь: никаких! Он только помнит, что его отец купил домик у Власова, а вот этот, третий, – есть сын господина Власова, ему, как видишь, тоже уже немало лет.

– Семьдесят, – коротко заметил старик.

– Да, семьдесят, и у него тоже нет и не было никаких бумаг.

– Никогда не было, – опять вставил старик.

– Он пришел удостовериться, что это так именно было и что он ни в какие права не вступается.

– Не вступаемся – отцы продали.

– Да; но кто его "отцам" продал – тех уже нет.

– Нет; они за веру на Кавказ уланы.

– Их можно разыскать, – сказал я.

– Нечего искать, там им вода нехороша, – воды не снесли, – все покончились.

– Как же вы, – говорю, – это так странно поступали?

– Поступали, как мощно было. Приказный был лют, даней с малых дворов давать было нечего, а была у Ивана Ивановича китрать, в нее и писали. А допреж его, еще не за моей памяти, Гапеев купец был, у него была китрать, а после всех Головану китрать дали, а Голован в поганой яме сварился, и китрати сгорели.

– Это Голован, выходит, был у вас что-то вроде нотариуса? – спросил дядя (который не был орловским старожилом).

Старик улыбнулся и тихо молвил:

– Из-за чего же нотариус! – Голован был справедливый человек.

– Как же ему все так и верили?

– А как такому человеку не верить: он свою плоть за людей с живых костей резал.

– Вот и легенда! – тихо молвил дядя, но старик вслушался и отвечал:

– Нет, сударь, Голован не лыгенда, а правда, и память его будь с похвалою.

Дядя пошутил: и с путаницей. И он не знал, как он этим верно отвечал на всю массу воспрянувших во мне в это время воспоминаний, к которым при тогдашнем моем любопытстве мне страстно хотелось подыскать ключ.

А ключ ждал меня, сохраняясь у моей бабушки.

Два слова о бабушке: она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский род "не за богатство, а за красоту". Но лучшее ее свойство было – душевная красота и светлый разум, в котором всегда сохранялся простонародный склад. Войдя в дворянский круг, она уступила многим его требованиям и даже позволяла звать себя Александрой Васильевной, тогда как ее настоящее имя было Акилина, но думала всегда простонародно и даже без намерения, конечно, удержала некоторую простонародность в речи. Она говорила "ехтот" вместо "этот", считала слово "мораль" оскорбительным и никак не могла выговорить "бухгалтер". Зато она не позволила никаким модным давлениям поколебать в себе веру в народный смысл и сама не расставалась с этим смыслом. Была хорошая женщина и настоящая русская барыня; превосходно вела дом и умела принять всякого, начиная с императора Александра I и до Ивана Ивановича Андросова. Читать ничего не читала, кроме детских писем, но любила обновление ума в беседах, и для того "требовала людей к разговору". В этом роде собеседником ее был бурмистр Михаиле Лебедев, буфетчик Василий, старший повар Клим или ключница Маланья. Разговоры всегда были не пустые, а к делу и к пользе, – разбиралось, отчего на девку феклушку мораль пущена или зачем мальчик Гришка мачехой недоволен. Вслед за таким разговором шли свои меры, как помочь феклуше покрыть косу и что сделать, чтобы мальчик Гришка не был мачехой недоволен.

Для нее все это было полно живого интереса, может быть совершенно непонятного ее внучкам.

В Орле, когда бабушка приезжала к нам, дружбой ее пользовались соборный отец Петр, купец Андросов и Голован, которых для нее и "призывали к разговору".

Разговоры, надо полагать, и здесь были не пустые, не для одного препровождения времени, а, вероятно, тоже про какие-нибудь деда, вроде падавшей на кого-нибудь морали или неудовольствий мальчика с мачехой.

У нее поэтому могли быть ключи от многих тайностей, для нас, пожалуй, мелких, но для своей среды весьма значительных.

Теперь, в это последнее мое свидание с бабушкой, она была уж очень стара, но сохраняла в совершенной свежести свой ум, память и глаза. Она еще шила.

И в этот раз я застал ее у того же рабочего столика с верхней паркетной дощечкой, изображавшей арфу, поддерживаемую двумя амурами.

Бабушка спросила меня: заезжал ли я на отцову могилу, кого видел из родных в Орле и что поделывает там дядя? Я ответил на все ее вопросы и распространился о дяде, рассказав, как он разбирается со старыми "лыгендами".

Бабушка остановилась и подняла на лоб очки. Слово "лыгенда" ей очень понравилось: она услышала в нем наивную переделку в народном духе и рассмеялась.

– Это, – говорит, – старик чудесно сказал про лыгенду.

А я говорю:

– А мне, бабушка, очень бы хотелось знать, как это происходило на самом деле, не по лыгенде.

– Про что же тебе именно хотелось бы знать?

– Да вот про все это: какой был этот Голован? Я его ведь чуть-чуть помню, и то все с какими-то, как старик говорит, лыгендами, а ведь, конечно же, дело было просто...

– Ну, разумеется, просто, но отчего вас это удивляет, что наши люди тогда купчих крепостей избегали, а просто продажи в тетрадки писали? Этого еще и впереди много откроется. Приказных боялись, а своим людям верили, и все тут.

– Но чем, – говорю, – Голован мог заслужить такое доверие? Мне он, по правде сказать, иногда представляется как будто немножко... шарлатаном.

– Почему же это?

– А что такое, например, я помню, говорили, будто он какой-то волшебный камень имел и своею кровью или телом, которое в реку бросил, чуму остановил? За что его "несмертельным" звали?

– Про волшебный камень – вздор. Это люди так присочинили, и Голован тому не виноват, а "несмертельным" его прозвали потому, что в этом ужасе, когда над землей смертные фимиазмы стояли и все оробели, он один бесстрашный был, и его смерть не брала.

– А зачем же, – говорю, – он себе ногу резал?

– Икру себе отрезал.

– Для чего?

– А для того, что у него тоже прыщ чумной сел, Он знал, что от этого спасенья нет, взял поскорее косу, да всю икру и отрезал.

– Может ли, – говорю, – это быть!

– Конечно, это так было.

– А что, – говорю, – надо думать о женщине Павле?

Бабушка на меня взглянула и отвечает:

– Что же такое? Женщина Павла была фрапошкина жена; была она очень горестная, и Голован ее приютил.

– А ее, однако, называли "Головановым грехом".

– Всяк по себе судит и называет; не было у него такого греха.

– Но, бабушка, разве вы, милая, этому верите?

– Не только верю, но я это знаю.

– Но как можно это знать?

– Очень просто.

Бабушка обратилась к работавшей с нею девочке и послала ее в сад набрать малины, а когда та вышла, она значительно взглянула мне в глаза и проговорила:

– Голован был девственник!

– От кого вы это знаете?

– От отца Петра.

И бабушка мне рассказала, как отец Петр незадолго перед своей кончиною говорил ей, какие люди на Руси бывают невероятные и что покойный Голован был девственник.

Коснувшись этой истории, бабушка вошла в маленькие подробности и припомнила свою беседу с отцом Петром.

– Отец Петр, – говорит, – сначала и сам усумнился и стал его подробнее спрашивать и даже намекнул на Павлу. "Нехорошо, говорит, это: ты не каешься, а соблазняешь. Не достойно тебе держать у себя сию Павлу. Отпусти ее с богом". А Голован ответил: "Напрасно это вы, батюшка, говорите: пусть лучше она живет у меня с богом, – нельзя, чтобы я ее отпустил". – "А почему?" – "А потому, что ей головы приклонить негде..." – "Ну так, говорит, женись на ней!" – "А это, отвечает, невозможно", – а почему невозможно, не сказал, и отец Петр долго насчет этого сомневался; но Павла ведь была чахоточная и недолго жила, и перед

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
смертью, когда к ней пришел отец Петр, то она ему открыла всю причину.

– Какая же, бабушка, была эта причина?

– Они жили по любви совершенной.

– То есть как это?

– Ангельски.

– Но, позвольте, для чего же это? Ведь муж Павлы пропал, а есть закон, что после пяти лет можно выйти замуж. Неужто они это не знали?

– Нет, я думаю, знали, но они еще кое-что больше этого знали.

– Например, что?

– А например, то, что муж Павлы всех их пережил и никогда не пропал.

– А где же он был?

– В Орле!

– Милая, вы шутите?

– Ни крошечки.

– И кому же это было известно?

– Им троим: Головану, Павле да самому этому негодивцу. Ты можешь вспомнить Фотей?

– Исцеленного?

– Да как хочешь его называй, только теперь, когда все они перемерли, я могу сказать, что он совсем был не Фотей, а беглый солдат фрапошка.

– Как! это был Павлы муж?

– Именно.

– Отчего же?.. – начал было я, но устыдился своей мысли и замолчал, но бабушка поняла меня и договорила:

– Верно, хочешь спросить: отчего его никто другой не узнал, а Павла с Голованом его не выдали? Это очень просто: другие его не узнали потому, что он был не городской, да постарел, волосами зарос, а Павла его не выдала жалеючи, а Голован ее любячи.

– Но ведь юридически, по закону, фрапошка не существовал, и они могли жениться.

– Могли – по юридическому закону могли, да по закону своей совести не могли.

– За что же фрапошка Голована преследовал?

– Негодяй был покойник, – разумел о них как прочие.

– А ведь они из-за него все счастье у себя и отняли!

– Да ведь в чем счастье полагать: есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное ни через кого не переступит, а грешное все перешагнет. Они же первое возлюбили паче последнего...

– Бабушка, – воскликнул я, – ведь это удивительные люди!

– Праведные, мой друг, – отвечала старушка.

Но я все-таки хочу добавить – и удивительные и даже невероятные. Они невероятны,
Страница 353

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов пока их окружает легендарный вымысел, и становятся еще более невероятными, когда удастся снять с них этот налет и увидеть их во всей их святой простоте. Одна одушевлявшая их совершенная любовь поставляла их выше всех страхов и даже подчинила им природу, не побуждая их ни закапываться в землю, ни бороться с видениями, терзавшими св. Антония (*39).

1880

Путешествие с нигилистом

Кто скачет, кто мчится

в таинственной мгле?

Гёте

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Случилось провести мне рождественскую ночь в вагоне, и не без приключений.

Дело было на одной из маленьких железнодорожных ветвей, так сказать, совсем в стороне от "большого света". Линия была ещё не совсем окончена, поезда ходили неаккуратно, и публику помещали как попало. Какой класс ни возьми, всё выходит одно и то же – все являются вместе.

Буфетов ещё нет; многие, чувствуя холод, греются из дорожных фляжек.

Согревающие напитки развивают общение и разговоры. Больше всего толкуют о дороге и судят о ней снисходительно, что бывает у нас не часто,

– Да, плохо нас везут, – сказал какой-то военный, – а всё спасибо им, – лучше, чем на конях. На конях в сутки бы не доехали, а тут завтра к утру будем и завтра назад можно. Должностным людям то удобство, что завтра с родными повидаться, а послезавтра и опять к службе.

– Вот и я то же самое, – поддержал, встав на ноги и держась за спинку скамьи, большой сухощавый духовный. – Вот у них в городе дьякон гласом подупавши, многолетие вроде как петух выводит. Пригласили меня за десятку позднюю обедню сделать. Многолетие проворчу и опять в ночь в своё село.

Одно находили на лошадях лучше, что можно ехать в своей компании и где угодно остановиться.

– Ну, да ведь здесь компания-то не навек, а на час, – молвил купец.

– Однако иной если и на час навяжется, то можно его всю жизнь помнить, – отозвался дьякон.

– Чего же это так?

– А если, например, нигилист, да в полном своём облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом.

– Это сужект полицейский.

– Всякого это касается, потому, вы знаете ли, что от одного даже трясения... паф – и готово.

– Оставьте, пожалуйста... К чему вы это к ночи завели. У нас этого звания ещё нет.

– Может с поля взяться.

– Лучше спать давайте.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Все послушались купца и заснули, и не могу уже вам сказать, сколько мы проспали, как вдруг нас так сильно встряхнуло, что все мы проснулись, а в вагоне с нами уже был нигилист.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Откуда он взялся? Никто не заметил, где этот неприятный гость мог взойти, но не было ни малейшего сомнения, что это настоящий, чистокровный нигилист, и потому сон у всех пропал сразу. Рассмотреть его ещё было невозможно, потому что он сидел в потёмочках в углу у окна, но и смотреть не надо – это так уже чувствовалось.

Впрочем, дьякон попробовал произвести обозрение личности: он прошёлся к выходной двери вагона, мимо самого нигилиста, и, возвратясь, объявил потихоньку, что весьма ясно приметил "рукава с фибрами", за которыми непременно спрятан револьвер-барбос или бинамид.

Дьякон оказывался человеком очень живым и, для своего сельского звания, весьма просвещённым и любознательным, а к тому же и находчивым. Он немедленно стал подбивать военного, чтобы тот вынул папироску и пошёл к нигилисту попросить огня от его сигары.

– Вы, – говорит, – не цивилизные, а вы со шпорою – вы можете на него так топнуть, что он как бильярдный шар выкатится. Военному всё смелее.

К поездовому начальству напрасно было обращаться, потому что оно нас заперло на ключ и само отсутствовало.

Военный согласился: он встал, постоял у одного окна, потом у другого и, наконец, подошёл к нигилисту и попросил закурить от его сигары.

Мы зорко наблюдали за этим маневром и видели, как нигилист схитрил: он не дал сигары, а зажег спичку и молча подал её офицеру.

Всё это холодно, кратко, отчётливо, но безучастливо и в совершенном молчании. Ткнул в руки зажжённую спичку и отворотился.

Но, однако, для нашего напряжённого внимания было довольно и одного этого светового момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядели, что это человек совершенно сомнительный, даже неопределённого возраста. Точно донской рыбец, которого не отличишь – нынешний он или прошлогодний. Но подозрительного много: грефовские круглые очки, неблагонамеренная фуражка, не православным блином, а с еретическим надзатыльником, и на плечах типичский плед, составляющий в нигилистическом сословии своего рода "мундирную пару", но что всего более нам не понравилось, – это его лицо. Не патлатое и воеводственнное, как бывало у ортодоксальных нигилистов шестидесятых годов, а нынешнее – щуковатое, так сказать фальсифицированное и представляющее как бы некую невозможную помесь нигилистки с жандармом. В общем, это являет собою подобие геральдического козерога.

Я не говорю геральдического льва, а именно геральдического козерога. Помните, как их обыкновенно изображают по бокам аристократических гербов: посредине пустой шлем и забрало, а на него щерятся лев и козерог. У последнего вся фигура беспокойная и острая, как будто "счастья он не ищет и не от счастья бежит". Вдобавок и колера, в которые был окрашен наш неприятный спутник, не обещали ничего доброго: волосёнки цвета гаванна, лицо зеленоватое, а глаза серые и бегают как метроном, поставленный на скорый темп "allegro udiratto". (Такого темпа в музыке, разумеется, нет, но он есть в нигилистическом жаргоне.)

Чёрт его знает: не то его кто-то догоняет, или он за кем-то гонится, – никак не разберёшь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Военный, возвратясь на своё место, сказал, что на его взгляд нигилист немножко чисто одет, и что у него на руках есть перчатки, а перед ним на противоположной лавочке стоит бельевая корзинка.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
Дьякон, впрочем, сейчас же доказал, что всё это ничего не значит, и привёл к тому несколько любопытных историй, которые он знал от своего брата, служащего где-то при таможне.

– Через них, – говорил он, – раз проезжал даже не в простых перчатках, а филь-де-пом, а как стали его обыскивать – обозначился шульер. Думали, смиренный – посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушёл.

Все заинтересовались: как шульер ушёл из-под воды?

– А очень просто, – разъяснил дьякон, – он начал притворяться, что его занапрасно посадили, и начал просить свечку. "Мне, говорит, в темноте очень скучно, прошу дозволить свечечку, я хочу в поверхностную комиссию графу Лорис-Мелихову объявление написать, кто я таков, и в каких упованиях прошу прощады и хорошее место". Но комендант был старый, мушкетного пороху, – знал все их хитрости и не позволил. "Кто к нам, говорит, залучен, тому нет прощады", и так всё его впотьмах и томил; а как этот помер, а нового назначили, шульер видит, что этот из неопытных, – навзрыд перед ним зарыдал и начал просить, чтобы ему хоть самый маленький сальный огарочек дали и какую-нибудь божественную книгу: "для того, говорит, что я хочу благочестивые мысли читать и в раскаяние прийти". Новый комендант и дал ему свечной огарок и духовный журнал "Православное воображение", а тот и ушёл.

– Как же он ушёл?

– С огарком и ушёл.

Военный посмотрел на дьякона и сказал:

– Вы какой-то вздор рассказываете!

– Нимало не вздор, а следствие было.

– Да что же ему огарок значил?

– А чёрт его знает, что значил! Только после стали везде по каморке смотреть – ни дыры никакой, ни щёлочки – ничего нет, и огарка нет, а из листов из "Православного воображения" остались одни корневильские корешки.

– Ну, вы совсем чёрт знает что говорите! – нетерпеливо молвил военный.

– Ничего не вздор, а я вам говорю – и следствие было, и узнали потом, кто он такой, да уже поздно.

– А кто же он такой был?

– Нахалкиканец из-за Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвёз, а он, по театрам да по балам, все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался, а с светилём ушел.

Военный только рукою махнул и отвернулся.

Но другим пассажирам словоохотливый дьякон нимало не наскучил: они любовно слушали, как он от коварного нахалкиканца с корневильскими корешками перешёл к настоящему нашему собственному положению с подозрительным нигилистом. Дьякон говорил:

– Я на его чистоту не льщусь, а как вот придёт сейчас первая станция – здесь одна сторожиха из керосиновой бутылочки водку продаёт, – я поднесу кондуктору бутершaft, и мы его встряхнём и что в бельевой корзине есть, посмотрим... какие там у него составы...

– Только надо осторожнее.

– Будьте покойны – мы с молитвою. Помилуй мя, Боже...

Тут нас вдруг и толкнуло, и завизжало. Многие вздрогнули и перекрестились.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Вот оно и есть, – воскликнул дьякон, – наехали на станцию!

Он вышел и побежал, а на его место пришёл кондуктор.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Кондуктор стал прямо перед нигилистом и ласково молвил:

– Не желаете ли, господин, корзиночку в багаж сдать?

Нигилист на него посмотрел и не ответил.

Кондуктор повторил предложение.

Тогда мы в первый раз услышали звук голоса нашего ненавистного попутчика. Он дерзко отвечал:

– Не желаю.

Кондуктор ему представил резоны, что "таких больших вещей не дозволено с собой в вагоны вносить".

Он процедил сквозь зубы:

– И прекрасно, что не дозволено.

– Так желаете, я корзиночку сдам в багаж?

– Не желаю.

– Как же, сами правильно рассуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете?

– Не желаю.

Взошедший на эту историю дьякон не утерпел и воскликнул: "Разве так можно!" – но, услышав, что кондуктор пригрозил "обером" и протоколом, успокоился и согласился ждать следующей станции.

– Там город, – сказал он нам, – там его и скрутят.

И что в самом деле за упрямый человек: ничего от него не добьются, кроме одного – "не желаю".

Неужто тут и взаправду замешаны корневильские корешки?

Стало очень интересно, и мы ждали следующей станции с нетерпением.

Дьякон объявил, что тут у него жандарм даже кум и человек старого мушкетного пороху.

– Он, – говорит, – ему такую завинтушку под ребро ткнет, что из него все это рояльное воспитание выскочит.

Обер явился ещё на ходу поезда и настойчиво сказал:

– Как приедем на станцию, извольте эту корзину взять.

А тот опять тем же тоном отвечает:

– Не желаю.

– Да вы прочитайте правила!

– Не желаю.

– Так пожалуйста со мною объясниться к начальнику станции. Сейчас остановка.

Приехали.

Станционное здание побольше других и поотделаннее: видны огни, самовар, на платформе и за стеклянными дверями буфет и жандармы. Словом, всё, что нужно. И вообразите себе: наш нигилист, который оказывал столько грубого сопротивления во всю дорогу, вдруг обнаружил намерение сделать движение, известное у них под именем *allegro udiratto*. Он взял в руки свой маленький саквояжик и направился к двери, но дьякон заметил это и очень ловким манером загородил ему выход. В эту же самую минуту появился обер-кондуктор, начальник станции и жандарм.

– Это ваша корзина? – спросил начальник.

– Нет, – отвечал нигилист.

– Как нет?!

– Нет.

– Всё равно, пожалуйста.

– Не уйдешь, брат, не уйдешь, – говорил дьякон.

Нигилиста и всех нас, в качестве свидетелей, попросили в комнату начальника станции и сюда же внесли корзину.

– Какие здесь вещи? – спросил строго начальник.

– Не знаю, – отвечал нигилист.

Но с ним больше не церемонились: корзинку мгновенно раскрыли и увидели новенькое голубое дамское платье, а в это же самое мгновение в контору с отчаянным воплем ворвался еврей и закричал, что это его корзинка и что платье, которое в ней, он везёт одной знатной даме, а что корзину действительно поставил он, а не кто другой, в том он сослался на нигилиста.

Тот подтвердил, что они взошли вместе и еврей действительно внёс корзинку и поставил её на лавочку, а сам лёг под сиденье.

– А билет? – спросили у еврея.

– Ну, что билет... – отвечал он. – Я не знал, где брать билет...

Еврея велено придержать, а от нигилиста потребовали удостоверения его личности. Он молча подал листок, взглянув на который начальник станции резко переменял тон и попросил его в кабинет, добавив при этом.

– Ваше превосходительство здесь ожидают.

А когда тот скрылся за дверь, начальник станции приложил ладони рук рупором ко рту и отчётливо объявил нам:

– Это прокурор судебной палаты!

Все ощутили полное удовольствие и перенесли его в молчании; только один военный вскрикнул:

– А всё это наделал этот болтун дьякон! Ну-ка – где он... куда он делся?

Но все напрасно оглядывались: "куда он делся", – дьякона уже не было; он исчез, как нахалкиканец, даже и без свечки. Она, впрочем, была и не нужна, потому что на небе уже светало и в городе звонили к рождественской заутрене.

Человек на часах

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.

Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.

Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.

2

Зимой, около Крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как будто весне быть: снег таял, с крыш падали днем капли, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым Зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный: со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки.

Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, которую командовал блестяще образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер, Николай Иванович Миллер (*1) (впоследствии полный генерал и директор лицея). Это был человек с так называемым "гуманным" направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства.

– На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдaшнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах, а между тем как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошел весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век тогдашних современников.

3

Сначала в карауле все шло хорошо: посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В кордегардии (*2) тишина. Капитан Миллер приколот булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной сафьянной спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой.

Н. И. Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь; но вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное беспокойство: пред ним является разводный унтер-офицер и, весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой:

– Беда, ваше благородие, беда!

– Что такое?!

– Страшное несчастье постигло!

Н. И. Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключались "беда" и "страшное несчастье".

4

Дело заключалось в следующем: часовой, солдат Измайловского полка, по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда, услышал, что в полынье, которую против этого места покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи.

Солдат Постников, из дворовых господских людей, был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда на все видимое ему пространство набережной и ни здесь, ни на Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Подать помощь утопающему никто не может, и он непременно зальется...

А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется.

Уж одно бы ему, кажется, - не трать сил, спускаться на дно, так ведь нет! Его изнеможенные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей, но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно тут, на этом пути, он попадет в иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед, и конец... Вот и опять стих, а через минуту снова полощется и стонет: "Спасите, спасите!" И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется...

Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку, или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться рукою и выскочить. Но Постников помнит и службу и присягу; он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки.

С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное: так и ноет, так и стучит, так и замирает... Хоть вырви его да сам себе под ноги брось, - так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей... Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит и ничто иное вредное не случится. "Иль сбежать, а?.. Не увидят?.. Ах, господи, один бы конец! Опять стонет..."

За один получас, пока это длилось, солдат Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать "сомнения рассудка". А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которою сейчас же последует военный суд, а потом гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а может быть, даже и "расстрел"; но со стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны, и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.

- Т-о-о-ну!.. Спасите, тону!

Тут вот сейчас и есть иорданская прорубь... Конец!

Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет, только фонари трясутся от ветра и мерцают, да по ветру, прерываясь, долетает этот крик... может быть, последний крик...

Вот еще всплеск, еще однозвучный вопль, и в воде забулькало.

Часовой не выдержал и покинул свой пост.

5

Постников бросился к сходням, сбежал с сильно бьющимся сердцем на лед, потом в наплывшую воду полыньи и, скоро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, протянул ему ложу своего ружья.

Утопающий схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег.

Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасенный был в сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его, солдат Постников, не решил его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А меж тем, пока все это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер существовавшей тогда придворной инвалидной команды (впоследствии упраздненной).

Этот столь не вовремя для Постникова подоспевший господин был, надо полагать, человек очень легкомысленного характера, и притом немножко бестолковый, и изрядный наглец. Он соскочил с саней и начал спрашивать:

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Что за человек... что за люди?

– Тонул, заливался, – начал было Постников.

– Как тонул? Кто, ты тонул? Зачем в таком месте?

А тот только отпырхивается, а Постникова уже нет: он взял ружье на плечо и опять стал в будку.

Смекнул или нет офицер, в чем дело, но он больше не стал исследовать, а тотчас же подхватил к себе в сани спасенного человека и покатил с ним на Морскую, в съезжий дом Адмиралтейской части.

Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный им мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасен им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни.

Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, иззябший и изнемогший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его.

Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера и, с свойственной полицейским людям подозрительностью, недоумевали, как он сам весь сух из воды вышел? А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль "за спасение погибавших", объяснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки.

А между тем во дворце по этому делу образовались уже другие, быстрые течения.

6

В дворцовой караульне все сейчас упомянутые обороты после принятия офицером спасенного утопленника в свои сани были неизвестны. Там Измайловский офицер и солдаты знали только то, что их солдат Постников, оставив будку, кинулся спасать человека, и как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой Постников теперь непременно пойдет под суд и под палки, а всем начальствующим лицам, начиная от ротного до командира полка, достанутся страшные неприятности, против которых ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться.

Мокрый и дрожащий солдат Постников, разумеется, сейчас же был сменен с поста и, будучи приведен в кордегардию, чистосердечно рассказал Н. И. Миллеру все, что нам известно, и со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасенного утопленника и велел своему кучеру скакать в Адмиралтейскую часть.

Опасность становилась все больше и неизбежнее. Разумеется, инвалидный офицер все расскажет приставу, а пристав тотчас же доведет об этом до сведения обер-полицеймейстера Кокошкина, а тот доложит утром государю, и пойдет "горячка".

Долго рассуждать было некогда, надо было призывать к делу старших.

Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свиныну, в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить совершившейся страшной беде.

Это было уже около трех часов, а Кокошкин являлся с докладом к государю довольно рано утром, так что на все думы и на все действия оставалось очень мало времени.

7

Подполковник Свинын не имел той жалостливости и того мягкосердечия, которые всегда отличали Николая Ивановича Миллера: Свинын был человек не бессердечный, но прежде всего и больше всего "службист" (тип, о котором нынче опять вспоминают с сожалением). Свинын отличался строгостью и даже любил щеголять требовательностью дисциплины. Он не имел вкуса ко злу и никому не искал

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik причинить напрасное страдание; но если человек нарушал какую бы то ни было обязанность службы, то Свињин был неумолим. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на службе всякая вина виновата. А потому в караульной роте все знали, что придется претерпеть рядовому Постникову за оставление своего поста, то он и оттерпит, и Свињин об этом скорбеть не станет.

Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, между которыми были люди, не симпатизировавшие Свињину, потому что тогда еще не совсем вывелся "гуманизм" и другие ему подобные заблуждения. Свињин был равнодушен к тому, порицают или хвалят его "гуманисты". Просить и умолять Свињина или даже пытаться его разжалобить – было дело совершенно бесполезное. От всего этого он был закален крепким закалом карьерных людей того времени, но и у него, как у Ахиллеса, было слабое место.

Свињин тоже имел хорошо начатую служебную карьеру, которую он, конечно, тщательно оберегал и дорожил тем, чтобы на нее, как на парадный мундир, ни одна пылинка не села: а между тем несчастная выходка человека из вверенного ему батальона непременно должна была бросить дурную тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват батальонный командир в том, что один из его солдат сделал под влиянием увлечения благороднейшим состраданием, – этого не станут разбирать те, от кого зависит хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная карьера Свињина, а многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протезируемого людьми в случае. Государь, конечно, рассердится и непременно скажет полковому командиру, что у него "слабые офицеры", что у них "люди распущены". А кто это наделал? – Свињин. Вот так это и пойдет повторяться что "Свињин слаб", и так, может, покор слабостью и останется несмываемым пятном на его, Свињина, репутации. Не быть ему тогда ничем достопримечательным в ряду современников и не оставить своего портрета в галерее исторических лиц государства Российского.

Изучением истории тогда хотя мало занимались, но, однако, в нее верили и особенно охотно сами стремились участвовать в ее сочинении.

8

Как только Свињин получил около трех часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил с постели, оделся по форме и, под влиянием страха и гнева, прибыл в караульную Зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвел допрос рядовому Постникову и убедился, что невероятный случай совершился. Рядовой Постников опять вполне чистосердечно подтвердил своему батальонному командиру все то же самое, что произошло на его часах и что он, Постников, уже раньше показал своему ротному капитану Миллеру. Солдат говорил, что он "богу и государю виноват без милосердия", что он стоял на часах и, слышав стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и наконец на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы: покинул будку, соскочил на лед и вытащил тонувшего на берег, а здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды.

Подполковник Свињин был в отчаянии; он дал себе единственное возможное удовлетворение, сорвав свой гнев на Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько колкостей Миллеру, попрекнув его "гуманерией", которая ни на что не пригодна в военной службе; но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дело. Подыскать если не оправдание, то хотя извинение такому поступку, как оставление часовым своего поста, было невозможно, и оставался один исход – скрыть все дело от государя...

Но есть ли возможность скрыть такое происшествие?

По-видимому, это представлялось невозможным, так как о спасении погибавшего знали не только все караульные, но знал и тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведома генерала Кокошкина.

Куда теперь скакать? К кому бросаться? У кого искать помощи и защиты?

Свињин хотел скакать к великому князю Михаилу Павловичу (*3) и рассказать ему

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik все чистосердечно. Такие маневры тогда были в ходу. Пусть великий князь, по своему пылкому характеру, рассердится и накричит, но его нрав и обычай были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз резкости и даже тяжело обидит, тем он потом скорее смиляется и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало, и их иногда нарочно искали. "Брань на воротах не висла", и Свиный очень хотел бы свести дело к этому благоприятному положению, но разве можно ночью доступить во дворец и тревожить великого князя? А дожидаться утра и явиться к Михаилу Павловичу после того, когда Кокошкин побывает с докладом у государя, будет уже поздно. И пока Свиный волновался среди таких затруднений, он обмяк, и ум его начал прозревать еще один выход, до сей поры скрывавшийся в тумане.

9

В ряду известных военных приемов есть один такой, чтобы в минуту наивысшей опасности, угрожающей со стен осаждаемой крепости, не удаляться от нее, а прямо идти под ее стенами. Свиный решил не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Кокошкину.

Об обер-полицеймейстере Кокошкине в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого, но, между прочим, утверждали, что он обладает удивительным многосторонним тактом и при содействии этого такта не только "умеет сделать из мухи слона, но так же легко умеет сделать из слона муху".

Кокошкин в самом деле был очень суров и очень грозен и внушал всем большой страх к себе, но он иногда мирволил шалунам и добрым весельчакам из военных, а таких шалунов тогда было много, и им не раз случалось находить себе в его лице могущественного и усердного защитника. Вообще он много мог и много умел сделать, если только захочет. Таким его знали и Свиный, и капитан Миллер. Миллер тоже укрепил своего батальонного командира отважиться на то, чтобы ехать немедленно к Кокошкину и довериться его великодушию и его "многостороннему такту", который, вероятно, продиктует генералу, как вывернуться из этого досадного случая, чтобы не ввести в гнев государя, чего Кокошкин, к чести его, всегда избегал с большим старанием.

Свиный надел шинель, устремил глаза вверх и, воскликнув несколько раз: "Господи, господи!" - поехал к Кокошкину.

Это был уже в начале пятый час утра.

10

Обер-полицеймейстера Кокошкина разбудили и доложили ему о Свиныне, приехавшем по важному и не терпящему отлагательств делу.

Генерал немедленно встал и вышел к Свиныну в аршалучке, потирая лоб, зевая и ежась. Все, что рассказывал Свиный, Кокошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во все время этих объяснений и просьб о снисхождении произнес только одно:

- Солдат бросил будку и спас человека?

- Точно так, - отвечал Свиный.

- А будка?

- Оставалась в это время пустою.

- Гм... Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли.

Свиный из этого еще более уверился, что ему уже все известно и что он, конечно, уже решил себе, в каком виде он представит об этом при утреннем докладе государю, и решения этого изменять не станет. Иначе такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергического обер-полицеймейстера.

Но Кокошкин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер со спасенным уопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik обер-полицеймейстера, да и притом самое событие представлялось приставу довольно подозрительным, потому что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал уопленника с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только честолюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать у него истину через расспрос мелких подробностей.

Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие случилось в его части и что утопавшего вытащил не полицейский, а дворцовый офицер.

Спокойствие же Кокошкина объяснялось просто, во-первых, страшную усталостью, которую он в это время испытывал после целодневной суеты и ночного участия при тушении двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное часовым Постниковым, его, г-на обер-полицеймейстера, прямо не касалось.

Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение.

Он послал за приставом Адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопленником, а Свинына просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собою дверей, сел за стол и начал было подписывать бумаги; но сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле.

11

Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали по всем направлениям "сорок тысяч курьеров" (*4), о которых сохранится долговечное воспоминание в комедии Гоголя.

Это, разумеется, не было так скоро, как телеграф или телефон, но зато сообщало городу значительное оживление и свидетельствовало о неусыпном бдении начальства.

Пока из Адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей.

Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свинына.

– Протокол? – односложно спросил освеженным голосом у пристава Кокошкин.

Тот молча подал ему сложенный лист бумаги и тихо прошептал:

– Должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету...

– Хорошо.

Кокошкин отошел в амбразуру окна, а за ним пристав.

– Что такое?

Послышался неясный шепот пристава и ясные покрякивания генерала...

– Гм... Да!.. Ну что ж такое?.. Это могло быть... Оли на том стоят, чтобы сухими высказывать... Ничего больше?

– Ничего-с.

Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному:

– Как ты, братец, попал в полынью против дворца?

– Виноват, – отвечал спасенный.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

- То-то! Был пьян?
- Виноват, пьян не был, а был выпимши.
- Зачем в воду попал?
- Хотел перейти поближе через лед, сбился и попал в воду.
- Значит, в глазах было темно?
- Темно, кругом темно было, ваше превосходительство!
- И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?
- Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется. – Он указал на офицера и добавил: – Я не мог рассмотреть, был испужамшись.
- То-то и есть, шляетесь, когда надо спать! Всмотрись же теперь и помни навсегда, кто твой благодетель. Благородный человек жертвовал за тебя своею жизнью!
- Век буду помнить.
- Имя ваше, господин офицер?

Офицер назвал себя по имени.

- Слышишь?
- Слушаю, ваше превосходительство.
- Ты православный?
- Православный, ваше превосходительство.
- В поминанье за здравие это имя запиши.
- Запишу, ваше превосходительство.
- Молись богу за него и ступай вон: ты больше не нужен.

Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный тем, что его отпустили.

Свиньин стоял и недоумевал, как это такой оборот все принимает милостию божиею!

12

Кокошкин обратился к инвалидному офицеру:

- Вы спасли этого человека, рискуя собственной жизнью?
- Точно так, ваше превосходительство.
- Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть?
- Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых.
- О часовых незачем поминать: часовой охраняет свой пост в не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов?

Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул.

Но офицер не сробел, а вылупив глаза и выпучив грудь, ответил:

- С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Ваш поступок достоин награды.

Тот начал благодарно кланяться.

– Не за что благодарить, – продолжал Кокошкин. – Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобится.

Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел.

Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил:

– Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть.

– Слушаю-с, – отвечал понятливо пристав.

– Вы мне больше не нужны.

Пристав вышел и, затворив за собою дверь, тотчас, по набожной привычке, перекрестился.

Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отправились вместе в гораздо более теплых отношениях, чем когда сюда вступали.

В кабинете у обер-полицеймейстера остался один Свинын, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим, пристальным взглядом и потом спросил:

– Вы не были у великого князя?

В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Павловичу.

– Я прямо явился к вам, – отвечал Свинын.

– Кто караульный офицер?

– Капитан Миллер.

Кокошкин опять окинул Свинына взглядом и потом сказал:

– Вы мне, кажется, что-то прежде иначе говорили.

Свинын даже не понял, к чему это относится, и промолчал, а Кокошкин добавил:

– Ну все равно: спокойно почивайте.

Аудиенция кончилась.

13

В час пополудни инвалидный офицер действительно был опять потребован к Кокошкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди, и жалует ему медаль "за спасение погибавших". При сем Кокошкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошел щеголять ею. Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свинын чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить point sur les i [точку над i (франц.)].

Он был так встревожен, что три дня проболел, а на четвертый встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный молебен перед иконою Спасителя и, возвратись домой с успокоенною душой, послал попросить к себе капитана Миллера.

– Ну, слава богу, Николай Иванович, – сказал он Миллеру, – теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы, без

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik сомнения, обязаны сначала милосердию божию, а потом генералу Кокошкину. Пусть о нем говорят, что он и недобрый и бессердечный, но я исполнен благодарности к его великодушию и почтения к его находчивости и такту. Он удивительно мастерски воспользовался хвастовством этого инвалидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на конюшне, но ничего иного не оставалось: им нужно было воспользоваться для спасения многих, и Кокошкин повернул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности, – напротив, все очень рады и довольны. Между нами сказать, мне передано через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною _очень доволен_. Ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего, но маленький недочет есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтоб оградить себя на всякий случай впоследствии. Есть еще одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление.

– Да, пора! – подсказал обрадованный Миллер.

– Ну, конечно, и вам это всех лучше исполнить: отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем двумястами розог.

14

Миллер изумился и сделал попытку склонить Свинына к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет; но Свинын вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать.

– Нет, – перебил он, – это оставьте: я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность! Оставьте это!

Свинын переменял тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью:

– А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации в ваших подчиненных, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно... как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом: они товарища не секут как должно, а только блох у него за спину пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан.

Уклонения от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Н. И. Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира.

Рота была выстроена на дворе Измайловских казарм, розги принесены из запаса вдовольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников "был сделан" при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди в совершенстве выставили на нем все point sur les i, в полной мере определенные ему его батальонным командиром. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет.

15

Батальонный командир Свинын, по получении донесения об исполнении экзекуции, тотчас же сам отечески навел Постникова в лазарет и, к удовольствию своему, самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постников был "сделан как следует". Свинын остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахара и четверть фунта чая, чтоб он мог усладиться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение о чае и отвечал:

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Много доволен, ваше высокородие, благодарю за отеческую милость.

И он в самом деле был "доволен", потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. Двести розог, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда; а такое именно наказание и досталось бы Постникову, если бы, к счастью его, не произошло всех тех смелых и тактических эволюции, о которых выше рассказано.

Но число всех довольных рассказанным происшествием этим не ограничилось.

16

Под сурдинкою подвиг рядового Постникова расположился по разным кружкам столицы, которая в то время печатной безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. В устных передачах имя настоящего героя – солдата Постникова – утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный, романтический характер.

Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получили: один – должную награду, а другой – заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до подворья, где в ту пору жил осторожный и неравнодушный к "светским событиям" владыко, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Свиных.

Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле. Что же это за ночной пловец? Если он был беглый узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой долг, выстрелив в него, когда тот плыл через Неву из крепости? Если же это не узник, а иной загадочный человек, которого надо было спасти из волн Невы, то почему о нем мог знать часовой? И тогда опять не может быть, чтоб это было так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут крайне легкомысленно и суесловят, но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о светских делах самое настоящее.

17

Однажды, когда Свиный случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним "кстати о выстреле". Свиный рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чем повествовали "кстати о выстреле".

Владыко выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз с рассказчика. Когда же Свиный кончил, владыко тихо журчащую речь произнес:

– Посему надлежит заключить, что в сем деле не все и не везде излагалось согласно с полною истиной?

Свиный замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин.

Владыко в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил:

– Должно различать, что есть ложь и что неполная истина.

Опять четки, опять молчание, и наконец тихоструйная речь:

– Неполная истина не есть ложь. Но о сем наименьше.

– Это действительно так, – заговорил поощренный Свиный. – Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который хотя нарушил свой долг...

Четки и тихоструйный перебив:

– Долг службы никогда не должен быть нарушен.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью: он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя... Это высокое, святое чувство!

– Святое известно богу, наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенести на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. В сем справедливость от вас нимало не пострадала.

– Но он лишен и награды за спасение погибавших.

– Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас – подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг.

Пауза, четки и тихоструй:

– Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем сем наибольшее – это то, чтобы хранить о всем деле сем осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сем было сказывано.

Очевидно, и владыко был доволен.

18

Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым, по великой их вере, дано проникать тайны божия смотра, то я, может быть, дерзнул бы позволить себе предположение, что, вероятно, и сам бог был доволен поведением созданной им смиренной души Постникова. Но вера моя мала; она не дает уму моему силы зреть столь высокого: я держусь земного и перстного. Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безыскусственного рассказа.

1887

Всеволод Михайлович Гаршин

Встреча

На десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света; остальное море было черно; до стоявшего на высоте доходил правильный, глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн; еще более черные, чем самое море, силуэты судов покачивались на рейде; один огромный пароход ("вероятно, английский", – подумал Василий Петрович) поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская их клочковатой, тающей в воздухе струей; с моря несло сырым и соленым воздухом; Василий Петрович, до сих пор не выдавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, лунный свет, пароходы, корабли и радостно, в первый раз в жизни, вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и многие годы. За ним пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская речь, то чинные и тихие голоса местных почтенных особ, то щебетанье барышень, громкие и веселые голоса взрослых гимназистов, ходивших кучками около двух или трех из них. Взрыв хохота в одной из таких групп заставил Василия Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо; один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке; товарищи шумели и перебивали его горячую и, по-видимому, оправдательную речь.

– Не верьте, Нина Петровна! Все врет! Выдумывает!

– Да право же, Нина Петровна, я нисколько не виноват!

– Если вы, Шевырев, еще когда-нибудь вздумаете меня обманывать... – принужденно-чинным молодым голоском заговорила девушка.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
Конца Василий Петрович не дослышал, потому что гурьба прошла мимо. Через
полминуты из темноты вновь послышался взрыв смеха.

"Вот она, моя будущая нива, на которой я, как скромный пахарь, буду работать", - подумал Василий Петрович, во-первых, потому, что он был назначен учителем в местную гимназию, а во-вторых, потому, что любил фигуральную форму мысли, даже когда не высказывал ее вслух. "Да, придется работать на этом скромном поприще, - думал он, вновь садясь на скамью лицом к морю. - Где мечты о профессуре, о публицистике, о громком имени? Не хватило порошу, брат Василий Петрович, на все эти затеи; попробуй-ка здесь поработать!"

И красивые и приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии. Он думал о том, как он будет с первых классов гимназии угадывать "искру божию" в мальчиках; как будет поддерживать натуры, "стремящиеся сбросить с себя иго тьмы"; как Под его надзором будут развиваться молодые, свежие силы, "чуждые житейской грязи"; как, наконец, из его учеников со временем могут выйти замечательные люди... Даже такие картины рисовались в его воображении: сидит он, Василий Петрович, уже старый, седой учитель, у себя, в своей скромной квартире, и посещают его бывшие его ученики, и один из них - профессор такого-то университета, известный "у нас и в Европе", другой - писатель, знаменитый романист, третий - общественный деятель, тоже известный. И все они относятся к нему с уважением. "Это ваши добрые семена, запавшие в мою душу, когда я был мальчиком, сделали из меня человека, уважаемый Василий Петрович", - говорит общественный деятель и с чувством жмет руку своему старому учителю...

Впрочем, Василий Петрович недолго занимался такими возвышенными предметами, скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшиеся его настоящего положения. Он вынул из кармана новый бумажник и, пересчитав свои деньги, начал размышлять о том, сколько у него останется за покрытием всех необходимых расходов. "Как жаль, что я так необдуманно тратил деньги дорогою, - подумал он. - Квартира... ну, положим, рублей двадцать в месяц, стол, белье, чай, табак... Тысячу рублей в полгода, во всяком случае, сберегу. Наверно, здесь можно будет достать уроки по хорошей цене, этак рубля по четыре, по пяти..." Чувство довольства охватило его, и ему захотелось полезть в карман, где лежали два рекомендательные письма на имя местных тузов, и в двадцатый раз перечесть их адреса. Он вынул письма, бережно развернул бумагу, в которой они были завернуты, но прочесть адреса ему не удалось, потому что лунный свет не был достаточно силен, чтобы доставить Василию Петровичу это удовольствие. Вместе с письмами была завернута фотографическая карточка. Василий Петрович повернул ее прямо, к месяцу, и старался рассмотреть знакомые черты. "О моя Лиза!" - проговорил он почти вслух и вздохнул не без приятного чувства. Лиза была его невеста, оставшаяся в Петербурге и ожидавшая, пока Василий Петрович не скопит тысячи рублей, которую молодая чета считала необходимою для первоначального обзаведения.

Вздохнув, он спрятал в левый боковой карман карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему еще приятнее, чем даже мечты об общественном деятеле, который придет к нему благодарить за посеянные в его сердце добрые семена.

Море шумело далеко внизу, ветер становился свежее. Английский пароход вышел из полосы лунного света, и она блестела, сплошная, и переливалась тысячами матово-блестящих всплесков, уходя в бесконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче. Не хотелось встать со скамьи, оторваться от этой картины и идти в тесный номер гостиницы, в котором остановился Василий Петрович. Однако было уже поздно; он встал и пошел вдоль по бульвару.

Господин, в легком костюме из шелковой сырцовой материи и в соломенной шляпе, с накрученным на тулью кисейным полотенцем (летний костюм местных щеголей), встал со скамейки, мимо которой проходил Василий Петрович, и сказал:

- Позвольте закурить.

- Сделайте одолжение, - ответил Василий Петрович. Красный отблеск озарил знакомое ему лицо.

- Николай, друг мой! Ты ли это?

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Василий Петрович?

– Он самый... Ах, как я рад! Вот не думал, не гадал, – говорил Василий Петрович, заключая друга в объятия и троекратно лобзая его. – Какими судьбами?

– Очень просто, на службе. А ты как?

– Я учителем гимназии сюда назначен. Только что приехал.

– Где же ты остановился? Если в гостинице, едем, пожалуйста, ко мне. Я очень рад видеть тебя. У тебя ведь нет здесь знакомых? Поедем ко мне, поужинаем, поболтаем, вспомним старину.

– Поедем, поедем, – согласился Василий Петрович. – Я очень, очень рад! Приехал сюда, как в пустыню, – и вдруг такая радостная встреча. Извозчик! – закричал он.

– Не нужно, не кричи. Сергей, давай! – громко и спокойно произнес друг Василия Петровича.

К тротуару подкатила щегольская коляска; хозяин вскочил в нее. Василий Петрович стоял на тротуаре и в недоумении смотрел на экипаж, вороных коней и толстого кучера.

– Кудряшов, эти лошади – твои?

– Мои, мои! Что, не ожидал?

– Удивительно... Ты ли это?

– Кто же другой, как не я? Ну, полезай в коляску, еще успеем поговорить.

Василий Петрович влез в коляску, уселся рядом с Кудряшовым, и коляска покатила, дребезжа и подскакивая по мостовой. Василий Петрович сидел на мягких подушках и, покачиваясь, улыбался. "Что за притча! – думал он. – Давно ли Кудряшов был беднейшим студентом, а теперь – коляска!" Кудряшов, положив вытянутые ноги на переднюю скамейку, молчал и курил сигару. Через пять минут экипаж остановился.

– Ну, братец, выходи. Покажу тебе мою скромную хижину, – сказал Кудряшов, сойдя с подножки и помогая Василию Петровичу вылезть.

Прежде чем войти в скромную хижину, гость окинул ее взглядом. Луна была за нею и не освещала ее; поэтому он мог заметить только, что хижина была одноэтажная, каменная, в десять или двенадцать больших окон. Зонтик на колонках с завитками, кое-где позолоченными, висел над дверью из тяжелого дуба с зеркальными стеклами, бронзовой ручкой в виде птичьей лапы, держащей хрустальный многогранник, и блестящей медной доской с фамилией хозяина.

– Однако хижина у тебя, Кудряшов! Это не хижина, а, так сказать, палаццо, – сказал Василий Петрович, когда они вошли в переднюю с дубовой мебелью и зиявшим черною пастью камином. – Неужели собственная?

– Нет, брат, до этого еще не дошло. Нанимаю. Недорого, полторы тысячи.

– Полторы! – протянул Василий Петрович.

– Выгоднее платить полторы тысячи, чем затратить капитал, который может дать гораздо больший процент, если не обращен в недвижимость. Да и денег много нужно: ведь уж если строить, так не этакую дрянь.

– Дрянь! – воскликнул в изумлении Василий Петрович.

– Конечно, дом неважный. Ну, пойдем, пойдем скорее...

Василий Петрович успел уже снять пальто и направился за хозяином. Обстановка квартиры Кудряшова дала новую пищу его удивлению. Целый ряд высоких комнат с паркетными полами, оклеенных дорогими, тисненными золотом, обоями; столовая "под дуб" с развешанными по стенам плохими моделями дичи, с огромным резным буфетом,

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik с большим круглым столом, на который лился целый поток света из висячей бронзовой лампы с молочным абажуром; зал с роялем, множеством разной мебели из гнутого бука, диванчиков, скамеек, табуреток, стульев, с дорогими литографиями и скверными олеографиями в раззолоченных рамах; гостиная, как водится, с шелковой мебелью и кучей ненужных вещей. Казалось, хозяин квартиры вдруг разбогател, выиграл двести тысяч, что ли, и на скорую руку устроил себе квартиру на широкую ногу. Все было куплено сразу, куплено не потому, что было нужно, а потому, что в кармане зашевелились деньги, нашедшие себе выход для покупки рояля, на котором, насколько знал Василий Петрович, Кудряшов мог играть только одним пальцем; скверной старой картины, одной из десятков тысяч, приписываемых второстепенному фламандскому мастеру, на которую, наверно, никто не обращал внимания; шахматов китайской работы, в которые нельзя было играть, так они были тонки и воздушны, но в головках у которых было выточено по три шарика, заключенных один в другой, и множества других ненужных вещей.

Друзья вошли в кабинет. Здесь было уютнее. Большой письменный стол, заставленный разной бронзового и фарфорового мелочью, заваленный бумагами, чертежными и рисовальными принадлежностями, занимал середину комнаты. По стенам висели огромные раскрашенные чертежи и географические карты, а под ними стояли два низеньких турецких дивана с шелковыми мутаками. Кудряшов, обняв Василия Петровича за талию, подвел его прямо к дивану и усадил на мягких тюфяках.

– Ну, очень рад, очень рад встретить старого товарища, – сказал он.

– Я тоже... Знаешь ли, приехал, как в пустыню, и вдруг такая встреча! Знаешь ли, Николай Константинович, при виде тебя так много зашевелилось в душе, так много воскресло в памяти воспоминаний...

– О чем это?

– Как о чем? О студенчестве, о времени, когда жилось так хорошо, если не в материальном, то в нравственном отношении. Помнишь...

– Что помнить-то? Как мы с тобою собачью колбасу жрали? Будет, брат, надоело... Сигару хочешь? Regalia Imperialia, или как там ее; знаю только, что полтинник штука.

Василий Петрович взял из ящика предлагаемую драгоценность, вынул из кармана ножичек, обрезал кончик сигары, закурил ее и сказал:

– Николай Константинович, я решительно как во сне. Каких-нибудь несколько лет – и у тебя такое место.

– Что место! Место, брат, плюнь да отойди.

– Как же это? Да ты сколько получаешь?

– Каких? Жалованья?

– Ну да, содержания.

– Жалованья получаю я, инженер, губернский секретарь Кудряшов второй, – тысячу шестьсот рублей в год.

У Василия Петровича вытянулось лицо.

– Как же это? Откуда это все?

– Эх, брат, простота ты! Откуда? Из воды и земли, из моря и суши. А главное, вот откуда.

И он ткнул себя указательным пальцем в лоб.

– Видишь вон эти картинки, что по стенам висят?

– Вижу, – ответил Василий Петрович: – что же дальше?

– Знаешь ли, что это?

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Нет, не знаю.

Василий Петрович встал с дивана и подошел к стене. Синяя, красная, бурая и черная краски ничего не говорили его уму, равно как и какие-то таинственные цифры около точечных линий, сделанные красными чернилами.

– Что это такое? Чертежи?

– Чертежи-то чертежи, но чего?

– Право, друг мой, не знаю.

– Чертежи эти изображают, милейший Василий Петрович, будущий мол. Знаешь, что такое мол?

– Ну, конечно. Ведь я все-таки учитель русского языка. Мол – это такая... как бы сказать... ну, плотина, что ли...

– Именно плотина. Плотина, служащая для образования искусственной гавани. На этих чертежах изображен мол, который теперь строится. Ты видел море сверху?

– Как же, конечно! Необыкновенная картина! Но построек я не заметил.

– Мудрено и заметить, – сказал Кудряшов со смехом. – Этот мол почти весь не в море, Василий Петрович, а здесь, на суше.

– Где же это?

– Да вот у меня и у прочих строителей: у knobлоха, Пуйциковского и у прочих. Это – между нами, конечно: тебе я говорю это как товарищу. Что ты так уставился на меня? Дело самое обыкновенное.

– Послушай, это, наконец, ужасно! Неужели ты говоришь правду? Неужели ты не брезгаешь нечестными средствами для достижения этого комфорта? Неужели все прошлое служило только для того, чтобы довести тебя до... до... И ты так спокойно говоришь об этом...

– Стой, стой, Василий Петрович! Пожалуйста, без сильных выражений. Ты говоришь: "нечестные средства"? Ты мне скажи сперва, что значит честно и что значит нечестно. Сам я не знаю; быть может, забыл, а думаю, что и не помнил; да сдается мне, и ты, собственно говоря, не помнишь, а так только напяливаешь на себя какой-то мундир. Да и вообще ты это оставь; прежде всего, это невежливо. Уважай свободу суждения. Ты говоришь – нечестно; говори, пожалуй, но не брани меня: ведь я не ругаю тебя за то, что ты не одного со мною мнения. Все дело, брат, во взгляде, в точке зрения, а так как их много, точек этих, то плюнем мы на это дело и пойдем в столовую водку пить и о приятных предметах разговаривать.

– Ах, Николай, Николай, больно мне смотреть на тебя.

– Это ты можешь; можешь душой болеть, сколько тебе угодно. Пусть будет больно; пройдет! Приглядишься, присмотришься, сам скажешь: "какая я, однако, телятина"; так и скажешь, помяни мое слово. Пойдем-ка, выпьем по рюмочке и забудем о заблудших инженерах; на то и мозги, дружище, чтобы заблуждаться... Ведь ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать, а?

– Тебе все равно.

– Ну, например?

– Ну, тысячи три заработаю с частными уроками.

– Вот видишь: за три-то тысячи таскаться всю жизнь по урокам! А я сижу себе да посматриваю: хочу – делаю, хочу – нет; если бы фантазия пришла хоть целый день в потолок плевать, и то можно. А денег... денег столько, что они – "вещь для нас пустая".

В столовой, куда они вошли, все было готово для ужина. Холодный ростбиф

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
возвышался розовой горой. Банки с консервами пестрели разноцветными английскими
надписями и яркими рисунками. Целый ряд бутылок воздвигался на столе. Приятели
выпили по рюмке водки и приступили к ужину. Кудряшов ел медленно и с
расстановкою; он совершенно углубился в свое занятие.

Василий Петрович ел и думал, думал и ел. Он был в большом смущении и решительно
не знал, как ему быть. По принятым им убеждениям, он должен был бы поспешно
скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать.
"Ведь этот кусок – краденый, – думал он, положив себе в рот кусок и прихлебывая
подлитое обязательным хозяином вино. – А сам что я делаю, как не подлость?"
Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя, но определения так
и остались определениями, а за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший
на каждое определение: "Ну, так что ж?" И Василий Петрович чувствовал, что он не
в состоянии разрешить этого вопроса, и продолжал сидеть. "Ну что ж, буду
наблюдать", – мелькнуло у него в голове в виде оправдания, после чего он и сам
перед собой сконфузился. "Для чего мне наблюдать, писатель я, что ли?"

– Этакого мяса, – начал Кудряшов, – ты обрати внимание, не достанешь в целом
городе.

И он рассказал Василию Петровичу длинную историю о том, как он обедал у
Кноблоха, как его поразил своим достоинством поданный ростбиф, как он узнал,
откуда доставать такой, и как, наконец, достал.

– Ты попал как раз кстати, – сказал он в заключение рассказа о мясе. – Едал ли
ты что-нибудь подобное?

– Действительно, ростбиф отличный, – ответил Василий Петрович.

– Превосходный, братец! Я люблю, чтобы все было как следует. Да что ты не пьешь?
Постой, вот я тебе налью вина.

Последовала не менее длинная история о вине, в которой участвовал и английский
шкипер, и торговый дом в Лондоне, и тот же Кноблох, и таможня. Рассказывая о
вине, Кудряшов попивал его и, по мере того как пил, оживлялся. На щеках его
вялого лица обозначались румяные пятна, речь становилась быстрее и оживленнее.

– Да что ж ты молчишь? – наконец спросил он Василия Петровича, который
действительно упорно молчал, выслушивая эпопею о мясе, вине, сыре и прочих
благодатях, украшавших собою стол инженера.

– Так, брат, не говорится что-то.

– Не говорится... вот вздор! Ты, я вижу, все еще киснешь по поводу моего
признания. Жалею, очень жалею, что сказал; с большим бы удовольствием поужинали,
если б не этот проклятый мол... Да ты лучше не думай об этом, Василий Петрович,
брось... А? Васенька, плюнь, право! Что ж делать, братец, не оправдал я надежд.
Жизнь не школа. Да я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе.

– Пожалуйста, не делай обо мне предположений, – сказал Василий Петрович.

– Обиделся?.. Конечно, не удержишься. Что дало тебе твое бескорыстие? Разве ты
теперь спокоен? Разве не думаешь каждый день о том, согласны ли твои поступки с
твоими идеалами, и не убеждаешься ли каждый день в том, что несогласны? Ведь
правда, а? Выпей вина, хорошее вино.

Он налил и себе рюмку, посмотрел на свет, попробовал, щелкнул губами и выпил.

– Ведь вот, любезный мой друг, ты думаешь, я не знаю, какая у тебя в голове
теперь мысль сидит? Доподлинно знаю. "Зачем, думаешь ты, я у этого человека
сажу? Очень он мне нужен! Разве не могу я обойтись без его вина и сигар?"
Постой, постой, дай договорить! Я вовсе не думаю, что ты сидишь у меня из-за
вина и сигар. Во все нет; если бы ты и очень захотел их, так не стал бы
лизоблюдничать. Лизоблюдство – вещь очень тяжелая. Ты сидишь у меня и говоришь
со мною просто потому, что не можешь решить, действительно ли я преступник. Не
возмущаю я тебя, да и все. Конечно, для тебя это очень обидно, потому что в
твоей голове расположены под разными рубриками убеждения, и, подогнанный под
них, я, твой бывший товарищ и друг, оказываюсь мерзавцем, а между тем вражды ко

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
мне ты никакой почувствовать не можешь. Убеждения – убеждениями, а я сам по себе
товарищ, добрый малый и даже, можно сказать, добрый человек. Ведь ты знаешь, что
я не способен никого обидеть...

– Постой, Кудряшов. Откуда у тебя все это? – Василий Петрович обвел рукой. – Сам говоришь, чужое: ну, тот и обижен, у кого похищено.

– Легко сказать: у кого похищено. Я вот думаю, думаю, кого я обидел, – и все не могу понять, кого. Ты не знаешь, как это дело делается; я расскажу тебе, и ты, может быть, согласишься со мною, что найти обиженного не так-то легко.

Кудряшов позвонил. Явилась бесстрастная лакейская фигура в черном фраке.

– Иван Павлыч, принеси мне из кабинета чертеж. Между окнами висит. Ты посмотри, Василий Петрович, дело-то какое грандиозное: право, я даже поэзию в нем нынче находить стал.

Иван Павлыч бережно принес огромный лист, наклеенный на коленкор. Кудряшов взял его, раздвинул около себя тарелки, бутылки и рюмки и разложил чертеж на забрызганной красным вином скатерти.

– Посмотри сюда, – сказал он. – Вот тебе поперечный разрез нашего мола, вот его продольный разрез. Видишь голубую краску? Это море. Глубина его здесь настолько велика, что начинать кладку со дна нельзя; поэтому мы приготавливаем для мола прежде всего постель.

– Постель? – спросил Василий Петрович. – Странное название.

– Постель каменную, из огромных булыжников, не меньше одного кубического фута объемом. – Кудряшов отвинтил от часового ключика крошечный серебряный циркуль и взял им на чертеже какую-то маленькую линию. – Смотри, Василий Петрович, – это сажень. Если мы ею смерим постель поперек, то окажется без малого пятьдесят сажен ширины. Не узка постелька, не правда ли? Такой ширины каменная масса выводится со дна моря до шестнадцати футов ниже его поверхности. Если ты сообразишь ширину постели и огромную длину, то можешь иметь некоторое представление о громадности этой массы камня. Иногда, знаешь ли, целый день барка за баркой подходит к молу, барка за баркой выбрасывает свой груз, а смеряешь – приращение самое ничтожное. Точно в бездну валят камень... Постель выкрашена здесь на плане грязно-серой краской. Ее подвигают вперед, а от берега начинается на ней уже другая работа. Паровыми кранами спускают на эту постель огромнейшие искусственные камни, кубические глыбы, слепленные из булыжника и цемента. Каждый такой кусок величиною в кубическую сажень и весит многие сотни пудов. Пар поднимает их, поворачивает и укладывает рядами. Странное чувство испытываешь, когда легким нажатием руки заставляешь такую массу подниматься и опускаться по своему желанию. Когда такая масса повинуется тебе, чувствуешь могущество человека... Видишь, вот они, эти кубики. – Он показал, циркулем. – Кладка из них доводится почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка из тесаного камня. Так вот какое это дело; оно не уступит любой египетской пирамиде. Вот тебе в общих чертах работа, которая тянется уже несколько лет, а сколько времени еще протянется – бог знает. Желательно бы, чтобы подольше... Впрочем, если она будет идти так, как последнее время, то, пожалуй, на наш век хватит.

– Ну, что ж дальше? – спросил Василий Петрович после долгого молчания.

– Дальше? Ну, а мы сидим на своих местах и получаем, сколько следует.

– Я еще не вижу из твоего рассказа возможности получить.

– Молод ты, вот что! Впрочем, мы с тобой, кажется, ровесники; только опыт, которого тебе не хватает, умудрил и состарил меня. Дело вот в чем: тебе известно, что во всяком море бывают бури? Они-то и действуют. Они размывают каждый год постель, а мы кладем новую.

– Все же я не вижу возможности...

– Кладем мы ее, – спокойно продолжал Кудряшов, – на бумаге, вот здесь, на чертеже, потому что только на чертеже буря ее и размывает.

Василий Петрович весь превратился в недоумение.

– Потому что не могут же на самом деле размыть постель волны, достигающие только восьми футов высоты. Наше море не океан, да и там такие молы, как наш, выдерживают; а у нас на двух с лишним саженях глубины, где кончается постель, почти что мертвая тишина. Слушай, Василий Петрович, как дела делаются. Весною, после осенних и зимних непогод, мы собираемся и ставим вопрос: сколько в этом году размыло постели? Берем чертежи и отмечаем. Ну, и пишем, куда следует: размыло, дескать, бурями столько-то и столько-то кубических сажен начатых работ. Оттуда отвечают: стройте, чините, черт с вами! Ну, мы и чиним,

– Да что ж вы чините-то?

– Да карманы себе чиним, – сострил Кудряшов и сам рассмеялся своей остроте.

– Нет, это невозможно! невозможно! – закричал Василий Петрович, вскакивая со стула и бегая по комнате. – Слушай, Кудряшов, ведь ты губишь себя... Не говоря о безнравственности... Я просто хочу сказать, что вас всех поймут на этом, и ты погибнешь, по Владимирке пойдешь. Боже, боже, вот они, надежды, упования! Способный и честный юноша – и вдруг...

Василий Петрович вошел в экстаз и говорил долго и горячо. Но Кудряшов совершенно спокойно курил сигару и посматривал на расхोдившегося друга.

– Да, ты, наверно, пойдешь по Владимирке! – закончил Василий Петрович свою филиппику.

– До Владимирки, друг мой, очень далеко. Чудной ты человек, я посмотрю: ничего-то ты не понимаешь. Разве я один... как бы это повежливее сказать... приобретаю? Все вокруг, самый воздух – и тот, кажется, тащит. Недавно явился к нам один новенький и стал было по части честности корреспонденции писать. Что ж? Прикрыли... И всегда прикроем. Все за одного, один за всех. Ты думаешь, что человек сам себе враг? Кто ж решится меня тронуть, когда через это самое может пошатнуться?

– Стало быть, как сказал Крылов, рыльце-то у всех в пушку?

– В пушку, в пушку. Все берут с жизни, что могут, а не относятся к ней платонически... О чем, бишь, мы начали говорить? Да, о том, кого я обижаю. Скажи, кого? Низшую братию, что ли? Ну, чем? Ведь я черпаю не прямо из источника, а беру готовое, что уж взято, и если не достанется мне, то, может быть, кому-нибудь и похуже. По крайней мере я не по-свински живу, есть кое-какие и духовные интересы: выписываю кучу газет, журналов. Кричат о науке, о цивилизации, а к чему бы эта цивилизация прилагалась, если бы не мы, люди со средствами? И кто бы давал науке возможность двигаться вперед, как не люди со средствами? А их нужно откуда-нибудь взять. Так называемыми честными путями...

– Ах, не доканчивай, не говори ты хоть последнего слова, Николай Константиныч!

– Слова? Что ж, лучше было бы, кривая твоя душа, если бы я стал врать, оправдываться? Ворую, слышишь ли ты? Да если правду-то говорить, то и ты теперь воруюшь.

– Послушай, Кудряшов...

– Нечего мне тебя слушать, – сказал со смехом Кудряшов. – Ты таки, брат, грабитель, под личиною добродетели. Ну, что это за занятие твое – учительство? Разве ты уплатишь своим трудом даже те гроши, что тебе теперь платят? Приготовишь ли ты хоть одного порядочного человека? Три четверти из твоих воспитанников выйдут такие же, как я, а одна четверть такими, как ты, то есть благонамеренной размазней. Ну, не даром ли ты берешь деньги, скажи откровенно? И далеко ли ты ушел от меня? А тоже храбрится, честность проповедует!

– Кудряшов! Поверь, что мне чрезвычайно тяжел этот разговор.

– А мне – нисколько.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Я не ожидал встретить в тебе то, что встретил.

– Немудрено; люди изменяются, и я изменился, а в какую сторону – ты угадать не мог: не пророк ведь.

– Не нужно быть пророком, чтобы надеяться, что честный юноша сделается честным гражданином.

– Ах, оставь, не говори ты мне этого слова. Честный гражданин! И откуда, из какого учебника ты эту архивность вытащил? Пора бы перестать сентиментальничать: не мальчик ведь... Знаешь что, Вася, – при этом Кудряшов взял Василия Петровича за руку, – будь другом, бросим этот проклятый вопрос. Лучше выпьем по-товарищески. Иван Павлыч! Дай, брат, бутылочку вот этого.

Иван Павлыч немедленно явился с новой бутылкой. Кудряшов налил стаканы.

– Ну, выпьем за процветание... чего бы это? Ну, все равно: за наше с тобой процветание.

– Пью, – сказал Василий Петрович с чувством, – за то, чтобы ты опомнился. Это мое сильнейшее желание.

– Будь друг, не поминай... Ведь если опомниться, так уж пить будет нельзя: тогда зубы на полку. Видишь, какая у тебя логика. Будем пить просто, без всяких пожеланий. Бросим эту скучную канитель; все равно ни до чего не договоримся: ты меня на путь истинный не наставишь, да и я тебя не переспорю. Да и не стоит переспаривать: собственным умом до моей философии дойдешь.

– Никогда! – с жаром воскликнул Василий Петрович, стукнув стаканом об стол.

– Ну, это посмотрим. Да что это все я про себя рассказываю, а ты о себе молчишь? Что ты делал, что думаешь делать?

– Я говорил уже тебе, что назначен учителем.

– Это твое первое место?

– Да, первое; я занимался раньше частными уроками.

– И теперь думаешь заниматься ими?

– Если найду, отчего же.

– Доставим, брат, доставим! – Кудряшов хлопнул Василия Петровича по плечу. – Все здешнее юношество тебе в науку отдадим. Почему ты брал за час в Петербурге?

– Мало. Очень трудно было доставать хорошие уроки. Рубль-два, не больше.

– И за такие гроши человек терзается! Ну, здесь меньше пяти и не смей спрашивать. Это работа трудная: я сам помню, как на первом и на втором курсе по урочишкам бегал. Бывало, добудешь по полтиннику за час – и рад. Самая неблагодарная и трудная работа. Я тебя перезнакомлю со всеми нашими; тут есть премилые семейства, и с барышнями. Будешь умно себя вести – сосватаю, если хочешь. А, Василий Петрович?

– Нет, благодарю, я не нуждаюсь.

– Сосватан уже? Правда?

Василий Петрович выразил своим видом смущение.

– По глазам вижу, что правда. Ну, брат, поздравляю. Вот как скоро! Аи да Вася! Иван Павлыч! – закричал Кудряшов.

Иван Павлыч с заспанным и сердитым лицом появился в дверях.

– Дай шампанского!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Шампанского нету, все вышло, – мрачно отвечал лакей.

– Будет, Кудряшов, зачем же это, право!

– Молчи; я тебя не спрашиваю. Обидеть меня хочешь, что ли? Иван Павлыч, без шампанского не приходите, слышишь? Ступай!

– Да ведь заперто, Николай Константиныч.

– Не разговаривай. Деньги у тебя есть: ступай и принеси.

Лакей ушел, ворча что-то себе под нос.

– Вот скотина, еще разговаривает! А ты еще: "не нужно". Если по такому случаю не пить, то для чего и существует шампанское?.. Ну, кто такая?

– Кто?

– Ну, она, невеста... Бедна, богата, хороша?

– Ты все равно ее не знаешь, так зачем называть ее тебе? Состояния у нее нет, а красота – вещь условная. По-моему, красива.

– Карточка есть? – спросил Кудряшов. – Поди, при сердце носишь. Покажи!

И он протянул руку.

Красное от вина лицо Василия Петровича еще более покраснело. Не зная зачем, он расстегнул сюртук, вынул свою книжку и достал драгоценную карточку. Кудряшов схватил ее и начал рассматривать.

– Ничего, брат! Ты знаешь, где раки зимуют.

– Нельзя ли без таких выражений! – резко сказал Василий Петрович. – Дай ее мне, я спрячу.

– погоди, дай насладиться. Ну, дай вам бог совет да любовь. На, возьми, положи опять на сердце. Ах ты, чудак, чудак! – воскликнул Кудряшов и расхохотался.

– Не понимаю, что ты нашел тут смешного?

– А так, братец, смешно стало. Представился мне ты через десять лет; сам в халате, подурневшая беременная жена, семь человек детей и очень мало денег для покупки им башмаков, штанишек, шапочок и всего прочего. Вообще, проза. Будешь ли ты тогда носить эту карточку в боковом кармане? Ха-ха-ха!

– Ты скажи лучше, какая поэзия ждет в будущем тебя? Получать деньги и проживать их: есть, пить да спать?

– Не есть, пить и спать, а жить. Жить с сознанием своей свободы и некоторого даже могущества.

– Могущества! Какое у тебя могущество?

– Сила в деньгах, а у меня есть деньги. Что хочу, то и сделаю... Захочу тебя купить – и куплю.

– Кудряшов!..

– Не хорохорься попусту. Неужели нам с тобою, старым друзьям, нельзя и пошутить друг над другом? Конечно, тебя покупать не стану. Живи себе по-своему. А все-таки что хочу, то и сделаю. Ах я, дурень, дурень! – вдруг вскрикнул Кудряшов, хлопнув себя по лбу: – сидим столько времени, а я тебе главной достопримечательности-то и не показал. Ты говоришь: есть, пить и спать? я тебе сейчас такую штуку покажу, что ты откажешься от своих слов. Пойдем. Возьми свечу.

– Куда это? – спросил Василий Петрович.

– За мной. Увидишь, куда.

Василий Петрович, встав со стула, чувствовал себя не в полном порядке. Ноги не совсем повиновались ему, и он не мог держать подсвечник так, чтобы стеарин не капал на ковер. Однако, несколько справившись с непослушными членами, он пошел за Кудряшовым. Они прошли несколько комнат, узенький коридор и очутились в каком-то сыром и темном помещении. Шаги глухо стучали по каменному полу. Шум падающей где-то струи воды звучал бесконечным аккордом. С потолка висели сталактиты из туфа и синеватого литого стекла; целые искусственные скалы возвышались здесь и там. Масса тропической зелени прикрывала их, а в некоторых местах блестели темные зеркала.

– Что это такое? – спросил Василий Петрович.

– Аквариум, которому я посвятил два года времени и много денег. Подожди, я сейчас освещу его.

Кудряшов скрылся за зелень, а Василий Петрович подошел к одному из зеркальных стекол и начал рассматривать, что было за ним. Слабый свет одной свечки не мог проникнуть далеко в воду, но рыбы, большие и маленькие, привлеченные светлой точкой, собрались в освещенном месте и глупо смотрели на Василия Петровича круглыми глазами, раскрывая и закрывая рты и шевеля жабрами и плавниками. Дальше виднелись темные очертания водорослей. Какая-то гадина шевелилась в них; Василий Петрович не мог рассмотреть ее формы.

Вдруг поток ослепительного света заставил его на мгновение закрыть глаза, и когда он открыл их, то не узнал аквариум. Кудряшов в двух местах зажег электрические фонари: свет их проходил сквозь массу голубоватой воды, кишущую рыбами и другими животными, наполненную растениями, резко выделявшимися на неопределенном фоне своими кроваво-красными, бурыми и грязно-зелеными силуэтами. Скалы и тропические растения, от контраста сделавшиеся еще темнее, красиво обрамляли толстые зеркальные стекла, сквозь которые открывался вид на внутренность аквариума. В нем все закопошилось, заметалось, испуганное ослепительным светом: целая стая маленьких большеголовых "бычков" носилась туда и сюда, поворачиваясь точно по команде; стерляди извивались, прильнув мордой к стеклу, и то поднимались до поверхности воды, то опускались ко дну, точно хотели пройти через прозрачную твердую преграду; черный гладкий угорь зарывался в песок аквариума и поднимал целое облако мути; смешная кургузая каракатица отцепилась от скалы, на которой сидела, и переплывала аквариум толчками, задом наперед, волоча за собой свои длинные щупала. Все вместе было так красиво и ново для Василия Петровича, что он совершенно забылся.

– Каково, Василий Петрович? – спросил Кудряшов, выйдя к нему.

– Чудесно, брат, удивительно! Как это ты все устроил! Сколько вкуса, эффекта!

– Прибавь еще: и знания. Нарочно в Берлин ездил посмотреть тамашнее чудо и, не хватая, скажу, что мой хотя и уступает, конечно, в величине, но насчет изящества и интересности – несколько... Это моя гордость и утешение. Как скучно станет – придешь сюда, сядешь и смотришь по целым часам. Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна, не так, как наш брат – человек. Жрет друг друга и не конфузится. Вон смотри, смотри: видишь, нагоняет.

Маленькая рыбка порывисто металась вверх, и вниз и в стороны, спасаясь от какого-то длинного хищника. В смертельном страхе она выбрасывалась из воды на воздух, пряталась под уступы скалы, а острые зубы везде нагоняли ее. Хищная рыба уже готова была схватить ее как вдруг другая, подскочив сбоку, перехватила добычу: рыбка исчезла в ее пасти. Преследовательница остановилась в недоумении, а похитительница скрылась в темный угол.

– Перехватили! – сказал Кудряшов. – Дура, осталась ни при чем. Стоило гоняться для того, чтобы из-под носа выхватили кусок!.. Сколько, если бы ты знал, они пожирают этой мелкой рыбки: сегодня напустишь целую тучу, а на другой день все уже съедено. Съедят – и не помышляют о безнравственности, а мы? Я только недавно отвык от этой ерунды. Василий Петрович! Неужели ты, наконец, не согласишься, что это ерунда?

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Что такое? – спросил Василий Петрович, не отрывая глаз от воды.

– Да вот эти угрызения. На что они? Угрызайся, не угрызайся – а если попадется кусок... Ну, я и упразднил их, угрызения эти, и стараюсь подражать этой скотине.

Он показал пальцем на аквариий.

– Вольному воля, – сказал со вздохом Василий Петрович. – Послушай, Кудряшов, ведь это, кажется, морские растения и животные?

– Морские. И вода ведь у меня морская. Нарочно водопровод устроил.

– Неужели из моря? Но ведь это должно стоить огромных денег.

– Немаленьких. Аквариий мой стоит около тридцати тысяч.

– Тридцать тысяч! – воскликнул в ужасе Василий Петрович. – При тысяче шестистах рублях жалованья!

– Да брось ты это ужасанье! Если насмотрелся – пойдем. Должно быть, Иван Павлыч принес требуемое... Подожди только, я разомкну ток.

Аквариий вновь погрузился в мрак. Свеча, продолжавшая гореть, показалась Василию Петровичу тусклым, коптящим огоньком.

Когда они вышли в столовую, Иван Павлыч держал уже наготове завернутую в салфетку бутылку.

1879 г.

Художники

I

ДЕДОВ

Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье было так неожиданно! Долой инженерские погоны, долой инструменты и сметы!

Но не стыдно ли так радоваться смерти бедной тетки только потому, что она оставила наследство, дающее мне возможность бросить службу? Правда, ведь она, умирая, просила меня отдаться вполне моему любимому занятию, и теперь я радуюсь, между прочим, и тому, что исполняю ее горячее желание. Это было вчера... Какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу! А когда я объяснил ему цель, с которой я делаю это, он просто разинул рот.

– Из любви к искусству?.. Мм!.. Подавайте прошение. И не сказал больше ничего, повернулся и ушел. Но мне ничего больше и не было нужно. Я свободен, я художник! Не верх ли это счастья?

Мне захотелось уйти куда-нибудь подальше от людей и от Петербурга; я взял ялик и отправился на взморье. Вода, небо, сверкающий вдали на солнце город, синие леса, окаймляющие берега залива, верхушки мачт на кронштадтском рейде, десятки пролетающих мимо меня пароходов и скользивших парусных кораблей и лайб – все показалось мне в новом свете. Все это мое, все это в моей власти, все это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумленной силой искусства толпой. Правда, не следовало бы продавать шкуру еще не убитого медведя; ведь пока я – еще не бог знает какой великий художник...

Ялик быстро разрезал гладь воды. Яличник, рослый, здоровый и красивый парень в красной рубахе, без устали работал веслами; он то нагибался вперед, то откидывался назад, сильно подвигая лодку при каждом движении. Солнце закатывалось и так эффектно играло на его лице и на красной рубахе, что мне захотелось набросать его красками. Маленький ящик с холстиками, красками и кистями всегда при мне.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Перестань грести, посиди минутку смирно, я тебя напишу, – сказал я. Он бросил
весла.

– Ты сядь так, будто весла заносишь.

Он взялся за весла, взмахнул ими, как птица крыльями, и так и замер в прекрасной
позе. Я быстро набросал карандашом контур и принялся писать. С каким-то
особенным радостным чувством я мешал краски. Я знал, что ничто не оторвет меня
от них уже всю жизнь.

Яличник скоро начал уставать; его удалое выражение лица сменилось вялым и
скучным. Он стал зевать и один раз даже утер рукавом лицо, для чего ему нужно
было наклониться головою к веслу. Складки рубахи совсем пропали. Такая досада!
Терпеть не могу, когда натура шевелится.

– Сиди, братец, смирнее! Он усмехнулся.

– Чего ты смеешься?

Он конфузливо ухмыльнулся и сказал:

– Да чудно, барин!

– Чего ж тебе чудно?

– Да будто я редкостный какой, что меня писать. Будто картину какую.

– Картина и будет, друг любезный.

– На что ж она вам?

– Для ученья. Вот напишу, напишу маленькие, буду и большие писать.

– Большие?

– Хоть в три сажени.

Он замолчал и потом серьезно спросил:

– Что ж, вы поэтому и образа можете?

– Могу и образа; только я пишу картины.

– Так.

Он задумался и снова спросил:

– На что ж они?

– Что такое?

– Картины эти...

Конечно, я не стал читать ему лекции о значении искусства, а только сказал, что
за эти картины платят хорошие деньги, рублей по тысяче, по две и больше. Яличник
был совершенно удовлетворен и больше не заговаривал. Этуд вышел прекрасный
(очень красивы эти горячие тоны освещенного заходящим солнцем кумача), и я
возвратился домой совершенно счастливым.

II

РЯБИНИН

Передо мною стоит в натянутом положении старик Тарас, натурщик, которому
профессор Н. велел положить "рука на галава", потому что это "ошен классический
поза"; вокруг меня – целая толпа товарищей, так же, как и я, сидящих перед
мольбертами с палитрами и кистями в руках. Впереди всех Дедов, хотя и пейзажист,

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik но усердно пишет Тараса. В классе запах красок, масла, терпентина и мертвая тишина. Каждые полчаса Тарасу дается отдых; он садится на край деревянного ящика, служащего ему пьедесталом, и из "натуры" превращается в обыкновенного голого старика, разминает свои оцепеневшие от долгой неподвижности руки и ноги, обходится без помощи носового платка и прочее. Ученики теснятся около мольбертов, рассматривая работы друг друга. У моего мольберта всегда толпа; я - очень способный ученик академии и подаю огромные надежды сделаться одним из "наших корифеев", по счастливому выражению известного художественного критика Г. В. С., который уже давно сказал, что "из Рябина выйдут толк". Вот отчего все смотрят на мою работу.

Через пять минут все снова усаживаются на места, Тарас влезает на пьедестал, кладет руку на голову, и мы мажем, мажем...

И так каждый день.

Скучно, не правда ли? Да я и сам давно убедился в том, что все это очень скучно. Но как локомотиву с открытой паропроводной трубой предстоит одно из двух: катиться по рельсам до тех пор, пока не истощится пар, или, соскочив с них, катиться из стройного железно-медного чудовища в груды обломков, так и мне... Я на рельсах; они плотно обхватывают мои колеса, и если я сойду с них, что тогда? Я должен во что бы то ни стало докатиться до станции, несмотря на то, что она, эта станция, представляется мне какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь. Другие говорят, что это будет художественная деятельность. Что это нечто художественное - спора нет, но что это деятельность...

Когда я хожу по выставке и смотрю на картины, что я вижу в них? Холст, на который наложены краски, расположенные таким образом, что они образуют впечатления, подобные впечатлениям от различных предметов.

Люди ходят и удивляются: как это они, краски, так хитро расположены! И больше ничего. Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете; многие из них я читал. Но из Тэнов, Карьеров, Куглеров и всех, писавших об искусстве, до Прудона включительно, не явствует ничего. Они все толкуют о том, какое значение имеет искусство, а в моей голове при чтении их непременно шевелится мысль: если оно имеет его. Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека; зачем же мне верить, что оно есть?

Зачем верить? Верить-то мне нужно, необходимо нужно, но как поверить? Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы (и хорошо еще, если только любопытству, а не чему-нибудь иному, возбуждению скверных инстинктов, например) и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который не спеша подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчит: "мм... ничего себе", сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесет ее от меня. Унесет вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями. И снова ходишь одинокий среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечером, машинально пишешь его утром, возбуждая удивление профессоров и товарищей быстрыми успехами. Зачем делаешь все это, куда идешь?

Вот уже четыре месяца прошло с тех пор, как я продал свою последнюю картинку, а у меня еще нет никакой мысли для новой. Если бы выплыло что-нибудь в голове, хорошо было бы... Несколько времени полного забвения: ушел бы в картину, как в монастырь, думал бы только о ней одной. Вопросы: куда? зачем? во время работы исчезают; в голове одна мысль, одна цель, и приведение ее в исполнение доставляет наслаждение. Картина - мир, в котором живешь и перед которым отвечаешь. Здесь исчезает житейская нравственность: ты создаешь себе новую в своем новом мире и в нем чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь по-своему, независимо от жизни.

Но писать всегда нельзя. Вечером, когда сумерки прервут работу, вернешься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос: "зачем?", не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто бы где-нибудь в ней написан ответ. И засыпаешь под утро мертвым сном, чтобы, проснувшись, снова опуститься в другой мир сна, в котором живут только выходящие из тебя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся перед тобой на полотне.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Что вы не работаете, Рябинин? – громко спросил меня сосед.

Я так задумался, что вздрогнул, когда услышал этот вопрос. Рука с палитрой опустилась; пола сюртука попала в краски и вся вымазалась; кисти лежали на полу. Я взглянул на этюд; он был кончен, и хорошо кончен: Тарас стоял на полотне, как живой.

– Я кончил, – ответил я соседу.

Кончился и класс. Naturщик сошел с ящика и одевался; все, шумя, собирали свои принадлежности. Поднялся говор. Подошли ко мне, похвалили.

– Медаль, медаль... Лучший этюд, – говорили некоторые. Другие молчали: художники не любят хвалить друг друга.

III

ДЕДОВ

Кажется мне, я пользуюсь между моими товарищами-учениками уважением. Конечно, не без того, чтобы на это не оказывал влияния мой, сравнительно с ними, солидный возраст: во всей академии один только Вольский старше меня. Да, искусство обладает удивительной притягательной силой! Этот Вольский – отставной офицер, господин лет сорока пяти, с совершенно седой головой; поступить в таких летах в академию, снова начать учиться – разве это не подвиг? Но он упорно работает: летом с утра до вечера пишет этюды во всякую погоду, с каким-то самоотвержением; зимой, когда светло, – постоянно пишет, а вечером рисует. В два года он сделал большие успехи, несмотря на то, что судьба не наградила его особенно большим талантом.

Вот Рябинин – другое дело: чертовски талантливая натура, но зато лентяй ужасный. Я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьезное, хотя все молодые художники – его поклонники. Особенно мне кажется странным его пристрастие к так называемым реальным сюжетам: пишет лапти, онучи и полушубки, как будто бы мы не довольно насмотрелись на них в натуре. А что главное, он почти не работает. Иногда засядет и в месяц окончит картинку, о которой все кричат, как о чуде, находя, впрочем, что техника оставляет желать лучшего (по-моему, техника у него очень и очень слаба), а потом бросит писать даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает, даже со мной, хотя, кажется, от меня он удаляется меньше, чем от других товарищей. Станный юноша! Удивительными мне кажутся эти люди, не могущие найти полного удовлетворения в искусстве. Не могут они понять, что ничто так не возвышает человека, как творчество.

Вчера я кончил картину, выставил, и сегодня уже спрашивали о цене. Дешевле 300 не отдам. Давали уже 250. Я такого мнения, что никогда не следует отступать от раз назначенной цены. Это доставляет уважение. А теперь тем более не уступлю, что картина наверно продается; сюжет – из ходких и симпатичный: зима, закат; черные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве. Так пишет К., и как они идут у него! В одну эту зиму, говорят, до двадцати тысяч заработал. Недурно! Жить можно. Не понимаю, как это ухитряются бедствовать некоторые художники. Вот у К. ни один холстик даром не пропадает: все продается. Нужно только прямее относиться к делу: пока ты пишешь картину – ты художник, творец; написана она – ты торгаш; и чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже норовит надуть нашего брата.

IV

РЯБИНИН

Я живу в Пятнадцатой линии на Среднем проспекте и четыре раза в день прохожу по набережной, где пристают иностранные пароходы. Я люблю это место за его пестроту, оживление, толкотню и шум и за то, что оно дало мне много материала. Здесь, смотря на поденщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека.

Я шел домой с Дедовым, пейзажистом... Добрый и невинный, как сам пейзаж, человек

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik и страстно влюблен в свое искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений; пишет, что видит: увидит реку – и пишет реку, увидит болото с осокою – и пишет болото с осокою. Зачем ему эта река и это болото? – он никогда не задумывается. Он, кажется, образованный человек; по крайней мере кончил курс инженером. Службу бросил, благо явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. Теперь он пишет и пишет: летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами, зимой без усталости komponует закаты, восходы, полдни, начала и концы дождя, зимы, весны и прочее. Инженерство свое забыл и не жалеет об этом. Только когда мы проходим мимо пристани, он часто объясняет мне значение огромных чугунных и стальных масс: частей машин, котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег.

– Посмотрите, какой котлище притащили, – сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий котел.

– Неужели у нас не умеют их делать? – спросил я.

– Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли. И скверная работа; придется здесь чинить: видите, шов расходится? Вот тут тоже заклепки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделяет вот такую шляпку.

Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущий по шву котла.

– Дедов, ведь это все равно, что по груди бить!

– Все равно. Я раз попробовал было забраться в котел, так после четырех заклепок еле выбрался. Совсем разбило грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они, как мухи: год-два вынесет, а потом если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здорового молота, да еще в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Зимой железо мерзнет, холод, а он сидит или лежит на железе. Вон в том котле – видите, красный, узкий – так и сидеть нельзя: лежи на боку да подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям.

– Глухарям?

– Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши! Потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо... Сколько тяжелых впечатлений на всех этих заводах, Рябинин, если бы вы знали! Я так рад, что раздался с ними навсегда. Просто жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания... То ли дело с природою. Она не обижает, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники... Поглядите-ка, поглядите, каков сероватый тон! – вдруг перебил он сам себя, показывая на уголок неба: – пониже, вон там, под облачком... прелесть! С зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так, ну точно так – не поверят! А ведь недурно, а?

Я выразил свое одобрение, хотя, по правде сказать, не видел никакой прелести в грязно-зеленом клочке петербургского неба, и перебил Дедова, начавшего восхищаться еще каким-то "тонком" около другого облачка.

– Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря?

– Поедьте вместе на завод; я вам покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра! Да уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря? Бросьте, не стоит. Неужели нет ничего повеселее? А на завод, если хотите, хоть завтра.

Сегодня мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок, в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса; в эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился. Я его напишу.

V

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
ДЕДОВ

Рябинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нем и думать. Третьего дня я возил его на металлический завод; мы провели там целый день, осмотрели все, причем я объяснял ему всякие производства (к удивлению моему, я забыл очень немного из своей профессии); наконец я привел его в котельное отделение. Там в это время работали над огромнейшим котлом. Рябинин влез в котел и полчаса смотрел, как работник держит заклепки клещами. Вылез оттуда бледный и расстроенный; всю дорогу назад молчал. А сегодня объявляет мне, что уже начал писать этого рабочего-глухаря. Что за идея! Что за поэзия в грязи! Здесь я могу сказать, никого и ничего не стесняясь, то, чего, конечно, не сказал бы при всех: по-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве – чистое уродство. Кому нужны эти пресловутые репинские "Бурлаки"? Написаны они прекрасно, нет спора; но ведь и только.

Где здесь красота, гармония, изящное? А не для воспроизведения ли изящного в природе и существует искусство? То ли дело у меня! Еще несколько дней работы, и будет кончено мое тихое "Майское утро". Чуть колышется вода в пруде, ивы склонили на него свои ветви; восток загорается; мелкие перистые облачка окрасились в розовый цвет. Женская фигурка идет с крутого берега с ведром за водой, спугивая стаю уток. Вот и все; кажется, просто, а между тем я ясно чувствую, что поэзии в картине вышло пропасть. Вот это – искусство! Оно настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу. А рябининский "Глухарь" ни на кого не подействует уже потому, что всякий постарается поскорей убежать от него, чтобы только не мозолить себе глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное дело! Ведь вот в музыке не допускаются режущие ухо, неприятные созвучия; отчего ж у нас, в живописи, можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающие образы? Нужно поговорить об этом с Л., он напишет статейку и кстати прокатит Рябинина за его картину. И стоит.

VI

РЯБИНИН

Уже две недели, как я перестал ходить в академию: сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идет успешно. Следовало бы сказать не хотя, а тем более, что идет успешно. Чем ближе она подвигается к концу, тем все страшнее и страшнее кажется мне то, что я написал. И кажется мне еще, что это – моя последняя картина.

Вот он сидит передо мною в темном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на включенной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе. Насколько можно было выразить это напряженное усилие, я выразил.

Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против нее. Я доволен ею; ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучит. Это – не написанная картина, это – созревшая болезнь. Чем она разрешится, я не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего уже будет писать. Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессиями и типичнейшими физиономиями, вся эта "богатая область жанра" – на что мне теперь она? Я ничем уже не подействую так, как этим глухарем, если только подействую...

Сделал опыт: позвал Дедова и показал ему картину. Он сказал только: "ну, батенька", и развел руками. Уселся, смотрел полчаса, потом молча простился и ушел. Кажется, подействовало... Но ведь он все-таки – художник.

И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. Смотришь и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда мне даже слышатся удары

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
молота... Я от него сойду с ума. Нужно его завесить.

Полотно покрыло мольберт с картиной, а я все сижу перед ним, думая все о том же неопределенном и страшном, что так мучит меня. Солнце заходит и бросает косую желтую полосу света сквозь пыльные стекла на мольберт, завешенный холстом. Точно человеческая фигура. Точно Дух Земли в "Фаусте", как его изображают немецкие актеры.

...Wer ruft mich?

[кто зовет меня? (нем.)]

Кто позвал тебя? Я, я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя, только не из какой-нибудь "сферы", а из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трэны, крикни им: я – язва растущая! Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...

Да, как бы не так!.. Картина кончена, вставлена в золотую раму, два сторожа потащат ее на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди "полдней" и "закатов", рядом с "девочкой с кошкой", недалеко от какого-нибудь трехсаженного "Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова". Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрели; будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок. Рецензенты, прислушиваясь к ним, будут чиркать карандашиками в своих записных книжках. Один г. В. С. выше заимствований; он смотрит, одобряет, превозносит, пожимает мне руку. Художественный критик Л. с яростью набросится на бедного глухаря, будет кричать: но где же тут изящное, скажите, где тут изящное? И разругает меня на все корки. Публика... Публика проходит мимо бесстрастно или с неприятной гримасой; дамы – те только скажут: "ah, somme il est laid, ce глухарь" [Ах, как он уродлив, этот глухарь (фр.)], и проплывут к следующей картине, к "девочке с кошкой", смотря на которую, скажут: "очень, очень мило" или что-нибудь подобное. Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог, испустят не то мычание, не то сопенье и благополучно проследуют далее. И разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка остановятся со вниманием и прочтут в измученных глазах, страдальчески смотрящих с полотна, вопль, вложенный мною в них...

Ну, а дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что ж будет со мною? То, что я пережил в последние дни, погибнет ли бесследно? Кончится ли все только одним волнением, после которого наступит отдых с исканием невинных сюжетов?.. Невинные сюжеты! Вдруг вспомнилось мне, как один знакомый хранитель галереи, составляя каталог, кричал писцу:

– Мартынов, пиши! ? 112. Первая любовная сцена: девушка срывает розу.

– Мартинов, еще пиши! ? 113. Вторая любовная сцена: девушка нюхает розу.

Буду ли я по-прежнему нюхать розу? Или сойду с рельсов?

VII

ДЕДОВ

Рябинин почти кончил своего "Глухаря" и сегодня позвал меня посмотреть. Я шел к нему с предвзятым мнением и, нужно сказать, должен был изменить его. Очень сильное впечатление. Рисунок прекрасный. Лепка рельефная. Лучше всего это фантастическое и в то же время высоко истинное освещение. Картина, без сомнения, была бы с достоинствами, если бы только не этот странный и дикий сюжет. Л. совершенно согласен со мною, и на будущей неделе в газете появится его статья. Посмотрим, что скажет тогда Рябинин. Л – у, конечно, будет трудно разобрать его картину со стороны техники, но он сумеет коснуться ее значения как произведения искусства, которое не терпит, чтобы его низводили до служения каким-то низким и туманным идеям.

Сегодня Л. был у меня. Очень хвалил. Сделал несколько замечаний относительно разных мелочей, но в общем очень хвалил. Если бы профессора взглянули на мою

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik картину его глазами! Неужели я не получу, наконец, того, к чему стремится каждый ученик академии, – золотой медали? Медаль, четыре года жизни за границей, да еще на казенный счет, впереди – профессура... Нет, я не ошибся, бросив эту печальную будничную работу, грязную работу, где на каждом шагу натыкаешься на какого-нибудь рябининского глухаря.

VIII

РЯБИНИН

Картина продана и увезена в Москву. Я получил за нее деньги и, по требованию товарищей, должен был устроить им увеселение в "Вене". Не знаю, с каких пор это повелось, но почти все пирушки молодых художников происходят в угольном кабинете этой гостиницы. Кабинет этот – большая высокая комната с люстрой, с бронзовыми канделябрами, с коврами и мебелью, почерневшими от времени и табачного дыма, с роялем, много потрудившимся на своем веку под разгулявшимися пальцами импровизированных пианистов; одно только огромное зеркало ново, потому что оно переменяется дважды или трижды в год, всякий раз, как вместо художников в угольном кабинете кутят купчики.

Собралась целая куча народа: жанристы, пейзажисты и скульпторы, два рецензента из каких-то маленьких газет, несколько посторонних лиц. Начали пить и разговаривать. Через полчаса все уже говорили разом, потому что все были навеселе. И я тоже. Помню, что меня качали и я говорил речь. Потом целовался с рецензентом и пил с ним брудершафт. Пили, говорили и целовались много и разошлись по домам в четыре часа утра. Кажется, двое расположились на ночлег в том же угольном номере гостиницы "Вена".

Я едва добрался домой и нераздетый бросился на постель, причем испытал что-то вроде качки на корабле: казалось, что комната качается и кружится вместе с постелью и со мною. Это продолжалось минуты две; потом я уснул.

Уснул, спал и проснулся очень поздно. Голова болит; в тело точно свинцу налили. Я долго не могу раскрыть глаз, а когда раскрываю их, то вижу мольберт – пустой, без картины. Он напоминает мне о пережитых днях, и вот все снова, сначала... Ах боже мой, да надо же это кончить!

Голова болит больше и больше, туман наплывает на меня. Я засыпаю, просыпаюсь и снова засыпаю. И я не знаю, мертвая ли тишина вокруг меня или оглушительный шум, хаос звуков, необыкновенный, страшный для уха. Может быть, это и тишина, но в ней что-то звонит и стучит, вертится и летает. Точно огромный тысячесильный насос, выкачивающий воду из бездонной пропасти, качается и шумит, и слышатся глухие раскаты падающей воды и удары машины. И над всем этим одна нота, бесконечная, тянущаяся, томящая. И мне хочется открыть глаза, встать, подойти к окну, раскрыть его, услышать живые звуки, человеческий голос, стук дрожек, собачий лай и избавиться от этого вечного гама. Но сил нет. Я вчера был пьян. И я должен лежать и слушать, слушать без конца.

И я просыпаюсь и снова засыпаю. Снова стучит и гремит где-то резче, ближе и определеннее. Удары приближаются и бьют вместе с моим пульсом. Во мне они, в моей голове, или вне меня? Звонко, резко, четко... раз-два, раз-два... Бьет по металлу и еще по чему-то. Я слышу ясно удары по чугуну; чугун гудит и дрожит. Молот сначала тупо звякает, как будто падает в вязкую массу, а потом бьет звонче и звонче, и, наконец, как колокол, гудит огромный котел. Потом остановка, потом скова тихо; громче и громче, и опять нестерпимый, оглушительный звон. Да, это так: сначала бьют по вязкому, раскаленному железу, а потом оно застывает. И котел гудит, когда головка заклепки уже затвердела. Понял. Но те, другие звуки... Что это такое? Я стараюсь понять, что это такое, но дымка застилает мне мозг. Кажется, что так легко при-, помнись, так и вертится в голове, мучительно близко вертится, а что именно – не знаю. Никак не схватить... Пусть стучит, оставим это. Я знаю, но только не помню.

И шум увеличивается и уменьшается, то разрастаясь до мучительно чудовищных размеров, то будто бы совсем исчезая. И кажется мне, что не он исчезает, а я сам в это время исчезаю куда-то, не слышу ничего, не могу шевельнуть пальцем, поднять веки, крикнуть. Оцепенение держит меня, и ужас охватывает меня, и я просыпаюсь весь в жару. Просыпаюсь не совсем, а в какой-то другой сон. Чудится

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
мне, что я опять на заводе, только не на том, где был с Дедовым. Этот гораздо
громднее и мрачнее. Со всех сторон гигантские печи чудной, невиданной формы.
Снопамы вылетает из них пламя и коптит крышу и стены здания, уже давно черные,
как уголь. Машины качаются и визжат, и я едва прохожу между вертящимися колесами
и бегущими и дрожащими ремнями; нигде ни души. Где-то стук и грохот: там-то идет
работа. Там неистовый крик и неистовые удары; мне страшно идти туда, но меня
подхватывает и несет, и удары все громче, и крики страшнее. И вот все сливается
в рев, и я вижу... Вижу: странное, безобразное существо корчится на земле от
ударов, сыплющихся на него со всех сторон. Целая толпа бьет, кто чем попало. Тут
все мои знакомые с остервенелыми лицами колотят молотами, ломками, палками,
кулаками это существо, которому я не прибрал названия. Я знаю, что это - все он
же... Я кидаюсь вперед, хочу крикнуть: "перестаньте! за что?" - и вдруг вижу
бледное, искаженное, необыкновенно страшное лицо, страшное потому, что это - мое
собственное лицо. Я вижу, как я сам, другой я сам, замахивается молотом, чтобы
нанести неистовый удар.

Тогда молот опустился на мой череп. Все исчезло; некоторое время я сознавал еще
мрак, тишину, пустоту и неподвижность, а скоро и сам исчез куда-то...

Рябинин лежал в совершенном беспмятстве до самого вечера. Наконец
хозяйка-чухонка, вспомнив, что жилец сегодня не выходил из комнаты, догадалась
войти к нему, и, увидев бедного юношу, разметавшегося в сильнейшем жару и
бормотавшего всякую чепуху, испугалась, испустила какое-то восклицание на своем
непонятном диалекте и послала девочку за доктором. Доктор приехал, посмотрел,
пощупал, послушал, помычал, присел к столу и, прописав рецепт, уехал, а Рябинин
продолжал бредить и метаться.

IX

ДЕДОВ

Бедняга Рябинин заболел после вчерашнего кутежа. Я заходил к нему и застал его
лежащим без памяти. Хозяйка ухаживает за ним. Я должен был дать ей денег, потому
что в столе у Рябинина не оказалось ни копейки; не знаю, стащила ли все
проклятая баба или, может быть, все осталось в "Вене". Правда, кутнули вчера
порядочно; было очень весело; мы с Рябининым пили брудершафт. Я пил также с Л.
Прекрасная душа этот Л. и как понимает искусство! В своей последней статье он
так тонко понял, что я хотел сказать своей картиной, как никто, за что я ему
глубоко благодарен. Нужно бы написать маленькую вещицу, так, что-нибудь а la
Клевер, и подарить ему. Да, кстати, его зовут Александр; не завтра ли его
именины?

Однако бедному Рябину может прийтись очень плохо; его большая конкурсная
картина еще далеко не кончена, а срок уже не за горами. Если он проболит с
месяц, то не получит медали. Тогда - прощай заграница! Я очень рад одному, что,
как пейзажист, не соперничаю с ним, а его товарищи, должно быть, таки потирают
руки. И то сказать: одним местом больше.

А Рябинина нельзя бросить на произвол судьбы; нужно свезти его в больницу.

X

РЯБИНИН

Сегодня, очнувшись после многих дней беспмятства, я долго соображал, где я.
Сначала даже не мог понять, что этот длинный белый сверток, лежащий перед моими
глазами, - мое собственное тело, обернутое одеялом. С большим трудом повернув
голову направо и налево, отчего у меня зашумело в ушах, я увидел слабо
освещенную длинную палату с двумя рядами постелей, на которых лежали закутанные
фигуры больных, какого-то рыцаря в медных доспехах, стоявшего между больших окон
с опущенными белыми шторами и оказавшегося просто огромным медным умывальником,
образ спасителя в углу с слабо теплившейся лампадкой, две колоссальные кафельные
печи. Услышал я тихое, прерывистое дыхание соседа, клокотавшие вздохи больного,
лежавшего где-то подальше, еще чье-то мирное сопенье и богатырский храп сторожа,

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
вероятно приставленного дежурить у постели опасного больного, который, может
быть, жив, а может быть, уже и умер и лежит здесь так же, как и мы, живые. Мы,
живые... "Жив", - подумал я и даже прошептал это слово. И вдруг то необыкновенно
хорошее, радостное и мирное, чего я не испытывал с самого детства, нахлынуло на
меня вместе с сознанием, что я далек от смерти, что впереди еще целая жизнь,
которую я, наверно, сумею повернуть по-своему (о! наверно сумею), и я, хотя с
трудом, повернулся на бок, поджал ноги, подложил ладонь под голову и заснул,
точно так, как в детстве, когда, бывало, проснешься ночью возле спящей матери,
когда в окно стучит ветер, и в трубе жалобно воеет буря, и бревна дома стреляют,
как из пистолета, от лютого мороза, и начнешь тихонько плакать, и боясь и желая
разбудить мать, и она проснется, сквозь сон поцелует и перекрестит, и,
успокоенный, свертываешься калачиком и засыпаешь с отрадой в маленькой душе.

Боже мой, как я ослабел! Сегодня попробовал встать и пройти от своей кровати к
кровати моего соседа напротив, какого-то студента, выздоравливающего от горячки,
и едва не свалился на полдороге. Но голова поправляется скорее тела. Когда я
очнулся, я почти ничего не помнил, и приходилось с трудом вспоминать даже имена
близких знакомых. Теперь все вернулось, но не как прошлая действительность, а
как сон. Теперь он меня не мучает, нет. Старое прошло безвозвратно.

Дедов сегодня притащил мне целый ворох газет, в которых расхваливаются мой
"Глухарь" и его "Утро". Один только Л. не похвалил меня. Впрочем, теперь это все
равно. Это так далеко, далеко от меня. За Дедова я очень рад; он получил большую
золотую медаль и скоро уезжает за границу. Доволен и счастлив невыразимо; лицо
сияет, как масляный блин. Он спросил меня: намерен ли я конкурировать в будущем
году, после того как теперь мне помешала болезнь? Нужно было видеть, как он
вытаращил глаза, когда я сказал ему "нет".

- Seriously?

- Совершенно серьезно, - ответил я.

- Что же вы будете делать?

- А вот посмотрю.

Он ушел от меня в совершенном недоумении.

XI

ДЕДОВ

Эти две недели я прожил в тумане, волнении, нетерпении и успокоился только
сейчас, сидя в вагоне Варшавской железной дороги. Я сам себе не верю: я -
пенсионер академии, художник, едущий на четыре года за границу
совершенствоваться в искусстве. Vivat Academia!

Но Рябинин, Рябинин! Сегодня я виделся с ним на улице, усаживаясь в карету,
чтобы ехать на вокзал. "Поздравляю, говорит, и меня тоже поздравьте".

- С чем это?

- Сейчас только выдержал экзамен в учительскую семинарию.

В учительскую семинарию!! Художник, талант! Да он пропадет, погибнет в деревне.
Ну, не сумасшедший ли это человек?

На этот раз Дедов был прав: Рябинин действительно не преуспел. Но об этом -
когда-нибудь после.

1879 г.

Красный цветок

Памяти Ивана Сергеевича Тургенева

– Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!

Эти слова были сказаны громким, резким, звенящим голосом. Писарь больницы, записывавший больного в большую истрепанную книгу на залитом чернилами столе, не держался от улыбки. Но двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись: они едва держались на ногах после двух суток проведенных без сна, наедине с безумным, которого они только что привезли по железной дороге. На предпоследней станции припадок бешенства усилился; где-то достали сумасшедшую рубаху и, позвав кондукторов и жандарма, надели на больного. Так привезли его в город, так доставили и в больницу.

Он был страшен. Сверх изорванного во время припадка в клочья серого платья куртка из грубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан; длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза (он не спал десять суток) горели неподвижным горячим блеском; нервная судорога подергивала край нижней губы; спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб; он быстрыми тяжелыми шагами ходил из угла в угол конторы, пытливо осматривая старые шкапы с бумагами и клеенчатые стулья и изредка взглядывая на своих спутников.

– Сведите его в отделение. Направо.

– Я знаю, знаю. Я был уже здесь с вами в прошлом году. Мы осматривали больницу. Я все знаю, и меня будет трудно обмануть, – сказал больной.

Он повернулся к двери. Сторож растворил ее перед ним; тою же быстрою, тяжелою и решительною походкою, высоко подняв безумную голову, он вышел из конторы и почти бегом пошел направо, в отделение душевнобольных. Провожавшие едва успевали идти за ним.

– Позвони. Я не могу. Вы связали мне руки.

Швейцар отворил двери, и путники вступили в больницу.

Это было большое каменное здание старинной казенной постройки. Два больших зала, один – столовая, другой – общее помещение для спокойных больных, широкий коридор со стеклянною дверью, выходившей в сад с цветником, и десятка два отдельных комнат, где жили больные, занимали нижний этаж; тут же были устроены две темные комнаты, одна обитая тюфяками, другая досками, в которые сажали буйных, и огромная мрачная комната со сводами – ванная. Верхний этаж занимали женщины. Нестройный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на восемьдесят человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до трехсот. В небольших каморках было по четыре и по пяти кроватей; зимой, когда больных не выпускали в сад и все окна за железными решетками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно.

Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны. И на здорового человека она могла произвести тяжелое впечатление, а на расстроенное, возбужденное воображение действовала тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенная одним, сделанным в углу, окном; стены и своды были выкрашены темно-красною масляною краскою; в почерневшем от грязи полу, в уровень с ним, были вделаны две каменные ванны, как две овальные, наполненные водою ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна; все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер, и заведовавший ванными сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своею мрачною физиономиею увеличивал впечатление.

И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну и, согласно с системой лечения главного доктора больницы, наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищнее другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад? Ему пришлось, наконец, в голову, что это какое-то испытание. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивление. С

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik удвоенною от болезни силою он легко вырывался из рук нескольких сторожей, так что они падали на пол; наконец четверо повалили его, и, схватив за руки и за ноги, опустили в теплую воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мелькнула бессвязная отрывочная мысль об испытании кипятком и каленым железом. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которые его крепко держали сторожа, он, задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представления, не слышав ее на самом деле. Тут были и молитвы и проклятия. Он кричал, пока не выбился из сил, и, наконец, тихо, с горячими слезами, проговорил фразу, совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью:

– Святой великомученик Георгий! В руки твои предаю тело мое. А дух – нет, о нет!..

Сторожа все еще держали его, хотя он и успокоился. Теплая ванна и пузырь со льдом, положенный на голову, произвели свое действие. Но когда его, почти бесчувственного, вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток сил и безумные мысли снова точно взорвало.

– За что? За что? – кричал он. – Я никому не хотел зла. За что убивать меня? О-о-о! О Господи! О вы, мучимые раньше меня! Вас молю, избавьте...

Жгучее прикосновение к затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла с ним справиться и не знала, что делать.

– Ничего не поделаешь, – сказал производивший операцию солдат. – Нужно стереть.

Эти простые слова привели больного в содрогание. "Стереть!.. Что стереть? Кого стереть? Меня!" – подумал он и в смертельном ужасе закрыл глаза. Солдат взял за два конца грубое полотенце и, сильно нажимая, быстро провел им по затылку, сорвав с него и мушку и верхний слой кожи и оставив обнаженную красную ссадину. Боль от этой операции, невыносимая и для спокойного и здорового человека, показалась больному концом всего. Он отчаянно рванулся всем телом, вырвался из рук сторожей, и его нагое тело покатилося по каменным плитам. Он думал, что ему отрубили голову. Он хотел крикнуть и не мог. Его отнесли на койку в беспмятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон.

II

Он очнулся ночью. Все было тихо; из соседней большой комнаты слышалось дыхание спящих больных. Где-то далеко монотонным, странным голосом разговаривал сам с собою больной, посаженный на ночь в темную комнату, да сверху, из женского отделения, хриплый контральто пел какую-то дикую песню. Больной прислушивался к этим звукам. Он чувствовал страшную слабость и разбитость во всех членах; шея его сильно болела.

"Где я? Что со мной?" пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенною яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом.

– Но это кончено, слава Богу, это кончено! – прошептал он и снова уснул.

Открытое окно с железными решетками выходило в маленький закоулок между большими зданиями и каменной оградой; в этот закоулок никто никогда не заходил, и он весь густо зарос каким-то диким кустарником и сиренью, пышно цветшею в то время года... За кустами, прямо против окна, темнела высокая ограда, высокие верхушки деревьев большого сада, облитые и проникнутые лунным светом, глядели из-за нее. Справа подымалось белое здание больницы с освещенными изнутри окнами с железными решетками; слева – белая, яркая от луны, глухая стена мертвецкой. Лунный свет падал сквозь решетку окна внутрь комнаты, на пол, и освещал часть постели и измученное, бледное лицо больного с закрытыми глазами; теперь в нем не было ничего безумного. Это был глубокий, тяжелый сон измученного человека, без сновидений, без малейшего движения и почти без дыхания. На несколько мгновений он проснулся в полной памяти, как будто бы здоровым, затем чтобы утром встать с постели прежним безумцем.

III

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Как вы себя чувствуете? – спросил его на другой день доктор.

Больной, только что проснувшись, еще лежал под одеялом.

– Отлично! – отвечал он, вскакивая, надевая туфли и хватаясь за халат. – Прекрасно! Только одно: вот!

Он показал себе на затылок.

– Я не могу повернуть шеи без боли. Но это ничего. Все хорошо, если его понимаешь; а я понимаю.

– Вы знаете, где вы?

– Конечно, доктор! Я в сумасшедшем доме. Но ведь, если понимаешь, это решительно все равно. Решительно все равно.

Доктор пристально смотрел ему в глаза. Его красивое холеное лицо с превосходно расчесанной золотистой бородой и спокойными голубыми глазами, смотревшими сквозь золотые очки, было неподвижно и непроницаемо. Он наблюдал.

– Что вы так пристально смотрите на меня? Вы не прочтете того, что у меня в душе, – продолжал больной, – а я ясно читаю в вашей! Зачем вы делаете зло? Зачем вы собрали эту толпу несчастных и держите ее здесь? Мне все равно: я все понимаю и спокоен; но они? К чему эти мученья? Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать. Даже жить и не жить... Ведь так?

– Может быть, – отвечал доктор, садясь на стул в углу комнаты так, чтобы видеть больного, который быстро ходил из угла в угол, шлепая огромными туфлями конской кожи и размахивая полами халата из бумажной материи с широкими красными полосами и крупными цветами. Сопровождавшие доктора фельдшер и надзиратель продолжали стоять навтыжку у дверей.

– И у меня она есть! – воскликнул больной. – И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали острее, мозг работает, как никогда. Что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время – суть фикции. Я живу во всех веках. Я живу без пространства, везде или нигде, как хотите. И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан. Я заметил, что тут есть еще несколько таких же. Но для остальной толпы такое положение ужасно. Зачем вы не освободите их? Кому нужно...

– Вы сказали, – перебил его доктор, – что вы живете вне времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы с вами в этой комнате и что теперь, – доктор вынул часы, – половина одиннадцатого 6-го мая 18** года. Что вы думаете об этом?

– Ничего. Мне все равно, где ни быть и когда ни жить. Если мне все равно, не значит ли это, что я везде и всегда?

Доктор усмехнулся.

– Редкая логика, – сказал он, вставая. – Пожалуй, вы правы. До свидания. Не хотите ли вы сигарку?

– Благодарю вас. – Он остановился, взял сигару и нервно откусил ее кончик. – Это помогает думать, – сказал он. – Это мир, микрокосм. На одном конце щелочи, на другом – кислоты... Таково равновесие и мира, в котором нейтрализуются противоположные начала. Прощайте, доктор!

Доктор отправился дальше. Большая часть больных ожидала его, вытянувшись у своих коек. Никакое начальство не пользуется таким почетом от своих подчиненных, каким доктор-психиатр от своих помешанных.

А больной, оставшись один, продолжал порывисто ходить из угла в угол камеры. Ему принесли чай; он, не присаживаясь, в два приема опорожнил большую кружку и почти

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik в одно мгновение съел большой кусок белого хлеба. Потом он вышел из комнаты и несколько часов, не останавливаясь, ходил своею быстрою и тяжелой походкой из конца в конец всего здания. День был дождливый, и больных не выпускали в сад. Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора; он стоял здесь, прильнувши лицом к стеклу стеклянной садовой двери, и пристально смотрел на цветник. Его внимание привлек необыкновенно яркий алый цветок, один из видов мака.

– Пожалуйте взвеситься, – сказал фельдшер, трогая его за плечо.

И когда тот повернулся к нему лицом, он чуть не отшатнулся в испуге: столько дикой злобы и ненависти горело в безумных глазах. Но увидав фельдшера, он тотчас же переменял выражение лица и послушно пошел за ним, не сказав ни одного слова, как будто погруженный в глубокую думу. Они прошли в докторский кабинет; больной сам встал на платформу небольших десятичных весов: фельдшер, свесив его, отметил в книге против его имени 109 фунтов. На другой день было 107, на третий 106.

– Если так пойдет дальше, он не выживет, – сказал доктор и приказал кормить его как можно лучше.

Но, несмотря на это и на необыкновенный аппетит больного, он худел с каждым днем, и фельдшер каждый день записывал в книгу все меньшее и меньшее число фунтов. Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении.

IV

Он сознавал, что он в сумасшедшем доме; он сознавал даже, что он болен. Иногда, как в первую ночь, он просыпался среди тишины после целого дня буйного движения, чувствуя ломоту во всех членах и страшную тяжесть в голове, но в полном сознании. Может быть, отсутствие впечатлений в ночной тишине и полусвете, может быть, слабая работа мозга только что проснувшегося человека делали то, что в такие минуты он ясно понимал свое положение и был как будто бы здоров. Но наступал день; вместе со светом и пробуждением жизни в больнице его снова волною охватывали впечатления; больной мозг не мог справиться с ними, и он снова был безумным. Его состояние было странною смесью правильных суждений и нелепостей. Он понимал, что вокруг него все больные, но в то же время в каждом из них видел какое-нибудь тайно скрывающееся или скрытое лицо, которое он знал прежде или о котором читал или слышал. Больница была населена людьми всех времен и всех стран. Тут были и живые и мертвые. Тут были знаменитые и сильные мира и солдаты, убитые в последнюю войну и воскресшие. Он видел себя в каком-то волшебном, заколдованном круге, собравшем в себя всю силу земли, и в горделивом исступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда затем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле. Он не знал, в чем оно будет состоять, но чувствовал в себе достаточно сил для его исполнения. Он мог читать мысли других людей; видел в вещах всю их историю; большие вязы в больничном саду рассказывали ему целые легенды из пережитого; здание, действительно построенное довольно давно, он считал постройкой Петра Великого и был уверен, что царь жил в нем в эпоху Полтавской битвы. Он прочел это на стенах, на обвалившейся штукатурке, на кусках кирпича и изразцов, находимых им в саду; вся история дома и сада была написана на них. Он населил маленькое здание мертвецкой десятками и сотнями давно умерших людей и пристально вглядывался в оконце, выходившее из ее подвала в уголок сада, видя в неровном отражении света в старом радужном и грязном стекле знакомые черты, виденные им когда-то в жизни или на портретах.

Между тем наступила ясная, хорошая погода; больные целые дни проводили на воздухе в саду. Их отделение сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было везде, где только можно, засажено цветами. Надзиратель заставлял работать в нем всех сколько-нибудь способных к труду; целые дни они мели и посыпали песком дорожки, пололи и поливали грядки цветов, огурцов, арбузов и дынь, вскопанные их же руками. Угол сада зарос густым вишняком; вдоль него тянулись аллеи из вязов; посредине, на небольшой искусственной горке, был разведен самый красивый цветник во всем саду; яркие цветы росли по краям верхней площадки, а в центре ее красовалась большая, крупная и редкая, желтая с красными крапинками далия. Она составляла центр и всего сада, возвышаясь над ним, и можно было заметить, что многие больные придавали ей какое-то таинственное значение. Новому больному она казалась тоже чем-то не совсем обыкновенным, каким-то палладиумом сада и здания.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Все дорожки были также обсажены руками больных. Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садах: высокие розы, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак. Тут же, недалеко от крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы; он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенною яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в сад сквозь стеклянную дверь.

Выйдя в первый раз в сад, он прежде всего, не сходя со ступеней крыльца, посмотрел на эти яркие цветы. Их было всего только два; случайно они росли отдельно от других и на невыполотом месте, так что густая лебеда и какой-то бурьян окружали их.

Больные один за другим выходили из дверей, у которых стоял сторож и давал каждому из них толстый белый, вязанный из бумаги колпак с красным крестом на лбу. Колпаки эти побывали на войне и были куплены на аукционе. Но больной, само собою разумеется, придавал этому красному кресту особое, таинственное значение. Он снял с себя колпак и посмотрел на крест, потом на цветы мака. Цветы были ярче.

– Он побеждает, – сказал больной, – но мы посмотрим.

И он сошел с крыльца. Осмотревшись и не заметив сторожа, стоявшего сзади него, он перешагнул грядку и протянул руку к цветку, но не решился сорвать его. Он почувствовал жар и колющее в протянутой руке, а потом и во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал все его тело. Он придвинулся ближе и протянул руку к самому цветку, но цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое, смертельное дыхание. Голова его закружилась; он сделал последнее отчаянное усилие и уже схватился за стебелек, как вдруг тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторож схватил его.

– Нельзя рвать, – сказал старик-хохол. – И на грядку не ходи. Тут много вас, сумасшедших, найдется: каждый по цветку, весь сад разнесут, – убедительно сказал он, все держа его за плечо.

Больной посмотрел ему в лицо, молча освободился от его руки и в волнении пошел по дорожке. "О несчастные! – думал он. – Вы не видите, вы ослепли до такой степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало я покончу с ним. Не сегодня, так завтра мы померяемся силами. И если я погибну, не все ли равно..."

Он гулял по саду до самого вечера, заводя знакомства и ведя странные разговоры, в которых каждый из собеседников слышал только ответы на свои безумные мысли, выражавшиеся нелепо-таинственными словами. Больной ходил то с одним товарищем, то с другим и к концу дня еще более убедился, что "все готово", как он сказал сам себе. Скоро, скоро распадутся железные решетки, все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте. Он почти забыл о цветке, но, уходя из сада и поднимаясь на крыльцо, снова увидел в густой потемневшей и уже начинавшей роситься траве точно два красных уголька. Тогда больной отстал от толпы и, став позади сторожа, выждал удобного мгновения. Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой. Когда свежие, росистые листья коснулись его тела, он побледнел как смерть и в ужасе широко раскрыл глаза. Холодный пот выступил у него на лбу.

В больнице зажгли лампы; в ожидании ужина большая часть больных улеглась на постели, кроме нескольких беспокойных, торопливо ходивших по коридору и залам. Больной с цветком был между ними. Он ходил, судорожно сжав руки у себя на груди крестом: казалось, он хотел раздавить, размозжить спрятанное на ней растение. При встрече с другими он далеко обходил их, боясь прикоснуться к ним краем одежды. "Не подходите, не подходите!" – кричал он. Но в больнице на такие возгласы мало кто обращал внимание. И он ходил все скорее и скорее, делал шаги все больше и больше, ходил час, два с каким-то остервенением.

– Я утомлю тебя. Я задушу тебя! – глухо и злобно говорил он.

Иногда он скрежетал зубами.

В столовую подали ужинать. На большие столы без скатертей поставили по несколько

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
деревянных крашеных и золоченых мисок с жидкою пшенной кашею; больные уселись на лавки; им раздали по ломтю черного хлеба. Ели деревянными ложками человек по восьми из одной миски. Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно. Наш больной, быстро проглотив свою порцию, принесенную сторожем, который позвал его в его комнату, не удовольствовался этим и пошел в общую столовую.

– Позвольте мне сесть здесь, – сказал он надзирателю.

– Разве вы не ужинали? – спросил надзиратель, разливая добавочные порции каши в миски.

– Я очень голоден. И мне нужно сильно подкрепиться. Вся моя поддержка в пище; вы знаете, что я совсем не сплю.

– Кушайте, милый, на здоровье. Тарас, дай им ложку и хлеба.

Он подсел к одной из чашек и съел еще огромное количество каши.

– Ну, довольно, довольно, – сказал, наконец, надзиратель, когда все кончили ужинать, а наш больной еще продолжал сидеть над чашкой, черпая из нее одной рукой кашу, а другой крепко держась за грудь. – Объедитесь.

– Эх, если бы вы знали, сколько сил мне нужно, сколько сил! Прощайте, Николай Николаич, – сказал больной, вставая из-за стола и крепко сжимая руку надзирателя. – Прощайте.

– Куда же вы? – спросил с улыбкой надзиратель.

– Я? Никуда. Я остаюсь. Но, может быть, завтра мы не увидимся. Благодарю вас за вашу доброту.

И он еще раз крепко пожал руку надзирателю. Голос его дрожал, на глазах выступили слезы.

– Успокойтесь, милый, успокойтесь, – отвечал надзиратель. – К чему такие мрачные мысли? Подите, лягте да засните хорошенько. Вам больше спать следует; если будете спать хорошо, скоро и поправитесь.

Больной рыдал. Надзиратель отвернулся, чтобы приказать сторожам поскорее убирать остатки ужина. Через полчаса в больнице все уже спало, кроме одного человека, лежавшего нераздетым на своей постели в угловой комнате. Он дрожал как в лихорадке и судорожно стискивал себе грудь, всю пропитанную, как ему казалось, неслышанно смертельным ядом.

V

Он не спал всю ночь. Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который он был обязан сделать. При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты вполне постиг, что именно должен он совершить на земле. В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что из мака делается опиум; может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставила его создать страшный фантастический призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою все зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид. Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало, – нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир. Потому-то он и спрятал его у себя на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу. Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит – тогда сам он погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира.

– Они не видели его. Я увидел. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть.

И он лежал, изнемогая в призрачной, несуществующей борьбе, но все-таки изнемогая. Утром фельдшер застал его чуть живым. Но, несмотря на это, через

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik несколько времени возбуждение взяло верх, он вскочил с постели и по-прежнему забегал по больнице, разговаривая с больными и сам с собою громче и несвязнее, чем когда-нибудь. Его не пустили в сад; доктор, видя, что вес его уменьшается, а он все не спит и все ходит и ходит, приказал впрыснуть ему под кожу большую дозу морфия. Он не сопротивлялся: к счастью, в это время его безумные мысли как-то совпали с этой операцией. Он скоро заснул; бешеное движение прекратилось, и постоянно сопутствовавший ему, создавшийся из такта его порывистых шагов, громкий мотив исчез из ушей. Он забылся и перестал думать обо всем, и даже о втором цветке, который нужно было сорвать.

Однако он сорвал его через три дня, на глазах у старика, не успевшего предупредить его. Сторож погнался за ним. С громким торжествующим воплем больной вбежал в больницу и, кинувшись в свою комнату, спрятал растение на груди.

– Ты зачем цветы рвешь? – спросил прибежавший за ним сторож. Но больной, уже лежавший на постели в привычной позе со скрещенными руками, начал говорить такую чепуху, что сторож только молча снял с него забытый им в поспешном бегстве колпак с красным крестом и ушел. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовал, что из цветка длинными, похожими на змей, ползучими потоками изливается зло; они опутывали его, сжимали и сдавливали члены и пропитывали все тело своим ужасным содержанием. Он плакал и молился Богу в промежутках между проклятиями, обращенными к своему врагу. К вечеру цветков завял. Больной растоптал почерневшее растение, подобрал остатки с пола и понес в ванную. Бросив бесформенный комочек зелени в раскаленную каменным углем печь, он долго смотрел, как его враг шипел, съеживался и наконец превратился в нежный снежно-белый комочек золы. Он дунул, и все исчезло.

На другой день больному стало хуже. Страшно бледный, с ввалившимися щеками, с глубоко ушедшими внутрь глазных впадин горящими глазами, он, уже шатающаяся походкой и часто спотыкаясь, продолжал свою бешеную ходьбу и говорил, говорил без конца.

– Мне не хотелось бы прибегать к насилию, – сказал своему помощнику старший доктор.

– Но ведь необходимо остановить эту работу. Сегодня в нем девяносто три фунта веса. Если так пойдет дальше, он умрет через два дня.

Старший доктор задумался.

– Морфий? Хлорал? – сказал он полувопросительно.

– Вчера морфий уже не действовал.

– Прикажете связать его. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он уцелел.

VI

И больного связали. Он лежал, одетый в сумасшедшую рубаху, на своей постели, крепко привязанный широкими полосами холста к железным перекладинам кровати. Но бешенство движений не уменьшилось, а скорее возросло. В течение многих часов он упорно силился освободиться от своих пут. Наконец однажды, сильно рванувшись, он разорвал одну из повязок, освободил ноги и, выскользнув из-под других, начал со связанными руками расхаживать по комнате, выкрикивая дикие, непонятные речи.

– О, щоб тобі!.. – закричал вошедший сторож. – Який тобі бис допомагає! Грицко! Иван! Ідите швидче, бо він розв'язавсь.

Они втроем накинулись на больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавших и мучительная для защищавшегося человека, тратившего остаток истощенных сил. Наконец его повалили на постель и скрутили крепче прежнего.

– Вы не понимаете, что вы делаете! – кричал больной, задыхаясь. – Вы погибаете! Я видел третий, едва распустившийся. Теперь он уже готов. Дайте мне кончить дело! Нужно убить его, убить! убить! Тогда все будет кончено, все спасено. Я послал бы вас, но это могу сделать только один я. Вы умерли бы от одного прикосновения.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Молчите, паньч, молчите! – сказал старик-сторож, оставшийся дежурить около постели.

Больной вдруг замолчал. Он решился обмануть сторожей. Его продержали связанным целый день и оставили в таком положении на ночь. Накормив его ужином, сторож постлал что-то около постели и улегся. Через минуту он спал крепким сном, а больной принялся за работу.

Он изогнулся всем телом, чтобы коснуться железной продольной перекладины постели, и, нащупав ее спрятанной в длинном рукаве сумасшедшей рубахи кистью руки, начал быстро и сильно тереть рукав об железо. Через несколько времени толстая парусина подалась, и он высвободил указательный палец. Тогда дело пошло скорее. С совершенно невероятной для здорового человека ловкостью и гибкостью он развязал сзади себя узел, стягивавший рукава, расшнуровал рубаху и после этого долго прислушивался к храпению сторожа. Но старик спал крепко. Больной снял рубаху и отвязался от кровати. Он был свободен. Он попробовал дверь: она была заперта изнутри, и ключ, вероятно, лежал в кармане у сторожа. Боясь разбудить его, он не посмел обыскивать карманы и решился уйти из комнаты через окно.

Была тихая, теплая и темная ночь; окно было открыто; звезды блестяли на черном небе. Он смотрел на них, отличая знакомые созвездия и радуясь тому, что они, как ему казалось, понимают его и сочувствуют ему. Мигая, он видел бесконечные лучи, которые они посылали ему, и безумная решимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прут железной решетки, пролезть сквозь узкое отверстие в закоулок, заросший кустами, перебраться через высокую каменную ограду. Там будет последняя борьба, а после – хоть смерть.

Он попробовал согнуть толстый прут голыми руками, но железо не подавалось. Тогда, скрутив из крепких рукавов сумасшедшей рубахи веревку, он зацепил ею за выкованное на конце прута копьё и повис на нем всем телом. После отчаянных усилий, почти истощивших остаток его сил, копьё согнулось; узкий проход был открыт. Он протискался сквозь него, ссадив себе плечи, локти и обнаженные колени, пробрался сквозь кусты и остановился перед стеной. Все было тихо; огни ночников слабо освещали изнутри окна огромного здания; в них не было видно никого. Никто не заметит его; старик, дежуривший у его постели, вероятно, спит крепким сном. Звезды ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца.

– Я иду к вам, – прошептал он, глядя на небо.

Оборвавшись после первой попытки, с оборванными ногтями, окровавленными руками и коленями, он стал искать удобного места. Там, где ограда сходилась со стеной мертвецкой, из нее и из стены выпало несколько кирпичей. Больной нащупал эти впадины и воспользовался ими. Он влез на ограду, ухватился за ветки вяза, росшего по ту сторону, и тихо спустился по дереву на землю.

Он кинулся к знакомому месту около крыльца. Цветок темнел своей головкой, свернув лепестки и ясно выделяясь на росистой траве.

– Последний! – прошептал больной. – Последний! Сегодня победа или смерть. Но это для меня уже все равно. Погодите, – сказал он, глядя на небо: – я скоро буду с вами.

Он вырвал растение, истерзал его, смял и, держа его в руке, вернулся прежним путем в свою комнату. Старик спал. Большой, едва дойдя до постели, рухнул на нее без чувств.

Утром его нашли мертвым. Лицо его было спокойно и светло; истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука заоченела, и он унес свой трофей в могилу.

1883

А. П. Чехов

Толстый и тонкий

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком – его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын.

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

– В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий. – Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

– Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на друга. – Служишь где? Дослужился?

– Служу, милый мой! Коллежским ассессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. – Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фронт и застегнул все пуговицы своего мундира...

– Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

– Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание!

– Помилуйте... Что вы-с... – захихикал тонкий, еще более съеживаясь. – Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец:

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
"хи-хи-хи". Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое
были приятно ошеломлены.

Хамелеон

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городской с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

– Так ты кусаться, окаянная? – слышит вдруг Очумелов. – Ребята, не пуцай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватается собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: "Не пуцай!" Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

– Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городской.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сбору. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: "Ужо я сорву с тебя, шельма!" да и самый палец имеет вид знамени победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

– По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. – Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... – начинает Хрюкин, кашля в кулак. – Насчет дров с Митрий Митричем, – и вдруг эта подлая ни с того, ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пуцай мне заплатят, потому – я этим пальцем, может, неделю не пошевелю... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

– Гм!.. Хорошо... – говорит Очумелов строго, кашля и шевеля бровями. – Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать!.. Елдырин, – обращается надзиратель к городскому, – узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

– Это, кажись, генерала Жигалова! – говорит кто-то из толпы.

– Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

– Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она – не будь дура и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

– Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пуцай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...

– Не рассуждать!

– Нет, это не генеральская... – глубокомысленно замечает городской. – У генерала таких нет. У него все больше легавые...

– Ты это верно знаешь?

– Верно, ваше благородие...

– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И такую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

– А может быть, и генеральская... – думает вслух городской. – На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.

– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

– Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

– Выдумал! Эдаких у нас отродясь не бывало!

– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. – Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая... Истребить, вот и все.

– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. – Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

– В гости...

– Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык эдакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

– Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

Унтер Пришибеев

– Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что 3-го сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Ваше высококорodie, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Всё это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю – стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...

– Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, – разве это ваше дело народ разгонять?

– Не его! Не его! – слышатся голоса из разных углов камеры. – Житья от него нету, вашескорodie! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

– Именно так, вашескорodie! – говорит свидетель староста. – Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

– Погодите, вы еще успеете дать показание, – говорит мировой, – а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

– Слушаю-с! – хрипит унтер. – Вы, ваше высококорodie, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно позволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу позволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высококорodie, знаю, как обходиться с людьми простого звания, и, ваше высококорodie, я могу всё понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик – простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому – для его же пользы. Взять хоть это дело к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утопый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утопый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. "Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?" Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. "Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу". Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие, или удавившие, и прочее тому подобное, – нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, всё слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высококорodie. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: "Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны". От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? – обращается унтер к уряднику Жигину.

– Сказывал.

– Все слышали, как ты это самое при всем простом народе: "Мировому судье такие дела не подсудны". Все слышали, как ты это самое... Меня, ваше высококорodie, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: "Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны". Так и сказал, все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть уничтожать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: "Пооди, говорю, сюда, кавалер", - и всё ему докладываю. А тут, в деревне кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо, ежели за дело... ежели беспорядок...

- Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

- Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

- Но поймите, что это не ваше дело!

- Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

- Что у вас записано?

- Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

- Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров.

- Довольно! - говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

- За что?! - говорит он, разводя в недоумении руками. - По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

- Наррод, расходись! Не толпись! По домам!

В. Г. Короленко

Чудная

(Очерк из 80-х годов)

I

- Скоро ли станция, ямщик?

- Не скоро еще, - до метели вряд ли доехать, - вишь, закуржавело как, сивера идет.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

Да, видно, до метели не доехать. К вечеру становится все холоднее. Слышно, как снег под полозьями поскрипывает, зимний ветер – сивера – гудит в темном бору, ветви елей протягиваются к узкой лесной дороге и угрюмо качаются в опускающемся сумраке раннего вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, под бока давит, да еще некстати шашки и револьверы провожатых болтаются. Колокольчик выводит какую-то длинную, однообразную песню, в тон запевающей метели.

К счастью – вот и одинокий огонек станции на опушке гудящего бора.

Мои провожатые, два жандарма, бряцающая целым арсеналом вооружения, стряхивают снег в жарко натопленной, темной, закопченной избе. Бедно и неприветно. Хозяйка укрепляет в светильне дымящую лучину.

– Нет ли чего поесть у тебя, хозяйка?

– Ничего нет-то у нас...

– А рыбы? Река тут у вас недалече.

– Была рыба, да выдра всю позобала.

– Ну, картошки...

– И-и, батюшки! Померзла картошка-то у нас ноне, вся померзла.

Делать нечего; самовар, к удивлению, нашелся. Погрелась чаем, хлеба и луковиц принесла хозяйка в лукошке. А вьюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпало, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался.

– Нельзя вам ехать-то будет – ночуйте! – говорит старуха.

– Что ж, ночуем. Вам ведь, господин, торопиться-то некуда тоже. Видите – тут сторона-то какая!.. Ну, а там еще хуже – верьте слову, – говорит один из провожатых.

В избе все смолкло. Даже хозяйка сложила свою прясицу с пряжей и улеглась, перестав светить лучину. Водворился мрак и молчание, нарушаемое только порывистыми ударами налетающего ветра.

Я не спал. В голове, под шум бури, поднимались и летели одна за другой тяжелые мысли.

– Не спится, видно, господин? – произносит тот же провожатый – "старшой", человек довольно симпатичный, с приятным, даже как будто интеллигентным лицом, расторопный, знающий свое дело и поэтому не педант. В пути он не прибегает к ненужным стеснениям и формальностям.

– Да, не спится.

Некоторое время проходит в молчании, но я слышу, что и мой сосед не спит, – чувствуется, что и ему не до сна, что и в его голове бродят какие-то мысли. Другой провожатый, молодой "подручный", спит сном здорового, но крепко утомленного человека. Временами он что-то невнятно бормочет.

– Удивляюсь я вам, – слышится опять ровный грудной голос унтера, – народ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать, – а как свою жизнь проводите...

– Как?

– Эх, господин! Неужто мы не можем поникать!.. Довольно понимаем, не в эдакой, может, жизни были и не к этому сызмалетства-то привыкли...

– Ну, это вы пустое говорите... Было время и отвыкнуть...

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Неужто весело вам? – произносит он тоном сомнения.

– А вам весело?..

Молчание. Гаврилов (будем так звать моего собеседника), по-видимому, о чем-то думает.

– Нет, господин, невесело нам. Верьте слову: иной раз бывает – просто, кажется, на свет не глядел бы... С чего уж это, не знаю, – только иной раз так подступит – нож острый, да и только.

– Служба, что ли, тяжелая?

– Служба службой... Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все же не с этого...

– Так отчего же?

– Кто знает?..

Опять молчание.

– Служба что. Сам себя веди аккуратно, только и всего. Мне, тем более, домой скоро. Из сдаточных я, так срок выходит. Начальник и то говорит: "Оставайся, Гаврилов, что тебе делать в деревне? На счету ты хорошему..."

– Останетесь?

– Нет. Оно, правда, и дома-то... От крестьянской работы отвык... Пища тоже. Ну и, само собой, обхождение... Грубость эта...

– Так в чем же дело?

Он подумал и потом сказал:

– Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу... Со мной был...

– Расскажите...

II

Поступил я на службу в 1874 году, в эскадрон, прямо из сдаточных. Служил хорошо, можно сказать, с полным усердием, все больше по нарядам: в парад куда, к театру, – сами знаете. Грамоте хорошо был обучен, ну, и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был и, как видя мое старание, призывает раз меня к себе и говорит: "Я тебя, Гаврилов, в унтер-офицеры представлю... Ты в командировках бывал ли?" – Никак нет, говорю, ваше высокоблагородие. – "Ну, говорит, в следующий раз назначу тебя в подручные, присмотришься – дело нехитрое". – Слушаю, говорю, ваше высокоблагородие, рад стараться.

А в командировках я точно что не бывал ни разу, – вот с вашим братом, значит. Оно хоть, скажем, дело-то нехитрое, а все же, знаете, инструкции надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо...

Через неделю этак места зовет меня дневальный к начальнику и унтер-офицера одного вызывает. Пришли. "Вам, говорит, в командировку ехать. Вот тебе, – говорит унтер-офицеру, – подручный. Он еще не бывал. Смотрите, не зевать, справьтесь, говорит, ребята молодцами, – барышню вам везти из замка, политичку, Морозову. Вот вам инструкция, завтра деньги получай и с богом!.."

Иванов, унтер-офицер, в старших со мною ехал, а я в подручных, – вот как у меня теперь другой-то жандарм. Старшему сумка казенная дается, деньги он на руки получает, бумаги; он расписывается, счета эти ведет, ну, а рядовой в помощь ему: послать куда, за вещами присмотреть, то, другое.

Ну, хорошо. Утром, чуть свет еще, – от начальника вышли, – гляжу: Иванов мой уж выпить где-то успел. А человек был, надо прямо говорить, не подходящий –

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
разжалован теперь... На глазах у начальства – как следует быть унтер-офицеру, и даже так, что на других кляузы наводил, выслуживался. А чуть с глаз долой, сейчас и завертится, и первым делом – выпить!

Пришли мы в замок, как следует, бумагу подали – ждем, стоим. Любопытно мне – какую барышню везти-то придется, а везти назначено нам по маршруту далеко. По самой этой дороге ехали, только в город уездный она назначена была, не в волость. Вот мне и любопытно в первый-то раз: что, мол, за политичка такая?

Только прождали мы этак с час места, пока ее вещи собирали, – а и вещей-то с ней узелок маленький – юбочка там, ну, то, другое, – сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было; небогатых, видно, родителей, думаю. Только выводят ее – смотрю: молодая еще, как есть ребенком мне показалась. Волосы русые, в одну косу собраны, на щеках румянец. Ну, потом, увидел я – бледная совсем, белая во всю дорогу была. И сразу мне ее жалко стало... Конечно, думаю... Начальство, извините... зря не накажет... Значит, сделала какое-нибудь качество по этой, по политической части... Ну, а все-таки... жалко, так жалко – просто, ну!..

Стала она одеваться: пальто, калоши... Вещи нам ее показали, – правило, значит: по инструкции мы вещи смотреть обязаны. "Деньги, спрашиваем, с вами какие будут?" Рубль двадцать копеек денег оказалось, – старшой к себе взял. "Вас, барышня, – говорит ей, – я обыскать должен".

Как она тут вспыхнет. Глаза загорелись, румянец еще гуще выступил. Губы тонкие, сердитые... Как посмотрела на нас, – верите: оробел я и подступиться не смею. Ну, а старшой, известно, выпивши: лезет к ней прямо. "Я, говорит, обязан; у меня, говорит, инструкция!.."

Как тут она крикнет, – даже Иванов и тот от нее попятился. Гляжу я на нее – лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-презлая... Ногой топает, говорит шибко, – только я, признаться, хорошо и не слушал, что она говорила... Смотритель тоже испугался, воды ей принес в стакане. "Успокойтесь, – просит ее, – пожалуйста, говорит, сами себя пожалейте!" Ну, она и ему не уважила. "Варвары вы, говорит, холопы!" и прочие тому подобные дерзкие слова выражает. Как хотите: супротив начальства это ведь нехорошо. Ишь, думаю, змееныш... Дворянское отродье!

Так мы ее и не обыскивали. Увел ее смотритель в другую комнату, да с надзирательницей тотчас же и вышли они. "Ничего, говорит, при них нет". А она на него глядит и точно вот смеется в лицо ему, и глаза злые все. А Иванов, – известно, море по колена, – смотрит да все свое бормочет: "Не по закону: у меня, говорит, инструкция!.." Только смотритель внимания не взял. Конечно, как он пьяный. Пьяному какая вера!

Поехали. По городу проезжали, – все она в окна кареты глядит, точно прощается либо знакомых увидеть хочет. А Иванов взял да занавески опустил – окна и закрыл. Забилась она в угол, прижалась и не глядит на нас. А я, признаться, не утерпел-таки: взял за край одну занавеску, будто сам поглядеть хочу, – и открыл так, чтобы ей видно было... Только она и не посмотрела – в уголку сердитая сидит, губы закусилась... В кровь, так я себе думал, искушает.

Поехали по железной дороге. Погода ясная этот день стояла – осенью дело это было, в сентябре месяца. Солнце-то светит, да ветер свежий, осенний, а она в вагоне окно открывает, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Иванов мой, как в вагон ввалился, так и захрапел; а я не смею ей сказать. Потом осмелился, подошел к ней и говорю: – Барышня, говорю, закройте окно. – Молчит, будто не ей и говорят. Постоял я тут, постоял, а потом опять говорю: – Простудитесь, барышня, – холодно ведь.

Обернулась она ко мне и уставилась глазищами, точно удивилась чему... Поглядела да и говорит: "Оставьте!" И опять в окно высунулась. Махнул я рукой, отошел в сторону.

Стала она спокойнее будто. Закроет окно, в пальтишко закутается вся, греется. Ветер, говорю, свежий был, студено! А потом опять к окну сядет, и опять на ветру вся, – после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было!.. Верите совести...

Рассказчик замолчал и задумался. Потом продолжал, как будто слегка конфузясь:

– Конечно, не с привычки это... Потом много возил, привык. А тот раз чудно мне показалось: куда, думаю, мы ее везем, дитё этакое... И потом... признаться вам, господин, уж вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить да в жены ее взять... Ведь уж я бы из нее дурь-то эту выкурил. Человек я, тем более, служащий... Конечно, молодой разум... глупый... Теперь могу понимать... Попу тогда на духу рассказал, он говорит: "Вот от этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, верно, и в бога-то не верит..."

От Костромы на тройке ехать пришлось; Иванов у меня пьян-пьянешенек: проспится и опять заливает. Вышел из вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, как бы денег казенных не растерял. Ввалился в почтовую телегу, лег и разом захрапел. Села она рядом, – неловко. Посмотрела на него – ну, точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтобы не тронуть его как-нибудь, – вся в уголку и прижалась, а я-то уж на облучке уселся. Как поехали, – ветер сиверный, – я и то продрог. Закашляла крепко и платок к губам поднесла, а на платке, гляжу, кровь. Так меня будто кто в сердце кольнул булавкой. – Эх, говорю, барышня, – как можно! Больны вы, а в такую дорогу поехали, – осень, холодно!.. Нешто, говорю, можно этак!

Вскинула она на меня глазами, посмотрела, и точно опять внутри у нее закипать стало.

– Что вы, говорит, глупы, что ли? Не понимаете, что я не по своей воле еду? Хорош, говорит: сам везет, да туда же еще, с жалостью суется!

– Вы бы, говорю, начальству заявили, – в больницу хоть слегли бы, чем в этакой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая!

– А куда? – спрашивает.

А нам, знаете, строго запрещено объяснять преступникам, куда их везти приказано. Видит она, что я позамялся, и отвернулась. "Не надо, говорит, это я так... Не говорите ничего, да уж и сами не лезьте".

Не утерпел я. – Вот, говорю, куда вам ехать. Не близко! – Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачал я головой. – Вот то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значит!

Крепко мне досадно было... Рассердился... А она опять посмотрела на меня и говорит:

– Напрасно, говорит, вы так думаете. Знаю я хорошо, что это значит, а в больницу все-таки не слегла. Спасибо! Лучше уж, коли помирать, так на воле у своих. А то, может, еще и поправлюсь, так опять же на воле, а не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, говорит, от ветру я, что ли, заболела, от простуды? Как бы не так! – "Там у вас, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся?" Это я потому, как она мне выразила, что у своих поправляться хочет.

– Нет, говорит, у меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой, да, верно, такие же, как и я, ссыльные есть, товарищи. – Подивился я – как это она чужих людей своими называет, – неужто, думаю, кто ее без денег там поить-кормить станет, да еще незнакомую?.. Только не стал ее расспрашивать, потому вижу я: брови она поднимает, недовольна, зачем я расспрашиваю.

Ладно, думаю... Пушай! Нужды еще не видала. Хлебнет горя, узнает небось, что значит чужая сторона...

К вечеру тучи надвинулись, ветер подул холодный, – а там и дождь пошел. Грязь и прежде была не высохши, а тут до того развезло – просто кисель, не дорога! Спину-то мне как есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Одним словом сказать, что погода, на ее несчастье, пошла самая скверная: дождиком прямо в лицо сечет; оно хоть, положим, кибитка-то крытая, и рогожей я ее закрыл, да куда тут! Течет всюду; продрогла, гляжу: вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные, и не двинется, точно в бесчувствии. Испугался я даже. Вижу: дело-то, выходит, неподходящее, плохое... Иванов пьян – храпит себе, горюшка мало... Что тут делать, тем более я в первый

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
раз.

В Ярославль-город самым вечером приехали. Растолкал я Иванова, на станцию вышли, велел я самовар согреть. А из городу из этого пароходы ходят, только по инструкции нам на пароходах возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгоднее, – экономию загнать можно, да боязно. На пристани, знаете, полицейские стоят, а то и наш же брат, жандарм местный, кляuzu подвести завсегда может. Вот барышня-то и говорит нам: "Я, говорит, далее на почтовых не поеду. Как знаете, говорит, пароходом везите". А Иванов еле глаза продрал с похмелья – сердитый. "Вам об этом, говорит, рассуждать не полагается. Куда повезут, туда и поедете!" Ничего она ему не сказала, а мне говорит:

– Слышали, говорит, что я сказала: не еду.

Отозвал я тут Иванова в сторону. "Надо, говорю, на пароходе везти. Вам же лучше: экономия останется". Он на это пошел, только трусит. "Здесь, говорит, полковник, так как бы чего не вышло. Ступай, говорит, спросись, – мне, говорит, нездоровится что-то". А полковник неподалеку жил. "Пойдем, говорю, вместе и барышню с собой возьмем". Боялся я: Иванов-то, думаю, спать завалится спьяну, так как бы чего не вышло. Чего доброго – уйдет она или над собой что сделает, – в ответ попадешь. Ну, пошли мы к полковнику. Вышел он к нам. "Что надо?" – спрашивает. Вот она ему и объясняет, да тоже и с ним не ладно заговорила. Ей бы попросить смиреннько: так и так, мол, сделайте божескую милость, – а она тут по-своему: "По какому праву", – говорит, ну и прочее; все, знаете, дерзкие слова выражает, которые вы вопче, политики, любите. Ну, сами понимаете, начальству это не нравится. Начальство любит покорность. Однако выслушал он ее и ничего – вежливо отвечает: "Не могу-с, говорит, ничего я тут не могу. По закону-с... нельзя!" Гляжу, барышня-то моя опять раскраснелась, глаза – точно угли. "Закон!" – говорит, и засмеялась по-своему, сердито да громко. "Так точно, – полковник ей, – закон-с!"

Признаться, я тут позабылся немного, да и говорю: "Точно что, вашескорodie, закон, да они, ваше высокоблагородие, больны". Посмотрел он на меня строго. "Как твоя фамилия?" – спрашивает. "А вам, барышня, говорит, если больны вы, – в больницу тюремную не угодно ли-с?" Отвернулась она и пошла вон, слова не сказала. Мы за ней. Не захотела в больницу; да и то надо сказать: уж если на месте не осталась, а тут без денег, да на чужой стороне, точно что не приходится.

Ну, делать нечего. Иванов на меня же накинулся: "Что, мол, теперь будет; непременно из-за тебя, дурака, оба в ответе будем". Велел лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, так к ночи и выезжать пришлось. Подошли мы к ней: "Пожалуйте, говорим, барышня, – лошади поданы". А она на диван прилегла – только согреться стала. Вспрыгнула на ноги, встала перед нами, – выпрямилась вся, – прямо на нас смотрит в упор, даже, скажу вам, жутко на нее глядеть стало. "Проклятые вы", – говорит, – и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: "Ну, говорит, теперь ваша воля, вы меня замучить можете, – что хотите делайте. Еду!" А самовар-то все на столе стоит, она еще и не пила. Мы с Ивановым свой чай заварили, и ей я налил. Хлеб с нами белый был, я тоже ей отрезал. "Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего, хоть согреетесь немного". Она калоши надевала, бросила надевать, повернулась ко мне, смотрела, смотрела, потом плечами повела и говорит:

– Что это за человек такой! Совсем вы, кажется, сумасшедший. Стану я, говорит, ваш чай пить! – Вот до чего мне тогда обидно стало: и посейчас вспомню, кровь в лицо бросается. Вот вы не брезгаете же с нами хлеб-соль есть. Рубанова господина везли, – штаб-офицерский сын, а тоже не брезгал. А она побрезгала. Велела потом на другом столе себе самовар особо согреть, и уж известно: за чай за сахар вдвое заплатила. А всего-то и денег – рубль двадцать!

III

Рассказчик смолк, и на некоторое время в избе водворилась тишина, нарушаемая только ровным дыханием младшего жандарма и шипением метели за окном.

– Вы не спите? – спросил у меня Гаврилов.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Нет, продолжайте, пожалуйста, – я слушаю.

– ...Много я от нее, – продолжал рассказчик, помолчав, – много муки тогда принял. Дорогой-то, знаете, ночью, все дождик, погода злая... Лесом поедешь, лес стоном стонет. Ее-то мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а поверите, – так она у меня перед глазами и стоит, то есть даже до того, что вот, точно днем, ее вижу: и глаза ее, и лицо сердитое, и как она иззябла вся, а сама все глядит куда-то, точно всё мысли свои про себя в голове ворочает. Как со станции поехали, стал я ее тулупом одевать. "Наденьте, говорю, тулуп-то, – все, знаете, теплее". Кинула тулуп с себя. "Ваш, говорит, тулуп, – вы и надевайте". Тулуп, точно что, мой был, да догадался я и говорю ей: "Не мой, говорю, тулуп, казенный, по закону арестованным полагается". Ну, оделась...

Только и тулуп не помог: как рассвело, – глянул я на нее, а на ней лица нет. Со станции опять поехали, приказала она Иванову на облучок сесть. Поворчал он, да не посмел послушаться, тем более – хмель-то у него прошел немного. Я с ней рядом сел.

Трои сутки мы ехали и нигде не ночевали. Первое дело, по инструкции сказано: не останавливаться на ночлег, а "в случае сильной усталости" – не иначе как в городах, где есть караулы. Ну, а тут, сами знаете, какие города!

Приехали-таки на место. Точно гора у меня с плеч долой, как город мы завидели. И надо вам сказать: в конце она почитай что на руках у меня ехала. Вижу – лежит в повозке без чувств; тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплет и ударится. Поднял я ее на руку на правую, так и вез; все легче. Сначала оттолкнула было меня: "Прочь, говорит, не прикасайтесь!" А потом ничего. Может, оттого, что в беспамятстве была... Глаза-то закрыты, веки совсем потемнели, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже так было, что засмеется сквозь сон и просветлеет, прижимается ко мне, к теплomu-то. Верно, ей, бедной, хорошее во сне грезилось. Как к городу подъезжать стали, очнулась, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло, – повеселела... Только из губернии ее далее отправили, в городе в губернском не оставили, и нам же ее дальше везти привелось – тамошние жандармы в разъездах были. Как уезжать нам, – гляжу, в полицию народу набирается: барышни молодые да господа студенты, видно, из ссыльных... И все, точно знакомые, с ней говорят, за руку здороваются, расспрашивают. Денег ей сколько-то принесли, платок пуховый на дорогу, хороший... Проводили...

Ехала веселая, только кашляла часто. А на нас и не смотрела.

Приехали в уездный город, где ей жительство назначено; сдали ее под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. "Здесь, говорит, такой-то?" – "Здесь", – отвечают. Исправнику приехал. "Где, говорит, жить станете?" – "Не знаю, говорит, а пока к Рязанцеву пойду". Покачал он головой, а она собралась и ушла. С нами и не попрощалась...

IV

Рассказчик смолк и прислушался, не сплю ли я.

– Так вы ее больше и не видели?

– Видал, да лучше бы уж не видать было...

...И скоро даже я опять ее увидел. Как приехали мы из командировки, – сейчас нас опять нарядили, и опять в ту же сторону. Студента одного возили, Загряжского. Веселый такой, песни хорошо пел и выпить был не дурак. Его еще дальше послали. Вот поехали мы через город тот самый, где ее оставили, и стало мне любопытно про житье ее узнать. "Тут, спрашиваю, барышня-то наша?" Тут, говорят, только чудная какая-то: как приехала, так прямо к ссыльному пошла, и никто ее после не видел, – у него и живет. Кто говорит: больна она, а то бают: вроде она у него за любовницу живет. Известно, народ болтает... А мне вспомнилось, что она говорила: "Помереть мне у своих хочется". И так мне любопытно стало... и не то что любопытно, а, попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидать ее. От меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Сем схожу...

Пошел, – добрые люди дорогу показали; а жила она в конце города. Домик маленький, дверца низенькая. Вошел я к ссыльному-то к этому, гляжу: чисто у

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
него, комната светлая, в углу кровать стоит, и занавеской угол отгорожен. Книг много, на столе, на полках... А рядом мастерская махонькая, там на скамейке другая постель положена.

Как вошел я, – она на постели сидела, шалью обернута и ноги под себя подобрала, – шьет что-то. А ссыльный... Рязанцев господин по фамилии... рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает. В очках, человек, видно, сурьезный. Шьет она, а сама слушает. Стукнул я дверью, она, как увидела, приподнялась, за руку его схватила, да так и замерла. Глаза большие, темные да страшные... ну, все, как и прежде бывало, только еще бледнее с лица мне показалась. За руку его крепко стиснула, – он испугался, к ней кинулся: "Что, говорит, с вами? Успокойтесь!" А сам меня не видит. Потом отпустила она руку его, – с постели встать хочет. "Прощайте, – говорит ему, – видно, им для меня и смерти хорошей жалко". Тут и он обернулся, увидел меня, – как вскочит на ноги. Думал я – кинется... убьет, пожалуй. Человек, тем более, рослый, здоровый...

Они, знаете, подумали так, что опять это за нею приехали... Только видит он – стою я и сам ни жив ни мертв, да и один. Повернулся к ней, взял за руку. "Успокойтесь, – говорит. – А вам, спрашивает, кавалер, что здесь, собственно, понадобилось?... Зачем пожаловали?"

Я объяснил, что, мол, ничего мне не нужно, а так пришел, сам по себе. Как вез, мол, барышню, и были они нездоровы, так узнать пришел... Ну, он обмяк. А она все такая же сердитая, кипит вся. И за что бы, кажется? Иванов, конечно, человек необходимый. Так я же за нее заступался...

Разобрал он, в чем дело, засмеялся к ней: "Ну вот видите, говорит, я же вам говорил". Я так понял, что уж у них был разговор обо мне... Про дорогу она, видно, рассказывала.

– Извините, говорю, ежели напугал вас... Не вовремя или что... Так я и уйду. Прощайте, мол, не поминайте лихом, добром, видно, не помянете.

Встал он, в лицо мне посмотрел и руку подает.

– Вот что, говорит, поедете назад, свободно будет, – заходите, пожалуй. – А она смотрит на нас да усмехается по-своему, нехорошо.

– Не понимаю я, говорит, зачем ему заходить? И для чего зовете? – А он ей: – Ничего, ничего! Пусть зайдет, если сам опять захочет... Заходите, заходите, ничего!

Не все я, признаться, понял, что они тут еще говорили. Вы ведь, господа, мудрено иной раз промеж себя разговариваете... А любопытно. Ежели бы так остаться, послушать... ну, мне неловко, – как бы чего не подумали. Ушел.

Ну, только свезли мы господина Загряжского на место, едем назад. Призывает исправник старшого и говорит: "Вам тут оставаться вперед до распоряжения; телеграмму получил. Бумаг вам ждать по почте". Ну, мы, конечно, остались.

Вот я опять к ним: дай, думаю, зайду – хоть у хозяев про нее спрошу. Зашел. Говорит хозяин домовый: "Плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы, – потому, собственно, что попа звать не станут". Только стоим мы, разговариваем, а в это самое время Рязанцев вышел. Увидел меня, поздоровался, да и говорит. "Опять пришел? Что ж, войди, пожалуй". Я и вошел тихонько, а он за мной вошел. Поглядела она, да и спрашивает: "Опять этот странный человек!.. Вы, что ли, его позвали?" – "Нет, говорит, не звал я, – сам он пришел". Я не утерпел и говорю ей:

– Что это, говорю, барышня, – за что вы сердце против меня имеете? Или я враг вам какой?

– Враг и есть, говорит, – а вы разве не знаете? Конечно, враг! – Голос у нее слабый стал, тихий, на щеках румянец так и горит, и столь лицо у нее приятное... кажется, на нагляделься бы. Эх, думаю, – не жилища она на свете, – стал прощения просить, – как бы, думаю, без прощения не померла. "Простите меня, говорю, коли вам зло какое сделал". Известно, как по-нашему, по-христиански полагается... А она опять, гляжу, закипает... "Простить! вот еще! Никогда не прощу, и не

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
думайте, никогда! Помру скоро... так и знайте: не простила!"

Рассказчик опять смолк и задумался. Потом продолжал тише и сосредоточеннее:

– Опять у них промежду себя разговор пошел. Вы вот человек образованный, по-ихнему понимать должны, так я вам скажу, какие слова я упомянул. Слова-то запали, и посеичас помню, а смыслу не знаю. Он говорит:

– Видите: не жандарм к вам пришел сейчас... Жандарм вас вез, другого повезет, так это он все по инструкции. А сюда-то его разве инструкция привела? Вы вот что, говорит, господин кавалер, не знаю, как звать вас...

– Степан, – говорю.

– А по батюшке как?

– Петровичем звали.

– Так вот, мол, Степан Петрович. Вы ведь сюда почему пришли? По человечеству? Правда?

– Конечно, говорю, по человечеству. Это, говорю, вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, чтоб к вам заходить без надобности. Начальство узнает – не похвалит.

– Ну, вот видите, – он ей говорит и за руку ее взял. Она руку выдернула.

– Ничего, говорит, не вижу. Это вы видите, чего и нет. А мы с ним вот (это, значит, со мной) люди простые. Враги так враги, и нечего тут антимонии разводиться. Ихнее дело – смотри, наше дело – не зевай. Он, вот видите: стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении все написал...

Повернулся он в мою сторону, смотрит прямо на меня, в очки. Глаза у него острые, а добрые: "Слышите? – мне говорит. – Что же вы скажете?... Впрочем, не объясняйте ничего: я так считаю, что вам это обидно".

Оно, скажем, конечно... по инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я, по присяжной должности, на отца родного донести... Ну, только как я но затем, значит, пришел, то верно, что обидно мне показалось, просто за сердце взяло. Повернулся к дверям, да Рязанцев удержал.

– Погоди, говорит, Степан Петрович, – не уходи еще. – А ей говорит: "Нехорошо это... Ну, не прощайте и не миритесь. Об этом что говорить. Он и сам, может, не прости бы, ежели бы как следует все понял... Да ведь и враг тоже человек бывает... А вы этого-то вот и не признаете. Сек-тан-тка вы, говорит, вот что!"

– Пусть, – она ему, – а вы равнодушный человек... Вам бы, говорит, только книжки читать...

Как она ему это слово сказала, – он, чудное дело, даже на ноги вскочил. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

– Равнодушный? – он говорит. – Ну, вы сами знаете, что неправду сказали.

– Пожалуй, – она ему отвечает. – А вы мне – правду?..

– А я, – говорит, – правду: настоящая вы боярыня Морозова.

Задумалась она, руку ему протянула; он руку-то взял, а она в лицо ему посмотрела-посмотрела, да и говорит: "Да, вы, пожалуй, и правы!" А я стою, как дурак, смотрю, а у самого так и сосет что-то у сердца, так и подступает. Потом обернулась ко мне, посмотрела и на меня без гнева и руку подала. "Вот, говорит, что я вам скажу: враги мы до смерти... Ну, да бог с вами, руку вам подаю, – желаю вам когда-нибудь человеком стать – вполне, не по инструкции... Устала я", – говорит ему.

Я и вышел. Рязанцев тоже за мной вышел. Стали мы во дворе, и вижу я: на глазах у него будто слеза поблескивает.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Вот что, говорит, Степан Петрович. Долго вы еще тут пробудете?

– Не знаю, говорю, может, и еще дня три, до почты.

– Ежели, говорит, еще зайти захотите, так ничего, зайдите. Вы, кажется, говорит, человек, по своему делу, ничего...

– Извините, говорю, напугал...

– То-то, говорит, уж вы лучше хозяйке сначала скажите.

– А что я хочу спросить, говорю: вы вот про боярыню говорили, про Морозову. Они, значит, боярского роду?

– Боярского, говорит, или не боярского, а уж порода такая: сломать ее, говорит, можно... Вы и то уж сломали... Ну, а согнуть, – сам, чай, видел: не гнутся этикие.

На том и попрощались.

V

...Померла она скоро. Как хоронили ее, я и не видал – у исправника был. Только на другой день ссыльного этого встретил; подошел к нему – гляжу: на нем лица нет...

Росту он был высокого, с лица сурьезный, да ранее приветливо смотрел, а тут зверем на меня, как есть, глянул. Подал было руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. "Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, бога ради, уйди!.." Опустил голову, да и пошел, а я на фатеру пришел, и так меня засосало, – просто пиши дня два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченый.

На другой день исправник призвал нас и говорит: "Можете, говорит, теперь отправляться: пришла бумага, да поздно". Видно, опять нам ее везти пришлось бы, да уж бог ее пожалел: сам убрал.

...Только что еще со мной после случилось, – не конец ведь еще. Назад едучи, приехали мы на станцию одну... Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая и говорливая. Все хозяйке про свои дела рассказывает: "Вот, говорит, собрала я пожитки, дом-то, по наследству который достался, продала и поехала к моей голубке. То-то обрадуется! Уж и побранит, рассердится, знаю, что рассердится, – а все же рада будет. Писала мне, не велела приезжать. Чтобы даже ни в коем случае не смела я к ней ехать. Ну, да ничего это!"

Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. "Что за старушка?" – спрашиваю у девки-прислуги. "А это, говорит, самой той барышни, что вы тот раз везли, матушка родная будет". Тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лицо расстроился, спрашивает: "Что, говорит, служивый, с тобой?"

– Тише, говорю, что орешь... барышня-то померла.

Тут она, девка эта, – и девка-то, надо сказать, гулящая была, с проезжающими баловала, – как всплеснет руками да как заплачет, и из избы вон. Взял и я шапку, да и сам вышел, – слышал только, как старуха в зале с хозяйкой все болтают, и так мне этой старухи страшно стало, так страшно, что и выразить невозможно. Побрел я прямо по дороге, – после уж Иванов меня догнал с телегой, я и сел.

VI

...Вот какое дело!.. А исправник донес, видно, начальству, что я к ссыльным ходил, да и полковник костромской тоже донес, как я за нее заступался, – одно к одному и подошло. Не хотел меня начальник и в унтер-офицеры представлять. "Какой ты, говорит, унтер-офицер, – баба ты! В карцер бы тебя, дурака!" Только я в это время в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

и все я эту барышню сердитую забыть не мог, да и теперь то же самое: так и стоит, бывает, перед глазами.

Что бы это значило? Кто бы мне объяснил? Да вы, господин, не спите?

Я не спал... Глубокий мрак закинутой в лесу избышки томил мою душу, и скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури...

1880

Сон Макара

Святочный рассказ

I

Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие, угрюмые страны, – тот самый Макар, на которого, как известно, валяются все шишки.

Его родина – глухая слободка Чалган – затерялась в далекой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промерзшей земли, и хотя угрюмая чаща все еще стояла кругом враждебной стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькие дымные юртенки: наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большою слободой.

Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали.

Как бы то ни было, все же мой Макар твердо помнил, что он коренной чалганский крестьянин. Он здесь родился, здесь жил, здесь же предполагал умереть. Он очень гордился своим званием и иногда ругал других "погаными якутами", хотя, правду сказать, сам он не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах торбаса, питался в обычное время одною лепешкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил очень искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь.

Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрестанных забот о лепешке и чае?

Да, были.

Когда он бывал пьян, он плакал. "Какая наша жизнь, – говорил он, – господи боже!" Кроме того, он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти на "гору". Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молоть зерно на ручном жернове. Он будет только спасаться. Какая это юра, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко, – так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику... Податей платить, понятно, он также не будет...

Трезвый он оставлял эти мысли, быть может сознавая невозможность найти такую чудную гору; но пьяный становился отважнее. Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. "Тогда пропадать буду", говорил он, но все-таки собирался; если же не приводил этого намерения в исполнение, то, вероятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоящую, для крепости, на махорке, от которой он вскоре впадал в бессилие и становился болен.

II

Дело было в канун рождества, и Макару было известно, что завтра большой

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
праздник. По этому случаю его томило желание выпить, но выпить было не на что: хлеб был в исходе; Макар уже задолжал у местных купцов и у татар. Между тем завтра большой праздник, работать нельзя, - что же он будет делать, если не напьется? Эта мысль делала его несчастным. Какая его жизнь! Даже в большой зимний праздник он не выпьет одну бутылку водки!

Ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал и надел свою рваную сону (шубу). Его жена, крепкая, жилистая, замечательно сильная и столь же замечательно безобразная женщина, знавшая насквозь все его нехитрые помышления, угадала и на этот раз его намерение.

- Куда, дьявол? Опять один водку кушать хочешь?

- Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вместе выпьем. - Он хлопнул ее по плечу так сильно, что она покачулась, и лукаво подмигнул. Таково женское сердце: она знала, что Макар непременно ее надует, но поддалась обаянию супружеской ласки.

Он вышел, поймал в аласе старого лысанку, привел его за гриву к саням и стал запрягать. Вскоре лысанка вынес своего хозяина за ворота. Тут он остановился и, повернув голову, вопросительно поглядел на погруженного в задумчивость Макара. Тогда Макар дернул левою вожжой и направил коня на край слободы.

На самом краю слободы стояла небольшая юртенка. Из нее, как и из других юрт, поднимался высоко-высоко дым камелька, застилая белую, волнующуюся массу холодные звезды и яркий месяц. Огонь весело переливался, отсвечивая сквозь матовые льдины. На дворе было тихо.

Здесь жили чужие, дальние люди. Как попали они сюда, какая непогода кинула их в далекие дебри, Макар не знал и не интересовался, но он любил вести с ними дела, так как они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя в юрту, Макар тотчас же подошел к камельку и протянул к огню свои иззябшие руки.

- Ча! - сказал он, выражая тем ощущение холода.

Чужие люди были дома. На столе горела свеча, хотя они ничего не работали. Один лежал на постели и, пуская кольца дыма, задумчиво следил за его завитками, видимо связывая с ними длинные нити собственных дум. Другой сидел против камелька и тоже вдумчиво следил, как перебежали огни по нагоревшему дереву.

- Здорово! - сказал Макар, чтобы прервать тяготившее его молчание.

Конечно, он не знал, какое горе лежало на сердце чужих людей, какие воспоминания теснились в их головах в этот вечер, какие образы чудились им в фантастических переливах огня и дыма. К тому же у него была своя забота.

Молодой человек, сидевший у камелька, поднял голову и посмотрел на Макара смутным взглядом, как будто не узнавая его. Потом он тряхнул головой и быстро поднялся со стула.

- А, здорово, здорово, Макар! Вот и отлично! Напьешься с нами чаю?

Макару предложение понравилось.

- Чаю? - переспросил он. - Это хорошо!.. Вот, брат, хорошо... Отлично!

Он стал живо разоблачаться. Сняв шубу и шапку, он почувствовал себя развязнее, а увидав, что в самоваре запылали уже горячие угли, обратился к молодому человеку с излиянием:

- Я вас люблю, верно!.. Так люблю, так люблю... Ночи не сплю...

Чужой человек повернулся, и на лице его появилась горькая улыбка.

- А, любишь? - сказал он. - Что же тебе надо?

Макар замялся.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

– Есть дело, – ответил он. – Да ты почем узнал?.. Ладно. Ужо, чай выпью, скажу.

Так как чай был предложен Макару самими хозяевами, то он счел уместным пойти далее.

– Нет ли жареного? Я люблю, – сказал он.

– Нет.

– Ну, ничего, – сказал Макар успокоительным тоном, – съем в другой раз... Верно?
– переспросил он, – в другой раз?

– Ладно.

Теперь Макар считал за чужими людьми в долгу кусок жареного мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Через час он опять сел в свои дровни. Он добыл целый рубль, продав вперед пять возов дров на сходных сравнительно условиях. Правда, он клялся и божился, что не пропьет этих денег сегодня, а сам намеревался это сделать немедленно. Но что за дело? Предстоящее удовольствие заглушало укоры совести. Он не думал даже о том, что пьяному ему предстоит жестокая трепка от обманутой верной супруги.

– Куда же ты, Макар? – крикнул, смеясь, чужой человек, видя, что лошадь Макара, вместо того чтобы ехать прямо, свернула влево, по направлению к татарам.

– Тпру-у!.. Тпру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда едет! – оправдывался Макар, все-таки крепко натягивая левую вожжу и незаметно подхлестывая лысанку правой.

Умный конек, помахивая укоризненно хвостом, тихо поковылял в требуемом направлении, и вскоре скрип Макаровых полозьев затих у татарских ворот.

III

У татарских ворот стояли на привязи несколько коней с высокими якутскими седлами.

В тесной избе было душно. Резкий дым махорки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком. За столами и на скамейках сидели приезжие якуты; на столах стояли чашки с водкой; кое-где помещались кучки играющих в карты. Лица были потны и красны. Глаза игроков дико следили за картами. Деньги вынимались и тотчас же прятались по карманам. В углу, на соломе, пьяный якут покачивался сидя и тянул бесконечную песню. Он выводил горлом дикие скрипучие звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздник, а сегодня он пьян.

Макар отдал деньги, и ему дали бутылку. Он сунул ее за пазуху и незаметно для других отошел в темный угол. Там он наливал чашку за чашкой и тянул их одна за другой. Водка была горькая, разведенная, по случаю праздника, водой более чем на три четверти. Зато махорки, видимо, не жалели. У Макара каждый раз захватывало на минуту дыхание, а в глазах ходили какие-то багровые круги.

Вскоре он опьянел. Он тоже опустил на солому и, обхватив руками колени, положил на них отяжелевшую голову. Из его горла сами собой полились те же нелепые скрипучие звуки. Он пел, что завтра праздник и что он выпил пять возов дров.

Между тем, в избе становилось все теснее и теснее. Входили новые посетители – якуты, приехавшие молиться и пить татарскую водку. Хозяин увидел, что скоро не хватит всем места. Он встал из-за стола и окинул взглядом собрание. Взгляд этот проник в темный угол и увидел там якута и Макара.

Он подошел к якуту и, взяв его за шиворот, вышвырнул вон из избы. Потом подошел к Макару. Ему, как местному жителю, татарин оказал больше почета: широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногою такого леща, что Макар вылетел из избы и ткнулся носом прямо в сугроб снега.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Трудно сказать, был ли он оскорблен подобным обращением. Он чувствовал, что в рукавах у него снег, снег на лице. Кое-как выбравшись из сугроба, он поплелся к своему лысанке.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала опускаться хвост книзу. Мороз крепчал. По временам на севере, из-за темного полукруглого облака, вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшегося северного сияния.

Лысанка, видимо понимавший положение хозяина, осторожно и разумно поплелся к дому. Макар сидел на дровнях, покачиваясь, и продолжал свою песню. Он пел, что выпил пять возов дров и что старуха будет его колотить. Звуки, вырывавшиеся из его горла, скрипели и стонали в вечернем воздухе так уныло и жалобно, что у чужого человека, который в это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубу камелька, стало от Макаровой песни еще тяжелее на сердце. Между тем, лысанка вынес дровни на холмик, откуда видны были окрестности. Снега ярко блестели, облитые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели, и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднелась под самую тайгой снежная плешь Ямалахского холмика, за которым в тайге у него поставлены были ловушки для всякого лесного зверя и птицы.

Это изменило ход его мыслей. Он запел, что в ловушку его попала лисица. Он продаст завтра шкуру, и старуха не станет его колотить.

В морозном воздухе раздался первый удар колокола, когда Макар вошел в избу. Он первым словом сообщил старухе, что у них в плашку попала лисица. Он совсем забыл, что старуха не пила вместе с ним водки, и был сильно удивлен, когда, невзирая на радостное известие, она немедленно нанесла ему ногою жесткий удар пониже спины. Затем, пока он повалился на постель, она еще успела толкнуть его кулаком в шею.

Над Чалганом, между тем, несся, разливаясь далеко-далеко, торжественный праздничный звон.

IV

Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло, точно огнем. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега; такие же струйки стекали и по спине.

Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку; он даже знал, в которую именно. Он ее видел, – видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, прорываясь сквозь чашу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу.

Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.

Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его соны, и он опять брошен на постель?

Нет, вот он уже за слободю. Полозья ровно поскрипывают по крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несется торжественный гул церковного колокола, а над темною чертой горизонта на светлом небе мелькают черными силуэтами вереницы якутских всадников, в высоких, остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.

Между тем, луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, приснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало черно, чернее тайги, к которой приближался Макар.

Дорога вилась между мелкою, частою порослью. Направо и налево подымались холмы. Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц были опушены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, прорываясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную поляну, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запущенных снегом...

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Мгновение – и все опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.

Макар остановился. В этом месте, почти на самую дорогу, выдвигалось начало целой системы ловушек. При фосфорическом свете ему была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую плаху – три тяжелые длинные бревна, упертые на отвесном колу и поддерживаемые довольно хитрою системой рычагов с волосяными веревочками.

Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть и в чужие. Макар торопливо сошел с дровней, оставил умного лысанку на дороге и чутко прислушался.

В тайге ни звука. Только из далекой, невидной теперь слободы несся по-прежнему торжественный звон.

Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алешка чалганец, сосед и кровный враг Макара, наверное, был теперь в церкви. Не было видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.

Он пустился в чащу, – ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи стоят рядами, точно ряды пушек с открытыми жерлами, в безмолвном ожидании.

Он прошел взад и вперед, – напрасно. Он направился опять на дорогу.

Но, чу!.. Легкий шорох... В тайге мелькнула красноватая шерсть, на этот раз в освещенном месте, так близко!.. Макар ясно видел острые уши лисицы; ее пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как будто заманивая Макара в чащу. Она исчезла между стволами, в направлении Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронесся глухой, но сильный удар. Он прозвучал сначала отрывисто, глухо, потом как будто отдался под навесом тайги и тихо замер в далеком овраге.

Сердце Макара забилося. Это упала плаха.

Он бросился, пробираясь сквозь чащу. Холодные ветви били его по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало дыхание.

Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил. Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам, а внизу, суживаясь, маячила дорожка, и в конце ее насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вот на дорожке, около плахи мелькнула фигура, – мелькнула и скрылась. Макар узнал чалганца Алешку: ему ясно была видна его небольшая коренастая фигура, согнутая вперед, с походкой медведя. Макару казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнее, а большие зубы оскалились еще более, чем обыкновенно.

Макар чувствовал искреннее негодование. "Вот подлец!.. Он ходит по моим ловушкам". Правда, Макар и сам сейчас только прошел по плахам Алешки, но тут была разница... Разница состояла в том, что, когда он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым; когда же по его плахам ходили другие, он чувствовал негодование и желание самому настигнуть нарушителя его прав.

Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица. Алешка своею развалистою, медвежьей походкой направлялся туда же. Надо было поспевать ранее.

Вот и лежащая плаха. Под нею краснеет шерсть прихлопнутого зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми, горящими глазами.

– Тытыма (не тронь)!.. Это мое! – крикнул Макар Алешке.

– Тытыма! – отдался, точно эхо, голос Алешки. – Мое!

Они оба побежали в одно время и торопливо, наперебой, стали подымать плаху, освобождая из-под нее зверя. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым взглядом, потом, загнув морду, лизнула прищемленное бревном место и весело побежала вперед, приветливо виляя хвостом.

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Алешка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу соны.

– Тытыма! – крикнул он, – это мое! – и сам побежал вслед за лисицей.

– Тытыма! – опять эхом отдался голос Алешки, и Макар почувствовал, что тот схватил его, в свою очередь, за сону и в одну секунду опять выбежал вперед.

Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алешкой.

Они бежали все быстрее. Ветка лиственницы сдернула шапку с головы Алешки, но тому некогда было подымать ее; Макар уже настигал его с яростным криком. Но Алешка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг остановился, повернулся и нагнул голову. Макар ударился в нее животом и кувыркнулся в снег. Пока он падал, проклятый Алешка схватил с головы Макара шапку и скрылся в тайге.

Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно побитым и несчастным. Нравственное состояние было отвратительно. Лисица была в руках, а теперь... Ему казалось, что в потемневшей чаще она насмешливо вильнула еще раз хвостом и окончательно скрылась.

Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него, как-то устало и томно, лились еще замиравшие лучи сияния.

По разгоряченному телу Макара бежали целые потоки острых струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник соны, стекал по спине, лился за торбаса. Проклятый Алешка унес с собой его шапку. Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки.

Он шел уже долго. По его расчетам он давно должен бы уже выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он все кружил по тайге. Чаща, точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился все тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идет на него, но звон все удалялся, и, по мере того, как его переливы доносились все тише и тише, в сердце Макара вступало тупое отчаяние.

Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое тело ныло тупую болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги коченели. Обнаженную голову стягивало точно раскаленными обручами.

"Пропадать буду, однако!" – все чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он все шел.

Тайга молчала. Она только смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.

"Пропадать буду, однако!" – все думал Макар.

Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В одном месте на прогалину выбежал белый ушкан (заяц), сел на задние лапки, повел длинными ушами с черными отметинками на концах и стал умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он отлично знает его, Макара, – знает, что он и есть тот самый Макар, который настроил в тайге хитрые машины для его, зайца, гибели. Но теперь он над ним издевался.

Макару стало горько. Между тем тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и хватали его за волосы, били по глазам, по лицу. Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными круглыми глазами, а косачи бегали между ними, с распушенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями, и громко рассказывали самкам про него, Макара, и про его козни. Наконец в дальних чащах замелькали тысячи лисьих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились перед ними на задние лапки и хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.

Это было уже слишком.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
"пропадать буду!" - подумал Макар и решил сделать это немедленно.

Он лег в снег.

Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далекого Чалгана.

Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.

И Макар умер.

V

Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не выходило.

Между тем, он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго, - так долго, что ему надоело.

Было совершенно темно, когда Макар почувствовал, что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли над ним, смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ. Мохнатые ели вытягивали своя широкие, покрытые снегом лапы и тихо-тихо качались. В воздухе так же тихо садились лучистые снежинки.

Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: "Вот, видите, бедный человек умер".

Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на меховом бергесе (шапке), на плечах, в длинной бороде попа Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому четыре года.

Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет руги, никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему плату за крестины и за молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил маловато, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денег, поп Иван сам посылал за бутылкой, и они пили вместе. Попик напивался непременно до положения риз, но при этом дрался очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и беззащитного, домой на попечение матушки-попадьи.

Да, это был добрый попик, но умер он нехорошою смертью. Однажды, когда все вышли из дому и пьяный попик остался один лежать на постели, ему вздумалось покурить. Он встал и, шатаясь, подошел к огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Он был слишком уж пьян, покачнулся и упал в огонь. Когда пришли домочадцы, от попа остались лишь ноги.

Все жалели доброго попа Ивана; но так как от него остались одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги похоронили, а на место попа Ивана назначили другого. Теперь этот попик, в целом виде, стоял над Макаром и поталкивал его ногою.

- Вставай, Макарушко, - говорил он. - Пойдем-ка.

- Куда я пойду? - спросил Макар с неудовольствием.

Он полагал, что раз он "пропал", его обязанность - лежать спокойно, и ему нет надобности идти опять по тайге, бродя без дороги. Иначе зачем было ему пропадать?

- Пойдем к большому Тойону. [Тойон - господин, хозяин, начальник.]

- Зачем я пойду к нему? - спросил Макар.

- Он будет тебя судить, - сказал попик скорбным и несколько умиленным голосом.

Макар вспомнил, что действительно после смерти надо идти куда-то на суд. Он это слышал когда-то в церкви. Значит, попик был прав. Приходилось подняться.

И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.

Попик шел впереди, Макар за ним. Шли они все прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.

Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остается следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов: снег был чист и гладок, как скатерть.

Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим ловушкам, так как никто об этом не может узнать; но попик, угадавший, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:

– Кабысь (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.

– Ну, ну! – ответил недовольно Макар. – Уж нельзя и подумать! Что ты нынче такой стал строгий? Молчи уж!..

Попик покачал головой и пошел дальше.

– Далеко ли идти? – спросил Макар.

– Далеко, – ответил попик сокрушенно.

– А чего будем есть? – спросил опять Макар с беспокойством.

– Ты забыл, – ответил попик, повернувшись к нему, – что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том случае, когда нечего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал тотчас после своей смерти. А идти, да еще идти далеко, и не есть ничего, это казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заворчал.

– Не ропщи! – сказал попик.

– Ладно! – ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: "Человека заставляют ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?"

Он был недоволен все время, следуя за попом. А шли они, по-видимому, долго. Правда, Макар не видел еще рассвета, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они оставили за собой падей и сопок [падь – ущелье, овраг между горами. Сопка – остроконечная гора.], рек и озер, так много прошли они лесов и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и быстро скрывались за горизонтом.

Они как будто поднимались все выше. Звезды становились все больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто торопилась уйти, но Макар с попиком ее нагоняли. Наконец она вновь стала подыматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому месту.

Теперь стало светло – гораздо светлее, чем при начале ночи. Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звездам. Звезды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла, как солнце, освещая равнину от края и до края.

На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежинка. По ней пролегалo множество дорог, и все они сходились к одному месту на востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
Вдруг Макар, внимательно всматривавшийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.

– Пстой, пстой! – кричал попик, но Макар даже не слышал. Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увел у него пегого коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом коне. Конь так и взвизгивался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной пыли, сверкавшей разноцветными переливами звездных лучей. Макар удивился при виде этой бешеной скачки, как мог он, пеший, так легко догнать конного татарина. Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с большою готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.

– Пойдем к старосте, – кричал он, – это мой конь. Правое ухо у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом коне, а хозяин идет пешком, точно нищий.

– Пстой! – сказал на это татарин. – Не надо к старосте. Твой конь, говоришь?.. Ну, и бери его! Проклятая животина! Пятый год еду на ней, и все как будто ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют меня; хорошему татарину даже стыдно.

И он занес ногу, чтобы сойти с седла, но в это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.

– Несчастный! – вскричал он. – Что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?

– Конечно, обманывает, – вскричал Макар, размахивая руками, – конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за нее сорок рублей еще по третьей траве... Не-ет, брат! Если ты испортил коня, я его зарежу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что – татарин, так и нет на тебя управы?

Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил его:

– Тише, тише, Макар! Ты все забываешь, что ты уже умер... Зачем тебе конь? да, притом, разве ты не видишь, что пешком ты подвигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать целых тысячу лет?

Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.

"Хитрый народ!" – подумал он и обратился к татарину:

– Ладно уж! Поезжай на коне, а я, брат, сделаю на тебя прошение.

Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но пока Макар с попом не тронулись, татарин не уехал от них и пяди.

Он сердито плюнул и обратился к Макару:

– Послушай, догор (приятель), нет ли у тебя листочка махорки? Страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года назад.

– Собака тебе приятель, а не я! – сердито ответил Макар. – Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не будет жалко.

И с этими словами Макар тронулся далее.

– А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки, – сказал ему поп Иван. – За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.

– Так что ж ты не сказал мне этого ранее? – огрызнулся Макар.

– Да уж теперь поздно учить тебя. Ты должен был узнать об этом от своих попов при жизни.

Макар осердился. От попов он не видал никакого толку: получают ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листок табаку, чтобы получить отпущение

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего за один листочек!.. Это ведь чего-нибудь
стоит!

– Пстой, – сказал он. – Будет с нас одного листочка, а остальные четыре я отдам
сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.

– Оглянись, – сказал попик.

Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная равнина. Татарин
мелькнул на одну секунду далекою точкой. Макару казалось, что он увидел, как
белая пыль летит из-под копыт его пегашки, но через секунду и эта точка исчезла.

– Ну, ну, – сказал Макар. – Будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты:
испортил коня, проклятый!

– Нет, – сказал попик, – он не испортил твоего коня, но конь этот краденый.
Разве ты не слышал от стариков, что на краденном коне далеко не уедешь?

Макар действительно слышал это от стариков, но так как во время своей жизни
видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до самого города, то,
понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он пришел к убеждению, что и
старики говорят иногда правду.

И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они мчались так же
быстро, как и первый. Кони летели, как птицы, всадники были в поту, а между тем
Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.

Большую частью это были татары, но попадались и коренные чалганцы; некоторые из
последних сидели на краденых быках и подгоняли их талинками.

Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз ворчал, что этого им еще мало.
Когда же он встречался с чалганцами, то останавливался и благодушно беседовал с
ними: все-таки это были приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал свое
участие тем, что, подняв на дороге талинку, усердно подгонял сзади быков и
коней; но лишь только сам он делал несколько шагов, как уже всадники оставались
сзади чуть заметными точками.

Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли всадников и пеших людей, а
между тем вокруг все казалось пусто. Между каждыми двумя путниками лежали как
будто целые сотни или даже тысячи верст.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик; он был, очевидно,
чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по походке, но Макар не мог
припомнить, чтоб он когда-либо прежде его видел. На старике была рваная сона,
большой ухастый бергес, тоже рваный, кожаные старые штаны и рваные телячьи
торбаса. Но, что хуже всего, – несмотря на свою старость, – он тащил на плечах
еще более древнюю старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно
дышал, заплетался и тяжело налегал на палку. Макару стало его жалко. Он
остановился. Старик остановился тоже.

– Капсе (говори)! – сказал Макар приветливо.

– Нет, – ответил старик.

– Что слышал?

– Ничего не слышал.

– Что видел?

– Ничего не видал.

Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным расспросить старика, кто он и
откуда плетется.

Старик назвался. Давно уже, – сам он не знает, сколько лет назад, – он оставил
Чалган и ушел на "гору" спасаться. Там он ничего не делал, ел только морошку и
корни, не пахал, не сеял, не молот на жернове хлеба и не платил податей. Когда

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik он умер, то пришел к Тойону на суд. Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушел на "гору" и спасался. "Хорошо, - сказал Тойон, - а где же твоя старуха? Поди, приведи сюда твою старуху". И он пошел за старухой, а старуха перед смертью побиралась, и ее некому было кормить, и у нее не было ни дома, ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь должен тащить к Тойону старуху на себе.

Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым голосом:

– Неси!

Макару стало еще более жаль старика, и он порадовался от души, что ему не удалось уйти на "гору". Его старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднее. А если бы, вдобавок, она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заехала бы до второй смерти.

Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь догору, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить старухины ноги, чтобы они не остались у него в руках. В одну минуту старик со своей ношей исчезли из виду.

В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как вьючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые якутские тойоны тряслись, сидя на высоких седлах, точно башни, задевая за облака высокими шапками. Тут же, рядом, вприпрыжку бежали бедные комночнты (работники), поджарые и легкие, как зайцы. Шел мрачный убийца, весь в крови, с дико блуждающим взором. Напрасно кидался он в чистый снег, чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обагрался кругом, как кипень, а пятна на убийце выступали яснее, и в его взоре виднелись дикое отчаяние и ужас. И он все шел, избегая чужих испуганных взглядов.

А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе, точно птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выживали их из одного чалгана чуть не сотнями. Поравнявшись с убийцей, они испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго еще после того слышался в воздухе быстрый, тревожный звон их маленьких крыльев.

Макар не мог не заметить, что он подвигается сравнительно с другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.

– Слушай, агабыт (отец), - сказал он, - как ты думаешь? Я хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня любит...

Он пытливо взглянул на попу Ивана. У него была задняя мысль: вывести кое-что от старого попика. Но тот сказал кратко:

– Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.

Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто стало светать. Прежде всего, из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились Долу.

И из-за них вышло солнце и стало на их золотистых хребтах и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая,

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik давно знакомая песня, которую земля каждый раз приветствует солнце. Но Макар никогда еще не обращал на нее должного внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.

Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать...

Но поп Иван тронул его за рукав.

– Войдем, – сказал он. – Мы пришли.

Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотелось идти, но – делать нечего – он повиновался.

VI

Они вошли в хорошую, просторную избу, и, только войдя сюда, Макар заметил, что на дворе был сильный мороз. Посредине избы стоял камелек чудной резной работы, из чистого серебра, и в нем пылали золотые поленья, давая ровное тепло, сразу проникавшее все тело. Огонь этого чудного камелька не резал глаз, не жег, а только грел, и Макару опять захотелось вечно стоять здесь и греться. Поп Иван также подошел к камельку и протянул к нему иззябшие руки.

В избе было четверо дверей, из которых только одна вела наружу, а в другие то и дело входили и выходили какие-то молодые люди в длинных белых рубахах. Макар подумал, что это, должно быть, работники здешнего Тойона. Ему казалось, что он где-то их уже видел, но не мог вспомнить, где именно. Немало удивляло его то обстоятельство, что у каждого работника на спине болтались большие белые крылья, и он подумал, что, вероятно, у Тойона есть еще другие работники, так как эти, наверное, не могли бы с своими крыльями пробираться сквозь чащу тайги для рубки дров или жердей.

Один из работников подошел к камельку и, повернувшись к нему спиной, заговорил с попом Иваном:

– Говори!

– Нечего, – отвечал попик.

– Что ты слышал на свете?

– Ничего не слышал.

– Что видел?

– Ничего не видал.

Оба помолчали, и тогда поп сказал:

– Привел вот одного.

– Это чалганец? – спросил работник.

– Да, чалганец.

– Ну, значит, надо приготовить большие весы.

И он ушел в одну из дверей, чтобы распорядиться, а Макар спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие?

– Видишь, – ответил поп несколько смущенно, – весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какое ты сделал при жизни. У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравнивают чашки; у одних чалганцев грехов так много, что для них Тойон велел сделать особые весы с громадной чашкой для грехов.

От этих слов у Макара как будто скребнуло по сердцу. Он стал робеть.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Работники внесли и поставили большие весы. Одна чашка была золотая и маленькая, другая – деревянная, громадных размеров. Под последней вдруг открылось глубокое черное отверстие.

Макар подошел и тщательно осмотрел весы, чтобы не было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочем, он не вполне понимал их устройство и предпочел бы иметь дело с безменом, на котором в течение долгой жизни он отлично выучился и продавать, и покупать с некоторой выгодой для себя.

– Тойон идет, – сказал вдруг поп Иван и стал быстро обдергивать ряску.

Средняя дверь отворилась, и вошел старый-престарый Тойон, с большою серебристою бородой, спускавшеюся ниже пояса. Он был одет в богатые, неизвестные Макару меха и ткани, а на ногах у него были теплые сапоги, обшитые плисом, какие Макар видел на старом иконописце.

И при первом же взгляде на старого Тойона Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Только тут с ним не было сына; Макар подумал, что, вероятно, последний ушел по хозяйству. Зато голубь влетел в комнату и, покругившись у старика над головою, сел к нему на колени. И старый Тойон гладил голубя рукою, сидя на особо приготовленном для него стуле.

Лицо старого Тойона было доброе, и, когда у Макара становилось слишком уж тяжело на сердце, он смотрел на это лицо, и ему становилось легче.

А на сердце у него становилось тяжело потому, что он вспомнил вдруг всю свою жизнь до последних подробностей, вспомнил каждый свой шаг, и каждый удар топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обман, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но, взглянув в лицо старого Тойона, он ободрился.

А ободрившись, подумал, что, быть может, кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойон посмотрел на него и спросил, кто он, и откуда, и как зовут, и сколько ему лет от роду.

Когда Макар ответил, старый Тойон спросил:

– Что сделал ты в своей жизни?

– Сам знаешь, – ответил Макар. – У тебя должно быть записано.

Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действительно ли у него записано все.

– Говори сам, не молчи! – сказал старый Тойон.

И Макар опять ободрился.

Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил каждый удар топора, и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сохой, но он прибавлял целые тысячи жердей, и сотни возов дров, и сотни бревен, и сотни пудов посева.

Когда он все перечислил, старый Тойон обратился к попу Ивану:

– Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макар увидел, что поп Иван служит у Тойона суруксутом (писарем), и очень осердился, что тот по-приятельски не сказал ему об этом раньше.

Поп Иван принес большую книгу, развернул ее – и стал читать.

– Загляни-ка, – сказал старый Тойон, – сколько жердей?

Поп Иван посмотрел и сказал с прискорбием:

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Он прибавил целых тринадцать тысяч.

– Врет он! – крикнул Макар запальчиво. – Он, верно, ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошою смертью!

– Замолчи ты! – сказал старый Тойон. – Брал ли он с тебя лишнее за крестины или за свадьбы? Вымогал ли он ругу?

– Что говорить напрасно! – ответил Макар.

– Вот видишь, – сказал Тойон, – я знаю и сам, что он любил выпить...

И старый Тойон осердился.

– Читай теперь его грехи по книге, потому что он обманщик, и я ему не верю, – сказал он попу Ивану.

А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказалось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко-высоко, и ее нельзя было достать руками, и молодые божьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула ее веревками вниз.

Тяжела была работа чалганца!

А поп Иван стал вычитывать обманы, и оказалось, что обманов было – двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три обмана; и поп стал высчитывать, сколько Макар выпил бутылок водки, и оказалось – четыреста бутылок; и поп читал далее, а Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую и что она опускается уже в яму, и пока поп читал, она все опускалась.

Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо, и, подойдя к весам, попытался незаметно поддержать чашку ногою. По один из работников увидел это, и у них вышел шум.

– Что там такое? – спросил старый Тойон.

– Да вот он хотел поддержать весы ногою, – ответил работник.

Тогда Тойон гневно обратился к Макару и сказал:

– Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница... И за тобой осталась недоимка, и поп за тобою считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами!..

И, обратясь к попу Ивану, старый Тойон спросил:

– Кто в Чалгане кладет на лошадей более всех клади и кто гоняет их всех больше?

Поп Иван ответил:

– Церковный трапезник. Он гоняет почту и возит исправника.

Тогда старый Тойон сказал:

– Отдать этого ленивца трапезнику в мерины, и пусть он возит на нем исправника, пока не заедит... А там мы посмотрим.

И только что старый Тойон сказал это слово, как дверь отворилась и в избу вошел сын старого Тойона и сел от него по правую руку.

И сын сказал:

– Я слышал твой приговор... Я долго жил на свете и знаю тамошние дела: тяжело будет бедному человеку возить исправника! Но... да будет!.. Только, может быть, он еще что-нибудь скажет. Говори, барахсан (бедняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара: один говорил, другой слушал и удивлялся. Он не верил своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другим вперегонку и потом становились длинными, стройными рядами. Он не робел. Если ему и случалось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное – чувствовал сам, что говорил убедительно.

Старый Тойон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким казался сначала. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дергать Макара за полу соны, но Макар отмахнулся и продолжал по-прежнему. Потом и попик перестал пугаться и даже расцвел улыбкой, видя, что его прихожанин режет правду и что эта правда приходится по сердцу старому Тойону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями, жившие у старого Тойона в работниках, приходили из своей половины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, поталкивая друг друга локтями.

Он начал с того, что не желает идти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжелой работы, а потому, что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он ему не подчинится и не поведет даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают, что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные комночнты, – он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.

– Кто тебя гонял? – спросил старый Тойон с сердцем.

Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!.. Скотина идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят... И он также... Разве он знал, что поп читает в церкви и за что идет ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?

Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

– Сколько, говоришь ты, бутылок?

– Четыреста, – ответил поп Иван, заглянув в книгу.

Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Стало быть, триста бутылок надо скинуть со счета.

– Правду ли он говорит все это? – спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он еще сердится.

– Чистую правду, – торопливо ответил поп, а Макар продолжал.

Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И, притом, две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!

А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужда, и дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленной мерзлой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти возы надо считать впятеро и даже более.

У старого Тойона показались на глазах слезы, и Макар увидел, что чашки весов колыхнулись, и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макар продолжал: у них все записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik умирали, ему было горько и тяжело, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелой нуждой. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая, неприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели.

– Правда ли? – спросил опять старый Тойон.

И поп поспешил ответить:

– Чистая правда!

И тогда весы опять дрогнули... Но старый Тойон задумался.

– Что же это, – сказал он, – ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и одежды без пятен... Сердца их мягки, как добрая почва; принимают доброе семя и возвращают крин сельный и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя...

И все взгляды устремились на Макара, и он устыдился. Он почувствовал, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти он все собирался купить сапоги, чтобы явиться на суд, как подобает настоящему крестьянину, но все пропивал деньги, и теперь стоял перед Тойоном, как последний якут, в дрянных торбасишках... И он пожелал провалиться сквозь землю.

– Лицо твое темное, – продолжал старый Тойон, – глаза мутные и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном, и тернием, и горькою полынью. Вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Сердце Макара сжалось. Он чувствовал стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговорил опять.

О каких это праведниках говорит Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает... Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками.

Макар опять понурил голову, но тотчас же опять поднял ее.

А между тем разве он не видит, что и он родился, как другие, – с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире? И если теперь он желает скрыть под землю свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же? – Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение.

VII

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на старого Тойона, если бы он видел, что каждое его гневное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гиря, он усмирил бы свое сердце. Но он всего этого не видел, потому что в его сердце вливалось слепое отчаяние.

Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нес его потому, что впереди все еще маячила – звездочкой в тумане – надежда. Он жив, стало быть может, должен еще испытать лучшую долю... Теперь он стоял у конца, и надежда угасла...

Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухой ночью. Он забыл, где он, пред чьим лицом предстоит, – забыл все, кроме своего гнева...

Но старый Тойон сказал ему:

– погоди, барахсан! Ты не на земле... Здесь и для тебя найдется правда...

И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось; а так как перед его глазами все стояла его бедная жизнь, от первого дня до

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он заплакал...

И старый Тойон тоже плакал... И плакал старый попик Иван, и молодые божьи
работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами.

А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше!..

1883

В дурном обществе

Из детских воспоминаний моего приятеля

I. РАЗВАЛИНЫ

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле, - никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло все типические черты любого из мелких городов Юго-западного края, где, среди тихо струящейся жизни тяжелого труда и мелко-суетливого еврейского гешефта, доживают свои печальные дни жалкие останки гордого панского величия.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной "заставой". Сонный инвалид, порыжелая на солнце фигура, олицетворение безмятежной дремоты, лениво поднимает шлагбаум, и - вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских "заезжих домов", казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками, столами евреев-менял, сидящих под зонтиками на тротуарах, и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута и - вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнуется хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове - старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. "На костях человеческих стоит старое замчище, - передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса, - так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стояли стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты-тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. "Ой-вей-мир!" [О горе мне (евр.)] - пугливо произносили евреи; богобоязненные старые мещанки крестились, и даже наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший самое

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов существование бесовской силы, выходя в эти часы на свой дворик, творил крестное знамение и шептал про себя молитву об упокоении усопших. Teskovnik

Старый, седобородый Януш, за неимением квартиры приютившийся в одном из подвалов замка, рассказывал нам не раз, что в такие ночи он явственно слышал, как из-под земли неслись крики. Турки начинали возиться под островом, стучали костями и громко укоряли панов в жестокости. Тогда в залах старого замка и вокруг него на острове брякало оружие, и паны громкими криками сзывали гайдуков. Януш слышал совершенно ясно, под рев и завывание бури, топот коней, звяканье сабель, слова команды. Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов, прославленный на вечные веки своими кровавыми подвигами, выехал, стуча копытами своего аргамака, на середину острова и неистово ругался:

"Молчите там, лайдаки [Бездельники (польск.)], пся вря!"

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ, от которых прежде ломились сундуки графов, перешла за мост, в еврейские лачуги, и последние представители славного рода выстроили себе прозаическое белое здание на горе, подальше от города. Там протекало их скучное, но все же торжественное существование в презрительно-величавом уединении.

Изредка только старый граф, такая же мрачная развалина, как и замок на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним, в черной амазонке, величавая и сухая, проезжала по городским улицам его дочь, а сзади почтительно следовал шталмейстер. Величественной графине суждено было навсегда остаться девой. Равные ей по происхождению женихи, в погоне за деньгами купеческих дочек за границей, малодушно рассеялись по свету, оставив родовые замки или продав их на слом евреям, а в городишке, расстилавшемся у подножия ее дворца, не было юноши, который бы осмелился поднять глаза на красавицу-графиню. Завидев этих трех всадников, мы, малые ребята, как стая птиц, снимались с мягкой уличной пыли и, быстро рассеявшись по дворам, испуганно-любопытными глазами следили за мрачными владельцами страшного замка.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная униатская часовня. Это была родная дочь расстилавшегося в долине собственно обывательского города. Некогда в ней собирались, по звону колокола, горожане в чистых, хотя и не роскошных кунтушах, с палками в руках, вместо сабель, которыми гремела мелкая шляхта, тоже являвшаяся на зов звонкого униатского колокола из окрестных деревень и хуторов.

Отсюда был виден остров и его темные громадные тополи, но замок сердито и презрительно закрывался от часовни густою зеленью, и только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи гулко качались, и из-за них проблескивали окна, и замок, казалось, кидал на часовню угрюмые взгляды. Теперь и он, и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески вечернего солнца; у нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и, вместо гулко, с высоким тоном, медного колокола, совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Но старая, историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский замок и мещанскую униатскую часовню, продолжалась и после их смерти: ее поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие уцелевшие углы подземелья, подвалы. Этими могильными червями умерших зданий были люди.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, всякое выскочившее из колеи существование, потерявшее, по той или другой причине, возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, - все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головы, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудями старого мусора. "Живет в замке" - эта фраза стала выражением крайней степени нищеты и гражданского падения. Старый замок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чем-то питались, - вообще, отправляли неизвестным образом свои жизненные функции.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых

ые годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских "официалистов" {Прим. стр. 11}, выхлопотал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления. Он приступил к преобразованиям, и несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц, чтоб отомстить утеснителям. Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от козлиц. Овцы, оставшиеся попрежнему в замке, помогали Янушу изгонять несчастных козлиц, которые упирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление. Когда, наконец, при молчаливом, но, тем не менее, довольно существенном содействии будочника, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что переворот имел решительно аристократический характер. Януш оставил в замке только "добрых христиан", то есть католиков, и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и "чамарках" {Прим. стр. 11}, с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои капоры и салопы. Все они составляли однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили, с молитвой на устах, по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и кляпча, а по воскресеньям они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивалась около костелов и величественно принимала подачи во имя "пана Иисуса" и "панна Богоматери".

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш, во главе целой армии красноносых старцев и безобразных мегер, гнал из замка последних, подлежащих изгнанию, жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно крыты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и мегеры с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках, сохранявший вооруженный нейтралитет, очевидно, дружественный торжествующей партии. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшевою старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Перед детским воображением вставали, оживая, образы прошедшего, и в душу веяло величавою грустью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда понурые стены, и романтические тени чужой старины пробегали в юной душе, как пробегают в ветреный день легкие тени облаков по светлой зелени чистого поля.

Но с того вечера и замок, и его бард явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь "сын таких почтенных родителей" смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, что я искренно удивлялся, как это строгий покойник, усмиривший турок в грозные ночи, мог терпеть этих старух в своем соседстве. Но главное - я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Как бы то ни было, на примере старого замка я узнал впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в замке поросло плющом, повиликой и мхами, а смешное казалось мне отвратительным, слишком резало детскую восприимчивость, так как ирония этих контрастов была мне еще недоступна.

II. ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЕ НАТУРЫ

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землей низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Горячее солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя под навесы юрких детей Израиля, торговавших в городских лавках; "факторы" лениво валялись на солнцепеке, зорко выглядывая проезжающих; скрип чиновничьих перьев слышался в открытые окна присутственных мест; по утрам городские дамы сновали с корзинами по базару, а под вечер важно выступали под руку со своими благоверными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи из замка чинно ходили по домам своих покровителей, не нарушая общей гармонии. Обыватель охотно признавал их право на существование, находя совершенно основательным, чтобы кто-нибудь получал милостыню по субботам, а обитатели старого замка получали ее вполне respectfully.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около униатской часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой, они, в свою очередь, окидывали обывательское существование беспокойно-внимательными взглядами, от которых многим становилось жутко. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка, - город их не признавал, да они и не просили признания; их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Они или жестоко страдали от преследований, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужной для этого силой. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество униатской часовни. Некоторые из этих фигур были отмечены чертами глубокого трагизма.

До сих пор я помню, как весело грохотала улица, когда по ней проходила согнутая, унылая фигура старого "профессора". Это было тихое, угнетенное идиотизмом существо, в старой фризовой шинели, в шапке с огромным козырьком и почерневшею кокардой. Ученое звание, как кажется, было присвоено ему вследствие смутного предания, будто где-то и когда-то он был гувернером. Трудно себе представить создание более безобидное и смиренное. Обыкновенно он тихо бродил по улицам, невидимому без всякой определенной цели, с тусклым взглядом и понуренною головой. Досушие обыватели знали за ним два качества, которыми пользовались в видах жестокого развлечения. "Профессор" вечно бормотал что-то про себя, но ни один человек не мог разобрать в этих речах ни слова. Они лились, точно журчание мутного ручейка, и при этом тусклые глаза глядели на слушателя, как бы стараясь вложить в его душу неуловимый смысл длинной речи. Его можно было завести, как машину; для этого любому из факторов, которому надоело дремать на улицах, стоило подозвать к себе старика и предложить какой-либо вопрос. "Профессор" покачивал

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
головой, вдумчиво вперив в слушателя свои выцветшие глаза, и начинал бормотать что-то до бесконечности грустное. При этом слушатель мог спокойно уйти или хотя бы заснуть, и все же, проснувшись, он увидел бы над собой печальную темную фигуру, все так же тихо бормочущую непонятные речи. Но, само по себе, это обстоятельство не составляло еще ничего особенно интересного. Главный эффект уличных верзил был основан на другой черте профессорского характера: несчастный не мог равнодушно слышать упоминания о режущих и колющих орудиях. Поэтому, обыкновенно в самый разгар непонятной элоквенции, слушатель, вдруг поднявшись с земли, вскрикивал резким голосом: "Ножи, ножницы, иголки, булавки!" Бедный старик, так внезапно пробужденный от своих мечтаний, взмахивал руками, точно подстреленная птица, испуганно озирался и хватался за грудь.

О, сколько страданий остаются непонятными долговязым факторам лишь потому, что страдающий не может внушить представления о них посредством здорового удара кулаком! А бедняга-"профессор" только озирался с глубокою тоской, и невыразимая мука слышалась в его голосе, когда, обращая к мучителю свои тусклые глаза, он говорил, судорожно царапая пальцами по груди:

– За сердце... за сердце крючком!.. за самое сердце!..

Вероятно, он хотел сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но, повидимому, это-то именно обстоятельство и способно было несколько развлечь досужего и скучающего обывателя. И бедный "профессор" торопливо удалялся, еще ниже опустив голову, точно опасаясь удара; а за ним гремели раскаты довольного смеха, в воздухе, точно удары кнута, хлестали все те же крики:

– Ножи, ножницы, иголки, булавки!

Надо отдать справедливость изгнанникам из замка: они крепко стояли друг за друга, и если на толпу, преследовавшую "профессора", налетал в это время с двумя-тремя оборванцами пан Туркевич или в особенности отставной штык-юнкер Заусайлов, то многих из этой толпы постигала жестокая кара. Штык-юнкер Заусайлов, обладавший громадным ростом, сизо-багровым носом и свирепо выкаченными глазами, давно уже объявил открытую войну всему живущему, не признавая ни перемирий, ни нейтралитетов. Всякий раз после того, как он натыкался на преследуемого "профессора", долго не смолкали его бранные крики; он носился тогда по улицам, подобно Тамерлану, уничтожая все, попадавшееся на пути грозного шествия; таким образом он практиковал еврейские погромы, задолго до их возникновения, в широких размерах; попадавшихся ему в плен евреев он всячески истязал, а над еврейскими дамами совершал гнусности, пока, наконец, экспедиция бравого штык-юнкера не кончалась на съезжей, куда он неизменно водворялся после жестоких схваток с бутарями {Прим. стр. 16}. Обе стороны проявляли при этом немало геройства.

Другую фигуру, доставлявшую обывателям развлечение зрелищем своего несчастья и падения, представлял отставной и совершенно спившийся чиновник Лавровский. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровского величали не иначе, как "пан писарь", когда он ходил в вицмундире с медными пуговицами, повязывал шею восхитительными цветными платочками. Это обстоятельство придавало еще более пикантности зрелищу его настоящего падения. Переворот в жизни пана Лавровского совершился быстро: для этого стоило только приехать в Княжье-Вено блестящему драгунскому офицеру, который прожил в городе всего две недели, но в это время успел победить и увезти с собою белокурую дочь богатого трактирщика. С тех пор обыватели ничего не слышали о красавице Анне, так как она навсегда исчезла с их горизонта. А Лавровский остался со всеми своими цветными платочками, но без надежды, которая скрашивала раньше жизнь мелкого чиновника. Теперь он уже давно не служит. Где-то в маленьком местечке осталась его семья, для которой он был некогда надеждой и опорой; но теперь он ни о чем не заботился. В редкие трезвые минуты жизни он быстро проходил по улицам, потупясь и ни на кого не глядя, как бы подавленный стыдом собственного существования; ходил он оборванный, грязный, обросший длинными, нечесаными волосами, выделяясь сразу из толпы и привлекая всеобщее внимание; но сам он как будто не замечал никого и ничего не слышал. Изредка только он кидал вокруг мутные взгляды, в которых отражалось недоумение: чего хотят от него эти чужие и незнакомые люди? Что он им сделал, зачем они так упорно преследуют его? Порой, в минуты этих проблесков сознания, когда до слуха его долетало имя панны с белокурою косой, в сердце его поднималось бурное бешенство; глаза Лавровского загорались темным огнем на бледном лице, и он со всех ног кидался на толпу, которая быстро разбежалась. Подобные вспышки, хотя и

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik очень редкие, странно подзадоривали любопытство скучающего безделья; немудрено поэтому, что, когда Лавровский, потупясь, проходил по улицам, следовавшая за ним кучка бездельников, напрасно старавшихся вывести его из апатии, начинала с досады швырять в него грязью и камнями.

Когда же Лавровский бывал пьян, то как-то упорно выбирал темные углы под заборами, никогда не просыхавшие лужи и тому подобные экстраординарные места, где он мог рассчитывать, что его не заметят. Там он садился, вытянув длинные ноги и свесив на грудь свою победную головушку. Уединение и водка вызывали в нем прилив откровенности, желание излить тяжелое горе, угнетающее душу, и он начинал бесконечный рассказ о своей молодой загубленной жизни. При этом он обращался к серым столбам старого забора, к березке, снисходительно шептавшей что-то над его головой, к сорокам, которые с бабым любопытством подскакивали к этой темной, слегка только копошившейся фигуре.

Если кому-либо из нас, малых ребят, удавалось выследить его в этом положении, мы тихо окружали его и слушали с замиранием сердечным длинные и ужасающие рассказы. Волосы становились у нас дыбом, и мы со страхом смотрели на бледного человека, обвинявшего себя во всевозможных преступлении. Если верить собственным словам Лавровского, он убил родного отца, вогнал в могилу мать, заморил сестер и братьев. Мы не имели причин не верить этим ужасным признаниям; нас только удивляло то обстоятельство, что у Лавровского было, повидимому, несколько отцов, так как одному он пронзал мечом сердце, другого изводил медленным ядом, третьего топил в какой-то пучине. Мы слушали с ужасом и участием, пока язык Лавровского, все более заплетаясь, не отказывался, наконец, произносить членораздельные звуки и благодетельный сон не прекращал покаянные излияния. Взрослые смеялись над нами, говоря, что все это враки, что родители Лавровского умерли своею смертью, от голода и болезней. Но мы, чуткими ребячьими сердцами, слышали в его столах искреннюю душевную боль и, принимая аллегории буквально, были все-таки ближе к истинному пониманию трагически свихнувшейся жизни.

Когда голова Лавровского опускалась еще ниже и из горла слышался храп, прерываемый нервными всхлипываниями, – маленькие детские головки наклонялись тогда над несчастным. Мы внимательно вглядывались в его лицо, следили за тем, как тени преступных деяний пробегали по нем и во сне, как нервно сдвигались брови и губы сжимались в жалостную, почти по-детски плачущую гримасу.

– Убью! – вскрикивал он вдруг, чувствуя во сне беспредметное беспокойство от нашего присутствия, и тогда мы испуганною стаей кидались врозь.

Случалось, что в таком положении сонного его заливало дождем, засыпало пылью, а несколько раз, осенью, даже буквально заносило снегом; и если он не погиб преждевременною смертью, то этим, без сомненья, был обязан заботам о своей грустной особе других, подобных ему, несчастливцев и, главным образом, заботам веселого пана Туркевича, который, сильно пошатываясь, сам разыскивал его, тормошил, ставил на ноги и уводил с собою.

Пан Туркевич принадлежал к числу людей, которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу, и в то время, как "профессор" и Лавровский пассивно страдали, Туркевич являл из себя особу веселую и благополучную во многих отношениях. Начать с того, что, не справляясь ни у кого об утверждении, он сразу произвел себя в генералы и требовал от обывателей соответствующих этому званию почестей. Так как никто не смел оспаривать его права на этот титул, то вскоре пан Туркевич совершенно проникся и сам верой в свое величие. Выступал он всегда очень важно, грозно насунив брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, повидимому, считал необходимейшею прерогативой генеральского звания. Если же по временам его беззаботную голову посещали на этот счет какие-либо сомненья, то, изловив на улице первого встречного обывателя, он грозно спрашивал:

– Кто я по здешнему месту? а?

– Генерал Туркевич! – смиренно отвечал обыватель, чувствовавший себя в затруднительном положении. Туркевич немедленно отпускал его, величественно покручивая усы.

– То-то же!

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik

А так как при этом он умел еще совершенно особенным образом шевелить своими тараканьими усами и был неистощим в прибаутках и остротах, то не удивительно, что его постоянно окружала толпа досужих слушателей и ему были даже открыты двери лучшей "ресторации", в которой собирались за билльярдом приезжие помещики. Если сказать правду, бывали нередко случаи, когда пан Туркевич вылетал оттуда с быстротой человека, которого подталкивают сзади не особенно церемонно; но случаи эти, объяснявшиеся недостаточным уважением помещиков к остроумию, не оказывали влияния на общее настроение Туркевича: веселая самоуверенность составляла нормальное его состояние, так же как и постоянное опьянение.

Последнее обстоятельство составляло второй источник его благополучия, - ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это огромным количеством выпитой уже Туркевичем водки, которая превратила его кровь в какое-то водочное сусло; генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на известной степени концентрации, чтоб оно играло и бурлило в нем, окрашивая для него мир в радужные краски.

Зато, если, по какой-либо причине, дня три генералу не перепало ни одной рюмки, он испытывал невыносимые муки. Сначала он впадал в меланхолию и малодушие; всем было известно, что в такие минуты грозный генерал становился беспомощнее ребенка, и многие спешили выместить на нем свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений; он только ревел во весь голос, и слезы градом катились у него из глаз по уныло обвисшим усам. Бедняга обращался ко всем с просьбой убить его, мотивируя это желание тем обстоятельством, что ему все равно придется помереть "собачьей смертью под забором". Тогда все от него отступались. В таком градусе было что-то в голосе и в лице генерала, что заставляло самых смелых преследователей поскорее удаляться, чтобы не видеть этого лица, не слышать голоса человека, на короткое время приходившего к сознанию своего ужасного положения... С генералом опять происходила перемена; он становился ужасен, глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткие волосы подымались на голове дыбом. Быстро поднявшись на ноги, он ударял себя в грудь и торжественно отправлялся по улицам, оповещая громким голосом:

- Иду!.. Как пророк Иеремиа... Иду обличать нечестивых!

Это обещало самое интересное зрелище. Можно сказать с уверенностью, что пан Туркевич в такие минуты с большим успехом выполнял функции неведомой в нашем городишке гласности; поэтому нет ничего удивительного, если самые солидные и занятые граждане бросали обыденные дела и примыкали к толпе, сопровождавшей новоявленного пророка, или хотя издали следили за его похождениями. Обыкновенно он прежде всего направлялся к дому секретаря уездного суда и открывал перед его окнами нечто вроде судебного заседания, выбрав из толпы подходящих актеров, изображавших истцов и ответчиков; он сам говорил за них речи и сам же отвечал им, подражая с большим искусством голосу и манере обличаемого. Так как при этом он всегда умел придать спектаклю интерес современности, намекая на какое-нибудь всем известное дело, и так как, кроме того, он был большой знаток судебной процедуры, то немудрено, что в самом скором времени из дома секретаря выбегала кухарка, что-то совала Туркевичу в руку и быстро скрывалась, отбиваясь от любезностей генеральской свиты. Генерал, получив даяние, злобно хохотал и, с торжеством размахивая монетой, отправлялся в ближайший кабаk.

Оттуда, утолив несколько жажду, он вел своих слушателей к домам "подсудков", видоизменяя репертуар соответственно обстоятельствам. А так как каждый раз он получал перспективную плату, то натурально, что грозный тон постепенно смягчался, глаза иступленного пророка умасливались, усы закручивались кверху, и представление от обличительной драмы переходило к веселому водевилю. Кончалось оно обыкновенно перед домом исправника Коца. Это был добродушнейший из градоправителей, обладавший двумя небольшими слабостями: во-первых, он красил свои седые волосы черною краской и, во-вторых, питал пристрастие к толстым кухаркам, полагаясь во всем остальном на волю божию и на добровольную обывательскую "благодарность". Подойдя к исправницкому дому, выходящему фасом на улицу, Туркевич весело подмигивал своим спутникам, кидал кверху картуз и объявлял громкогласно, что здесь живет не начальник, а родной его, Туркевича, отец и благодетель.

Затем он устремлял свои взоры на окна и ждал последствий. Последствия эти были двоякого рода: или немедленно же из парадной двери выбегала толстая и румяная

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
Матрена с милостивым подарком от отца и благодетеля, или же дверь оставалась закрытой, в окне кабинета мелькала сердитая старческая физиономия, обрамленная черными, как смоль, волосами, а Матрена тихонько задами прокрадывалась на съезжую. На съезжей имел постоянное местожительство бутарь Микита, замечательно набивший руку именно в обращении с Туркевичем. Он тотчас же флегматически откладывал в сторону сапожную колодку и подымался со своего сиденья.

Между тем Туркевич, не видя пользы от дифирамбов, понемногу и осторожно начинал переходить к сатире. Обыкновенно он начинал сожалением о том, что его благодетель считает за чем-то нужным красить свои почтенные седины сапожную ваксой. Затем, огорченный полным невниманием к своему красноречию, он возвышал голос, подымал тон и начинал громить благодетеля за плачевный пример, подаваемый гражданам незаконным сожитием с Матреной. Дойдя до этого щекотливого предмета, генерал терял уже всякую надежду на примирение с благодетелем и потому воодушевлялся истинным красноречием. К сожалению, обыкновенно на этом именно месте речи происходило неожиданное постороннее вмешательство; в окно высовывалось желтое и сердитое лицо Коца, а сзади Туркевича подхватывал с замечательно ловкостью подкравшийся к нему Микита. Никто из слушателей не пытался даже предупредить оратора об угрожавшей ему опасности, ибо артистические приемы Микиты вызывали всеобщий восторг. Генерал, прерванный на полуслове, вдруг как-то странно мелькал в воздухе, опрокидывался спиной на спину Микиты - и через несколько секунд дюжий бутарь, слегка согнувшийся под своей ношей, среди оглушительных криков толпы, спокойно направлялся к кутузке. Еще минута, черная дверь съезжей раскрывалась, как мрачная пасть, и генерал, беспомощно болтавший ногами, торжественно скрывался за дверью кутузки. Неблагодарная толпа кричала Миките "ура" и медленно расходилась.

Кроме этих выделявшихся из ряда личностей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговков, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти жалкие личности, окончательно лишенные всяких ресурсов со времени изгнания из замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Основывались эти слухи, главным образом, на той бесспорной посылке, что человек не может существовать без пищи; а так как почти все эти темные личности, так или иначе, отбились от обычных способов ее добывания и были оттерты счастливыми из замка от благ местной филантропии, то отсюда следовало неизбежное заключение, что им было необходимо воровать или умереть. Они не умерли, значит... самый факт их существования обращался в доказательство их преступного образа действий.

Если только это была правда, то уже не подлежало спору, что организатором и руководителем сообщества не мог быть никто другой, как пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех проблематических натур, не ужившихся в старом замке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Люди, одаренные сильным воображением, приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрывать, причем участвовал будто бы в подвигах знаменитого Кармелюка. Но, во-первых, для этого он был еще недостаточно стар, а во-вторых, наружность пана Тыбурция не имела в себе ни одной аристократической черты. Роста он был высокого; сильная сутуловатость как бы говорила о бремени вынесенных Тыбурцием несчастий; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдававшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность личных мускулов придавали всей физиономии что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились, вместе с лукавством, острая пронизательность, энергия и недюжинный ум. В то время, как на его лице сменялся целый калейдоскоп гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на гаерство этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая неустанная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого, большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, и самое большее, что соглашалось допустить, это - звание дворового человека какого-нибудь из знатных панов. Но тогда опять встречалось затруднение: как объяснить его феноменальную ученость, которая всем была очевидна. Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik назидание собиравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из

Цицерона, целых глав из Ксенофонта. Хохлы разевали рты и подталкивали друг друга локтями, а пан Тыбурций, возвышаясь в своих лохмотьях над всею толпой, громил Катилину или описывал подвиги Цезаря или коварство Митридата. Хохлы, вообще наделенные от природы богатою фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи... И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами: "Patros conscripti" [Отцы сенаторы (лат.)] -они тоже хмурились и говорили друг другу:

– Ото ж, вражий сын, як лается!

Когда же затем пан Тыбурция, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские периоды, - усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа декламатора витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, а по отчаянной жестикуляции оратора они заключали, что она там испытывает какие-то горестные приключения. Но наибольшего напряжения достигало это участливое внимание, когда пан Тыбурций, скатив глаза и поводя одними белками, донимал аудиторию продолжительною скандовкой Вергилия или Гомера. Его голос звучал тогда такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее поддавшиеся действию жидовской горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные подстриженные спереди "чуприны" и начинали всхлипать:

– О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! - и слезы капали из глаз и стекали по длинным усам.

Нет поэтому ничего удивительного, что, когда оратор внезапно соскакивал с бочки и раздражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснились, и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических экскурсий пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Ввиду такой поразительной учености пришлось построить новую гипотезу о происхождении этого чудака, которая бы более соответствовала изложенным фактам" Помирились на том, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов-иезуитов, собственно на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф воспринимал преимущественно удары трехвостной "дисциплины" святых отцов, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Вследствие окружавшей Тыбурция тайны, в числе других профессий ему приписывали также отличные сведения по части колдовского искусства. Если на полях, примыкавших волнующимся морем к последним лачугам предместья, появлялись вдруг колдовские "закруты" {Прим. стр. 25}, то никто не мог вырвать их с большею безопасностью для себя и жнецов, как пан Тыбурций. Если зловещий "пугач" [Филин] прилетал по вечерам на чью-нибудь крышу и громкими криками накликал туда смерть, то опять приглашали Тыбурция, и он с большим успехом прогонял зловещую птицу поучениями из Тита Ливия.

Никто не мог бы также сказать, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем, факт, хотя и никем не объясненный, стоял налицо... даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел, или, вернее, принес с собой с первых дней, как явился сам на горизонте нашего города. Что же касается девочки, то, по-видимому, он отлучался, чтобы приобрести ее, на несколько месяцев в совершенно неизвестные страны.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась - никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на униатской горе около часовни, и так как в тех краях, где так часто проходила с огнем и мечом татарщина, где некогда

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
бушевала панская "сваволя" (своеволие) и правили кровавую расправу
удальцы-гайдамаки, подобные подземелью очень нередки, то все верили этим слухам,
тем более, что ведь жила же где-нибудь вся эта орда темных бродяг. А они
обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною
походкой ковылял "профессор", шагал решительно и быстро пан Тыбурций; туда же
Туркевич, пошатываясь, провожал свирепого и беспомощного Лавровского; туда
уходили под вечер, утопая в сумерках, другие темные личности, и не было храброго
человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора,
изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние
ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко,
что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

III. Я И МОЙ ОТЕЦ

– Плохо, молодой человек, плохо! – говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города в свите пана Туркевича или среди слушателей пана Драба.

И старик качал при этом своею седою бородой.

– Плохо, молодой человек, – вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей, который не щадит семейной чести.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в "потоки" {Прим. стр. 27} и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но чрез несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания.

Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясушки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шопотом ленивой дремоты. Из окон тюрьмы не глядели еще бледные, угрюмые лица арестантов, и только караул, громко звякая ружьями, обходил вокруг стены, сменяя усталых ночных часовых.

Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы – ребенок и суровый мужчина – о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

– Ты помнишь матушку?

Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. А потом, когда ее унесли в толпе незнакомых людей, не мои ли рыдания звучали сдавленным стоном в сумраке первой ночи моего сиротства?

О да, я ее помнил!.. И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья, в блаженном неведении, навеянном розовыми снами детства. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую милую ласку. Но мои руки протягивались в пустую тьму, и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками свое маленькое, больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки.

О да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съежился еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то неодолимая стена. Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я – дурной, испорченный мальчишка, с черствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит для этой любви угла в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинувшись неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но он, пробудясь от мрачного и безнадежного созерцания, сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

– Что нужно?

Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чашу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества. Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такую же любовь; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне включенную насадку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню – с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Немудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием, предвкусением жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно; а между тем, навстречу этому неведомому и таинственному, во мне из глубины моего сердца что-то подымалось, дразня и вызывая. Я все ждал разрешения этих вопросов и инстинктивно бежал и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шопота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуρο выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаюсь по улицам, я всматривался детски-любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, вдали от городского шума, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шопот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидел много такого, чего не видали дети значительно старше меня, а между тем то неведомое, что подымалось из глубины детской души, попрежнему звучало в ней несмолкающим, таинственным, подмывающим, вызывающим рокотом.

Когда старухи из замка лишили его в моих глазах уважения и привлекательности, когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали, на униатской горе, часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурною славой. Но по мере того как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться окончательно, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я навербовал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных к предприятию обещанием булок и яблоков из нашего сада.

IV. Я ПРИОБРЕТАЮ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подыматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые, истлевшие кости. В одном месте деревянный гроб выставился истлевающим углом, в другом – скалил зубы человеческий череп, уставясь на нас черными впадинами глаз.

Наконец, помогая Друг Другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни голеней, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным, слегка склонявшимся к городу пологом любовно скрывала в своих объятиях ужас и безобразие смерти.

Мы были одни; только воробьи возились кругом да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травой могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

– Нет никого, – сказал один из моих спутников.

– Солнце заходит, – заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна – высоко над землею; однако, при помощи товарищей, я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

– Не надо! – вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

– Пошел ко всем чертям, баба! – прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее; потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
к окну и сел на него.

– Ну, что же там?–спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые, истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то странных предметов, маячивших по полу причудливыми очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав ту же процедуру, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

– Престол,– сказал он, взглядевшись в странный предмет на полу.

– И паникадило.

– Столик для евангелия.

– А вон там что такое? – с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом.

– Поповская шапка.

– Нет, ведро.

– Зачем же тут ведро?

– Может быть, в нем когда-то были угли для кадила.

– Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай, привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься.

– Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

– Ну, что ж! Думаешь, не полезу?

– И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни, в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо, с бородой, в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

– Ты подойдешь? – спросил он тихо.

– Подойду,– ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей возней, вылетела из темного угла, мелькнула, распластавшись на фоне голубого неба в полете, и шархнула вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

– Подымай! – крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

– Не бойся, не бойся! – успокаивал он, приготавливаясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я не страдал; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрою дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шопот.

– Почему же он не лезет себе назад?

– Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.

– Что же он теперь будет делать? – послышался опять шопот.

– А вот погоди, – ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завожилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски-любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и, согласно рыцарским правилам нашего базара, тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

– Ты здесь зачем?

– Так, – ответил я. – Тебе какое дело? Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

– Я вот тебе покажу! – погрозил он. Я выпятился грудью вперед.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое; от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

– Я, брат, и сам... тоже... – сказал я, но уж более миролюбиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватила за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

– Как твое имя? – спросил мальчик, глядя рукой белокурую головку девочки.

– Вася. А ты кто такой?

– Я Валек... Я тебя знаю: ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

– Да, это правда, яблоки у нас хорошие... не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валеку.

– Боится, – сказал тот и сам передал яблоко девочке.

– Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? – спросил он затем.

– Что ж, приходи! Я буду рад, – ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

– Я тебе не компания, – сказал он грустно.

– Отчего же? – спросил я, огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

– Твой отец – пан судья.

– Ну так что же? – изумился я чистосердечно. – Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом. Валек покачал головой.

– Тыбурций не пустит, – сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: – Послушай... Ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне, действительно, пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

– Как же мне отсюда выйти?

– Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

– А она? – ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

– Маруся? Она тоже пойдет с нами.

– Как, в окно? Валек задумался.

– Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля, я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я прыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

– Как хорошо! – сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полную грудь влажную прохладу.

– Скучно здесь... – с грустью произнес Валек.

– Вы все здесь живете? – спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

– Здесь.

– Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без "дома".

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

– Ты придешь к нам опять?

– Приду, – ответил я, – непременно!..

– Что ж, – сказал в раздумьи Валек, – приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

– Кто это "ваши"?

– Да наши... все: Тыбурций, Лавровский, Туркевич. Профессор... тот, пожалуй, не помешает.

– Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

– Эй, послушай-ка, – крикнул мне Валек, когда я отошел несколько шагов. – А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

– Никому не скажу, – ответил я твердо.

– Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел чорта.

– Ладно, скажу.

– Ну, прощай!

– Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжьим-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

– Вася, друг, – заговорил взволнованным шопотом мой бежавший товарищ. – Как же это ты?.. Голубчик!..

– А вот, как видишь... А вы все меня бросили!.. Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

– Что же там было?

– Что, – ответил я тоном, не допускавшим сомнения, – разумеется, черти... А вы – трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительные черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.

V. ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью – высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами "дурное общество"; и если Лавровский валялся в луже, если Туркевич и Тыбурций разглагольствовали перед своими слушателями, а темные личности шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото, на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал ее с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. "У этого малого, – говорили обо мне старшие, – руки и ноги налиты ртутью", чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой "каплицы" {Прим. стр. 39} повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в это время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной взапуски, он сказал:

– Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, слышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся.

– Вот, видишь, – сказал Валек, – она не любит играть.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валеком около девочки.

- Отчего она такая? - спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю.
- Невеселая? - переспросил Валек и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: - А это, видишь ли, от серого камня.
- Да-а, - повторила девочка, точно слабое эхо, - это от серого камня.
- От какого серого камня? - переспросил я, не понимая.
- Серый камень высосал из нее жизнь, - пояснил Валек, попрежнему смотря на небо. - Так говорит Тыбурций... Тыбурций хорошо знает.
- Да-а, - опять повторила тихим эхо девочка, - Тыбурций все знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валек повторял за Тыбурцием, однако аргумент, что Тыбурций все знает, произвел и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валек, и все так же перебирала цветы; движения ее тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевою на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, - хотя я и не понимал их значения, заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, как ни грозен старый граф, усмирявший их в бурные ночи, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то неведомо-страшное было налицо. Что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. "Должно быть, это бывает по ночам", - думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой "каплицы", рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение своею авторитетностью и независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурций, точно о товарище, я спросил:

- Тыбурций тебе отец?
- Должно быть, отец, - ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.
- Он тебя любит?
- Да, любит, - сказал он уже гораздо увереннее. - Он постоянно обо мне заботится и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...
- И меня любит и тоже плачет, - прибавила Маруся с выражением детской гордости.
- А меня отец не любит, - сказал я грустно. - Он никогда не целовал меня... Он нехороший.
- Неправда, неправда, - возразил Валек, - ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Он говорит, что судья – самый лучший человек в городе, и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отец, да еще поп, которого недавно посадили в монастырь, да еврейский раввин. Вот из-за них троих...

– Что из-за них?

– Город из-за них еще не провалился, – так говорит Тыбурций, – потому что они еще за бедных людей заступаются... А твой отец, знаешь... он засудил даже одного графа...

– Да, это правда... Граф очень сердился, я слышал.

– Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

– Почему?

– Почему? – переспросил Валек, несколько озадаченный... – Потому что граф – не простой человек... Граф делает, что хочет, и ездит в карете, и потом... у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

– Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: "Я вас всех могу купить и продать!"

– А судья что?

– А отец говорит ему: "Подите от меня вон!"

– Ну вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костью, он велел принести ей стул. Вот он какой! Даже и Туркевич не делал никогда под его окнами скандалов.

Это была правда: Туркевич во время своих обличительных экскурсий всегда молча проходил мимо наших окон, иногда даже снимая шапку.

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который "все знает"; но, вместе с тем, дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда этот человек не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

VI. СРЕДИ "СЕРЫХ КАМНЕЙ"

Прошло еще несколько дней. Члены "дурного общества" перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Один только "профессор" прошел два раза своею сонною походкой, но ни Туркевича, ни Тыбурция не было видно. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шел о опущенною головою по пыльной улице, Валек вдруг положил мне на плечо руку.

– Отчего ты перестал к нам ходить? – спросил он.

– Я боялся... Ваших не видно в городе.

– А-а... Я и не догадался сказать тебе: наших нет, приходи... А я было думал совсем другое.

– А что?

– Я думал, тебе наскучило.

– Нет, нет... Я, брат, сейчас побегу, – заторопился я, – даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– Ничего, ничего, – отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. –
Ступай прямо на гору, а я тут найду кое-куда, – дело есть. Я тебя догоню на
дороге.

Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек меня догонит; однако я успел
взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в
недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших
признаков обитаемости, только воробьи чирикали на свободе да густые кусты
черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часов-ни, о чем-то тихо
шептались густо разросшаяся темной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валека. А
пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и
стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаюсь
таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный
склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь
была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись
по нему, заглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была
вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота
подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору
вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая еврейская
булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

– Ага! – крикнул он, заметив меня. – Ты вот где. Если бы Тыбурций тебя здесь
увидел, то-то бы рассердился! Ну, да теперь уж делать нечего... Я знаю, ты
хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам!

– Где же это, далеко? – спросил я.

– А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я
последовал туда за ним и очутился на небольшой плотно утоптанной площадке,
которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле
довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился
туда, приглашая меня за собой, и через несколько секунд мы оба очутились в
темноте, под зеленью. Взяв мою руку,

Валек повел меня по какому-то узкому сырому коридору, и, круто повернув вправо,
мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко
лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья; свет этот проходил
в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, дру-гое, подалее, очевидно,
было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде
отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья,
падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми
отблесками; стены тоже было сложены из камня; большие широкие колонны массивно
вздвигались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались
кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две
фигуры. Старый "профессор", склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял
иглой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в
подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы
принять за фантастическое каменное изваяние.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению,
Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливала ее всю, но,
несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и
маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет.
Когда там, вверху, над землей, пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены
подземелья тонули совсем в темноте, как будто раздвигались, уходили куда-то, а
потом опять выступали жесткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями
над крохотной фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о "сером
камне", высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось
в мое сердце; мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный
взгляд, пристальный и жадный. Мне казалось, что это подземелье чутко сторожит

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
свою жертву.

– Валек! – тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валек, разломив булку, часть подал ей, а другую снес "профессору". Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

– Уйдем... уйдем отсюда, – дернул я Валека. – Уведи ее...

– Пойдем, Маруся, наверх, – позвал Валек сестру. И мы втроем поднялись из подполья, но и здесь, наверху, меня не оставляло ощущение какой-то напряженной неловкости. Валек был грустнее и молчаливее обыкновенного.

– Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? – спросил я у него.

– Купить? – усмехнулся Валек, – Откуда же у меня деньги?

– Так как же? Ты выпросил?

– Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лежа враспашку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

– Ты, значит, украл?..

– Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

– Воровать нехорошо, – проговорил я затем в грустном раздумьи.

– Наши все ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна.

– Да, голодна! – с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидел их впервые. Валек попрежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом. Теперь он не казался уже мне таким авторитетным, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце.

– Почему же, – спросил я с усилием, – почему ты не сказал об этом мне?

– Я и хотел сказать, а потом раздумал; ведь у тебя своих денег нет.

– Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

– Как, потихоньку?..

– Д-да.

– Значит, и ты бы тоже украл.

– Я... у своего отца.

– Это еще хуже! – с уверенностью сказал Валек. – Я никогда не ворую у своего отца.

– Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

– Ну, может быть, и дали бы один раз, – где же заpastись на всех нищих?

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
– А вы разве... нищие? – спросил я упавшим голосом.

– Нищие! – угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

– Ты уж уходишь? – спросил Валек.

– Да, уйду.

Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями попрежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась... Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней приме-шалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель, потому что не знал, куда уложить новое болезненное чувство, переполнявшее душу. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

VII. НА СЦЕНУ ЯВЛЯЕТСЯ ПАН ТЫБУРЦИЙ

– Здравствуй! А уж я думал, ты не придешь более, – так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

– Нет, я... я всегда буду ходить к вам, – ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

– Ну, что? Где же ваши? – спросил я, – Все еще не вернулись?

– Нет еще. Чорт их знает, где они пропадают. И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руку Марусе, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валек и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземельи было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по гигантски сложенной мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

– Давайте играть в жмурки, – предложил я. Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ноги и дико вращал зрачками.

– Это что еще, а? – строго спрашивал он, глядя на Валека. – Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

– Пустите меня! – сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу.

– Reponde, ответствуй! – грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, зажав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Я заметил только, что он сочувственным оком и с большим участием следил за моею
несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в пространстве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

– Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

– Пусти! – проговорил я упрямо. – Сейчас отпусти! – и при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

– Ого-го! Пан судья изволят сердиться... Ну, да ты меня еще не знаешь. Его – Тыбурций sum [я есмь Тыбурций (лат.)]. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.

Я начинал думать, что действительно такова моя неизбежная участь, тем более, что отчаянная фигура Валека как бы подтверждала мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся.

– Не бойся, Вася, не бойся! – ободрила она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. – Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил меня между колен.

– И как это ты сюда попал? – продолжал он допрашивать. – Давно ли?.. Говори ты! – обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

– Давно, – ответил тот.

– А как давно?

– Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

– Ого, шесть дней! – заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. – Шесть дней много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?

– Никому.

– Правда?

– Никому, – повторил я.

– Вепе, похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий "уличник", хоть и "судья"... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито:

– Я вовсе не судья. Я – Вася.

– Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей, – не теперь, так после... Это уж, брат, так ведется исстари. Вот видишь ли: я – Тыбурций, а он – Валека. Я нищий, и он – нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит, – ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

– Не буду судить Валека, – возразил я угрюмо. – Неправда!

– Он не будет, – вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого уродца, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.

– Ну, этого ты вперед не говори, – сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. – Не говори, *amice!*.. [Друг (лат.)] Эта история ведется исстари, всякому свое, *suum cuique*; каждый идет своей дорожкой, и кто знает... может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, *amice*, потому что иметь в груди кусочек человеческого сердца, вместо холодного камня, – понимаешь?..

Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои, и в них смутно мерцало что-то, как будто проникавшее в мою душу.

– Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец... Поэтому скажу тебе кратко, а ты когда-нибудь и вспомнишь слова философа Тыбурция: если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе, – что уже тогда ты шел по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем-бесштанником и с пустым брюхом... Впрочем, пока еще это случится, заговорил он, резко изменив тон, – запомни еще хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?

– Я не скажу никому... я... Можно мне опять придти?

– Приходи, разрешаю... *sub conditionem*... [Под условием (лат.)] Впрочем, ты еще глуп и латыни не понимаешь. Я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

– Возьми вон там, – указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога, – да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не гаер, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам.

Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, лицо тоже; волосы слиплись на лбу, во всей фигуре виднелось тяжелое утомление. Я в первый раз видел это выражение на лице веселого оратора городских кабаков, и опять этот взгляд за кулисы, на актера, изнеможенно отдохавшего после тяжелой роли, которую он разыгрывал на житейской сцене, как будто влил что-то жуткое в мое сердце. Это было еще одно из тех откровений, какими так щедро наделяла меня старая униатская "каплица".

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валек зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, привыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем мне пришлось отступить, Валек один умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса на камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валек поставил на трехногий, кое-как сколоченный столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса. Тыбурций поднялся.

– Готово? – сказал он. – Ну, и отлично. Садись, малый, с нами, – ты заработал свой обед... *Domine preceptor!* [Господин наставник (лат.)] – крикнул он затем, обращаясь к "профессору". – Брось иголку, садись к столу.

– Сейчас, – сказал тихим голосом "профессор", удивив меня этим сознательным ответом.

Впрочем, искра сознания, вызванная голосом Тыбурция, не проявлялась ничем больше. Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземельи стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинувшись, невидимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к "профессору" со своей беседой. Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивками головы и тихим мычанием.

– Вот, domine, как немного нужно человеку, – говорил Тыбурций. – Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить бога и клеванского капеллана...

– Ага, ага! – поддакивал "профессор".

– Ты это, domine, поддакиваешь, а сам не понимаешь, причем тут клеванский капеллан, – я ведь тебя знаю... А между тем не будь клеванского капеллана, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего...

– Это вам дал клеванский ксендз? – спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского "пробоца", бывавшего у отца.

– У этого малого, domine, любознательный ум, – продолжал Тыбурций, попрежнему обращаясь к "профессору". – Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия... Кушай, domine, кушай!

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса:

– Вы это взяли... сами?

– Малый не лишен проницательности, – продолжал опять Тыбурций попрежнему, жаль только, что он не видел капеллана: у капеллана брюхо, как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объединение ему очень вредно. Между тем мы все, здесь находящиеся, страдаем скорее излишнею худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним... Так ли я говорю, domine?

– Ага, ага! – задумчиво промычал опять "профессор".

– Ну вот! На этот раз вы выразили свое мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых... Возвращаясь, однако, к капеллану, я думаю, что добрый урок стоит платы, и в таком случае мы можем сказать, что купили у него провизию: если он после этого сделает в амбаре двери покрепче, то вот мы и квиты... Впрочем, – повернулся он вдруг ко мне, – ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?

– Хорошо! – ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. – Маня была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенною головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что "воровать нехорошо". Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие... воры... у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси, не давая им слиться. В результате смутного душевного процесса – сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Формула "нехорошо воровать" осталась. Но, когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизовавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валека.

В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он по обыкновению угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо.

– Откуда это?

– Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

– А, все равно... Ее уж нет!.. Я солгал чуть ли не первый раз в жизни. Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с "дурным обществом", но изменить этому обществу, изменить Валеку и Марусе – я был не в состоянии. К тому же здесь было нечто вроде "принципа": если б я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

VIII. ОСЕНЬЮ

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены "дурного общества" бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком.

– Ты славный хлопец и когда-нибудь тоже будешь генералом, – говаривал Туркевич.

Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий штык-юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только "профессор" по-всегдашнему был погружен в какие-то глубокие соображения, а Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал "с семейством" описанное выше подземелье. Остальные члены "дурного общества" жили в таком же подземелье, побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Свету здесь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стен кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие стулья. Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, заменявшими постели. В середине, в освещенном месте, стоял верстак, на котором по временам пан Тыбурций или кто-либо из темных личностей работали столярные поделки; был среди "дурного общества" и сапожник, и корзинщик, но, кроме Тыбурция, все остальные ремесленники были или дилетанты, или же какие-нибудь заморыши, или люди, у которых, как я замечал, слишком сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успешно. Пол этого подземелья был закидан стружками и всякими обрезками; всюду виднелась грязь и беспорядок, хотя по временам Тыбурций за это сильно ругался и заставлял кого-нибудь из жильцов подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жильё. Я не часто заходил сюда, так как не мог привыкнуть к затхлому воздуху, и, кроме того, в трезвые минуты здесь имел пребывание мрачный Лавровский. Он обыкновенно или сидел на лавочке, спрятав лицо в ладони и раскидав свои длинные волосы, или ходил из угла в угол быстрыми шагами. От этой фигуры веяло чем-то тяжелым и мрачным, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожителю-бедняги давно уже свыклись с его странностями. Генерал Туркевич заставлял его иногда переписывать набело сочиняемые самим Туркевичем прошения и кляузы для обывателей или же шуточные пасквили, которые потом развешивал на фонарных столбах. Лавровский покорно садился за столик в комнате Тыбурция и по целым часам выводил прекрасным почерком ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его, бесчувственно пьяного, тащили сверху в подземелье. Голова несчастного, свесившись, болталась из стороны в сторону, ноги бессильно тащились и стучали по каменным ступенькам, на лице виднелось выражение страдания, по щекам текли слезы. Мы с Марусей, крепко прижавшись друг к другу, смотрели на эту сцену из дальнего угла; но Валек совершенно свободно шнырял между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову Лавровского.

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
Все, что на улицах меня забавляло и интересовало в этих людях, как балаганное представление, – здесь, за кулисами, являлось в своем настоящем, неприкрашенном виде и тяжело угнетало детское сердце.

Тыбурций пользовался здесь непререкаемым авторитетом. Он открыл эти подземелья, он здесь распоряжался, и все его приказания исполнялись. Вероятно, поэтому именно я не припомню ни одного случая, когда бы кто-либо из этих людей, несомненно потерявших человеческий облик, обратился ко мне с каким-нибудь дурным предложением. Теперь, умудренный прозаическим опытом жизни, я знаю, конечно, что там был мелкий разврат, грошовой пороки и гниль. Но когда эти люди и эти картины встают в моей памяти, затянутые дымкой прошедшего, я вижу только черты тяжелого трагизма, глубокого горя и нужды.

Детство, юность – это великие источники идеализма!

Осень все больше вступала в свои права. Небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях.

Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду; впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст няnek и служанок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень – темное, молчаливое чудовище подземелья – продолжал без перерывов свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валеком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с "дурным обществом", грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен, – я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось так недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи.

Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

– Уходите! Вы просто старый сплетник! Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста.

– Не верю ни одному слову... Что вам надо от этих людей? Где доказательства?... Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! Это уж мое дело... Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
и, быть может, также ко мне.

Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу:

– У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена.

– Отец его прогнал, – заметил я в виде утешения.

– Твой отец, малый, самый лучший из всех судей, начиная от царя Соломона... Однако знаешь ли ты, что такое *curriculum vitae*? [Краткое жизнеописание (лат.)] Не знаешь, конечно. Ну, а формулярный список знаешь? Ну, вот видишь ли: *curriculum vitae* – это есть формулярный список человека, не служившего в уездном суде... И если только старый сыч кое-что пронюхал и сможет доставить твоему отцу мой список, то... ах, клянусь богородицей, не желал бы я попасть к судье в лапы!..

– Разве он... злой? – спросил я, вспомнив отзыв Валека.

– Нет, нет, малый! Храни тебя бог подумать это об отце. У твоего отца есть сердце, он знает много... Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит; он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге... Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя – закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: "А ну-ка, судья, не взятся ли нам за Тыбурция Драба или как там его зовут?" – с этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, ч; о скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук... Понимаешь ты, малый?.. И за это я и все еще больше уважаем твоего отца, потому что он верный слуга своего господина, а такие люди редки. Будь у закона все такие слуги, он мог бы спать себе спокойно на своих полках и никогда не просыпаться... Вся беда моя в том, что у меня с законом вышла когда-то, давно уже, некоторая суспиция... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство...

"Вот он какой, – думалось мне, – но все же он меня не любит".

IX. КУКЛА

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения, с целью занять ее, она смотрела равнодушно своими большими потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллею сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своею новою знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собою свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, попережнему шлепая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik нес ее за пазухой, направляясь с ней на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом дня через два старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан на этот раз с еще большим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал.

На горе дела опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

– Как же теперь будет? – спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

– Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Сою я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; послушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же их опустил в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд.

– Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул.

– Да, – ответил я тихо.

– А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл ее?

– Нет, – сказал я, подымая голову.

– Как нет? – вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. – Ты украл ее и снес!.. Кому ты снес ее?.. Говори!

Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно. Складка боли, которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь, но глаза горели гневом. Я весь съезжился. Из этих глаз, глаз отца, глянуло на меня, как мне показалось, безумие или... ненависть.

– Ну, что ж ты?.. Говори! – и рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.

– Н-не скажу, – ответил я тихо.

– Нет, скажешь! – отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

– Не скажу, – прошептал я еще тише.

– Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и, казалось, слышал даже клокотавшее в груди его бешенство. И я все ниже опускал голову, и слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно:

– Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам... Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва сознательное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевел дух. Я съезжился еще более, горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал.

Изобразить чувство, которое я испытывал в то время, очень трудно. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство, что, может быть, через секунду мое тело забьется беспомощно в его сильных и исступленных руках. Что он со мной сделает? – швырнет... изломает; но мне теперь кажется, что я боялся не этого... Даже в эту страшную минуту я любил этого человека, но вместе с тем инстинктивно чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги, что затем, пока я буду жить, в его руках и после, навсегда, навсегда в моем сердце вспыхнет та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня в его мрачных глазах.

Теперь я совсем перестал бояться; в моей груди защекотало что-то вроде задорного, дерзкого вызова... Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа, наконец, разразилась. Если так... пусть... тем лучше, да, тем лучше... тем лучше...

Отец опять тяжело вздохнул. Я уже не смотрел на него, только слышал этот вздох, – тяжелый, прерывистый, долгий... Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, или это чувство не получило исхода благодаря последующему неожиданному обстоятельству, я и до сих пор не знаю. Знаю только, что в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

– Эге-ге!.. мой бедный маленький друг... "Тыбурций пришел!" – промелькнуло у меня в голове, но этот приход не произвел на меня никакого впечатления. Я весь превратился в ожидание, и, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным и чего ждал с приливом задорного ответного гнева.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. Я до сих пор помню

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik
малейшую черту этой сцены. На мгновение в зеленоватых глазах, в широком некрасивом лице уличного оратора мелькнула холодная и злорадная насмешка, но это было только на мгновение. Затем он покачал головой, и в его голосе зазвучала скорее грусть, чем обычная ирония.

– Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении...

Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

– Пан судья!– заговорил он мягко.– Вы человек справедливый... отпустите ребенка. Малый был в "дурном обществе", но, видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднякам, то, клянусь богородицей, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу. Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

– Что это значит? – спросил он наконец.

– Отпустите мальчика, – повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову.– Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на месте, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета, и если теперь я помню все детали этой сцены, если я помню даже, как за окном возились воробьи, а с речки доносился мерный плеск весел, – то это просто механическое действие памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало; был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразных чувства: гнев и любовь, – так сильно, что это сердце замутилось, как мутятся от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. Был такой мальчик, и этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором звучавшие за дверью...

Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.

– Приходи к нам, – сказал он, – отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, застилавший его добрый и любящий взгляд... И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

– Я ведь не украд... Соня сама дала мне на время...

– Д-да, – ответил он задумчиво, – я знаю... Я виноват перед тобой, мальчик, и ты постарайся когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько

ие годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Teskovnik минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

– Ты отпустишь меня теперь на гору? – спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

– Д-да... Ступай, ступай, мальчик, попрощайся... – ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недоумения в голосе. – Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

– Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его, понимаешь?... покорнейше прошу – взять эти деньги... от тебя... Ты понял?... Да еще скажи, – добавил отец, как будто колеблясь, – скажи, что если он знает одного тут... Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города... Теперь ступай, мальчик, ступай скорее.

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

– Покорнейше просит... отец... – и я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича.

В подземельи, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово "смерть" не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этою гримаской на наши слезы.

"Профессор" стоял у изголовья и безучастно качал головой. Штык-юнкер стучал в углу топором, готовя, с помощью нескольких темных личностей, гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Лавровский, трезвый и с выражением полного сознания, убирал Марусю собранными им самим осенними цветами. Валек спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вскоре после описанных событий члены "дурного общества" рассеялись в разные стороны. Остались только "профессор", попрежнему, до самой смерти, слонявшийся по улицам города, да Туркевич, которому отец давал по временам кое-какую письменную работу. Я с своей стороны пролил немало крови в битвах с еврейскими мальчишками, терзавшими "профессора" напоминанием о режущих и колющих орудиях.

Штык-юнкер и темные личности отправились куда-то искать счастья. Тыбурций и Валек совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее; еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом. Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами.

Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты.
1885

е годы. Николай Семенович Лесков, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Антон Павлович Чехов Leskovnik
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://leskovnikolai.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!